



АВГУСТ
СТРИНДБЕРГ





**АВГУСТ
СТРИНДБЕРГ**

Избранные произведения
в двух томах

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1986



**АВГУСТ
СТРИНДБЕРГ**

Избранные произведения
Том второй

*Перевод с шведского
и французского*

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1986

И (Швед)
С85

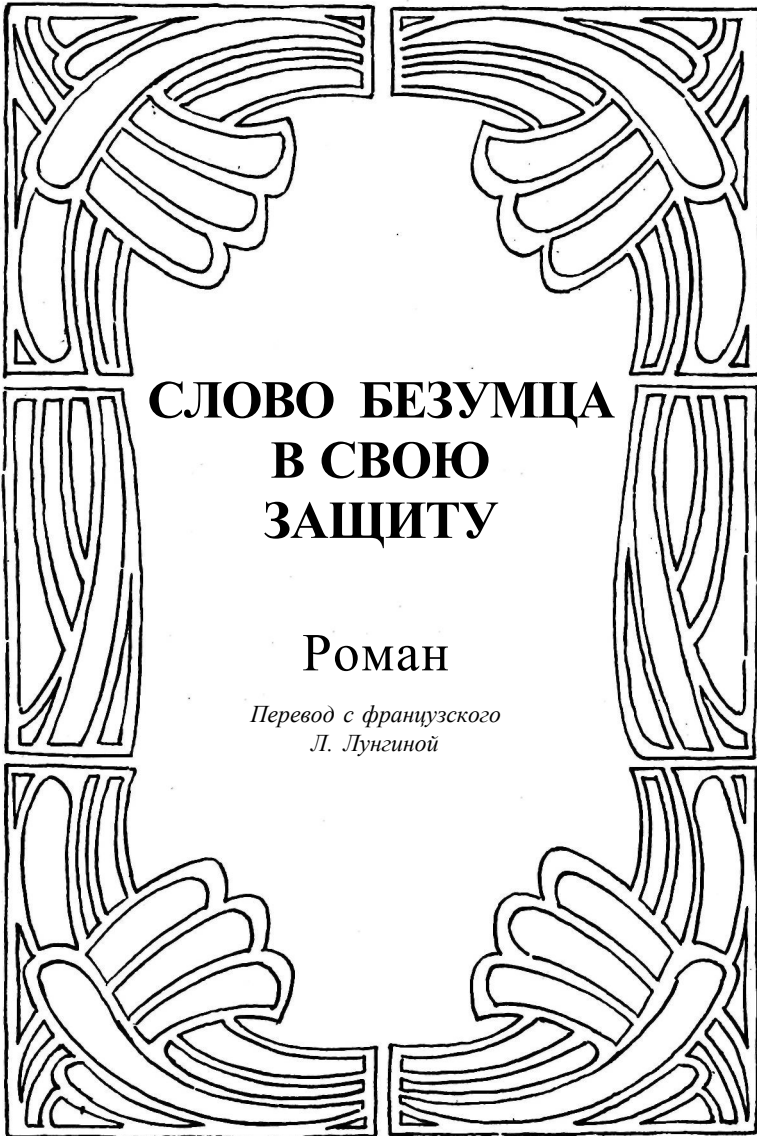
AUGUST STRINDBERG
(1849—1912)

Комментарии
Е. СОЛОВЬЕВОЙ

Оформление художника
Ю. КОПЫЛОВА

С 4703000000-030 119-86
028(01)-86

© Переводы, кроме отмеченных в содержании *, комментарии, оформление. Издательство «Художественная литература», 1986 г.



**СЛОВО БЕЗУМЦА
В СВОЮ
ЗАЩИТУ**

Роман

*Перевод с французского
Л. Лунгиной*

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Какая ужасная книга!» — скажете вы. Мне возразить тут нечего, могу лишь горько об этом пожалеть. Что же породило ее? Настоятельная потребность обмыть свой труп, прежде чем его бросят в гроб.

Помню, как четыре года назад мой друг, тоже литератор и заклятый враг всех тех, кто сует нос в чужие дела, прервал меня, когда разговор зашел о моем браке:

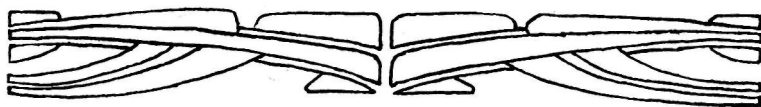
— Знаешь, а ведь это тема для романа, прямо созданная для моего пера!

И вот тогда-то я и решил сам написать роман, почти уверенный в том, что мой друг меня одобрит.

— Не сердись на меня, старина, что я пользуюсь правами собственника и первооткрывателя!

Помнится также, что шестнадцать лет тому назад мать моей бывшей жены, ныне уже покойная, заметив, что я не свожу глаз с ее дочери, в то время еще баронессы, которая напропалую кокетничала с окружающими ее молодыми людьми, сказала:

— Вот вам, сударь, тема для романа.



Жар свалил меня, когда я сидел за письменным столом с пером в руке. До этого я в течение пятнадцати лет ни разу серьезно не болел, и этот случай, происшедший столь некстати, меня вконец обескуражил. Не то чтобы я боялся смерти, вовсе нет, но мне никак не светило закончить свою громкую карьеру в тридцать восемь лет, так и не сказав последнего слова, не успев осуществить своих юношеских мечтаний. Да к тому же я был полон планов на будущее. Уже четыре года я жил с женой и детьми в изгнании, правда, полудобровольном, укрывшись от всех в баварской деревушке; я был вконец измучен, за плечами у меня был суд, меня изолировали от общества, изгнали, попросту говоря, вышвырнули на свалку, и в тот момент, когда я рухнул на кровать, я был всецело во власти одного лишь желания — взять реванш перед тем, как уйти. Началась борьба. У меня не было сил позвать на помощь, я лежал один в своей мансарде, жар не давал мне спуска, он тряс меня, как трясут перину, стискивал горло, чтобы задушить, упирался коленом в грудь, уши от него пылали, и казалось, глаза вот-вот вылезут из орбит. Конечно, это смерть прокралась ко мне в комнату и навалилась на меня.

Но я не хотел умирать. Я оказал ей сопротивление, и завязалась жестокая схватка. Нервы натянулись, кровь быстрее потекла в жилах, мозг трепетал, как моллюск в уксусе. Но, внезапно поняв, что мне не одолеть моего противника, я разжал руки, ничком упал на постель и больше не противился страшным объятиям.

На меня низошел несказанный покой, сладостная дремота сковала члены, полная безмятежность овладела и телом и душой, уже столько лет не знавшими спасительного отдыха.

Конечно же, это была смерть! Желание жить постепенно рассеялось, я перестал что-либо испытывать, чувствовать, думать. Сознание ушло, и пустоту, возникшую от того, что разом исчезли все безмянные страдания, мучительные мысли, затаенные страхи, заполнило чувство благодатного погружения в бездну.

Проснувшись, я увидел, что жена сидит у моего изголовья и с тревогой глядит на меня.

— Что с тобой, друг мой? — спросила она.

— Я болен! — ответил я. — Но как приятно болеть!

— Да что ты говоришь! Значит, это что-то серьезное...

— Мне конец. Во всяком случае, я на это надеюсь.

— Избави бог, чтобы ты нас оставил в беде! — воскликнула она. — В чужой стране, вдали от друзей, безо всяких средств к существованию, что с нами станется!

— Вы получите мою страховку, — сказала, чтобы ее утешить. — Это, конечно, немного, но хватит, чтобы вернуться домой.

Оказывается, она об этом забыла и продолжала, уже несколько успокоившись:

— Но, дорогой мой, надо что-то делать. Я пошлю за доктором.

— Нет. Я не хочу доктора!

— Почему?

— Потому что... Короче, не хочу.

Мы обменялись взглядами, в которых были все невысказанные слова.

— Я хочу умереть, — отрезал я. — Жизнь мне опротивела, прошлое кажется спутанным клубком, и я не чувствую в себе силы когда-либо его распутать. Пусть меня окутает мрак, и задернем занавес!

Однако мои излияния не тронули ее, она осталась холодна.

— Опять эти старые подозрения! — пробормотала она.

— Да, опять! Прогони привидения, тебе одной это под силу! Как обычно, она положила руку мне на лоб.

— Теперь хорошо? — спросила она подчеркнуто ласково, тоном заботливой мамочки, как прежде.

— Хорошо!

И в самом деле, прикосновение этой маленькой ручки, которая такой страшной тяжестью легла на мою судьбу, обладало волшебной силой изгонять всех черных дьяволов, рассеивать все тайные сомнения.

Некоторое время спустя жар, однако, снова одолел меня, да пуще прежнего. Жена тут же пошла приготовить бузинный отвар. Оставшись один, я приподнялся на постели, чтобы поглядеть в окно, которое находилось как раз напротив меня. Оно было трехстворчатое, увитое снаружи диким виноградом, но его прозрачно-зеленая листва не закрывала всего пейзажа. На первом плане возвышалась крона айвы, украшенная проглядывающими между темно-зелеными листьями золотистыми плодами; дальше виднелась лужайка и на ней яблони, колокольня церкви, вдали синело Боденское озеро, а на горизонте — Тирольские Альпы.

Лето было в разгаре, и вся эта картина, освещенная косыми лучами солнца, была восхитительна.

До меня доносился посвист скворцов, сидящих на виноградных шпалерах, писк утят, стрекотание кузнечиков, перезвон коровьих колокольцев, и в этот веселый концерт вплетался смех моих детей и голос жены, отдающей какие-то распоряжения и обсуждающей с женой садовника состояние больного.

И тут меня снова охватило желание жить, меня пронзил страх исчезновения. Я решительно не хотел больше умирать, у меня было слишком много обязательств, которые я должен был выполнить, слишком много долгов, с которыми надо было рассчитываться.

Снедаемый угрызениями совести, я испытывал острую потребность исповедаться, молить всех простить меня неизвестно за что, унижаться перед первым встречным. Я чувствовал себя виноватым, отягощенным неведомо какими преступлениями, я сгорал от желания облегчить свою душу полным признанием своей воображаемой вины.

Во время этого приступа слабости, вызванного врожденным малодушием, вошла моя жена с кружкой горячего отвара и, намекая на манию преследования, которой я прежде страдал, правда в самой легкой форме, отпила глоток, прежде чем протянуть мне кружку.

— Это не я д , — сказала она с улыбкой.

Пристыженный, я не знал, куда деваться, и, чтобы ей угодить, залпом опорожнил всю кружку.

Снотворный отвар бузины напомнил мне своим запахом родину, где с этим таинственным деревцом связаны народные поверья, и вызвал прилив чувствительности, побудившей меня к раскаянию.

— Выслушай меня, дорогая, прежде чем я испущу дух. Я признаю, что я — безнадежный эгоист. Я погубил твою театральную карьеру ради своего литературного успеха. Я искренне готов все это признать. Прости меня.

Она изо всех сил старалась меня утешить, но я перебил ее, чтобы продолжить:

— По твоему желанию мы заключили брак на условиях раздельного владения имуществом. И тем не менее я промотал твое приданое, решившись по легкомыслию воспользоваться залоговым кредитом. Это, признаюсь, терзает меня больше всего, тем более что в случае моей смерти ты не сможешь получить гонорар за мои опубликованные произведения. Вызови поскорее нотариуса, чтобы я мог хоть завещать тебе свое имущество, какое ни на есть. И пожалуйста, после моей кончины вернись к своему искусству, которое ты бросила ради меня.

Она хотела перевести разговор на другую тему, обратить его в шутку, велела мне поспать, уверяя, что все наладится и что смерть вовсе не так близка, как мне кажется.

Вконец обессиленный, я взял ее за руку и попросил посидеть подле меня, пока я буду дремать. Я держал ее маленькую руку в своей и все умолял простить мне зло, которое я ей причинил, а веки мои набрякли в это время сладостной тяжестью, и я почувствовал, что таю как лед, расплавленный лучами ее огромных глаз, и был исполнен бесконечной к ней нежности. Когда же ее поцелуй, словно холодная печать, лег на мой пылающий лоб, я почувствовал, что погружаюсь в глубины несказанного блаженства.

Когда я очнулся от летаргии, было уже совсем светло. Солнце освещало штору с изображением сказочной страны изобилия, и, судя по шумам, доносящимся до меня снизу, было часов пять утра. Я проспал беспробудно всю ночь, и мне ничего не пришло.

Кружка, в которой жена принесла мне отвар, стояла на ночном столике, и стул ее был по-прежнему придвинут к изголовью кровати, а я был укутан ее лисьей шубой, и пушистый мех нежно щекотал мне подбородок.

Мне показалось, что я выспался впервые за последние десять лет — настало отдохнувшей и свежей была моя перетрудившаяся голова. Мысли, которые прежде беспорядочно блуждали в ней, выстроились теперь в ряд, как солдаты регулярной, сильной, хорошо вооруженной армии, и они были способны выдержать атаку приступов болезненного раскаяния — симптома слабоумия и вырождения.

Прежде всего в сознании всплыли те два темных пятна моей жизни, в которых я исповедовался вчера своей любимой, полагая себя на смертном одре, они терзали меня на протяжении стольких лет и отравили мне мгновенья, которые я считал последними.

Теперь мне захотелось разобраться в этих обвинениях, которые я до сих пор принимал, как очевидность, однако вдруг меня охватило смутное предчувствие, что не все здесь столь очевидно.

Попытаемся выяснить, сказал я себе, в самом ли деле я настолько провинился, что должен считать себя жалким эгоистом, пожертвовавшим актерской карьерой своей жены ради своих честолюбивых целей.

Вспомним, как в действительности обстояло дело. К тому времени, когда мы сделали оглашение о нашем предстоящем браке, она получала в театре уже только второстепенные, точнее даже, третьестепенные роли, так как ее повторный дебют на сцене провалился из-за отсутствия таланта, уверенности, яркости — одним словом, всего. В канун свадьбы ей вручили синюю тетрадку с текстом роли — там было всего два слова, которые произносила компаньонка в какой-то комедии.

Сколько слез, сколько горя принес брак, погубивший карьеру артистки, пользовавшейся когда-то успехом из-за титула баронессы, а теперь оторванной, и поделом, от искусства.

Конечно, в том крушении, которое началось тогда и которое после двух лет слез над все более тонкими тетрадками ролей привело к ее уходу из театра, повинен оказался именно я.

Когда ее театральная карьера подходила к своему печальному концу, я как раз добился успеха как романист, причем успеха серьезного, бесспорного. Так как я уже прежде писал для театра какие-то вещицы, я сразу же взялся за сочинение так называемой «хорошо сделанной» пьесы, то есть такой, которая потакает вкусам публики, с единственной целью обеспечить любимой столь желанный ею новый ангажемент.

Я взялся за это дело против воли, потому что давно уже считал необходимым обновить драматургию, но, жертвуя своими литературными убеждениями, написал пьесу по старым образцам, поскольку мне надо было во что бы то ни стало вывести мою дорогую

подругу перед публикой, всеми известными приемами швырнуть ее зрителям в лицо, обманным путем завоевать ей симпатию капризной толпы. Но тем не менее ничего не получилось.

Пьеса провалилась, актриса не смогла завоевать публику, принявшую ее враждебно из-за развода и нового брака, и директор поспешил расторгнуть договор, который ему ничего не сулил.

«Моя ли это была вина? — спросил я себя, потягиваясь на кровати, очень довольный собой после этого первого расследования. — Ах, как хорошо иметь чистую совесть!» — воскликнул я. И со спокойным сердцем двинулся дальше.

Печальный, мрачный год проходит в слезах, невзирая на радость от рождения желанной дочери.

Внезапно театральная жажда охватывает ее с новой силой. Мы бегаем к директорам всех театров, врываемся к ним без разрешения, занимаемся саморекламой, лезем из кожи вон, но безуспешно, отовсюду нас выпроваживают, все советуют отступить.

Подавленный провалом своей пьесы, тем более неприятным, что я только завоевывал себе имя в литературе, я больше не намеревался сочинять дурные комедии и не собирался разрушить наш брак из-за преходящего каприза, с меня хватало и тех горестей, которые были неизбежны.

И все же я не выдержал характера и, используя свои связи с одним финским театром, добился для жены серии гастрольных выступлений.

Таким образом, я сам дал розги, чтобы меня высекли. Вдовец, холостяк, глава семьи и повар в течение целого месяца! И малым утешением мне были те две охапки цветов и венки, которые она привезла в наш семейный дом.

Но она была такой счастливой и прелестной, она так помолодела, что мне пришлось тут же отправить директору просьбу о заключении с ней контракта на постоянную работу.

Вы только подумайте! Я решаюсь покинуть свою страну, своих друзей, свою работу, своего издателя ради каприза. Но что поделаешь! Либо любишь, либо нет.

К счастью, директор не смог принять в труппу актрису, не имеющую репертуара.

«А виноват, значит, я? Вот так!» Я млею от восторга на постели.

Ах, как, оказывается, полезно время от времени проводить расследование, как это делают англичане. Я испытываю огромное облегчение и чувствую новый прилив сил.

Посмотрим, что было дальше! Рождаются дети, один за другим — первый, второй, третий. Пожинаем, что посеяли. А театральная жажда все не иссякает. С ним надо как-то совладать. В это время как раз открывается новый театр. Что может быть проще: я предложу им новую пьесу, на сей раз пьесу о женщине, пьесу, возможно, сенсационную, поскольку женский вопрос привлекает теперь внимание общества.

Сказано — сделано, потому что, как вы знаете, либо любишь, либо не любишь.

Итак, драма с главной женской ролью, соответствующий гардероб, колыбель с младенцем, лунная ночь, появление бандита, слабовольный, трусливый муж, души не чающий в своей жене (это — я), беременность (это уже что-то новое на сцене!), действие переносится в монастырь, ну и все прочее... Триумфальный успех актрисы и полный провал автора. Провал... Да!

Она была спасена, а я погиб, пошел ко дну.

Несмотря на все, — на ужин в ресторане за 100 франков для директора театра, на штраф в 50 франков, уплаченных в префектуре за слишком громкие выкрики «виват» в ночное время, — нового ангажемента, увы, не намечалось.

Но моей вины в этом не было!

Кто же из нас жертва? Кто мученик? Сомнений нет — я! И тем не менее я чудовище в глазах всех порядочных женщин, потому что помешал карьере своей жены и загубил ее талант. Сознание это мучает меня долгие годы, причем настолько, что я даже не могу спокойно умереть. Сколько раз мне публично в лицо кидали горькие упреки. Ха! А на самом-то деле все было как раз наоборот. Карьера погублена, но чья? И кем?

Меня терзают жестокие подозрения, и доброе настроение улетучивается при мысли, что я мог бы оказаться для потомков погубителем таланта и не нашлось бы защитника, который обелил бы меня.

Остается промотанное приданое.

Помню, мне посвятили даже фельетон под названием «Расстратчик приданого», помню также очень четко случай, когда мне бросили в лицо, что моя жена содержала своего мужа. Это приятное замечание заставило меня зарядить револьвер шестью пулями. Что ж, докопаемся и здесь до истины, раз люди пожелали в этом копаться, рассудим и это дело, раз люди сочли приличным судить о нем.

Приданое моей жены номинально исчислялось десятью тысячами франков, однако эта сумма была не в наличных деньгах и не в гарантированных процентных бумагах, а в сомнительных акциях, которые мы заложили в банке на мое имя, получив за них, как и положено, лишь пятьдесят процентов их биржевой стоимости. Когда же наступил всеобщий крах, акции эти почти полностью обесценились, потому что в этот критический момент их оказалось невозможно продать. Это был факт, с которым прежде мало сталкивались, но так или иначе я был вынужден внести в банк сполна всю сумму моего займа, то есть пятьдесят процентов ее капитала. В дальнейшем эмиссионный банк возместил жене двадцать пять процентов всей суммы в соответствии с дивидендом наличности банка к моменту краха.

Вот задача для математиков. Сколько же я промотал? Выходит, нисколько. За акции, которые нельзя продать, держатель может получить не номинальную, а лишь их реальную стоимость, то есть ничего, но заложив их, я все же обеспечил, так сказать, прибавочную стоимость в размере двадцати пяти процентов.

Вот это да! Неужели я окажусь невиновным в этом деле, как и в первом!

А как же угрызения совести, приступы отчаяния, постоянные мысли о самоубийстве! И подозрения, былое недоверие, чудовищные подозрения снова терзают меня, и я прихожу в бешенство при мысли, что был готов умереть жалким неудачником. Я был перегружен заботами и работой, у меня никогда не было времени разбираться во всех этих слухах, намеках, ядовитых насмешках, и пока я весь без остатка отдавался своим трудам, из клеветы завистников и болтовни в кафе рождалась коварная легенда. Черт подери! Подумать только, что я верил всем, кроме самого себя!

Может быть, я вовсе не сумасшедший и никогда не был ни душевно больным, ни дегенератом. Может быть, я просто оказался в дураках, может быть, я обманут любимой обольстительницей, и ее маникюрные ножницы обрезали у Самсона волосы, когда он положил ей на колени голову, отяжелевшую от забот и трудов ради нее и ее детей!

Исполненный доверия, ни о чем не подозревая, я, быть может, потерял честь, пока спал целое десятилетие в объятиях чаровницы, потерял мужественность, волю к жизни, ум, свои пять чувств, и даже больше того!

Быть может, — об этом было даже стыдно подумать! — под завесой тумана, в котором я брожу, как призрак, все эти годы, свершается преступление. Маленькое неосознанное преступление, вызванное смутной жадой власти, тайным стремлением самки взять верх над самцом в этом поединке, который мы зовем браком.

Сомнений нет, я был обманут! Меня соблазнила замужняя женщина, и я был вынужден на ней жениться, чтобы прикрыть ее беременность и тем самым спасти ее театральную карьеру. По брачному договору у нас раздельное владение имуществом и паритетное участие в текущих расходах, но после десяти лет брака я оказался разоренным, ограбленным, потому что один обеспечивал семью. И теперь, когда моя жена гонит меня прочь, как ничтожество, не способное даже содержать свой дом, и рассказывает всем, что я соблазнитель и растратчик ее воображаемого состояния, она в действительности должна мне сорок тысяч франков, составляющих ее долю, в соответствии с договоренностью в день нашего бракосочетания в церкви.

Она — моя должница!

Решив выяснить все до конца, я встал, вернее, вскочил с постели, как тот парализованный из Евангелия, отбросил воображаемые костыли и торопливо оделся, чтобы поскорее увидеть жену.

Сквозь приоткрытую дверь взору моему предстала прелестная картина. Она лежала на разобранной постели, ее красивая головка утопала в белых подушках, по наволочке рассыпались змейками растрепанные волосы цвета пшеницы, а плечи, выскользнувшие из кружевной рубашки, свидетельствовали о девственной упругости груди. Под мягкой периной в бело-красную полоску угадывалось хрупкое изящное тело и крошечные ножки безупречных линий,

а их розовые пальчики венчались совершенными по форме, прозрачными ногтями. Она — подлинный шедевр, сделанный из живой плоти по образцам античных мраморных статуй. Исполненная целомудренного счастья материнства, она с беззаботной улыбкой глядела на своих трех пухлых малышей, которые взбирались к ней на кровать, утопая в полосатой перине, как в стоге только что скошенных цветов.

Обезоруженный этим дивным зрелищем, я сказал себе: «Берегись, когда пантера играет со своими щенятами».

Укрощенный, покоренный ее величием матерью, я вошел нетвердой походкой, робея, будто школьник.

— Вот ты и встал, милый! — приветствовала она меня с удивлением, но без той радости, которую мне хотелось бы увидеть.

Я начал что-то запутанно объяснять, не в силах отдышаться из-за детей, которые полезли мне на спину, когда я нагнулся, чтобы поцеловать мать. «Неужели она преступница?» — спрашивал я себя уже у двери, побежденный оружием благопристойной красоты, чистосердечной улыбкой этого рта, который никогда не был осквернен ложью. Нет, тысячу раз нет!

Итак, я удалился, убежденный в ее невинности, но тут же меня одолели жестокие сомнения. Почему мое выздоровление, на которое уже не было ни малейшей надежды, оставило ее равнодушной? Почему она не осведомилась, как протекала моя лихорадка, не поинтересовалась подробностями минувшей ночи? И чем объяснить это выражение чуть ли не разочарования на ее лице, пожалуй, даже неприязненного удивления, когда она увидела меня живым и здоровым, и эту насмешливую снисходительную ухмылку, исполненную чувства превосходства! Уж не питала ли она слабой надежды обнаружить меня нынче утром мертвым и тем самым освободиться от безумца, который делал ее жизнь невыносимой? Она получила бы жалкую тысячу франков страховки, но они помогли бы ей проложить новый путь к своей цели? Нет, тысячу раз нет!

И все же сомнения терзали меня, сомнения во всем — и в честности жены, и в моем отцовстве, и в моем душевном здоровье, они вбивались в мой мозг, словно гвозди, не давая ни отдыха ни срока.

Во всяком случае, с этим состоянием надо было покончить, положить решительный предел этим опустошающим мыслям. Я должен наконец узнать правду или умереть. Либо здесь скрывается преступление, либо я сошел с ума. Мне остается одно — выяснить правду. Обманутый муж! Ну и пусть, лишь бы только знать, чтобы спасти себя юмором висельника! Есть ли на свете мужчина, уверенный в том, что он единственный избранный? Окинув мысленным взором всех друзей моей юности, ныне женатых, я выискал только одного, которому не изменяла жена, остальные же, счастливычки, ни о чем не подозревают. Ах, эти счастливычки. Стоит ли быть мелочным? Один ли ты владеешь женщиной или делишь ее с кем-то, какая разница! Но не знать этого смехотворно. Главное — знать! Живи иной муж хоть сто лет, он все равно ничего не

узнает о жизни своей жены. Он может постигнуть законы общества, вселенной, но о той, которая связана с его жизнью, он все равно не будет иметь ни малейшего представления.

Вот почему этот несчастный господин Бовари так крепко засел в памяти всех счастливых супругов. Но я желаю знать! Знать, чтобы отомстить. Да полноте, что за глупости! Кому мстить? Счастливым избранникам? Но они лишь воспользовались своим правом самца. Или жене? О, не надо быть мелочным. Да и как можно губить мать этих ангелочков? Об этом и речи быть не может.

Но мне непременно надо знать. И с этой целью я решил произвести расследование, глубокое, тайное, научное, если угодно, используя при этом все возможности психологии, не пренебрегая ни внушением, ни чтением мыслей, ни нравственными пытками и не гнушаясь также взломами и кражами, перехватом писем, фабрикацией фальшивок, подделкой подписей — одним словом, ничем. Что это — навязчивая идея, одержимость маньяка? Не мне об этом судить. Пусть просвещенный читатель бесстрастно произнесет свой приговор, прочитав эту чистосердечную книгу. Быть может, он обнаружит в ней зачатки физиологии любви, крохи патопсихологии, а также немного философии преступления.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Тринадцатое мая 1875 года. Стокгольм. Я и сейчас вижу себя в просторном зале Королевской библиотеки, занимающей целое крыло дворца. Этот двусветный зал, стены которого обшиты потемневшим от времени буком цвета хорошо обкуренной пенковой трубки, украшен рокальными картушами, резными гирляндами, цепями, гербами и опоясан на уровне второго этажа галереей с витыми тосканскими колонками, а если глядеть на него с этой галереи, то он кажется бездонной бездной. Сотни тысяч книг, стоящих на полках, подобны гигантскому мозгу, хранящему мудрость ушедших поколений. Плотные шеренги книжных шкафов трехметровой высоты разделены на два отдела проходом, подобным аллее, пересекающим зал из конца в конец. Солнечные лучи проникают сюда из дюжины окон и играют на корешках тесно уставленных томов: пергаментных, с золотым тиснением — эпохи Возрождения, из черной кордовской кожи с серебряными накладками — XVII века, из телячьей шкуры с киноварным обрезом — XVIII века, и современных, из зеленого имперского шевро или простых, из обычного картона. Богословы соседствуют здесь с чернокнижниками, философы — с естествоиспытателями, историки — с поэтами. Спрессованные мысли всех эпох образуют как бы геологический срез, свидетельствующий об эволюции как человеческой глупости, так и человеческого гения.

Я и сейчас вижу, как стою там на галерее и разбираю груды книг, полученных библиотекой в дар от одного знаменитого библиофила, который оказался настолько предусмотрительным, что обеспечил себе бессмертие, наклеив на каждый шмуцтитул свой экслибрис с девизом: *Speravit infestis*¹.

Суеверный, как все атеисты, я был под впечатлением этого изречения, которое вот уже целую неделю попадаетея мне на глаза, как только я открываю какую-нибудь книгу. Этот господин, потомок шести епископов, не терял надежду в превратностях судьбы, и это было для него великое благо. А вот я потерял всякую надежду пристроить мою трагедию в пять актов, шесть картин и три перемены, а чтобы продвинуться по службе, мне надо было похоронить целых семь сверхштатных сотрудников библиотеки, так и пышущих здоровьем, притом четверо из них уже имели оклад.

¹ Надейся и в горе (*лат.*).

Когда ты в двадцать восемь лет получаешь мизерное жалованье в двадцать франков в месяц, да еще у тебя в мансарде валяется трагедия в пять актов, то легко впасть в современный пессимизм, этот обновленный скептицизм, но только приспособленный для неудачников, как компенсация за то, что не каждый день удается пообедать и приходится носить видавший виды плащ.

Я был действительный член ученой богемы, скроенной по патрону старой артистической богемы, сотрудник серьезных газет и многословных журналов, где плохо платят, акционер анонимного общества по переводу «Философии бессознательного» Эдуарда Гартмана, а кроме того, член тайной лиги сторонников свободной, но не бесплатной любви, обладатель весьма неопределенного титула Королевского секретаря и автор двухактной пьесы, которую играли в Королевском театре, и при всем этом мне стоило немалых трудов раздобывать пищу, необходимую для поддержания своего убогого существования. Таким образом, не удивительно, что я невзлюбил жизнь, но это вовсе не значит, что я не хотел больше жить, совсем наоборот, я из кожи вон лез, чтобы тянуть подольше это свое запутанное существование и продолжить себя и свой род. Надо признаться, что пессимизм, буквально понимаемый лишь непосвященными — его путают с ипохондрией, — позволяет на самом-то деле весьма бодро и утешительно глядеть на окружающий тебя мир. Поскольку все есть в конечном счете ничто и имеет лишь относительную ценность, то выходит, волноваться решительно не из-за чего. Поскольку истина также понятие не абсолютное и зависит от предлагаемых обстоятельств — ведь недавно открыли, что вчерашняя истина превращается в завтрашнюю ложь или глупость, — то стоит ли тратить свои юные силы на открытие новой лжи или глупости? Поскольку несомненной является только смерть, то давайте жить. Для кого, для чего? Реставрация старых порядков, которые были упразднены в конце прошлого века, завершилась у нас восшествием на престол Бернадота, разочаровавшегося якобинца, а поколение тысяча восемьсот шестидесятого года, к которому и я принадлежу, поняло, что все его надежды напрасны, как только произошла парламентская реформа, объявленная с таким шумом. Две палаты, сменившие прежние четыре, состояли в основном из крестьян, и сейм превратился в своего рода муниципальный совет, где они собирались по взаимному согласию обсуждать всякие мелкие расходы, оставляя в стороне все вопросы прогресса. Политика явилась нам как некий компромисс между общественными и личными интересами, а от последних остатков веры в то, что тогда называлось *идеалом*, у нас остались лишь горькие принципы, которых мы и придерживались. Добавим к этому и религиозную реакцию после смерти Карла XV, в период влияния королевы Софии Нассауской, и тогда мы найдем для просвещенного пессимизма причины не только личного характера.

Тем временем, задохнувшись от книжной пыли, я открываю окно, выходящее на Двор Львов, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом и полюбоваться видом. Сирень цветет, ее ветки

колышет легкий ветерок, напоенный запахом тополиного пуха, жимолость и дикий виноград уже начали обвивать решетчатую ограду, но акация и платаны не спешат, зная о капризах мая. И все-таки это уже весна, хотя остовы деревьев и кустов еще виднеются под молодой листвой. Над балюстрадой из колонок, увенчанных дельфтскими фаянсовыми вазонами с синими монограммами Карла XII, высятся у причала мачты пароходов, расцвеченных сигнальными флагами в честь майского праздника. Еще дальше виднеется бутылочно-зеленая вода бухты, стиснутой с двух сторон берегами, поросшими лиственными и хвойными деревьями. Все суда на рейде тоже украшены национальными флагами, символизирующими разные страны: английский флаг с красным, как непрожаренный ростбиф, полем; испанский желто-алый флаг, подобный полосатым тентам мавританских балкончиков; звездный тик флага Соединенных Штатов; веселое французское трехцветье соседствует с унылым, вечно траурным флагом Германии с трефовым тузом у древка; датский флаг, напоминающий дамскую блузку, и опрокинутая трехцветка флага Российской империи. Все это чуть ли не впритык друг к другу раскинуто на темно-синей скатерти северного неба. Грохот экипажей, трели свистков, перезвон корабельных рынд, скрип подъемных кранов. Запахи машинного масла, селедки, сыромятной кожи, колониальных пряностей, смешанные с ароматом сирени и освеженные дующим с моря восточным ветром, который приносит с собой суровое дыхание плавучих льдин Балтики.

Повернувшись спиной к книгам, я высунулся из окна, чтобы омыть в этой ванне впечатлений все мои пять чувств, и как раз в этот момент духовой оркестр дефилирующего караула грянул марш из «Фауста». Музыка, флаги, синее небо, цветы — все это меня настолько опьянило, что я не заметил, как пришел посыльный, принес почту. Он похлопал меня по спине, вручил мне письмо и тут же исчез.

Это было письмо от женщины. Я нетерпеливо распечатал его, почуввав, что оно принесет мне удачу. Принесет наверняка!

«Назначаю вам свидание сегодня после обеда, ровно в пять часов, перед домом номер 65 на улице Регентства. Знак, чтобы вы меня узнали: свернутые в трубочку ноты».

Совсем недавно меня обманула одна юная дьяволица, она очень ловко провела меня, поэтому я был готов на любое приключение, без разбора, заранее поклявшись себе не огорчаться в случае неудачи. И все же это письмо было мне неприятно своим тоном, слишком уж уверенным, чуть ли не повелительным, который оскорблял мое достоинство самца. Как это неизвестная мне особа посмела так внезапно напасть на меня, не оставляя никаких путей к отступлению. Хорошего же мнения эти дамочки о нашей мужской доброте, нечего сказать! Они, видите ли, не разрешения спрашивают, а повелевают нами. К тому же я был приглашен сегодня после обеда поехать с компанией за город, так что у меня решительно не было никакой охоты вдвоем прогуливаться среди бела дня по

центральной улице. Тем не менее ровно в два часа пополудни я отправился на встречу со своими товарищами, которая была назначена в лаборатории нашего химика. В передней уже толкались магистры и кандидаты всевозможных наук, в том числе и философских и медицинских, и всем им не терпелось поскорее узнать подробности относительно предстоящего кутежа.

Выслушав мои извинения по поводу того, что я не смогу нынче вечером составить им компанию, собравшиеся потребовали, чтобы я изложил причины, мешающие мне участвовать в вечерней оргии. Я показал полученное письмо одному зоологу, который, как считалось, собаку съел в такого рода делах, но тот лишь покачал головой и изрек следующую сентенцию:

— Пустое!.. Дело пахнет браком, семейным очагом, а не продажной любовью... Впрочем, поступай как знаешь. Пойди туда, потом приезжай с нею к нам в парк, если будет охота, а она окажется не такой, как я полагаю.

Таким образом, в указанный час я стоял на тротуаре в условленном месте, ожидая появления прекрасной незнакомки.

Свернутые в трубочку ноты — это нечто вроде брачного объявления в газете. И я заколебался, подойти ли мне, когда увидел женщину, первое впечатление от которой было — для меня это важно — крайне неопределенным. Неопределенным мне показался ее возраст, может, двадцать девять, но может — и сорок два, и причудливая одежда — ее равным образом можно было принять за артистку и за синий чулок, за маменькину дочку и за девицу, лишенную предрассудков, за эмансипированную барышню и за кокетку. Она представилась мне как невеста одного моего давнишнего приятеля — оперного певца, который пообещал ей мое покровительство, что, как выяснилось в дальнейшем, было ложью.

Она разыгрывала из себя эдакую беспрестанно щебечущую пичужку и уже через полчаса принялась поверять мне все, что чувствует и думает, но поскольку меня это нимало не интересовало, я спросил у нее, чем могу быть ей полезен.

— Мне выступать в роли наставника молодой барышни?! Да неужто вы не знаете, что я дьявол во плоти?

— Вам нравится так думать, но мне про вас все известно, — возразила она. — На самом деле вы просто-напросто несчастны и вас надо спасти от черной меланхолии.

— Ах, вот, значит, как! Вы полагаете, что видите меня насквозь, а в действительности вы знаете лишь устаревшее мнение, которое сложилось на мой счет у вашего жениха.

На эту фразу ей возразить было нечего. Но она оказалась в курсе всего и считала, что и на расстоянии умеет читать в сердце мужчины. Она была одной из тех прилипчивых натур, которые жаждут власти над умами и проникают ради этого в самые потаенные уголки души своих знакомцев. Она вела огромную переписку, забрасывая письмами всех мало-мальски известных людей, давала им советы, подстегивала честолюбие у тех, кто помоложе, и мнила,

что решает чьи-то судьбы. Она жаждала власти и поэтому объявила себя спасительницей заблудших душ, всем покровительствовала и полагала, что именно ей предначертано судьбой заняться моим спасением. Короче говоря, она была чистокровной интриганкой, обладавшей небольшим умом, но огромной женской смелостью.

Я взялся подтрунивать над ней, не щадя при этом ни свет, ни людей, ни самого господа бога. Тогда она объявила, что я насквозь прогнул.

— Да помилуйте! Мои свежие мысли, мысли нового времени кажутся вам прогнившими, а ваши, взятые напрокат из ушедшей эпохи, все то, что еще в дни моей юности казалось отжившим и набило всем оскомину, представляются вам чуть ли не откровением. Вы подаете мне консервы в плохо запаянных жестяных банках, а воображаете, что это свежайшие плоды. Увы, они уже дурно пахнут.

Она пришла в ярость и, вконец сбита с толку, резко со мной попрощалась.

Инцидент был исчерпан, и я тут же направился в парк, где уже кутили мои приятели, и мы провели всю ночь без сна.

На следующее утро, когда я вознамерился было опохмелиться, мне опять принесли письмо, полное женского чванства, но и снисходительности, изобилующее упреками, выражениями сочувствия и пожеланий скорейшего душевного выздоровления, в конце же она назначала мне новое свидание, чтобы совместно навестить престарелую матушку моего друга.

Как светский человек, я был готов вытерпеть и это новое испытание, и, чтобы отделаться, как говорится, малой кровью, я напялил на себя маску полнейшего равнодушия к миру, богу, да и ко всему остальному тоже.

Что это была за встреча! В отороченном мехом, стянутом в талии платье и шляпе а-ля Рембрандт, она выглядела на редкость привлекательно, вела себя с нежностью старшей сестры и сама избегала всех опасных тем. Таким образом, благодаря нашим взаимным усилиям угодить друг другу, между нами завязался не только оживленный, но и приятный разговор.

После визита к матери моего друга мы пешком пошли домой по весенним улицам.

То ли в силу некоего дьявольского промысла, то ли от желания взять реванш, поскольку накануне я играл омерзительную роль исповедника, я сказал ей, что почти обручен, что, впрочем, было лишь полuloжью, так как я усиленно ухаживал за одной молодой особой.

В ответ она, будто старуха, принялась сочувствовать этой бедной девице, расспрашивать меня об ее характере, внешности, занятиях, общественном положении. Я набросал ее портрет с целью вызвать ревность, в результате чего наш дружеский разговор как-то сник. Оно и понятно — как только ангел-хранитель пронюхал о существовании соперницы, его интерес ко мне явно ослаб. И мы расстались, так и не преодолев возникшего между нами холода.

Свидание, тем не менее назначенное на следующий день, было заполнено разговорами о любви и о моей так называемой невесте.

Ей достаточно было недели, которую мы провели, гуляя или бегая по театрам и концертам, чтобы на правах своего рода наперсницы незаметно просочиться в мою жизнь. Наши ежедневные встречи включались в мой распорядок дня, и я уже не мог без них обойтись. В разговорах с образованной женщиной есть особое, чуть ли не чувственное наслаждение — прикосновение душ, объятия умов, интеллектуальные нежности.

В одно прекрасное утро она явилась ко мне глубоко взволнованная и стала цитировать наизусть пассажи из письма жениха, полученного накануне. Как выяснилось, он ее бешено ревновал. И тогда она призналась мне, что, встретившись со мной, действовала против его воли, потому что он настоятельно просил ее избегать меня, видимо, инстинктивно предчувствуя, что наша встреча к добру не приведет.

— Я не понимаю этой ужасной ревности, — сказала она мне с подавленным видом.

— Потому что вы ничего не понимаете в любви, — ответил я ей.

— Любовь!

— Да, любовь, которая есть не что иное, как возвышенное чувство собственности, а ревность — это страх потерять то, что так дорого.

— Фи, какая гадость! Собственность!

— Видите ли, это взаимная собственность. Возлюбленные принадлежат друг другу.

Она не желала так воспринимать любовь. Любовь — это чувство бескорыстное, возвышенное, целомудренное, которое невозможно выразить.

Хотя ее нареченный был от нее без ума, она его явно не любила, о чем я ей без обиняков и сказал.

Она пришла в страшное возбуждение и тут же призналась, что не любила его никогда.

— И вы намерены выйти за него замуж?

— Естественно. Иначе он пропадет.

Ясно, она ведь занимается спасением душ.

Она злилась все больше и стала меня уверять, что никогда не была его невестой.

Оказалось, что глали мы оба. Какое везенье!

Мне оставалось лишь объяснить с ней, заверив, что и моя помолвка тоже выдумка. Мы имели полную возможность воспользоваться нашей свободой.

Но как только она перестала ревновать, игра возобновилась с новой силой. Я письменно признался ей в любви, и она тут же запечатала мое письмо в конверт и отослала его своему бывшему возлюбленному, который незамедлительно принялся оскорблять меня при помощи почтовых отправлений.

Тогда я потребовал от нашей прелестницы, чтобы она сделала свой выбор и остановилась на одном из нас. Но это никак не входило

в ее намерения, ей хотелось выбрать нас обоих, а если можно, то троих, четверых, чем больше, тем лучше, лишь бы они валялись у ее ног и молили о праве ее обожать.

Мое мнение сложилось окончательно: она была кокетка, пожира-тельница мужчин, целомудренная полигамистка. И все же я влюбился в нее, поскольку мне опостылела продажная любовь и наску-чило одиночество в моей мансарде.

К концу ее пребывания в столице я пригласил ее посетить библиотеку с намерением ослепить ее, покрасоваться перед ней в обстановке, которая не могла не оказать на нее подавляющего впечатления, несмотря на ее птичьи мозги и высокомерную манеру держаться. Я таскал ее из галереи в галерею, демонстрируя свои библиографические знания, заставил любоваться средневековыми миниатюрами, автографами знаменитых людей, излагал важней-шие исторические эпизоды, описанные в хранящихся здесь ману-скриптах, показывал инкунабулы, и в конце концов она почувство-вала неловкость от сознания своего невежества.

— Да вы же настоящий ученый! — воскликнула она.

— Конечно.

— Бедный актеришка, — пробормотала она, вспомнив своего несостоявшегося жениха.

Казалось, можно не сомневаться, что актер отныне отвергнут раз и навсегда. Однако ничуть не бывало. Лицедей грозил мне в письмах револьвером, обвиняя меня в том, что я похитил у него возлюбленную, которую он, несчастный, отдал под мою защиту. В своем ответе я дал ему понять, что ничего у него не похищал, да он и не мог мне ничего доверить, поскольку сам ничем не рас-полагал. На этом наша переписка прекратилась, и установилось молчание.

Приближался день ее отъезда. Накануне нашей прощальной встречи я получил от нее взволнованное письмо, в котором она сообщала мне о моей необычайной удаче. Оказывается, она прочитала мою трагедию каким-то своим знакомым из высшего общест-ва, у которых большие связи в дирекции театра. Пьеса произвела такое сильное впечатление на указанных господ, что они выразили желание непременно познакомиться с автором. Все подробности она мне расскажет при встрече нынче в полдень.

В назначенный час она потащила меня по магазинам, чтобы сделать последние покупки, не прекращая при этом рассказывать о состоявшейся читке пьесы. Хорошо зная мое отвращение ко всяким покровителям, она пускала в ход самые веские аргументы, чтобы меня переубедить. А я отбивался как мог:

— Но, дорогая, мне отвратительно звонить в чужие двери, представлять перед незнакомыми людьми, болтать о чем попало, только не о главном, и просить, словно нищий, о помощи того или другого из сильных мира сего...

Я не успел договорить своей тирады, как она вдруг остановилась перед молодой дамой, одетой с изысканной элегантностью. Она представила меня госпоже баронессе N, которая произнесла

несколько фраз, но я их едва разобрал из-за шумной толпы, наводнившей тротуар. Я пробормотал в ответ несколько бессвязных слов, досадуя, что попал в западню, подстроенную этой хитрой бестией. Заговор, да и только.

Баронесса ушла, повторив приглашение, которое мне уже успела передать моя пассия.

Эта молодая женщина поразила меня своим обликом, тем, что у нее был вид девчонки, чуть ли не ребенка, хотя я знал, что ей уже исполнилось двадцать пять лет. Головка школьницы, прелестное личико, обрамленное непокорными колечками светлых волос цвета спелой пшеницы, плечи принцессы, талия гибкая, как лоза, и особая манера склонять головку, выражая этим одновременно искренность, почтительность и свое превосходство. И представьте себе, эта юная мать-девственница осталась жива-здорова после пережитой мною трагедии!

Жена гвардейского капитана, мать трехлетней дочки, она безумно увлеклась театром, не имея при этом никакой надежды попасть на сцену из-за того, что ее муж и, еще в большей степени, свекор, назначенный камергером двора, занимали слишком высокое положение в обществе.

Вот как обстояли дела, когда пароход развеял мои майские грезы, увозя мою красавицу к лицедею, который с того времени присвоил себе все мои права, и в частности забавлялся тем, что вскрывал мои письма к его любимой в отместку, видимо, за подобные мои поступки по отношению к его эпистолам, которые мы еще недавно вместе читали во время наших с ней встреч.

На трапе парохода, во время нашего нежного прощания, она заставила меня поклясться, что я навещу баронессу в самые ближайшие дни, и все точки над «и» были поставлены.

После того как прекратились наши встречи, столь непохожие своими романтическими мечтаниями на заливчатские дебоши ученой богемы, осталась пустота, которую необходимо было чем-то заполнить. Дружба с женщиной своего круга, отношения между двумя личностями разного пола вновь пробудили во мне потребность в утонченном общении, давно искорененную у меня семейными неурядицами.

Чувство очага, убитое жизнью в кафе, вдруг опять расцвело от общения с женщиной очень обыденной, но честной в самом вульгарном смысле этого слова. В результате всего этого я однажды вечером около шести часов оказался перед дверью дома, расположенного на Северном бульваре.

Какое фатальное совпадение! Это оказался мой родной дом, где я провел самые тяжкие годы своего отрочества, пережил тайные бури мужского созревания, смерть матери, приход в дом мачехи. Мне вдруг стало так плохо, что захотелось повернуть назад и бежать без оглядки из страха, что на меня снова нахлынут все горести детских лет. Двор ничуть не изменился, он был точь-в-точь таким, как прежде: те же огромные ясени. О, сколько весен кряду я с нетерпением ждал появления первых зеленых листиков

на их ветвях! Мрачный дом нависал над обрывом песчаного карьера, и угроза обвала, ожидаемого уже многие годы, заставила хозяев снизить квартирную плату.

Несмотря на чувство подавленности, вызванное тяжелыми воспоминаниями, я взял себя в руки, вошел в подъезд, поднялся по лестнице и позвонил. Услышав звонок, я представил себе, что мне сейчас откроет отец. В проеме двери появилась прислуга и тут же исчезла, чтобы доложить о моем приходе. Мгновенье спустя вышел барон и приветствовал меня самым сердечным образом. На вид ему можно было дать лет тридцать, он был высокого роста, правда несколько тучен, но благородной осанки и отличался изысканно светскими манерами. Его большое, чуть одуловатое лицо освещалось ярко-синими глазами, взгляд которых, однако, показался мне печальным, так же как и его улыбка, переходящая в горькую усмешку, за которой, видно, скрывались пережитые разочарования, неосуществленные намерения и несбывшиеся надежды.

Гостиная — та комната, где у нас в свое время помещалась столовая, — была обставлена не без артистизма, но несколько небрежно. Барон носил фамилию не менее прославленную в отечественной истории, чем Конде или Тюрен во Франции, и смог, в силу этого, собрать коллекцию семейных портретов времен Тридцатилетней войны. Со стен глядели господа в отливающих серебром латах и в париках а-ля Людовик XIV на фоне пейзажей в духе дюссельдорфской школы. Со старинной мебелью, заново отполированной и позолоченной, соседствовали вполне современные стулья и пуфы, и все это было расставлено таким образом, что в просторной гостиной, которая так и дышала теплом, уютом и семейным покоем, не было ни одного пустого уголка.

Вошла баронесса. Она показалась мне прелестной, сердечной, простой, приветливой. Но я почувствовал в ней какое-то напряжение, едва уловимое смущение, что ли, которое меня сковывало, пока я не догадался о его причине.

Шум, доносящийся до нас из соседней комнаты, свидетельствовал о присутствии гостей. И в самом деле, там собрались родственники молодых супругов, чтобы играть в вист. Минуту спустя я уже был в обществе четырех членов их семьи: камергера, капитана в отставке, матери и тетки баронессы.

Как только старшее поколение уселось за игорный столик, между нами, представителями, так сказать, молодежи, завязался разговор. Барон признался в своем пристрастии к живописи, рассказал, что в юности учился в Дюссельдорфе, получив стипендию от покойного короля Карла XV. Так я нащупал отправную точку для установления контактов, поскольку и я был бывшим стипендиатом этого короля, как драматический автор.

И завязался разговор о живописи, театре, личности нашего покровителя. Однако постепенно наш пыл поостыл, возможно, из-за присутствия пожилых людей, которые время от времени встревали в наш разговор, всякий раз внося какой-то разнбой

или касаясь заведомо больных мест, так что вскоре я почувствовал себя сбитым с толку и растерянным в такой разношерстной компании.

Я встал, чтобы откланяться. Барон и баронесса вышли в прихожую меня проводить, и как только они очутились вне поля зрения старших, они словно скинули с себя маски и пригласили меня отобедать у них в следующую субботу в узкой компании. Мы поболтали еще несколько минут на лестничной площадке и расстались друзьями.

В указанный день я явился в три часа на Северный бульвар. Меня приняли как старого друга и сразу же ввели в курс их семейной жизни. Интимный обед шел под аккомпанемент взаимных исповедей. Барон, недовольный своим положением, принадлежал к противникам нового режима, установившегося после восшествия на престол короля Оскара. Невероятная популярность его умершего брата вызывала у него чувство ревности, и, оказавшись у власти, он старался отодвинуть в тень всех, кого привечал его предшественник. Таким образом друзья старого режима, отличавшегося духом терпимости, весельем, стремлением к прогрессу, оказались все в лагере просвещенной оппозиции, но они, однако, не участвовали в низменной борьбе политических партий.

Эти разговоры пробудили воспоминания об ушедших временах, и, таким образом, наши сердца нашли путь друг к другу. Все мои давнишние предубеждения мелкого буржуа насчет высшего дворянства, которое отстранилось от дел после парламентской реформы 1865 года, тут же рассеялись, более того, возникла симпатия, смешанная с жалостью к тем, кого лишили былого величия.

Баронессу, по происхождению финку, иммигрировавшую лишь недавно, наши излишняя не волновали, она была вне этих проблем, но как только обед был закончен, она села за рояль и стала улаживать наш слух песенками, а потом мы с бароном, взявшись за исполнение дуэтов Веннерберга, неожиданно обнаружили у себя талант, и время пролетело незаметно. Мы решили прочесть вслух пьеску, недавно сыгранную в Королевском театре, соответственно распределив ее по ролям.

После всех этих разнообразных развлечений образовалась пауза, которая обычно возникает, когда слишком быстро выдыхаешься из-за чрезмерных усилий показать себя в самом выгодном свете и завоевать друг друга. Меня охватила та же апатия, что во время нашей первой встречи, и я умолк.

— Что с вами? — спросила баронесса.

— Здесь водятся привидения, — объяснил я. — Вы же знаете, я жил в этой квартире век назад, да, целый век прошел, раз я уже такой старый.

— И мы не в силах прогнать этих призраков! — воскликнула она с материнской нежностью.

— Есть лишь одно существо на свете, — вставил барон, — спо-

собное развеять черные мысли. Я ведь не ошибаюсь, вы жених мадемуазель Х.?

— Да что вы, барон, я остался с носом.

— Как же так? Неужели она дала слово другому? — удивилась баронесса.

— Лучше не спрашивайте!

— Как жаль! Эта юная особа — настоящая находка, и я не сомневаюсь, что уж во всяком случае она к вам привязалась.

Тут я стал поносить бедного лицедея. И мы все вместе обрушились на злосчастливого певца, который вознамерился заставить молодую девушку полюбить его, не считаясь с ее желанием, и в конце концов баронесса заверила меня, что во время своей поездки в Финляндию, которая должна вскоре состояться, она все уладит.

— Этому не бывать! — заявила она в гневе от мысли, что такую девушку хотят принудить к браку, хотя ее симпатии отданы другому.

Около семи часов вечера я встал, чтобы уйти, но меня так горячо упрашивали остаться, что я заподозрил недоброе: видимо, в этом браке, который длится всего три года и благословен появлением маленького ангелочка, царит скука.

На ужин ждали кузину баронессы, и им очень хотелось, чтобы и я остался, их интересовало мое мнение об этой девушке.

Во время всех этих переговоров прислуга принесла письмо и подала его барону. Он открыл конверт, тут же прочел письмо и, бормоча какие-то резкие слова, протянул жене.

— В это просто нельзя верить! — воскликнула она, пробежав его глазами.

И, видимо желая продемонстрировать всю меру дружеского ко мне расположения, баронесса, поглядев на мужа и дождавшись одобрительного кивка, стала вслух выражать свое возмущение:

— Подумать только, ведь это моя двоюродная сестра! Мой дядя и моя тетя, представьте себе, запрещают своей дочке ходить к нам, потому что в свете кто-то распространяет сплетни о моем муже!

— Уму непостижимо! Она же еще ребенок, милая, невинная, несчастная девочка, ей хорошо с нами, молодоженами, мы ее союзники, и этого оказалось достаточно, чтобы дать повод к злословью.

Возможно, скептическая улыбка выдала меня. Так или иначе, первый пыл возмущения угас, на его месте возникла какая-то растерянность, которую они пытались скрыть, предложив мне прогуляться по саду.

После ужина, часов в десять вечера, я попрощался уже окончательно и ушел, размышляя о том, что мне довелось увидеть и услышать за этот столь вещей для всего дальнейшего день.

При всей видимости счастья молодых супругов и несмотря на нежность их отношений, создавалось впечатление, что в доме, так сказать, спрятан труп. Озабоченные взгляды, сосредоточенность каждого на своем, оброненные намеки свидетельствовали о каком-то тайном горе, и я угадывал существование семейных секретов,

раскрытие которых меня страшило. «Почему, — рассуждал я, — они удалились от света, почему сами сослали себя в этот тихий уголок городской окраины?» Они напоминали мне людей, потерпевших кораблекрушение, так непомерно они радовались, что нашли хоть кого-то, кому тут же можно излить душу.

Особенно меня интриговала баронесса. Пытаясь воссоздать ее образ, я был поставлен в тупик сложностью сочетания самых разных черт, в которых мне нелегко было разобраться. Она была одновременно доброй, ласковой и жесткой, экспансивной, исполненной энтузиазма и крайне сдержанной, холодной и пылкой, казалось, ее терзают какие-то мрачные мысли или она вынашивает честолюбивые мечты. Хотя она и не блистала умом, она отнюдь не была ничтожеством и заставляла с собой считаться. Баронесса поражала удобой, будто она сошла с иконы византийского письма, и платье на ней ниспадало естественными и величественными складками, такими, какие рисуют на изображениях святой Цецилии. Сложена она была просто безупречно, изысканная красота ее рук и запястий приковывала взгляд. Время от времени несколько ожесточенные черты ее бледного миниатюрного личика вдруг озарялись вспышками безудержного веселья. Мне трудно было решить, кто из супругов верховодит в этом браке. Он, как солдат, привык командовать, но в силу своей конституции казался вялым и был покорным скорее от врожденного равнодушия, чем от отсутствия воли. Обращались они друг с другом вполне дружески, но без порывов, присущих первой любви, и мое появление на их сцене было, судя по всему, как нельзя более кстати, потому что уже назрела потребность освежить свои чувства, воскрешая для кого-то картины прошлого. Подводя итоги своим впечатлениям, я решил, что живут они лишь крохами прошлого и уже скучают вдвоем. Доказательством тому были те чересчур частые приглашения, которые, как из рога изобилия, посыпались на меня после того обеда.

В канун отъезда баронессы в Финляндию я отправился попрощаться. Стоял теплый июньский вечер, когда я вошел к ним во двор. Баронессу я застал в саду среди кустов кирказона. Она была в белом и из-за садовой ограды показалась мне неземным существом, ослепляющим какой-то невообразимой красотой. Ее белоснежное платье из пике, отделанное русскими кружевами — чудо мастерства какой-нибудь крепостной, — являлось подлинным шедевром. К тому же на ней были ожерелья, серьги и браслеты из алебастрового стекла, излучавшего какой-то особый свет, напоминающий мерцание свечи в стеклянном шаре, разукрашенном вытравленным царской водкой орнаментом. Этот теплый свет буквально озарял ее лицо с блестящими, черными как антрацит глазами, в то время как отсветы зеленых листьев трагическими тенями подчеркивали белизну ее щек и лба.

Да, ее облик потряс меня до глубины души, словно виденье. Жажда обожествления, так присущая мне, но загнанная на самое дно моего сознания, вдруг вырвалась наружу и заполнила зияю-

щую пустоту моей души. Религиозность была мною теперь изжита, но потребность в преклонении осталась, хоть и обрела новую форму. Бог был предан забвению, но его место заняла женщина, девственница и мать одновременно. Глядя на дочку баронессы, которая стояла рядом, я не мог себе представить, что девочка рождена этой женщиной. Интимные отношения барона и его супруги я никогда не воспринимал как чувственные, связь их представлялась мне бестелесной. Вот с этой минуты баронесса и предстала предо мной воплощением чистого и недоступного духа, обитающего в теле редкостного совершенства. Я обожал ее такой, какой она была — женой и матерью, женой именно этого мужа и матерью этой девочки. Но чувство мое было чисто платоническим. Поэтому присутствие барона во время наших встреч казалось мне совершенно необходимым, без него я не испытывал бы всей полноты счастья обожания. Ведь без мужа она была бы подобна вдове, а я решительно не уверен, что и тогда обожал бы ее с той же силой.

А будь она моей, иначе говоря, если бы она стала моей женой? Нет! Прежде всего, такая святотатственная мысль не могла даже родиться в моей голове. А кроме того, став моей женой, она перестала бы быть женой своего мужа, матерью своего ребенка, хозяйкой этого дома. Нет, она должна быть только такой, какой она была, либо вообще никакой!

Короче, дело ли здесь в суровости воспоминаний, связанных с домом, в котором она жила, или в моих инстинктах выходца из низшего сословия, восхищающегося высоким происхождением, чистотой голубой крови и теряющего уважение к обожаемому предмету, если он упадет со своего пьедестала, но ясно одно — благоговение, которое я испытывал к этой женщине, во всех отношениях смахивало на мою старую веру, от которой я только-только освободился. Благоговеть, жертвовать собой, страдать, не имея при этом и тени надежды получить за это что-либо, кроме радости от благоговения, от готовности приносить жертвы и страдать.

Я стал для нее чем-то вроде ангела-хранителя, но при этом решил наблюдать за ней по возможности тайно, чтобы сила моей любви не увлекла бы ее в конце концов. Я тщательно избегал оставаться с ней наедине, чтобы между нами не возникло доверительного разговора, который мог бы нанести ущерб ее мужу.

Однако когда я увидел ее в саду, в канун отъезда, она была одна. Мы обменялись какими-то незначительными словами. Но внезапно мое волнение передалось ей, взгляд моих пылающих глаз, видно, вызвал у нее желание открыться мне. Она будет сожалеть, это она предчувствовала и, не таясь, мне поведала, что разлучилась, пусть и на такой короткий срок, с мужем и дочкой. Она заклинала меня проводить с ним все мое свободное время, да и о ней не забывать в те дни, когда она будет защищать мои интересы перед молодой финкой.

— Вы любите ее всем сердцем, не правда ли? — спросила она, не спуская с меня пытливого взгляда.

— Не спрашивайте меня! — ответил я, совершенно подавленный необходимостью лгать.

С того дня я уже не сомневался, что мое весеннее увлечение было не любовью, а выдумкой, капризом — словом, ничем.

Из страха замарать ее моей так называемой любовью, боясь невольно завлечь ее в паутину своих чувств, желая хоть как-то оградить ее от себя, я резко оборвал наш разговор и спросил, где барон. Она надула губки, должно быть поняв, что скрывается за моей резкостью. Возможно даже, теперь я подозреваю, что так оно и было, ее забавляло волнение, которое охватило меня при виде ее красоты. Возможно также, что именно в этот момент она осознала, какой страшной волшебной властью обладает над этим Иосифом, таким с виду холодным и вынужденным быть целомудренным.

— Вам скучно со мной, — сказала она. — Сейчас позову на помощь барона.

И звонким голосом она позвала мужа.

Окно их квартиры на втором этаже распахнулось, и в нем показалось крупное, мужественное лицо барона, который с улыбкой глядел на нас. Минуту спустя он уже стоял с нами в садике. В парадной форме королевской гвардии, в темно-синем, расшитом серебряным галуном и желтым шелком мундире он был поистине великолепен и прекрасно дополнял эфемерную ослепительно белую фигуру стоящей рядом жены. Как привлекательно выглядела эта чета, когда каждый лишь подчеркивал достоинства другого! Это было подобно блестящему спектаклю, истинному произведению искусства!

После ужина барон предложил мне проводить на следующий день баронессу, которая отправлялась на пароходе в Финляндию. Мы могли бы немного проплыть с ней и сойти на последней пристани перед таможней. Предложение это было мною принято, и баронесса, как мне показалось, обрадовалась, предвкушая удовольствие провести всем вместе летнюю ночь на палубе парохода, огибающего шхеры.

Таким образом, вечером следующего дня мы втроем оказались на пароходе, который в десять часов отошел от пристани. Ночь была светлой, море синим и спокойным, на небе еще не погасло оранжевое зарево. Мы проплывали мимо берегов, покрытых лесом и освещенных этим странным полудневным светом, и, глядя на небо, трудно было решить, что это — закат или рассвет.

После полуночи в наших восторгах, которые подогревались все меняющимися пейзажами и пробужденными воспоминаниями, наступила пауза, сон валил нас с ног, хотя мы и не хотели ему подчиниться. Лица, освещенные чуть брезжущим светом рождающегося дня, были бледными, а от утреннего ветерка нам стало зябко. Нами вдруг овладела сентиментальность, мы решили, что будем навеки друзьями, что нас соединила сама судьба, и у всех троих возникло ощущение нерасторжимости нашей исполненной тайного смысла связи. Я был в то время хрупкого здоровья вслед-

ствие перенесенной лихорадки, выглядел, видимо, плохо из-за бессонной ночи, и они стали со мной обращаться как с больным ребенком. Баронесса укутала меня своей шалью из альпака, приказала пересесть, чтобы укрыться от ветра, налила мне из фляжки мадеры, разговаривала со мной, будто играя в дочку-матери, а я не возражал. От усталости я потерял всякий контроль над собой, мое сердце, до этого наглухо закрытое, вдруг распахнулось, и я, не привыкший к проявлениям женской нежности, секретом которой обладает только женщина-мать, принялся импровизировать, почтительно выражая свое обожание в поэтических грезах, которые могли родиться лишь в воспаленном от бессонницы мозгу. Все мои затаенные мечты этой ночи нашли вдруг свое воплощение, но воплощение туманное, расплывчатое, мистическое, а моя художественная фантазия, столь долго не имевшая выхода, породила переменчивые, воздушные видения. Я говорил без умолку, час за часом, черпая вдохновение в жадно устремленных на меня глазах, улавливающих каждое движение моей души. Я чувствовал, как мое слабое тело пожирается бешено работающим мозгом, и постепенно терял ощущение своего телесного существования.

Встает солнце, и тысячи озаряемых им островков будто начинают плыть по глади залива, желтые, цвета серы, лучи отражаются в окнах прибрежных домишек и заставляют вспыхивать основные ветви яркой медью. Дымы из труб свидетельствуют о том, что кофейники уже стоят на плитах, рыбаки поднимают паруса на своих баркасах, чтобы отправиться к выходу из залива и вытянуть сети, и истошно орут чайки, чужа приближающиеся косяки салаки.

На пароходе все еще царит тишина, пассажиры спят в трюме, и только мы трое по-прежнему стоим на задней палубе. За нами из рубки наблюдает полусонный капитан, видимо, его разбирает любопытство, о чем это люди могут говорить столько часов кряду.

В три часа утра из-за мыса появляется лодка лоцмана, которая нас разлучит.

Залив отделен от открытого моря лишь несколькими продолговатыми островами. Море бушует, и это уже чувствуется на пароходе, да и доносится гул волн, разбивающихся о последние крутые рифы.

Настала минута прощания. Они обнялись так горячо и порывисто, что невозможно было не разделить их печали. Потом она со слезами на глазах страстно сжала мою руку своими двумя, прося мужа обо мне позаботиться и одновременно умоляя меня утешать его во время его двухнедельного «вдовства».

Я склонился и, не думая ни о неуместности этого жеста, ни о том, что невольно раскрываю свои тайные чувства, поцеловал ей руку. Тем временем машина заглохла, пароход остановился, и к его борту пришвартовалась лодка лоцмана. Я сделал два шага по сходням и оказалась в лодке рядом с бароном.

Над нами возвышалась громада парохода, и мы увидели прелестную головку, склоненную над перилами палубы, ее детские

глаза, полные слез, выражали печаль, но она одарила нас прощальной улыбкой.

Снова заработал корабельный винт, гигант двинулся вперед, на корме его развевался русский флаг. Нас начало качать на волнах, но мы продолжали махать платками, влажными от только что утертых слез.

А личико баронессы все уменьшалось, прелестные черты сливались, и нам видны были только ее огромные глаза, их взгляд, но потом и это исчезло. Секунду спустя мы различали лишь легкую синюю вуаль на японской шляпе и трепетавший на ветру батистовый платочек, потом — одно белое пятнышко, наконец, точку, и все, — от нас удалялось бесформенное чудовище, окутанное вонючим дымом.

Мы с бароном поднялись на причал, где находились контора лоцманов и таможня. Летом эту пристань переоборудовали под купальню. Деревня была еще погружена в сон, и на дебаркадере не было ни души. Мы постояли, провожая глазами пароход, пока он не повернул направо и не исчез за мысом, служащим бухте последней защитой от моря.

В тот миг, когда пароход окончательно скрылся, барон судорожно обнял меня, сотрясаясь от слез, и мы простояли так некоторое время, ни слова не говоря.

Бессонная ли ночь вызвала эти слезы? Или мрачные предчувствия? Или просто сожаление по поводу разлуки? И теперь еще я не в силах ответить на эти вопросы.

Молча, не проронив ни слова, уныло добрались мы до деревни в надежде выпить кофе. Но харчевня была еще закрыта, и нам пришлось пошататься по улицам. Двери всех домов были тоже заперты и жалюзи опущены. В конце концов мы вышли из деревни и оказались в пустынной местности на берегу узкого залива. Вода в нем была прозрачная, и мы решили умыться. Тогда я раскрыл свой несессер и вынул из него чистый платок, мыло, зубную щетку и флакон с одеколоном. Барон с насмешкой наблюдал за моими приготовлениями, однако был благодарен за удовольствие, которое я ему доставил, одолжив все необходимое, чтобы свершить свой туалет в таком непригодном для этого месте.

Когда же мы вернулись в деревню, я уловил запах дыма в прибрежном ольшанике. Жестом я указал барону, что это последний привет, который принес нам морской ветер от давно уже скрывшегося с глаз парохода. Но барон оставил это без внимания.

В харчевне на моего друга было жалко смотреть: он клевал носом, лицо отекло от бессонной ночи, вид у него был печальный. Между нами возникла какая-то натянутость, он был погружен в свои мысли и упорно молчал. Однако время от времени он дружески прикасался к моей руке, просил извинить его рассеянность и снова впадал в необъяснимую прострацию. Я делал все, что мог, чтобы привести его в чувство, но настоящего контакта так и не получилось, то, что нас прежде объединяло, вдруг исчезло. Крупные черты его, еще недавно казавшиеся мне такими привлекательными,

на глазах обретали непредполагаемую вульгарность и грубость. Лицо его больше не освещалось прелестью и красотой обожаемой им женщины, и он постепенно принимал неприятный облик солдафона.

О чем он думал, я не знаю. Возможно, он разгадал мою тайну. Судя по неровности его поведения, он, видимо, был раздираем противоречивыми чувствами, он то пожимал мне руку и называл своим лучшим и единственным другом, то с неприязнью отворачивался от меня.

Я с ужасом понял, что оба мы можем жить только в ее присутствии, только для нее. Но стоило нашему солнцу зайти, как мы тут же поблекли.

Когда мы вернулись в город, я хотел было проститься с бароном, но он, помимо моей воли, упрямил меня пойти вместе с ним, и я подчинился.

Мы вошли в их опустевшую квартиру, и нам показалось, что оттуда только что вынесли покойника. И мы снова не смогли сдержать слез. Я был смущен и понял, что спасти меня может только юмор.

— Смешно, не правда ли, господин барон? Гвардейский капитан и королевский секретарь рыдают...

— Слезы облегчают душу, — сказал он и кликнул дочку, но приход ее лишь обострил боль разлуки с баронессой.

Пробило девять. Сил у нас больше не было, и он предложил мне лечь спать тут, в гостиной, на диване, сам же он ляжет в спальне. Он сунул мне под голову подушку, накрыл своей шинелью и пожелал спокойного сна, сердечно поблагодарив за то, что я не бросил его в одиночестве. В его братской нежности, несомненно, был отзвук отношения ко мне баронессы, которая полностью занимала все его мысли. Почти мгновенно погрузился я в тяжелый сон, но все же успел отметить, что он еще раз на цыпочках подошел ко мне, чтобы проверить, удобно ли мне спать на диване.

Проснулся я около полудня. Барон уже был на ногах. Одиночество его страшило, и он предложил отправиться вместе в парк и там пообедать. Так мы и сделали и провели весь день, говоря о разных разностях, но больше всего о том дорогом существе, без которого жизнь каждого из нас теряла всякий смысл.

В течение следующих двух дней я избегал встречи с бароном и уединился в библиотеке, полуподвалы которой представляли убежище, как нельзя более соответствующее состоянию моего духа. В просторном рокальном зале с окнами, выходящими во Двор Львов, некогда было размещено собрание скульптур, а теперь хранились древние манускрипты. Вот там я и скрылся от всего света. Я брал с полок первые попавшиеся рукописи, лишь бы текст был достаточно старым, чтобы отвлечь меня от недавних событий. Но по мере того, как я углублялся в чтение, современность проникала в прошлое, и пожелтевшие буквы письма королевы Кристины шептали мне признания баронессы.

Я не посещал своего обычного ресторана, чтобы не встречаться с друзьями. Я не хотел осквернять рта разговорами с еретиками, которые не должны были узнать о моей новой вере. Я ревновал себя к ним, поскольку отныне я весь, целиком, должен был принадлежать только ей. Когда я бродил по городу, мне хотелось, чтобы передо мной шли певчие и звонили бы в колокольчики, оповещающая уличную толпу о появлении новой святыни, заключенной в дароносице моего сердца. Я воображал, что ношу траур по королеве, и готов был просить прохожих снять шляпы перед покойницей — моей мертворожденной любовью, не имевшей ни малейшей надежды на жизнь.

На третьи сутки около часу дня меня вывела из оцепенения барабанная дробь во время смены караула гвардейцев, и вдруг зазвучал траурный марш Шопена. Я подбежал к окну и увидел барона, марширующего впереди расчета гвардейцев. Он приветствовал меня кивком головы и озорной улыбкой. Ведь это он приказал оркестру играть любимый марш баронессы, и музыканты не знали, что играют в ее честь для нас двоих перед собравшейся толпой зевак, которые и подавно ни о чем не подозревали.

Полчаса спустя барон пришел ко мне в библиотеку. Я повел его по темным коридорам, уставленным книжными шкафами, в подвал, в рукописный зал. Вид у него был бодрый, и он первым делом изложил мне содержание письма, полученного от жены. Все у нее складывалось как нельзя лучше. В письме была вложена записочка и для меня, которую я тут же прочитал, стараясь при этом скрыть свое волнение. Тон записки был дружеский, естественный, баронесса благодарила меня за заботу о ее «старике» и признавалась, что была весьма тронута нашим прощанием. Сейчас она гостила у моей «спасительницы», которую еще больше полюбила, и отзывалась о ней самым лестным образом, уверяя меня, что я могу серьезно надеяться. Вот и все.

Значит, она любит меня! Однако теперь я считал ее чудовищем, одно воспоминание о котором вызывало у меня отвращение, но я был вынужден, сам того не желая, изображать влюбленного, и этой ужасной комедии не было видно конца. А с любовью, как известно, не шутят. Я попал в ловушку и, охваченный бешенством, старался вывести на чистую воду эту тварь с чуть раскосыми глазами, серым цветом лица и красными руками, которая заставила меня себя полюбить. Испытывая дьявольское удовольствие, я вспоминал теперь все ее уловки обольщения, ее весьма сомнительную манеру держать себя, которая дала повод моим друзьям спрашивать меня с нехорошим смешком, как зовут эту шлюху, которую я водил гулять в предместье. Со злорадством я перечислял себе ее претенциозные выходки, убеждался в упрямстве, с которым она делала все возможное, чтобы меня подцепить. Вот, например: она всегда вытаскивала часики из-за корсажа так, чтобы при этом чуть выглядывало кружево ее лифа. А в то воскресенье, когда мы с ней гуляли в парке и ходили по аллеям, она вдруг предложила углубиться в чашу. Когда я это услышал, у меня прямо

волосы встали дыбом, потому что сходить с аллеи в этом парке считалось абсолютно неприличным. Я возразил, сказав, что это неудобно, но моя спутница не нашла ничего лучшего, чем воскликнуть: «Плевать на приличия!»

Ей, видите ли, захотелось нарвать анемонов, которые росли в орешнике, и, не раздумывая, она чуть ли не бегом бросилась в кусты. В смущении я двинулся вслед за ней. Найдя весьма укромное местечко, надежно скрытое от глаз прохожих, она уселась под крушиной, подобрав при этом юбку так, чтобы видны были ноги, к слову сказать, довольно стройные, но со следами обморожения. Возникла напряженная пауза, во время которой мне невольно пришла на ум история коринфских дев, взбешенных тем, что их почему-то заставляют ждать изнасилования, на которое они рассчитывали. Она смотрела на меня с глупым видом, и даю честное слово, только ее уродство и мое отвращение к легким победам сохранили ей невинность.

Все эти подробности, которые я старался забыть, как недостойные внимания, всплыли в моей памяти, поскольку возникла реальная опасность, что она снова свалится мне на голову, и я стал страстно желать удачи певцу в его любовных начинаниях. Мне же ничего не оставалось, как покорно носить маску.

Пока я вчитывался в записку баронессы, барон сидел у большого стола, заваленного книгами и рукописями, и вертел в руках свой офицерский жезл из резной слоновой кости. Он рассеянно глядел по сторонам, и, казалось, чувствовал свою некомпетентность, конечно только в области гуманитарных наук, по сравнению с какой-то штатской крысой вроде меня, и на все мои попытки развлечь его моими учеными изысканиями отвечал одной лишь фразой:

— Несомненно, это должно быть весьма поучительно!..

А я, в свою очередь ощущая свое ничтожество рядом с величием его офицерских регалий, знаков различия, портупей, его парадного мундира, выхвалялся, чтобы установить между нами хоть некоторое равновесие, своими знаниями, но ничего, кроме некоторой растерянности, у него не вызвал.

Шпага и перо! Дворянин плывет вниз по течению, разночинец — вверх! Быть может, женщина, бессознательно, но с присущей ей прозорливостью, предвидела, кому принадлежит будущее, раз в дальнейшем она выбрала в качестве отца своих детей представителя не наследственного, а нового, духовного дворянства.

Так или иначе, между бароном и мной воцарилась какая-то неловкость, в которой мы не желали себе признаться, хотя он и делал большие усилия, чтобы обращаться со мной как с ровней. Иногда он даже выказывал мне большое уважение, вызванное моими знаниями, и тем самым признавал, что в этой области стоит на более низкой ступени, нежели я. Когда же он принимался кичиться своей родословной, достаточно было одного слова баронессы, чтобы поставить его на место. Для нее наследственные гербы не имели цены, и парадный мундир капитана в ее глазах

явно проигрывал рядом с сюртуком, осыпанным ученой пылью. Разве он сам этого не признал, надев в свое время блузу художника? Все это так, но тем не менее ему никуда было не уйти от дворянского воспитания, от приверженности традициям. Ревнивая ненависть между студентами и офицерами вошла в кровь, и никому никуда от нее не деться.

Но в данном случае я был ему нужен как аудитория для демонстрации своего горя, и он пригласил меня к себе на обед.

Когда мы выпили кофе, барон предложил написать баронессе письмо и протянул мне перо и бумагу. Таким образом, я оказался вынужденным написать ей и ломал себе голову, сочиняя банальные фразы, могущие заглушить голос сердца.

Написав письмо, я протянул его барону, чтобы тот его пробежал.

— Я никогда не читаю чужих писем, — сказал он мне с подчеркнутым высокомерием.

— А я никогда не пишу чужим женам без того, чтобы завизировать письмо у мужа, — парировала я.

Он бросил беглый взгляд на листок и с какой-то невнятной улыбкой сунул его в конверт вместе со своим.

В течение целой недели я его не видел, и вдруг как-то вечером мы случайно столкнулись на перекрестке. Он был как будто мне очень рад, и мы отравились в кафе, чтобы он смог, как уже повелось, исповедаться.

Оказывается, он провел несколько дней за городом, у той самой кухни его жены, о которой уже было столько разговоров. Я еще ни разу не видел этой завлекательной особы, но следы встречи барона с ней было бы трудно не заметить. От обычного для него выражения надменности и печали не осталось и следа, в лице появилось что-то жизнерадостное и чувственное, а словарь пополнился рискованными выражениями сомнительного вкуса. Даже интонации его голоса явно изменились. «Какая, однако, податливая личность, — подумал я, — до чего же он восприимчив, подвластен любому впечатлению. Он — *tabula rasa*¹, и самая слабая женская рука может начертать там с равным успехом как глупость, так и гениальное прозрение».

Человек у меня на глазах превратился в опереточного персонажа, он острил, сплетничал, громко хохотал. В гражданском платье он терял всю свою значительность. А когда после обеда, захмелев, захотел поехать к проституткам, он показался мне просто отвратительным. Оказывается, весь он исчерпывался расшитым мундиром, перевязью и знаками различия. А помимо этого — ничего!

Все больше пьянея, он собрался было посвятить меня в свои интимные отношения с женой. Я оборвал его на полуслове и, возмущенный, встал, хотя он все еще продолжал мне твердить, что жена разрешила ему во время своего отсутствия воспользоваться

¹ Букв.: чистая доска (*лат.*). В переносном смысле — нечто чистое, нетронутое.

свободой. Мне это показалось, кстати, очень человеческим и лишь подтвердило мои догадки о целомудренности баронессы. Расстались мы рано, и я вернулся домой, совершенно потрясенный откровенными признаниями барона, которые мне пришлось выслушать.

Чтобы женщина, влюбленная в своего мужа, предоставляла ему полную свободу, не требуя при этом тех же прав для себя! Мне это казалось в высшей степени странным! Таким же противостественным, как любовь без ревности, как лицевая сторона без изнанки. Такого не бывает. «Она целомудренна», — признался он мне. Еще одна странность. Выходит, я угадал насчет материдевственницы. А целомудрие — это качество, свойственное высшей расе, чистой душе, присущее цивилизованным нравам благовоспитанных людей.

Это, к слову сказать, вполне соответствовало моим юношеским представлениям, когда девица из высшего общества вызывала у меня только чувство благоговения, никогда не возбуждая моей чувственности.

Детские мечты, полное незнание женщины. На самом же деле это куда более сложная проблема, чем она представляется хостяку.

Но вот баронесса вернулась. Как замечательно она выглядела, как помолодела от нахлынувших на родине воспоминаний и общения с друзьями юности!

— Вот голубка, которая принесла вам оливковую ветвь, — сказала она, вручая мне письмо моей пресловутой невесты.

Я читал бесцветную, претенциозную болтовню, которую могло написать только бездушное существо, этакий синий чулок, жаждущий с помощью брака, не важно с кем, освободиться от родительского гнета.

Прочитав это письмо и весьма неубедительно изобразив при этом радость, я все же решил до конца разобраться в этой скучной истории.

— Не можете ли вы мне объяснить, — спросил я баронессу, — является ли эта барышня все же невестой певца?

— И да и нет!

— Но она дала ему согласие?

— Нет!

— Она хочет выйти за него замуж?

— Нет!

— Ее отец и мать настаивают на этом браке?

— Они ненавидят певца!

— Почему же она так упорно хочет продать себя этому человеку?

— Потому что... Я не знаю!

— А меня она любит?

— Быть может!

— Значит, она просто жаждет выйти замуж. И выйдет за того, кто больше даст, как на торгах. Ничего она не понимает в любви!..

— А как вы понимаете любовь?

— Любовь?.. По-моему, это чувство подавляет все остальные, оно, как сила природы, все крушит на своем пути, вроде обвала, или прилива, или грозы...

Она поглядела мне в лицо и не стала говорить тех слов, которые приготовила, чтобы защитить свою подругу.

— И вы ее так любите? — спросила она.

В ту минуту я был готов ей во всем признаться, но в каком положении я оказался бы потом? Всякая связь между нами порвалась бы. Нет, только ложь — моя защита от преступной любви, — только ложь мне необходима!

Чтобы не давать баронессе утвердительного ответа на ее вопрос, я попросил не говорить больше об этом. Она, жестокая красавица, отныне умерла для меня, заверил я баронессу, и мой долг, хоть это и нелегко, в том, чтобы забыть ее.

Баронесса пыталась меня утешить, но при этом не скрывала, что певец опасный соперник, поскольку он имеет постоянный доступ к объекту своих вздыханий.

Барон, устав от нашей болтовни, вступил в разговор, заявив, что с огнем шутки плохи, он обжигает, и дал тем самым понять, что не следует впутываться в чужие любовные дела.

Это было сказано довольно резко, и баронесса с досады вся залилась краской, так что мне пришлось вмешаться, чтобы не дать разыграться надвигающейся буре.

Камень катился с горы, набирая скорость, ложь, которая поначалу была скорее игрой воображения, стремительно разрасталась. Стыд и страх вынуждали меня к самообману, я стал даже сочинять стихи и сам уже был готов поверить в свой вымысел. Я придумал себе роль несчастного влюбленного, и играть ее мне было нетрудно, поскольку я ведь и в самом деле это переживал, только по отношению к другому предмету.

И вот я чуть не угодил в мною же расставленные сети. В одно прекрасное утро я нашел у себя дома визитную карточку господина Х., секретаря таможенного управления, а иными словами — законного отца моей «спасительницы». Я тотчас же отдал ему визит. Этот маленький старичок, невероятно похожий на свою дочь, так сказать, карикатура на карикатуру, разговаривал со мной как с будущим зятем, расспрашивал о родителях, о сбережениях, о перспективах на продвижение по службе. Дело начинало принимать угрожающе серьезный оборот. Как быть? Я старался изобразить из себя маленького человечка, как можно более ничтожного, чтобы он отвернул от меня свой отеческий взгляд. Цель его поездки в Стокгольм была мне ясна. Либо он хотел отделаться от ненавистного ему певца, либо сама красавица решила остановить свой выбор на мне после того, как ее папаша, посланный ею в качестве эксперта, оценит меня по достоинству. Но я решил

стать недоступным, всякий раз уклонялся от встречи, не пришел даже на званый обед к баронессе, объясняя все срочной работой в библиотеке, и так измучил бедного тестя своими выходками, что в конце концов он уехал раньше предполагаемого срока.

Догадывался ли потом певец, кому он обязан теми муками, которые обрушились на него, когда он женился наконец на своей мадонне? Нет, этого он так и не узнал и гордился своей победой надо мной.

Едва эта история была завершена, как возник новый инцидент, который тоже оказал влияние на нашу судьбу. Баронесса, взяв с собой дочку, неожиданно уехала из города. Это произошло в начале августа. Ссылаясь на свое здоровье, она отправилась на воды в маленький городок, расположенный на берегу озера Меларен, где жила и ее юная кузина со своими родителями.

По правде говоря, столь поспешный отъезд баронессы, последовавший вскоре после ее возвращения из долгого путешествия по Финляндии, меня несколько удивил, но, поскольку меня это, строго говоря, не касалось, я этого не высказал. Три дня спустя меня вызвал барон. Что-то явно беспокоило его, он нервничал и объявил мне с таинственным видом, что баронесса на днях возвращается.

— Почему? — спросил я, на этот раз не сумев уже скрыть своего изумления.

— То ли она волнуется... то ли климат ей не подходит... Я получил от нее весьма путаное письмо, которое, признаюсь, меня крайне встревожило. Вообще-то я никогда ее не понимал. Ее голова полна каких-то диких мыслей, в частности она вообразила, что ты на нее сердишься.

Представляете, какое мне надо было сделать усилие, чтобы казаться спокойным.

— Это просто нелепо, не правда ли? Во всяком случае, — продолжал он, — я сердечно тебя прошу ничем не обнаружить своего удивления, когда она вернется, потому что она стыдится своей неуравновешенности. А так как она одержима дьявольской гордыней, то способна на любое безрассудство, если заподозрит, что ты не одобряешь ее капризов.

«Вот труп и завонял», — сказал я себе. И с этой минуты я стал готовиться к бегству, боясь оказаться втянутым в любовную историю, развязка которой долго бы ждать не пришлось.

Получив от них очередное приглашение, я под малоубедительным предлогом отказался прийти. Это их обидело, и барон, разыскав меня, попросил объяснить ему действительные причины моего странного поведения. Я не знал, что ответить, и тогда он, воспользовавшись моим смущением, заставил меня согласиться поехать вместе с ними за город.

Баронесса выглядела плохо, на ней, как говорится, не было лица, а глаза лихорадочно блестели. Я тут же замкнулся, разговаривал ледяным тоном, был более чем сдержан. Мы добрались на пароходике до модного кабачка, где было назначено свидание с дядей

барона. Ужин прошел невесело. Мы сидели на дворе под сенью столетних лип с черными от старости стволами, а нашему взору открывался мрачный вид на черную гладь озера, окаймленного черными же горами.

Разговор не клеился, вертелся вокруг пустяков. Я почувствовал, что супруги в споре, что отношения между ними натянуты до предела, и не хотел присутствовать при очередной сцене. К несчастью, дядя и племянник вышли из-за стола, чтобы поговорить наедине. И тут разорвалась бомба. Вдруг баронесса, повернувшись ко мне, сказала:

— Известно ли вам, что Густав был весьма недоволен моим неожиданным возвращением?

— Нет, баронесса, понятия об этом не имею.

— Представляете, он, оказывается, собирался по воскресеньям встречаться с моей очаровательной кузиной.

— Баронесса, — прервал я ее, — не будете ли вы добры обвинять вашего супруга в его присутствии?

Как только я смог произнести эту фразу? Грубость, бесцеремонный выговор, проявление мужской солидарности перед лицом женского предательства?

— Ну, это уж слишком, сударь! — воскликнула она, меняясь в лице.

— Что поделаешь, баронесса.

Все было сказано, вот он, конец. И это навсегда.

Тут как раз вернулся ее муж, и она кинулась к нему, схватила за руку, словно ища защиты от врага. Он заметил это, но не понял в чем дело.

На дебаркадере я попрощался с ними, сославшись на то, что должен нанести визит в соседнюю виллу.

Не помню, как я вернулся в город. Казалось, ноги сами несут мое бесчувственное тело. Узел жизни был разрублен, и труп шагал, сам себя хороня.

Один. Снова в полном одиночестве. Без семьи, без друзей. И уже некого было боготворить. Нового бога не выдумаешь. Мадонна была свергнута с пьедестала, и на ее месте появилась женщина коварная, неверная, обнаружившая свои коготки. Пытаясь превратить меня в своего наперсника, она сделала первый шаг к адюльтеру, и в этот миг во мне вспыхнула ненависть к другому полу. Она оскорбила во мне мужчину, самца, и я был в союзе с ее мужем против всех женщин мира.

Долой добродетель! Впрочем, мне тут хвастаться было нечем, мужчина берет только то, что ему дают и, таким образом, никогда не бывает вором. Только женщина крадет и продается. Тот единственный случай, когда она отдается бескорыстно, рискуя все потерять, — это, к сожалению, и есть прелюбодеяние. Продается девка, продается жена, и только женщина в прелюбодеянии бескорыстно отдает себя любовнику, но обирает тем самым своего мужа.

Впрочем, я никогда и не помышлял сделать ее своей любовницей. Она внушала мне чувство нежной дружбы. Защищенная присут-

вием дочки, она всегда была для меня увенчана ореолом материнства, и меня никак не прельщало делить с ее мужем тайные наслаждения, нечистые сами по себе, облагороженные только безраздельностью и полнотою обладания.

Разбитый, подавленный, вернулся я в свою одинокую комнату, более одинокую, чем прежде, потому что с тех пор, как я познакомился с баронессой, я начисто порвал со всеми своими богемными знакомцами.

Я занимал довольно просторную мансарду с двумя окнами, выходящими на новый порт, залив и скалы южного предместья. На подоконниках у меня росли бенгальские розы, азалии, герань. Они цвели в разное время, и, таким образом, у меня всегда были цветы, необходимые мне для культа мадонны с младенцем. У меня уже давно вошло в привычку каждый вечер, опустив шторы, расставлять цветочные горшки как бы по контуру апсиды и ставить в середину портрет баронессы, освещая его лампой. На нем она была изображена как молодая мать, ее несколько строгое лицо поражало безупречной чистотой линий и было обрамлено пышными белокурыми локонами, а светлое платье с высоким, под самый подбородок, плиссированным воротом подчеркивало миниатюрность ее головки. Рядом на столике стоял портрет девочки, она была вся в белом, и ее глубокие глаза глядели на меня с мучительным вопросом. Перед этим образом я сочинял письма «Моим друзьям», которые отправлял на следующий день по адресу барона. Это был единственный способ утолить мою писательскую жажду, и в эти письма я вложил лучшую часть своей души. Чтобы найти хоть какой-то выход для артистической природы баронессы, я уговаривал ее попробовать выразить на бумаге свои поэтические фантазии. Я приносил ей шедевры мировой литературы, делал обзоры, излагал содержание книг, разбирал их, давал советы, практические рекомендации, объяснял основы литературной композиции. Но она проявляла ко всему этому слабый интерес и только выражала сомнение в своих способностях к сочинительству. На что я ей возражал, что каждый просвещенный человек в состоянии написать письмо, а значит, является писателем *in petto*¹. Но все мои усилия ни к чему не привели, страсть к театру слишком глубоко укоренилась в ней, и она твердо стояла на своем, уверяя, что тяга эта у нее врожденная. Поскольку общественное положение не позволяло ей взойти на подмостки, она, не желая добровольно принести эту жертву, стала изображать из себя великомученицу, разрушая тем самым свое семейное счастье. Ее муж, естественным образом, поддерживал все мои попытки отвлечь ее от сцены, предпринятые с тайной целью спасти его семью от крушения, и не знал, как меня благодарить, хотя и не смел открыто высказывать свою заинтересованность. Я же был настолько упорен, что баронессе вскоре уже нечего было

¹ В глубине души (*um.*).

мне возразить, на каждое ее письмо я немедленно отвечал, не уставая повторять, что ей необходимо вскрыть этот душевный нарыв, который ее мучает, запечатлеть свою душу в романе, драме или стихах.

«Поделитесь своим опытом, — писал я ей, — раз вы прожили жизнь, богатую различными событиями и переживаниями. Возьмите в руки бумагу, перо, будьте искренни, и вы станете писателем», — цитировал я ей изречение Бёрне.

«Слишком тяжело прожить заново горькую жизнь, — ответила она мне. — Нет, я ищу путь в искусство, чтобы, углубившись в характеры, совсем непохожие на мой, решительно все забыть».

Я никогда не спрашивал ее, что именно она так жаждала забыть, я ведь, собственно говоря, ничего толком не знал о ее прошлом. Уж не боялась ли она подсказать мне разгадку своей натуры, выдать мне ключ к своему характеру? Не рвалась ли она так к театральному искусству, чтобы спрятаться за личинами или, точнее говоря, придать себе больший вес, изображая фигуры более значительные, нежели она сама?

Исчерпав в конце концов все доводы, я посоветовал ей для начала попробовать свои силы в переводе, чтобы отточить стиль и зарекомендовать себя у издателей.

— А как платят за перевод? — спросила она.

— Во всяком случае, неплохо, но для этого надо стать настоящим профессионалом, — ответил я.

— Не думайте, пожалуйста, что я скупердяйка, — продолжала она, — но работа без ощутимых результатов меня не привлекает.

Она была захвачена новомодной манией современных женщин самим зарабатывать свой хлеб. Барон скептически усмехнулся, давая понять, что предпочел бы, чтобы жена его лучше вела хозяйство, чем пыталась, в ущерб домашним делам, зарабатывать жалкие гроши.

С того дня баронесса стала осаждать меня просьбами найти ей книгу для перевода и издателя. Чтобы не подвергать себя излишнему риску, я вскоре принес ей на пробу две маленькие заметки для отдела происшествий одного иллюстрированного журнала, который вообще-то не платил за перевод. Прошла целая неделя, а перевод этот, пустячная работа, которая отняла бы не больше двух часов, так и не был сделан. Барон стал ее дразнить, говорил, что она лентяйка и любит по утрам валяться в постели, и, судя по тому, как она на это сердилась, было ясно, что он попал в точку. И я перестал напоминать ей об этом переводе, не желая служить яблоком раздора между супругами.

Вот так обстояли дела к моменту нашего разрыва.

Я сидел в своей мансарде за столом, перечитывал одно за другим письма баронессы, и сердце мое сжималось от сострадания к ней. Что за отчаявшаяся душа! Ее внутренняя сила оставалась неизрасходованной, ее таланты не находили выхода, точь-в-точь как и мой. Вот откуда идет наша взаимная симпатия. Я страдал, если

можно так выразиться, через нее, она превратилась для меня в некий болетворный орган, который приложили к моей страждущей, искалеченной душе, уже не способной самой по себе испытать жестокое наслаждение от мук.

Но что же такое она сделала, чтобы потерять мое сочувствие? Терзаемая ревностью, что было вполне естественно, она пожаловалась мне на свой разлад с мужем. А в ответ я ее оттолкнул, говорил с ней грубо, вместо того чтобы ее образумить, что было легко сделать, поскольку, как заверял меня барон, она предоставила ему полную свободу в их супружеских отношениях.

Мною овладела безграничная жалость к этой женщине, которая, видимо, хранила в душе своей не одну горестную тайну и страдала от каких-то аномалий своего психического и физического развития. И в тот момент мне показалось, что я буду глубоко неправ, если позволю ей плыть по течению. Тут меня охватило полное отчаяние, и я решил, что обязан ей написать, попросить у нее прощения и умолять забыть происшедшую между нами ссору, а дурное впечатление, которое эта сцена не могла не оставить, посчитать недоразумением. Но у меня не нашлось нужных слов для этого письма, перо в моей руке не двигалось, и я, изнемогая от усталости, бросился на диван.

Проснулся я уже утром. Неяркое августовское солнце обещало теплый день. Подавленный, печальный, я не знал, куда себя деть, и уже в восемь утра пришел в библиотеку. У меня был свой ключ, и я отпер дверь. До открытия оставалось три часа, которые я мог провести в полном одиночестве. Я принялся бродить по коридорам, между книжными шкафами и наслаждался этим изумительным одиночеством, когда ты один и вместе с тем не один, а в интимном общении с первейшими умами всех эпох. Я брал в руки то тот, то другой томик и старался сосредоточить на нем свое внимание, чтобы забыть вчерашнюю тяжелую сцену. Но сколько я ни пытался прогнать из памяти оскверненный образ падшей мадонны, все было тщетно. Подымая глаза от прочитанной страницы, так и не поняв при этом ни слова, я видел ее то спускающуюся по лестнице, то мечущуюся в глубине низкой и, казалось, бесконечной, галереи. Настоящая галлюцинация, и только. Да, я видел, как она спускается вниз, придерживая рукой складки своего синего платья и выставляя при этом напоказ свои крошечные ножки и точеные лодыжки, взглядом чуть косящих глаз она как бы призывала меня к предательству, а ее коварная, сладострастная улыбка, которую я обнаружил у нее лишь вчера, была обращена ко мне и говорила о том, что она меня желает. И этот призрак вызывал у меня вожделение, дремавшее последние три месяца, настолько чистота атмосферы, царящей вокруг нее, сделала меня целомудренным. А это значит, что мое плотское желание стало целенаправленным и сосредоточилось вокруг одного-единственного объекта. Конечно, я хотел ею обладать, представлял себе ее обнаженную, восстанавливал ее формы по линиям ее одежды, которые знал наизусть. И поскольку бившиеся в моей голове мысли

нашли себе вдруг цель, я стал листать каталоги итальянских музеев, где были собраны снимки всех знаменитых скульптур. Я намеревался предпринять научное исследование, чтобы открыть формулу этой женщины. Я хотел установить род и вид, к которым она относится. Тут надо было выбрать. Венера с полными грудями и пышными бедрами, одним словом, нормальная женщина, которая ждет своего мужчину, уверенная, что красота восторжествует? Нет, не то! Может, скорее Юнона, олицетворение плодовитости, мать с ребенком, самка, раскинувшаяся на родильном ложе, выставляющая напоказ те части своего роскошного тела, которые принято скрывать от посторонних взоров. Тоже не то! Или Минерва, синий чулок, старая дева, скрывающая свою плоскую грудь под кирасой воина? Ни в коей мере! А вот Диана? Бледная богиня ночи, боящаяся света дня, жестокая, с ее невольным целомудрием, результатом дефекта телесного развития, более похожая на мальчика, нежели на девочку. Скромница по необходимости, она рассердилась на Актеона за то, что тот застал ее за купаньем. Итак, род Дианы, пожалуй, годится. А к какому виду ее отнести? Будущее покажет. Однако это хрупкое тело, изящные движения, прелестное личико, гордая улыбка, в которой сокрыты и кровожадность, и тайные желания, эта девичья грудь... Даже удивительно, до чего все соответствует.

Занятый своими розысками, я судорожно перелистывал все художественные альбомы, собранные в богатейшем национальном хранилище, чтобы найти разные изображения целомудренной богини. Я сравнивал фотографии, проверял свои догадки с придирчивостью ученого. Я бегал из одного конца обширного здания в другой, потому что ссылки в текстах заставляли меня обращаться все к новым книгам. Так незаметно настал час начала работы, и приход моих коллег вернул меня к моим повседневным обязанностям.

Вечером я решил пойти повидать своих приятелей по клубу. Как только я вошел в лабораторию, они приветствовали меня прямо-таки адскими криками, и я тут же приободрился. Стол, изображающий алтарь, был выдвинут в центр помещения и украшен черепом и огромным сосудом с цианистым калием. Рядом лежала раскрытая Библия, вся в красных пятнах от пунша, страницы ее были прижаты медицинским зондом, и кое-где торчали презервативы в виде закладок.

Повсюду стояли стаканы с пуншем — недаром там был переносный аппарат. Пьянка была в разгаре. Мне протянули колбу объемом не менее половины литра, которую я залпом опорожнил. И все хором проскандировали девиз клуба:

— Да будет все проклято!

На что я ответил «Гимном развратников»:

В лоск напиваться
И совкупляться —
Вот смысл жизни
Нашего братства!..

Пьяные бденья
Да совокупленья —
Наша награда
За долготерпенье.

И тут последовал общий вопль, свист, шиканье, и под эти звуки я начал декламировать свои знаменитые богохульные вирши. В звонких стихах, не скупясь при этом на анатомические термины, я воспевал женщину как необходимую принадлежность мужских развлечений.

Я упивался непристойностями, похабными словами, осквернял мадонну — так болезненно проявилось мое неудовлетворенное желание. Во мне вдруг вспыхнула настоящая ненависть к моему вероломному кумиру, и глумление это принесло мне горькое утешение. Мои собутыльники, бедные горемыки, весь любовный опыт которых ограничивался публичным домом, радовались, что я обливал помоями светских дам, которые были для них недоступны.

Мы все больше пьянели. Мне было приятно снова слышать мужские голоса после нескольких месяцев, потраченных на сентиментальное мяуканье, на неискренние излияния и лицемерную игру в невинность. Маска слетела, с моим тартюфством, прикрывающим откровенную похоть, было покончено, и я мысленно представил себе, как обожаемая мною женщина, чтобы разогнать тоску своей унылой жизни, безудержно предается супружеской любви. Именно ей я предназначал все оскорбления, плевки и гнусные слова, которые рождались в моем мозгу в приступе бешенства, оттого, что я не могу обладать ею, однако свершить прелюбодеяние я был решительно не способен, — это было сильнее меня.

От возбуждения, которое овладело мною, обострив до предела все мои чувства, лаборатория казалась мне местом грандиозной оргии, где каждое ощущение доведено до предела. Колбы с химикатами на полках переливались всеми цветами радуги: красный сурик, оранжевый хромат калия, желтая сера, синий купорос, зеленая окись меди. Воздух был отравлен табачным дымом и испарениями лимонного арака, пробуждающего смутные образы воспоминаний о дальних странах. На специально расстроенном пианино кто-то наигрывал, пародируя траурный марш Бетховена, так что узнать можно было только ритм. Бледные лица собравшихся покачивались в синеватом мареве дыма. Золотая перевязь лейтенанта, черная борода доктора философии, крахмальная манишка врача, череп с пустыми глазницами, вопли, шум, неправдоподобные диссонансы, гнусные картины, вызванные нашими речам и , — все это смешалось в моем воспаленном мозгу, когда вдруг раздался возглас, один-единственный, как призыв, и все его единодушно подхватывают: «Совокупляться!»

И все снова затянули хором: «В лоск напиваться и совокупляться — вот смысл жизни для нашего братства!», схватили плащи и шляпы и отправились в путь.

Полчаса спустя вся компания ворвалась в бордель. Заказали стут, разожгли огонь в печи, и сатурналии открылись живыми картинами.

Наутро я проснулся, правда, поздно, зато у себя дома, в своей постели. А главное, я прекрасно себя чувствовал. Одна ночь нормальных объятий развеяла мою нездоровую восторженность и культ мадонны. Мою воображаемую любовь я счел за проявление слабости то ли ума, то ли тела, что в те времена было для меня одинаково позорно.

Приняв холодный душ и позавтракав в ресторане, я отправился в библиотеку. Я ощущал свою силу и был счастлив, что все так хорошо кончилось. Я работал с большим воодушевлением, и время мчалось быстро.

Пробило половину первого, когда служитель сообщил мне о приходе барона.

«Значит, это еще не конец», — сказал я себе, готовясь к какой-нибудь сцене.

Барон выглядел бодрым, веселым, он дружески пожал мне руку и пригласил поехать вместе с ними на пароходе в курортный городок Зедертелье, где должен был состояться любительский спектакль.

Я отказался, ссылаясь на срочные дела.

— Но моя жена на этом настаивает, — возразил он. — К тому же Малютка тоже там будет.

Малютка — это кузина. Он так трогательно и настойчиво стал меня умолять согласиться, ласково глядя на меня своими глазами ипохондрика, что я почувствовал себя не в силах оказывать дальнейшее сопротивление. Но вместо того, чтобы прямо согласиться, я ответил вопросом:

— А как себя чувствует баронесса?

— Вчера она была больна, ей было очень плохо, но сегодня лучше. Скажите, пожалуйста, друг мой, — добавил он, — что у вас случилось позавчера в ресторане? Жена уверяет, что между вами произошло недоразумение, и вы на нее сердитесь безо всякой на то причины.

— По правде говоря, — начал я не очень уверенно, — я сам толком не понял, в чем дело. Возможно, я выпил лишнего и совершил какую-нибудь оплошность.

— Забудем это, — поспешно сказал он, — давайте дружить, как прежде. Женщины, сами знаете, так чувствительны... Одним словом, вы мне обещаете прийти, верно? Итак, сегодня в четыре часа дня.

Я обещал.

Загадка, для которой нет слов. Недоразумение? Но она заболела из-за нашей ссоры... От страха, от досады или еще от чего?

Дело принимало теперь интересный оборот, поскольку в игру вступила и юная незнакомка.

И когда я сел в четыре часа на указанный мне пароход, сердце мое билось учащенно.

Друзья мои в свою очередь поднялись на палубу, и я сразу же увидел баронессу, которая поздоровалась со мной, как нежная сестра.

— Не сердитесь на меня за мою резкость, — пробормотала она, — я так легко вспыхиваю...

— Забудем это, — прервал я ее и повел на корму.

— Познакомьтесь... — сказал барон, и тут только я заметил молодую особу лет восемнадцати, этакую субреточку, как, впрочем, я и ожидал. Ростом невысокая, с вульгарным лицом, она была одета просто, хотя за этой простотой угадывалось усилие казаться элегантною.

А баронесса! Бледная, с запавшими щеками, худая как щепка, просто ужас! Браслеты гремели, болтаясь на тоненьких запястьях, а шея нелепо торчала из слишком широкого воротничка, так что видно было, как сонные артерии змейками вились к ушам, более открытым, чем обычно, из-за небрежной прически. К тому же она была плохо одета, кричащие цвета ее туалета не только дисгармонировали друг с другом, но и не шли ей, и она показалась мне просто уродливой. Так она, несомненно, и выглядела в этот день, я испытывал к ней глубокую жалость и проклинал себя за сказанные накануне слова. Да какая же она кокетка! Великомученица! Святая, на которую незаслуженно обрушиваются несчастья.

Пароход отчалил. Прекрасный августовский вечер на озере Меларен настраивал на мечтательный лад.

Не знаю, было ли это преднамеренно или случайно, но места барона и кухни оказались рядом и на таком расстоянии от нас, что мы не слышали их разговора. Наклонившись к девушке, барон болтал без умолку, смеялся, шутил, он так помолодел и выглядел таким счастливым, что его можно было принять за только что обручившегося жениха.

Время от времени он бросал нам озорной взгляд, и мы приветствовали друг друга кивком головы или улыбкой.

— Бойкая девочка, не правда ли? — сказала мне баронесса.

— Похоже на то, баронесса, — ответил я, не зная точно, как я должен себя вести в данной ситуации.

— Она умеет расшевелить моего мужа, развеять его меланхолию, а вот у меня нет этого дара, — добавила она, поглядела на «молодых» с искренней симпатией и улыбнулась им.

В эту минуту я увидел следы тайного страдания и пролитых слез на ее лице, оно приняло выражение нечеловеческой покорности судьбе; и, словно облака, по нему скользили отсветы доброты, самоотверженности, самоотречения, которые мы обычно видим только на лицах беременных женщин и молодых матерей.

Я испытывал такие угрызения совести и так стыдился своего необоснованного суждения, что с трудом удерживал слезы, которые выглядели бы просто нелепо на фоне нашей болтовни.

— И вы не ревнуете?

— Нисколько, сударь, — ответила она мне и рассмеялась очень искренне, без тени злости. — Вам это, наверное, кажется странным,

но дело обстоит именно так. Я люблю своего мужа, у него такое прямое сердце, обожаю кузину, она очаровательна, и притом это совершенно невинная душа, другой такой нет. Нет, ревность я презираю, и от нее становишься уродливой, а в моем возрасте уже надо себя беречь.

И в самом деле, ее уродство в тот день бросалось в глаза. У меня просто душа разрывалась, и тогда я, повинувшись не разуму, а чувству, приказал ей, заговорив как бы отеческим тоном, вернуться в шаль из альпака, ссылаясь для приличия на сильный ветер, на котором она может простудиться. Я сам набросил ей на плечи этот мохнатый шерстяной платок, прикрывший все платье, и так распределил складки вокруг лица, что оно снова стало привлекательным.

Как она была прекрасна, когда тепло улыбнулась в ответ на мой жест! Она снова казалась счастливой и с благодарностью глядела на меня, словно ребенок, жаждущий ласки.

— Бедный мой муж, как мне радостно видеть его хоть разок оживленным. У него ведь и так хватает огорчений.

— Баронесса, я не хочу быть нескромным, но скажите мне, заклинаю вас небом, — отважился я, — что вас гнетет? Я не настолько слеп, чтобы не видеть, что вы таете какую-то тревогу. Я, увы, могу дать лишь добрый совет, но если он вам понадобится, то рассчитывайте на меня, как на друга.

Так вот он, оказывается, каков, этот труп в трюме, который постоянно мучил моих бедных друзей: гнусный призрак надвигающегося разорения. Недостаточное жалование барона до сих пор пополнялось приданым баронессы, но недавно выяснилось, что этого приданого, можно сказать, не существует, потому что оно состоит из бумаг, потерявших ценность. И ему, видимо, придется подать в отставку, во всяком случае, он уже ищет место кассира.

— Вот почему, — добавила она, — я хотела найти применение своему таланту и заработать деньги на хозяйство. Ведь он попал в такое трудное положение по моей вине, это я погубила его карьеру...

Что можно сказать или сделать, когда все обстоит так серьезно, а я бессилён помочь! Я настроился на поэтический лад и, внушив себе с помощью самообмана, что это пустяки, стал сочинять сказку, обещая ей беззаботное будущее, вселял радужные надежды, прибегал к помощи экономической статистики, чтобы предсказать приход лучших времен, а значит, и повышение курса ее акций, придумывал новые источники доходов, причем огромных, обещал в ближайшем будущем чудо — проведение реорганизации армии, а следовательно, и неожиданные повышения.

Все это был чистый вымысел, но благодаря моей фантазии я вдохнул в нее мужество и надежду и улучшил ее настроение.

Сойдя с парохода, мы, опять же парами, погуляли по парку, ожидая открытия театра. Я еще и словом не обменялся с кузиной, она была всецело занята бароном: он нес театральную накидку

Малютки и при этом пожирал ее глазами, обрызгивал слюной, отогревал своим дыханием, но она оставалась неприступной, холодной, лицо сохраняло строгое выражение, а глаза были ледяными. Время от времени она роняла два-три слова, которые вызывали у барона громкий смех, но у нее самой лицо при этом оставалось каменным. Казалось, она всегда говорила только «в сторону», как в комедии, отпускала колкости и даже двусмысленности, если судить по гривуазной мимике ее собеседника. Наконец двери театра открылись, и мы устремились туда, поскольку места не были нумерованными. И вот поднялся занавес. Баронесса была счастлива снова увидеть подмостки, вдыхать запах темперы, полотно, дерева, грима, пота.

Играли «Каприз». Мне вдруг стало дурно — может, из-за нахлынувших горьких воспоминаний неудачника, который так и не смог завоевать сцену, а может, из-за вчерашнего кутежа. Как только упал занавес, я встал и тайком удрал в ресторан, где с помощью двух рюмок абсента кое-как привел себя в чувство.

Спустя некоторое время туда пришли и мои друзья, чтобы вместе поужинать, как было заранее условлено. Вид у них был усталый, они едва скрывали досаду по поводу моего бегства. Пока накрывали на стол, никто не произнес ни слова. Мы сели, но вчетвером трудно было начать разговор, и кухня по-прежнему хранила молчание, держалась крайне сдержанно и даже высокомерно.

И вот тут начали обсуждать меню. Баронесса, посоветовавшись со мной, решила взять закуску, но барон резко возразил, слишком резко для моих нервов, и я, словно по дьявольскому наущению, сделал вид, будто не слышу его слов, и заказал закуску на двоих. Для нее и для себя, как она хотела.

Барон пообедал. Атмосфера накалилась до предела, но никто не произнес ни слова.

Я был восхищен своим мужеством, тем, что парировал дерзость оскорблением, за которое мне в стране другой культуры пришлось бы держать серьезный ответ, и молча принялся за еду. Баронесса, ободренная моей смелой защитой, стала меня поддразнивать, чтобы вызвать улыбку. Но тщетно. Разговора за столом быть не могло, нам нечего было сказать друг другу, мы с бароном лишь обменивались грозными взглядами. Под конец мой противник начал что-то шептать своей супруге, которая отвечала ему знаками и обрывками слов, произнесенных не раздвигая губ, и при этом кидала на меня презрительные взгляды.

Кровь ударила мне в голову, и гроза неминуемо разразилась бы, но тут возник инцидент, послуживший громоотводом.

В соседнем кабинете пиновала веселая компания. Уже полчаса там кто-то брэнчал на пианино, а теперь, распахнув дверь, все хором запели непристойную песенку.

— Закройте дверь! — приказал барон официанту.

Едва он закрыл дверь, как ее снова открыли певцы, выделяя похабные слова и явно упиваясь своей забавой.

Настал мой черед, воспользовавшись случаем, поднять скандал.

Я сорвался с места, большими шагами пересек зал и захлопнул дверь перед носом поющих. Взорвавшаяся бомба не произвела бы большего эффекта, чем мой жест. Я крепко вцепился в дверную ручку, но после короткой борьбы враги меня пересилили и вновь распахнули дверь, а я оказался в кругу кричащих людей, которые все ринулись на меня, чтобы избить. В тот же миг я почувствовал, что моего плеча коснулась рука, и услышал негодующий голос, взывающий к чести этих господ, которые все накинулись на одного... Это была баронесса, которая, позабыв приличия и хорошие манеры, поддалась порыву, свидетельствующему о ее чувствах, быть может, более горячих, чем она хотела показать.

Ссора на этом завершилась, и баронесса пристально поглядела на меня.

— Вы смелый человек, — сказала она. — Как я за вас испугалась!

Барон попросил счет и, вызвав метрдотеля, потребовал, чтобы сюда пришел мэр.

Между нами тут же установились самые добрые отношения, и каждый, перебивая другого, выражал свое возмущение грубостью местных жителей. Все бешенство, порожденное ревностью и оскорбленным самолюбием, обрушилось на козлов отпущения, а вокруг пунша, который мы выпили в гостинице, снова воспылал факел дружбы, и мы даже не заметили, что мэр так и не явился.

На следующее утро мы встретились за кофе, причем у всех было отличное настроение, и мы были счастливы, что выпутались из неприятной истории, последствия которой было трудно предвидеть.

После завтрака мы прогулялись по плотине канала, по-прежнему парами и на приличном расстоянии друг от друга. Когда мы дошли до шлюза, где канал поворачивал, барон вдруг остановился и, поглядев на баронессу с нежной, почти влюбленной улыбкой, сказал:

— Ты помнишь, Мария, это было здесь?

— Помню, дорогой Густав, — отозвалась она. Ее подвижное лицо выражало страсть и печаль.

— Здесь он объяснился мне в любви, — сказала она мне. — Как-то вечером, когда мы глядели на падающие звезды, вот под этой березой...

— Три года тому назад... — добавил я. — И теперь вы стараетесь оживить свои воспоминания, вы питаетесь прошлым, потому что настоящее вас не удовлетворяет...

— Прекратите, сударь, вы ошибаетесь... Я ненавижу прошлое, и я навек обязана мужу за то, что он освободил меня от тщеславной матери, ее деспотическая любовь меня чуть не погубила. Нет, я обожаю своего Густава, он стал мне верным другом.

— Как вам угодно, баронесса, я всегда с вами согласен, чтобы быть вам приятным.

В указанное время мы сели на пароход. Он пересек голубое

озеро с тысячами зеленеющих островков и причалил к городской пристани, где мы и попрощались.

Я твердо решил серьезно взяться за работу, чтобы с корнем вырвать из моей души этот чуждый нарост, который принял форму женщины, но вскоре обнаружил, что не учел при этом неподвластных мне сил. Уже на следующий день я получил от баронессы приглашение на обед по случаю годовщины ее брака. Прибегать к уверткам было уже невозможно, и, хотя меня мучил страх, что таким образом наша дружба скоро зайдет в тупик, я явился точно в указанный час.

Представляете себе мое разочарование, когда я застал дом в полном разоре, прислуга второпях убирала комнаты. Барон был явно не в духе, а баронесса еще не появилась и велела извиниться передо мной за то, что обед опаздывает. Прогулка в садике с раздраженным и голодным бароном, который был не в силах скрыть своего нетерпения, исчерпала все мои разговорные возможности, так что полчаса спустя, когда мы поднялись в столовую, вести какую-либо беседу я был уже просто не в состоянии.

Стол к тому времени уже накрыли, и на нем даже расставили закуски, но хозяйка дома по-прежнему отсутствовала.

— Давайте перехватим на ходу хоть по бутерброду, — предложил мне барон.

Желая пощадить баронессу, я попытался было его отговорить, но ничего у меня не вышло. Я оказался между двух огней. И мне пришлось подчиниться барону.

И тут вдруг появилась баронесса. Сияющая, молодая, красивая, хорошо одетая. Платье из желто-лиловой, как анютины глазки, прозрачной тафты — эти цвета ей очень шли — было безупречного покроя и подчеркивало гибкую, как у девочки, талию, а ее обнаженные округлые плечи и руки были самым совершенством. Я поспешил преподнести ей букет роз и пожелал справлять юбилей свадьбы еще бесчисленное число раз, а вину за наше невежливое нетерпение с едой свалил на барона.

Она надула губы, заметив беспорядок на столе, и скорее горько, чем весело, бросила мужу какую-то язвительную фразу, а он тут же огрызнулся на это, пожалуй, незаслуженное замечание. Я поспешил на выручку, заговорив о вчерашних впечатлениях, которые мы с бароном только что ворошили.

— А как вам понравилась моя прелестная кухня? — спросила баронесса.

— Очаровательна! — воскликнул я.

— Не правда ли, это дитя просто находка, — произнес барон столь отеческим и искренним тоном, что ни в чем, кроме жалости к этой жертве воображаемых тиранов-родителей, его нельзя было заподозрить.

Но баронесса, не поддержав шулерской игры со словом «дитя», сказала безжалостно:

— Вы только поглядите, как эта милая Малютка причесала моего мужа!

И в самом деле, от привычного пробора у барона не осталось и следа, волосы были завиты и взъерошены, а усы подкручены, и все это до неузнаваемости меняло его лицо. Но при этом я обратил также внимание, хотя и вида не подал, на то, что в прическе, в одежде и даже в манерах баронесса теперь подражала своей обольстительной кузине. Нечто вроде избирательного сродства в химии, которое также широко применимо к живым существам.

Тем временем обед тянулся медленно и тяжело, как похоронные дроги. К кофе ждали кузину, которая стала теперь непрременным членом нашего квартета, поскольку трио явно разладилось.

Когда подали десерт, я провозгласил тост в честь супругов, но говорил традиционно, без вдохновения, и речь моя походила на выдохшееся шампанское.

Барон и баронесса обнялись, возбужденные старыми воспоминаниями, и от этих внешних жестов любви в них вдруг проснулась подлинная нежность друг к другу, и они почувствовали себя снова влюбленными, подобно актерам, которые, искусственно вызывая слезы, приходят в состояние истинной печали. А может, под пеплом еще тлел огонь, готовый тут же вспыхнуть, если его умело и вовремя раздуть. Трудно сказать, что именно это было.

Потом мы спустились в садик и расположились в зеленой беседке, из которой был виден бульвар. Разговор то и дело замирал, всех нас охватило какое-то оцепенение, барон был рассеян и все время поглядывал на улицу, выглядывая кузину. Вдруг он вскочил и умчался с быстротой лани, оставив нас вдвоем. Уж очень ему хотелось поскорее встретить свою гостью!

Оставшись наедине с баронессой, я почувствовал себя неловко, и вовсе не оттого, что был застенчив. Но когда мы оставались одни, она просто пожирала меня глазами, непомерно восхищаясь то одной, то другой деталью моего туалета, что не могло не вводить меня в смущение. И вот тогда, после долгого молчания, такого долгого, что уже становилось как-то не по себе, она вдруг рассмеялась и, указав в сторону убежавшего барона, сказала:

— До чего же влюблен мой дорогой Густав!

— Похоже, — ответил я. — Но вас как будто не мучает ревность.

— Нимало! — заверила она. — К тому же я сама влюблена в эту прелестную кошечку. А как вы относитесь к моей очаровательной кузине?

— Хорошо, баронесса. Но, чтобы быть до конца откровенным, скажу, не желая вас обидеть, что она не пользуется моей настоящей симпатией.

Я сказал чистейшую правду. С первого взгляда эта молодая особа, по происхождению простолюдинка, как и я, невзлюбила меня, как ненужного свидетеля, а точнее, как опасного соперника, охотившегося на той же территории, что и она, чтобы получить доступ в высший свет. Окинув меня пронизательным взглядом — у нее были маленькие жемчужно-серые глазки, — она сразу же определила, что это ненужное ей знакомство, что пользы от меня

как от козла молока, а ее инстинкт буржуазки подсказал ей, что в этот дом меня привела погоня за удачей. В известном смысле она была даже права, ведь я и не скрывал, что пришел в этот дом в надежде найти посредников, чтобы пристроить мою трагедию, но у моих друзей не оказалось решительно никаких театральных связей, все это был чистый вымысел финской барышни, и о моей пьесе мы ни разу не говорили, если не считать тех банальных комплиментов, которые я выслушал после чтения.

Барон, легко поддававшийся влиянию, решительно изменил ко мне отношение, и это лишь доказывало, что постепенно он тоже начинал смотреть на меня глазами обольстительной кузины. Впрочем, влюбленные не заставили себя долго ждать, они вскоре появились у калитки, оживленно болтая и смеясь.

Юная кузина была в тот вечер в игривом настроении. Она озорничала, как мальчишка-сорванец, то и дело употребляла фривольные слова, но при этом оставалась в рамках хорошего вкуса, ловко, с самым невинным видом говорила двусмысленности, прикидываясь, будто и понятия не имеет о вторых значениях некоторых фраз. Она курила и пила вино, но при этом всегда вела себя как женщина, причем очень молодая женщина. Никаких мужских повадок, никакого намека на эмансипированность, никаких высоких воротничков. По правде говоря, она была забавной, и в ее обществе время пролетало незаметно. Но больше всего меня поразило, и это наблюдение оказалось пророческим, то дикое веселье, которое охватывало баронессу всякий раз, когда с уст кузины срывалась очередная рискованная фраза. Ее охватывали приступы какого-то развязного смеха, а на лице появлялось выражение бесстыдного сладострастия, свидетельствующее о ее посвященности в тайны разврата.

Тем временем к нам присоединился дядя барона. Старый вдовец, капитан в отставке, он был необычайно обходителен с дамами и отличался изысканными манерами, но при этом не был чужд и предприимчивой галантности в духе старого времени. Используя кровное родство как надежный щит, он был в этом доме настоящим женским угодником, давно завоевал расположение его обитательниц и пользовался правом обнимать их, поглаживать по щекам и целовать руки. И на этот раз не успел он появиться, как обе дамы кинулись ему на шею с радостными криками.

— Ах, мои крошки, поосторожней! Две на одного, не много ли это для такого старика, как я? Поостерегитесь, а то я буду стрелять! Руки вверх, либо я за себя не отвечаю.

Баронесса протянула ему свою сигарету, которую она уже примяла губами.

— Огоньку, дядюшка! — выкрикнула она со страстью в голосе.

— Увы, мой огонь и с с я к, — ответил он л у к а в о. — Уже пять лет, как огня нет!

Баронесса с шутилой укоризной хлопнула его по щеке, но он поймал ее руку, стиснул ее пальчики между своими ладонями,

а потом принялся гладить руку по всей длине, от кисти до самого плеча.

— Да ты, голубушка, вовсе не такая худышка, как кажется, — сказал он, проводя пальцами по изгибам ее мягко очерченной руки, которую она не отнимала.

Комплимент пришелся баронессе, судя по всему, по вкусу, во всяком случае, она опять рассмеялась громким чувственным смехом и, подняв рукав платья, обнажила изящную, благородных линий руку, поражающую молочной белизной кожи.

Вдруг она вспомнила о моем присутствии и торопливо опустила рукав, однако я успел увидеть, как в ее глазах вспыхнуло безумное пламя, а лицо ее исказилось гримасой любовного экстаза. В этот момент я как раз зажигал спичку и по неосторожности уронил раскаленный уголек, который упал между манишкой и жилетом. Баронесса кинулась в ужасе ко мне и, зажав пальцами тлеющее пятнышко, крикнула: «Огонь, огонь!», — залившись от волнения краской.

Я был потрясен и прижал ее руки к своей груди, но тут же, устыдившись своего порыва, отстранился, сделав вид, будто спасая от серьезной опасности, и почтительно поблагодарил баронессу, которая еще не успокоилась.

Мы пролюбезничали до ужина. Солнце тем временем зашло, и из-за купола обсерватории показалась луна, освещая яблони в саду, и мы стали отгадывать названия сортов яблок, висящих на ветках и наполовину скрытых густой листвой, блекло-зеленой в электрическом свете луны. А яблоки — и кроваво-красный кальвиль, и серо-зеленая антоновка, и коричневатый ранет — все изменили свою окраску и казались теперь разноцветными пятнами, от ярко-желтых до иссиня-черных. То же самое происходило и с цветами на клумбах. Георгины приобрели совершенно неправдоподобные оттенки, левкой выглядели цветами с другой планеты, а китайские астры блестели и переливались красками, которым у нас нет названия.

— Поглядите, баронесса, насколько все вокруг — плод нашего воображения, цвета существуют не сами по себе, а зависят от природы света. Все иллюзорно, решительно все.

— Все? — переспросила она, остановившись передо мной и подняв на меня пронзительный взгляд своих глаз, ставших от темноты еще больше.

— Все, баронесса, — солгал я, совсем потеряв голову от этого реального видения из плоти и крови, которое меня в тот миг испугало своей невообразимой красотой.

Ее растрепавшиеся волосы образовали как бы серебряный нимб над ее лицом, озаренным лунным светом, а стройная фигура, подчеркнутая полосатым, ставшим при этом освещении черно-белым, платьем, была удивительно пропорциональна и гармонична.

Левкой источали возбуждающий аромат, кузнички призывали нас лечь на траву, увлажненную вечерней росой, листва деревьев трепетала от теплого ветерка, сумерки укрывали нас мягкой

пеленой, — одним словом, все призывало к любви, и только добропорядочная трусость удерживала меня от признания.

Вдруг в траву упало яблоко, сорванное с ветки порывом ветра. Баронесса нагнулась, подняла его и многозначительным жестом протянула мне.

— Запрещенный плод, — пробормотал я, — нет, баронесса, благодарю вас.

И, чтобы загладить свою неуклюжесть, я тут же стал придумывать удовлетворительное объяснение, намекая на мелочность хозяина.

— Вы же знаете хозяина. Что он скажет?

— Что вы рыцарь без страха и упрёка, — насмешливо ответила она, словно ставя мне в вину мой испуг, и бросила косой взгляд на беседку, где сидели барон и кузина, скрытые от наших глаз.

Подали ужин. Когда мы вышли из-за стола, барон предложил всем прогуляться, чтобы проводить домой «наше дорогое дитя».

Выйдя из ворот, барон взял под руку кузину и повернулся ко мне.

— А вы, сударь, предложите руку моей жене, покажите, что вы кавалер, — сказал он обычным отеческим тоном.

И я снова испугался. Так как вечер был теплый, и от прикосновения ее руки, упругость которой я ощущал сквозь шелк, по моему телу пробежал электрический ток, возбудивший во мне какую-то сверхчувствительность. Так я, например, почувствовал, что рукав ее платья кончается на уровне моей дельтовидной мышцы. Я был так взвинчен, что мог воссоздать всю анатомию этой очаровательной руки. Ее бицепс — мышца-сгибатель, играющая первейшую роль во время объятий, — прижался к моему бицепсу, сквозь материю я ощущал мягкое ритмичное пульсирование ее плоти. Шагая с ней рядом, я легко представил себе форму ее ноги и округлость бедра, которое облегалась ее нижняя юбка.

— Вы хорошо ведете даму и, наверное, прекрасно танцуете, — подбодрила она меня, но от стеснения я не мог вымолвить слова.

И после паузы, убедившись, что мои нервы натянуты до предела, она спросила с усмешкой, наслаждаясь своим женским превосходством:

— Вы дрожите?

— Да, баронесса, мне холодно.

— Наденьте пальто, мой мальчик, — сказала она ласково.

Надев пальто вместо смирительной рубашки, я оказался несколько защищенным от тепла ее тела. Но ее маленькие шажки, подладившись к ритму моих шагов, настолько объединили наши нервные системы, что мне показалось, будто я иду четырьмя ногами, как сдвоенное существо.

Во время этой прогулки, имевшей, как потом выяснилось, пророческое значение, мне как бы сделали прививку, которую делают садовники, приживляя ветку к стволу.

С того самого дня я перестал владеть собой. Эта женщина просочилась мне в кровь, наши нервы, придя во взаимодействие, напряглись, ее женские клетки нуждались в активной силе моих мужских клеток, ее душа испытывала потребность в моем интеллекте, который, в свою очередь, стремился до краев заполнить этот нежный сосуд. Но мы об этом еще не подозревали. В этом и было все дело.

Вернувшись домой, я спросил себя, чего же, собственно говоря, хочу. Убежать, забыть или добиться успеха в какой-нибудь далекой стране. И я сразу же стал намечать план предполагаемого путешествия. В Париж, в центр цивилизации, чтобы там заточить себя в библиотеки и музеи — почему я знаю! — и завершить свой труд!

Как только возник этот план, я стал предпринимать шаги для его осуществления, и все произошло так быстро, что через месяц я уже начал делать прощальные визиты. Одно происшествие, случившееся на редкость кстати, облегчило мне трудную задачу найти благопристойный предлог для этого бегства. Сельма — так звали финскую барышню, — о которой я и думать забыл, опубликовала сообщение о своем предстоящем браке с певцом.

Я вынужден бежать, чтобы поскорее забыть изменницу и залечить на чужбине свое раненое сердце. Объяснение показалось убедительным.

Но когда я решил отправиться в Гавр пароходом, мне пришлось поддаться уговорам друзей и отложить отъезд на несколько недель из-за осенних бурь.

Затем меня задержала свадьба сестры, назначенная на начало октября, так что мой отъезд все оттягивался.

Тем временем мои друзья чуть ли не каждый день приглашали меня к себе. Поскольку кузина уехала к своим родителям, мы чаще всего проводили вечера втроем, и барон, вновь попав под влияние жены, стал ко мне опять благоволить. Успокоенный моим скорым отъездом, он по старой привычке вел себя со мной как с другом.

Как-то вечером, когда мы были в гостях у матери баронессы, баронесса, непринужденно примостившись на диване и положив голову на колени матери, решила вдруг публично признаться в своем горячем увлечении одним знаменитым актером. Я и сейчас не могу решить, было ли это правдой или говорилось исключительно для меня, чтобы, поджаривая меня таким образом на медленном огне, посмотреть, как я буду реагировать на ее признание. Но так или иначе, старая дама, поглаживая волосы дочери, сказала мне:

— Если вы, сударь, намерены в будущем написать роман о женщине, то вот вам прообраз пылкой натуры. У нее всегда есть предмет страсти помимо мужа.

— Истинная правда, — подхватила баронесса. — И в данный момент это божественный М.

— Ну разве она не безумна? — воскликнул барон и улыбнулся мне, однако не сумел побороть начавшийся тик.

Пылкая натура! Это определение засело в моей голове, потому что оно было произнесено пожилой дамой, матерью, и не могло, при всей его ироничности, не содержать зерна истины.

В канун своего отъезда я пригласил барона и баронессу на ужин к себе в мансарду. Принимая их по-холостяцки, я все же украсил свою комнату, чтобы хоть как-то скрыть недостатки мебелировки, и мое скромное жилище превратилось в подобие храма. У стены, между двумя окнами, перед одним из которых находился мой письменный стол и жардиньерка с комнатными цветами, а перед другим — небольшая книжная полка, стоял плетеный продранный диванчик, покрытый тигровым одеялом, которое крепилось невидимыми кнопками. Слева помещалась тахта в чехле из полосатого тика, заменявшая мне кровать, а на стене над ней яркая пестрая карта обоих полушарий; справа красовался комод, над которым висело зеркало, — обе эти вещи были в стиле ампира с украшениями из позолоченной бронзы, дальше — шкаф с гипсовым бюстом и умывальник, в этот вечер задрапированный оконными занавесками. Стены были увешаны всевозможными гравюрами в рамах, в совокупности создающими впечатление чего-то заведомо старинного и уникального.

На потолке висела фарфоровая люстра с рельефными цветами, по форме удивительно напоминающая паникадило — я нашел ее у одного старьевщика. Дефекты и сколы на этой люстре я ловко прикрыл листьями искусственного плюща, который стащил на днях у своей сестры. Под люстрой с тремя подсвечниками стоял стол, покрытый белоснежной камчатной скатертью, а в его центре — фаянсовое кашпо с кустом бенгальской розы, усыпанным алыми цветами, которые таились в темно-зеленой листве; все это вместе с ниспадающими на растение усиками плюща создавало впечатление праздника Флоры. Горшок с розами был окружен бокалами красного, зеленого, опалового стекла, купленными по случаю в антикварной лавке, все они были с дефектами, так же как и фарфоровый сервиз, собранный поштучно и состоящий из тарелок, солонки и сахарницы китайской, японской и марибергской работы.

На ужин я выбрал десять или двенадцать блюд холодных закусок скорее из декоративных соображений, нежели по вкусовым качествам, поскольку главным угощением все равно были устрицы. Хозяйка квартиры оказалась настолько любезна, что одолжила мне разные мелкие предметы, без которых было бы трудно организовать в мансарде настоящий праздник. Наконец, когда все было готово, я окинул взглядом мою преображенную мансарду и остался доволен, хотя и не выразил своих чувств даже восклицанием. Возникшая композиция вызвала в душе целую гамму различных ощущений, ибо включала в себя одновременно и труд поэта, и исследование ученого, и вкус художника, и снобизм гурмана, и культ цветов, а за всем этим угадывалось ожидание женщины. Если бы не три прибора на столе, можно было подумать, что интерьер этот создан для первой ночи, для ночи

любви, но для меня предстоящий вечер был скорее сценой покаяния. В мою комнату не ступала нога женщины с тех пор, как у меня произошел разрыв с той подлой обманщицей, след от ее удара каблуком еще ясно виден на полированном дереве моей тахты. С того самого дня зеркало над комодом не отражало больше женского бюста. И вот теперь целомудренная, тонко чувствующая женщина, мать, дама света, освятит своим приходом это жилище, стены которого были свидетелями стольких печалей, страданий и бед. Но вместе с тем это должна быть и священная трапеза, так говорил во мне поэт, потому что, по существу, я жертвую своим сердцем, покоем, а может, и жизнью, ради счастья своих друзей.

Все у меня было готово, когда до меня донесся шум шагов на площадке четвертого этажа. Я поспешил зажечь свечи, поправил цветы в вазах и тут же услышал, как гости, наконец добравшись до мансарды, с трудом переводят дыхание перед моей дверью.

Я открыл. Слепленная светом стольких свечей, баронесса захлопала, как в опере после понравившейся сцены.

— Да вы настоящий режиссер! — воскликнула она.

— Да, баронесса, я люблю театр, а пока...

Взяв у нее пальто, я поздоровался с гостями и предложил им сесть на диванчик. Но она никак не могла усидеть на месте. С любопытством молодой женщины, которая никогда не бывала в комнате холостяка, которая из родительского дома сразу попала в спальню своего мужа, она учинила у меня настоящий обыск. Оказавшись в моей келье, она принялась перебирать мои ручки, раскрыла мою записную книжку, все перетрогала, словно хотела узнать какой-то секрет. Потом она подбежала к полке с книгами и рассеянно скользнула взглядом по корешкам. Но проходя мимо зеркала, она на мгновение задержалась, чтобы поправить прическу и отложить кружева своего корсажа, обнажив при этом выемку груди. Она оглядела по очереди каждый предмет обстановки и понюхала цветы, всем любовалась, сопровождая это какими-то невнятными тихими возгласами. Наконец, обойдя всю комнату, она спросила совсем наивным тоном, казалось, без всякой задней мысли, но продолжая что-то искать глазами:

— А где же вы все-таки спите?

— На тахте, баронесса.

— Ах, как, наверно, хорошо быть холостяком! — И было похоже, что она вспомнила свои девичьи мечты.

— Иногда холостяку бывает очень грустно, — ответил я.

— Разве грустно быть хозяином самому себе, чувствовать себя независимым, знать, что ты ни перед кем не в ответе? О, я обожаю свободу... А замужество Сельмы — просто предательство! Не правда ли, сердце мое? — обратилась она к барону, который, чтобы соответствовать ей, произнес:

— М-да, весьма досадно!

Мы сели за стол, ужин начался. После первого же стакана вина мы развеселились. Но вдруг вспомнили, в связи с чем собрались здесь, и печаль охватила нас. Потом каждый по очереди

стал вслух вспоминать радостные минуты, пережитые вместе, мы вновь пережили, увы, лишь на словах, все забавные приключения во время наших совместных поездок, вспоминали, кто что когда сказал. Глаза у всех заблестели, сердца разогрелись, мы пожимали друг другу руки и чокались. Часы пролетали незаметно, и мы с растущим волнением понимали, что близится час прощания. Тогда по знаку своей жены барон вынул из кармана кольцо с опалом и, протянув его мне, произнес тост:

— Прими этот скромный дар, дорогой друг, в знак благодарности за твое дружеское к нам расположение. Пусть удача сопутствует тебе во всем, я молю об этом судьбу, потому что люблю тебя как брата и уважаю как человека чести! Счастливого пути! Я говорю тебе не прощай, а до свидания.

Человек чести! Значит, он меня разгадал! Он постиг нашу тайну! Однако не до конца. И в отборных выражениях барон обрушил изрядную порцию брани на голову бедной Сельмы, которая, как он уверял, не послушалась зова сердца и продалась человеку, не испытывая к нему никаких чувств. А этот жалкий субъект, ее супруг, всецело обязан своим счастьем человеку чести.

Человек чести — это я! Мне стало стыдно, но, увлеченный искренностью этого открытого, простого сердца, я вообразил себя очень несчастным, безутешным, и ложь пробрала меня, как мороз, до мозга костей и приняла образ правды.

Баронесса, сбитая с толку моими ловкими увертками и той холодностью, которую я всегда проявлял по отношению к ней, казалось, верила всему и с нежностью старой матушки пыталась меня приободрить.

— Хватит страдать по девицам! Их на свете хоть отбавляй, да куда лучших, чем эта особа. Не сомневайтесь, дитя мое, она немногого стоит, раз не хотела вас ждать. К тому же — теперь я могу вам в этом признаться — я там такого про нее наслушалась, что мне было просто неловко посвящать вас в эти сплетни.

И уже с нескрываемым удовольствием баронесса стала развешивать мое, как она полагала, божество:

— Она, представьте себе, пыталась даже соблазнить одного лейтенанта из высшего общества... и к тому же она гораздо старше, чем выдает себя... настоящая кокетка, поверьте!

Заметив неодобрительное движение мужа, баронесса сообразила, что совершила оплошность, и, сжимая мне руку, таким нежным взглядом молила у меня прощания, что для меня это было просто пыткой.

Барон, опьянев от выпитого вина, пустился в сентиментальные разглагольствования, изливал душу, признавался мне в братской любви, произносил множество весьма расплывчатых тостов и витал в каких-то высших сферах.

Его одутловатое лицо излучало доброжелательность, он ласкал меня своими печальными глазами, и у меня не оставалось сомнений в надежности его привязанности. Воистину это был большой добрый ребенок, безупречный в своей прямоте, и я поклялся быть

ему верным даже ценой собственной гибели. Мы встали из-за стола, чтобы расстаться — быть может, навсегда. Баронесса разрыдалась и обняла мужа, чтобы спрятать мокрое от слез лицо.

— Я совсем с ума сошла! — воскликнула она. — Я так привязалась к этому человечку, что его отъезд приводит меня в отчаяние.

И в порыве любви, чистой и нечистой, бескорыстной или заинтересованной, бешеной, но замаскированной под ангельскую нежность, она поцеловала меня на глазах мужа и, перекрестив, сказала мне прощай.

Старая служанка, стоящая у дверей, вытирала глаза, а мы все трое плакали. Это была торжественная, незабываемая минута. Жертва была свершена.

Я лег около часу ночи, но заснуть не смог. Страх опоздать на пароход не давал мне сомкнуть глаз. Вконец измученный проводами, которые длились уже целую неделю, в крайнем нервном возбуждении из-за ежедневных попок, выбитый из колеи вынужденным бездельем, раздраженный все новыми отсрочками дня отъезда и, главное, обессиленный от пережитых накануне волнений, я вертелся в постели до рассвета. Зная свое слабование и крайнее отвращение к поезду, я решил свершить это путешествие на пароходе, чтобы отрезать себе все пути к отступлению. Пароход отчаливал в шесть утра, экипаж должен был захватить за мной в пять. Один я отправился в путь. Октябрьское утро было ветреным, туманным и очень холодным, деревья белели от изморози. Когда мы доехали до Северного моста, я решил, что у меня начинается галлюцинация: я увидел барона, он шел в том же направлении, в котором ехал мой экипаж. Но это и в самом деле был барон: пренебрегая всеми светскими условностями, он, оказывается, встал в такую рань, чтобы еще раз со мной попрощаться. До глубины души тронутый таким неожиданным проявлением дружбы, я почувствовал себя недостойным его привязанности, и меня стали мучить жестокие угрызения совести за все мои дурные мысли на его счет. Он не только проводил меня до причала, но и поднялся на борт корабля, посетил мою каюту, представился капитану и попросил его отнестись ко мне с особым вниманием. Короче, он вел себя как старший брат, как преданнейший друг, а когда мы обнялись, у нас у обоих были слезы на глазах.

— Береги себя, старина, — попросил он меня, — мне кажется, ты нездоров.

И в самом деле, мне было как-то не по себе, и все же я держался, пока пароход не отчалил. Но вдруг меня охватил ужас перед этим долгим путешествием, которое я предпринимал безо всякой разумной цели, такой ужас, что мне до безумия захотелось броситься в воду и поплыть к берегу. Однако у меня ни на что не было сил, я в нерешительности топтался на палубе и махал платком в ответ на приветствия моего друга, которого я вскоре потерял из виду, так как на рейде стояло много кораблей.

Пароход, на котором я плыл, был транспортным и вез большой груз. У него имелась всего лишь одна каюта, расположенная под нижней палубой. Я добрался до своей койки, повалился на матрас и с головой зарылся в одеяло, намереваясь проспать первые сутки, чтобы отсечь всякую надежду на побег. И в самом деле, я как провалился, но не прошло и получаса, как я внезапно проснулся, словно меня ударило электрическим током — обычное последствие бессонницы и злоупотребления алкоголем.

И я сразу же осознал свое отчаянное положение. Я вышел на палубу и стал ходить по ней взад-вперед. Мы проплывали мимо бурых голых берегов, листья с деревьев уже пооблетели, луга были серо-желтыми, а в расщелинах скал лежал снег. Сероватая вода с пятнами сепии, темное, зловещее небо, грязная палуба, брань матросов, вонь, доносящаяся до меня из кухни, — все это объединилось воедино, чтобы ввергнуть меня в отчаяние. Я испытывал неодолимую потребность с кем-то поделиться своими переживаниями, но не видел пассажиров. Я поднялся на мостик в надежде поговорить с капитаном. Но это был настоящий медведь, к такому не подступишься. Итак, я на десять дней оказался как в тюрьме, совсем один, в обществе людей, с которыми и словом не обмолвшись, начисто лишенных сердца. Это было настоящей пыткой.

И я снова стал прогуливаться по палубе, вперед-назад, словно от этого должно было скорее пройти время. Моя пылающая голова работала с небывалым напряжением, гудела от мыслей, рождавшихся тысячами ежеминутно, я гнал прочь воспоминания, но они тут же вновь всплывали и теснили друг друга в моем бедном мозгу, и среди всей этой душевной сумятицы меня еще терзала непроходящая боль, подобная зубной, но при этом я не понимал, что именно у меня болит, не знал названия этого страдания. Чем дальше отплывал пароход от берега, приближаясь к открытому морю, тем больше нарастало во мне это напряжение. Словно пуповина, которая связывала меня с родной землей, с родиной, с семьей — с ней, должна была вот-вот разорваться. Болтаясь где-то между небом и землей на крутых волнах, я чувствовал, что буквально теряю почву под ногами, что все меня покинули, и от этого сознания своего одиночества в душе моей рождался смутный страх — я стал бояться всего и всех. Должно быть, во мне есть эта врожденная ущербность, потому что я помню, как давным-давно во время увеселительной прогулки я горько рыдал от разлуки с мамой, хотя тогда мне шел уже двенадцатый год и по физическому развитию я намного опережал своих сверстников. Может, это объясняется тем, что я родился недоношенным, может, все дело в том, что я появился на свет, несмотря на предпринятые попытки избавиться от меня, что весьма часто случалось в многодетных семьях. Так или иначе, но у меня развилось странное малодушие, которое проявлялось всякий раз, когда я собирался изменить место жительства. Так и теперь, вырванный из своей

привычной среды, я вдруг испытал панический безотчетный страх перед будущим, перед той незнакомой страной, куда направлялся, перед командой парохода. Впечатлительный, с обнаженными нервами, как, наверное, всякий едва не ставший жертвой аборта ребенок, я был подобен раку во время линьки, когда он без панциря ищет прибежища под камнями и чувствует малейшее колебание барометра, я бродил по пароходу, надеясь встретить человека с более мужественной душой, чем моя. Да, мне не хватало крепкого рукопожатия, теплоты человеческого тела, взгляда дружеских глаз. Я кружился, как заводная кукла, по передней палубе, между капитанским мостиком и надстройкой, и мысленно представлял себе, в каких страданиях я проведу все десять дней пути. А ведь прошел всего час, как мы отвалили от причала. Час, равный вечности, и не было никакой надежды прервать это проклятое путешествие, решительно никакой! Как я ни уговаривал себя, ни взывал к разуму, все во мне восставало. «Что тебя заставляет уехать? Кто имеет право осудить тебя, если ты решишь вернуться?»

Никто. И все же... Стыд, страх стать посмешищем, дело чести! Нет, надо оставить всякую надежду! Да к тому же этот пароход до Гавра не имеет стоянок. Итак, вперед, мужайся! Но мужество основано на физических и психических силах, а в данный момент я не располагал ни тем, ни другим. Гонимый черными мыслями, которые меня преследовали, я решил теперь гулять по задней палубе, поскольку переднюю я, так сказать, уже выучил наизусть, и релинги, и такелаж, и оснастку я знал, как содержание только что прочитанной книги. Выйдя на заднюю палубу через застекленную дверь, я чуть не толкнул даму, которая примостилась за каютой. Это была старая женщина с грустным выражением лица, одетая во все черное.

Она внимательно, с симпатией посмотрела на меня, так что я счел возможным с ней заговорить. Она ответила мне по-французски, и наше знакомство состоялось.

Обменявшись сперва несколькими незначительными фразами, мы тут же рассказали друг другу о целях нашего путешествия. Ее история была не из веселых. Она оказалась вдовой коммерсанта, торговавшего древесиной, и сейчас ехала из Стокгольма, где гостила у родных, в Гавр, чтобы ухаживать за сыном, который заболел психическим расстройством и помещен там в сумасшедший дом. Рассказ этой дамы, душераздирающий при всей своей краткости и простоте, произвел на меня безмерное впечатление, и вполне вероятно, что именно он, засев в моем свихнувшемся мозгу, и явился толчком для того, что затем последовало.

Дама вдруг прервала начатую фразу, испуганно посмотрела на меня и спросила с сочувствием:

— Как вы себя чувствуете, сударь?

— Я?..

— Да, у вас больной вид! Не пойти ли вам немного поспать?

— По правде говоря, я не спал всю ночь и чувствую себя возбужденным. Как я ни старался, уснуть мне, к сожалению, так и не удалось.

— Это дело поправимое! Немедленно отправляйтесь в каюту, я дам вам такое лекарство, что вы и стоя уснете.

Она встала и ласково подтолкнула меня рукой, чтобы я скорее шел спать. Проводив меня до каюты, она на минуту исчезла и вернулась с бутылочкой, в которой было снотворное лекарство. Она заставила меня тут же выпить ложку этого снадобья и сказала:

— Ну вот, дитя мое, теперь вы будете спать.

Я поблагодарил ее, а она в ответ подоткнула мне со всех сторон одеяло. Как она бесподобно это делала! Она так и излучала то материнское тепло, которое ищет малыш, прижимаясь к груди матери. Нежное прикосновение ее рук меня успокоило, и две минуты спустя меня уже охватило какое-то оцепенение. Мне казалось, что я младенец, я вновь видел свою мать, которая хлопотала у моей кровати, но постепенно бледное лицо матери расплылось, обрело очаровательные черты баронессы, но вместе с тем оно было и лицом доброй пожилой дамы, только что меня покинувшей, и, защищенный видением этих трех женщин, я медленно блек, как блекнут краски, сгорал, как свеча, переставал существовать в виде сознательного индивида.

Проснувшись, я не помнил, чтобы мне что-то снилось, но из головы не шла одна навязчивая идея, словно ее мне внушили за это время: либо я вернусь к баронессе, либо сойду с ума!

Меня охватила дрожь, я вскочил с койки, влажной от сырого ветра, который всюду проникал, и вышел на палубу. Небо было серо-голубым, как листовое железо, и бурливые волны обмывали тросы, заливали палубу и обдали меня пеной с головы до ног.

Поглядев на часы, я прикинул, сколько мы успели пройти во время моего сна, и мне стало ясно, что мы вот-вот выйдем в открытое море, и, следовательно, уже не было никакой надежды на возвращение. Пейзаж показался мне странным, все в нем удивляло меня, начиная с множества островков, раскинутых по всем бухтам, и кончая скалистыми берегами, размером хижин, стоящих у воды вдалеке друг от друга, и формой парусов на рыбацких челнах. И перед этой картиной чужой, незнакомой природы меня охватило предвкушение ностальгии. Меня дтило глухое бешенство, отчаяние, что я, словно сельдь в бочке, втиснут в это транспортное судно, нахожусь здесь помимо своей воли, повинуюсь высшей силе, именуемой «вопрос чести».

Изнуренный этим приступом бешенства, я впал в мучительную протрацию. Опершись на релинги, я стоял не двигаясь, хотя брызги так и били меня по горящим щекам, и лихорадочно глядел на берег, то в нелепой надежде обнаружить какую-то возможность остановить пароход, то строя планы добраться до берега вплавь. Мой взгляд следил за причудливой линией побережья, и постепенно я успокаивался, душа безо всяких причин то и дело озарялась тихой радостью, мой воспаленный мозг уже

не работал так бешено, на меня наплывали воспоминания о погожих летних днях моей юности, однако объяснить, по какому капризу произошла эта смена настроений, я не мог. Пароход огибал в этот момент высокий мыс. Красные черепичные крыши и побеленные наличники проглядывали между сосен, флагшток, возвышающийся над зеленью садилов, мост, часовня, колокольня, кладбище... Это сон! Или галлюцинация! Нет, это просто тот самый убогий морской курорт, вблизи которого, на островке, я проводил в школьные годы лето... А в этом домике, вон там, наверху, я ночевал весной с моими друзьями, с ней и с ним, после поездки на пароходе и прогулки в лесу... Да, именно там, на этом холме, под ясенями, я любовался ею, когда она стояла на балконе, не мог оторвать глаз от ее прелестного личика, озаренного отсветом ее золотистых волос, будто солнцем, от маленькой японской шляпки с голубой вуалью, от ее крошечной ручки в замшевой перчатке... Она сверху подала мне знак, что обед готов... И мне показалось, что я снова вижу ее на балконе, вижу, как она машет мне платком, зовет своим звонким голосом... И вдруг пароход замедлил ход, машина заглохла, и к нам подплыла лодка лоцманов... Видимо, я ошибся в своих расчетах... Раз, два, три... Мысль, быстрая как молния, пронзила меня и вмиг привела в движение. Будто тигр, я одним прыжком оказался у капитанского мостика, мгновенно взобрался на него и с решимостью в голосе сказал капитану:

— Высадите меня немедленно, не то я сойду с ума!

Он окинул меня торопливым взглядом, помедлил, ошеломленный моей просьбой, и, не ответив мне, приказал своему помощнику, не выбирая слова, всем своим видом показывая, что перед ним стоит убежавший из больницы умалишенный:

— Высадите этого господина с его багажом. Он болен.

Минуту спустя я уже сидел в лодке лоцманов. Они приналегли на весла, и пять минут спустя я стоял на твердой земле.

Я обладаю замечательной способностью становиться в нужный момент глухим и слепым, поэтому я направился в гостиницу, не увидев и не услышав ничего сколько-нибудь оскорбительного для моего самолюбия — ни презрительной усмешки на лицах лоцманов, свидетельствующей, что они знают мой секрет, ни оскорбительного замечания носильщиков.

Добравшись до гостиницы, я взял номер, заказал абсент, закурил и попробовал обдумать все, что случилось.

Сумасшедший ли я или нет? В самом ли деле опасность была так велика, что меня надо было немедленно высадить?

В данном случае я не чувствовал себя вправе вынести решение, поскольку душевнобольной, как говорят врачи, не отдает себе отчета в том, что он лишился рассудка, а логика развития его мыслей вовсе не доказывает, что сами эти мысли соответствуют норме. Как настоящий исследователь, я решил проанализировать аналогичные случаи в моей прошлой жизни. Однажды, когда я еще учился в университете, я был в нервном возбуждении,

но на то имелись свои основания: самоубийство товарища, влюбленность без взаимности, страх перед будущим... Я дошел тогда до такого состояния, что среди белого дня стал всего бояться, не мог оставаться один в комнате, потому что мне чудилось, что я вижу самого себя, и друзья мои были вынуждены по очереди стеречь меня ночи напролет, зажигая по нескольку свечей и разводя огонь в печи.

В другой раз, в приступе раскаяния, вызванного разными несчастиями, я бегал по полям, бродил по лесу и в конце концов влез на сосну, сел верхом на ветку и стал произносить речи для малорослых елочек, пытаюсь покрыть своим голосом их шелест, — я воображал себя оратором, выступающим перед народом. Это было как раз недалеко отсюда, на этом самом островке, где я столько раз проводил лето, — очертания его мыса я и сейчас видел вдали. Восстанавливая в памяти этот инцидент во всех его нелепых подробностях, я пришел к убеждению, что какая-то доля безумия во мне все-таки есть.

Что же теперь делать? Главное успеть предупредить друзей, пока слух о моей выходке не распространится по городу. Но какой позор, какое бесчестье оказаться в числе неполноценных! Нет, с этим просто невозможно смириться!

Врать, нести всякие небылицы, никого при этом не убеждая, — нет, это мне было противно! Я терзался сомнениями, не знал, что лучше предпринять, чтобы выбраться из лабиринта, из которого выхода не было, и меня так и подмывало по-настоящему удрать, уйти от скучного дознания, которого мне было не избежать, укрыться в лесу, найти там какое-нибудь заброшенное логово, забиться в него и сдохнуть, как дикий зверь, когда пробьет мой час.

С этими намерениями я вышел узкими улочками за черту городка, вскарабкался на поросшие мхом скалы, скользкие после осенних дождей, пересек поле под паром и вышел на участок, где с закрытыми ставнями спал наш домик, обвитый по самую крышу диким виноградом. Но листья его теперь облетели, и обнажилась густая сетка зеленой лозы.

Когда я очутился в этом месте, ставшем для меня священным, потому что там наше чувство пустило свои первые побеги, в моем сердце с новой силой вспыхнула любовь, тлевшая все это время под пеплом других забот. Прислонившись к столбу, поддерживающему резной деревянный балкончик, я плакал, громко всхлипывая, как брошенный ребенок.

Помню, что в «Тысяче и одной ночи» я читал про юношей, которые заболевают от неутоленной любви, и вылечить их может только одно средство — обладание любимой. Помню также, что в шведских народных песнях часто рассказывается о девушках, которые, не зная, как привлечь к себе внимание предмета своих воздыханий, чахнут на глазах и просят мать приготовить им смертное ложе. И даже старый скептик Гейне воспевает соплеменников Азры, которые умирают, когда любят!

Моя любовь, видимо, была того же рода, поскольку я буквально впал в детство и был всецело во власти одной только мысли, одного образа, одного чувства, которое господствовало над всеми остальными и лишало меня жизненной силы, я был ни на что не годен и мог только стонать.

Чтобы хоть как-то переключиться, я стал любоваться великолепным видом, открывшимся с этой высокой точки. Тысячи островов, ошетилившихся соснами и елями, казалось, плыли в огромном заливе Балтийского моря и становились тем меньше, чем дальше они отстояли от берега, пока, наконец, не превращались в крохотные островочки, рифы, подводные камни, и так до самой крайности архипелага, где уже полностью властвует море, где волны разбиваются об отвесные стены последних скал.

Низкие висящие в небе тучи раскрашивали бушующее море разноцветными полосами, и коричневые валы, пробегая всю цветовую гамму от бутылочно-зеленого до берлинской лазури, вскипали на гребнях белоснежной пеной. Вдруг из-за крепости, возвышавшейся на крутом скалистом острове, поднялись клубы черного дыма. Но откуда валил этот дым, было неясно. Минуту спустя появился темный силуэт транспортного судна, которое я только что покинул. У меня до боли сжалось сердце, словно я увидел свидетеля своего бесчестия. И я закусил удила, как лошадь, которая понесла, и побежал в лес.

Под стрельчатыми сводами сосен ветер гудел, раскачивая ветки с пушистой хвойной бахромой, и тогда меня пуще прежнего охватило отчаяние. Здесь мы с ней гуляли, когда солнце освещало весеннюю зелень перелеска и цвели сосны — их пурпуровые свечки пахли земляникой, и с можжевельника слетала желтая пыльца, а под орешником анемоны пробивали слой прошлогодних листьев. Здесь, по этому мху, коричневому, мягкому, будто шерстяное одеяло, ступали ее маленькие ножки, когда она пела своим звонким голосом финские песни. Вспышка памяти приковала мой взгляд к двум гигантским соснам, которые сплелись в навеки нерасторжимом объятии, а когда ветер раскачивал верхушки, их стволы со скрипом терлись друг о друга. Именно здесь она сбежала с тропинки, чтобы сорвать в болоте кувшинку. С усердием легавой я стал брать след этой обожаемой ножки — ведь как ни легка ее походка, отпечаток должен был остаться. Наклонив голову и опустив нос, я разведывал местность, принохивался, шарил глазами землю под ногами, но ничего не мог обнаружить. Скот все истоптал копытами, и искать отпечаток ботинка любимой можно было с тем же успехом, что след лесной феи. Я видел лишь трясину, коровий навоз, шампиньоны, мухоморы, белые и стебельки от облетевших цветов. Дойдя до болота, в котором поблескивала черная вода, я на миг утешился мыслью, что эта жижа была удостоена чести отразить самое прелестное в мире лицо, и постарался найти среди увядших листьев, которые пригнал сюда ветер с соседних берез, листья водяной лилии, но и это мне не удалось. Тогда я вернулся назад и углубился в лес.

Чем дальше я заходил в чащу, тем толще становились стволы сосен и тем унылей завывал ветер.

Мною овладело полное отчаяние, я громко зарыдал от нестерпимой душевной боли, и слезы градом полились из глаз. Подобно лосу в пору спаривания, я топтал мухоморы, вырывал с корнем можжевельник, налетал на стволы деревьев. Чего я хотел? Этого я был бы не в силах сказать. Мой мозг пылал, у меня было лишь одно неодолимое желание — вновь увидеть баронессу, которую я любил слишком сильно, чтобы желать ее.

А теперь, когда все было кончено, я решил умереть, ибо жить без нее я не мог. Но с хитростью, свойственной всем сумасшедшим, я хотел погибнуть не как попало, а определенным образом: заболеть воспалением легких или чем-нибудь в этом роде, пролежать в постели несколько недель, видеть ее все это время, перед смертью успеть с ней попрощаться, поцеловать ей руку.

Как только у меня возник этот план, я несколько успокоился и двинулся к прибрежным скалам, что было нетрудно — грохот волн указывал мне направление, и я быстро выбрался из леса.

Я огляделся: крутой берег, большая глубина. Все складывалось как нельзя лучше. С тщательностью, которая никак не выдавала моего зловещего намерения, я разделся и сложил свою одежду под молодой ольхой, а часы положил под камень. Дул резкий ветер, вода в октябре была лишь на несколько градусов выше нуля. Добежав до гребня скалы, я прыгнул в воду вниз головой, стараясь попасть между двумя огромными валами. Меня обожгло, какие-то минуты мне казалось, что я погружен в раскаленную лаву, но потом я все же вынырнул, и в памяти остались морские водоросли, которые я там увидел. Их везикулы оцарапали мне икры. Я быстро поплыл вперед, удаляясь от берега, могучие волны ударяли мне в грудь, чайки приветствовали меня смехом, а вороны — карканьем. Однако я вскоре обессилел, и тогда я повернул к берегу и выбрался на скалу. Наступал главный момент в осуществлении моего замысла: как известно, простудиться легче всего не во время самого купанья, а когда выходишь из воды, особенно если не сразу одеваешься, именно поэтому я выбрал на скале самое открытое место, подставил свою мокрую спину резкому октябрьскому ветру и с удовлетворением отметил, что кожа тут же задубела от холода, мышцы спазматически сократились и, словно повинувшись защитному инстинкту, сжалась грудная клетка, чтобы уберечь заключенные в ней органы. Однако усидеть на месте оказалось свыше моих сил, и тогда, вцепившись в ветку ольхи, я стал ее трясти что было мочи, дерево ходило ходуном от моих усилий, а я все не разжимал рук. Но ледяной ветер обжигал спину раскаленным железом, и я, не сомневаясь, что осуществил свой замысел на славу, стал торопливо натягивать на себя одежду.

Тем временем уже стемнело, и когда я снова вошел в лес, то обнаружил, что не видно ни зги. На меня напал настоящий страх, ветки елей больно хлестали по лицу, мне пришлось пробираться

буквально ощупью. От ужаса мои пять чувств настолько обострились, что я мог, скажем, определять породу деревьев по шелесту листьев. Бас елей — их жесткие иголки звучали, как струны гигантской, но скверной гитары. Длинные, мягкие иголки сосновых кистей издавали более высокий звук и с неким посвистом — казалось, что шипят одновременно тысячи змей. Сухое бряцание веток березы пробуждало во мне детские воспоминания, пронизанные рождающимся сладострастием и тайными обидами. Шорох сухих дубовых листьев, еще не полностью облетевших с веток, звучал как шорох скомканной бумаги, шепот же можжевельника напоминал голос женщины, говорящей на ушко свои секреты. А глухой звук ольхи, когда ветер срывает с веток последние сережки! Я вдруг обрел дар отличать по звуку падения на землю еловую шишку от сосновой. По одному запаху я мог найти гриб, а когда ступал, нервы на больших пальцах мне подсказывали, где растет плаун, а где — кукушкин лен.

Эта моя сверхчувствительность благополучно вывела меня к кладбищу, и я перелез через изгородь. Там я наслаждался музыкой плакучих ив, которые стегали своими плетями кресты. Вконец окоченевший, вздрагивая от каждого неожиданного звука, я все же добрел до селения, и свечи, зажженные в домах, помогли мне найти путь в гостиницу.

Как только я очутился в своем номере, я сочинил телеграмму барону, сообщая ему о своей болезни и связанной с ней высадкой. После этого я написал ему же письмо, откровенно изложив на нескольких листах особенности моей психической конституции, не утаил от него прежнего приступа болезни и попросил сохранить мое признание в тайне. Толчком к моему нынешнему состоянию, объяснил я ему, послужило обручение моей любимой, поскольку я навсегда потерял всякую надежду с ней соединиться.

Вконец обессилев, я лег в постель, так как был совершенно уверен, что на этот раз заболел по-настоящему. Я вызвал звонком горничную и попросил ее привести доктора. Поскольку такового в селении не оказалось, мне пришлось довольствоваться местным священником, которому я и собирался сообщить свою последнюю волю.

И я стал ждать либо смерти, либо полного безумия.

Пришел священник. На вид ему можно было дать лет тридцать, а по облику он больше походил на батрака в воскресной одежде, чем на священнослужителя. Рыжая шевелюра, испещренное веснушками лицо, погасшие глаза — он не вызвал у меня никакой симпатии, и я долго лежал, не произнося ни слова, потому что не знал, что я могу доверить человеку, не имеющему образования и не отличавшемуся ни мудростью, приходящей с годами, ни знанием человеческого сердца. Он явно был смущен, что, впрочем, и естественно для провинциала при встрече со столичным жителем, и не решался сесть, а стоял посреди комнаты, пока я жестом не предложил ему стул. Тогда он начал свой допрос:

— Вы позвали меня, сударь. У вас, видно, горе.

— Да.

— Это не удивительно, ведь счастье можно обрести лишь у Христа!

Поскольку я томился по другому счастью, я не стал ему перечить. И он, проповедник-евангелист, заговорил монотонно, без души, как фабрикант слов. Старые, истертые фразы катехизиса приятно убаюкивали мое сознание, а присутствие живого существа, пытающегося вступить в общение с моей душой, меня поддерживало. Однако молодой священник, вдруг усомнившийся в моей искренности, прервал себя и спросил:

— У вас есть истинная вера, сударь?

— Н е т , — ответил я, — но продолжайте говорить, мне от этого становится легче.

Он снова принялся за свою работу. Непрерывный звук его голоса, сияние его глаз, тепло, исходящее от его тела, произвели на меня впечатление магических пассов, и полчаса спустя я уже спал.

Когда я проснулся, магнетизера не было. Вошла горничная и принесла мне опиат, который раздобыла у аптекаря, причем строго предупредила, что лекарством этим нельзя злоупотреблять, так как в пузырьке смертельная доза. Естественно, что, оставшись один, я тут же выпил залпом все лекарство до капли и, зарывшись в перину, стал ждать смертного часа. Вскоре я заснул.

Проснувшись утром, я несколько не был удивлен, что солнце ярко освещает мой номер, потому что всю ночь мне снились какие-то ясные цветные сны. «Я вижу сны, значит, я существую», — подумал я и стал себя ощупывать, надеясь обнаружить высокую температуру и признаки воспаления легких. Однако, несмотря на мои искренние намерения убедиться в приближении летального исхода, я не мог не признать, что чувствую себя совсем не плохо. Голова была, правда, тяжелая, но работала исправно и уже далеко не так лихорадочно, как раньше, а двенадцать часов сна восстановили те жизненные силы, которыми я обычно располагал, поскольку с юности много занимался различными физическими упражнениями.

Вскоре мне принесли телеграмму, из которой я узнал, что мои друзья приезжают с двухчасовым пароходом.

Меня снова стал мучить стыд! Что я скажу им, как мне вести себя? Пробудившееся во мне мужское достоинство восставало против всего, что могло бы меня унижить, поэтому, быстро все прикинув, я решил ждать здесь прибытия следующего парохода и продолжить на нем свое путешествие. Таким образом, моя честь будет спасена, а приезд друзей будет всего лишь последним прощанием. Однако, перебирая мысленно все, что произошло накануне, я проникся к себе отвращением. Как могло случиться, чтобы я, человек трезвого ума, скептик, повел себя таким жалким образом? Чего стоило одно только обращение к священнику! Как объяснить такую блажь? Конечно, я обратился к нему как к официальному

лицу, а он оказал на меня действие гипнотизера. Но для общественного мнения это будет выглядеть как обращение к богу. А может быть, даже решат, что мне надо было исповедаться в чем-то тайном, связанном с какими-нибудь сомнительными делами, короче, что-то вроде последней исповеди негодяя на смертном одре. Какой отличный повод для сплетен я дал местным жителям, которые, конечно, поддерживают непосредственную связь с горожанами! Будет о чем посудачить торговкам на рынке.

Единственный способ спасти положение — уехать за границу, и как можно скорее. Разыгрывая роль потерпевшего кораблекрушение, я провел утро, расхаживая по веранде, и то и дело постукивал по барометру, наблюдая движение стрелки, так что время пролетело довольно быстро, и пароход появился в горловине пролива прежде, чем я успел решить, отправиться ли мне на причал или остаться тут. Но, поскольку я не хотел стать посмешищем для людей, посвященных в мои обстоятельства, я все же не вышел из комнаты. После недолгого ожидания я услышал взволнованный голос баронессы, расспрашивающей хозяйку гостиницы о моем здоровье. Я поспешил ей навстречу, и она едва не кинулась мне на шею на глазах у всех. Исполненная сострадания, она громко сетовала на болезнь, которая случилась в результате переутомления, и горячо упрашивала меня вернуться в город, отложив поездку до весны.

В тот день она была удивительно хороша. Ее шуба, ниспадающая мягкими складками, напоминала одежду тибетского ламы, а крупные завитки каракуля эффектно подчеркивали стройность фигуры. От резкого морского ветра кровь прилила к ее щекам, а ее глаза, увеличившиеся от охватившего ее волнения, выражали бесконечную нежность. Как я ни пытался умерить ее тревогу насчет моего здоровья, уверяя, что уже вполне поправился, все было тщетно. Она уверяла, что я выгляжу как покойник, что мне противопоказаны малейшие усилия, — словом, обращалась со мной, как с малым ребенком. И эти материнские заботы ее необычайно красили. Интонации ее стали певуче-ласковыми, она шуточки ради стала говорить мне «ты», закутала в свою шаль, а за столом повязала мне салфетку вокруг шеи, следила, чтобы мой стакан не был пуст, что-то разрешала, что-то запрещала. Она воистину была воплощением материнства! Если бы она могла быть так беззаветно предана своему ребенку, как была предана мне — затаившемуся самцу, преследующему самку, зверю в период осеннего спаривания! В роли больного дитяти, укутанный ее шалью, я чувствовал себя серым волком, улегшимся в постель бабушки, чтобы сожрать Красную Шапочку.

Мне стало стыдно. Стыдно перед ее мужем, наивным, открытым, заботившимся обо мне и тщательно избегавшим мучительных объяснений. И все же вины на мне не было, сердце мое замкнулось, и я принимал все знаки внимания, которые оказывала мне баронесса, прямо с оскорбительной холодностью.

Во время десерта, незадолго до отправления парохода, барон

предложил мне вернуться с ними в город и занять комнату в их квартире — они готовы были мне ее предоставить. К чести своей должен сказать, что на это предложение я ответил решительным отказом. Ведь я прекрасно понимал, насколько опасно так играть с огнем, и поэтому объявил им свое твердое, не подлежащее отмене решение остаться здесь еще на неделю, чтобы окончательно прийти в себя, а потом вернуться в город и жить там в своей старой мансарде.

Так я поступил, несмотря на повторные протесты моих друзей. Странная вещь, но как только я становился непреклонным, как только проявлял волю и мужественность, баронесса разом теряла ко мне дружеское расположение. А чем больше я был растерян, чем больше уступал всем ее капризам, тем больше она меня боготворила и осыпала похвалами за мудрость и кротость. Она меня подавляла, подчиняла себе, а если я начинал оказывать ей хоть малейшее сопротивление, полностью отстранялась и проявляла ко мне неприязнь, граничащую с жестокостью.

Так, обсуждая вопрос о совместной жизни, она потеряла всякое хладнокровие, перечисляя взаимные выгоды, которые ожидают нас в этом случае. Особо важным тут было, по ее мнению, то обстоятельство, что таким образом мы имели бы удовольствие постоянно видеться, не приглашая друг друга в гости.

— Но помилуйте, баронесса, — возразил я, — что скажут люди, узнав, что в доме молодоженов поселился некий молодой человек?

— Что нам до людей и до их болтовни!

— Но ваша матушка и ваша тетушка... К тому же моя гордость не может смириться с тем, чтобы со мной обращались как с несовершеннолетним.

— К черту мужскую гордость! Вот погибнуть, не проронив ни слова, это вы считаете поступить по-мужски, да?

— Конечно, баронесса, мужчина должен быть сильным.

Тут она пришла в бешенство и с гневом принялась отрицать, вопреки очевидности, различие полов. Ее женская логика до того запутала меня, что я был вынужден обратиться за помощью к барону, который лишь усмехнулся в ответ, однако в усмешке этой я уловил глубокое презрение к женскому уму.

Около шести вечера пароход отчалил, увозя моих друзей, и я в одиночестве вернулся в гостиницу.

Вечер выдался великолепный. Оранжевый закат, дьявольски синяя вода с белесыми разводами, а над горизонтом, зубчатым из-за верхушек елей, висела медная луна.

Я сел за столик в ресторане, подперев голову руками, отдался своим переменчивым мыслям, то смертельно печальным, то веселым, и тут ко мне подошла хозяйка.

— Скажите, сударь, молодая дама, которую вы только что проводили, ваша сестра?

— Нет, не сестра.

— Просто удивительно, до чего вы похожи друг на друга! Можно поклясться, что вы брат и сестра.

Так как я не был расположен поддерживать этот разговор, он тут же иссяк, однако дал новый толчок моим раздумьям.

Возможно ли, спрашивал я себя, что сосредоточенность всех моих мыслей в эти дни на баронессе как-то изменила черты моего лица, а может быть, дело просто в том, что выражение наших лиц стало сходным за эти полгода интенсивной духовной близости? Стремление понравиться друг другу во что бы ни стало привело, видимо, к бессознательному отбору наиболее привлекательной мимики, к наиболее обаятельной манере держать себя, все же иное постепенно исчезало. Вполне возможно, что так оно и было, во всяком случае, поскольку произошло взаимопроникновение двух душ, мы отныне действительно стали зависеть друг от друга. Судьба, а говоря проще, инстинкт сыграл, как всегда, свою изменную и неизбежную роль, камень покатился с горы, сметая со своего пути все и вся — честь, разум, счастье, верность, добродетель, целомудрие!

Какое изумительное простодушие! Она, видите ли, задумала поселить под своей крышей пылкого молодого человека, находящегося в том самом возрасте, когда все желания порождаются плотскими вожделениями. Кто же она, в конце концов, тайная распутница или женщина, которой любовь помрачила разум? Распутница? О нет! Тысячу раз нет!.. Я боготворил ее за естественность поведения, за душевную чистоту, за искренность и материнскую нежность. Да, что и говорить, она эксцентрична, даже, если угодно, взбалмошна, что, впрочем, она и сама за собой знает, трезво оценивая свои недостатки, но она не злодейка! И даже когда она прибегает к своим наивным хитростям, чтобы растревожить меня, она ведет себя как уверенная в себе женщина, которая забавляется тем, что смущает робкого юношу, а не как заядлая кокетка, стремящаяся вызвать плотскую страсть у заинтересовавшего ее мужчины.

Теперь я должен был укротить пробудившихся демонов и, чтобы навести всех на ложный след, сел за письменный стол и набросал письмо, в котором снова оседлал своего старого конька и витиевато распространялся о своей несчастной любви, приписывая этот приступ отчаяния успеху певца, навеки лишившему меня всяких надежд. И в виде литературного доказательства приложил к письму два стихотворения «К НЕЙ», исполненных как бешеного темперамента, так и двойного смысла. Если они ранят баронессу, то что ж, я не против! Однако ни на письмо, ни на стихи ответа не последовало; то ли мой прием уже не произвел на них должного действия, то ли эта тема их уже не интересовала.

Тихие, спокойные дни, которые я провел в деревне, помогли мне восстановить силы. Окружавшая меня природа была одухотворена образом обожаемой мною женщины, даже лес, в котором я провел такие страшные часы, будто в чистилище, казался мне теперь веселым, и когда я гулял по утрам, эти места, где я насмерть сражался со всеми демонами, заключенными в человеческом сердце, уже не внушали мне ни капли ужаса. Встреча с ней и уверенность, что вновь ее увижу, вернули мне жизнь и разум!

Хорошо зная по личному опыту, что неожиданный гость никогда не бывает по-настоящему желанным, я вошел в дом баронессы лишь после больших колебаний. Еще на улице меня неприятно поразили голые деревья, отсутствие скамеек в садике, неогороженные клумбы, танец сухих листьев на ветру — печальные приметы зимы. А войдя в гостиную, я испытал чувство подавленности, вдохнув спертый воздух, согретый высокими белыми изразцовыми печами, встроенными в стены, — казалось, они свисали с потолка, словно простыни. Вторые рамы были уже вставлены, и щели заклеены белой бумажной лентой. Из-за ваты, лежащей между рамами и изображающей снег, казалось, что эту комнату приспособили для умирающего. Я постарался мысленно убрать из нее все предметы дворянского быта и восстановить ее в прежнем виде, когда она была столовой в буржуазном доме с суровым укладом: голые стены, дощатый пол, не покрытый ковром, обеденный стол из мореного дуба на восьми ногах, похожий на паука, а над ним — строгие лица отца и мачехи.

Баронесса встретила меня радушно, но вид у нее был печальный, словно она пережила какое-то разочарование. У них в гостях были свекор и дядя, они играли с бароном в карты в другой комнате. Я пошел с ними поздороваться, а потом оказался наедине с баронессой. Она села в кресло у лампы и принялась за вязание. Молчаливая, угрюмая, некрасивая, она предоставила мне вести разговор, который вскоре превратился в монолог, поскольку она не подавала реплик. Я примостился у печки и глядел на нее: склонившись над своей работой, она вязала, не подымая головы. Таинственная, ушедшая в себя, она, казалось, временами совершенно забывала о моем присутствии, и я решил, что пришел некстати и что мое возвращение в столицу произвело дурное впечатление, как, впрочем, я и ожидал. Вдруг я невзначай опустил глаза, и в полутьме, под столиком, покрытым ковровой скатертью, меня ослепила ее ножка, обтянутая белым чулком, перехваченным подвязкой с пестрой вышивкой. Видно, садясь, она приподняла юбку, и эта ножка, сразившая меня безупречностью линий, предстала моему взору во всей своей красе. Жар ударил мне в голову, ибо по ней мое воображение сразу же воссоздало все ее тело. Ах, эта крошечная ножка с крутым подъемом, обутая в башмачок Золушки!

Тогда я не сомневался, что юбка задралась случайно. Лишь много позже я узнал, что чувствует женщина, когда показывает ножку выше щиколотки. Взволнованный этим впечатляющим зрелищем, я тут же ловко перевел разговор на тему своей вымышленной любовной неудачи. Она резко выпрямилась и, глядя мне прямо в лицо, произнесла:

— Вы, видно, очень постоянны в своих привязанностях!

Мой взгляд, что греха таить, был все еще устремлен под этот злосчастный круглый столик, где белел чулок с красной подвязкой, но я все же заставил себя его отвести и погрузить в ее расширяющиеся от света лампы зрачки.

— К несчастью, да! — ответил я ей твердо и уверенно.

Это была исповедь, хотя я и обошелся без признаний в любви, и она шла под шелест игральных карт и под возгласы игроков.

Установилось тягостное молчание. Одернув юбку, она снова взялась за вязание. Чары развеялись, в комнате вязала чужая, дурно одетая женщина, к которой я был совершенно равнодушен. Спустя полчаса я, сославшись на плохое самочувствие, попрощался.

Вернувшись домой, я вытащил из ящика свою драму, твердо решив переписать ее заново в надежде, что бешеной работой мне удастся подавить в себе чувство не только не сулившее мне ничего отрадного, но и могущее привести меня к преступлению, а от преступления меня отвращало все — и инстинкт, и вкус, и трусость, и нравственное воспитание. Я твердо решил разорвать эти отношения, ставшие теперь более чем опасными. Неожиданный случай пришел мне в этом на помощь: дня два спустя я получил предложение заняться разбором и систематизацией библиотеки одного коллекционера, живущего за городом в своем имении.

Так я оказался в старом родовом особняке XVII века, в комнате, снизу доверху заваленной книгами. Это было путешествие по разным эпохам моей родины. Там была собрана вся литература Швеции, начиная с инкунабул XV века и кончая последними новинками. Я ушел в это дело с головой, чтобы забыться, и мне это вполне удалось, причем даже настолько, что пролетела неделя, а я и не заметил отсутствия моих друзей.

Когда наступила суббота, день приема у баронессы, ко мне явился вестовой королевской гвардии и вручил официальное приглашение от барона, к которому он приписал несколько слов, дружески упрекая меня за мое исчезновение. Я испытал некое кисло-сладкое чувство удовлетворения от того, что имел возможность ответить очень вежливым отказом, выражая при этом сожаление, что я, увы, не могу уже свободно располагать своим временем.

Ровно через неделю появился тот же вестовой, на этот раз в парадной форме, и передал мне записку от баронессы, написанную весьма резко, в которой она умоляла меня навестить барона, прикованного к постели из-за сильной простуды. Больше уклоняться было невозможно, и я тотчас же отправился в город.

Баронесса выглядела больной, а что до барона, то он, слегка простуженный, томился в постели, в спальне, куда меня и провели. Вид этого алтаря любви, до тех пор скрытого от моего взора, оживил во мне инстинктивную неприязнь к сосуществованию супругов в одной комнате, к их неизбежному и бесцеремонному обнажению друг перед другом даже в тех случаях, когда следует быть одному. Гигантская кровать, на которой валялся барон, поведала мне о всех мерзких тайнах их ночной жизни, пирамида подушек рядом с большим бесстыдно указывала на место баронессы на этом ложе. Туалетный столик, умывальник, полотенца — все здесь казалось мне оскверненным, и я зажмурился, чтобы преодолеть нахлынувшее отвращение.

Мы немного поболтали у одра больного, а затем баронесса пригласила меня в гостиную выпить по рюмочке ликера. Как только

мы оказались одни, она, словно прочитав мои мысли, выпалила в ответ:

— До чего же все это отвратительно, не правда ли?

— Что вы имеете в виду?

— Ах, вы меня прекрасно понимаете! Женская доля, жизнь без цели, без будущего, без своего дела!.. Я просто погибаю от этого!

— Но, баронесса, у вас же дочь, которую вы должны воспитывать! И возможно, будут еще дети...

— Я не хочу больше иметь детей. В няньки я не гожусь.

— Зачем же в няньки? В матери! Быть матерью, стоящей на высоте своих почетных обязанностей...

— Мать?.. Хозяйка?.. Все это можно получить за деньги! Да и чем мне заниматься, если у меня две прислуги, которые прекрасно справляются со всеми домашними делами. Нет, я хочу жить!..

— Быть актрисой?

— Да!

— Но ведь ваше общественное положение препятствует этому.

— Увы, мне это слишком хорошо известно. Вот я и тупею, скучаю... О, как я скучаю!

— А занятия изящной словесностью? Это вас не влечет? Ведь профессия писателя не такая низкая, как лицедейство!

— Для меня нет ничего выше искусства слова, и, что бы ни случилось, я никогда не примирюсь с тем, что пожертвовала своей карьерой ради жизни, которая принесла мне лишь одни разочарования...

Тут барон позвал нас к себе.

— На что она там жалуется? — спросил он меня.

— Тоскует по театру.

— Сумасшедшая...

— Уж не такая сумасшедшая, как вам кажется, — оборвала его баронесса и вышла из спальни, громко хлопнув дверью.

— Послушай, старина, — доверительно обратился ко мне барон, — она совсем не спит по ночам...

— И чем занимается?

— Да чем попало. Играет на рояле, валяется на кушетке в гостиной, записывает расходы. Скажи мне, юный мудрец, что мне делать?

— Что делать? Детей! Как можно больше детей!..

Барон скорчил гримасу и произнес, словно оправдываясь:

— Врач не советует, потому что первые роды были тяжелые, да к тому же и дела наши не блестящи, надо экономить... Одним словом, понимаешь...

Я понял. И не решился продолжать разговор на эту деликатную тему. Я был тогда еще слишком молод и не знал, что обычно женщины сами диктуют врачу, что именно он должен им посоветовать.

Вернулась баронесса со своей маленькой дочкой, чтобы уложить ее спать в железную кроватку, стоящую возле их супружеского ложа. Малютке спать не хотелось, и она начала хныкать. Баронесса

тщетно пыталась ее успокоить и в конце концов отправилась за розгами. Так как я не могу без гнева смотреть, как стегают детей, и как-то раз даже сделал по такому же поводу замечание своему отцу, я вспылил и, едва справившись с охватившим меня бешенством, вмешался в эту сцену:

— Извините, что я вмешиваюсь не в свое дело, но неужели вы думаете, что ребенок плачет без причины?

— Она — злючка.

— Значит, у нее есть основания быть злой. Быть может, малышка хочет спать, или ей неприятно здесь мое присутствие, или свет лампы режет ей глаза...

Баронессе явно стало стыдно, а может быть, она поняла, в какой неблагоприятной роли она сейчас выступила. Во всяком случае, она признала мою правоту. Тогда я встал и откланялся.

Так, неожиданно увидев изнанку этого брака, я на несколько недель излечился от своей любви, и должен признаться, что история с розгами внесла свою лепту в тот ужас, с которым я вспоминал о баронессе.

Унылой, томительной осени, казалось, не будет конца. Приближалось рождество. В Стокгольм из Финляндии приехали молодые, близкие друзья баронессы, и это несколько оживило наши отношения, которые угасали на глазах. Благодаря уловкам баронессы я стал всюду получать приглашения, и теперь я частенько напяливал фрак и таскался на обеды и ужины, а однажды даже посетил танцевальный вечер. Во время этих выездов в свет, правда не очень-то высший, я обнаружил, что баронесса с какой-то мальчишеской удалью, под видом этакой непосредственности, сама строит куры молодым людям, но в то же время искоса поглядывает и на меня, чтобы выяснить, какое это производит впечатление. Просто невозможно было себе представить, что она способна на такой откровенно наглый флирт, и я решил быть с ней отныне оскорбительно холодным не только оттого, что такая вульгарная манера вести себя вообще отвратительна, но и оттого, что мне было мучительно больно видеть, как обожаемое мною существо на глазах превращается в пошлую кокетку. К тому же всегда казалось, что ей очень весело, и она старалась затянуть каждый званный ужин до утра. Все это лишь подтверждало мою догадку, что она страдает от неудовлетворенности и скучает у своего семейного очага, что ее артистическое призвание есть не что иное, как погоня за разными наслаждениями, а его основой является низкое тщеславие, которое и побуждает ее выставлять себя напоказ. Элегантная, блестящая, оживленная, она умела производить впечатление и в гостиных всегда была окружена поклонниками не столько из-за своей привлекательности, сколько благодаря умению собирать, как говорится, под свои знамена всех городских фрондеров. Жизненная энергия была в ней через край, от нее исходила особая нервная эманация, которая заставляла даже самых недоступных обращать

на нее внимание, прислушиваться к ее речам. Но я заметил, что, когда нервы ее не выдерживали и она забивалась в уголок, чары ее в тот же миг пропадали, и уже никто не искал ее общества. Одним словом, она жаждала власти, была дьявольски честолюбива, бессердечна, быть может, и изо всех сил старалась расположить к себе молодых людей, в то время как к дамам относилась с полным пренебрежением. Как страстно желала она поймать меня в свои сети, покорить и повергнуть к своим ногам! И вот в один прекрасный день, ободренная успехом, одержанным в очередной гостинной, она решила на весьма рискованный шаг. Ослепленная непомерным самомнением, она призналась своей подруге, что я в нее влюблен. Будучи как-то в гостях у этой подруги, я со свойственной мне неосмотрительностью выразил надежду увидеть здесь и баронессу.

— Ну конечно, вы пришли ко мне, чтобы ее увидеть, — сказала хозяйка дома, желая меня поддразнить. — Очень мило с вашей стороны.

— Нет, сударыня. Коль уж на то пошло, то это баронесса приказала мне явиться сегодня к вам.

— Так она назначила вам здесь свиданье?

— Если угодно. Во всяком случае, не мне им пренебрегать.

И в самом деле, именно она устраивала нашу встречу, и я подчинился ее воле. Однако этой уловкой она хотела скомпрометировать меня, а самой выйти сухой из воды. Чтобы отомстить, я испортил ей не один званый вечер, перестав их посещать, чем лишил ее возможности наслаждаться зрелищем моих страданий. О боже, как я мучился! Я бродил под окнами тех домов, где она веселилась, меня бил озноб от ревности, когда я представлял себе, как она в объятиях счастливого партнера кружится в вихре вальса и ее самые маленькие в мире бальные туфельки скользят по паркету, а непокорная белокурая прядь развеивается по ветру. При этом мысль, что чья-то рука касается ее тонкой талии, обтянутой синим шелком, кинжалом вонзалась мне в сердце.

Миновал Новый год, и в воздухе повеяло весной. Зимние месяцы прошли в праздниках либо в томительно-тоскливых ужинах втроем. За это время было немало разрывов и примирений, обид и извинений, пустячных ссор и сердечных бесед, полных искренней дружбы. Я порвал наши отношения и снова возобновил их.

И вот неотвратимо наступил март, коварный март, месяц спаривания всех живых существ в наших северных странах, месяц, когда судьбы влюбленных вершатся помимо их воли, смертельно раня сердца, попирая клятвы верности, разрывая узы чести, семьи, дружбы...

В один из первых дней марта барон принял командование своей частью и пригласил меня провести с ним вечер в казарме гвардейцев. В назначенный час я отправляюсь туда. У сына разночинца, выходя из мелкобуржуазной среды, ничто не вызывает большего уважения, чем эмблемы высшей власти. И вот я иду по коридорам рядом со своим другом, которому на каждом шагу офицеры отдают честь, слышу звон сабель, окрики часовых, дробь барабанов. Наконец мы

попадаем в парадный зал. При виде его убранства, всех этих военных доспехов, я с трудом унимаю тайную дрожь и невольно склоняю голову перед портретами знаменитых генералов. Тут все — и знамена, взятые в Лютцене и в Лейпциге, и будничные флаги, и бюст нашего короля, и каски, и щиты, и планы сражений — одним словом, все, решительно все тревожит меня, как и любого человека из низшего класса, когда он видит атрибуты господствующего порядка.

Капитан, как только он очутился в своей среде, которая не может не импонировать, тут же вырос в моих глазах, и я не смел отойти от него ни на шаг, чтобы в случае опасности прибегнуть к его помощи.

Когда мы вошли к нему в кабинет, лейтенант, его ординарец, вскочил и почтительно его приветствовал, а я почувствовал, что в этой иерархии стою ниже всех лейтенантов, опасных соперников литераторов по части любовных походов и заклётых врагов молодых людей из народа.

Дневальный принес бутылку пунша, мы сели и закурили сигары. Барон, чтобы развлечь меня, достал полковой альбом — весьма художественное собрание карандашных набросков, рисунков и портретов офицеров королевской гвардии, чем-либо прославившихся за последние двадцать лет. Все они были предметом зависти и восхищения лицеистов в годы моей юности, которые ежедневно доставляли себе удовольствие разыгрывать сцену смены караула. Классовый инстинкт заставил меня ликовать, что все эти привилегированные господа, чьи физиономии я только что разглядывал, могут стать мишенью для моих насмешек, и, в расчете на поддержку барона, который всегда держался весьма демократично, я позволил себе кое-какие выпады против безоружных противников. Но у нас с бароном все же разные понятия о демократизме, и он плохо принял мои шутки. Дух корпоративной солидарности взял в нем верх, и, нервнo листая страницы альбома, он задержал свое внимание на композиции, изображающей восстание 1868 года.

— Вот как мы расправились со всем этим сбродом!

— И ты в этом лично участвовал?

— Еще бы! Я охранял памятник, к которому бунтовщики, осыпая нас камнями, пытались прорваться. Один угодил мне по кепи, и это побудило меня раздать солдатам патроны. К несчастью, король в последний момент запретил открывать огонь, и я остался живой мишенью для гольтыбы. Сам посуди, склонен ли я после этого любить этот сброд. — Помолчав немного и не сводя с меня взгляда, он спросил потом со смехом: — А ты помнишь эти беспорядки?

— Прекрасно помню, — ответил я. — Я участвовал в демонстрации студентов.

Но я умолчал о том, что присоединился к «сброду», который пришел в ярость от того, что простых людей не пускали на трибуну, предназначенную для избранных. Получалось, что народ не имел права участвовать в народном празднике. Я, естественно, стал на

сторону взбунтовавшихся и прекрасно помню, что лично бросал камни в королевских гвардейцев.

В этот самый миг, услышав, как он на аристократический манер произносит слово «сброд», я понял, почему меня охватил безотчетный страх, когда я переступил порог этой вражеской крепости, и в моем воображении у капитана вдруг так исказились черты лица, что я впал в отчаяние. Между нами вспыхнула традиционная расовая, классовая ненависть, она отделила нас друг от друга непреодолимой стеной, и, глядя, как он коленями зажимал саблю, почетную саблю, украшенную дарственной надписью и гербом его королевского величества, я вдруг остро почувствовал, что дружба наша неискренняя, она искусственно выпестована руками женщины, которая одна нас и связывает. Интонация его стала высокомерной, и выражение лица все больше соответствовало окружавшей его обстановке, а значит, все больше удаляло его от меня. И тогда я, чтобы вернуть его назад, изменил ход нашего разговора, задав вопрос, относящийся к баронессе и ее дочке. Его физиономия тут же осветилась, как-то разгладилась, он снова стал добрым малым, таким, как обычно. Тогда ко мне вернулась уверенность, я решил вести свою игру до конца и, выдержав его взгляд благожелательного людоеда, приглубившего карлика, прицелился вырвать три волоса из бороды великана.

— Послушай, старина, вы, кажется, ждете на пасху Матильду, это верно?

— Да!

— Что ж, в таком случае я буду за ней ухаживать.

Он допил пунш, усмехнулся и сказал с видом доброго людоеда:

— Можешь попробовать!

— Почему ты так говоришь? Разве она помолвлена?

— Нет, насколько я знаю. Но, по-моему... одним словом... можешь попробовать. — И добавил с глубоким убеждением: — Боюсь, что останешься с носом.

В той бесцеремонной уверенности, с которой он высказал свое мнение, сквозило презрение. Я оскорбился и твердо решил тогда поставить на место этого заносчивого кавалера и вместе с тем спастись от преступной любви, перенеся ее на другой объект, и этим удачным маневром предоставить оскорбленной баронессе возможность получить реванш.

Тем временем наступила ночь, и я встал, чтобы откланяться. Капитан проводил меня, мы миновали часовых и, выйдя за решетку, пожали друг другу руки. Затем он резким движением, словно бросая вызов, захлопнул ворота.

Наступила ранняя весна, снег стаял, недавно еще покрытые льдом мостовые оголились. За стеклами цветочных магазинов уже красовались азалии, рододендроны и первые розы, соблазняя прохожих своим кричащим великолепием. Апельсины пылали в витринах лавок колониальных товаров, в гастрономические магазины зазывали покупателей омарами, редиской и привезенной из Алжира цветной капустой. Солнечные лучи освещали пенящуюся под

Северным мостом воду, пароходы у причалов, свежеевыкрашенные зеленую и суриком, обновили свою оснастку. Люди, еще толком не очнувшиеся от зимней спячки, млели, сидя на солнышке. Для животного-человека наступила пора случки. Все изголодались по любви, напряжение нарастало, и слабым было несдобровать во время этого естественного отбора.

Прелестная юная дьяволица не замедлила прибыть в город и поселилась в доме барона. Я делал ей авансы, однако она, видимо, предупреденная им, лишь посмеивалась надо мной. Как-то, когда мы играли с ней в четыре руки на фортепиано, она, будто бы невзначай, прижалась левой грудью к моему правому локтю. Это, конечно, не ускользнуло от глаз баронессы и заставило ее страдать. Барон, ошалев от ревности, не спускал с меня бешеного взгляда. Он то негодовал из-за жены, то впадал в ярость из-за кузины. Как только он оставлял жену, чтобы пошептаться в уголке с молодой девицей, я тут же кидался к баронессе и развлекал ее разговором. Тогда он, окончательно потеряв самообладание, задавал нам какой-нибудь нелепый вопрос с единственной целью прервать наш разговор. Иногда я отвечал ему с усмешкой, а иногда и вовсе не обращал никакого внимания на его слова.

В тот вечер я был приглашен на семейный ужин. За столом сидела и мать баронессы. Я чувствовал, что она ко мне весьма расположена, но, обладая жизненным опытом, как любая женщина в ее возрасте, она не могла не заметить, что в доме что-то неладно.

Предвидя неведомую ей опасность, она в материнском порыве схватила меня за обе руки и, глядя в глаза, сказала:

— Я не сомневаюсь, сударь, что вы человек чести. Я не знаю, что происходит в этом доме, но в любом случае обещайте мне беречь мою дочь, мое единственное дитя, и в тот момент, когда произойдет то, чего произойти не должно, вы придете ко мне, обещайте мне это, и расскажете все, что мне, как матери, следует знать.

— Обещаю вам это, сударыня, — ответил я, целуя ей руку на русский манер, потому что она была женой русского офицера. И я сдержал свое слово.

Мы, как говорится, ходили по краю бездны. Баронесса сильно похудела, стала мертвенно-бледной и до того некрасивой, что просто сердце сжималось от жалости. Барон явно ревновал, был со мной резок и даже груб. Я уходил, оскорбленный, но на другой день меня снова приглашали и принимали с распростертыми объятиями, все объяснялось якобы недоразумением, хотя никакого недоразумения не было и в помине.

Одному богу было известно, что же происходит в этом доме. В тот вечер Матильда удалилась в спальню, чтобы примерить новое бальное платье. Вслед за ней исчез и барон, оставив жену наедине со мной.

Проболтав с ней не менее получаса, я осведомился, куда делся мой друг.

— Он играет роль горничной у Матильды, — ответила баронесса и, словно почувствовав угрызения совести, добавила: — Она еще ребенок, этому не следует придавать значения. Не подзревайте ничего плохого, сударь. — И вдруг, резко изменив тон, она воскликнула: — Да вы ревнуете!

— И вы, баронесса, тоже!

— Быть может, еще буду ревновать!

— Не пропустите момента, баронесса. Это пожелание друга.

Тут вошел барон, ведя под руку Матильду в светло-зеленом бальном платье с таким глубоким вырезом, что видна была выемка между грудями.

Я сделал вид, что ослеплен ее красотой, и отступил на шаг, прикрыв ладонью глаза.

— О, Матильда! — воскликнул я. — На вас опасно смотреть!

— Не правда ли, она прелестна? — как-то неуверенно спросила баронесса.

Барон тут же увел Матильду, и я снова остался наедине с баронессой.

— Почему с некоторых пор вы так сурово говорите со мной? — спросила она, глядя на меня, как побитая собака, а в голосе ее звучали слезы.

— Я что-то этого не заметил.

— Вы ведете себя не так, как прежде, и я хотела бы знать, чем я провинилась перед вами?

Она придвинула ко мне свой стул, не сводя с меня лихорадочно блестящих глаз и дрожа как осиновый лист. И... Я встал.

— Видите ли, баронесса, отсутствие барона меня крайне удивляет. Мне неприятно его доверие, оно кажется мне оскорбительным.

— Что вы имеете в виду?

— Я считаю... Одним словом... Супругу не принято оставлять наедине с молодым человеком, а самому в это время запирается с молоденькой девушкой в спаль...

— Вы позволяете себе оскорблять меня! Сказать мне такое! Что у вас за манеры...

— При чем тут манеры? Я не могу смириться с этой гнусной ситуацией! Если вы не дорожите своим достоинством, то я вас презираю! Чем они занимаются там, запершись?

— Туалетами Матильды, — ответила она с невинным видом, но при этом не смогла сдержать смех. — Тут уж я ничего не могу поделать.

— Мужчине не пристало присутствовать при переодевании дамы, если они не находятся в любовных отношениях.

— Он уверяет, что она его «доченька», а она — что он «ее папочка».

— Я никогда не позволю своим детям играть в «дочки-матери», а тем более со взрослыми.

Она встала и пошла звать барона.

Остаток вечера мы провели в занятиях магнетизмом. Я делал пассы над лицом баронессы, и она уверяла, что от моих движений нервы ее успокаиваются. Вдруг, как раз в тот момент, когда ее уже начало клонить ко сну, она вскочила и, вперив в меня полубезумный взгляд, воскликнула:

— Оставьте! Я не хочу!.. Вы меня заколдуете!

— Тогда ваша очередь испытать на мне свою магнетическую силу.

И она начала делать над моим лицом те же движения, какие только что делал я над ней.

За роялем, в том уголке, где барон занимался магнетизмом с Матильдой, царил такая полная тишина, что она показалась мне подозрительной, и я невзначай бросил взгляд между ножками инструмента и его лирообразной педалью. То, что я увидел, заставило меня вскочить со стула, я подумал, что это мне снится. Барон тоже пулей выскочил из-за рояля и предложил всем выпить пунша.

Мы стояли вчетвером со стаканами в руках и собирались чокаться, но тут барон вдруг обратился к жене:

— Выпей за Матильду в знак того, что вы помирились.

— За твоё здоровье, моя маленькая колдунья, — сказала баронесса с улыбкой и добавила, обернувшись ко мне: — Мы с ней поссорились, и, представьте себе, из-за вас!

Сперва я от этого заявления лишился дара речи, но потом все же сказал:

— Извольте объяснить, баронесса, что это значит?

— Никаких объяснений! — ответили мне все хором.

— Ж а л ь , — возразил я, — потому что мне кажется, что мы все слишком долго молчали.

Возникло тягостное чувство неловкости, я попрощался и ушел.

«Поссорились из-за м е н я , — твердил я себе, перебирая в памяти события последних дней . — Что бы это могло значить?» Уж не наивное ли это признание? Если две женщины ссорятся из-за мужчины, то можно не сомневаться, что они ревнуют его друг к другу! Но тогда баронесса просто сошла с ума. Зачем же выдавать себя так безрассудно! Нет, это невозможно. Значит, за этим таится что-то другое!

«Что же все-таки происходит в этом доме?» — не уставал спрашивать я сам себя, вновь и вновь мысленно возвращаясь к сцене за роялем, которая так ужаснула меня в тот вечер, хотя не берусь утверждать, что она была непристойной, настолько неправдоподобным показалось мне то, что я подглядел.

Сцены ревности, к месту и не к месту, страхи, высказанные старой матерью, бред баронессы, навеянный пьянящим весенним ветром, — все это смешивалось и бродило в моем мозгу, и после бессонной ночи я принял еще одно решение, на сей раз окончательное, — бежать отсюда без оглядки, иначе всем не миновать неправимых бед. Поэтому я встал рано утром, чтобы сочинить

письмо, разумное, искреннее, исполненное глубокого уважения да к тому же изысканное по форме. Я рассуждал о том, как опасно злоупотреблять дружбой, что-то объяснял, ничего не объясняя, молил об отпущении моих грехов, обвинял себя в том, что посеял раздор между родственниками, — короче, одному богу известно, что я там плел.

И вот что за этим воспоследовало: едва я вышел в полдень из библиотеки, как повстречал баронессу. Она остановила меня посередине Северного моста, заговорила со мной, потом увлекла в аллею, что за площадью Карла XII, и чуть ли не со слезами на глазах принялась умолять не покидать их, дружить с ними, как прежде, и не требовать никаких объяснений. О боже, как она была прекрасна в тот день! Но я любил ее слишком возвышенно, чтобы причинить ей зло.

— Уходите. Нам нельзя стоять здесь вместе, вы погубите свою репутацию, — твердо сказал я, косясь на прохожих, которые не без любопытства глядели на нас. — Ступайте домой, немедленно, не то я буду вынужден прогнать вас.

Она глубоко заглянула мне в глаза с таким несчастным видом, что я еле удержался, чтобы не упасть на колени и не целовать ей ноги, моля о прощении.

Но вместо этого я повернулся к ней спиной и пошел прочь по боковой дорожке.

Пообедав, я поднялся к себе в мансарду с чистой совестью, но с растерзанным сердцем. О, как эта женщина умела пронзать взглядом мужчину!

Короткий дневной сон несколько приободрил меня. Я кинул взгляд на висящий на стене календарь. 13 марта! «Beware the ides of March!»¹, — слышал я. «Берегись 13 марта!» Знаменитые слова, процитированные в «Юлии Цезаре» Шекспира, звучали у меня в ушах, когда горничная принесла мне записку от барона.

Он настойчиво просил меня провести этот вечер у них, поскольку баронессе нездоровилось, а Матильда уходила в гости.

Будучи не в силах бороться с искушением, я отправился к ним. Баронесса выглядела ужасно, как говорится, краше в гроб кладут. Она поднялась мне навстречу, схватила обе мои руки, прижала их к своей груди и принялась горячо благодарить меня за мое великодушие, за то, что я не лишаю их друга, брата — по недоразумению, из-за пустяков, чепухи.

— Она сошла с ума, — сказал, усмехнувшись, барон, высвобождая меня из ее объятий.

— Да, я сошла с ума от радости, что к нам пришел наш милый дружок, который собирался покинуть нас навсегда.

И она зарыдала.

— Ей было по-настоящему плохо весь день, — сказал барон, как бы извиняясь. Он был явно смущен этой душераздирающей сценой.

¹ «Берегись мартовских ид!» (англ.).

Бедняжка и вправду была не в себе. Ее огромные глаза, занимавшие, казалось, половину лица, пылали темным пламенем, а щеки имели зеленоватый оттенок, так она была бледна. Глядеть на нее было настоящей пыткой. К тому же она беспрерывно кашляла, как легочная больная, и кашель этот нещадно сотрясал все ее хрупкое тело.

Неожиданно появились дядя и отец барона, и тогда решили затопить камин и сумерничать, не зажигая ламп. Мужчины тут же вступили в политический спор, а баронесса села подле меня.

Я видел, как в полутьме блестят ее глаза, и чувствовал флюиды, которые излучало ее тело, она вся пылала после своего истерического припадка. Платье ее касалось моих брюк, она наклонилась к моему плечу, чтобы сказать мне на ухо слова, не предназначенные для других.

— Вы верите в любовь? — шепотом спросила она меня ни с того ни с сего.

— Нет! — жестко ответил я, словно ударил ее по лицу, и встал, чтобы пересесть на другое место.

«Да она же бешеная, настоящая нимфоманка!» — сказал я себе и, боясь, что она какой-нибудь глупой выходкой опозорит себя, предложил зажечь свет.

Во время ужина дядя и отец за глаза наперебой расхваливали Матильду, высоко отзываясь о ее умении вести дом, о ее талантах в рукоделии. Молодой барон, успевший к тому времени опорожнить не один стакан пунша, просто вошел в раж, восторгаясь кухней, и с пьяными слезами на глазах принялся сетовать по поводу того, как скверно обращались с малюткой в отчем доме. Когда же его горестные излияния достигли апогея, он вдруг вынул из кармана часы и вскочил с места, как человек, которого призывает долг.

— О, господи! — воскликнул он. — Извините меня, но я обещал Матильдочке зайти за ней... Только не расходитесь, пожалуйста, до моего прихода. Я вернусь через час...

Барон-отец попытался было его остановить, но хитрец отвечал лишь междометиями и, сославшись на данное им слово, поспешил уйти. Так что мне ничего не оставалось, как ждать его возвращения.

Минут пятнадцать мы еще сидели за столом, потом перешли в гостиную. Но тут старики, испытывая, видимо, потребность поговорить наедине, удалились в комнату дяди, совсем недавно отведенную ему в доме племянника.

Проклиная судьбу, все-таки загнавшую меня в западню, которой я так тщательно избегал, я заточил свое трепещущее сердце в непробиваемую броню и, чтобы избежать чувствительных сцен, принял вид этакого наглого вертопраха.

Прислонившись спиной к камину, спокойный, холодный, неприступный, я курил сигару и ждал, что будет дальше.

И вот баронесса заговорила:

— Почему вы меня ненавидите?

— Я вас вовсе не ненавижу.

— Тогда вспомните, как вы обошлись со мной сегодня утром!

— Замолчите!

Мое невероятно грубое поведение, не вызванное, собственно, никакой разумной причиной, было, конечно, неосторожностью. Я был тотчас разгадан баронессой, и минуту спустя все было сказано.

— Вы хотели бежать от меня, — сказала она. — А знаете ли вы, что именно побудило меня тогда уехать в Пе-де-Сент-Мари?

— Я, наверное, не ошибусь, предположив, что та же причина заставила меня решиться на поездку в Париж, — ответил я после минутного раздумья.

— Тогда все ясно! — воскликнула она.

— Ну и что теперь?

Я ожидал сцены, но баронесса не теряла спокойствия и лишь глядела на меня с умилением. Мне надлежало прервать молчание.

— Теперь, когда вы выманили у меня мой секрет, благоволите меня выслушать. Если вы хотите, чтобы я продолжал бывать в вашем доме, причем, заметьте, весьма редко, то будьте благоразумны. Моя любовь к вам столь возвышенна, что я мог бы жить рядом с вами, не испытывая других желаний, кроме как видеть вас. В тот миг, когда вы забудете о своем долге, когда вы случайным жестом или даже выражением лица выдадите то, что таится в наших сердцах, я открою нашу тайну барону, и вы сами понимаете, что за этим последует.

— Я клянусь вам! — вскричала она с воодушевлением, почти в экстазе, глядя вверх, словно призывая небо в свидетели. — О, как вы сильны духом и добры! Как я восхищена вами! Мне стыдно. Мне хотелось бы быть безупречнее вас. Мне хотелось бы... Прикажите, и я во всем признаюсь Густаву.

— Если вам угодно. Но в таком случае мы больше никогда не увидимся. К тому же чувства, которые переполняют мое сердце, его не касаются, в них нет ничего преступного, и даже если бы он знал о них, он не мог бы их уничтожить. Я волен испытывать страсть к кому угодно, это мое личное дело, пока я не вступил на чужую территорию. Впрочем, повторяю, поступайте как хотите, я готов ко всему!

— Нет, нет!.. Решительно нет никакой нужды ему говорить, ведь он тоже себе кое-что позволяет...

— Разрешите мне не разделять ваших взглядов на равенство в этих вопросах. Если он не чист перед вами, тем хуже для него! Это еще не основание для... Нет!..

Экстаз иссяк, и мы опустили на землю.

— Нет!.. — продолжил я. — Но признайтесь, что это все же забавно! Неправдоподобно! Оригинально! Мы любим друг друга, признаемся в этом, и все!

— Просто шикарно! — воскликнула она и, как ребенок, захлопала в ладоши.

— Во всяком случае, не банально!

— Ах, как хорошо быть честной!
— Наименее хлопотливый способ жить...
— И мы будем видеться, как прежде, без страха...
— И ни в чем себя не упрекая!
— И между нами больше не возникнет никаких недоразумений! Но ведь это правда, что не по Матильде вы... что не Матильда ваша...

— Замолчите!

В этот миг распахнулась дверь и, словно в водевиле, появились оба старца, причем у одного из них в руках был фонарь. Они возвращались оттуда, куда царь пешком ходит, пересекли гостиную и исчезли в глубине дома.

— Заметьте, — сказал я, — как перепутываются истинно высокие мгновения с мелочами быта и насколько живая жизнь отличается от художественного произведения. Попробуй написать в романе или там в пьесе такую вот сцену — сразу станешь посмешищем. Подумайте сами: объяснение без объятий, без коленопреклонений, без громких слов, зато возлюбленных подстерегают два старика и освещают их потайным фонарем! Поневоле вспомнишь великого Шекспира, изобразившего Юлию Цезаря в халате и шлепанцах, напуганного пустячными снами.

Зазвенел звонок, и появился молодой барон с прекрасной Матильдой. Так как совесть его была не совсем чиста, он был сама любезность. Я же, желая хорошо сыграть свою роль и ввести его в заблуждение, решил прикрыться дерзкой ложью:

— Что до меня, то я провел этот час, ссорясь с баронессой.

Он окинул нас хитрым взглядом и, «взяв», как гончая, след, сделал вид, что не идет по нему. На этом я простился и ушел.

Что за наивность верить в целомудренную любовь! Опасность в том и заключается, что у нас есть свой секрет, который мы храним. Это как тайком зачатый ребенок, который растет по мере того, как сближаются наши души, и в конце концов он все же непременно появится на свет божий. Нам не терпелось поведать друг другу, через что прошел каждый из нас, вновь пережить этот год, в течение которого нам приходилось так мучительно скрывать свои чувства под личиной равнодушия. И вот мы стали прибегать к различным уловкам. Например, зачастили с визитами к моей сестре, вышедшей замуж за преподавателя лица, которого принимали в высшем обществе, поскольку он носил старинную дворянскую фамилию. Мы назначали друг другу свидания, сперва вполне невинные, но со временем страсти разгорались и пробуждали желание. Через несколько дней после нашего объяснения баронесса передала мне пачку писем, написанных частично до 13 марта, частично после. Эти письма свидетельствовали о ее страданиях и о ее любви. Причем до нашего объяснения она писала мне, не питая при этом никакой надежды, что я когда-либо прочитаю ее письма.

Дорогой друг,

Я тоскую по вас, как, впрочем, почти каждый день. Спасибо за то, что вы разрешили мне вчера разговаривать с вами и при этом не прятались, как вы это обычно делаете, за свою саркастическую усмешку. Зачем она вам? Если бы вы только знали, как меня это огорчает! Когда я доверчиво приближаюсь к вам, в те минуты, когда мне больше всего нужна ваша дружба, вы надеваете эту маску. Почему? Неужели же вам надо рядиться передо мной в маскарадный костюм? В одном из своих писем вы сами признались мне в том, что это всего лишь маска. Я надеюсь, что это так, и верю вам, и все же это приводит меня в отчаяние. И тогда я подумала: наверное, я все же дала промах. Какого мнения он теперь будет обо мне?..

Как я дорожу вашей дружбой. Как я боюсь заслужить ваше презрение... О нет! Вы должны быть искренни со мной и добры. Вы должны забыть, что я женщина. Я и сама слишком часто забываю об этом.

Я не рассердилась на вас за то, что вы сказали мне, но я была и удивлена и опечалена. Неужели вы думаете, что я способна заставить ревновать своего мужа и мстить ему таким бесчестным образом? Какому бы риску я себя подвергла, если бы пошла по этому недостойному пути, если бы решила вернуть его с помощью ревности! Что бы впоследствии за этим? Его досада обернулась бы против вас, и нам никогда не пришлось бы больше увидеться. А что будет со мной, если я лишусь вашего общества, которое стало мне дороже жизни?

Я люблю вас как нежная сестра, а не как капризная кокетка. Правда, бывают мгновения, когда меня так и подмывает стиснуть между ладонями вашу прекрасную голову, заглянуть в ваши искренние и умные глаза, и тогда бы я, наверно, запечатлела поцелуй на вашем светлом лбу, который так обожаю, но уверяю вас, что поцелуй этот был бы самым чистым из всех, которые вы когда-либо получали. Дело здесь просто в ласковости моей натуры, и будь вы женщина, я любила бы вас ничуть не меньше, если бы только могла испытывать к женщине такое уважение, которое испытываю к вам.

.

Я была счастлива, узнав ваше мнение о Матильде. Только женщина может радоваться по такому поводу, но что же делать, когда я вижу, что она во всем берет верх надо мной. И конечно, во всем, что происходит, есть и моя вина. Я не препятствовала этому увлечению, считая его лишь детской игрой, я давала мужу волю, будучи уверенной, что его сердце будет принадлежать мне навсегда. Однако дальнейшее показало, как я ошибалась...

Среда.

Он в нее влюблен и признается в этом. История эта вышла за рамки допустимого, и мне остается только смеяться... Представьте себе, что, проводив вас до двери, он подымается ко мне в спальню, смотрит мне в глаза — тут меня охватывает дрожь, потому что совесть моя не чиста, — и умоляет меня: «Мария, не сердись, но позволь мне пойти сегодня вечером к Матильде, я так в нее влюблен». Что тут будешь делать — плакать или смеяться? А меня в свою очередь терзают угрызения совести, потому что я люблю вас, хоть и издалека, не питая никаких надежд, ничего не ожидая. Что за глупость эти ваши идеи чести! Что ж, пусть он пребывает в опьянении от своей плотской любви! Вы у меня есть, а у меня, как у женщины, аппетит не настолько велик, чтобы заставить меня забыть о долге жены и матери. Но заметьте, до чего же двойственны мои чувства: я люблю вас обоих, и я не смогла бы жить без него, у него такое благородное, открытое сердце, он мне так близок, но и без вас я тоже не могу...

Пятница.

Ну вот, вы наконец сорвали покрывало, скрывавшее секрет моего сердца. И вы меня не презираете! Вы добры, как бог! Вы даже меня любите! Это слово, которое вы не хотите произнести! Вы, вы меня любите! Я виновата, я негодяйка, потому что я вас люблю. Да простит мне господь! И все же его я тоже люблю и никогда не смогу с ним расстаться.

Как все это странно! Я любима, мною дорожат! Есть вы, и есть он! Я чувствую себя такой счастливой, такой спокойной — моя любовь, видимо, не преступна, не то меня мучили бы угрызения совести, а может, я так ожесточилась!.. О, как мне стыдно! Но лучше я сама вам во всем сознаюсь: в эту самую минуту Густав открывает мне свои объятия, и я буду его целовать! Остаюсь ли я при этом искренней? Да! Почему он не защитил меня, когда еще не было поздно?

Это все — настоящий роман! Но чем он кончится? Героиня умрет, а герой женится на другой? Или они разойдутся и все кончится в угоду морали?

.....

Будь я сейчас рядом с вами, я бы поцеловала вас в лоб так благоговейно, как верующий целует распятие, а все низкое, порочное я отбросила бы.

Лицемерие это или нет? Одни лишь плотские страсти питают эти чуть ли не религиозные грезы, за которыми скрывается вожделение? Нет, не одни! Механизм, толкающий нас к продолжению рода, куда более сложный, и даже у животных свойства характера из поколения в поколение передаются через любовь. Значит, всякий раз влюбляются и тело и душа, и одно без другого — ничто. Если бы

баронессой двигало только физическое влечение, она не променяла бы такого роскошного господина, как барон, на меня, хрупкого, нервного, болезненного юнца. Если это было бы только слиянием душ, то откуда взялось бы желание целовать меня, восхищаться стройностью моих ног, изящной формой пальцев на руках и розовым цветом ногтей, восторгаться моим выпуклым лбом и кошной густых волос. А может быть, инстинкт самки, донельзя обостренный растленностью мужа, вызывал у нее чувственные галлюцинации? Или она каким-то чутьем угадывала, что мой юношеский пыл сулит ей куда больше наслаждений, нежели вялые прикосновения инертной массы, какую являет собой барон. Раз она не ревнует тело своего мужа, значит, она не дорожит им как любовником. А меня она ревнует во всех отношениях, значит, она меня любит!

Как-то раз, когда мы были в гостях у моей сестры, с баронессой случился истерический припадок. Она вдруг зарыдала и ничком упала на диван. Причиной тому было, как она объяснила, недостойное поведение супруга, который отправился на офицерский бал с ее кузиной. Потеряв всякий контроль над собой, она прижала меня к своей груди и поцеловала в лоб, а я в ответ стал осыпать ее поцелуями. Тогда она впервые обратилась ко мне на «ты». Между нами возникло что-то новое, и с этого дня я захотел обладать ею.

В тот вечер я декламировал «Эксельсиор» Лонгфелло. Взволнованный этими прекрасными стихами, я не отрывал от нее глаз, а она слушала меня, словно замороженная, и на лице ее отражались все оттенки моей мимики. Она казалась безумной, одержимой.

После ужина за ней приехала горничная, чтобы отвезти ее домой. Когда мы вышли из подъезда, она попросила меня первому сесть в экипаж, а потом, несмотря на мои возражения, приказала горничной взобраться рядом с кучером на козлы.

Очутившись одни в экипаже, мы, не проронив ни слова, тут же начали целоваться, и я почувствовал, как от прикосновения моих губ судороги пробегают по ее трепещущему телу. Как-то незаметно скользнув вниз, она очутилась подо мной. Но я отступил. В тот вечер я еще не свершил греха, не осмелился разрушить семью и не тронул баронессу. Она вернулась домой, не то стора от стыда, не то едва сдерживая ярость. Сомнений больше быть не могло. Она хотела меня соблазнить, она сорвала первый поцелуй, она делала мне авансы. И с этой минуты я решил взять на себя роль соблазнителя, причем всерьез, потому что, несмотря на мои твердые понятия о чести, Иосифом я не был.

На следующий день я назначил ей свидание в Национальном музее.

Я видел, как она поднималась по мраморным ступеням, а высоко над ней светился золотом потолок. Я любовался ее маленькими

ножками, твердо ступавшими по пестрым каменным плитам, ее осиной талией принцессы, стянутой черным бархатным корсажем, расшитым гусарским галуном, и понял, что обожаю ее. Я поздоровался с ней, преклонив колено, будто паж. Ее красота, пробужденная моими поцелуями, стала просто ошеломляющей. Сквозь прозрачную кожу щек, казалось, были видны токи крови. Эта холодная статуя ожила в моих объятиях. Пигмалион дунул на мрамор, и ему явилась богиня. Мы сели на скамейку перед фигурой Психеи — трофея времен Тридцатилетней войны. Я целовал ее щеки, губы, глаза, а она улыбалась, пьянея от счастья. Я изображал из себя импровизатора, соблазнителя, пуская в ход то ораторские софизмы, то поэтические уловки.

— Покиньте, — внушал я ей, — ваш растленный дом, бегите из вашей оскверненной спальни, откажитесь от этой постыдной любви втроем, не то я буду вас презирать. — Я не хотел говорить ей «ты», чтобы не низвергнуть ее с пьедестала. — Вернитесь к вашей матери. Предайтесь вашему святому искусству, и через год вы будете дебютировать на сцене, вы обретете свободу и заживете наконец своей, а не чьей-то чужой жизнью.

Она раздувала бушующее во мне пламя, я накалялся все больше и больше, становился поистине неотразимым, произносил немыслимое количество слов и в конце концов сумел вырвать у нее обещание рассказать обо всем мужу, и будь что будет!..

— Но все это может плохо кончиться! — воскликнула она.

— Пусть это будет ад для нас, но мне необходимо уважать и себя и вас, без этого я не смогу вас больше любить! Вы малодушны, вы думаете о награде, не желаете принести жертву! Будьте возвышенны, как ваша красота, решитесь на смертельный прыжок, не бойтесь погибнуть! Мы можем все потерять, все, кроме чести. Судя по тому, как разворачиваются события, пройдет еще несколько дней, и вы уже будете не в силах устоять передо мной, не сомневайтесь, потому что моя любовь неотвратима, как смерть, она вас поглотит! Я люблю вас, как солнце — росу, я вас выпью! Поэтому вам ничего не остается, как только отправиться на эшафот, пусть полетит голова, зато рук вы не замараете. Неужто вы надеетесь, что я соглашусь стать его партнером? Да никогда в жизни! Либо все, либо ничего!

Она делает вид, что сопротивляется, а на самом деле подсыпает чуток пороха на угли: жалуется, что муж не оставляет ее в покое, иными словами, приподнимает одеяло на своей брачной постели, одна мысль о которой приводит меня в неистовство.

— Он идиот, он не богаче меня, и у него нет никакого будущего, однако он имеет двух любовниц, а я, при всем моем таланте, я, принадлежащий к духовной элите, вынужден волком выть и корчиться в муках, будучи не в силах погасить пожирающее меня пламя!

Но тут она вдруг поворачивает все вспять, напомнив мне нашу клятву быть лишь братом и сестрой.

— К черту клятву про брата и сестру! Все это глупости! Между нами возможны лишь отношения мужчины и женщины, любовника и любовницы! Я обожаю вас, ваше тело, вашу душу, ваши белокурые волосы и прямоту вашего нрава, ваши ножки, обутые в самые маленькие ботиночки в Швеции, и вашу откровенность, и ваши глаза, плывущие в полумраке экипажа, и вашу чарующую улыбку, и ваши белые чулки, и красные подвязки...

— Как вы...

— Да, да, моя принцесса, я видел все. И я вопьюсь зубами в выемку между вашими грудями, в этот ров любви, я зацелую вас до помрачения ума и задушу в своих объятиях. Только вдыхая аромат вашего тела, я испытываю прилив божественных сил, Я тщедушен лишь на первый взгляд. О нет, поверьте, я мнимый больной, я лицемер. Остерегайтесь затаившегося льва, не вступайте в его логовище, ибо он заласкает вас до смерти! Сорвем лживые маски. Я хочу, чтобы вы были моей, я желаю вас с первой минуты нашего знакомства. Мое увлечение этой Сельмой — чушь, вздор, как, впрочем, и дружба с дорогим бароном. Кто я в его глазах? Буржуа, провинциал, деклассированный интеллигент! И он презирает меня не меньше, чем я его!..

Баронессу, казалось, вовсе не удивил шквал моих признаний, Поскольку для нее в нем не было ничего нового. Ведь мы все знали друг о друге, хоть и делали вид, что ровным счетом ничего не знаем.

И вот мы расстались, твердо решив не назначать нового свидания, прежде чем она не откроется мужу.

После обеда я не выхожу из своей комнаты в ожидании сообщений с поля сражения. Чтобы отвлечься, я вываливаю на пол целый мешок рукописей и книг, падаю ничком на эту гору бумаги, чтобы удобней было рыться в них и разбирать все по порядку. Но как ни стараюсь, я не в силах сосредоточиться и вскоре переворачиваюсь на спину, закладываю руки за голову, упираюсь взглядом в свечи люстры и предаюсь мечтам. Я жажду ее поцелуев и в деталях обдумываю, как буду овладевать ею. Ведь она дьявольски обидчива и одержима вздорными желаниями, важно сразу же взять верный тон, подойти к ней очень осторожно. Если же я потерплю неудачу, то между нами пробежит черная кошка, и это будет трудно преодолеть.

Я закурываю сигару, воображаю, что лежу на лужайке, и снизу вверх разглядываю свою комнатку. В этой лягушачьей перспективе все мне видится по-иному. Диван, столько раз уже бывший алтарем любви, вызывает всплеск сладострастных грез, которые, правда, тут же исчезают, как только мной овладевает страх, что я все загубил из-за своих дурацких представлений о мужской чести.

Пытаясь уточнить, что именно прикрывает собою в данном случае понятие «мужская честь», которое, быть может, не позволит

мне проявить пылкости моих чувств, я обнаружил изрядную порцию трусости, целый набор разных опасений по поводу возможных последствий нашей близости, каплю сочувствия к человеку, которому скорее всего пришлось бы в результате воспитывать чужого ребенка, чуточку отвращения ко всякого рода альковной грязи, долю подлинного уважения к женщине, которую я меньше всего на свете хотел бы унижить, самую малость жалости к ее ребенку, немного сострадания к матери моего идола в том случае, если разразится скандал, а в самой глубине моего презренного сердца таилось еще предчувствие тех неприятностей, которые меня ожидают, если я вздумаю порвать с любовницей. «Нет, — говорю я себе, — либо все, либо ничего! Только моя, и навеки!»

В то время, как я предаюсь этим размышлениям, кто-то стучит в дверь, затем она приоткрывается, и прелестное личико освещает мою мансарду. Озорная улыбка обожаемой женщины заставляет меня вскочить на ноги, и мы бросаемся друг к другу. После несметного числа поцелуев, с трудом оторвав свои губы от ее свежих с холода губ, я спрашиваю:

— Ну, так что же он сказал?

— Ничего, поскольку я ему ничего не рассказала.

— Тогда вы пропали. Уходите!

Но при этом я снимаю с нее гусарский казакин, уже предвкушая будущее раздевание, потом шляпку, отделанную жемчугом, и веду к дивану.

— У меня не хватило мужества! — восклицает она, не в силах больше сдерживаться. — Я хотела еще раз повидаться с вами перед тем, как все рухнет. Одному богу известно, не приведет ли этот разговор к разводу...

Но я не даю ей говорить, расставляю перед ней складной столик, достаю из шкафа бутылку вина и два бокала. Рядом с ними я ставлю горшок с цветущими розами и две зажженные свечи, получается как бы алтарь, а в виде скамеечки кладу том Ганса Сакса в кожаном переплете с вытесненным на нем портретом Лютера и позолоченной застежкой — бесценная книга, взятая мною для занятий из Королевской библиотеки.

Я разливаю вино, срываю розу и втыкаю ее в пышные белокурые волосы баронессы. Мы пьем за ее здоровье и за наше счастье, а потом я падаю перед ней на колени. Я ее боготворю.

— О, как вы прекрасны!

Она счастлива, что я выступаю наконец в роли поклонника, почти любовника, и, обхватив руками мою голову, ворошит мою львиную гриву, покрывает лицо поцелуями. Ее красота внушает мне благоговение, я гляжу на нее как на икону и готов на нее молиться.

Она в восторге, что я сбросил железную маску сдержанности, мои признания приводят ее в трепет, и, видя, что я способен на пылкое чувство, в котором сочетаются уважение и страсть, она сама любит меня испуленно, до безумия.

Я целую ее ботинки, не боясь испачкать губы, целую ее колени и при этом не пытаюсь приподнять край юбки, я люблю ее такую, какой она предстала в этот миг предо мною — одетую, целомудренную, как ангел, явившийся на свет уже в одежде и нацепивший крылья поверх туники.

От наплыва чувств слезы застилают мне глаза, хотя для них нет никакой разумной причины.

— Вы плачете! Что с вами?

— Я не знаю, как сказать... Я так счастлив!

— Вы, значит, умеете плакать. Вы! Железный человек!

— Умею ли я плакать! Я!

Будучи женщиной до мозга костей, она уверена, что понимает причину моего тайного страдания. Поэтому она тут же встает и, изображая интерес к рассыпанным по полу бумагам, говорит с плутовским видом:

— Когда я вошла, вы лежали здесь, как на лужайке. Смешно. На дворе зима, а вы валяетесь на травке.

И она садится на груды книг. Я — рядом с ней. И снова поцелуи, поцелуи, мой идол сходит с пьедестала и готов пасть.

Она в плену моих поцелуев, постепенно я опрокидываю ее навзничь, не даю ей времени опомниться, она будто околдована моим горящим взором, моими жаркими губами. Я обнимаю ее, прижимаю к себе, мы ложимся, как влюбленные, на траву, и мы любим друг друга, как ангелы, не срывая одежд и не переступая последней черты. Потом мы поднимаемся, успокоенные, удовлетворенные, не испытывая при этом никаких угрызений совести, будто мы и впрямь не падшие ангелы.

О, как изобретательна любовь! Грешишь, не греша, отдаешься, не отдаваясь! О, божественное милосердие искушенных женщин! Из жалости они ни в чем не отказывают своим молодым ученикам, считая, что главное — не терять инициативы.

Внезапно она опоминается, возвращается к действительности. Ей пора уходить.

— Итак, до завтра.

— До завтра!

Она во всем призналась мужу и, поскольку он заплакал, считает себя кругом виноватой.

Оказывается, он заплакал, он плакал горячими слезами! Кто же он, наивная душа или хитрец? Видимо, и то и другое! Любовь, правда, сбивает с толку, а иллюзии, которые питаешь на свой счет, обычно приводят к разочарованию!

Он на нас не сердится и желает, чтобы мы продолжали общаться, однако мы должны обещать ему сохранять целомудрие.

— Он благороднее нас! — восклицает она. — И великодушнее! Он любит нас обоих!

Откуда такое старческое слабоумие! Он готов терпеть в своем доме присутствие мужчины, который целовал его жену, и, видимо,

считает нас такими бесполоыми, что мы будем продолжать наши отношения как брат и сестра. Это уже оскорбление лично мне, как мужчине, и я отвечаю окончательным «прощай навеки»!

Утро я провожу у себя в мансарде во власти самого горького разочарования. Я вкусил от запретного плода, и тут его вырвали у меня из рук. Она, моя великодушная богиня, раскаивается, страдает от угрызений совести, осыпает меня упреками. Она, соблазнительница!

Мне приходит в голову адская мысль: уж не в том ли дело, что она сочла меня чересчур целомудренным? Может, отступить ее побудило презрение к моей скромности? Ее не останавливала боязнь греха, перед которым я отступил, выходит, ее любовь сильнее моей.

Приди ко мне еще раз, моя красавица, и тогда ты увидишь!

В десять часов утра я получаю записку от барона с просьбой навестить баронессу, которая тяжело заболела.

Я отвечаю: нет, дай мне спокойно уйти, я не хочу больше быть помехой в вашем браке! Забудь меня, как я забыл вас.

В полдень я получаю вторую записку: «Вернемся к нашим прежним отношениям. Я испытываю к тебе уважение, потому что убежден, что ты вел себя как человек чести. Но никогда ни слова о том, что произошло между вами. Я хочу обнять тебя как брата, и пусть все будет как было».

Простодушие и доверие этого человека меня трогают, я отвечаю ему письмом, где выражаю все свои сомнения и угрызения совести и прошу его не играть с огнем и позволить мне исчезнуть.

В три часа дня я получаю третью записку. Баронесса в агонии, только что ушел врач, она хочет меня видеть. Барон умоляет меня прийти. И я иду. Ну, не безумец ли я?..

Как только я вхожу в квартиру, мне в нос ударяет запах хлороформа. Свет в гостиной притушен. Барон обнимает меня со слезами на глазах.

— Что с ней? — спрашиваю я холодно, будто врач.

— Не знаю, она едва не умерла.

— А что сказал доктор?

— Ничего! Он ушел, покачивая головой и бормоча: «Увы, этот случай вне моей компетенции».

— Он не выписал никаких лекарств?

— Никаких!

Он ведет меня в столовую, превращенную в комнату для больной. Баронесса лежит на диване, неподвижная, с растрепанными волосами и пылающими, будто уголья, глазами. Она протягивает руку, муж берет ее и кладет в мою. И тут же выходит из комнаты, оставляя нас вдвоем. У меня холодеет сердце, я гляжу на нее настороженно, с недоверием, вся эта сцена кажется мне просто неприличной.

— Вы знаете, что я чуть не умерла? — спрашивает она, чтобы начать разговор.

— Да.
— И это вас не волнует?
— Волнует.
— Но вы стоите как истукан. Ни жеста сочувствия, ни слова сострадания!
— Так здесь же был ваш муж!
— Ну и что, ведь он разрешил...
— Баронесса!
— Я очень больна! И мне надо будет лечиться у гинеколога!
— Неужели!
— Меня это очень пугает! Просто ужасно! Я так настрада-лась. Положите мне руку на лоб!.. Какое облегчение! Улыбнитесь мне! Ваша улыбка меня оживляет!
— Барон...
— А вот вы хотели уйти и бросить меня...
— Чем я могу быть вам полезен, баронесса?
Она начинает рыдать.
— Так вы что, желаете, чтобы я стал вашим любовником прямо здесь, в вашем доме, когда в соседних комнатах находятся ваш муж и ваша дочь? Так?
— Вы — чудовище!.. у вас нет сердца, вы...
— Прощайте, баронесса.

И я удираю. Барон торопливо проводит меня через гостиную, однако не настолько быстро, чтобы я не успел заметить, как мелькнул у двери и скрылся за портьерой подол юбки. И у меня разом возникли подозрения, которые превращали все происходящее здесь в комедию.

Барон так яростно захлопнул за мной дверь, что мне показалось, будто раздался взрыв, и эхо его прокатилось по всей лестнице.

Сомнений быть не могло, я только что участвовал в слезливой комедии, да еще с двойной интригой.

Что за таинственная болезнь? Да это просто истерика! Как это называют немцы: тоска по материнству. А в свободном переводе: страстное желание забеременеть, течка самки, животный инстинкт, веками подавляемый и прикрытый целомудрием, но все же проявляющийся рано или поздно благодаря прелюбодеянию.

Эта женщина, имея мужа, не жила с ним, как положено, из страха забеременеть, поскольку не хотела больше иметь детей, но из-за неудовлетворенности она находилась в постоянном возбуждении, и это толкало ее в объятия любовника, неизбежно вело к супружеской измене. И в тот момент, когда любовник, казалось, наконец завоеван, он вдруг уходит прочь, так и не удовлетворив ее желаний!

О, эти вечные супружеские муки, эта выморочная любовь! Взвесив все обстоятельства, я пришел к твердому убеждению, что именно попытка хитрить друг с другом и подменять телесную близость всякими там паллиативами сыграла роковую роль в этом браке и толкнула и барона и баронессу в объятия третьих лиц,

тех, кто сулил каждому из них больше наслаждений. Разочарование, которое пережила баронесса от моего поведения в мансарде, снова кинуло ее к мужу, а тому стало легче выполнять свой супружеский долг, поскольку мадам была воспламенена любовником.

Итак, между ними состоялось примирение, а для меня все кончилось! Черт exit ¹, и занавес опустился.

Но все получилось иначе. Она сама снова пришла ко мне в мансарду, и я добился от нее полной исповеди. Она призналась, что весь первый год их брака она не испытывала радости от плотской любви, ни разу не переживала опьянения от супружеского счастья. После родов муж к ней остыл, и к тому же они опасались новой беременности и прибегали ко всяким ухищрениям.

— И вы никогда не были счастливы с этим человеком?

— Почти никогда! Все же... очень редко...

— И вот теперь!

Она краснеет.

— Теперь врач посоветовал ему не остерегаться...

И она кидается на диван, закрывая лицо руками.

Воспламененный ее признаниями, я перехожу в наступление. Она не противится, дышит учащенно, вся трепещет, но в критический момент ее, видимо, одолевают угрызения совести, и она отталкивает меня.

Загадка, да и только, которая, впрочем, начинает мне надоедать.

Что ей от меня надо? Все, и она жаждет дойти до конца, но боится настоящего преступления, незаконнорожденного ребенка.

Я обнимаю ее и чуть не довожу до безумия своими поцелуями, но она подымается с дивана нетронутой и, надо сказать, менее разочарованной, чем в первый раз.

Что же теперь делать? Во всем признаться барону? Но это уже свершилось. Рассказать подробности? К чему? Ведь подробностей нет.

Однако она снова приходит ко мне. И тут же ложится на диван, объясняя это болезненной усталостью. И тогда я, стыдясь показаться робким, потеряв голову от страха попасть в унижительное положение и еще, чего доброго, прослыть импотентом, насилую ее, если это можно назвать изнасилованием, и встаю, счастливый, великолепный, высокомерный, довольный собой, словно я только что отдал свой долг женщине. Но у нее жалкий, растерянный вид.

— Гордая баронесса, что с ней теперь будет, — стонет она, приподымаясь с дивана.

Она боится последствий. Но на ее печальном личике написано, кроме того, горькое разочарование, часто наступающее после первой, так сказать, пробы пера, произошедшей случайно, на ходу, без должного покоя и сосредоточенности.

— Только и всего?..

¹ Выходит (лат.).

Она уходит медленным шагом, а я смотрю на нее со своей голубятни и сам вздыхаю:

— Только и всего!..

Парень из народа завоевал благородную даму, простолюдин добился любви дворянки, свинопас смешал свою кровь с кровью принцессы. Но какой ценой!

Собираются тучи, ходят всякого рода сплетни, баронесса скомпрометирована в глазах общества.

Мать баронессы вызывает меня к себе. Я тотчас же наношу ей визит.

— Правда ли, сударь, что вы любите мою дочь?

— Истинная правда, сударыня.

— И вы этого не стыдитесь?

— Я этим горжусь.

— Она мне призналась, что влюблена в вас.

— Я это знал. Я вам сочувствую, бесконечно сожалею о всех возможных последствиях, но что поделаешь! Мы любим друг друга, это весьма прискорбно, но не преступно, не правда ли? Как только мы обнаружили эту опасность, мы предупредили барона. Он в курсе дела.

— Вы вели себя безупречно, я знаю, но надо спасти честь моей дочери, ее ребенка, семьи! Ведь вы не хотите нас погубить?

Она зарыдала. Несчастливая старуха, которая все поставила на одну-единственную карту — на свою дочь, она воспитала ее в духе дворянских традиций, чтобы та смогла облагородить родовое имя. Я был исполнен к ней жалости, ее горе меня сокрушало.

— Приказывайте, сударыня, я повинуюсь беспрекословно.

— Уезжайте отсюда подальше, бегите без оглядки!

— Не надо продолжать, я вам это обещаю, но поставлю все же одно условие.

— Какое, сударь?

— Чтобы вы отправили домой Матильду!..

— Выходит, вы ее обвиняете.

— Я ее разоблачаю! Я знаю, что ее затянувшееся пребывание в доме барона не способствует их семейному счастью.

— Я принимаю ваше условие. Ах, эта чертовка! Ну, ей теперь несдобровать. А вы завтра же уедете.

— Нынче вечером!

Тут неожиданно в комнату входит баронесса.

— Вы останетесь! — приказывает она мне. — А Матильде придется уехать.

— Почему? — спрашивает оторопевшая мать.

— Потому что развод неизбежен. Густав публично, в доме дяди Матильды, назвал меня пропащей женщиной! Это ему так не пройдет.

Какая душераздирающая сцена! Да разве хирургическая операция может по тяжести испытания сравниться с разрывом семейных уз! При этом выплескиваются наружу все нечистоты, осевшие на самое дно души.

Баронесса отводит меня в сторону и передает содержание письма, которое барон написал Матильде. В нем он оскорбляет нас как только может и исповедуется ей в своей божественной любви. Выходит, что он нас обманывал с первой же минуты.

Камень сдвинулся и покатился с горы, он несется все быстрее и быстрее. И вскоре он начнет сбивать и правых и виноватых.

Мы все топчемся на одном месте, и нет никакой надежды на развязку. Банк не выплачивает в этом году дивиденды, моих друзей ждет разорение. Нужда надвигается столь неминуемо, что приходится приостановить бракоразводный процесс, так как барон уже не может содержать семью. Чтобы хоть как-то соблюсти приличия, барон осведомляется у своего полковника, разрешат ли ему остаться в полку, если его жена станет актрисой. Тот дает ему понять, что это решительно невозможно. Так и представился удобный случай свалить вину за развод на аристократические предрассудки.

Тем временем баронесса стала лечиться у гинеколога по поводу эрозии матки, продолжая, однако, жить в доме своего супруга и даже спать с ним в одной кровати. Она была вечно нездорова, ходила возбужденная, мрачная, приободрить ее было нелегко, и я просто выбивался из сил, пытаюсь перелить в нее избыток моей юношеской веры в завтрашний день. Я описывал ее будущее актрисы, ее свободную жизнь, комнату вроде моей, где она будет полностью распоряжаться собой, и телом и мыслями. Она слушает меня, но не отвечает, и мне чудится, что поток моих слов возбуждает ее, словно магнитное поле, но не проникает в сознание.

Насчет ее развода был выработан в конце концов такой план: проделав все требуемые законом формальности, баронесса уедет в Копенгаген и поселится у своего дяди. Там шведский консул и вручит ей документ, удостоверяющий факт ее так называемого бегства из супружеского дома, а она в ответ заявит ему, что намерена расторгнуть брачный контракт. После чего она вернется в Стокгольм и наконец-то сможет по своему усмотрению распорядиться своим будущим. Приданое, естественно, останется за ее бывшим мужем, равно как и вся мебель, кроме нескольких предметов, коими она особенно дорожит. Дочь их до новой женитьбы барона останется в его доме, однако баронесса выговорила себе право ежедневно видеться с девочкой.

Во время обсуждения финансовых вопросов дело дошло до крика. Чтобы спасти жалкие остатки своего промотанного состояния, отец баронессы перед смертью завещал все дочери. Но ее мать с помощью всевозможных интриг добилась в конце концов права на наследство, правда, выплачивая зятю определенную сумму в виде компенсации. Теперь же, когда эти отношения надо было оформить законным образом, барон потребовал, чтобы завещание было введено в действие. Старая теща, понимая, что отныне ей придется довольствоваться более чем скромной рентой,

пришла в бешенство и в приступе гнева выдала секрет зятя своему брату, отцу Матильды. Разразился скандал. Подполковник приехал в Стокгольм, грозил, что заставит барона уйти в отставку, дело запахло судом.

В этой ситуации все усилия баронессы сосредоточились на том, чтобы спасти отца ее дочери. И ради этого мне пришлось, как всегда, играть роль козла отпущения. Меня заставили написать дяде письмо, где я брал всю вину на себя, клялся именем божьим в невинности барона и кузины, молил оскорбленного отца простить все мои прегрешения. Короче, предстал перед ним раскаивающимся соблазнителем.

Письмо это было шедевром эпистолярного жанра, и баронесса вознаградила меня за него такой любовью, какой может любить женщина мужчину, все бросающего к ее ногам — и свою честь, и самоуважение, и безупречную репутацию.

Таким образом, несмотря на мое твердое намерение держаться в стороне от всех денежных свар, участие в которых могло лишь опорочить меня, я оказался втянутым во все эти гнусные переговоры.

Теща посещала меня несметное число раз, напоминала о моей любви к ее дочери, настраивала против барона, но все ее старания были напрасны, ибо я слушался лишь указаний баронессы, да к тому же я был на стороне барона, который брал на себя всю заботу об их дочери. Поэтому я считал, что наследство, реальное оно или воображаемое, по праву принадлежит отцу ребенка, только ему!

Вот какой выдался апрель! Весна любви, ничего не скажешь! Больная любовница, невыносимые сцены, во время которых две семьи копаются в грязном белье друг друга, — глаза бы мои на это не глядели! Слезы, ругань. Бури страстей, когда вся мерзость, прикрытая обычно флером воспитания, вдруг обнажается и выставляется всем напоказ. Вот что значит сунуться в осиное гнездо!

Все это не могло не наложить отпечатка на нашу любовь. Если ваша возлюбленная донельзя измотана ссорами, если щеки ее пылают от выслушанных оскорблений, если она изъясняется юридическими терминами, то все это вряд ли делает ее для вас более желанной.

Однако несмотря ни на что я пытался поддержать ее, заразить своей надеждой и бодростью, иногда, правда, наигранной, потому что мои нервы мало-помалу начинали сдавать, но она не гнушалась ничем, пожирала мои мысли, высасывала мой мозг. Она превратила мою душу в свалку, куда вываливала всю свою досаду, все горести, все неприятности, все заботы.

И вот, находясь в этом аду, я все же продолжал жить своей жизнью, из кожи вон лез, чтобы свести концы с концами, одним словом, вел жалкое существование. Приходя ко мне по вечерам и заставляя меня за работой, она тут же начинала дуться, и мне тогда надо было тратить не менее двух часов на слезы и поцелуи, чтобы доказать ей свою любовь, ибо для нее любовь — не что

иное, как непрерывное обожание, рабское служение, готовность к любой жертве.

Меня подавляло гнетущее чувство ответственности — ведь недалеко был тот день, когда надвигающаяся нищета или ожидание ребенка все-таки вынудят меня взять ее в жены. Из всего своего состояния она сохранила за собой лишь три тысячи франков на ближайший год, чтобы подготовиться к поступлению в театр. Меня пугала эта театральная карьера. Она не избавилась от своего финского акцента, да и пропорции ее лица не казались мне сценичными. В качестве упражнений я заставлял ее читать мне стихи, выступая в роли, так сказать, режиссера. Но она была настолько поглощена своими неприятностями, что почти не делала успехов, и это ввергало ее в полное отчаяние.

О, наша мрачная страсть! Постоянный страх Марии забеременеть и моя неопытность по части всяких фокусов в этом вопросе, соединившись воедино, превратили нашу любовь в немислимую муку. А ведь она могла бы стать для меня источником силы и вдохновения, так необходимых мне в эти столь трудные дни. Чувство радости, не успевая появиться, тут же уничтожалось ее вдруг вспыхивавшим страхом, и мы расставались, недовольные друг другом, каждый считал себя обманутым, потому что надежды на высшее счастье не сбылись на этот раз.

Какой, однако, ценой приходится подчас оплачивать все паллиативы в любви!

Бывали минуты, когда я с сожалением вспоминал о девках, с которыми бывал прежде, хотя, моногамный по натуре, я испытывал омерзение к разнообразию в любовных делах. Что же до нашей с Марией близости, то, поскольку надо было соблюдать осторожность, она приносила нам больше сердечных радостей, чем физического удовлетворения, зато вечно неудовлетворенное желание не позволяло угаснуть нашей страсти.

Первого мая все бумаги были наконец подписаны и отъезд назначен на послезавтра. Она пришла ко мне и, упав мне на грудь, воскликнула:

— Теперь я твоя! Возьми меня!

Поскольку мы до той поры никогда не говорили о браке, я не понял, что она имеет в виду. Но так или иначе, я счел, что, раз она ушла от мужа, ситуация стала более приемлемой. Мы печально сидели в моей мансарде. Теперь, когда все стало дозволено, соблазн был уже не так велик. Она обвинила меня в холодности, но я тут же самым ощутимым образом доказал ей обратное. Тогда она стала упрекать меня в чрезмерной чувственности. Ей, оказывается, нужны были только обожание, курение фимиама, молитвы.

Между нами произошла бурная сцена, она впала в истерику и заявила, что я ее больше не люблю! Уже! Час ласк и уговоров возвратили ей разум, но прежде она успела довести меня до слез. После этого она меня снова любила. Чем больше я был раздавлен,

чем безжалостней принижен, чем тщедушней я ей казался, тем больше она меня любила. Она не хотела, чтобы я был мужественным и сильным, и я старался стать жалким и несчастным, чтобы завоевать ее любовь. Тогда она выпрямлялась во весь рост и, изборажая маму, утешала меня.

Мы ужинаем у меня в мансарде. Мария накрывает на стол, подает еду. Потом я вступаю в свои права любовника. И вот тахта превращена в ложе любви, и я раздеваю Марию.

Я не узнаю ее. Она ведет себя как девушка, девственница. В минуты близости с любимой невозможна грубость, в единении душ нет места животному началу, и трудно определить, когда духовное слияние переходит в физическое.

Успокоенная недавно полученными советами врачей, она отдается мне пылко, целиком и испытывает высшее счастье, она исполнена блаженства, благодарности и поражает меня своей красотой. Глаза ее сияют. Моя жалкая мансарда преобразается в храм, в роскошный дворец любви, и я зажигаю сломанную люстру, настольную лампу, свечи, все-все, чтобы ярче осветить царящие здесь гармонию и радость жизни, единственное, что придает хоть какой-то смысл нашему низменному существованию.

Только эти пленительные миги утоленной страсти, которые мы не забываем на протяжении всего нашего горестного пути, только память об этом блаженстве, неведомом ревнивцам, и делает бессмертной чистую любовь.

— Не говори ничего дурного о любви, — сказал я ей. — Относись с уважением к природе во всех ее проявлениях и чти господу бога, дарующего нам счастье помимо нашей воли.

А она и не говорит ничего, потому что полностью счастлива. Исступление, охватившее ее, бесследно прошло, сердце, возбужденное страстными объятиями, учащенно бьется, кровь потоком струится по жилам, на ожившем лице заиграли краски, в увлажненных слезами сладострастия зрачках отражается пламя свечей, а яркость радужки глаз подобна переливчатому оперению птиц в пору любви. Она кажется шестнадцатилетней девушкой, так безупречны и строги черты ее лица. А утопающая в подушке маленькая головка, обрамленная растрепанными волосами цвета спелой пшеницы, похожа на голову ребенка. Тело ее, скорее хрупкое, чем худое, под батистовой рубашкой, перехваченной мягким поясом, которая ниспадает, подобно греческому хитону, множеством складок на бедра, скрывая то, что должно быть скрыто, но обнажая колени, сквозь прозрачную кожу которых просвечивает сложное, причудливое переплетение таинственных жилок, словно похищенное у перламутровой раковины. Грудь ее, как две козочки с розовыми носиками, прячутся за кружевами, будто за сеткой загона, а плечи будто выточены из слоновой кости, как, впрочем, и запястья...

Она лежит как изваяние, позирует, наслаждается тем, что я люблюсь ею, и вдруг потягивается, трет глаза и глядит на меня одновременно робким и бесстыжим взглядом.

Сколь целомудренна женщина, когда она, нагая, дарит свою любовь тому, кто ее боготворит. Увы, мужчина, как правило превосходящий женщину умом, оказывается счастливым только тогда, когда находит себе ровню. Теперь мои прежние похождения, любовные истории с девицами из иной социальной среды, кажутся мне чем-то вроде скотских утех, падением, едва ли не преступлением и уж во всяком случае изменой себе и себе подобным. Неужели белая кожа, идеальная форма ног, безупречные ногти, один к одному, как клавиши фортепиано, или руки, лишенные мозолей, суть признаки дегенерации? Взгляните на диких зверей — лоснящаяся шкура, точеные лапы, больше нервов, чем мускулов — как они совершенны! Красота женщины лишь обещание ее внутренних качеств, которые должны быть проявлены, и они зависят от мужчины, от его умения их оценить. Он — муж — выбросил эту женщину, можно сказать, на свалку, и с той минуты она ему больше не принадлежала, потому что перестала ему нравиться. Ее красота для него больше не существовала, мне выпало вновь оживить этот цветок, видимый только избранному.

Какая безмерная радость обладание любимой! Это чувство сравнимо лишь с удовлетворением, которое испытываешь, выполнив свой долг. И это подчас считается преступлением! Пленительное преступление, сладостное нарушение закона, божественное злодейство!

Сейчас пробьет полночь, сменится караул у казармы. Пора отвести возлюбленную домой.

Во время нашего долгого пути я обрушиваю на нее все свои вдохновенные замыслы, исполненные новых надежд, и фантастические планы, рожденные жаром наших объятий. Она прижимается ко мне, словно хочет набраться сил от этого физического прикосновения, и я счастлив вернуть ей то, что сам от нее получил. Наконец мы подходим к решетке ее сада, и тут она обнаруживает, что забыла ключ. Какое невезенье! Желая продемонстрировать ей свою храбрость, я очертя голову перелезаю через ворота, чтобы проникнуть в логово зверя, единым духом пересекаю двор и начинаю стучать в дверь дома, приготовившись к бурной встрече с бароном. Так как совесть у меня не чиста, я ликую от предстоящей стычки с соперником на глазах у любимой, благодаря которой удачливый любовник превратится в героя! К счастью, дверь открывает служанка, и наше церемонное прощание происходит без ратных подвигов — она окинула нас презрительным взглядом и даже не удостоила меня ответом, когда я пожелал ей спокойной ночи.

Мария уже не сомневается в моей любви и злоупотребляет этим. Сегодня она пришла ко мне и с порога принялась безудержно расхваливать своего бывшего мужа, который, оказывается, убит горем оттого, что кузину отравили домой. Однако по просьбе баронессы, дабы спасти ее репутацию, барон согласился проводить ее на вокзал, куда и я приеду, и таким образом ее отъезд не будет

выглядеть бегством из супружеского дома. Кроме того, барон, который, как выяснилось, не питает ко мне зла, обещал принять меня нынче вечером у себя, а чтобы прекратить все сплетни, готов в ближайшие же дни появиться вместе со мной на людях.

Оценив по достоинству великодушие этого наивного человека с открытым сердцем, я все же возмутился.

— Причинить ему такое бесчестье! Да никогда! — заявил я баронессе.

— Но если это делается в интересах моего ребенка! — возразила она.

— И все же, дорогая, честь барона тоже нельзя не учитывать!

Ей непонятно, что такое честь другого человека. А я в ее глазах фантазер.

— Хватит! Мало того, что вы доведете меня до безумия, вы хотите нас всех растоптать! Это нелепо, подло!

И она раздражается рыданиями, которые делают ее неотражимой, и после часа, потраченного на слезы и обвинения, я в конце концов все обещаю, сдаю все свои позиции, хоть и злюсь на это деспотическое существо и проклиная прозрачные, как хрусталь, капли, которые безгранично расширяют власть ее гипнотизирующих глаз.

Конечно, она сильнее, чем мы оба, вот она и куражится над нами, пока мы окончательно не потеряем своего лица. Чего ради она заставляет нас идти на эту фальшивую мировую? Она просто боится, что между соперниками начнется борьба не на жизнь, а на смерть, и, видимо, опасается роковых для нее разоблачений.

А на какую пытку она меня обрекла, заставив снова побывать в этом разоренном гнезде! Нет, она не знает пощады и всегда требует жертв. Жестокая эгоистка! Она взяла с меня клятву, что я буду отрицать преступную связь барона с кузиной и свидетельствовать чистоту их отношений.

Я отправился на это последнее свидание с тяжелым сердцем, едва держась на ногах. Сад выглядел так же, как в те дни, расцвела вишня, забелели нарциссы.

Деревья, на фоне которых она некогда явилась мне как волшебное видение, снова покрылись листьями, вскопанные грядки исполосовали газон траурными лентами, и я представил себе, как одиноко здесь гулять девочке, кинутой родителями на попечение равнодушной няньки. Девочка вырастет, начнет все понимать и в один печальный день узнает, что родная мать бросила ее на произвол судьбы!

Я поднимаюсь по лестнице этого рокового дома, стоящего на обрыве песчаного карьера, и в душе моей оживают горькие детские воспоминания. Дружба, кровное родство, любовь — все пограно. И дом этот стал прибежищем супружеской неверности, странным образом в нем узаконенной. Кто в этом виноват?

Дверь мне открывает баронесса и в тени драпировки тайком, перед тем как ввести в гостиную, целует меня. Я ненавижу ее

в эту секунду и с негодованием отталкиваю. Грязные сцены в подворотне — вот что напоминает мне это, и просто сердце сжимается от отвращения. Таиться за дверь! Что за падшая женщина, у которой нет ни гордости, ни достоинства!

Мария делает вид, что принимает мое движение за страх, и приглашает в гостиную как раз в тот момент, когда унижительность ситуации становится мне все более очевидной и я решаю бежать прочь. Но она останавливает меня, взглядом подчиняет себе, и я, парализованный ее уверенностью, сдаюсь.

В гостиной все свидетельствует о разладе между супругами. Повсюду валяется белье, платья, юбки, какие-то тряпки. На рояле я вижу рубашки, отделанные кружевами, так хорошо мне знакомые, а на бюро — целую стопку панталон и чулок, которые некогда заставляли меня трепетать, а теперь лишь вызывают чувство стыда. Она ходит взад-вперед, сортирует, складывает, пересчитывает, нимало не смущаясь при этом.

«Неужели это я ее так быстро развратил?» — спрашиваю я себя, глядя, как она выставляет напоказ то, что честная женщина должна скрывать.

Она все перебирает, выискивая вещи, требующие починки. Из стопки панталон она вытаскивает те, у которых оторваны тесемки, и, как ни в чем не бывало, откладывает в сторону. Но я-то их хорошо помню, ибо сам разорвал в ту первую ночь, когда потерял голову от возбуждения.

Мне казалось, что я присутствую при казни, я терпел чудовищные муки, но Мария держалась твердо и слушала, как ни в чем не бывало, мою пустую болтовню в ожидании появления барона, который, запершись в столовой, что-то писал.

Наконец дверь отворилась, я вздрогнул — на пороге стояла девочка. И волнение мое, отнюдь не убывая, сразу приняло несколько иной характер. Дочь Марии, в сопровождении их болонки, явилась узнать, что же все-таки происходит в доме. Увидев меня, она подошла ко мне и, как обычно, подставила лобик для поцелуя. Я, конечно, поцеловал ее, но тут же, будучи не в силах сдержаться, обратился к ее матери и сказал ей прерывающимся от гнева голосом:

— Не могли бы вы избавить меня от этой пытки?

Баронесса явно ничего не понимала.

— Мама уезжает, детка, но она скоро вернется и привезет тебе игрушки.

Собачка тоже ластится ко мне. И она! Наконец появляется барон. Разбитый, согбенный, он дружески улыбается мне, молча пожимает мою руку, у него нет сил говорить, и я тоже молчу, уважая его горе и понимая всю непоправимость случившегося. Засим он удаляется.

Стушаются сумерки, появляется служанка и, не здороваясь со мной, зажигает лампы. Когда подадут ужин, я поднимаюсь, чтобы уйти. Но барон просит меня остаться, причем так искренне, что я соглашаюсь.

И вот мы снова сидим за столом втроем, как прежде. Как торжественны эти незабываемые минуты! Мы обо всем говорим и спрашиваем себя: кто же виноват в том, что случилось? Да никто, видно, так захотела судьба, просто так сложились обстоятельства в результате целого ряда причин. Мы пожимаем друг другу руки, чокаемся и, как и прежде, заявляем, что мы друзья навек. Только баронесса сохраняет спокойствие, строит планы на следующий день, договаривается о совместных прогулках по городу, уточняет нашу встречу на вокзале, и мы оба готовы выполнить все ее распоряжения.

В конце концов я встаю. Барон провожает нас в гостиную, там он вкладывает руку баронессы в мою и говорит глухим голосом:

— Будь ее другом, когда моя роль завершится. Береги ее, защищай от враждебного мира, помоги расцвести ее таланту, ведь тебе это легче сделать, чем мне, бедному солдату, и да поможет вам бог на вашем пути.

Барон уходит, оставив нас вдвоем, и притворяет за собой дверь.

Был ли он искренен? Я верил в это в тот момент, да и теперь не хотел бы в этом сомневаться. Ведь у него было чувствительное сердце, он был привязан к нам и искренне не хотел, чтобы мать его дитяти оказалась в руках врага.

Вполне возможно, что позже, попав под дурное влияние, он и хвастался, что тогда обвел нас вокруг пальца. Но это явно не соответствовало его характеру в годы нашей дружбы. А задним числом каждый боится, как бы не подумали про него, что он некогда остался в дураках.

Итак, в шесть часов вечера я вошел в зал ожидания Центрального вокзала. Поезд на Копенгаген уходил в шесть пятнадцать, но ни баронессы, ни барона еще не было видно.

Начался последний акт нашей ужасной драмы, и я с бешеной радостью предвидел ее скорый финал. Еще четверть часа — и наступит вождеденный покой. Мои нервы, расстроенные всеми этими сценами, жаждали успокоения, и я надеялся, что эта ночь поможет мне восстановить нервные ткани, растроченные впустую благодаря ловкости и хитроумию этой женщины.

Наконец она появляется, всклокоченная, неряшливо одетая, задышающаяся от усталости. Конечно, баронесса в своем репертуаре — как безумная, она кидается ко мне.

— Предатель, он не сдержал своего слова! Он не придет! — воскликнула она так громко, что привлекла внимание вокзальной толпы.

Хоть все это и было весьма прискорбно, но тем не менее я испытывал уважение к этому человеку и, дав волю духу противоречия, резко ответил:

— И правильно делает! У него есть все основания так поступить.

— Если вы немедленно не возьмете билета до Копенгагена, — воскликнула она, — то я останусь!

— Нет! — ответил я. — Если я уеду с вами, это будет считаться похищением, и завтра весь город заговорит об этом.

— Мне нет до этого дела! Быстрее!

— Нет! Не пойду!

В эту минуту, кроме неприязни, я испытывал к ней глубокую жалость. Ее положение и в самом деле было ужасное, а тут еще ссора, готовая разразиться, ссора между любовниками!

Но она взяла меня за руки, пристально посмотрела мне в глаза, и лед растаял. Волшебница околдовала меня, и воля моя оказалась сломленной.

— Но только до Катринхольма! Умоляю.

— Хорошо!

А она поспешила сдать багаж.

Увы, все было потеряно, даже честь, впереди меня ждала еще одна ночь пыток.

Поезд трогается, мы сидим вдвоем в купе первого класса. Решение барона не прийти на вокзал подавило нас. Возникла непредвиденная опасность, и она не предвещала ничего хорошего. Мучительное молчание затягивается, каждый ждет, чтобы другой начал разговор. Наконец она разражается первой:

— Ты меня больше не любишь!

— Быть может, — отвечаю я, сам ошеломленный результатами прошедшего месяца.

— А я всем пожертвовала ради тебя.

— Не ради меня, а ради своей любви! К тому же я жертвую тебе свою жизнь. Ты сердись на Густава, облегчи свою душу, ругая меня, но не безумствуй.

Она плачет, плачет. Вот так свадебное путешествие! Я ожесточился, влез в свой железный панцирь, стал бесчувственным, жестким, непроницаемым.

— Умерь свои чувства! Ибо отныне тебе придется стать разумной. Плачь сколько хочешь, излей все свои слезы, а затем выпрямись! Ты — дура, а я тебя обожал, как королеву, как существо высшего порядка, и во всем безоговорочно слушался, потому что считал себя более слабым. Не доводи же до того, чтобы я начал презирать тебя. Никогда не сваливай всю вину на меня одного! Как восхитился я вчера умом Густава, потому что он понял, что большие события жизни людей нельзя объяснять единственной причиной. Кто виноват во всем? Ты, и я, и он, и она, и грозящее разорение, и твоё увлечение театром, и эрозия матки, и то наследство, которое ты получила от трижды разводившегося деда, и страх твоей матери перед беременностью, из-за которого получилась столь нерешительная натура, и безделье твоего мужа, профессия которого оставляет ему слишком много свободного времени, и мои инстинкты выходящие из низшего сословия, и своеобразие характера одной финской барышни, которая толкнула меня к тебе, — одним словом, есть несметное число скрытых причин, лишь малую часть

которых я чуть-чуть приоткрыл. Не опускайся до черни, которая завтра будет тебя однозначно осуждать, не веди себя как идиотка, которая воображает, будто решила сложный вопрос, оплевав и свой адюльтер, и гнусного соблазнителя. Неужели ты считаешь, что я тебя действительно соблазнил? Будь хоть раз искренней с самой собой, да и со мной, когда мы одни, без свидетелей.

Но нет, она не хочет быть искренней. Не может, потому что это против природы женщины. Она чувствует себя соучастницей, ее мучают угрызения совести, и она хочет освободиться от этого груза, переложив все на меня!

Я ей не мешаю, но отгораживаюсь тягостным молчанием. Наступает ночь. Я опускаю стекло в окне и гляжу, как проносятся мимо ряды сосен, за которыми вскоре появится луна. Я вижу то озеро, окруженное березками, то ручей, проложивший себе путь в ольшанике, поля пшеницы, луга и снова сосновый бор... Вдруг меня охватывает безумное желание выпрыгнуть из вагона, бежать из этого застенка, в который меня заточила колдунья, сковав по рукам и ногам. Ответственность за ее будущее мучает меня, как настоящий кошмар. Я понимаю, что отныне отвечаю за жизнь этой чужой мне женщины, ее будущих детей, ее матери, ее тети, за весь род ее во веки веков. Я займусь устройством ее театральной карьеры, я перестрадаю вместе с ней все ее страдания, все разочарования, все неудачи, и настанет день, когда она выкинет меня на помойку, как выжатый лимон. За любовь, которую я ей дарю и которую она принимает, я заплачу всей своей жизнью, своим мозгом, своей кровью, и при этом она еще воображает, будто всем пожертвовала ради меня! Любовная галлюцинация, гипнотизм инстинкта воспроизводства!

Она дуется на меня до десяти вечера. Еще час — и нам пора будет проститься.

Тогда, извинившись и сославшись на крайний упадок сил, она кладет ноги на подушку моего сидения. Я же сохранял все это время полное хладнокровие и был неприступен, как скала, несмотря на ее красноречивые взгляды, закатывающиеся глаза, слезы, словесную паутину, которой она меня опутывала, но как только я увидел ее крошечный башмачок и полоску чулка над ним, правда совсем узенькую, я рухнул.

На колени, Самсон! Рассыпь свои волосы по ее бедрам, прижмись к ним щекой, умоляя простить тебя за сказанные суровые слова — она все равно ничего не поняла! — отрекись от разума, от самого себя и люби ее, жалкий раб! Ты пасуешь перед белым чулком, а считаешь, что способен перевернуть мир. Она любит тебя, только когда ты предстаешь перед ней в жалком виде, она покупает тебя за минуту восторгов, которые она тебе обещивает без особого труда для себя, ни от чего ради этого не отказываясь, исторгая из тебя каплю твоей свежей крови!

Паровозный свисток, вот станция, где мы должны проститься. Она целует меня, как заботливая мама, осеняет крестным

знаменем, хоть она и протестантка, вверяет меня божьему милосердию, умоляет следить за собой и утешиться.

И поезд исчезает в ночи, обдав меня облаком угольного дыма.

Я вдыхаю — наконец-то! — свежий воздух ночи и свободу. Но только на мгновение! Уже в деревенской гостинице меня начинает мучить раскаяние. Я люблю ее, люблю такой, какой она была в минуту прощания, вызвав у меня воспоминания о первых наших встречах. Женщина-мать, мягкая, ласковая, которая меня нежит, лелеет, как младенца.

И вместе с тем я ее люблю как женщину и желаю со всей страстью.

Что это, душевная аномалия? Или каприз природы? Не порочны ли мои чувства, раз я хочу обладать той, которая обращается со мной как со своим ребенком? Не толкает ли меня мое сердце на инцест?

Я прошу дать мне перо и бумагу, и я пишу ей письмо, которое заканчивается молитвой за ее будущее потомство.

Ее последние объятия вернули меня даже к господу богу, память о ее поцелуях, увлажнивших мои усы, заставила меня отречься от сухой веры в прогресс.

Вот вам и первый этап деградации человеческой личности, за ним последуют и другие, которые приведут эту личность к полному отупению, на грань безумия.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

На следующий же день после отъезда в Копенгаген весь город уже говорил о похищении баронессы секретарем Королевской библиотеки. Именно этого и следовало ожидать, опасаться, избежать любой ценой, чтобы не погубить ее репутации, но все сорвалось из-за ее минутной слабости. Она все испортила, а мне теперь предстояло расплачиваться за ее содеянное и по возможности устранить последствия этой эскапады особенно пагубные для ее театральной карьеры, поскольку для нее речь могла идти только об одной сцене, а дурные нравы, отмеченные в досье, не очень-то способствуют ангажементу в королевский театр.

Чтобы иметь алиби, я, едва вернувшись в Стокгольм, под первым попавшимся предлогом отправился ни свет ни заря с визитом к директору библиотеки, который был нездоров и не выходил в тот день из дому. Потом я прогулялся по центральным улицам и вовремя явился на работу. Вечером я побывал в клубе журналистов и пустил слух о разводе баронессы из-за ее намерений стать актрисой, уверяя всех, что история эта вполне невинная, что супруги в прекрасных отношениях и расстанутся только из-за социальных предрассудков.

Если бы я знал тогда, какие неприятности я себе уготовил, пуская слух о невинности баронессы, я бы, конечно... поступил точно так же.

Газеты тут же публикуют сообщение об этом в отделе происшествий, но публика как-то не поверила в такую безоглядную любовь к искусству, которое, уж во всяком случае в кругу актрис, не очень-то высоко ставится. К тому же брошенный ребенок, как темное пятно, портил всю картину, и женщины не клюнули на приманку.

Тем временем я получаю письмо из Копенгагена. Это крик отчаяния! Она терзается угрызениями совести, тоскует по ребенку и требует, чтобы я немедленно к ней приехал, потому что ее родственники ее мучают и, вступив, как она подозревает, в сговор с бароном, препятствуют отправке акта, необходимого для развода.

Я твердо отказываюсь ехать в Копенгаген, зато пишу, разгневавшись, угрожающую записку барону, который отвечает мне высокомерным тоном, что приводит к нашему окончательному разрыву.

Я отправляю телеграммы, одну, другую, и порядок восстанавливается. Завизированный акт находят, и бракоразводный процесс идет своим чередом.

Я провожу все вечера, составляя для нее подробнейшие инструкции, как ей надо себя вести, чтобы избежать неприятностей, советую заниматься, изучать актерское искусство, ходить побольше в театры и, чтобы заработать немного денег, писать рецензии на спектакли, которые я берусь публиковать у нас в уважаемой газете.

Ответа нет, из чего я делаю заключение, что мои советы плохо приняты этим независимым умом.

Проходит целая неделя, полная тревоги, забот, работы, прежде чем я получаю письмо из Копенгагена, которое мне приносят утром, когда я еще лежу в постели.

Она спокойна, весела и не скрывает, что гордится той мужской стычкой, которая произошла между бароном и мною, и так как каждый из нас послал ей копию написанных писем, она может о них судить. Она восхищается стилем барона и моим мужеством. «Как жаль, — добавляет она, — что вы двое, оба такого закала, не хотите остаться добрыми друзьями». Потом она рассказывает о своих развлечениях. Она старается не скучать, ходит в артистические клубы, что мне совсем не нравится. Была она и в варьете в обществе молодых мужчин, которые за ней ухаживают, и покорила одного молодого музыканта, порвавшего со своей семьей из-за своего артистического призвания. Поразительное соответствие с ее судьбой! За этим следовала подробная биография юного мученика и просьба (адресованная мне) не ревновать!

«Что все это значит?» — думаю я, убитый тоном этого письма, одновременно и сердечного и издевательского, как будто написанного во время выпивки.

Не принадлежит ли эта холодная и сладострастная мадонна к числу распутниц по крови? Кокетка, кокетка!

Я устраиваю ей настоящий нагоняй, не жалея красок, называю ее госпожой Бовари, умоляю пробудиться от этого губительного сна, ибо она на краю бездны.

В ответ, как признак высшего доверия, она посылает мне письма, которые получила от юного энтузиаста. Любовные письма! Все та же старая игра словом «дружба», «необъяснимая близость душ», весь репертуар используемых в таких случаях формулировок, к которому прибегали и мы сами в свое время. «Брат и сестра», «мамочка», «товарищи» и все остальное, чем прикрываются влюбленные до того дня, как начинают играть в животное о двух спинах.

Просто невозможно в это поверить! Сумасшедшая, бессознательная негодяйка, которая ничему не научилась за те два ужасных месяца нечеловеческой пытки, когда сердца троих людей жарились на медленном огне! А я, превращенный в козла отпущения, в подставное лицо, я из кожи вон лезу, чтобы проложить ей дорогу к несправедливой жизни комедианток.

Новое страдание! Та, которую я обожал, окажется смешанной с грязью!

И тут меня охватила невыразимая жалость, я предчувствовал, какое будущее ожидает эту порочную женщину, и я дал себе клятву, что выташу ее из омута, поддержу, спасу от падения, не пожалев на это своих последних сил.

Ревнивец! Какое гнусное слово, придуманное женщиной, чтобы сбить с толку обманутого мужчину или того, кого она собирается обмануть. Она ему неверна, а как только муж проявляет малейшее недовольство, она ослепляет его этим словом: ревнивец. Ревнивый муж, обманутый муж. Подумать только, что есть женщины, которые пытаются отождествить ревность с бессилием, чтобы обвести мужа вокруг пальца, чтобы муж закрыл глаза, и в самом деле бессильный борется с такого рода упреками.

Недели через две она возвращается. Красивая, свежая, сияющая, полная радостных воспоминаний, поскольку она там веселилась! В ее обновленном гардеробе я вижу чрезмерно модные вещи экстравагантных цветов, на грани дурного вкуса. Из просто, но элегантно, изысканно одетой дамы она превратилась в даму, привлекающую всеобщее внимание.

Встреча наша получилась более холодной, чем мы ожидали. И после тягостного молчания разразилась сцена.

Поклонение ее нового друга придало ей силы, она разыгрывает из себя гордячку, задирает меня, дразнит. Потом, разложив на моем просиженном диване подол своего роскошного платья, она прибегает к своему излюбленному приему, и наша ненависть разряжается в бурных объятиях, однако не до конца, и тут же начинаются взаимные оскорбительные обвинения. Раздосадованная моим неумеренным темпераментом, не соответствующим ее ленивой натуре, она начинает плакать.

— Как ты можешь думать, — восклицает она, — что я играю этим юношей! Я ведь обещаю тебе никогда ему не писать, хотя и даю этим повод упрекнуть меня в невежливости.

Невежливость! Одно из ее главных слов! Мужчина ухаживает за ней, или, говоря иначе, делает ей авансы, и она их принимает из страха прослыть невежливой. Вот плутовка!

О, горе мне! Она купила себе новые башмачки, совсем крошечные, и я снова в ее власти. Проклятье! Она надела черные чулки, и от этого икры ее кажутся более выпуклыми, а колени, живые белые колени оттенены этим как бы траурным крепом, эти черные ноги в кипении белых воланов нижних юбок могли принадлежать только дьяволице! Они словно две стройные траурные колонны, стоящие у входа в склеп, в котором я жажду похоронить миллионы моих животворных ферментов, квинтэссенцию моей крови.

Чтобы вторгнуться безо всяких помех в эту слиянность неба и ада, я отдаю себя в рабство ее величеству Лжи. Устав от ее вечного ужаса перед последствиями, я начинаю врать. После тщательных

поисков в ученых книгах я наконец разгадал тайну обмана естества. Я настойчиво рекомендую ей некоторые меры предосторожности, уверяя, что к тому же обладаю неким органическим дефектом, который делает меня не то чтобы совсем бесплодным, но во всяком случае малоопасным. В конце концов я сам в это начинаю верить, и она больше не ограничивает моей свободы, поскольку все равно расплачиваться за все фатальные последствия нашей близости пришлось бы мне.

Поселилась она в квартире матери и тетки, на втором этаже дома, расположенного на одной из самых оживленных улиц города. Меня там принимали только потому, что в противном случае дочь грозила навещать меня в моей мансарде. Признаться, мне было не очень приятно быть под надзором у этих двух старых дам, которые во время моего визита все время находились где-то рядом.

Теперь мы оба начали понимать, что мы потеряли. Она была баронессой, супругой и хозяйкой дома, а теперь ее понизили до уровня девочки, которая пребывает под попечительством матери, и заперли в четырех стенах. И каждый день мать ей твердит, что сумела обеспечить дочери приличное положение в обществе, в то время как дочь вспоминает о том счастливейшем часе, когда ее молодой супруг освободил ее из материнской тюрьмы. В результате то и дело вспыхивали ссоры, лились слезы и говорились друг другу горькие слова, которые вечером, когда я заявлялся к ней с визитом, рикошетом били в меня. Свидание с заключенной при надзирателях за дверь.

Когда же мы уставали от этих мучительных разговоров с глазу на глаз, мы назначали свидание в городском парке, но и это постепенно становилось все более тягостным, потому что мы то и дело ловили на себе презрительные взгляды прохожих. Весеннее солнце, освещавшее всю безвыходность нашего положения, становилось нам отвратительным. Мы жаждали мрака, мечтали о зиме, чтобы скрыть свой позор, но, увы, надвигалось лето с его белыми ночами!

Постепенно все наши знакомые начали нас избегать. Даже моя сестра, испугавшись нарастающей волны сплетен, в конце концов порвала с нами. Во время нашего последнего ужина в ее доме, когда кроме нас было еще несколько гостей, бывшая баронесса, чтобы почувствовать себя уверенней, стала пить и, конечно, опьянела, произнесла какую-то нелепую речь, потом закурила и всем своим поведением вызвала отвращение у замужних женщин и презрение у мужчин.

— Из таких вот и получаются шлюхи, — конфиденциально шепнул один почтенный отец семейства моему зятю, который поспешил мне это передать.

Когда нас пригласила сестра в следующий раз, а это, как сейчас помню, был воскресный вечер, мы пришли точно в назначенное время, но служанка сообщила нам, что господ нет дома, что они

сами ушли в гости. Это было настоящей пощечиной, и вы легко можете себе представить наши чувства... Большого унижения нельзя было и вообразить. Мы провели этот воскресный вечер запершись в моей мансарде, плакали от отчаяния и собирались покончить жизнь самоубийством. Я задернул занавески, чтобы не видеть дневного света, мы дожидались, пока стемнеет, не хотели до этого выходить на улицу, а в это время года солнце поздно садится. Часов в восемь вечера нас начал мучить голод. Дома не было никакой еды, и выпить было нечего, и ни гроша в кармане ни у меня, ни у нее. Возникло какое-то предчувствие грядущей нищеты, и эти несколько часов были едва ли не худшими в моей жизни. Взаимные упреки, вялые поцелуи, бесконечные слезы, угрызения совести, чувство опустошения.

Я умолял ее пойти домой ужинать, но она теперь боялась солнечного света да и не решалась вернуться раньше времени, поскольку мать знала, что ее пригласили на ужин. Она ничего не ела с двух часов дня, и от печальной перспективы лечь спать натошак лютой голод терзал ее все больше. Воспитанная в богатом доме, привыкшая с детства к роскоши, она даже не представляла себе, что такое бедность, и поэтому все больше теряла самообладание. Я же с детства привык к голоду, но ужасно страдал от того, что обожаемая мною женщина оказалась в таком бедственном положении. Я обшарил шкаф, но ничего не нашел, потом стал рыться в ящиках секретера и нашел там, среди различных памятных мне вещиц, увядших цветов, любовных записочек, выцветших лент, две конфетки, которые я хранил в память о похоронах, уж не помню, чьих именно. Я подал ей эти леденцы, завернутые в черную с серебряной каймой бумажку — цвета катафалка. Какое зловещее угощение предложил я своей возлюбленной!

Подавленный, просто уничтоженный, я не помнил себя от отчаяния, но вместе с тем я был в бешенстве и метал громы и молнии против так называемых честных женщин, которые захлопнули перед нами дверь, изгнали нас из своей среды.

— Почему они окружают нас презрением и ненавистью? Разве мы совершили преступление? Разве мы повинны в прелюбодеянии? Нет! Речь идет всего лишь о разводе, честном, дозволенном, в полном соответствии со всеми существующими законами!

— Мы были чересчур честны, — утешала она себя, — а общество состоит из одних прохвостов. Прелюбодеяние, которое свершается нагло, на глазах у всех, люди готовы терпеть, но развод — нет! Хороша мораль!

Тут мы сошлись в мнениях. И все же от преступления нам некуда было деться, оно витало над нашими головами, склонившимися в ожидании удара дубинкой.

Я чувствовал себя как мальчишка, разоривший птичье гнездо. Мать унесла, и птенец валялся на земле, жалкий комочек, которого лишила материнского тепла. А отец! Как одиноко должно быть отцу в этом разоренном гнезде в такой вот воскресный вечер, когда семья обычно собиралась вокруг очага. Один в гостиной,

где молчит рояль, один в столовой, где он ужинает в полном одиночестве, один в спальне...

— Нет! — прервала она меня. — Есть все основания полагать, что он сейчас, примостившись на диване у камергера, дяди кузины, пожимает руки своей Матильде, этой бедной оклеветанной девочке, и смакует самые невероятные рассказы о дурном поведении своей недостойной жены, которая почему-то не могла привыкнуть к гаремной жизни. Причем оба они, и оплывший, пресыщенный Густав, и Матильда, пользующаяся симпатией и сочувствием лицемерных людей, первые бросят в нас камень!

Обдумав все как следует, я тут же пришел к выводу, что барон водил нас за нос, что он преднамеренно отделался от старой жены, чтобы взять себе новую, и что приданое досталось ему не по праву. Но тогда она запротестовала:

— Не говори о нем худо! Во всем виновата я!

— А почему не он? Что, его личность священна?

Похоже, что да. И заметьте, стоило мне на него напасть, как она решительно вставала на защиту.

Уж не что-то ли вроде франкмасонства связывает ее с бароном? Либо в их интимной жизни были секреты, тайны, из-за которых она боится сделать этого человека своим врагом? Это так и осталось для меня неясным, как и ее непоколебимая верность своему прошлому с бароном, несмотря на все его дальнейшие предательства.

Солнце в конце концов все же село, и мы расстались. Я спал беспокойным сном голодного человека, и мне снилось, что я хочу улететь на небо, но не могу, потому что на шее у меня висит мельничный жернов.

События нарастали. Обратились к директору театра, чтобы получить разрешение на дебют для госпожи N., и он будто бы ответил, что театр не может иметь дело с женщиной, покинувшей свой семейный очаг.

Все рухнуло! Выходит, что после года, потраченного на подготовку дебюта, эту женщину без всяких средств к существованию попросту выбросят на улицу! И я, бедный как цыган, должен попытаться ее спасти.

Чтобы проверить, справедливо ли это ужасное известие, она отправилась с визитом к своей подруге, знаменитой драматической актрисе, с которой она прежде часто встречалась в свете и которая всячески заискивала перед белокурой баронессой, этим «маленьким эльфом».

Знаменитая актриса, погрязшая в расчетливом пороке при живом муже, приняла честную грешницу самым оскорбительным образом и указала ей на дверь!

И это пришлось стерпеть!

Оставалось только одно — любой ценой взять реванш.

— Что ж, стань писательницей! — говорил я ей. — Пиши пьесы и сделай так, чтобы их играли на этой самой сцене. Зачем

опускаться, когда можно подняться! Брось эту комедиантку к своим ногам, одним рывком возвысившись над нею. Разоблачи это лживое, лицемерное, порочное общество, которое, открывая двери своих гостиных для шлюх, закрывает их для разведенной женщины! Вот прекрасная тема для пьесы.

Но Мария, увы, из числа тех бесхребетных, впечатлительных натур, у которых нет сил отражать удары...

— Никакой мести!

Трусливая и мстительная одновременно, она полагала, что месть — это дело бога, а всю ответственность взваливала на подставное лицо.

Но я не отступил, и тут мне пришел на помощь счастливый случай: один издатель предложил мне обработать тексты для детской книжки с картинками.

— Вот приведи в порядок эти тексты, — сказал я ей, — и ты тут же получишь сто франков.

Я принес ей кипу разных книг, чтобы у нее сложилось впечатление, что она в самом деле сделала эту работу, и она получила свои сто франков. Но какой ценой мне это далось! Издатель потребовал, чтобы на книжке с картинками стояло мое имя. И это после того, как я уже дебютировал в качестве драматурга. Литературная проституция! Какие сладостные минуты пережили мои литературные враги, которые поклялись, что я бездарность.

Вслед за этим я заставил ее написать корреспонденцию в утреннюю газету. Она с этим справилась весьма посредственно, однако письмо все же было напечатано, но газета отказалась платить гонорар. Я бегал по городу, чтобы достать луидор, и, не стыдясь святого обмана, вручил ей его «по поручению редакции»!

Бедная Мария, как она радовалась, отдавая эти жалкие заработанные гроши несчастной матери, у которой дела обстояли столь плачевно, что она была вынуждена не только сократить свои расходы, но и сдавать меблированные комнаты.

Старухи начали поглядывать на меня как на спасителя и, вытащив из ящика переводы пьес, уже отвергнутые всеми театрами, стали меня уверять, что я в состоянии изменить решение директоров. Так на меня свалилось столько невыполнимых поручений, что они отнимали все мое время, и мне уже грозила настоящая нищета. Итак, мои денежные дела окончательно запутались из-за потери времени и ежедневной неразумной траты нервов, так что в конце концов мне пришлось отказаться от обеда, и я вернулся к своей старой привычке ложиться спать не поужинав.

Тем временем Мария, ободренная своими материальными успехами, взялась за сочинение пятиактной пьесы. Мне казалось, что я передал ей все семена своих поэтических вдохновений и, пересаженные в эту нетронутую почву, они принялись, проросли, а я стал бесплодным, подобно цветку, который, разбрасывая свои семена, увядает. Я был на пороге смерти, выпотрошен, и мой мозг перестал работать, прилаживаясь к механизму мелкого женского мозга, устроенного совсем иначе, чем у мужчины. Я не могу

в точности сказать, что именно заставило меня переоценить литературные способности этой дамы и направить ее по пути сочинительства, ведь кроме писем, иногда искренних, но часто вполне посредственных, я не читал ни строчки, написанной ее рукой. Она становилась чем-то вроде моей живой поэмы, я израсходовал на нее весь свой талант, а сам остался ни с чем. Ее личность срослась с моей, привилась к ней, как черенок к фруктовому дереву, и стала просто чем-то вроде моего нового органа. Отныне я существовал только через нее, я, так сказать, материнский корень этого растения, влачил свое жалкое подземное существование, питая стебель, поднимавшийся к солнцу, чтобы на нем расцвел прекрасный цветок, который будет меня восхищать своим великолепием, и при этом я забывал, что настанет день, когда черенок этот вдруг отделится от истощенного ствола и начнет кичиться позаимствованной у меня статью.

Как только она закончила первый акт пьесы, я прочел его и нашел превосходным, причем вовсе не в силу своего пристрастия. Я тут же выразил свое восхищение автору и горячо поздравил ее с таким успехом. Она сама была удивлена своим талантом, я ей рисовал блестящие перспективы ее писательской карьеры, но тут вдруг произошло некоторое изменение в наших планах. Мать Марии вспомнила про одну свою подругу, художницу, хозяйку великолепной помещицкой усадьбы, очень богатую женщину. Художница эта дружила, что было в данном случае самым важным, с ведущим актером королевского театра и с его женой, причем оба они были отъявленными врагами и соперниками той знаменитой актрисы, к которой ходила Мария.

По настоянию этой незамужней помещицы, взявшей на себя моральную ответственность за свою подопечную, актерская чета согласилась заняться подготовкой Марии к дебюту. А для начала Марию пригласили погостить две недели в этой усадьбе, где она и встретится с ведущим актером и его женой. И тут выяснилось, что они уже разговаривали с директором, который — о счастье — благоприятно отнесся к дебюту Марии, а дурные слухи, ввергшие нас в отчаяние, распространяла, оказывается, сама мать Марии в надежде отвадить дочь от сцены.

Итак, Мария была спасена. А я снова начал дышать, спать, работать. Она отсутствовала две недели и, судя по ее редким письмам, не скучала. Она подверглась там домашнему экзамену, друзья-артисты прослушали ее и сочли, что у нее есть данные для сцены.

Вернувшись из усадьбы, она сняла в деревне, под Стокгольмом, комнату у крестьянки, которая ее и кормила. Таким образом, она освободилась из под надзора старых дам и могла свободно, без свидетелей и ограничений, встречаться со мной по субботам и воскресеньям. Жизнь нам наконец улыбнулась, хотя раны, нанесенные только что пережитым, еще не затянулись, но на лоне природы меньше чувствуешь давление социальных условностей, и летом, под лучами солнца, мрак в душе быстрее рассеивается.

Наконец в начале осени было объявлено о дебюте Марии. Поскольку ее имя на афише было окружено именами двух самых знаменитых артистов, то все сплетни разом прекратились. Правда, роль знатной дамы в этой затасканной комедии мне решительно не нравилась. Однако новый наставник Марии твердо рассчитывал на то, что она вызовет симпатии публики, когда откажет в руке маркизу, вознамерившемуся украсить ею свой салон, предпочтя этому титулованному прощелыге бедного юношу, но с золотым сердцем.

Как только я был отстранен от должности, так сказать, театрального педагога, у меня сразу образовалось достаточно времени, чтобы заняться наукой, и я стал писать работу для какой-нибудь академии, дабы оправдать надежды, которые коллеги возлагали на меня как на эрудита библиотекаря и ученого. С необычайным рвением я углубился в этнографические исследования Дальнего Востока, и эти занятия были чем-то вроде опиума, успокаивающего мою бедную голову, истерзанную боями, которые мне пришлось вести все последнее время, злонамеренной клеветой и всяческими страданиями. Движимый честолюбивым желанием стать кем-то, чтобы соответствовать любимой женщине, которой, казалось, теперь уж наверняка уготована блестящая карьера, я проявлял чудеса усидчивости, с раннего утра до позднего вечера не выходил из библиотеки и был готов терпеть всяческие лишения, не обращая внимания ни на холодный сырой воздух подвалов Королевского дворца, ни на постоянное недоедание, ни на нехватку денег.

За несколько дней до того, как должен был состояться дебют Марии, умерла ее дочь от энцефалита. Месяц прошел в слезах, в упреках, в угрызениях совести.

— Вот расплата! — объявила бабушка, радуясь, что может вонзить ядовитый кинжал в сердце дочери, которой была не в силах простить, что та запятнала семейную честь.

Мария, не помня себя от горя, проводила дни и ночи у кровати умирающей девочки в доме мужа, с которым была уже в разводе, под надзором своей бывшей свекрови. Бедный отец, потерявший свою единственную радость, был убит горем, и ему захотелось увидеть своего бывшего друга, чтобы воскресить в памяти прошлое со свидетелем тех безмятежных дней. И вот однажды вечером, вскоре после похорон девочки, прислуга сказала мне, когда я пришел домой, что ко мне заходил барон и просил прийти к нему.

Так как я решительно не хотел возобновлять отношения, которые были порваны оскорбительным для меня образом, я написал записку, в которой очень вежливо и деликатно, но при этом весьма решительно отказался от приглашения.

Четверть часа спустя явилась Мария в трауре и, обливаясь слезами, заставила меня выполнить просьбу барона, который был в таком отчаянии.

Считая, что брать на себя эту миссию было с ее стороны безвкусно, я продолжал отказываться, ссылаясь на общественное мнение и на то, что такой визит дает повод к кривотолкам. Она в ответ

стала меня обвинять в том, что я потакаю предрассудкам, и, взывая к моему великодушному сердцу, умоляла меня уступить барону, так что в конце концов мне пришлось сдаться.

Я в свое время поклялся, что никогда больше не переступлю порога старого дома, где развернулась вся наша драма. Но оказалось, что барон переехал на другую квартиру, расположенную по соседству с моей мансардой и в двух шагах от комнаты, которую снимала Мария, так что мне не пришлось поступиться предубеждением, которое у меня было против старого дома супругов, не пришлось сопровождать бывшую жену туда, где она прожила столько лет со своим бывшим мужем.

Траур, горе, строгая мрачная обстановка дома, где умерла девочка, сняли неловкость и фальшь нашей встречи. Давняя привычка видеть Марию и барона вместе убивала ревность, а деликатное и дружеское поведение барона создали спокойную непринужденную атмосферу. Мы вместе поужинали, выпили вина, а потом сели играть в карты, совсем как в доброе старое время.

На следующий день мы снова собрались, на этот раз у меня, а потом у Марии, которая, как я уже сказал, снимала комнату у одной старой девы. Постепенно возобновились прежние привычки, и Мария была счастлива, что мы так хорошо ладим. Ее это успокаивало, а так как все вели себя деликатно, никто никому не наносил душевных ран. Барон относился к нам как к тайно помолвленным, его любовь к Марии, казалось, уже умерла. Иногда он даже делился с нами своими любовными огорчениями: красавица Матильда была заточена в родительском доме и тем самым стала недостижимой для несчастного любовника. Мария даже забавлялась тем, что то дразнила его, то успокаивала. И он уже не пытался скрывать истинный характер своих чувств к Матильде, хотя прежде это отрицал.

Однако постепенно интимность наших отношений стала пугающей, и я начинал испытывать если не ревность, то во всяком случае какое-то отвращение. Однажды Мария предупредила меня, что не придет ко мне, потому что останется обедать у барона, с которым у нее были срочные дела, связанные с вхождением в наследство, оставшееся после смерти девочки, официальным наследником которой был отец. Я выразил свое недовольство по поводу этого бестактного поступка, ибо счел его почти неприличным. Она стала надо мной смеяться, поддевая меня: чего, мол, тогда стоит весь мой бунт против предрассудков, — и повернула дело так, что в конце концов мне ничего не оставалось, как тоже посмеяться. Конечно, это выглядит нелепо, странно, но зато какой «шик» вот так потешаться над общественным мнением, зная, что добродетель торжествует.

С того дня она стала ходить к барону одна, когда ей вздумается, и, как мне кажется, они забавлялись тем, что вместе разучивали ее роль.

До этого времени все обходилось безо всяких конфликтов,

и под влиянием привычки и еще оттого, что ожило старое представление, будто они супруги, ревность моя рассеялась. Но вот однажды вечером Мария пришла ко мне одна. Я помог ей снять пальто, и она, в противовес своей привычке, долго оправляла юбку перед зеркалом, хотя прежде никогда этого не делала. Я хорошо разбираюсь во всех секретах дамской психологии и сразу почувал что-то неладное. Продолжая разговаривать со мной излишне оживленно, она села на диван напротив зеркала и все время исподтишка разглядывала в нем свое отражение, то и дело украдкой поправляя прическу.

Жестокое подозрение словно молния озарило мой мозг, и я не мог справиться с охватившим меня волнением.

— Где ты была?

— У Густава.

— Что ты там делала?

Она вздрогнула, но тут же взяла себя в руки и ответила:

— Читала свою роль.

— Врешь!

Она стала возмущаться моей нелепой ревностью, обрушила на меня гневный поток всяческих обвинений, и я сдался. К тому же она стала меня торопить, потому что мы были приглашены в тот вечер к барону, так что мне тогда так и не удалось ничего выяснить.

Однако теперь, вспоминая этот инцидент, я мог бы поклясться, что мои тогдашние подозрения были справедливыми, что она была повинна в двоемужии, и это еще самое невинное слово. Но она так ловко манипулировала словами, что ей тогда удалось меня загипнотизировать, и я дал себя обмануть.

Что же тогда произошло? Примерно следующее.

Она ужинала вдвоем с бароном. Потом выпила кофе с ликером и почувствовала усталость, как часто бывает после сытной еды. Барон предложил ей прилечь на диван, от чего она, к слову сказать, никогда не отказывается, а все последующее пошло как по писаному. То, что они вдруг снова оказались одни, привычное доверие друг к другу, общие воспоминания помогли бывшим супругам сделать последний шаг, тем более что им не надо было преодолевать чувство стыдливости. Барон после нескольких месяцев холостяцкой жизни быстро воспламенился, и тут все и произошло. Да и почему, собственно, ей было отказываться от наслаждения, которое никому не принесет ущерба, если никто, а особенно тот, кто имеет на нее какие-то права, ничего знать об этом не будет? Она вдруг почувствовала себя абсолютно свободной, особенно потому, что не была материально зависима от своего, так сказать, узаконенного любовника, а обмануть кого-либо женщине вообще ничего не стоит. К тому же, быть может, она еще и сожалела о потере мужчины, который за многолетнюю совместную жизнь вполне прихорючился к ее потребностям. Вероятно также, что, удовлетворив свое любопытство со мной и сравнивая нас с бароном, она стала скучать по нему, потому что в любовном поединке человек застенчивый и деликатный, как бы он ни был страстен, всегда окажется

в проигрыше. И вполне возможно, что она, столько лет делившая с ним супружеское ложе, тысячи раз раздевавшаяся перед этим человеком, которому все, что касается ее ног, тела и прочего, досконально известно, не откажется получить после обеда вдвоем еще и прекрасный десерт. Ведь она и вправду считала себя свободной от всех и всяческих обязательств перед кем бы то ни было, и ее чувствительное женское сердце не могло отказать тому, кто нуждался в ее нежности. И честное слово, на месте барона, если не обманутого, то, во всяком случае, оскорбленного мужа, я бы, черт подери, клянусь в этом всеми древними и новыми богами, не выпустил бы от себя любовницу своего соперника нетронутой, раз уж она оказалась в моей спальне.

И все же я не разрешил себе дать волю таким подозрениям, тем более что обожаемые губы все время произносили разные возвышенные слова типа: Честь, Честность, Нравственность и прочее. И если вы поинтересуетесь почему, то я разъясню вам, что женщина, которую любит человек чести, всегда возьмет над ним верх. Ведь человек этот льстит себя надеждой, что он у нее единственный, ибо мечтает быть единственным, а веришь обычно в то, во что хочешь верить.

Теперь я, правда, вспоминаю фразу, которую мне бросил тогда один человек, живший как раз в доме напротив новой квартиры барона. Сказал он мне эту фразу как бы без всякого повода, просто вдруг почему-то заметил, что иногда двое едят одно яблоко пополам. Тогда я не обратил никакого внимания на это глупое изречение, но почему-то оно мне запало в голову, и вот теперь, через двенадцать лет, я его вспомнил. Почему же, спрашиваю я себя, именно эта фраза запечатлелась в моей памяти, а не миллиарды других, которые я слышал тогда и давным-давно забыл?

Что и говорить, теперь справедливость ее кажется мне просто неправдоподобной, невероятной, невозможной!

Впрочем, когда я оставался с глазу на глаз с бароном, он всегда демонстрировал мне подчеркнутый интерес к продажным женщинам, а однажды, когда мы вместе обедали в ресторане, даже попросил меня дать ему адреса публичных домов. Не сомневаюсь: специально чтобы посмеяться надо мной.

Добавим к этому, что он стал себя вести с Марией по-новому, я бы сказал, с какой-то пренебрежительной игривостью, от которой незаметно стиралась грань между честной женщиной и кокеткой, а со мной в минуты интимной близости Мария становилась все более холодной.

Дебют наконец состоялся. Это был несомненный успех, однако сложился он из целого ряда обстоятельств. Прежде всего, публике интересно было посмотреть на баронессу, попавшую на подмошки. Симпатия, которую буржуа испытывали к Марии, была лишь обратной стороной их неприязни к дворянству, разрушившему брак из-за сословных предубеждений. Холостяки и бесполое девицы, все те, кто боролся с «рабством» брака, осыпали ее цветами. Не говоря уже о друзьях, родственниках и близких знаменитого актера,

который ввел баронессу на сцену, все они чувствовали себя как бы соучастниками этой антрепризы.

После спектакля барон пригласил нас и квартирную хозяйку Марии к себе на ужин.

Мы все были возбуждены успехом Марии, и радость эта нас опьяняла. Мария, которая еще не разгримировалась и сидела с румянами на щеках, подведенными глазами и пышной прической, как у светской дамы, мне решительно не нравилась. Она уже не была той матерью-девственницей, которую я полюбил, а превратилась в хвастливую комедиантку со свободными, даже вульгарными манерами, повторяющую чужие слова и отталкивающую меня оскорбительным самодовольством.

Она, видимо, считала, что уже достигла вершины искусства, и на все мои замечания отвечала сочувственным тоном, пожимая плечами:

— Ты в этом ничего не понимаешь, малыш!

Барон был похож на неудачливого любовника. Он хотел во что бы то ни стало поцеловать ее, и только мое присутствие его остановило. Выпив немислимое количество мадеры, он раскупорил свое сердце, выражая сожаление, что искусство, божественное искусство требует таких жестоких жертв!

Газеты, с которыми велись предварительные переговоры, отметили успех Марии, и теперь можно было надеяться, что она получит ангажемент.

Два фотографа оспаривали честь запечатлеть ее мизансцены, была даже напечатана ее краткая биография и посвященное ей эссе. Когда я смотрел на все эти снимки обожаемой мною женщины, меня удивляло, что ни на одном из них она не была похожа на ту, которую я любил, на мой, так сказать, оригинал. Неужели за такой короткий срок, всего за год, у нее совершенно изменился характер и выражение лица? Или, может быть, она была другой, отражая любовь, нежность, жалость, которые были в моих глазах, когда я смотрел на нее. На фотографиях, как мне казалось, ее лицо было ординарным, грубым, вызывающим, лицо не знающей удержу кокетки с заигрывающей, даже провоцирующей улыбкой. Одна ее поза меня особенно пугала. Она стояла наклонившись, опираясь на спинку довольно низкого кресла, так что грудь ее была почти обнажена и лишь чуть прикрыта веером, который она держала у выреза платья. Ее взгляд тонул в глазах кого-то, но этот кто-то был не я, потому что моя любовь, исполненная уважения и нежности, никогда не окутывала ее тем оскорбительным сладострастием, которым стараются зажечь доступную женщину. Эта фотография напомнила мне те неприличные картинки, которые тайно продают перед кафе, и я не взял ее.

— Ты отказываешься от портрета твоей Марии! — сказала она с тем жалким видом, в котором вдруг проявляется ее душевная слабость, но она в ней никогда всерьез не признается. — Ты меня больше не любишь!

Когда женщина упрекает своего любовника в том, что он ее больше не любит, это значит, что она сама перестала его любить. И в самом деле, с той минуты я заметил, что ее чувства ко мне пошли на спад.

Она ощущала, что ее пустая душа уже набралась от моей мужества и смелости, необходимых для осуществления ее цели, и ей захотелось освободиться от своего опекуна. Однако, внимательно слушая то, что я говорил, она крала потом мои мысли, хотя и делала вид, что презирает их.

— Ты в этом ничего не понимаешь, малыш!

Будучи совершенно невежественной, не получив никакого образования, так как ее воспитывали в деревне, научившись лишь болтать по-французски, не зная ни театра, ни литературы, она всем была обязана мне, ибо я пытался преподавать ей хоть начатки шведского произношения, посвящал ее в тайны просодии и метрики, так вот, невзирая на все это, она меня обзывала лентяем.

Теперь, когда она должна была подготовить свой второй дебют, я выбрал ей значительную мелодраматическую роль, которая была бы гвоздем репертуара. Но она от нее наотрез отказалась. Однако спустя некоторое время она объявила мне, что сама выбрала себе наконец роль, и, конечно, оказалось, что это та самая, которую я ей предлагал. Я сделал для нее полный анализ этой роли, подобрал костюмы, определил наиболее важные места, рассчитал все эффекты.

И тогда между бароном и мной завязалась тайная война. Он, как постоянный руководитель всех гарнизонных церемоний гвардейцев, привыкший обучать солдат чуть ли не актерским приемам, возомнил себя специалистом и в области театра. И Мария, почему-то сверх всякой меры почитающая его сценические благоглупости, возвела его в свои художественные наставники, отстранив тем самым меня. Наш бравый капитан-режиссер разработал, как он считал, некую новую театральную эстетику, выдавая банальность, вульгарность и пошлость за естественность, которую он, видите ли, ценил в искусстве превыше всего.

Разыграть по этой системе современную комедию, где все держится на пустяковых жизненных передерягах, — это еще куда ни шло, но к английской мелодраме, допустим, она абсолютно непригодна, ибо большие страсти не могут быть выражены теми же средствами, что и салонные каламбуры.

Однако посредственный ум не улавливает этой разницы и готов считать универсальным прием, найденный для одного частного случая.

В канун своего второго дебюта Мария оказала мне честь продемонстрировать свои сценические туалеты. Несмотря на мои настойчивые советы и уговоры, она выбрала для своего основного платья пыльно-серый шелк, который напрочь убивал цвет ее лица, и она в нем становилась похожей на эксгумированный труп. Но на все мои доводы она отвечала чисто женским аргументом:

— А вот госпожа Х., наша лучшая трагическая актриса, всегда играла эту роль в сером платье.

— Еще бы! Но ведь она не блондинка, как ты. То, что к лицу брюнеткам, не подходит блондинкам, и наоборот.

Но она не вникала в мои слова и приходила в ярость!

Я предрекал ей, что успеха не будет, и в самом деле, второй дебют Марии закончился полным провалом.

И снова слезы, упреки, оскорбления!

А в довершение беды неделю спустя госпожа Х., знаменитая трагическая актриса, объявила, что снова сыграет эту роль в ознаменование какого-то там своего юбилея, и поклонники встретили ее приветственным транспарантом, корзинами цветов и несметным количеством лавровых венков.

Конечно, в своем провале Мария обвинила меня, поскольку я его предсказал, и еще больше сблизилась с бароном — ведь посредственные натуры всегда испытывают естественную тягу друг к другу.

Меня же, эрудита, драматурга, театрального критика, попробовавшего свои силы во всех литературных жанрах, знакомого, благодаря сокровищам Королевской библиотеки, со всеми значительными литературами мира, меня в расчет не принимали, обращались со мной как с помехой, невеждой, мальчишкой на побегушках, как с приبلудной собакой...

И тем не менее, несмотря на неудачный дебют, ее все же взяли в театр, положив ей жалованье в 2400 франков в год. Она была спасена, хотя надежды на большой артистический успех рухнули. В дирекции сочли, что она может быть полезна труппе только на вторых ролях, в амплуа светских дам, ибо очень хорошо умеет носить платья. Отныне все ее время уходило на переговоры с портнихами, ведь в каждом спектакле, где ее занимали, необходимо было менять по четыре, а то и по пять туалетов, что, к слову сказать, пожирало все заработанные деньги полностью, без остатка.

О, сколь горькое разочарование она пережила! Какие душераздирающие сцены она устраивала мне, когда получала все более тонкие тетрадки с ролями в десять — двадцать реплик. А комната ее тем временем превратилась в подобие портняжной мастерской, где все было завалено вырезанными из старых газет патронками, кусками материи, грудями лоскутов... Вот так и случилось, что она, мать, светская дама, решившая покинуть общество и отказавшаяся от туалетов ради служения божественному искусству, превратилась в портниху, с утра до полуночи корпящую над швейной машинкой, чтобы затем изображать на подмостках светскую даму на потеху толпе обывателей.

Боже, что за бессмысленную жизнь она вела теперь, когда во время репетиций часами болталась за кулисами в ожидании выхода! И поскольку в это время заняться решительно нечем, она пристрастилась к пустопорожней болтовне, к гривуазным сплетням, к пошлым историям, и все порывы к высотам духа постепенно затихают, крылья опускаются, вот они уже волочатся по земле и, того гляди, могут окунуться в сточную канаву.

А падение тем временем продолжается. И вот однажды, когда выясняется, что все ее платья уже по несколько раз перелицованы, а новые шить не на что, ее лишают ролей светских дам и понижают до уровня статистки.

Она все больше вползает в безысходную нищету, ее мать, эта злобная Кассандра, которая предрекла ее паденье, доставляет своей дочери немало горьких минут, а общество, все еще помнящее скандальный бракоразводный процесс, трагическую смерть девочки, начинает поносить греховную жену и бессердечную мать. Директор театра не мог не сделать вывода из неприязни публики к этой актрисе, а знаменитый артист отрекся от нее, заявив, что ошибался, когда признавал в ней талант.

— Столько шума, столько несчастий из-за каприза женщины!.. Оно того не стоит!

А тут еще в самый разгар всех этих неурядиц на ее бедную мать обрушилась тяжелая болезнь сердца, что, по всеобщему мнению, было результатом тех душевных волнений, которые она пережила из-за непутевой дочери.

Что до меня, то я, вконец разъярившись на весь мир, столь жестокий и несправедливый, решил любой ценой вытащить Марию из грязи, это было для меня вопросом чести. Самый краткий путь к известности лежит через литературу. Теперь же, когда и Мария твердо поняла, что без посторонней помощи ей из ямы не выбраться, она приняла протянутую мной руку помощи и согласилась с моим предложением основать еженедельную газетку, посвященную исключительно вопросам театра, музыки, изобразительных искусств и литературы, в которой она могла бы попробовать свои силы как критик или фельетонист и завязала бы отношения с возможными в будущем издателями.

Мария вложила в это дело двести франков, а я взял на себя составление номера, просмотр текстов и верстку. Однако, прекрасно отдавая себе отчет в своей полной неспособности решать организационные и финансовые вопросы, я поручил ей все, связанное с рекламой и распространением нашего издания, рассчитывая также и на помощь приятеля, ведающего постановочной частью театра и к тому же владельца газетного киоска.

Мы очень быстро сверстали наш первый номер, который оказался на удивление удачным. Передовицу написал один молодой художник, затем шли специально присланные нам корреспонденции из Рима и Парижа и статья о музыке известного писателя, сотрудника самой крупной газеты в Стокгольме. Кроме того, там были помещены сделанный мною обзор новых книг да еще фельетон и сообщения о премьерах, которые написала Мария.

Одним словом, все получилось как нельзя лучше, дело было за малым — в назначенный день вовремя передать в продажу весь тираж. Для нас это имело тем большее значение, что мы не располагали ни своим капиталом, ни кредитом.

О, горе мне! Как я мог вверить судьбу своего детища в руки женщины!

В тот день, на который был назначен выход первого номера нашей газеты, о чем мы заранее объявили в печати, Мария преспокойно спала чуть ли не до полудня, как обычно.

Убеденный, что газета своевременно поступила в продажу, я отправился в город, но все знакомые, которых я встречал, спрашивали меня с насмешливой улыбкой:

— Где же можно купить твою знаменитую газетку?

— Да в е з д е , — отвечал я.

— Нигде ее нет!

Я кинулся к ближайшему киоску. Газеты там действительно не было. Тогда я побежал в типографию. Оказалось, за тиражом никто не явился.

Все провалилось! Я сцепился с Марией, и дело дошло чуть ли не до драки, хотя какое ей можно было предъявить обвинение, зная о ее врожденной безответственности и полнейшей неосведомленности во всем, что касается печати. Она же честила на все корки заведующего постановочной частью театра, того самого, кто владел и газетным киоском, пытаясь свалить на него всю вину.

Она потеряла свои последние деньги, а я — репутацию, время и силы, потраченные впустую.

Это было полным крушением, и мозг сверлила только одна мысль:

«Мы пропали, выхода нет!»

Я был так обескуражен плачевным исходом моей последней попытки поставить ее на ноги, что предложил ей вместе умереть. Она тоже была совершенно раздавлена своими несчастиями.

— Давай умрем! — сказал я ей . — Стыдно блуждать такими мертвецами по городу, мы только мешаем жить добрым людям.

Но она ни за что не соглашалась.

— Ты трусишь! Да, трусишь, моя прекрасная Мария! Подло вынуждать меня смотреть, как ты прозябаешь, как все над тобой смеются и презирают тебя.

Я пошел шататься по кабакам. Напился в дым и завалился спать.

Проснувшись, я тут же отправился к Марии и впервые окинул ее пристальным взглядом возбужденного вином человека. Боже, какие ужасные перемены я отметил в ней! Она сидела в неубранной комнате, одетая кое-как, а на обожаемых мною крошечных ножках были ненатянутые перекрученные чулки и стоптанные башмаки.

Увы, это был уже предел падения!

А ее речь, пересыпанная грубыми выражениями, нахватанными, видимо, за кулисами!.. Да и манеры ее изменились, стали какими-то вульгарными, уличными, на лице застыло злобное выражение, а губы, казалось, источали яд. Она низко склонилась над своим шитьем и не смотрела мне больше в глаза, вроде бы полностью отдавшись своим мрачным мыслям.

— Знаешь, А к с е л ь , — произнесла она вдруг хриплым голосом, так и не подняв головы, — что должна требовать женщина от мужчины, оказавшись в таком бедственном положении?

Меня словно громом поразили ее слова.

— Что? — спросил я неуверенно, надеясь, что неверно понял ее вопрос.

— Чего ждет женщина от своего любовника?

— Любви!

— А еще чего?

— Денег!

Моя грубость лишила ее охоты продолжать этот разговор, но я был уверен, что попал в точку, и тут же ушел.

«Шлюха, шлюха, — твердил я себе, без конца кружа по темным осенним улицам, хотя ноги у меня подкашивались. — Только этого еще не хватало! Она, чего доброго, начнет вести счет нашим встречам! Подумать только, безо всякого стыда признаться в своей профессии!»

Она была, правда, в тяжелом положении, но ведь она не нуждалась, так как только что получила наследство от матери, ее мебель и ценные бумаги, правда не очень надежные, но все же стоимостью в несколько тысяч франков. К тому же и жалование в театре ей пока еще продолжали платить.

Это было просто необъяснимо. И тогда образ ее отвратительной квартирной хозяйки, ставшей, представьте, ее лучшей подругой, всплыл у меня в голове. Что это было за мерзкое и подозрительное существо! Сводня и по внешности и по повадкам. На вид — лет тридцати пяти, живущая непонятно на что, всегда в стесненных обстоятельствах, но при этом шаستاющая по городу в роскошных, кричащих туалетах, она проникала в семейные дома, чтобы разжиться там небольшими суммами денег, и докучала всем жалобами на горькую свою судьбину. Короче, темная личность, ненавидящая меня, так как подозревала, что я вижу ее насквозь.

И вот тут в моей памяти всплыл один случай, происшедший несколько месяцев тому назад, на который я в свое время не обратил никакого внимания. Упомянутая особа вынудила подругу Марии, проживающую в Финляндии, обещать ей одолжить тысячу франков. Однако дальше обещания дело не пошло. Тогда Мария по наущению этой дамы и вместе с тем желая спасти доброе имя своей финской подруги, которую та поносила на чем свет стоит, вмешалась в эту историю, и ее демарш увенчался успехом. Однако финская подруга упрекнула Марию за такое посредничество. А во время объяснения хозяйка Марии заявила, что она тут ни при чем, а решительно во всем виновата Мария. Вот именно тогда я и сказал о своей неприязни к этой особе, и у меня возникли на ее счет всяческие подозрения. Короче говоря, я посоветовал Марии порвать с ней отношения, поскольку она разрешает себе поступки, смахивающие на шантаж.

Но Мария отнюдь не вняла моим советам, напротив, она нашла множество причин, извиняющих поступок своей коварной подруги, и вскоре как бы переосмыслила всю эту историю, уверяя, что она произошла исключительно в силу недоразумения. А еще некоторое время спустя весь этот инцидент превратился в плод моей «гнусной фантазии».

Я вполне допускаю мысль, что эта авантюристка и внушила Марии подлую мысль «представить счет за свою любовь». Это кажется мне правдоподобным еще и потому, что она с большим трудом произнесла эту фразу, которая была совсем не в ее стиле. Во всяком случае, я хотел так думать, я на это надеялся. Вот если бы она потребовала, чтобы я вернул ей те деньги, которые она вложила в издание театральной газеты и которые по ее вине пропали, то это еще куда ни шло, это укладывалось бы в женскую арифметику. Или если бы настаивала, чтобы мы вступили в брак, но она и слушать не хотела о браке. Итак, сомнений не было, она имела в виду именно любовь, то волнение, которое ее охватывало благодаря моим усилиям и бессчетным поцелуям. Одним словом, предъявила счет, как в ресторане. Что ж, если так, то и мне оставалось тоже только предъявить ей свой счет... за потраченные нервы, мозг, кровь, за урон, нанесенный моему имени, моей чести, быть может, моей карьере, за все мои страдания!

Нет, сводить счета — это было занятие для нее, это ей первой пришла такая мысль, а я не желал отвечать ей тем же. Вечер я провел в кафе, а потом долго ходил по улице, размышляя о том, как происходит падение. Почему мы испытываем такое страшное горе, когда на наших глазах человек катится вниз? Не есть ли в этом что-то противоестественное, потому что природа, наоборот, требует поступательного движения, развития, а ход назад является лишь напрасной тратой сил. То же самое можно сказать и про общественную жизнь, поскольку каждый человек стремится достичь материальных и духовных высот. Вот почему всякое падение оставляет ощущение трагедии, как трагична осень, болезнь, смерть. Эта женщина, которой еще не было и тридцати, которая, когда я ее впервые увидел, была совсем молодой, красивой, естественной, благородной, сильной, привлекательной, хорошо воспитанной, опустилась у меня на глазах, причем так быстро и до такого уровня. И все это произошло за какие-то два года!

Я был готов взвалить всю вину за это на себя, только бы снять вину с нее, что было бы для меня большим облегчением. Но нет, я не мог превратиться в козла отпущения! Ведь не кто иной, как я внушал ей благоговейное отношение к красоте и ко всему возвышенному, и по мере того, как она все больше перенимала пошлые манеры комедианток, мое поведение становилось все более изысканным, я все больше приобретал светский лоск, копируя жесты и язык, принятые в высшем обществе, и принуждал себя к той сдержанности, которая позволяет скрывать эмоции и является основной чертой воспитанных людей. В любовных отношениях я также сохранял внешнюю сдержанность, никогда не оскорблял чувство стыдливости, преклонялся перед красотой, считался с приличиями — иными словами, делал все, чтобы забылись животные импульсы отношений, которые для меня больше связаны с душой, нежели с телом.

Я могу в какой-то момент быть чересчур горячим, быть может, даже грубым, но никогда не буду вульгарным, могу убить, но не

оскорбить, могу назвать вещи своими именами, но никогда не разрешу себе пошлого намека, я сам придумываю свои шутки, которые рождаются вдруг, по воле случая, но никогда не цитирую оперетту или юмористические журналы.

В жизни я люблю чистоту, ясность и красоту, я никогда не пойду на званный обед, если у меня нет свежей рубашки. Никогда не позволю себе показаться перед любовницей полуодетым и в домашних туфлях, я могу ей подать жалкий бутерброд и стакан пива, но обязательно на белоснежной скатерти.

Значит, не мой пример заставил ее опуститься. Мария меня больше не любит, вот почему она не стремится мне нравиться. Теперь она принадлежит публике, она красится и одевается для публики, она стала публичной женщиной, которая в конце концов докатилась до того, что представила мне счет за столько-то и столько-то встреч...

Все последующие дни я не вылезал из библиотеки. Я ходил в трауре по моей любви, по моей великолепной, безумной, божественной любви! Я похоронил все, и поле боя, где велись эти любовные сражения, было безмолвным. Двое убитых и сколько-то там раненых, чтобы удовлетворить инстинкт воспроизводства у женщины, не стоящей даже пары стоптанных туфель. Если бы ее поступки имели своим оправданием тягу к деторождению, если бы ею двигало то неосознанное чувство, которое владеет теми девицами, что стремятся стать матерями и отдаются ради этого, то ее можно было бы еще понять. Но она ненавидела детей и считала, что беременность унижает женщину. Одним словом, это порочная натура, которая подменяла материнское чувство простым удовольствием. Такие, как она, обрекают свой род на вырождение, потому что она ощущала себя деградирующей особой, но скрывала все это за фразами о жизни для высших целей, ради человечества.

Я ее ненавидел и хотел забыть! Я прохаживался между шкафами с книгами, но этот проклятый кошмар продолжал меня преследовать. Я больше не желал ее близости, ибо она вызывала у меня отвращение, однако глубокая жалость и чуть ли не отцовская нежность заставляли меня чувствовать ответственность за ее будущее. Если я откажусь от нее, она плохо кончит, станет любовницей барона или вообще кинется во все тяжкие.

Итак, я не мог выйти из игры, но я оказался также не способен помочь ей снова стать на ноги, поэтому мне ничего не оставалось, как, стоя рядом, глядеть на ее гибель и погибать самому, поскольку у меня пропала всякая охота жить и работать. Во мне были убиты и инстинкт сохранения жизни, и надежда на что-либо, так что я уже ничего не хотел, стал нелюдим и не раз, дойдя до дверей ресторана, поворачивал назад, так и не поев, и возвращался домой, чтобы броситься ничком на диван и накрыться с головой одеялом. Я лежал, как смертельно раненный зверь, недвижимый, опустошенный, я не спал, но и не думал ни о чем, словно в ожидании болезни или конца.

И вот однажды, когда я все-таки оказался в ресторане, правда в задней комнате, где обычно прячутся от посторонних глаз влюбленные или плохо одетые посетители, боящиеся освещенного зала, я вдруг очнулся от оцепенения, услышав обращенный ко мне хорошо знакомый голос.

Подняв глаза, я увидел своего приятеля по богоемному кружку, к которому я когда-то тоже принадлежал. Теперь этих людей разметало по всему свету, а передо мной стоял неудавшийся архитектор.

— Ты еще жив? — сказал он вместо приветствия и уселся напротив меня.

— Кое-как. А ты?

— Неплохо. Уезжаю в Париж. Там помер один старый кретин и отказал мне десять тысяч франков.

— Вот повезло!

— Но, к несчастью, мне придется проматывать это наследство одному.

— Ну, это еще не такое страшное несчастье, поскольку я лично обладаю редким даром транжирить любые шальные деньги.

— В самом деле? И у тебя найдется время поехать со мной?

— Наверняка!

— Значит, договорились?

— Договорились.

— Завтра, в шесть часов вечера, мы укатим в Париж!

— А потом?

— А потом пулю в лоб.

— Черт возьми, как ты украл у меня эту мысль?

— Да она написана на твоей физиономии, ты сидел здесь с видом самоубийцы.

— Ну и тип же ты! Ладно, я пошел складывать чемодан. Завтра едем в Париж!

Вечером, придя к Марии, я рассказал ей о своем счастье. Она обрадовалась за меня и поздравила, уверяя, что эта поездка меня развеет. Одним словом, она была очень довольна и окружила меня материнской заботой, что тронуло меня до глубины души. Мы провели вечер вдвоем, вспоминали прошлое, а о будущем говорили мало, потому что в него больше не верили, и расставались, как нам казалось, навсегда! Правда, об этом, по молчаливому уговору, речи не было, мы предоставили будущему решать наши судьбы.

И в самом деле, путешествие меня как-то омолодило, и снова, переживая воспоминания ушедших лет, ранней юности, я преисполнился дикой радостью от того, что забыл последние два несчастливых года, и ни на один миг у меня не возникло желания говорить о Марии. Драма ее развода образно представлялась мне теперь в виде кучи дерьма, на которое можно только плюнуть и бежать

без оглядки, чтобы его не видеть. Иногда я тихонько посмеивался про себя, как заключенный, удравший из тюрьмы и твердо решивший, что уж во второй раз его поймать не удастся, и я испытывал все чувства, которые переживает обанкротившийся должник, сбежав в чужую страну.

В Париже в течение двух недель я бегал по театрам, музеям и библиотекам, и, поскольку не получил ни одного письма от Марии, решил, что она утешилась, и счел, что все к лучшему в этом лучшем из миров.

Но со временем я начал уставать от этой безумной беготни, от бесконечных новых и сильных впечатлений, все потеряло для меня интерес, я не выходил из своей комнаты, читал газеты, все больше вползая в какое-то необъяснимое болезненное состояние.

И вот тогда меня стало посещать виденье бледной молодой женщины, призрак матери-девственницы, и я утратил покой. Развязная комедиантка исчезла из моих воспоминаний, в них теперь жила баронесса, помолодевшая, похорошевшая, сменив свое грешное тело на то прославленное в веках, которому истово поклонялись пустынноики земли обетованной.

Пока я предавался этим мучительным и прелестным грезам, пришло письмо от Марии, в котором она в душераздирающих выражениях сообщала мне, что беременна и что только брак может спасти ее честь.

Ни секунды не колеблясь, я сложил свои вещи и с первым же поездом отправился в Стокгольм, чтобы на ней жениться.

Ни на миг у меня не возникали сомнения насчет моего отцовства, и поскольку я грешил с ней в течение полутора лет, то принял последствия как счастье, как конец всяких неожиданностей, как некую реальность, которая накладывает на меня большую ответственность и не только фатальным образом определяет мою жизнь, но и является отправной точкой для чего-то нового, неизвестного. Впрочем, брак с юных лет казался мне чем-то очень привлекательным и представлял для меня единственно возможную форму сосуществования разнополых особей, так что жизнь вдвоем меня нисколько не пугала. Теперь же, когда Мария ожидала ребенка, моя любовь обрела новые крылья, стала благородней и как бы очистилась от грязи, неизбежной в отношениях любовников.

Когда я вернулся, Мария встретила меня сурово и ругала за то, что я ее сознательно обманывал. Вынужденный вступить в это неприятное объяснение, я кое-как растолковал ей, что страдаю сужением мочевого канала, а это значительно уменьшает вероятность оплодотворения, но не исключает его. Ведь столько раз за прошедший год мы переживали по этому поводу минуты страха, правда, всякий раз ложного, так что нечего было удивляться тому, что случилось. Брак она ненавидела, и окружавшая ее дурная компания внушила ей, что замужняя женщина — это рабыня, бесплатно работающая на своего мужа. И так как я терпеть не могу

рабства, я предложил ей современный брак, вполне отвечающий и моим вкусам.

Прежде всего, мы должны найти себе квартиру из трех комнат, где одна комната была бы для нее, другая — для меня и третья — общая. Потом мы решили, что у нас не будет никакого хозяйства и никакой живущей в доме прислуги. Обеды нам будут приносить из ресторана, а завтраки и ужины приготовит на кухне приходящая на несколько часов служанка. Мы легко сможем подсчитывать расходы и избежим главного повода для скандалов.

Чтобы меня не обвинили в том, что я проматываю состояние своей жены, которое, к слову сказать, существовало лишь в ее воображении, я предложил составить брачный контракт по тотальной системе. В северных странах почему-то считали приданое жены оскорблением для мужа, но в более цивилизованных странах оно, являясь вкладом жены в общее состояние семьи, дает ей иллюзию относительной материальной независимости. А вот немцы и датчане пошли еще дальше, введя обычай, по которому невеста обставляет свой будущий дом, чтобы у мужа сохранялось ощущение, что он живет у своей жены, а у нее было бы чувство, что она у себя дома и содержит мужа.

Мария, только недавно вступившая в права наследства, владела теперь обстановкой, не имеющей большой ценности в денежном выражении, но дорогой ей как память, к тому же все предметы были весьма старинными. Этой мебелью ее покойная мать в свое время обставляла шесть комнат. Так неужели нужно было приобретать новую, чтобы обставить всего три? Итак, Мария предложила использовать их старую мебель, на что я с удовольствием согласился.

Остался еще один пункт, самый важный: ожидаемый ребенок. К счастью, необходимость скрыть роды позволила нам и здесь прийти к единому мнению: мы отдадим новорожденного кормилице, у которой он и будет находиться, пока не наступит благоприятный момент его усыновить.

Свадьба была назначена на конец декабря, и за оставшиеся два месяца я должен был заработать достаточно для нашего безбедного существования.

С этой целью я снова берусь за перо, подталкиваемый еще и тем обстоятельством, что вскоре Мария будет вынуждена покинуть театр, и месяц спустя я передаю издателю том рассказов, который был весьма благосклонно принят.

К тому же мне повезло, я получил повышение в библиотеке и занял должность помощника библиотекаря с твердым жалованьем в 12 тысяч франков в год, а по случаю переноса части коллекции редких книг в новое здание мне выплатили дополнительное вознаграждение в 600 франков. Это было воистину счастьем, а за ним последовали и другие удачи, заставившие меня поверить, что жестокая судьба отступилась наконец от меня.

Самый влиятельный финский журнал заказал мне серию литературных обзоров по 50 франков каждый, а официальная шведская

газета, издаваемая самой академией, оказала мне честь, предложив заняться художественной критикой, оплачиваемой там, к слову сказать, по 35 франков за колонку. Кроме того, мне поручили держать корректуру издаваемых классических авторов.

Все это мне прямо свалилось с неба в течение этих двух месяцев, имевших решающее значение для моей жизни.

Уже перед самой свадьбой вышли из печати мои рассказы и имели большой успех. Отныне меня стали величать не иначе, как «молодым мастером рассказа», а книгу единодушно отнесли к числу тех, которые не будут забыты, потому что она первая ввела современный реалистический стиль в шведскую литературу.

Как я был счастлив, что могу выдать мою бедную обожаемую Марию замуж за известного человека, который к званиям королевского секретаря и помощника библиотекаря добавляет свое имя, еще только восходящее над шведским горизонтом, но уже обещающее славное будущее, за человека, который вскоре сумеет снова проложить ей путь на сцену, где пока что все складывалось для нее, возможно, что и незаслуженно, так неудачно.

Судьба, казалось, улыбается нам, правда, сквозь слезы. Оповещение о нашей свадьбе уже опубликовано, я складываю чемоданы, прощаюсь с мансардой, свидетельницей моих бед и радостей, я готов заточить себя в тюрьму, которой никто не боится, а мы с Марией — меньше всего, потому что, казалось, предвидели все трудности и устранили все камни преткновения с нашего пути.

И тем не менее...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

О, какое несказанное счастье быть женатым! Ты надежно сокрыт от глаз идиотского мира и всегда находишься наедине с любимой! Снова обретаешь домашний очаг, чувство безопасности, покой после всех гроз, свиваешь гнездо, чтобы высидеть птенцов.

Окруженный вещами, принадлежащими ее семье, всем тем, что удалось спасти после крушения родительского дома, я чувствовал себя черенком, привитым к ее стволу, а висевшие у нас на стенах писанные маслом портреты ее предков рождали во мне ощущение, что и я усыновлен ими, тем более что они ведь являются и предками моих детей. Она ничего не жалела для меня, я носил запонки и перстень, которые прежде носил ее отец, она подавала мне еду на фарфоровой посуде, принадлежавшей ее матери, дарила безделушки, множество всяких мелких вещей, несущих в себе память о прошлом, подчас связанных со знаменитыми воинами, воспетыми крупнейшими поэтами нашей родины, и все это не могло не произвести сильного впечатления на простолюдина вроде меня. Она, благодетельница, щедро одаривала меня, а я был ослеплен и совсем забывал, что это я восстановил ее репутацию, поднял из грязи, сделал своей женой, женой человека с будущим, а ведь без меня она так и осталась бы всего лишь провалившейся актрисой и осужденной всеми беспутной женой. И кто знает, не спас ли я ее и от полного падения.

Какой у нас прекрасный брак! Мы осуществили все наши мечты о свободной супружеской жизни. У нас нет общей постели, нет спальни, нет совместной туалетной комнаты, так что вся грязь святого законного союза убрана. Какое хорошее установление брак, но, конечно, только в том виде, в каком мы его организовали, со всеми нашими поправками. Отказавшись от общей постели, мы сохранили прекрасную возможность пожелать друг другу спокойной ночи, которая всегда остается за нами, и каждый раз обновленную радость говорить друг другу доброе утро, осведомившись о сне и здоровье. И как хороши скромные, деликатные визиты в комнаты друг друга, которым всегда предшествует изыщное ухаживание вместо более или менее добровольных изнасилований в супружеской постели.

Сколько работы переделали мы, сидя дома, она — склонившись над распашонками, которые шила для будущего младенца, а я — за

письменным столом, и все это вместо бессмысленной траты времени на свидания и вынужденное безделье, как прежде.

Месяц мы провели вдвоем, никого не видя, а потом наступили роды, преждевременные, и Мария разрешилась девочкой, такой маленькой и слабенькой, что она едва дышала. Девочку тут же отправили на попечение акушерки, жившей по соседству и пользовавшейся безупречной репутацией, но малютка прожила всего лишь два дня и ушла, как и пришла, без страдания, потому что у нее не было никаких сил сопротивляться.

Мать узнала об этом со смешанным чувством угрызений совести и облегчения, потому что разом освободилась от таких хлопот и неприятностей, которые даже трудно себе вообразить, поскольку социальные предрассудки не позволяли ей воспитывать ребенка, зачатого до брака.

Однако после всего пережитого у нас возникло совместное решение не заводить детей. Мы будем жить вдвоем, как товарищи, как мужчина и женщина, не лишая себя любовных радостей, каждый из нас будет отвечать за себя, каждый будет прокладывать себе свою дорогу к намеченной им цели. Так как она больше не верила, что не забеременеет от меня, мы прибегали к самым простым мерам предосторожности, однако все это носило вполне невинный характер.

Приняв это решение и избежав таким образом непосредственной опасности, мы с облегчением вздохнули и смогли немножко оглядеться. Поскольку моя семья меня изгнала, я не ввел ненужных родственников в наш дом. У моей жены в городе тоже не было родственников, кроме одной тетки, и таким образом я был избавлен от семейных визитов, обычно таких тягостных для молодоженов.

Однако, спустя некоторое время, примерно месяца через полтора, я обнаружил, что двое пришельцев все-таки притаились за юбкой моей жены.

Прежде всего ее пес Кинг Чарльз, чудовище со слезливыми глазами, который всегда встречал меня диким лаем, точно чужого. Я ненавижу собак, этих «alter ego» трусливых людей, у которых не хватает смелости самим кусаться, а данная собака была мне особенно неприятна тем, что перешла к нам из прежнего дома Марии и служила постоянным напоминанием об изгнанном ею муже.

Когда я в первый раз прикрикнул на это омерзительно животное, чтобы заставить его замолчать, жена робко упрекнула меня, объяснив свое пристрастие к собаке тем, что это единственное напоминание об умершей дочери, и сказала, что никогда не предполагала во мне такой жестокости и т. д. и т. п.

Как-то раз я обнаружил, что эта мерзкая тварь запачкала большой ковер в гостиной. Я ее, естественно, наказал, за что был обозван палачом, истязующим неразумных животных.

— Что поделаешь, дорогая, но они не понимают человеческого языка.

Тут она разрыдалась, бормоча сквозь слезы, что боится такого жестокого человека, как я.

А чудовище тем временем методично продолжало испражняться на дорожку ковер. Тогда я решил всерьез заняться его воспитанием, заверив жену, что собаки вообще-то бывают очень послушными, и если проявить настойчивость, то можно добиться чудесных результатов.

Но она впала в настоящий раж и впервые заявила, что ковер этот принадлежит ей.

— Тогда уберите его, потому что я не брал на себя обязательства жить в сортире.

Ковер остался лежать, правда, за собакой стали лучше следить, да и она сама после моих суровых уроков старалась вести себя приличней.

А тем временем произошла новая история.

Чтобы избежать лишних трат, а главное, возни с разведением огня, мы отказались от горячей пищи по вечерам. И вот, представьте, захожу я однажды в конце дня на кухню и, к немалому своему изумлению, вижу, что топится плита и прислуга жарит телячьи отбивные.

— Для кого это? — спрашиваю.

— Для собаки.

Тут появляется моя жена.

— Дорогая...

— Имей в виду, что на ее питание я трачу свои деньги!..

— Прекрасно! Но я-то вынужден довольствоваться на ужин холодным мясом... Ты кормишь меня хуже собаки... И это уже за мой счет...

Ну, что тут скажешь? Она, видите ли, тратит свои деньги!..

Однако с этого дня пес стал в нашем доме чем-то вроде идола, которому поклонялись, повязав ему синюю ленту вокруг шеи, и Мария начала заператься в своей комнате с подругой, обратив внимание, с новой подругой, где они предавались культу этого чудовища и лили слезы, проклиная воплощенное во мне мужское жестокосердие.

И я смертельно возненавидел эту тварь, которая стала яблоком раздора в нашем браке и, как на грех, все время попадалась мне под ноги. Жена соорудила для нее этакое гнездышко из подушек и шалей возле своей кровати, так что к ней не подойдешь, ни чтобы пожелать доброго утра, ни чтобы нанести ночной визит. А когда после недели тяжелого труда наступал наконец долгожданный субботний вечер, который я мечтал провести у камина наедине со своей женой, попивая вино и разговаривая о прошлом и будущем, она торчала битых три часа на кухне со своей подругой и служанкой, они топили плиту и переворачивали все вверх дном для того, чтобы искупать ненавистное мне чудовище.

— Неужели она просто злая? — спрашивал я себя, не понимая, как можно со мной так обращаться.

— Да какая же она злая, у нее такое чувствительное сердце, ведь она жертвует супружеским счастьем ради бедной заброшенной собачки! — восклицала ее подруга.

Уже давно еда, которую нам приносили из ресторана, казалась мне из рук вон плохой, но моя дорогая супруга с помощью своей неотразимой улыбки смогла меня убедить, что я стал капризным. И я ей поверил, потому что у нее, как она не уставала повторять, душа прямая и искренняя.

И вот настал день рокового обеда. На блюде лежали одни только кости и сухожилия.

— Что ты нам подаешь, дитя мое? — спросил я у прислуги.

— Жаркое было вполне приличным, но хозяйка приказала отложить все хорошие куски для собаки...

Женщина, захваченная врасплох, пойманная за руку, всегда опасна, потому что ее вина, во много раз утяжеленная, ударит по тебе.

Она была раздавлена, уличена во лжи и даже мошенничестве, так как уверяла, что содержала собаку за свой счет. Смертельно поблуднев, она не вымолвила ни слова, и я исполнился к ней жалости. Мне стало стыдно за Марию, и так как я никак не хотел поставить ее в затруднительное положение или унижить, то, как великодушный победитель, решил ее утешить и, дружески погладив по щеке, попросил не сердиться из-за такого пустяка.

Зато ее в великодушии упрекнуть было трудно, и она тут же устроила мне сцену, орала что-то про мое низкое происхождение и дурное воспитание, неистовствовала, что я посмел позорить ее перед служанкой, перед этой дурой, которая не поняла полученного распоряжения. Одним словом, виноватым оказался я! С ней случился настоящий нервный припадок, она выскочила из-за стола, бросилась на диван и стала истошно кричать, рыдать, грозить, что сейчас умрет.

Я снова ей не поверил и сохранил полное хладнокровие, только позволил себе заметить:

— И весь этот ад из-за собаки!

Она тем временем продолжала вопить как резаная, страшный кашель стал сотрясать ее худенькое тело, еще не оправившееся от родов, я испугался, послал за врачом и оказался еще раз в дураках.

Пришел врач, послушал ее, пощупал пульс и ушел в крайнем раздражении. Я остановил его уже у двери и спросил:

— Так что же с ней?

— Да ничего, — буркнул он, надевая пальто.

— Ничего?

— Абсолютно ничего! Видите ли, сударь, женщины... до свидания.

Знай я тогда то, что знаю теперь, открыв секрет, как можно мгновенно вылечить от истерии!.. Но, увы, тогда я еще ничего не знал, поэтому я целовал ей глаза и просил простить меня. Интересно, за что?

Она прижимала меня к груди, называла «своим милым, послушным мальчуганом», но при этом твердила, что ее надо беречь, потому что она такая слабая и хрупкая и может со дня на день умереть,

если ее милый мальчуган еще раз повторит такую ужасную сцену, которую он только что устроил. Чтобы ее совсем осчастливить, я взял на руки чудовище и стал ему чесать спину, за что она в течение получаса дарила мне свои самые нежные взгляды. С этого дня собака стала гадить везде без всякого стеснения, словно творя какой-то акт мести. А я делал нечеловеческие усилия, чтобы сдерживать свой гнев в ожидании какого-нибудь счастливого случая, который освободил бы меня от пытки жить в дерьме.

И вот наступила эта долгожданная минута. Вернувшись как-то домой к обеду, я увидел, что жена рыдает, дома траур, стол не накрыт, а служанки нет — она ищет пропавшую собаку.

Я скрыл свою тайную радость, потому что искренне жалел жену, которая была просто в отчаянии. Но она оказалась не в состоянии понять такую простую вещь: я разделяю ее горе, несмотря на мою радость по случаю пропажи своего врага. Она угадала мои тайные чувства и тут же вскипела:

— Ты радуешься, не правда ли? Ты наслаждаешься несчастьем своего ближнего, значит, ты злой. И ты меня больше не любишь.

— Я люблю тебя, дорогая, но ненавижу твою собаку.

— Если бы ты меня любил, то любил бы и мою собаку.

— Я люблю тебя, не то я избил бы тебя!

Действие этого слова было ужасно. Бить женщину! Подумать только, бить! Она совсем потеряла голову и стала уверять, что это я нарочно выпустил собаку из дома, более того, что я ее отравил.

Мы объездили в карете все полицейские участки, побывали даже на живодерне, в конце концов собака нашлась, и это радостное событие торжественно отпраздновали у нас в доме, а я в глазах этой самой подруги был теперь уже не кто иной, как отравитель, во всяком случае потенциальный, этого дорогого создания.

С того дня собака была заперта в комнате моей жены, и это гнездышко любви, которое я обставил с артистическим вкусом, было превращено в псарню. Квартира, и так слишком маленькая, стала таким образом еще более тесной, да и весь ансамбль был испорчен. Но на все мои замечания она отвечала, что это ее комната.

Тогда я замыслил против нее настоящий крестовый поход. Я перестал ее посещать по ночам и так долго выдерживал характер, что в ней заиграла кровь, ее трясло как в лихорадке, и в конце концов она не выдержала и первой сделала мне авансы.

— Ты никогда не приходишь пожелать мне доброго утра.

— До тех пор, пока твоя дверь будет заперта, я не войду к тебе.

Она дуется, я Дуюсь и терплю всю горечь холостяцкой жизни в течение двух недель, вынудив ее в конце концов самой прийти ко мне в комнату и молить о любви, в результате чего в ней снова разгорелась ко мне ненависть.

Наконец она уже была готова сдаться и убить собаку. Но вместо того, чтобы тут же осуществить свое намерение, она вызвала подругу, разыграла сцену прощания, так сказать, последние минуты приговоренного перед казнью, и в решающий момент бросилась

на колени и стала меня молить поцеловать эту гнусную тварь в знак нашего примирения, поскольку у собак тоже есть душа и неизвестно, не суждено ли нам встретиться на том свете.

Все это привело к тому, что я подарил жизнь приговоренному, и Мария просто не знала, как мне выразить свою безумную благодарность.

Порой мне казалось, что я живу в сумасшедшем доме, но когда любишь, то на многое смотришь сквозь пальцы, и тем хуже для тебя! Подумать только, что сцена с последними минутами приговоренной собаки повторялась два раза в год, не меньше, а вся эта пытка длилась целых шесть лет!

О, юный друг мой, читатель этой исповеди, если ты испытал отвращение, дойдя до сцены с собакой, то заодно испытай и сострадание ко мне, ибо, перемножив 365 дней на 24 часа, а затем на 6 лет, ты не сможешь не восхититься мной, раз я еще не погиб.

И даже если допустить, что я безумен, как утверждает моя жена, то кто в этом виноват, я вас спрашиваю, кто, кроме меня, раз я не отравил эту злосчастную собаку!

А теперь вернемся к ее подруге. Это старая дева, лет пятидесяти, а может и больше, существо таинственное, бедное, исполненное идеалов, которые я давно перерос.

Она утешает мою жену, которая плачет у нее на груди, когда я отказываюсь держать дома собаку, и выслушивает все проклятия, которые жена посылает по адресу брака, рабства и всяческой эксплуатации женщин.

Держится она довольно скромно и не вмешивается, во всяком случае насколько я знаю, в наши дела, впрочем, ручаться не могу, потому что занят весь день работой. Однако я догадываюсь, что она берет займы деньги у жены, что, впрочем, не может вызвать у меня возражений, но в одно прекрасное утро подруга уносит несколько наших серебряных блюд и закладывает их, чтобы раздобыть себе денег.

Тогда я позволил себе в весьма уважительном тоне сказать жене, что, оставив в стороне условия нашего брачного контракта, я все же считаю, что она неправильно понимает чувство товарищества. Я, ее муж, соучастник, так сказать, ее жизни, испытываю сейчас большие затруднения из-за долгов, и мне кажется, что я имею больше оснований рассчитывать на ее сочувствие, чем подруга. И поскольку каждый волен обратиться к другому с подобного рода просьбой, я прошу одолжить мне ее ценные бумаги, чтобы я мог их заложить.

Она ответила, что в настоящее время они из-за девальвации ничего не стоят и продать их нельзя, да к тому же ей не по душе вступать с мужем в коммерческие отношения.

— Зато тебе по душе вступать в такого рода отношения с чужой женщиной, не имеющей даже поручительства и живущей на пенсию в семьдесят пять франков в год.

Как странно, что она отказала мужу, который стремится обеспечить свое будущее и тем самым создать ей прочное положение к тому времени, когда ее выгонят из театра, и все интересы которого неизбежно связаны с ее интересом.

В конце концов она все-таки уступила и дала мне займы свои весьма сомнительные ценные бумаги на сумму в 3500 франков.

С этой минуты она вообразила себя моей благодетельницей и вскоре объявила всем своим многочисленным подругам, что это она обеспечила мою карьеру, пожертвовав ради нее своим приданым. Словно я не имел случая доказать свой талант драматурга и новеллиста еще задолго до того, как я с ней познакомился. Но мне было приятно оказаться ниже нее, быть ей обязанным решительно всем, и моей жизнью, и моим счастьем, и моим будущим.

Я настоял на том, чтобы наш брачный контракт был составлен с раздельным владением имуществом главным образом из-за того, что у нее были очень запутанные денежные расчеты с бароном, который был ей много должен и, вместо того чтобы рассчитаться с ней наличными деньгами, дал поручительство за выданный ей заем. Таким образом, на следующий же день после нашего бракосочетания, несмотря на все принятые мною меры предосторожности, меня вызвали в национальный банк, чтобы я подписал поручительство за мою жену.

Я пытался протестовать, но тщетно. Банк счел мою жену неплатежеспособной из-за того, что она, снова вступив в брак, перестала быть юридическим лицом, и, несмотря на мое страшное возмущение, я был вынужден подписать предложенный мне документ и поставить свое имя рядом с именем барона. Если бы я тогда знал, что делаю! Но я, этакий идиот, был уверен, что справедливо все то, что люди света считают приличным.

Барон пришел с визитом к новобрачным в тот вечер, когда у меня в комнате сидел один мой приятель. Присутствие в доме моего предшественника мне показалось проявлением дурного вкуса, но поскольку его самого не смущала встреча с его преемником, я виду не подал, что считаю его визит неуместным. Однако, провожая моего друга в передней, я не счел нужным представить его барону. За это я получил нагоняй от своей жены, которая обвинила меня в грубости. Я ей ответил, что она зато совершенно лишена такта.

Разыгралась настоящая ссора, во время которой меня убедили, что я очень дурно воспитан. Так слово за слово, поскольку представился подходящий случай, мы коснулись другого большого вопроса. Я высказал наконец свое неудовольствие по поводу того, что у нас на стенах висят картины из дома барона.

— Нельзя возвращать подарки, это оскорбляет друга, который их преподнес, — ответила она м н е , — да к тому же он ведь хранит те вещи, которые ты ему дарил в знак дружбы и доверия.

Красивое слово «доверие» меня оглушило. Но тут я понял, что есть еще один предмет, который мне колет глаза и пробуждает неприятные воспоминания.

— Откуда ты взяла это бюро?

— От моей матери.

Это было правдой, но она скрыла, что бюро стояло в квартире ее первого мужа.

Какое отсутствие деликатности, какая пропасть дурного вкуса, какое безразличие к моей чести! Уж не специально ли она все так устроила, чтобы выставить меня в дурном свете в глазах общества? Уж не попал ли я в западню к настоящей мегере?

Я не умел защищаться от ее дьявольской логики и всецело доверился ей, надеясь, что ее изысканное воспитание поможет нам обойти все рифы в тех сложных обстоятельствах, в которых мое образование не могло мне подсказать правильного поведения. У нее и в самом деле был готов ответ на все случаи жизни. Барон, уверяла она, никогда ничего не покупал для дома. Все там принадлежало ей, решительно все. И поскольку барон в свое время жил в квартире, где стояла мебель *моей* жены, я вполне могу, не испытывая при этом никаких сомнений и неловкости, сохранить в своем доме те вещи, которые принадлежат *моей* собственной жене.

Эта ее фраза, что барон пользовался вещами *моей* жены, доставила мне большое удовлетворение, и когда картины, которые висели на стенах моей гостиной, стали доказательством идеального характера наших отношений, выражением высокого доверия, я их уже не посмел тронуть и — о святая наивность! — считал себя обязанным сообщать всем посетителям имя автора этих пейзажей.

Если бы я знал тогда, что именно я, простолюдин, был носителем врожденного такта и инстинктивного хорошего вкуса, с которыми нередко сталкиваешься и в низших классах и которые часто отсутствуют у светских людей, хотя они и умеют покрыть лаком грубость своей души!

Если бы я знал тогда, какого рода женщине я вверил свою судьбу, но я же этого не знал!

Оправившись после родов, Мария выразила желание немножко рассеяться, поскольку она устала от домашнего заточения. И она стала ходить в театры, чтобы, как она говорила, учиться, и посещать всевозможные праздники, в то время как я сидел дома и работал. Теперь, когда она вновь стала замужней женщиной, для нее открылись те двери, куда ее не допускали как разведенную жену. Она настаивала, чтобы я всюду сопровождал ее, потому что постоянное отсутствие мужа производило дурное впечатление. Но меня это нисколько не смущало, и, ссылаясь на наш устный договор, я заверил ее, что она располагает полной личной свободой и вольно ходить, куда ей заблагорассудится.

«Почему она всегда без мужа? Его совсем не видно», — все говорят.

— Неважно, зато его скоро услышат! — ответил я.

Слово «муж» стало в ее устах как бы прозвищем, и она привыкла смотреть на меня сверху вниз.

В течение долгих часов, которые я проводил в одиночестве дома, я писал этнографический трактат, который мне наверняка обеспечит еще одно повышение в библиотеке. Я вступил в переписку с крупнейшими учеными Парижа, Берлина, Санкт-Петербурга, Пекина, Иркутска, и на моем столе сходились нити научных связей, охватывающих своей сетью весь Старый Свет. Мария всего этого не понимала и сердилась на меня за то, что я не писал комедий. Я просил ее запастись терпением и не считать мою работу потерей времени. Но она слышать не хотела о всех этих научных изысканиях, «китайской грамоте», как она их называла, которые не приносили ничего реального, и хоть я обладал поистине сократовским терпением, она начинала меня мучить не хуже Ксантippy, обвиняя в том, что я проматываю ее приданое (ах, это вечное приданое!) ради какой-то чепухи.

Так текла наша жизнь, исполненная горечи, но и не лишенная сладостных минут. При этом мне ежедневно преподносилась в виде закуски порция тревоги за судьбу Марии в театре. Уже в марте начали ходить слухи, что в конце мая, когда заключаются новые контракты, ожидается обновление труппы Королевского театра. В течение этих трех месяцев помимо обычных слез проливались еще дополнительные, причем потоками, а дом наш стал местом сборища всех неудачников, когда-либо служивших в Королевском театре. Моя душа, обретшая аристократизм в результате накопления знаний и развития моего таланта, испытывала отвращение к этому гнусному обществу, состоящему из людей безо всяких достоинств, без образования, зато исполненных чванства и выплескивающих под видом откровенной оскорбительные банальности, бытующие в среде комедиантов.

Вконец измученный этими бессмысленными сборищами идиотов, я в конце концов попросил мою жену извинить меня за то, что я не в силах больше принимать в них участие, и посоветовал ей тоже держаться подальше от всей этой мелюзги, потому что их общество только унижает нас и отнимает мужество.

Тогда она обозвала меня аристократом, употребив это слово как ругательство.

— Да, я аристократ, — ответил я ей, — в том смысле, что стремлюсь к высотам таланта, но не имею, разумеется, никакого отношения к господам, которые кичатся своими дворянскими грамотами, однако это не мешает мне разделять страдания обездоленных.

Задумываясь теперь, как могло случиться, что я прожил годы рядом с женщиной, которая меня все время щипала и таскала за волосы, которая обкрадывала меня ради собаки и вступала вговор со своими подругами, я приписываю это только тому, что умел довольствоваться малым, а также своему аскетизму, который меня

учил не очень-то много ждть от людей, но прежде всего это объясняется, конечно, моей любовью. Она была так неуемна, что это даже обременяло Марию, и иногда она давала мне понять, что мое самозабвенное чувство ее тяготит. Но за те минуты, когда она бывала со мной нежной, когда я мог положить свою пылающую голову ей на колени, когда она гладила мою львиную гриву, — за эти минуты я готов был все забыть, все простить, я был безмерно счастлив и весьма неосмотрительно признавался, что не могу существовать без нее и жизнь моя отныне висит на ниточке, которую она держит в своей руке. Мария постепенно привыкла смотреть на меня свысока, и поскольку я всячески принижал себя, то стал выглядеть в ее глазах младенцем, с которым надо говорить, непременно сюсюкая.

Вот так я и оказался всецело в ее власти, которой она вскоре начала злоупотреблять.

Когда наступило лето, Мария с прислугой выехала за город. Чтобы ей не быть одной, когда дела задерживали меня в городе, часто по шесть дней в неделю, она пригласила подругу пожить на даче, как говорится, «на полном пансионе», хоть я и предупреждал, что у нее не будет на это денег и нам этот расход не по карману, учитывая ограниченность наших средств. Как только не поносила меня Мария, как не упрекала за то, что я обо всех думаю всегда плохо, и я, боясь ее немилости, как всегда, уступил.

Проведя всю неделю в работе и одиночестве, как холостяк, я мечтаю о субботнем отдыхе, и, ликуя, сажусь в поезд, потом иду пешком под палящим солнцем полторы мили и несу сумки с бутылками и провизией для воскресного обеда. Дорогой я представляю себе, как Мария, заметив меня, бросится мне навстречу, раскинув руки, она видится мне с распущенными волосами, с порозовевшими от свежего деревенского воздуха щеками, и мысли эти доставляют мне наслаждение. Не без удовольствия думаю я и о накрытом к моему приходу столе, об ожидающем меня вкусном обеде, потому что после утреннего кофе у меня за весь день крошки во рту не было. Вот уже показался наш домик между соснами, обрамляющими озеро, но одновременно я вижу, как Мария и ее подруга в светлых летних платьях бегут наперегонки к купальне. Я кричу что есть мочи, я готов поклясться, что они не могут не слышать моего голоса, но они только ускоряют бег, словно спасаясь от кого-то, и, не обратив на меня никакого внимания, исчезают в купальне.

Что бы это могло значить?

Я вхожу в дом, и тут же появляется служанка, у нее растерянный вид, словно она ожидает неприятного объяснения.

— Где дамы?

— Пошли купаться.

— А обед?

— Будет не раньше четырех часов, потому что они встали поздно, и у меня ушло много времени, чтобы помочь барыне привести себя в порядок.

— Скажи, ты слышала, как я кричал?

— Конечно.

Выходит, они попросту сбежали от меня, видно, гонимые чувством вины, а я, голодный, усталый и злой, вынужден в результате провести битых два часа в ожидании их возвращения.

Что за прием после того, как я целую неделю работал и скучал по ней? И сердце мое сжимается от мысли, что она удрала от меня, будто провинившаяся школьница.

Наконец появляется Мария и застаёт меня задремавшим на диване и в весьма дурном настроении. Она как ни в чем не бывало целует меня, надеясь предотвратить грозу, но нервы мои не выдерживают, да и пустой желудок не насытишь нежными словами, а стиснутое сердце не расслабляется от лживых поцелуев.

— Ты сердисься?

— Сердятся мои нервы, пощадила бы ты их!

— Я не кухарка!

— Я этого и не считаю, но не мешай кухарке делать то, что она обязана делать.

— Но, дорогой мой, Амелия, раз мы ее взяли на пансион, тоже имеет право на внимание прислуги.

— Неужели ты не слышала, как я тебя звал?

— Нет!

Она врёт! И это удручает меня больше всего.

Наш обед, долгожданный обед, превращается в муку. А потом Мария плачет, проклинает брак, святой брак, счастливый брак, единственное ее счастье, на груди у подруги, и целует мерзкого пса.

Да, она жестока, коварна и лжива, но сердце у нее чувствительное.

И вот в таком духе, правда, в разных вариантах, это продолжается все лето, я провожу воскресные дни в обществе двух идиотов и собаки. Меня убеждают, что все наши неурядицы происходят исключительно из-за моих больных нервов, и Мария с Амелией настоятельно советуют мне обратиться к врачу.

В воскресенье утром, когда я решил устроить прогулку на лодке по озеру, моя дорогая выходит из своей комнаты лишь к полудню — так затянулся ее туалет, — и я вынужден гулять в полном одиночестве до обеда, когда уже ни о каком катании на лодке не может быть и речи.

Да, у нее чувствительное сердце, но это нисколько не мешает ей все время меня подкалывать, зато она проливает горькие слезы по утрам, когда садовник собирается резать кролика на обед, а ночью, уже в постели, она шепчет мне, что молила бога, чтобы бедный кролик не очень страдал от удара ножа.

Известный психиатр недавно определил одну из распространенных маний такими симптомами: преувеличенная любовь к животным в сочетании с сердечной жестокостью к себе подобным.

Эта женщина, которая в слезах молится за кролика, убивает человека. Да еще с улыбкой на устах!

В последнее воскресенье, которое мы провели в деревне, Мария отвела меня в сторону и, хваля за великодушие, попросила, взывая

к моей доброте, не брать с Амелии денег за то, что она жила у нас на пансионе, потому что доходы ее очень скудны.

Ни слова не говоря, я соглашаюсь, ничем не обнаруживая своего злорадства по поводу того, что предвидел это, и не высказывая своего подозрения, что все это было заранее обдуманно и подстроено. Но Мария, которая всегда вооружена до зубов на случай возможного спора, добавляет, чтобы покончить с этим разговором:

— Впрочем, я могу заплатить тебе эти деньги за нее.

Пусть так, однако кто заплатит за все неудобства и неприятности, которые причинило мне ее пребывание у нас, но... друзьям не следует предьявлять на все счет!

Наступил Новый год, а с ним — всеобщий финансовый крах, который потряс нашу древнюю страну, и в числе многих других лопнул и тот банк, акции которого мне одолжила Мария. Под их залог я получил тогда заем, а теперь выходило, что я взял эти деньги безо всякого залога, так как акции потеряли ценность. С меня потребовали либо новое поручительство, либо немедленное погашение займа, и это было для меня полной катастрофой. К счастью, в конце концов, после бесконечных переговоров и волнений, мне все же удалось составить соглашение между несостоятельным должником, то есть мною, и моими кредиторами, в результате которого я получил отсрочку на год. Страшный год, самый страшный из всех!

Как только удалось уладить эту историю, я тут же снова берусь за дело. Продолжая служить в библиотеке, я начал работу над большим романом о современных нравах, а также стал писать множество статей для газет и журналов и не прекратил при этом заниматься моим трактатом. Несмотря на то, что театральная карьера Марии уже находилась на явном исходе, с ней все же продлили контракт еще на сезон, правда, с понижением жалованья до 14 тысяч франков в год. Вот так я и оказался более состоятельным, чем она, ибо ее разорил всеобщий финансовый крах.

Настроение у Марии ужасное, и это все время отзывается на мне. Желая во что бы то ни стало восстановить со мною материальное равенство, она в доказательство своей независимости пытается получить некую ссуду, однако ее усилия ни к чему не приводят и только позорят меня, как этого и следовало ожидать. Хотя она движима добрыми побуждениями, практической сметки у нее нет, пытаясь меня спасти, она на самом деле меня губит, вешая на меня тяжелые гири. И благодаря ее за добрую волю, я тем не менее вынужден быть с ней весьма строгим.

С годами она стала брюзгливой, и в характере ее появились теперь черты притворства. Произошло несколько случаев, которые сильно настрожили меня на ее счет.

В театре как-то готовился маскарад, и я с трудом вырвал у нее обещание, что она не нарядится в мужской костюм. Она поклялась, что не сделает этого, раз это для меня почему-то так

важно, хотя я не смог объяснить ей причину. Однако на следующий день я узнал, что она пришла на маскарад в смокинге и, более того, согласилась принять участие в мужском ужине, устроенном как мальчишник. Я был очень огорчен, что она меня обманула, но то, что она была на этом ужине, меня просто возмутило.

— Разве я не свободна? — в гневе воскликнула она.

— Нет, ты замужем. Между нами должна быть солидарность, раз ты носишь мое имя. Если тебе не жаль своей репутации, то пожалей хоть мою, которая пострадает еще больше.

— Выходит, я не свободна!

— Да, никто не свободен в обществе, ибо судьба твоих близких неразрывно связана с твоей судьбой! Послушай, если бы ты узнала, что у ужинаю исключительно в дамском обществе, как бы ты к этому отнеслась?

Но она все же заявляет, что считает себя свободной в своих действиях и, защищая эту свободу любой ценой, готова опорочить мою репутацию, ибо свободна вести себя как ей вздумается. Что за дикое существо, понимающее эту самую свободу исключительно как право на деспотизм, как право топтать честь и счастье других!

Не успели мы перестать ссориться, рыдать и устраивать друг другу истерики по этому поводу, неожиданно возникла новая история, встревожившая меня еще более, ибо я не очень-то сведущ в тайнах сексуальной жизни, и всякие аномалии в этой области пугают меня и кажутся зловещими, как и все, что трудно сразу осмыслить.

Итак, однажды вечером, когда служанка в соседней с моей комнате стелила постель Марии, до меня донеслись приглушенные выкрики, сдавленный смех и какие-то смутные восклицания, как бывает, когда кто-то кого-то щекочет. На меня эти звуки произвели неприятное впечатление, и, поддавшись безотчетному порыву, который я не могу объяснить, но который мог завершиться только взрывом бешенства, я резко распахнул приоткрытую дверь и увидел Марию, которая обнимала служанку, видно, желая ее поцеловать.

— Что вы тут делаете, несчастные! — воскликнул я.

— Я играю со служанкой, — с вызовом ответила Мария. — Тебя это не касается!

— Нет, касается, и даже очень. Пусть она уйдет!

Когда мы оказались вдвоем, я объяснил ей всю странность ее поведения.

В ответ она стала поносить мое «пакостное воображение» и, как уже не единожды прежде, назвала меня развращенным циником, который во всем видит одну только грязь.

И я лишний раз убедился, сколь опасно уличать женщину. Мария выплеснула мне на голову целый горшок оскорблений.

Поскольку мы стали обсуждать все эти темы, я ей напомнил, что когда-то она сама призналась мне в безумной любви к своей кузине, красавице Матильде, и на это она ответила, как мне показало, со всей искренностью, что сама была удивлена этому чувству,

нимало не подозревая прежде, что женщина может так страстно влюбиться в другую женщину.

Это наивное признание Марии несколько успокоило меня, но я тут же вспомнил, как Мария в доме моего зятя, в присутствии множества людей, призналась, что испытывает к своей кузине чисто любовное влечение, и ничуть не смутилась, ибо не создавала тогда, что такое чувство противоестественно.

Короче говоря, тут мне стало как-то не по себе, и я, выбирая самые мягкие выражения, посоветовал ей воздержаться от отношений такого рода, вначале, быть может, невинных, но могущих привести к труднооценимым последствиям.

Она же, вопреки всякой логике, назвала меня идиотом, — ей вообще было свойственно считать меня человеком невежественным, — и в конце концов заявила, что я просто-напросто лжец.

К чему было объяснять ей, что за такого рода поступки уголовный кодекс предусматривает наказание в виде каторжных работ, к чему было убеждать ее в том, что ежели женщина касается груди другой женщины, то этим она возбуждает ее, а значит, такие действия, как о том пишут в медицинских книгах, считаются порочными. Да ни к чему! В этих разговорах не было проку.

Так или иначе, развратником всегда оказывался я, ибо кому, как не мне, были известны все тайные пороки, а Мария упорно продолжала играть в свои невинные игры.

Настоящая дьяволица, хоть она сама и не осознавала этого, и ее, конечно, следовало бы изолировать, но не в тюрьме, а в специальном заведении, где перевоспитывают женщин.

В конце весны у нас в доме появилась новая подруга Марии. Актриса лет тридцати, законченная бездельница, которой тоже грозило увольнение из театра, она оказалась товарищем Марии по несчастью и поэтому была достойна всяческой жалости. Я отнесся к ней с сочувствием, когда узнал, что ее, красавицу, которую все прежде прославляли, теперь собирались выгнать по той только причине, что дирекции театра надо было освободить место для дочери знаменитой трагической актрисы. Триумф победителя, как известно, требует истребления побежденных.

Тем не менее особа эта была мне несимпатична, потому что напоминала хищницу, выслеживающую дичь, и я заметил, что она пытается мне льстить, производить на меня впечатление, чтобы обмануть меня, догадываясь, видимо, о проницательности моих глаз. Время от времени происходили сцены ревности между старой и новой подругами, и они передо мной оговаривали друг дружку, как только могли, но я не прислушивался к их словам.

В конце лета выяснилось, что Мария снова забеременела, роды надо было ожидать в феврале. Известие это потрясло меня как гром среди ясного неба, и теперь мне надо было мчаться вперед на всех

парусах, чтобы до указанного срока осуществить все свои начинания.

В ноябре вышел из печати мой роман и имел шумный успех. Он принес нам много денег, мы были спасены!

Наконец я чего-то достиг, пробился, вырвался из толпы, стал мастером, и я смог вздохнуть, впервые после года, да куда там, после многих лет несчасть и отчаяния. Мы ожидали рождения ребенка с радостной надеждой, мы нарекли его еще до того, как он появился на свет, а на рождество закупили ему подарков. Мы хвастались этим бестелесным младенцем, и друзья наши частенько спрашивали, как поживает *putte*¹, словно он уже существовал.

Лично я был уже пресыщен славой и поэтому решил реабилитировать актерскую репутацию Марии и спасти ее карьеру. С этой целью я взялся писать для Королевского театра четырехактную пьесу, поставив в центре весьма привлекательный женский образ, чтобы снова завоевать для Марии симпатии публики. И я сумел все так организовать, что ко дню родов пьеса была принята к постановке и главная роль обещана Марии.

Казалось, все шло к лучшему в этом лучшем из миров, и после рождения ребенка у меня снова возобновились отношения с моими родственниками.

Настала счастливая, светлая пора моей жизни, в доме теперь всегда был не только хлеб, но и вино, молодая мать, окруженная любовью и почетом, буквально оживала на глазах, ее уже несколько приувыдавшая красота снова пышно расцвела, а чувство вины, которое она испытывала перед умершим ребенком, заставляло ее с особенным вниманием относиться к новорожденному.

Когда наступило лето, я уже получил право попросить отпуск на несколько месяцев и решил провести его вместе со своей семьей вдаль от цивилизации, на зеленом дальнем островке шхер.

Как раз в это время плоды моих научных занятий посыпались на меня как из рога изобилия. Мой трактат удостоился исключительной чести быть прочитанным в Академии в присутствии многих академиков. Меня избрали членом всевозможных иностранных научных обществ, и я был награжден медалью Русского императорского географического общества.

В тридцать лет я достиг заметного положения и в литературе и в науке, передо мной открывалось блестящее будущее, и я был счастлив, что мог сложить все эти трофеи к ногам Марии, которая, однако, не столько радовалась моим успехам, сколько обижалась на меня за то, что я нарушил равновесие между нами. Поэтому я старался вести себя как можно скромнее, чтобы избавить ее от унижения быть женой человека, стоящего значительно выше нее. Как великан, я разрешил ей играть со своей бородой, и она сразу же начала злоупотреблять своей властью, унижая меня перед прислугой, перед друзьями дома, а особенно перед своими подружками. Она стремилась как можно больше раздуться за счет моего

¹ Малыш (*швед.*).

воздуха, и чем больше я сгибался перед ней, тем больше она топала меня. Я поддерживал в ней иллюзию, что это ей я обязан своей славой, о которой она либо не подозревала вовсе, либо делала вид, что презирает ее, и мне доставляло истинное наслаждение изображать себя ниже нее, мне нравилась роль забитого мужа одаренной прелестной женщины, так что в конце концов она начала верить в свою гениальность. То же самое происходило и в нашей повседневной жизни. Будучи очень хорошим пловцом, я научил Марию плавать. Чтобы ободрить ее, я разыгрывал страх перед водой, и она с большим удовольствием рассказывала о своих смелых заплывах, всякий раз при этом выставляя меня на всеобщее посмешище, но я только радовался этому.

Унижаясь таким образом перед матерью моего ребенка, я совершенно упускал из вида, что моей жене тридцать лет, самый опасный возраст в жизни женщины, и что уже появляются некоторые тревожные симптомы, быть может, еще и не влекущие за собой роковых последствий, но все же содержащие зерна большого разлада.

После родов к нашей духовной несовместимости прибавилась еще телесная, и наши объятия начали тяготить нас обоих. Она стала законченной кокеткой, и то ли ее забавляло мучить меня ревностью, то ли ее подстегивали неутоленные желания, но, так или иначе, я начал замечать в ней тревожащие меня намерения.

В одно прекрасное утро мы наняли парусную лодку, чтобы отправиться на морскую прогулку. Я держал руль и управлял большим парусом, а молодой рыбак, хозяин лодки, — фоком. Он сидел напротив моей жены. Вскоре ветер улегся, и лодку перестало качать. Тут я заметил, что рыбак искоса поглядывает под скамейку на ноги моей жены. Тогда я начал наблюдать за Марией и увидел, что она внимательно рассматривает брюки рыбака. Мне показалось, что все это сон, и я повернулся, чтобы напомнить ей о своем присутствии. Мария, проявляя исключительное хладнокровие, тут же опустила глаза, как бы заинтересовавшись шнурками грубой обуви парня, и, не очень-то ловко найдясь, спросила:

— Скажите, сколько стоят ваши башмаки?

Ну, как можно отнестись к такому глупому вопросу? Чтобы разорвать нить ее сладострастных мечтаний, я, ухватившись за первый попавшийся предлог, предложил ей поменяться со мной местами.

Я постарался забыть эту взволновавшую, более того, потрясшую меня сцену и уверял себя, что просто ошибся, хотя тут же мне вспомнились те давние времена, когда она бросала на меня точно такие же похотливые взгляды, словно прощупывая под одеждой мое тело.

Однако неделю спустя все мои подозрения на ее счет вспыхнули с новой силой из-за происшествия, которое почти что убило все мои надежды пробудить мать в этом порочном существе.

Один наш друг, причем из самых близких, приехав к нам погостить, был исключительно любезен с Марией, а она в ответ

стала с ним откровенно кокетничать. Вечером мы пожелали друг другу спокойной ночи, и Мария сделала вид, что идет спать.

Полчаса спустя до меня донеслись голоса с балкона, я тут же вышел из своей комнаты и застал своего друга и Марию сидящими за столиком, на котором стояла бутылка коньяку. Глубоко возмущенный этим, я все же вида не подал, но утром жестоко упрекнул ее за бесстыдство, за то, что она выставляет меня на смех перед друзьями.

Слушая меня, она только смеялась, а потом заявила, что я полон предрассудков, что у меня «пакостное воображение», ну и тому подобные словечки из ее обычного репертуара.

Тогда я взорвался, наговорил ей резкостей, она же устроила небольшую истерику, и мне пришлось просить у нее прощения. Прощения за то, что я считаю ее безупречное поведение плохим.

Доконали меня следующие ее слова:

— Неужели ты думаешь, дорогой, что я хочу еще раз пережить ужас развода?!

Вспоминая все, что мне пришлось вытерпеть за последнее время, я наконец заснул безмятежным сном обманутого мужа.

Что такое кокетка? Женщина, которая кого-то приглашает. А кокетство? Это приглашение, и не более того!

А что такое верность? Верность — это боязнь потерять самое ценное! А ревнивец? Мужчина, которого выставляют посмешищем по той смешной причине, что он, видите ли, не желает терять этого «самого ценного»!

Тем временем карьера моя семимильными шагами шла от успеха к успеху. Все долги были погашены, деньги сыпались на нас со всех сторон, но, несмотря на то что я давал очень большие суммы на ведение хозяйства, наши домашние дела были всегда запутаны. Мария, которая вела запись расходов и распоряжалась деньгами, требовала от меня все больших и больших сумм. И у нас на этой почве завязались прямо-таки кровавые бои.

В это же время закончилась ее театральная карьера, и все последствия этого тяжело отразились на мне. Она считала, что все случилось исключительно по моей вине, из-за того, что она вышла за меня замуж. Она, видно, совершенно забыла, что не кто-нибудь, а я написал ей роль, в которой она, к слову сказать, провалилась, потому что сыграла исключительно бледно.

Как раз в эти годы впервые произошел великий вселенский розыгрыш, вошедший в историю под названием «женский вопрос». Началось все с пьесы, написанной одним знаменитым норвежцем, которого, при всех его мужских статях, нельзя не считать синим чулком. Она послужила как бы сигналом к тому, чтобы всеми глупыми головами маниакально завладела мысль о несчастной судьбе порабощенных женщин. Поскольку я не дал себя обмануть, то был немедленно зачислен в разряд женоненавистников.

Во время очередной ссоры, когда я выложил Марии все, что о ней думаю, она закатила истерику, но на этот раз не малую, а большую. И вот именно тогда и произошло самое большое открытие девятнадцатого века в области лечения нервных заболеваний. Оно оказалось простым, как все великое.

Когда мне надоело слушать ее нестерпимые вопли, я схватил графин с водой и громогласно произнес магическую формулу:

— Вставай, не то окачу!..

Вопли немедленно стихли, и моя любовь подарила мне взгляд, в котором соединялись воедино восхищение, нежная благодарность и смертельная ненависть.

Я испугался, но проснувшийся во мне самец не отпустил свою добычу, и, размахивая графином, я прокричал:

— Перестань кривляться, не то я тебя утоплю!

Она тут же вскочила на ноги, чествуя меня негодяем, мерзавцем, жалкой тварью, что и явилось разительным подтверждением того, что лечение удалось на славу!

О вы, обманутые или не обманутые мужья, поверьте мне, вашему преданному и искреннему другу, что я преподал вам ценный опыт лечения истерии. Пользуйтесь им всегда!

С того дня эта женщина приговорила меня к смерти и начертала сей приговор в своей записной книжке. Та, которую я обожал, возненавидела меня! Я оказался опасным свидетелем женского притворства, и поэтому весь женский род решил, что меня надо лишить жизни и в физическом, и в моральном смысле. Мой домашний палач взял на себя выполнение этого приговора — как ни трудная стоящая перед ней задача, она замучает меня до смерти!

Прежде всего, в одной из комнат нашей квартиры Мария под видом жилички поселила свою подругу. Она сделала это против моей воли, несмотря на страшные сцены, которые разыгрались по этому поводу между нами. Мария хотела взять ее на полный пансион, но я категорически возражал и настоял на своем. Тем не менее подруга эта без конца торчала в наших комнатах, я повсюду на нее натькался, перед моими глазами все время мелькали ее юбки, так что в конце концов мне начало казаться, что я двоеженец. А по вечерам, когда я хотел быть в обществе своей жены, она всегда сидела в комнате у подруги, где они приятно проводили время за мой счет, курая мои сигары и выпивая мой пунш. И я стал ненавидеть эту подругу, и так как мне едва удавалось скрывать свои чувства, я то и дело получал выговоры от Марии, которая уверяла, что я просто груб с этой «бедной девочкой».

А «бедная девочка» тем временем, не ограничившись тем, что отняла жену у мужа и мать у ребенка, брошенного на порочную 45-летнюю мегеру, завела еще дружбу с кухаркой, и они стали на пару хлестать мое пиво, причем напивались настолько, что кухарка засыпала прямо у плиты, и все к черту подгорало. Не говоря уже о том, что количество покупаемых бутылок пива росло невообразимо и доходило теперь уже до полтысячи в месяц. Мне становилось все более ясно, что подруга эта настоящий вампир, пожирательница

мужчин, и меня она избрала своей жертвой. Как-то раз Мария показала мне пальто, которое собиралась купить. Мне не понравился ни цвет его, ни фасон, и я посоветовал ей выбрать другое. Тогда подруга заявила, что оставит пальто себе, а я и думать забыл об этой истории. А полмесяца спустя я вдруг получил счет за пальто, якобы приобретенное моей женой. Я навел справки и выяснил, что Мария не устояла перед соблазном шантажировать своего мужа. Впрочем, такого типа выходки были широко распространены в актерском полусвете.

Как обычно, гнев провинившихся обрушился на меня, но я все же посоветовал Марии прекратить отношения с этой опасной авантюристкой.

Час от часу не легче! Однажды моя жена, разыгрывая на этот раз роль исполненной милосердия покорной супруги, стала униженно просить у меня разрешения проводить подругу, эту «бедную девочку», к старому приятелю ее покойного отца, у которого та намеревалась одолжить немного денег. Эта просьба показалась мне настолько странной, что я сразу углядел в ней зловещую ловушку, тем более что подруга жены пользовалась дурной репутацией и, по слухам, не раз вступала в связь со стариками, поэтому я, охваченный ужасом, умолял Марию во имя ее невинного ребенка опомниться и развеять дурман, чтобы не свалиться в пропасть, но в ответ услышал все те же обвинения в «пакостном воображении». Воистину час от часу не легче!

Во время завтрака, который устроила эта подруга, надеясь вынудить одного знаменитого актера сделать ей предложение, мне был преподнесен еще один сюрприз, который окончательно пробудил меня от летаргии.

Пили много шампанского, как обычно, и все дамы были уже навеселе. Мария расположилась в кресле, а ее подруга уселась к ней на колени, и они все время целовались.

Заметив это, один из присутствующих актеров, словно найдя подтверждение уже высказанному кем-то наблюдению, указал своему товарищу на нежничавших женщин и воскликнул:

— Вот так пассаж! Не угодно ли!

Вне всякого сомнения, он намекал на сплетни, порочащие этих дам, и его восклицание прозвучало двусмысленно.

Увы, что поделашь!

Когда мы вернулись домой, я снова стал умолять Марию вести себя попристойнее и ради своего ребенка избегать поступков, которые могут очернить ее репутацию. В ответ она, несколько не таясь, призналась, что ей доставляет большое удовольствие глядеть на красивых девушек, ласкать их, что она ведет себя так не только с этой подругой, но и с другими актрисами в их гримировальных комнатах и что не намерена отказываться от своих забав, поскольку они вполне невинны и приобретают гнусный сладострастный оттенок лишь в моем «пакостном воображении».

Никакими силами ее не удавалось переубедить! И я подумал, что только новая беременность сможет пробудить в ней дремлющие

материнские инстинкты. Когда же это наконец случилось, Марию охватила бешеная ярость, но обстоятельства волей-неволей возвратили ее на несколько месяцев в дом, к семейному очагу.

Однако после родов она сразу же пускается во все тяжкие. То ли страх перед последствиями порочных склонностей заставляет ее снова ридиться в одежду кокетки, то ли в ней опять вспыхивают женские инстинкты, но в этот период она начинает буквально преследовать мужчин, да так откровенно, что у меня это даже не вызывает серьезной ревности.

Не чувствуя больше никаких обязательств, изнывая от безделья, вся во власти своих капризов, она превращается в настоящего деспота и ведет со мной войну, как говорится, не на жизнь, а на смерть.

Она пытается, например, доказать мне, что иметь трех служанок дешевле, чем двух, и тогда я, будучи не в силах спорить с этой сумасшедшей, беру ее за руку и попросту выставляю за дверь.

Она поклялась отомстить мне за это и тут же, несмотря на мой запрет, наняла третью служанку, в результате чего хозяйство наше совсем разладилось. Служанки целый день ссорились между собой, ходили захмелевшие от огромного количества выпитого пива и за наш счет кормили на убой своих любовников.

И, словно в завершение моего супружеского счастья, одна из наших дочерей заболела, и тогда у нас оказалось уже не три, а пять прислуг, не считая двух постоянно приходящих докторов, и наш ежемесячный дефицит исчислялся теперь суммой в 500 франков. Я работал как вол, чтобы его покрыть, и мои нервы постепенно начали сдавать.

О, как она мучила меня вечными попреками, что я растратил ее приданое, существовавшее только в ее воображении! При этом она заставляла меня ежемесячно выплачивать содержание своей тетке в Копенгагене, также обвинившей меня в растрате ее состояния, ссылаясь — в это трудно поверить — на устное распоряжение матери Матильды, которая будто бы велела Марии поровну разделить все доставшиеся ей деньги с копенгагенской теткой. Получить в наследство эту бездельницу, женщину никчемную, но имеющую большие аппетиты, было для меня совершенной неожиданностью, тем более что все эти якобы растроченные мной деньги в природе не существовали и были лишь миражем. Тем не менее я согласился, и даже более того, дал себя уговорить подписать долговое обязательство для старой подруги Марии, той таинственной авантюристки номер один. Я вообще на все соглашался, потому что обожаемая женщина решила теперь продавать мне свою любовь, а за ее объятья я был готов признать себя виновным и в том, что растратил не только ее состояние, но и состояние тетки, и в том, что, женившись на ней, погубил ее артистическую карьеру, и в том, наконец, что разрушил ее здоровье.

С этого времени в наш брак вошла узаконенная проституция.

Поскольку я во всем признаюсь и со всем соглашаюсь, она создает легенду о моих преступлениях, которую впоследствии

подхватит желтая пресса, а пока эту легенду распространяют, перебивая мне косточки, все ее подружки, которых я в свое время выставил за дверь.

Мария стала одержима безумным желанием меня разорить, в течение одного года я ей вручил 12 тысяч франков на ведение хозяйства, но этого оказалось мало, и мне пришлось брать авансы у издателей, когда же я жаловался на слишком большие расходы, она мне отвечала:

— Не надо было делать столько детей! Ты вверг свою жену в нищету! Как я могла пожертвовать своим прекрасным положением в театре ради такого ничтожества, как ты!

На что я ей отвечал:

— Моя дорогая, когда ты была баронессой, твой муж давал тебе всего две тысячи франков в год, да к тому же делал долги! А теперь ты получаешь в шесть раз больше и все недовольна!

Она отмалчивалась, но морила меня голодом, так что уже к вечеру я был готов согласиться с тем, что 2 тысячи франков в шесть раз больше 12 тысяч, и признать, что я жалкая тварь, скупердай, этакий «Милый друг» Мопассана, который добился успеха исключительно стараниями своей обожаемой жены, причем обожаемой только в ночной рубашке!

Чтобы выпустить скопившуюся желчь, Мария решила сочинить роман и вывести в нем женщину-рабыню, которую эксплуатирует преступный мужчина. Она уже написала первую главу. А из всех моих произведений встает ее образ — прекрасной, нежной, юной мадонны с белокурыми волосами, маленькой мамы, я воспеваю ее, создаю бессмертную легенду об этой чудо-женщине, которая по божьей милости вошла в мучительную жизнь поэта. Благодаря моим стараниям она, достойная лишь проклятий, пользуется незаслуженной славой и отмечена всеми критиками, которые не устают восхвалять доброго гения печального романиста.

И чем больше я страдаю от порочности этой менады, тем больше я стараюсь позолотить нимб вокруг головы святой Марии, чем больше действительность принижает меня, тем выше я возношу образ любимой. О, любовь!

Иногда мне казалось, что ненависть этой женщины ко мне такова, что она хотела бы избавиться от меня, чтобы начать свою жизнь в третий раз. Иногда я даже подозревал, что у нее появился любовник, потому что замечал в выражении ее лица какие-то незнакомые мне отсветы, и мои подозрения лишь усиливались от холодности, с которой она принимала мои ласки.

Внезапно в наш брак ворвалась ревность уже всерьез, и с этого момента для меня широко распахнулись ворота ада.

Однажды она объявила, что заболела. Болезнь эта была какой-то неопределенной и в конце концов сосредоточилась на спине, то ли в позвоночном столбе, то ли в почках, точно определить это было трудно.

Позвали нашего детского доктора, моего старого товарища по университету. Он обнаружил ревматические узлы на спинных

мышцах и прописал массаж. Я, естественно, не возражал, поскольку болезнь была обнаружена, и Мария начала ежедневно ходить на массаж. Так как я был очень занят своей работой и мало сведущ в такого рода делах, я не обращал никакого внимания на ход лечения, но все же отметил про себя, что болезнь, видно, не очень серьезная, потому что Мария была все время на ногах, ходила в театр и в гости, не зная усталости.

Как-то вечером за столом одна гостя стала жаловаться на то, что так мало женщин-врачей, потому что дамам очень неприятно раздеваться в присутствии мужчин.

— Ведь правда же неприятно? — обратилась она к Марии, чтобы получить подтверждение.

— О, врачи не в счет!

Но я вдруг понял, что таилось за ее сеансами массажа, а когда я увидел, как гримаса жестокого сладострастия, которую я помнил еще со старых времен, вдруг исказила лицо Марии, страшное подозрение сжало мне сердце.

Конечно, она раздевалась в присутствии мужчины, причем мужчины, лишённого всяких предрассудков и известного своим распущенным нравом. Не предупредив об этом меня. Оставшись с ней с глазу на глаз, я стал расспрашивать, как все это происходило. Она объяснила, не задумываясь, что остается в юбке, а рубашку опускает так, что спина обнажается.

— И тебе не стыдно?

— А с чего это мне должно быть стыдно?

— Но ведь даже при мне ты стесняешься раздеться!..

Два дня спустя врач пришел к нам, потому что заболела дочка. Сидя в своей комнате, я услышал их более чем странный разговор, смех и какие-то шуточки. Вслед за тем моя дверь распахнулась, и они оба вошли, глядя на меня с насмешливыми улыбками.

Весь во власти мрачных мыслей, я с трудом включился в разговор, который вертится вокруг больных женщин.

— Ты в этом знаешь толк, старина! — воскликнул, обращаясь ко мне, врач. — Женские болезни... все понятно, не правда ли?

Тут я поймал на себе злобный взгляд Марии, в нем было столько ненависти, что у меня мурашки пошли по спине. Как только врач ушел, она обрушилась на меня с руганью.

— Проститутка! — бросил я ей в лицо, не сумев совладать с собою.

Слово это вырвалось у меня помимо воли, как выражение бессознательного недоверия. Но рикошетом это оскорбление пронзило и мое сердце, а когда я увидел своих детей, то со слезами на глазах упал на колени и принялся умолять Марию о прощении.

Она же разыграла оскорбленную невинность, и я успокаивал ее не менее двух часов.

Чтобы хоть чем-то искупить свой безобразный выпад и чувствуя, что ее ненависть ко мне все возрастает, я решил отправить ее на несколько недель в Финляндию, в театр, чтобы она поиграла на сцене, получила удовольствие и немного передохнула.

С этой целью я вступил в переговоры с директором театра и, получив его согласие, собрал необходимые деньги.

Наконец она уезжает, публика встречает ее с воодушевлением, как соотечественницу, она играет в спектаклях, ей дарят венки.

Оставшись один с детьми в деревне, я вдруг тяжело заболел и, думая, что нахожусь при смерти, вызвал ее телеграммой, не срывая этим, однако, ее гастролей, поскольку они к тому времени уже закончились.

К моменту ее возвращения я уже поправился, был на ногах, и тогда она обвинила меня в том, что я нарочно вырвал ее из объятий родных ложной телеграммой, лишив вполне невинных развлечений.

После поездки в Финляндию в ее непостижимой натуре произошел какой-то новый сдвиг, и у меня начинают возникать новые тревоги.

При первых же объятиях она, резко изменив своим привычкам, отдается мне безраздумно, и в тот миг, когда я из обычной опаски хочу прервать нашу близость, она с горячей настойчивостью удерживает меня, прошептав:

— Будь что будет!.. Выпьем чашу счастья до конца!..

«Откуда вдруг появилось это великодушие и полное бесстрашие перед беременностью?» — спрашивал я себя, хоть и боялся задавать эти вопросы.

А с каким пьянящим воодушевлением рассказывает она о том, как приятно проводила время в поездке. И в порыве откровенности вспоминает об одном инженере, с которым познакомилась на пароходе. По ее словам, это был человек просвещенный, с современными взглядами, и он убедил ее в том, что грехов вообще не существует, а все зависит исключительно от обстоятельств судьбы.

— Несомненно, дорогая, согласен, но ведь любое действие не может не иметь последствий. Допустим, что нету грехов, поскольку нет персонифицированного бога, но все равно остается нравственная ответственность перед людьми, которым причиняешь зло. И хотя грех как таковой отсутствует, преступление все равно остается, ибо есть законы. Пусть теологическое понятие греха для нас больше не существует, но все равно нами владеет желание реванша или, если хочешь, мести тем, кто обидел нас или причинил ущерб.

Мария серьезно выслушала меня, но сделала вид, что не понимает, о чем я говорю.

— Но ведь только злые люди жаждут мести, — сказала она.

— Согласен, но в мире так много злых людей, и никогда нельзя быть уверенным, что человек, с которым ты столкнулся, готов получить от тебя удары, не отвечая на них.

— И все же судьба определяет наши поступки!

— Безусловно, но та же судьба направляет кинжал в руке мстителя.

В конце месяца у нее был выкидыш.

Теперь я уже не сомневался в том, что она изменила мне в Финляндии. И подозрения мои становились все более вескими по мере того, как она все больше наступала на меня.

Именно в это время она начала убеждать меня, что я сошел с ума и что все мои подозрения лишь результат умственного перетомления.

Я еще раз просил у нее прощения и в знак воцарившегося между нами мира сочинил пьесу для нее с большой женской ролью, которую невозможно плохо сыграть. Итак, семнадцатого августа я передал ей драму вместе с дарственным актом, по которому она была вправе распоряжаться пьесой по своему усмотрению, отдать ее в любой театр при условии, что главная роль всегда остается за ней. Иными словами, я подарил ей два месяца своей работы, не получив в ответ даже слова благодарности. Она приняла это как жертву, которую я обязан приносить ее величеству опустившейся комедиантке.

Тем временем хозяйство наше шло прямым путем к полному разорению, но я ничего не мог тут поделать, поскольку каждый мой совет или вмешательство с гневом отвергались, как оскорбление. Я был вынужден смотреть, ничего не предпринимая, как прислуга расхищала весь дом, как бессмысленно тратились продукты, как небрежно смотрели за детьми.

Ко всем этим денежным затруднениям прибавились еще и ссоры.

Из поездки в Финляндию, которую я оплатил из своего кармана, она привезла 200 франков, заработанных ею выступлениями в театре. Я, естественно, считал, что эти деньги она внесла в наш хозяйственный бюджет. Однако задолго до истечения положенного срока она попросила у меня очередную сумму. Удивленный этой просьбой, я позволил себе весьма деликатно спросить ее, на что же она истратила свои деньги. Оказывается, она одолжила их своей подруге и, сославшись на закон, стала уверять меня, что имеет полное право располагать по своему усмотрению тем, что заработала.

— А я как же? — спросил я ее. — Разве изымать деньги из хозяйственного бюджета значит располагать ими?

— С женщины спрос другой.

— С порабощенной женщины? С рабыни, которая заставляет работать мужчину, чтобы ее содержать? Вот последствия вселенского розыгрыша с женской эмансипацией.

Все это и предвидел Эмиль Ожье в своем романе «Семья Фуршамбо»; брак с разделом имущества превращает мужа в раба. Подумать только, что нашлись мужчины, которые дали себя обмануть и сами выкопали себе могилу! Покорный домашний скот!

Пока разворачивались мои семейные беды, я использовал свою возросшую литературную популярность, чтобы искоренять предрассудки и всяческие суеверия, сковывающие наше одряхлевшее

общество, и, выпустив книжку сатирических рассказов, как бы бросил горсть камней в самых известных обманщиков и демагогов нашей столицы, в числе которых были и женщины, отрекшиеся от своего пола.

И тут все стали поносить меня как дешевого пасквилянта, а Мария, конечно, сразу же извлекла из этого свою выгоду и немедленно перешла на сторону моих злейших врагов. Она выбрала себе роль этакой благопристойной дамы и не выходила из нее ни днем, ни ночью, не переставая сетовать на то, что судьба связала ее со скандалистом, вроде бы и не помня, что я не только сатирик, но и известный романист и популярный драматург. Она изображала из себя святую страдальицу и сочла даже уместным высказать тревогу за будущее своих бедных детей, на судьбе которых не могут не сказаться последствия бесчестных поступков их опустившегося отца, промотавшего ее приданое, погубившего ее артистическую карьеру и к тому же так безобразно с ней обращающегося. В то же время одна продажная газетенка сообщила, что я сошел с ума. Пасквиль, за который, видно, хорошо заплатили, повторял всю ложь, распространяемую Марией и ее подругами, всю эту невообразимую грязь, которая может родиться только в темных мозгах женщин.

Эту битву выиграла она, и, увидев, что я пал, сраженный врагом, она тут же начинает играть роль всепрощающей матери блудного сына, и, используя свои самые обаятельные улыбки, которыми она щедро одаривает всех, кроме мужа, она завоевывает симпатии моих друзей, как искренних, так и фальшивых. А я оказываюсь в полном одиночестве, во власти женщины-вампира, и не пытаюсь даже защищаться. Разве я могу поднять руку на мать моих ангелочков, на женщину, которую обожаю, несмотря ни на что! Нет, об этом не может быть и речи!

Итак, я сдаюсь! И тогда она сразу же окружает меня удивительной нежностью, но только на людях, а дома, когда мы одни, нежность эта оборачивается оскорбительным презрением.

Надорвавшись от непосильной работы и от ее беспощадного со мной обращения, я заболел. Меня стали мучить мигрени, одолевала чрезвычайная нервная возбудимость и нестерпимые боли в животе. Врач поставил диагноз: катар желудка. Странные последствия умышленного переутомления! И надо отметить, что болезнь эта началась только после того, как я сообщил о своем намерении уехать за границу, ибо это был единственный способ выбраться из силков, расставленных бесчисленными друзьями моей жены, постоянно во всем ей сочувствующими. И еще надо отметить, что моя таинственная болезнь обнаружилась лишь после того, как я вынес пузырек с цианистым калием из лаборатории одного моего старого друга, чтобы покончить с собой, и спрятал этот пузырек в шкатулке жены, которую она запирает на ключ.

Поверженный, недвижимый, лежу я на диване, наблюдаю за игрой моих детей, перебираю в памяти славные ушедшие денечки

и готовлюсь к смерти, ни слова не написав, чтобы хоть как-то объяснить причину моего ухода из жизни и выразить свои постыдные подозрения.

Я смиряюсь с мыслью, что исчезну, убитый женщиной, которой я все простил.

Я выброшен за ненадобностью, как выжатый лимон. Мария следит за мной краем глаза, нетерпеливо ожидая, когда же я наконец уберусь на тот свет и она сможет без всяких помех пользоваться всеми доходами, которые принесет ей издание полного собрания сочинений уже ставшего знаменитым поэта, а, быть может, ей удастся и выхлопотать у правительства пенсии для его детей.

Возомнив о себе бог знает что после последнего успеха в театре, которого она добилась только благодаря моей драме, и, к слову сказать, вполне серьезного успеха, принесшего ей репутацию трагической актрисы, она получила еще одну роль, уже по своему выбору. Однако на этот раз она постыдно провалилась и вынуждена была признать, что не кто иной, как я, создал ее театральную славу, и от этого сознания ее ненависть ко мне, ненависть некредитоспособной должника, вспыхивает с новой силой. Она обходит все театры в надежде получить роль, но тщетно. В конце концов она вынуждает меня снова вступить в переговоры с финской дирекцией, уговаривает бросить родину, близких людей, издателей и осесть в окружении ее друзей, а значит, моих врагов. Но и в Финляндии ее тоже не хотят принимать, и на этом театральная карьера Марии кончается.

Ведет она себя как эмансипированная женщина, свободная от всех обязанностей и жены и матери, а когда я из-за плохого самочувствия не в состоянии идти с ней на артистические вечера, она все же отправляется туда одна. Возвращается она под утро, сильно опьяневшая, подымает такой шум, что просыпается весь дом, и я с ужасом слышу, как ее рвет в детской, когда она ложится спать.

Что мне оставалось делать в этой ситуации? Разоблачить свою жену? Нет! Развестись с ней? Нет! Семья стала для меня некоей целостной живой структурой, наподобие растения или животного, а я — его неотторжимой частью. В одиночку я не мог бы теперь просуществовать ни дня, и даже с детьми, но без матери, тоже не мог бы. Моя кровь, струясь по большим сосудам, проникала затем в ее сердце и омывала тельца наших детей. Это была единая кровеносная система, питающая нас и соединяющая, и если перерезать хоть один сосуд, я тотчас обескровел бы и перестал жить... Вот почему измена жены является таким ужасным преступлением, и нельзя не согласиться с восклицанием «Убей ее!», которое вырвалось у одного знаменитого писателя, смертельно раненного сомнениями в своем отцовстве и не простившего этого своей вероломной жене.

Однако, в противовес такой позиции, Мария, ставшая огорченной сторонницей прав женщин, провозгласила новую истину,

закрывающуюся в том, что жена не может считаться виновной, если она изменила мужу, поскольку не является его собственностью.

Не могу же я опуститься до того, чтобы шпионить за своей женой, да, откровенно говоря, и не хочу получать доказательства ее измен — они были бы для меня смертоносны. Скорее я готов без конца обманываться, существовать в вымышленном мире, который я могу опозитизировать по своему желанию.

Тем не менее я чувствовал себя раненым. Я не был уверен, что мои дети на самом деле мои, они будут носить мое имя, я буду кормить их на деньги, заработанные моим трудом, но, несмотря ни на что, они не будут моим мостиком в бессмертие. И все же я люблю их, они вошли в мое существование, как ростки моего будущего, и вот теперь, когда воплощенная в них надежда пережить себя у меня отнята, я оторвался от земных корней и стал парить в воздухе, словно привидение.

Мария, как мне казалось, начала уже терять терпение, видя, что моя смерть все откладывается и откладывается, и, продолжая меня публично баловать совсем уж материнскими ласками, она тайком шипала меня, как злобный отец маленького жонглера за кулисами цирка. Чтобы приблизить час моей кончины, она стала меня мучить. Она придумала для меня новую пытку: пользуясь моей временной слабостью, она обращалась со мной как с дряхлым стариком, более того, в приступах мании величия угрожала мне побоями, уверяя, что сильнее меня. И вот однажды она вдруг кинулась на меня, чтобы ударить, но я вскочил, схватил ее за руки и швырнул на диван.

— Признайся, что, несмотря на слабость, я сильнее тебя! — воскликнул я.

Она же, не желая уступить, впала в бешенство от того, что оказалась бессильной со мной совладать, и выскочила из комнаты с лицом, потемневшим от гнева, ругаясь на чем свет стоит и все еще угрожая.

В борьбе, которая завязалась между нами, она имела неоспоримое преимущество, ибо была женщиной и вдобавок актрисой. Подумайте, мужчина, обреченный работать как каторжный, оказывается беззащитным перед погрязшей в безделье женщиной, весь день которой посвящен только одному — плетению интриг. И через некоторое время он уже вконец опутан этой сетью. Мария на людях обвиняла меня в мужском бессилии, надеясь этим оправдать свое преступление, однако достоинство, скромность и уважение не позволяли мне обнародовать ее физический недостаток, полученный во время первых родов и усугубленный тремя последующими. Неужели мужчина, который никому не поверяет своих альковных тайн, может дойти до того, чтобы выставлять напоказ пороки своей жены!

«Победу в любви приносит только бегство», — изрек некогда Наполеон, великий знаток женщин. Но пленник не может обратиться в бегство, а приговоренный к смерти — тем более.

Однако от отдыха голова моя прояснилась, я не был занят работой и поэтому мог подготовить свое бегство из тюрьмы, надежно охраняемой моей мегерой и друзьями, которых она сумела обманом привлечь на свою сторону. Прибегнув к военной хитрости, я передал своему домашнему врачу письмо, в котором написал о своих опасениях насчет подстерегающего меня безумия и предлагал в качестве лечения поездку за границу. Он ответил, что одобряет мое намерение, и тогда я тут же сообщил о нашей поездке Марии, как о врачебном предписании, не подлежащем пересмотру.

— Видишь, доктор считает эту поездку необходимой.

Впрочем, так действовала она сама, когда подсказывала врачу, чтоб он прописывал ей то, что ей хотелось.

Мария побледнела, когда услышала мое сообщение.

— Но я не хочу уезжать из моей страны.

— Твоей страны? Твоя страна — Финляндия, и я просто не понимаю, почему тебе трудно покинуть Швецию, где у тебя нет ни родных, ни друга, ни даже приличного театра.

— Не хочу, и все!

— Почему?

Она помялась, но все же сказала:

— Я боюсь тебя! Я не хочу оказаться с тобой наедине.

— Агнец, которого ты ведешь за веревочку, пугает тебя?! Что-то не похоже на правду.

— Ты — страшный человек, я не желаю быть с тобой, не имея надежной защиты!

Я не сомневался, что у нее был любовник, но, может быть, она и в самом деле опасалась, что, когда ее преступление будет обнаружено, я все-таки выживу.

Ах, она боится меня! Меня, который, как собака, покорно распластался у ее ног, который готов валяться в грязи и целовать ее белые чулки, который остриг свою львиную гриву и теперь носит челку, словно лошадь, который стал подкручивать усы и расстегивать ворот рубахи только для того, чтобы походить на ее возможных любовников!

Ее страх внушил мне еще больший страх и оживил во мне все подозрения!

У этой женщины, видимо, есть любовник, с которым она не хочет расстаться, либо она боится дня своего суда! — решаю я про себя, но ей ничего не говорю.

После долгих ссор она все-таки вытянула у меня обещание вернуться не позже чем через год.

И представьте себе, я дал ей это обещание!

Я вновь обрел волю к жизни, и я смог завершить работу над книгой стихов, которая должна была выйти зимой, после моего отъезда. А в разгаре лета, поскольку ко мне вернулись силы, я снова запел, прославляя мою любимую, чья синяя вуаль на соломенной шляпе в день нашей первой встречи стала для меня флагом, который я подымаю на мачту, отправляясь в дальнее плавание по бушующему морю.

Вечером, в присутствии друга, я прочел это стихотворение. Мария слушала в благоговейном молчании, а когда я кончил читать, она зарыдала, поднялась и поцеловала меня в лоб.

Комедиантка, что с нее взять! Она обманула моего друга, который, этакий идиот, с того дня стал считать меня безумным ревнивцем, безжалостно терзающим любящую его жену.

— Она любит тебя, старина! — уверял меня этот молодой человек, который, представьте, четыре года спустя вспомнил эту сцену как одно из самых веских доказательств верности моей жены.

— В эту минуту она была искренна, клянусь тебе! — повторял он в тот вечер.

— Конечно искренна, но только в своих угрызениях совести. Это верно! Как не испытать их, когда видишь любовь настолько слепую, что она готова воспеть проститутку, как мадонну! Конечно искренна, мой юный друг.

Тем временем мне удалось очистить дом от всевозможных подруг. Последняя подруга, красавица, исчезла вместе с моим лучшим другом, крупным ученым, участником экспедиции «Веги», который вернулся с четырьмя орденами и обеспеченным будущим. Эта приبلудная красавица, оказавшись буквально на улице, бесплатно жила в моем доме и просто прилипла к бедному парню, в течение года жившему холостяком, и в конце концов соблазнила его темной ночью в карете, которую они заказали, чтобы куда-то ехать, а потом заставила жениться, устроив скандал у знакомых, где они вместе были в гостях. Как только наша красавица почувствовала почву под ногами, она тут же сорвала с себя маску и в одном доме, изрядно выпив, во всеуслышанье заявила, в присутствии большого общества, что Мария — существо аморальное. Один из моих друзей был на том обеде и счел себя обязанным передать нам эти слова. Мария, несколько не смутившись, заверила меня, что этого просто не могло быть, но все же я отказал от дома ее подруге, хотя тем самым и лишил себя верного друга.

Я не хотел разбираться во всех этих историях, но жестокое слово «аморальная», произнесенное именно этой особой, вонзило еще одну острую иглу в мою и без того кровоточащую плоть. В дальнейшем из того же нечистого источника я получил еще много сигналов, указывающих, правда в самом общем виде, на дурное поведение моей жены во время ее пребывания в Финляндии, и это не могло не прибавить к моим старым подозрениям новые. А если все это сопоставить с выкидышем, рассуждениями по поводу судьбы и несдержанностью в любовных утехах, которой она прежде опасалась, то становилось ясно, что у меня был только один выход — бежать, и в этом своем решении я все больше утверждался.

Мария, сообразив, что можно жить припеваючи под крылышком больного поэта, решает играть роль сестры милосердия, сиделки, а в крайнем случае и надсмотрщицы за сумасшедшим. Она украсила себя ореолом святой и действовала при этом у меня за спиной так усердно, что, как я потом узнал, даже одалживала у моих друзей

деньги от моего имени. В то же самое время у нас из дома стала исчезать ценная мебель, которую она свозила к своей подруге № 1 для продажи.

Я насторожился и впервые задал себе тревожный вопрос: «Нет ли у Марии каких-то тайных расходов, раз мы так невероятно много тратим на хозяйство и она то и дело предпринимает непонятные мне негодии. И если это так, то что это за расходы?»

Я зарабатывал уже не меньше, чем министр, больше, чем генерал, и все равно нужда, как репей, липла к моим ногам. А ведь жили мы очень скромно. Ели не лучше любого мелкого буржуа, все было всегда плохо приготовлено, а часто подавали даже не очень свежую пищу. Пили мы то, что пьют в любой рабочей семье — пиво и водку, а если коньяк, то самого низкого качества, и друзья даже посмеивались над нами за это. Я курил только трубку и ничего не тратил на развлечения, не считая редких кутежей для разрядки.

Как-то раз, окончательно потеряв терпение, я позволил себе спросить у одной дамы, сведущей в этих вопросах, не считает ли она, что у нас уходит слишком много денег на хозяйство. Услышав огромную цифру, которую я ей назвал, дама рассмеялась мне в лицо, воскликнув, что считает это просто безумием.

Выходит, есть все основания предположить, что речь идет о каких-то особых и тайных расходах. Но каких? Родственники, тетки, подруги или любовники, свидания с которыми стоят ей так дорого? Кто скажет правду обманутому мужу, когда все вокруг, уж сам не знаю по каким причинам, почему-то оказываются сообщниками вероломной жены!

После бесконечных приготовлений настал, наконец, день отъезда. Но тут возникла новая трудность, которую я, впрочем, ожидал и которая стоила множества сцен и потоков слез. Собака, причинявшая мне столько огорчений главным образом тем, что забота о ней шла исключительно за счет наших детей, все еще таскала ноги. Но вот пришло время, когда этот пес, идол Марии и мой злой гений, теперь уже очень старый, вонючий и грязный пес, должен был, к моей великой радости, уйти из жизни. Я полагаю, что Мария уже сама жаждала его кончины, но, зная, что это будет подарком для меня, все оттягивала исполнение приговора. Одна мысль, что она может доставить мне хоть какое-нибудь удовольствие, была ей невыносима, поэтому она с большой находчивостью придумывала целую серию нравственных пыток, чтобы я заплатил дорожной ценой за эту невинную радость.

Мария устроила для пса прощальный пир, во время которого разыграла воистину душераздирающую сцену, и повезла его в город на казнь. Мне же, поскольку я был слабого здоровья, подали на ужин несколько костей от той курицы, которую она велела резать для угощения своего любимца. Ее не было двое суток. Потом она очень сухо сообщила о своем приезде, словно обращалась

к палачу. Опынев от счастья после шести лет мук, вздохнув наконец, я побежал на берег, чтобы встретить ее. Она посмотрела на меня, как смотрят на отравителя, полными слез глазами и отвернулась, когда я хотел ее поцеловать. Прижимая к груди какой-то странный сверток, она траурным шагом направилась к дому. В свертке был труп собаки. И я должен был заняться похоронами. Один рабочий сколачивал гробик, двое копали могилку. Стоя в стороне, я наблюдал за похоронами убиенного. Весьма поучительное зрелище. Мария вознесла молитву богу и за жертву и за убийцу, люди вокруг смеялись. На могилке водрузили крест. Так крест спасителя спас наконец меня от чудовища, самого по себе, может быть, ни в чем не повинного, но ужасного, как воплощение всей злобы женщины, которая из трусости не смеет мучить человека в открытую.

После нескольких дней глупого траура (она так ни разу меня и не поцеловала, ибо не намерена была целовать убийцу), мы уехали в Париж!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Я выбрал Париж конечной целью нашего путешествия, чтобы встретиться со своими старинными друзьями, которые издавна привыкли к моим эксцентрическим выходкам, знали о всех моих еще невнятных замыслах, не раз были свидетелями моих умственных взлетов, дерзаний, парадоксов и именно поэтому лучше других могли судить о душевном состоянии своего поэта. Кроме того, в Париже проживали в то время самые знаменитые скандинавские писатели, и я рассчитывал, что они не допустят, чтобы Мария осуществила свои преступные намерения и заточила бы меня в нервную клинику.

На протяжении всего нашего путешествия Мария вспыхивала по любому поводу и, если рядом не было симпатизирующих мне людей, обращалась со мной как с последним из негодяев. Вид у нее был все время озабоченный, взгляд рассеянный, ко всему равнодушный. На ночь мы останавливались в гостиницах, и я всегда гулял с ней, чтобы показать новый город, но ничто не вызывало у нее интереса, она ровно ничего не видела и не слышала, что я ей говорил. Мое внимание и предупредительность лишь тяготили ее, она тосковала. О чем? О чужой стране, где она столько страдала и где не оставила ни одного друга? Разве что любовника?

К тому же ее поведение свидетельствовало не только об ее полной непрактичности, но и о дурном воспитании. Таким образом жизнь опровергла ее деловую сметку, которой она так хвасталась. Она выбирала самые дорогие гостиницы ради одной ночи, требовала перестановки мебели в номерах, заказывая чашку чая, вызывала метрдотеля и подымала такой шум в коридорах, что мы получали унижительные замечания. Она пропускала лучшие поезда, чтобы поужинать в гостинице, когда нас все равно уже валил с ног сон, отправляла багаж не по назначению, и он застревал на каких-то дальних станциях, а уезжая, оставляла портье целую марку на чай.

— Ты просто трус, — отвечала она мне на все мои замечания.

— А ты — дурно воспитанная и бестолковая женщина.

Вот в какое увеселительное путешествие превратилась наша злосчастная поездка!

Но когда мы приехали в Париж и попали в круг моих друзей, которые не поддались ее обаянию, она потеряла почву под ногами, оказалась как бы в ловушке. Больше всего ее сердили отношения, завязавшиеся у меня с самым знаменитым норвежским писателем, который ко мне очень привязался. Она его просто возненавидела, потому что достаточно было одного слова этого человека, чтобы спор наш решался в мою пользу.

На банкете, устроенном для артистов и писателей, этот норвежский патриарх встал и произнес тост в мою честь как главы современной шведской литературы. Этим он вонзил нож в спину бедной Марии, которая в глазах своих бесполох подруг ходила в ореоле мученицы, жертвы брака с неудачным памфлетистом, пользующимся весьма дурной славой. Я испытал к Марии острое чувство жалости, когда увидел, что приветственные возгласы всех присутствующих, которые стали меня чествовать, просто раздавили ее. А когда оратор потребовал, чтобы я тут же обещал им прожить за границей не меньше двух лет, я увидел такое страдание в глазах жены, что не мог остаться к нему равнодушным. Чтобы ее утешить и дать ей хоть какой-то реванш, я ответил, что в нашей семье все важные решения принимаются вдвоем, чем заслужил благодарный взгляд Марии и симпатию всех присутствующих дам.

Но восхвалявший меня оратор никак не сдавался, он продолжал настаивать на моем длительном пребывании в Париже и предложил всем, кто разделяет его мнение, выпить «за то, чтобы господин С. прожил бы здесь не меньше двух лет!».

Должен признаться, что я так и не понял, почему мой друг проявил тогда такое упорство, хотя и уловил в этом отзвук глухой борьбы, которая шла между ним и моей женой по неведомой мне причине. Неужели этот человек знал больше меня, неужели в силу своей интуитивной прозорливости он сумел разгадать непостижимый для меня секрет, поскольку и сам был женат на женщине с весьма странным нравом?

И по сей день все это так и остается для меня загадкой!

Мы прожили три месяца в Париже, но жена моя чувствовала себя там не в своей тарелке, потому что вдруг обнаружила истинную цену своего мужа, всеми признанную и не подлежащую оспариванию. Она стала ненавидеть этот огромный город и не уставала предостерегать меня против «ложных друзей», которые рано или поздно принесут мне несчастье. Потом она снова забеременела, и я понимал, что нас опять ждет ад.

Однако сомнений в своем отцовстве у меня не было, поскольку мне казалось, что я могу точно определить число и даже сам момент зачатия, — я помнил все обстоятельства до мельчайших подробностей.

Как только мы приехали во Французскую Швейцарию и поселились в пансионе, чтобы избежать ссор по поводу ведения хозяйства, Мария сразу взяла верх, потому что я оказался в полном одиночестве и безо всякой защиты.

Она разыгрывает из себя сиделку при душевнобольном, тут же устанавливает связь с врачом, предупреждает хозяина и хозяйку пансиона и вводит в курс дела всю прислугу и даже постояльцев. Я загнан в угол, лишен общения с людьми моего интеллектуального уровня, способными меня понять. И за табльдотом она, такая идиотка, отыгрывается за свои поражения в Париже и, не закрывая рта, изрекает все те глупости, которые я уже тысячу раз опровергал. И когда все эти мелкие буржуа из вежливости поддакивают ее бредням, я вынужден молчать, и это ее окончательно убеждает в своем превосходстве. Однако вид у нее измученный, нездоровый, словно ее подтачивает какое-то горе, и ко мне она проявляет настоящую ненависть.

Ей отвратительно все, что я люблю! Ей наплевать на Альпийские горы, потому что я ими восхищаюсь, она терпеть не может прогулки, она избегает оставаться со мной наедине. Она угадывает мои желания, чтобы им препятствовать, стоит мне по какому-нибудь поводу сказать «нет», как она тотчас говорит «да», и наоборот, одним словом, она меня всячески отвергает.

А я, оказавшись один, в чужой стране, был вынужден искать ее общества, и когда мы оба вдруг обрывали разговор из страха поссориться, я радовался хотя бы тому, что она рядом со мной и я не чувствую своего одиночества.

С того дня, как обнаружилась ее беременность, я посчитал, что могу свободно предаваться любовным утехам, однако она, не имея больше повода отказывать мне, все же придумывала всякие отговорки, дабы держать меня в повиновении. Заметив, что теперь, когда больше не надо было прибегать ни к каким ухищрениям, я стал испытывать подлинную радость в минуты нашей близости, она приходила в неистовство от того, что доставляла мне это наслаждение.

Она, видимо, считала, что это слишком большое счастье для меня, памятуя, что нервные заболевания чаще всего являются результатом воздержания и неудовлетворенности. Тем временем мое желудочное недомогание обострилось, я мог принимать пищу, только если запивал ее бульоном, а по ночам просыпался от нестерпимых резей в желудке и мучительных изжога, которые иногда удавалось унять с помощью холодного молока.

Мой высокий интеллект, отточенный широким университетским образованием, попросту разладился от постоянного общения с низменным умом, и всякая попытка привести его в согласие с интеллектом жены вызывала у меня спазмы. Я, естественно, пытался вступать в беседы с чужими людьми, но замолкал, как только замечал, что со мной говорят, как с сумасшедшим, не оспаривая моих мнений.

Таким образом, я вынужден был молчать в течение трех долгих месяцев. И тут я, к ужасу своему, обнаружил, что от отсутствия практики голос мой стал пропадать, и я потерял присущий

мне дар красноречия. Чтобы хоть частично возместить это, я затеял переписку с друзьями в Швеции, но сдержанный тон их ответов, исполненных искреннего сочувствия ко мне, а также их покровительственные советы не оставляли сомнений насчет их оценки моего душевного состояния.

Она торжествовала победу, а я становился чем-то вроде расслабленного старца, и у меня начали проявляться первые признаки мании преследования. Одним словом, я впал в детство, меня буквально подкашивало полное бессилие, часами я лежал на диване, уткнувшись лицом в колени Марии, обхватив руками ее талию, как в «Пиете» Микеланджело. Я прижимался щекой к ее груди, называл себя ее младенцем, и самец умирал на руках у той, которая, став матерью, перестала быть женщиной. Она взирала на меня с улыбкой, то торжествующей, то ласковой — этакая нежность палача при виде своей жертвы. Паучья самка сожрала мужа после того, как он ее оплодотворил.

Во время этой моей агонии Мария вела таинственную жизнь. До обеда, то есть примерно до часу дня, она не вставала с постели. Затем она отправлялась в город без какой-либо определенной цели и возвращалась лишь к ужину, причем обычно с опозданием. Когда кто-нибудь ее искал, я отвечал:

— Она в городе.

И постепенно это становилось притчей во языцех.

Однако у меня лично не возникало никакого подозрения, мне и в голову не приходило выслеживать ее.

После ужина она оставалась в гостиной поболтать с кем-нибудь из постояльцев.

На ночь она пила коньяк с горничной, и я слышал, как они разговаривали вполголоса, но не мог опуститься до того, чтобы подслушивать под дверью.

Почему? Да потому, что есть поступки, которые нельзя себе позволять! Почему? Потому, что это заложено в воспитании, как своего рода мужская религия.

Лишь через три месяца я пробудился от своей летаргии, пораженный нашими слишком большими тратами. Теперь, когда все расходы были строго регламентированы, произвести подсчет ничего не стоило.

Пансион обходился нам по двенадцати франков в сутки, что составляло триста шестьдесят франков в месяц, я же выдавал Марии по тысяче франков ежемесячно. Получалось, что на мелкие расходы уходило шестьсот франков в месяц. Когда же я заинтересовался, на что тратятся эти деньги, она пришла в бешенство и закричала в ответ, что деньги эти ушли на непредвиденные расходы.

— Триста шестьдесят франков на предвиденные расходы и шестьсот на непредвиденные? Ты что, меня совсем за дурака считаешь?

— Ты дал мне тысячу франков, но потом большую часть из них потратил на себя.

Я тут же произвел подсчет. Табак (очень плохой, в том числе сигары по два сантима за штуку): десять франков. Марки для писем: десять франков. А что еще?

— Уроки (множественное число!) фехтования!

— Всего один урок: три франка.

— Верховая езда!

— Два часа: пять франков.

— Книги!

— Десять франков. Итого тридцать восемь франков, ну, округлим до ста. Все равно остается пятьсот франков на какие-то непредвиденные расходы. Это просто уму непостижимо!

— Так ты полагаешь, ничтожество, что я тебя обворовываю?!

Что можно ответить на это? Ничего! Итак, я ничтожество, и все подруги в Швеции немедленно оповещаются о том, как разливается мое безумие.

Таким образом, мало-помалу создается легенда, и с годами личность моя обретает четкие контуры, образ невинного поэта вытесняется неким мифологическим персонажем, очерненным, доведенным до неузнаваемости, почти преступником.

Попытка удрать в Италию, где жили друзья-художники, близкие мне по духу, не увенчалась успехом, и к моменту родов мы возвращаемся на берег озера Леман. После того, как благополучно родился ребенок, Мария, приняв ореол мученицы — порабощенной женщины, бесправной рабыни, — умоляет меня разрешить ей крестить новорожденного. Она прекрасно знает, что я только что публично выразил свое отвращение ко всем суевериям христианства и что мое положение прогрессивного писателя запрещает мне исполнять церковные обряды.

Хотя Мария не была набожной — во всяком случае за последние десять лет она ни разу не была в церкви и уже бог знает сколько времени не ходила к причастию, — она молилась за собачек, кроликов да курочек, которых собирались резать на кухне, и вот теперь ей вдруг приспичило крестить ребенка, соблюдая весь ритуал этого обряда. Видимо, объяснялось это исключительно тем, что она была в курсе моих требований раз и навсегда отказаться от подобных обрядов, они противоречили моим убеждениям.

Она заклинала меня со слезами на глазах, взывала к моей терпимости, великодушию, и в конце концов я уступил, оговорив лишь свое право не присутствовать на церемонии. В ответ она принялась целовать мне руки и горячо благодарить за такое проявление любви, ибо я уступил ей в вопросе для нее жизненно важном, в деле ее совести.

Итак, крестины состоялись. А вернувшись с них, она, в присутствии свидетелей, стала высмеивать обряд, разыгрывая из себя этакую свободомыслящую даму, представила всю церемонию в комичном виде и выхвалялась тем, что даже не знает, в какую именно веру приняли ее сына!

Короче, плевать она хотела на эти крестины. Жизненно важным для нее вопросом было вовсе не само по себе таинство крещения,

как она уверяла, а лишь победа надо мной, ей необходимо было добиться моего поражения, чтобы выставить меня в глупейшем виде перед моими сторонниками.

Так по капризу своевластной женщины я еще раз оказался униженным и скомпрометированным!

Затем на нашем горизонте появилась девица из Скандинавии, рьяно проповедующая все эти бредни про эмансипацию, и с первой же минуты она была возведена в сан лучшей подруги, а я как бы перестал существовать.

Для вящей убедительности девица эта притащила к нам в дом одну преподлую книжицу, написанную каким-то гермафродитом, иначе не назовешь этого бесполого проходимца, отовсюду выгнанного и вконец скомпрометированного, который допроституировался до того, что предал свой пол, став союзником всех синих чулков цивилизованного мира. Только после того, как я прочитал «Мужчину и женщину» Эмиля де Жирардена, я понял, к каким пагубным последствиям приводит вся эта возня вокруг женского вопроса.

Речь, оказывается, идет о том, чтобы низложить мужчин, поставив на их место женщин и, повернув таким образом историю вспять, снова установить на земле матриархат.

Итак, свергнуть со своего престола Мужчину, этого подлинного творца, двигающего вперед цивилизацию и культуру, создателя истинно великих идей, всевозможных искусств и ремесел, одним словом, всего, чем ныне гордится человечество, чтобы посадить на его место Женщину — грязную тварь, которая, за ничтожным исключением, никогда не принимала участия в цивилизаторской деятельности, — нет, это я мог понять только как вызов моему полу. Одна мысль, что с сего времени главенствующее положение в жизни займут эти жалкие существа, интеллект которых в своем развитии остановился на уровне в лучшем случае бронзового века, эти человекообразные обезьяны, эта орда злоносных животных, пробудила во мне самца. И, представьте, это весьма любопытно отметить, я тут же выздоровел, потому что причиной болезни было мое бессилие противостоять своему врагу в юбке, который был, конечно, неизмеримо слабее меня по уму, но сто-кратно сильнее во всех иных отношениях из-за полного отсутствия нравственного чувства.

Когда между двумя племенами идет борьба не на жизнь, а на смерть, то побеждают всегда пройдохи, а не те, кто честны. Именно поэтому у мужчин мало шансов одолеть женщин, да к тому же нам мешает врожденное уважение к представительницам слабого пола и то обстоятельство, что им, как правило, не приходится добывать средства к существованию, и поэтому они располагают досугом, чтобы вести войну с нами. Я отнесся к этой проблеме со всей серьезностью и решил вооружиться для борьбы, подготовив к изданию книгу, которая должна была стать перчаткой, брошенной мною прямо в лицо эмансипированной дуре, стремящейся получить свободу ценой порабощения.

Наступила весна, и мы перебрались в другой пансион, который стал для меня в некотором роде чистилищем, потому что я попал под наблюдение двадцати пяти женщин, однако именно они вдохновили меня на памфлет против похитительниц всех прав мужчин. Не прошло и трех месяцев, как моя книга увидела свет. Это был сборник рассказов о браке, которому я предпослал предисловие с формулировкой ряда непреложных истин, не очень-то приятных для тех, кому они были адресованы. Вот вкратце его содержание.

Женщина не рабыня, поскольку она и ее дети живут на деньги, которые зарабатывает Мужчина. Женщина не порабощена, поскольку она сама выбрала свою долю, или, если угодно, природа указала ей ее место, чтобы она находилась под защитой Мужчины в период материнства. Женщина никак не равна мужчине по интеллекту в той же мере, в какой он уступает ей в вопросе продолжения рода. В великой созидательной деятельности женщине нет места, потому что там мужчина всегда будет сильнее ее. Согласно эволюционной теории, чем больше различия между полами, тем сильнее потомство. Таким образом, получается, что равенство полов — это движение назад, абсурд, пережиток идей романтически и идеалистически настроенных социалистов.

Женщина — жена, необходимый самцу спутник и духовное творение мужчины — по справедливости не может иметь равные с мужем права, так как составляет «другую половину» мира лишь по численности. Поэтому не конкурируйте с мужчиной на рынке труда, его права неприкосновенны, ведь ему надо обеспечить всем необходимым жену и детей, и помните, что каждое рабочее место, отнятое у мужчины, неизбежно породит лишнюю старую деву или проститутку.

Судите сами о ярости феминисток и о том, какую опасность представляет их партия, если им удалось возбудить против меня дело и добиться конфискации книги! Правда, у них не хватило умишка выиграть процесс, суть которого была закамouflирована обвинением в посягательстве на религию. Представляете, глупости этих гермафродитов уже возведены в ранг религии!

Мария решительно возражала против моей поездки на родину, когда выяснилось, что по финансовым соображениям мы не можем ехать всей семьей. Она боялась оставить меня без надзора, а еще больше ее, наверное, пугало, что мое публичное появление перед судом опровергнет слухи о моей душевной болезни.

К тому же Мария заболела, чем именно — не ясно, но состояние ее было такое, что она не вставала с постели. И несмотря на все это, я решил поехать, чтобы лично выступить на суде, и тут же отправился в путь.

Письма, которые я ей писал во время своего отсутствия — эти шесть недель дались мне нелегко, так как надо мной все время висела угроза быть приговоренным к двум годам каторжных работ, — дышали любовью, пробужденной разлукой и вынужденным воздержанием. В моей усталой голове ее образ вновь был овеян

поэзией, я снова обожал ее, а целомудрие и раскаяние облекли ее в белые одежды ангела-хранителя. Все уродливое, низкое, злое, что я обнаружил за эти годы в ее личности, исчезло, словно по волшебству, перед моим мысленным взором вновь возникла мадонна моих первых влюбленных видений, и чувство это было настолько сильным, что во время интервью, которое я дал своему старому товарищу журналисту, я заверил его, будто стал «скромнее и чище под влиянием прекрасной женщины». Эти слова облетели всю прессу объединенного королевства.

Как она небось смеялась, негодяйка! Читатели уж во всяком случае потешались вовсю!

В ответах Марии на мои любовные письма заметен живой интерес к денежной стороне дела, но по мере того, как разрастаются овации в мою честь и в театре, и на улице, и даже в зале суда, она идет на попятный, возмущается глупостью судей и выражает сожаление, что не присутствует на заседаниях.

Что же касается моего любовного бреда, то она держится весьма сдержанно, как бы ничего не принимая, не вступая даже в обсуждение вопроса, жонглируя лишь выражениями типа «понимать друг друга», «ладить друг с другом», сводя все наши семейные неурядицы только к тому, что я ее никогда не понимал! Хотя я готов поклясться, что это она никогда не могла оценить ни одного слова из речей ее ученого супруга-писателя.

Однако среди ее писем было одно, которое пробудило во мне былые подозрения. Я ей как-то написал, что после того, как вырвусь из лап правосудия, мне было бы приятнее всего навсегда обосноваться за границей. Она пришла в неистовство, принялась осыпать меня оскорблениями, грозить, что не подпустит больше к себе, молить о милосердии, валяться у меня в ногах, взывать к тени моей покойной матери и в конечном счете призналась мне, что одна мысль никогда больше не увидит «своей» страны (прошу заметить — Швеция, а не Финляндия) сковала параличом ее тело от головы до пят и что от этого она наверняка умрет.

«Что это за паралич, так внезапно сковавший ее?» — спрашивал я себя и до настоящего времени не сумел найти ему никаких объяснений.

Наконец суд вынес мне оправдательный приговор. И на последовавшем за ним банкете был провозглашен тост в честь Марии, благодаря усилиям которой я лично явился в суд.

Ну, как вам это нравится?!

Я вернулся в Женеву, где находилась моя семья во время моего отсутствия. К немалому моему удивлению, Мария, которая писала, что она все еще больна и лежит в постели, встретила меня на вокзале, она была оживленна и хорошо выглядела, хотя и казалась чем-то озабоченной.

Жизнь снова возвратилась ко мне, вечер, а вслед за ним и ночь вознаградили меня за все пережитые мною несправедливости и невзгоды.

Однако на следующее утро я обнаружил, что наш пансион буквально забит какими-то студентами и девицами легкого поведения. И, прислушиваясь к тому, что болтали вокруг, я убедился, что и Мария без меня развлекалась, играя в карты и выпивая в этом весьма сомнительном обществе, в котором царила шокирующая меня фамильярность. Я почувствовал себя оскорбленным до глубины души. Она, видите ли, вошла тут в свою старую роль такой мамочки по отношению к университетским студентам и вступила в приятельские отношения с худшей из присутствующих здесь дам, которая являлась к столу едва держась на ногах и поражала своим унылым сходством с крупной форестью.

И в этом борделе, представьте, дети мои прожили шесть недель! Их мать, оказывается, ничего не видела, не усматривала в этом ничего дурного, потому что она, понимаете ли, начисто лишена предрассудков. Ее выдуманная болезнь отнюдь не являлась препятствием для сомнительных сборищ со всякими растленными личностями!

Как только она не обзывала меня в ответ на мои упреки — и ревнивцем, и консерватором, и аристократишкой, короче, наши старые бои разгорелись с новой силой!

Так само собой появилось новое горячее, от которого тут же вспыхивал скандал. Наша нянька, простая крестьянская девушка, ничего ни в чем не смыслящая, была возведена в ранг воспитательницы, и вдвоем с Марией они творили бог знает какие глупости. Обе они отличались удивительной ленью, спали до полудня, и поэтому дети, проснувшись, должны были валяться в своих кроватках, а когда они вылезали из них, малюток наказывали розгами. Я решил в это вмешаться и как-то раз, никого не предупредив, вошел в детскую, чтобы поднять детей, которые приветствовали меня радостными криками, как освободителя. В ответ на это моя жена принялась разглагольствовать об индивидуальной свободе, которую она понимала как подавление свободы других, однако я твердо стоял на своем.

Навязчивое желание слабых умов уравнивать то, что уравнено быть не может, тоже произвело разрушительное действие в нашей семье. Моя старшая дочь, отличающаяся ранним интеллектуальным развитием и приученная чуть ли не с пеленок листать мои иллюстрированные книги, имела все основания пользоваться своим правом старшинства. Когда же я запретил младшей касаться книг, потому что она была неспособна взять в руки ценное издание, не испортив его, мать обвинила меня в том, что я не соблюдаю равенства.

— У них все должно быть одинаково.

— Все? И размеры платьев и туфелек тоже?

Ей нечего было ответить, поэтому на меня посыпались новые глупые обвинения.

— Каждый должен получать по своим способностям и по своим заслугам. Для старшей — одно, для младшей — другое.

Но она не захотела вникнуть в мои рассуждения, и на меня было положено клеймо несправедливого отца, который «ненавидит» свою младшую дочь. По правде говоря, старшая мне и в самом деле была милее, прежде всего именно потому, что она старшая, что у нас с ней общие воспоминания о первых счастливых днях моей жизни, что она, естественно, раньше младшей стала существом разумным, а может быть, здесь дело еще и в том, что младшая родилась уже в те годы, когда я стал сомневаться в верности ее матери. Однако не могу не отметить, что справедливая мать, в отличие от несправедливого отца, проявляла полнейшее равнодушие к своим детям, дома она только спала, а все остальное время проводила в развлечениях, детям она была чужой, они все больше привязывались ко мне, и она даже начала их ревновать. Чтобы как-то это исправить, я строго следил за тем, чтобы они получали игрушки и конфеты только из рук своей матери, надеясь их таким образом к ней приручить.

Так малютки постепенно вошли в распорядок моей жизни, и в самые мрачные минуты, когда меня особенно удручало одиночество, общение в эти маленькие живыми существами примиряло меня с жизнью и неразрывно связывало с их матерью. Таким образом, сама мысль о том, чтобы нам расстаться, представлялась мне невозможной — обстоятельство для меня пагубное, — ибо благодаря этому я попал в полную кабалу.

Последствия моей атаки на феминисток не замедлили сказаться, на меня начали нападать в швейцарских газетах так упорно, что пребывание мое в стране стало невыносимым. К тому же там запретили продажу моих произведений, меня гнали из города в город, и в конце концов я сбежал во Францию.

Но мои парижские друзья за это время стали отступниками, они перешли на сторону жены. Затравленный, как дикий зверь, я сдался и, убегая от нужды, нас уже караулившей, нашел наконец прибежище в деревне под Парижем, которую облюбовали себе художники. Так я снова попал в западню, из которой не смог выбраться в течение шести месяцев, быть может, самых тяжелых в моей жизни.

Общество там состояло из молодых шведских художников, в большинстве своем самоучек, не получивших вообще никакого образования, выходцев из крестьянских семей, начинавших свой жизненный путь учениками у разных ремесленников. Но еще хуже были женщины-художницы, свободные от всех предрассудков и так взвинченные гермафродитской литературой, что всерьез стали вообразить себя равней мужчинам. Чтобы спрятать свою женскую сущность, они стремятся перенять у мужчин все внешнее — одним словом, их поведение — курят, напиваются, играют на бильярде, ходят по нужде прямо на улице, за какой-нибудь дверью, не стесняются, когда их рвет в публичных местах, и, по собственному признанию, не нуждаются в мужском обществе.

Дальше идти было некуда!

Чтобы не оказаться в полном одиночестве, я завязал какие-то отношения с двумя из этих чудовищ — одна выдавала себя за литераторшу, другая называла себя художницей.

Началось все с того, что литераторша нанесла мне визит, как знаменитому писателю, что пробудило ревность моей жены, тут же решившей отбить у меня эту союзницу, показавшуюся мне достаточно просвещенной, чтобы оценить вескость моих доводов против «полуженщин».

Между тем произошло несколько инцидентов, которые, если их сопоставить, не могли не возродить мои самые мрачные опасения, и вскоре я снова оказался во власти мучительной ревности.

У одного нашего знакомого был художественный альбом с карикатурами на всех знаменитых скандинавов. Я был изображен с рогом на лбу, вернее, с поднятой прядью волос, точь-в-точь похожей на рог. Автором этого шаржа был к тому же мой лучший друг, и из всего этого я сделал вывод, что неверность моей жены известна всем, кроме меня. Я обратился к хозяину альбома за разъяснением. Мария, однако, успела его заранее предупредить о моем тяжелом душевном состоянии, и он мне поклялся, что в шарже нет и тени намека, что я там вовсе не изображен в виде рогоносца, и стал уверять, что у меня просто разыгралось воображение, на чем история с альбомом и была закрыта, во всяком случае до поры до времени.

Как-то под вечер к нам с Марией пришел в гости пожилой господин, недавно приехавший из Скандинавии, и мы пили с ним кофе в садике. Было еще совсем светло, и я наблюдал за Марией, за тем, как менялось выражение ее лица во время нашего разговора. Старик болтал не закрывая рта, рассказывал о шведских новостях и в какой-то связи мимоходом упомянул имя врача, к которому Мария ходила на сеансы массажа. Услышав это имя, Мария вдруг прервала поток стариковского красноречия и как бы с вызовом спросила:

— Ах, вы, оказывается, знаете доктора Х.?

— Его все знают... Я хочу сказать, у него есть определенная репутация...

— Репутация ловеласа, — прервал я.

Кровь отлила от лица Марии, бесстыдная улыбка застыла на ее приоткрытых губах, обнажив зубы. И разговор тут же увял от охватившей всех неловкости.

Оставшись наедине со стариком, я стал его умолять не скрывать от меня слухов, которые ходили в столице по поводу Марии и доктора. Он клялся мне всеми клятвами, что о них нет никаких разговоров. Но я продолжал настаивать и после часа всевозможных проклятий получил от него утешение в такой странной формулировке:

— К тому же, мой друг, если предположить, что был один любовник, то можно не сомневаться, что были и другие.

Вот и все, что мне удалось от него узнать. Но с того дня Мария больше ни разу не произнесла имени доктора, хотя прежде, видимо, желая бросить вызов слухам, она при всяком удобном случае публично называла его, словно тренировалась делать это, не заливаясь краской стыда. Это было уже вроде некой навязчивой идеи, перед которой отступали угрызения совести.

Странное открытие пробудило меня от спячки. Я принялся рыться в своей памяти, чтобы найти соответствующие улики, и тотчас же вспомнил одно литературное произведение, которое появилось как раз в дни процесса и проливалось, как я вдруг понял, свет на волнующие меня обстоятельства. Правда, прямой уликой его не назовешь, это я признавал, однако именно оно и помогло мне отыскать путеводную нить, которая привела меня к истокам всей истории.

Речь идет о драме знаменитого норвежского «синечулочника», эдаком двигателе всего уравнительного безумия, которая еще в Швеции попала мне в руки, однако тогда я не увидел в ней решительно ничего, что могло бы меня касаться. Теперь же, напротив, все с поразительной естественностью ложилось на мою историю и возбуждало самые чудовищные предположения насчет репутации моей жены.

Вот краткое содержание этой драмы.

Некий фотограф (заметьте, это мое прозвище, меня наградили им за то, что я пишу романы с героями, имеющими прототипов) женится на девице сомнительного поведения, бывшей прежде содержанкой крупного помещика. Молодая чета живет на деньги, которые жена тайно берет от своего бывшего любовника, и на то немного, что ей удается раздобыть самой, работая вместо мужа, который оказывается гулякой и лентяем, проводящим время в попойках с цыганами.

Какое это искажение обстоятельств нашей жизни! Все тут перевернуто с ног на голову, видимо, стараниями издателей, которые были в курсе того, что Мария фактически выполняла переводы, взятые мною на свое имя, но понятия не имели о том, что я безвозмездно их правил, а весь гонорар полностью отдавал ей.

Ситуация обостряется, когда фотограф узнает, что обожаемая им дочь, родившаяся раньше срока, оказывается вовсе не его дочерью и что жена обманула его, так как была беременной, когда вступала с ним в брак. И как предел падения — обманутый муж доходит до того, что принимает от бывшего любовника своей жены изрядную сумму в виде компенсации.

Здесь я уловил намек на заем, который сделала Мария под обеспечение барона, но который я перевел на свое имя после свадьбы.

Однако в отношении незаконнорожденной дочери я не увидел и тени аналогии, поскольку наша дочь родилась лишь два года спустя после нашей свадьбы.

Впрочем, нет! А умершая девочка? Вот я и напал на след! Маленькая покойница, которая и спровоцировала наш брак, никогда бы не случившийся без нее!

Вывод, быть может, и несколько рискованный, но все же вывод этот сам напрашивается. Он опирается и на визиты Марии к барону после нашего бракосочетания, и на постоянные общения барона с нами, и на его картины, развешанные на стенах моего дома, и на заем... да и на все остальное!

Я намеревался устроить после обеда большую сцену, подвергнуть Марию пристрастному допросу, построенному, однако, в форме защитительной речи, в ответ на обвинение, брошенное нам обоим подставным лицом феминисток, который получил изрядный куш за свое грязное дело.

Когда Мария вошла ко мне в комнату, я принял ее как можно более сердечно и попросил сесть.

— Что случилось?

— Дело серьезное, и оно касается нас обоих.

Изложив ей содержание пьесы, я выдумал, для пушей убедительности, будто актер, игравший роль фотографа, был загримирован под меня.

Она молчала, явно что-то обдумывая, не в силах скрыть своего волнения.

И тогда я начал свою речь:

— Если это правда, то признайся мне во всем, и я клянусь, что прошу тебя. Если умершая девочка была дочкой Густава, то мне не в чем тебя упрекнуть, ведь со мной тебя тогда еще ничего не связывало, кроме смутных обещаний, ты от меня еще ничего не получала, а значит, была совершенно свободна в своих действиях. Что же касается героя драмы, то мне кажется, он ведет себя как человек, обладающий сердцем, неспособный загубить будущее своей дочери и своей жены. И в деньгах, которые он соглашается взять как вспомоществование для дочери, я не вижу ничего зазорного, считая это естественной компенсацией.

Она слушала меня с полным вниманием, ее буржуазный ум готов был клюнуть на приманку, однако он все же не проглотил ее. Но если судить по тому, как ее лицо, сперва искаженное угрызениями совести, просветлело, когда я признал за ней право располагать своим телом, поскольку в то время она еще не получала от меня денег, то можно смело сказать, что мои доводы показались ей убедительными. И обманутого мужа она тоже оправдала, назвав его «благородным сердцем».

Так и не вырвав у нее признания, я продолжал свою речь, оставляя Марии всяческие лазейки, чтобы она не оказалась припертой к стенке, спрашивал ее совета относительно мер, которые нам следует принять для нашей реабилитации, предлагал, например, написать в ответ наш роман, чтобы обелить в глазах общества себя и наших детей.

Я говорил целый час, и все это время она просидела у моего

стола, нервно вертя в руках ручку, но не произнесла ни слова, лишь несколько раз у нее вырывались какие-то междометия.

Наконец я вышел, чтобы прогуляться и сыграть партию в миллиард. Когда я вернулся к себе в комнату, я застал Марию на прежнем месте, она сидела неподвижно, будто статуя, уже больше двух часов.

Услышав, что я вошел, она выпрямилась и спросила меня:
— Это была ловушка, да?

— Да что ты, конечно нет! Неужели ты думаешь, что я способен погубить мать своих детей!

— По-моему, ты на все способен, ты хочешь от меня избавиться, как уже хотел тогда, когда подослал ко мне господина Ц. (тут она называет имя друга, который еще не был упомянут), чтобы меня соблазнить. Ты рассчитывал погубить меня, уличив в прелюбодеянии.

— Кто тебе это сказал?

— Хельга!

Это подруга Марии, та, последняя, которая появилась перед нашим отъездом. Вот как она мне отомстила!

— И ты ей поверила?

— Конечно! Но я тебя тоже обманула, как, впрочем, и господина Ц. Да, да, обманула вас обоих!

— Выходит, ты меня обманывала с кем-то другим?

— Я этого не говорила!

— Нет, ты только что в этом призналась. Раз ты обманула нас обоих, значит, и меня тоже. Разве это не логично?

Она ведет себя так, будто и в самом деле виновата, сердится, требует доказательств.

Доказательства!

Раздавленный коварным обманом, жертвой которого стала Мария — я и не предполагал, что жалкое человеческое сердце способно на такую низость, — я склонил голову и пал перед ней на колени, моля ее о прощении:

— Да как же ты могла в это поверить! Ты думала, что я хочу от тебя отделаться! Это я-то, который всегда был тебе верным другом и преданным мужем, который жить без тебя не может! Ты ведь жаловалась на мою ревность, ты сама видела, как женщины пытались меня соблазнить, но я всегда разоблачал перед тобой их дьявольские козни, и ты все-таки в это поверила!

Она испытала жалость ко мне и в порыве искренности, охватившей ее на мгновение, призналась, что никогда в это не верила.

— И все же ты мне изменяла! Скажи мне правду, и я тебя прощу. Избавь меня от черных мыслей, которые стали моим наваждением. Скажи правду!

Она не сказала правды, а ограничилась лишь тем, что еще раз обозвала господина Ц. «негодяем».

Мой самый близкий друг — негодяй! Я хотел только одного — умереть. Жизнь стала для меня невыносимой!

Во время обеда Мария обращалась со мной приветливой обычного, а вечером, когда я уже лежал в постели, она пришла ко мне в комнату, села возле кровати, стала пожимать мою руку, целовать глаза, а в конце концов вдруг разрыдалась, и вид у нее был совсем несчастный.

— Ты плачешь, дорогая? Скажи мне, что за горе тебя мучает, и я тебя утешу.

Она бормотала только какие-то невнятные, обрывочные фразы, что-то про мое великодушное сердце, про мою снисходительность к людям, про широту взглядов и про испытания, уготовленные нам жизнью.

Что за странность! Я обвинил ее в измене, а она в ответ меня ласкает и поет дифирамбы!

Однако поджог был совершен, и пожар не мог не разгореться. Она мне изменила, это ясно. Значит, я должен узнать, с кем именно! Последующая затем неделя была из самых горьких в моей жизни. Я вынужден был отказаться от всех своих принципов, врожденных, полученных по наследству и в результате воспитания, и пойти на преступление. Я решил распечатывать письма, которые получала Мария, чтобы понять наконец, на каком я свете. И несмотря на то, что по отношению к ней я проявлял в этом смысле полное доверие, разрешая читать адресованную мне корреспонденцию во время моих отъездов, мне трудно было нарушить священный закон, результат так называемого социального контракта, охраняющий тайну переписки.

И все же я скользил по наклонной плоскости, и в один прекрасный день, потеряв к себе всякое уважение, держал в руках распечатанное письмо, и руки мои так при этом дрожали, словно я развернул смертный приговор своей чести. Итак, я читаю сочинение ее подруги-авантюристки, как всегда подписанное шифром «№ 1».

В издевательских, пренебрежительных выражениях она изощрялась насчет моего безумия и возносила молитву господа богу, чтобы он освободил Марию от ее страданий, призвав меня к себе.

Выписав из этого письма самые наглые фразы, я заклеил конверт, решив подбросить его к вечерней почте. В соответствующий час я вручил жене письмо и сел рядом, чтобы наблюдать за ней.

Дочитав, видимо, до того места, где шла речь о желательности моей скорейшей смерти — это были как раз первые строчки на второй странице, — она рассмеялась недобрым смехом.

Таким образом, получалось, что единственный путь к освобождению от угрызений совести моя любимая видела в том, чтобы я умер. Самые большие надежды на избавление от моральных последствий своей измены она связывала с моей кончиной, после которой она получила бы к тому же деньги по моему страховому полису и пенсию, как вдова знаменитого поэта. Тогда она смогла бы снова выйти замуж либо остаться соломенной вдовой и жить, как ей заблагорассудится. О, любимая!

Итак, *moriturus sum*¹, я приближал катастрофу, всю потягивая абсент, который делал меня счастливым, и играл в бильярд, который охлаждал мой пылающий мозг.

Но тем временем возникло новое осложнение, более пагубное, чем все, что было до сих пор. Литераторша, которая делала вид, что привязалась ко мне, на самом-то деле была покорена Марией, восплававшей к ней столь горячей любовью, что это могло дать повод всяческим сплетням.

В то же время приятельница этой литераторши, художница, стала ревновать ее к Марии, что лишь подлило масла в огонь. Как-то вечером Мария, несколько помягчавшая от моих объятий, спросила меня, уж не влюблен ли я в N.

— Нимало. В эту чудовищную пьянчужку! Надо же такое подумать!

— А вот я схожу с ума по ней! Правда странно? При чем настолько, что страшусь оставаться с нею наедине.

— А что, собственно, вы бы делали?

— Не знаю. Мне всегда хочется ее поцеловать. Она очаровательна. И как изумительно сложена!

Неделю спустя мы пригласили к себе друзей из Парижа с их женами. Это были художники, начисто лишённые всяческих предрасудков.

Мужья приехали, однако, без жен и объяснили их отсутствие столь неубедительно, что меня это больно ранило.

И у нас началась, представьте, настоящая оргия. Поведение всех мужчин потрясло меня до глубины души, иначе чем скандальным его не назовешь.

С Марией и ее двумя подругами гости обходились как с девками. Все были пьяны как свиньи, и вдруг я увидел, что мою жену целует какой-то лейтенант.

Замахнувшись на них бильярдным кием, я потребовал объяснения.

— Да это же друг детства, к тому же он мой родственник, не будь смешным! — осадила меня Мария. — И в России все целуются при встрече, а мы, финны, — русские подданные.

— Ложь! — крикнул мне один мой друг. — Они вовсе не родственники. Это ложь!

В эту минуту я был готов стать убийцей, и только мысль, что нельзя оставить детей круглыми сиротами, удержала меня.

Потом, когда мы с Марией были наедине, я ей устроил разнос.

— Девка!

— Почему?

— Потому, что разрешаешь обращаться с собой как с девкой.

— Ты просто ревнуешь.

— Конечно, я ревниво отношусь к своей чести, к достоинству нашей семьи, к репутации моей жены и к будущему наших детей. А ты своим поведением добилась того, что приличные женщины

¹ Обреченный на смерть (*лат.*).

избегают нашего общества. Позволить себе публично целоваться с первым встречным! Ты просто безумна! Ты ничего не видишь, ничего не слышишь, ничего не понимаешь и потеряла всякое чувство долга. Если ты не станешь вести себя иначе, мне придется запереть тебя в сумасшедший дом. И учти, отныне я запрещаю тебе встречаться со своими подругами.

— Разве есть доказательство того, что наши отношения соответствуют твоим подозрениям?

— Нет, но ты же болтаешь бог знает что! Не ты ли призналась мне, что влюблена в N? А потом эта N, помнишь, будучи пьяной, заявила нам, что, живи она в своей стране, ее бы давно сослали.

— Но ты ведь отрицаешь само понятие порока?

— Пусть эти барышни забавляются как им угодно и сколько угодно, мне все равно, пока это не касается моей семьи. Но с того момента, как их забавы вовлекают нас в какие-то неприятности, эти развлечения становятся для меня предосудительными. В философском плане я не признаю порока, не считая, конечно, пороков развития индивидуума, в физическом там или психологическом смысле. Недавно в Париже в Палате депутатов стоял вопрос о противоестественных пороках, и все знаменитые врачи присоединились к мнению, что закон не должен вмешиваться в эти вопросы, за исключением тех случаев, когда ставятся под удар интересы граждан.

Было бы больше смысла проповедовать рабам, чем объяснять философское понятие этой женщине, которая послушна лишь голосу своих скотских инстинктов.

Чтобы быть в курсе слухов, ходящих в нашей среде, я написал письмо преданному другу в Париж, умоляя его сообщить мне все без утайки.

Он мне ответил весьма откровенно, что в скандинавских кругах жена моя пользуется репутацией женщины с порочными наклонностями, что же касается тех двух датских барышень, о которых я спрашивал, то они известны своим распутством и посещали в Париже весьма подозрительные кафе.

Мы задолжали хозяевам пансиона немалую сумму, у нас не было никаких средств к существованию, поэтому о том, чтобы бежать, и речи быть не могло. К счастью для нас, датчанки познакомились с одной хорошенькой девушкой из деревни, которая стала проводить с ними много времени, и это настолько восстановило против них всех деревенских жителей, что датчанкам этим пришлось срочно отсюда убираться. Однако наше знакомство с ними, длившееся уже восемь месяцев, нельзя было оборвать так резко. Тем более что обе они были из хороших семей, получили хорошее воспитание и оказались добрыми товарищами в дни моих невзгод. Словом, мне хотелось обставить их вынужденный отъезд пристойным образом, и с этой целью мы решили устроить в их честь прощальный обед в ателье одного молодого художника.

Во время десерта, когда все уже изрядно выпили, Мария, подавшись своим чувствам, встала с бокалом в руке, чтобы спеть

песенку, которую она сама сочинила на известный мотив из «Миньон»:

Ужели вы не знаете Марии,
Которая подружек обожает?
И муж ее, красивейший мужчина,
Подчас пеняет горько ей за это.
Она не создана женой быть мужней,
Раз может зажигать девичье сердце.
И вот теперь разьедутся подруги,
Вдовой почувствует себя Мария,
Хоть много лет и замужем она.
Хранятся в памяти лишь дни Монкура,
Веселые, чарующие дни!..
Прислушайтесь, что говорит Мария:
Остаться здесь хотела б я навечно,
И песни петь, и пить вино, любить лишь радость,
Бессмертно жить!
Да, здесь!
И только здесь!

Она спела это в порыве чувств, вдохновенно, ее огромные миндалевидные глаза, влажные от слез, сверкали, отражая пламя свечей, она широко распахнула свое сердце, и, признаюсь, я был увлечен, очарован ею. Наивность и трогательная искренность Марии делали невозможным даже мысль о чем-то чувственном — просто женщина воспевала женщину. Да и в ее облике не было решительно ничего мужеподобного, нет, нет, это была любящая женщина, нежная, таинственная, загадочная и неуловимая.

Что же до предмета воспеваний — рыжей девицы с грубым лицом, горбатым носом, тяжелым подбородком, желтыми глазами, отечными от питья щеками, плоской грудью и крючковатыми пальцами, — то она являла собой существо настолько мерзкое и отвратительное, что на нее не мог бы польститься даже последний батрак.

Закончив петь, Мария села рядом с этим чудовищем. Рыжая датчанка тут же вскочила и, стиснув обеими ладонями лицо Марии, впилась в ее губы своим ртом. Я стал усердно наливать этой датчанке, чокался с ней, и вскоре она надралась до такой степени, что упала на колени, уставилась в меня тупым взглядом, а потом оперлась спиной о стенку, залилась бессмысленным хохотом.

Мне ни разу не приходилось видеть столь грязное животное в человеческом облике, и мое отношение к вопросам женской эмансипации сложилось в тот час уже окончательно.

Обед кончился скандалом, потому что датчанку-художницу обнаружили на улице, она сидела на краю тротуара, ее рвало, буквально выворачивало наизнанку, и при этом она выла, как дикий зверь. На следующее утро обе девицы отбыли.

Однако после их отъезда Мария пережила настоящую депрессию, и я испытывал к ней лишь жалость, настолько она скучала по своей подруге, так страдала от того, что разлучена с ней. Она в одиночестве гуляла по лесу, что-то напевая про себя, посещала все места, где они бывали вместе, — одним словом, все симптомы

раненого сердца были налицо, и я стал опасаться за ее разум. Она была несчастна, и я оказался бессильным ее утешить. Ласк моих она стала избегать, когда я пытался ее поцеловать, она меня отталкивала, и я постепенно смертельно возненавидел эту отсутствующую подругу, потому что она отняла у меня любовь моей жены.

А Мария, не отдавая себе отчета в том, что происходит, не скрывала причины своей печали и всем жаловалась на свое горе. В это просто невозможно поверить!

В те ужасные дни Мария вела оживленную переписку со своей подругой, и вот однажды, впад в полное бешенство от вынужденного воздержания, я перехватил письмо рыжего чудовища. Настоящее любовное послание! Моя птичка, мой ангелочек, умница моя, прекрасная Мария со своим миром благородных чувств и рядом — грубый муж, мужлан, идиот! И планы бегства, похищения! Терпеть это дольше я был не в силах, и вечером, при свете луны — помилуй боже! — у нас с Марией дело дошло буквально до драки. Она кусала мне руки, а я волок ее к реке, чтобы утопить, как котенка. И только мысль о детях вернула мне разум.

Я стал готовиться к самоубийству, но до этого я хотел написать историю своей жизни.

Я уже завершал первую часть, когда до меня дошел слух, что датчанки сняли в нашей деревне квартиру на лето.

Я тут же велел сложить чемоданы, и мы отправились в немецкую Швейцарию.

Безмятежный край Ааргау — вот истинная аркадия, где стадо на пастбище выгоняет лично господин почтмейстер, где командир полка собственноручно правит лошадь, запряженной в единственный в тех местах экипаж, когда случается ехать в город, где девушки выходят замуж невинными, а парни стреляют из луков и бьют в барабаны. О, обетованная земля, родина желтого пива, соленой колбасы, игры в кегли, Габсбургов и Вильгельма Телля, сельских празднеств, незамысловатых песен, толстых пасторских жен и монастырской тишины.

Возбужденные умы обретают там покой, я почувствовал себя заново рожденным, и на Марию, уставшую бунтовать, нападает что-то вроде добродушной апатии. Игра в триктрак, которой мы усердно предавались, служила нам громоотводом, шумным объяснением мы предпочли стук костяшек домино, а доброе безобидное пиво заменило нам абсент и возбуждающее вино.

Влияние среды давало себя знать, и я не переставал удивляться тому, что после стольких пережитых бурь жизнь может еще быть веселой, что человеческий ум оказывается на удивление эластичным и сопротивляется стольким ударам судьбы и что прошлое полностью забывается, и отныне я мог считать себя счастливейшим из мужей, связанным узами брака с вернейшей из жен.

Мария, лишенная общества и подруг, довольно быстро вошла в роль матери, не прошло и месяца, как наши дети стали щеголять в красивых одеждах, скроенных и сшитых их мамой, которая теперь полностью посвящала им все свое время.

Однако Мария начала понемногу сдавать, ее прежнее игривое настроение пропало, чувствовалось, что для нее наступила пора зрелости. В каком горе она была, когда потеряла свой первый зуб! Бедная Мария! Она плакала, сжимая меня в объятиях, молила не разлюбить ее. Ей исполнилось тридцать семь лет. Волосы у нее стали сечься, грудь уплощилась, словно волны после бури, лестницы становились все более высокими для ее маленьких ножек, а легким все чаще и чаще стало не хватать воздуха. Но при этом я любил ее еще больше, потому что теперь она, несомненно, будет принадлежать только мне одному, вернее, нам, нашей семье. Я любил ее больше прежнего, несмотря на то что чувствовал себя здоровым, как никогда, обновленным, я переживал, как говорится, вторую весну и расцвет своей мужской стати. Наконец-то она была моей. Ей придется стареть, окруженной моей заботой, обороненной ото всяких соблазнов, посвящая свою жизнь детям.

Признаки ее выздоровления становились все более явными и обретали трогательные черты. Так, например, предвидя опасность быть женой тридцативосьмилетнего молодого человека, она стала оказывать мне честь своей беспричинной ревностью, занялась своими туалетами и вела себя как истинная женщина во время моих ночных визитов.

Однако на самом деле ей нечего было опасаться, потому что я воистину существо моногамное, и, вместо того чтобы пользоваться своим положением, делал все возможное, чтобы избавить ее от страшных мук ревности, и успокаивал постоянными свидетельствами моей омоложенной любви.

Осенью я решил совершить большое путешествие недели на три, не меньше. Мария, для которой расстройство моего здоровья стало как бы навязчивой идеей, всячески пыталась отговорить меня от этой, как ей казалось, опасной затеи.

— Ты живым не вернешься, малыш!

— Посмотрим.

Так поездка эта оказалась для меня делом чести, таким мужественным подвигом, с помощью которого я надеялся вновь завоевать ее любовь, как сильный мужчина.

Поездка и правда оказалась не из легких, но я вернулся окрепшим, загорелым, исполненным новых сил.

Во взгляде, которым она окинула меня в момент нашей встречи, были восхищение, вызов и вместе с тем некоторое разочарование. Я же, налитый жизненными соками, да еще после трехнедельного воздержания, повел себя с ней как с любовницей и безо всяких предварительных переговоров, как обычно, обняв за талию,

опрокинул на постель и взял то, что мне принадлежало по праву, причем все это я проделал после сорокачасовой поездки в поезде. Судя по ее растерянному виду, я понял, что она не может решить, как себя вести, боясь, видно, показать мне свои истинные чувства, а быть может, напуганная тем, что вместо мужа появился мужчина-дрессировщик.

Когда я пришел в себя, то сразу же заметил, что у Марии как-то изменилось выражение лица, а разглядев ее как следует, увидел, что она вставила себе зубы, отчего явно помолодела, да и отдельные детали ее туалета также свидетельствовали об ее возрожденном кокетстве. Продолжая свои наблюдения, я тут же обнаружил, что Мария завязала чрезвычайно горячую дружбу с какой-то четырнадцатилетней девочкой, иностранкой, с которой она гуляла, купалась и все время целовала ее. Одним словом, я понял, что нам необходимо срочно отсюда бежать.

Так мы оказались в немецком пансионе на берегу озера Четырех Кантонов.

Новое падение, причем весьма опасного свойства.

В нашем пансионе жил лейтенант. Мария стала за ним ухаживать, они играли в кегли и вместе гуляли в саду, пока я работал.

За табльдотом во время обеда я заметил, что они, ни слова не говоря друг другу, обмениваются все время нежными взглядами. Чтобы быть до конца правдивым, признаюсь, мне показалось, что они таким образом занимаются любовью. Я решился, так сказать, на штурм и, повернув голову, уставился в лицо моей жены. Поняв, что ее выследили, она скользнула взглядом по виску лейтенанта, и так как ее глаза при этом невольно уперлись в стенку, где висела реклама какой-то пивной, она сказала, как бы к слову, но на самом деле испуганно и растерянно, первую попавшуюся фразу, вроде той, тогда, в лодке с рыбаком, когда спросила о цене башмаков:

— Что это за пивная?

— Ты занимаешься любовью с лейтенантом! — бросил я ей в упор.

Она согнула шею, будто ее потянули за удила, она была сражена и не проронила ни слова.

Два дня спустя она объявила мне вечером, что очень устала, поцеловала меня, пожелав спокойной ночи, и скрылась в своей комнате. Я лег, чтобы читать, но вдруг вскочил, потому что услышал, что внизу, в гостиной, поет Мария.

Я пошел за горничной и велел ей привести ко мне жену.

— Скажите ей, чтобы она немедленно поднялась сюда, а не то я сам спущусь с палкой и отлуплю ее при всем честном народе!

Мария тут же поднялась и вошла ко мне с видом оскорбленной невинности, она явно стыдилась моей выходки и спросила, на каком основании я дал горничной такое странное поручение и почему я запрещаю ей быть в обществе постояльцев пансиона, где много дам.

— Не это меня оскорбило, а твое коварство: ты нарочно заставила меня уйти из гостиной, чтобы остаться там одной.

— Изволь, если ты настаиваешь, я пойду спать.

Что за внезапное простодушие, что за послушание! Что случилось?

За осенью последовала снежная зима, печальная, пустынная. Мы были теперь единственными постояльцами в этом скромном пансионе и из-за холода ели не за табльдотом в отдельной комнате, как прежде, а в большом общем зале ресторана. Однажды во время завтрака за соседний столик сел человек высокого роста, довольно красивый для своей социальной среды, судя по всему, он был лакеем, и заказал стакан вина.

Мария со своей обычной развязностью стала разглядывать посетителя, как бы оценивая его стати, и тут же впала в задумчивость, а он вскоре ушел, явно смущенный таким лестным вниманием.

— Какой красавец! — воскликнула Мария, обращаясь к хозяину.

— Это мой бывший портье, — ответил он.

— В самом деле? Какая у него величественная осанка, это редкость для людей его круга. Ничего не скажешь, настоящий красавец!

Мария, к великому удивлению хозяина, пустилась в рассуждения по поводу особенностей мужской красоты.

На следующий день красавец портье уже сидел на своем месте, когда мы вошли в зал. Он надел воскресный костюм, тщательно причесался, нафиксатуарил бороду, — одним словом, по всему было видно, что его предупредили об одержанной им победе. И вот этот увалень, поздоровавшись с нами и получив в ответ изящное приветствие моей жены, позирует перед нами, будто настоящий красавец.

На следующий день он снова появился, решив на этот раз перейти в наступление. С присущим его профессии вкусом он вступил в разговор, однако не утруждая себя попыткой, как обычно делают в таких случаях, охмурить сперва мужа, обратился с пошлой галантностью непосредственно к моей жене.

Все это даже представить себе невозможно! Но тем не менее Мария, изящная и привлекательная, как ни в чем не бывало поддержала эту беседу, нимало не смущаясь присутствием мужа и детей.

Я еще раз пытаюсь открыть ей глаза, умоляю ее беречь свою репутацию, но в ответ получаю только уже привычное возмущение по поводу моего «пакостного воображения».

Вскоре появился еще один позер, толстяк, хозяин деревенской табачной лавочки, у которого Мария покупала всякую галантерейную мелочь. Более хитрый, чем портье, и вместе с тем более предприимчивый, он попытался сперва завоевать меня. Во время

первой встречи, весьма нагло уставившись Марии в лицо, он, обернувшись к хозяину гостиницы, воскликнул громко:

— Господи, какая же это красивая семья!

Сердце Марии сразу растаяло, а ее обожатель стал ежедневно появляться в гостинице.

Как-то вечером он был навеселе, а следовательно, и смелым. Он подошел к нам — мы играли в триктрак — и, наклонившись к Марии, попросил ее объяснить правила игры. Стараясь быть как можно более вежливым, я все же сделал ему замечание, и он возвратился на свое место. Но Мария, обладая более чувствительным сердцем, чем я, сочла, что должна сгладить нанесенное ему оскорбление, и, обернувшись к нему, спросила ни с того ни с сего:

— Вы играете в бильярд?

— Нет, сударыня, вернее, плохо, но я к вашим услугам!

Сказав это, он встал, подошел к нам и предложил мне сигару. А когда я отказался, он обратился к Марии с тем же предложением:

— А вы, сударыня?

К счастью для нее, для табачной лавочки и для будущего моей семьи, она тоже отказалась кокетливо-благодарным жестом.

Но как это человек мог осмелиться предложить в ресторане сигару светской женщине, да еще в присутствии ее мужа?

Так что же, я безумный ревнивец или жена моя ведет себя настолько неприлично, что вызывает желание у первого встречного?

После истории с сигарой я закатил ей сцену у себя в комнате исключительно с целью разбудить эту сомнамбулу, которая, даже не подозревая об этом, шла прямым путем к своей гибели. Чтобы подвести итоги, я безжалостно перечислил все ее старые и новые грехи, разобрал во всех подробностях ее поведение.

Бледная, с синяками под глазами, Мария выслушала меня до конца, ни слова не говоря. Потом она встала и пошла к себе, чтобы лечь спать. Но в этот раз, впервые в своей жизни, я опустился до того, что решил следить за ней. Сбежав вниз, я занял пост у двери ее комнаты, чтобы подглядывать в замочную скважину.

Служанка, освещенная лампой, сидит прямо передо мной. Мария, очень взволнованная, ходит, говорит о моих несправедливых подозрениях, будто обвиняемая произносит защитную речь. Она повторяет мои выражения, словно хочет этим избавиться от них, выкинуть их из головы.

— А ведь я совершенно невинна! Хотя мне не раз представлялась возможность грешить.

Затем она ставит на стол бутылку пива и два стакана, наполняет стаканы и чокается со служанкой.

Вот она садится напротив девушки, наклоняется к ней совсем близко и не сводит глаз с ее груди. У нее причудливо сокращаются мускулы рта, подобно тому как у лошади, страдающей тиком, все время подергиваются губы. Она прижимается головой к груди служанки, обнимает ее за талию и говорит:

— Подружка, поцелуй меня.

— Подружка! — отвечает служанка робким голосом.

— Поцелуй м е н я , — повторяет Мария свою просьбу.

Служанка целует ее в щеку.

— Раз целовать грудь преступление, то хоть погладь меня по голове.

Служанка начинает ей чесать волосы, а Мария раскидывается на двух стульях, кладет голову на колени девушки, голос ее становится глухим, тягучим, словно она впадает в какое-то оцепенение.

Она стонет, она несчастна! Бедная Мария! И она ищет утешения вдали от меня, хотя я единственный, кто мог бы ей помочь избавиться от угрызений совести. Внезапно она выпрямляется и к чему-то прислушивается, глядя на дверь:

— Там кто-то есть!

Я убегаю. Когда же, спустя некоторое время, возвращаюсь на свой пост, то застаю Марию полуодетой. Она показывает служанке свои плечи, обращает ее внимание на красоту линий, всячески пытается привлечь ее внимание к своему голому телу. Но так как это не производит впечатлений на служанку, она продолжает свою защитительную речь:

— Он сумасшедший, тут нет сомнений, и я боюсь, что он меня отравит. У меня какие-то боли в желудке... Нет, не думаю!.. Надо бежать в Финляндию, ведь верно?.. Но он от этого умрет, потому что он так любит детей!..

Что все это может означать? Конечно, раскаяние. Я уличил Марию в ее тайных страстях, она охвачена отвращением и ищет убежища на груди женщины. Испорченный ребенок, коварная негодяйка и прежде всего несчастное создание.

Всю ночь я не мог сомкнуть глаз, я был убит горем. В два часа ночи Мария стала кричать во сне, причем так ужасно, что, охваченный жалостью, я постучал в стенку, чтобы ее освободить от страшных видений. К слову сказать, это случилось не в первый раз.

Наутро она меня поблагодарила за то, что я ее разбудил, и тогда, исполненный к ней сочувствия, я приласкал ее и спросил, не надо ли ей в чем-то признаться... другу?

Нет! Представьте себе, ей нечего сказать!

Признайся она мне в тот момент во всем, я ее простил бы, настолько меня тронули ее угрызения совести, так я любил ее, несмотря ни на что, а быть может, именно из-за ее падения! Бедняжка! Как можно поднять руку на столь несчастное создание!

Но вместо того, чтобы спасти меня от мук сомнений, она оказала мне жестокое сопротивление, дошла до того, что начала всерьез считать меня сумасшедшим, инстинкт самосохранения помог ей создать такую легенду, которая имеет, однако, видимость реального факта, и легенда эта стала для нее в конце концов как бы щитом от угрызений совести.

Перед Новым годом мы отправились в Германию и остановились на берегу Боденского озера.

В Германии, стране солдат, где еще сохранился патриархальный уклад жизни, Мария со своими глупостями о правах женщины

сразу потеряла почву под ногами. Там девушкам запрещено учиться в университете, там приданое офицерской жены хранится в военном министерстве, как неделимое имущество семьи, там все должности по закону принадлежат только мужчине как кормильцу семьи.

Мария рвалась, будто зверь, попавший в западню, и при первой попытке оговорить меня в женском обществе встретила твердый отпор. Наконец-то меня поддержала партия женщин, а моя бедная Мария осталась с носом. От постоянного общения с офицерами я собрался с мыслями и обрел мужскую повадку, поскольку был вынужден приспособливаться к новой среде, и мало-помалу во мне вновь пробуждается самец, усыпленный десятью годами морального угнетения.

Я отказался наконец от модной лошадиной челки, вновь отпустил свою львиную гриву, мой голос, ставший глухим оттого, что я постоянно успокаивал нервную женщину, приобрел былую звонкость, ввалившиеся щеки округлились, и вся моя конституция изменилась на пороге сорока лет.

Находясь в прекрасных отношениях со всеми женщинами того дома, где мы жили, я вновь обрел привычку выражать свое мнение, а Мария, которая не пользуется симпатией этих дам, оказалась в полном одиночестве.

Тогда она начала меня бояться. И однажды утром, в первый раз за десять лет нашего брака, она пришла ко мне в спальню одетая и застала меня еще в постели. Я не вполне понял, что значило ее внезапное появление, но после бурного объяснения она выдала себя, давая понять, что ревнует меня к служанке, которая приходит сюда каждое утро, чтобы затопить печь. Вместе с тем она призналась мне, что мой новый облик и манеры кажутся ей отвратительными.

— Я ненавижу все эти проявления мужественности, и я ненавижу тебя, когда ты ходишь с таким важным видом.

Конечно, она хоть как-то любила и ласкала пажа, комнатную собачку, калеку, свое дитя, но женщина, которая хочет играть роль мужчины, не может любить мужчину в своем муже, хотя в чужих мужьях и обожает мужчину.

Ко мне тем не менее прекрасно относились все окружавшие нас женщины, и я охотно бывал в их обществе, греясь теплом, исходящим от настоящих женщин, которые внушают уважительную любовь и которым бессознательно подчиняется мужчина именно потому, что они бесконечно женственны.

Однако как раз в этот период, когда мы стали всерьез обсуждать возможность возвращения на родину, во мне вновь ожили все мои старые опасения. Поскольку мне предстояло восстановить тесные отношения со своими старыми друзьями, мне не терпелось узнать, есть ли в их числе любовники моей жены. Чтобы не иметь на этот счет никаких сомнений, я взялся за тщательное расследование прожитых лет. Уже прежде я спрашивал у своих друзей в Швеции, что они могут мне сказать о слухах, которые ходят

у нас по поводу неверности Марии. Но, естественно, мне никогда не удавалось добиться от них искреннего ответа.

Все полны сочувствия к матери, но всем наплевать на то, что отец пропадет, если станет всеобщим посмешищем.

И вот тогда мне пришло в голову применить к моему случаю новую науку — психологию, сочетая ее с чтением мыслей. На наших вечерних сборищах я дал дамам все необходимые разъяснения и ввел психологические опыты в виде игры. Мария, правда, возражала, обвиняла меня в спиритизме, высмеивала как свободомыслящего, вдруг впавшего в суеверие, приводила самые неуместные доводы, лишь бы отговорить меня от этих пагубных для нее занятий.

Чтоб ее утихомирить, я сделал вид, что внял ее просьбам, но, отказавшись от публичных гипнотических сеансов, неожиданно повел на нее атаку с глазу на глаз.

Однажды вечером, когда мы сидим вдвоем в столовой друг против друга, я незаметно перевожу разговор на гимнастику, и она, увлекшись, теряет самоконтроль, то ли подчинившись моей воле, то ли по ассоциации идеи, которую я направляю, сама начинает говорить о массаже, тут же вспоминает боль, которую он может причинить, свои посещения врача-массажиста и восклицает:

— О, массаж — это очень больно! И теперь еще, стоит мне о нем подумать, я чувствую боль...

Готова! Она наклоняет голову, чтобы скрыть смертельную бледность, глаза мигают, губы шевелятся, она пытается заговорить о чем-то другом, но повисает ужасное молчание, и я стараюсь продлить его как можно дольше. К этому нас привел ход ее мыслей, который я направил своей ловкой рукой к нужной цели и из клещей которого она теперь тщетно пытается освободиться. Она у края бездны, но машина уже не может остановиться. Нечеловеческим усилием воли она заставляет себя встать с места, отрываясь от гипноза моего взгляда, и, ни слова не говоря, устремляется к двери.

Удар попал в точку!

Однако спустя несколько минут она возвращается, лицо ее выражает полную безмятежность, и под тем предлогом, что она хочет дать мне почувствовать чудодейственную силу массажа, она становится за моим стулом и начинает мне массировать голову. К несчастью, как раз напротив нас висит зеркало, я украдкой бросаю в него взгляд и успеваю за этот миг увидеть смертельно бледную маску с безумными, устремленными на меня глазами. Наши вопрошающие взгляды встречаются в зеркале.

И вдруг, против всех наших привычек, она садится ко мне на колени, обнимает меня за шею и заявляет, что смертельно хочет спать.

— В чем ты провинилась, если так льнешь ко мне? — спрашиваю я.

Она утыкается мне в грудь головой, целует меня и уходит, пожелав спокойной ночи.

Все это не доказательства, которые можно было бы предъявить суду, но для меня они убедительны потому, что я хорошо знаю ее манеру вести себя.

Добавим к этому, что тот доктор-массажист был недавно с позором изгнан из дома моего кузена за то, что приставал к его жене.

Я не хочу возвращаться на родину, ибо боюсь уронить свою честь, поскольку мне пришлось бы повседневно поддерживать отношения со знакомыми, которые, как я подозреваю, были любовниками моей жены. Чтобы не стать всеобщим посмешищем, как обманутый муж, я решаюсь на бегство.

Я отправился в Вену.

Я поселился в гостинице, и образ некогда обожаемой женщины преследовал меня, я был не в силах работать и спасался только письмами, писал по два раза в день настоящие любовные послания. Иностраннный город показался мне могилой, и, гуляя по многолюдным улицам, я чувствовал себя трупом. И тогда бешено заработала моя фантазия, окружив меня в моем одиночестве разными персонажами. Я принялся сочинять сказку, чтобы ввести мою Марию в сей мертвый мир. И, словно по волшебству, вокруг меня начали оживать и дома и люди. Я придумал, что Мария стала знаменитой певицей, и для осуществления этой фантастической затеи, для того, чтобы превратить все архитектурное великолепие столицы в фон для ее выступлений, я завел знакомство с директором консерватории и, ненавидя театр, будучи вконец опустошенным, стал проводить все вечера в опере и в концертах.

Все, что я вижу и слышу, я передаю Марии, и постепенно во мне вновь пробуждается ко всему подлинный живой интерес. Возвращаясь из оперы, я тут же кидаюсь за письменный стол, чтобы в подробностях описать, как певица имярек исполнила сегодня знаменитую арию, и, сравнивая ее талант с талантом Марии, я всегда отдаю предпочтение последней.

Посещая художественные музеи, я во всех картинах видел ее. В Бельведере я не меньше часа стоял перед Венерой Гвидо Рени, показавшейся мне поразительно похожей на мою любимую, и в конце концов меня охватила такая тоска по ее телу, что я сложил свои вещи и первым же поездом уехал назад. Что говорить, я околдован этой женщиной, я не могу вырваться из круга ее чар.

Боже, сколь прекрасно возвращение! Мои любовные послания как будто воспламенили сердце Марии, и я, бросившись ей навстречу в маленьком садике перед домом, стал ее горячо целовать, зажав ее голову в ладонях.

— Ты что, колдунья, околдовала меня?

— Ах, вот как! Ты хотел вырваться?

— Да, я пытался бежать. Но ты оказалась сильнее, и я сдаюсь!

Поднявшись в свою комнату, я увидел на столе горшок с цветущими красными розами.

— Значит, ты все-таки немножко любишь меня, чудовище!

Она выглядит сейчас застенчивой девушкой, она краснеет, и тут я снова как бы теряю себя, свое представление о чести, забываю о своем стремлении освободиться наконец от цепей, отсутствия которых я, оказывается, уже не в силах вынести.

Целый месяц в разгаре весны под посвист скворцов мы проводим вместе, без остатка отдаваясь любви, мы, кажется, не разжимаем объятий и без конца распеваем дуэты, сопровождая себя на пианино, или играем в триктрак. Так проходят самые прекрасные дни за пять последних лет нашей жизни. Весна посреди осени, не говоря уже о том, что и зима не за горами.

И я вновь бьюсь как рыба, пойманная в сеть, а Мария, убедившись в своей полной власти надо мной, словно опоив меня каким-то приворотным зельем, опять впадает в свое прежнее состояние равнодушия. Одета кое-как, она расхаживает по дому, даже не вставляя съемный зубной протез, несмотря на мое предостережение, что за этим не может не последовать невольного охлаждения с моей стороны. Вместе с тем я замечаю, что у нее вновь возникает интерес к подругам, причем на этот раз просто пагубный, потому что она засматривается на юных девиц.

Однажды мы решили устроить скромный танцевальный и музыкальный вечер, на который пригласили местного коменданта с его четырнадцатилетней дочерью, баронессу, хозяйку дома, где мы жили, ее дочь лет пятнадцати и ее подругу.

Около полуночи, к моему крайнему ужасу, я увидел в одной из комнат полупьяную Марию, окруженную тремя девочками, которых она не отпускала от себя. Глядя на девочек сладостным взором, она нежно целовала их, и в лице ее при этом было нечто неподвижно-лошадиное, одним словом, это было то самое выражение, которое я уже заметил однажды, когда она распевала свои чувственные песенки.

Комендант с тревогой наблюдал за ней из угла комнаты, где он сидел, вот-вот готовый взорваться, а мое пылкое воображение уже рисовало тюрьму, каторжные работы и неизбежный скандал. Я с быстротой молнии кинулся к Марии и девочкам и, буквально растащив их в стороны, пригласил всех танцевать.

Ночью, когда мы остались одни, я набросился на Марию с упреками, и наше бурное объяснение затянулось до утра. Она слишком много выпила и, невольно разоблачая себя, призналась мне в ужасных вещах, которых я и не подозревал.

Охваченный гневом, я повторял ей все обвинения, перечислял все подозрения, добавив к ним одно новое, которое мне и самому казалось преувеличением.

— А та таинственная болезнь, — воскликнул я, — из-за которой у меня были ужасные головные боли!..

— Ах, несчастный, ты что, хочешь сказать, что я заразила тебя...

Помилуй бог, этого у меня и в мыслях не было, я хотел лишь намекнуть ей на то, что были налицо все симптомы отравления цианистым калием. Но в этот миг в моей памяти всплыл один инцидент, настолько неправдоподобный, что я о нем скоро забыл.

В тот период, когда Мария делала себе массаж, я однажды заметил у себя какую-то сыпь. Не подозревая ничего дурного, я сказал об этом Марии, которая, правда несколько смутившись, нашла, как всегда, быстрый ответ, заверив меня, что это иногда случается после бурных объятий.

Я тоже знал, что это бывает, однако называется венерической болезнью. Но вскоре сыпь прошла и все забылось.

И вот теперь подозрения мои вспыхнули с новой силой. Почему всегда в ее объяснениях таятся скрытые обвинения? И в памяти вдруг всплывает фраза из полученного мною после судебного процесса анонимного письма, где Мария названа «проституткой из Сёдертелье».

Что бы это могло значить? Итак, появилось новое направление для розысков.

Когда барон, бывший муж Марии, познакомился с ней в Сёдертелье, она была как будто бы невестой некоего лейтенанта, о котором упорно говорили, что его здоровье подорвано венерическими болезнями. Неужели бедняга Густав, которого все недаром называли спасителем, оказался в дураках? Этим, возможно, и объясняется то живое чувство благодарности, которое Мария испытала к нему во время развода, признавшись мне, что он спас ее от какой-то опасности... а вот от какой именно, она тогда так и не сказала. Но все же почему «проститутка из Сёдертелье»? Это могло бы объяснить и тот замкнутый образ жизни, который вела эта чета. Они не поддерживали связей с людьми своего круга, никогда не выезжали в свет, словно изгнанные из общества, к которому принадлежали по рождению.

Можно ли предположить, что мать Марии, бывшая гувернантка, вышедшая из очень простой семьи и соблаздившая финского барона, отца Марии, после его разорения и бегства из-за долгов в Швецию, овдовев, стала скрывать свою нищету и опустилась до того, что пыталась заработать, продавая свою дочь? Причем именно в Сёдертелье?

Эта старуха, еще кокетливая в свои шестьдесят лет, всегда вызвала у меня отвращение, смешанное с жалостью. Как она была скупа, эта авантюристка по натуре, как жадна до всяческих удовольствий! Она видела в мужчинах только объекты для эксплуатации. Этакая законченная людоедка, которая обманным путем заставила меня взять на иждивение свою сестру и провела самым постыдным образом зятя-барона, вручив ему ничего не стоящие бумаги в качестве приданого.

Бедная Мария! Ведь все ее угрызения совести, тревоги и черные мысли уходят корнями в ее сомнительное прошлое. Прибавив ко всему этому факты, которые обнаружил недавно, я смог наконец понять, в чем был смысл тех кровавых ссор, которые происходили

на моих глазах между матерью и дочерью. Понял я и так удивившие меня в свое время и не раз повторенные признания Марии в том, что ей неодолимо хочется наступить ногой на горло собственной матери.

Для чего? Чтобы заставить ее умолкнуть? Возможно. Ведь старуха угрожала разрушить наши с Марией отношения, «признавшись мне во всем».

Чем иначе можно было объяснить ненависть Марии к своей матери, которую Густав называл не иначе как «падаль». Густав объяснял это полупризнаниями, говоря, что она воспитала свою дочь отъявленной кокеткой, чтобы та сумела подцепить мужа.

Все эти соображения, соединившись воедино, укрепили меня в решении бежать куда глаза глядят, бежать, чего бы это ни стоило. И я отправился в Копенгаген собирать все возможные сведения о женщине, которой я дал имя, чтобы иметь потомство.

Вновь встретившись с людьми из моих родных мест, с которыми не виделся несколько лет, я понял, что Мария и ее подруги приложили немало усилий, чтобы ославить меня, и весьма преуспели в этом деле. На наш счет сложилось твердое мнение: Мария — святая мученица, я же — сумасшедший, воображающий себя рогоносцем!

Меня выслушивали, благожелательно улыбались, разглядывали, как диковинное животное. Но мне так и не удалось ни в чем разобраться, никому я не был нужен, большинство знакомых, с которыми я встречался, оказались завистниками, только и мечтавшими, чтобы я окончательно рухнул, потому что это был для них единственный способ возвыситься. В конце концов мне пришлось вернуться в свою тюрьму, где меня ждала Мария, явно встревоженная моим отсутствием, и это был более красноречивый ответ на все мои вопросы, чем предпринятое путешествие.

В течение двух месяцев я, как цепной пес, грыз свою цепь, а в середине лета сбежал в третий раз, теперь уже в Швейцарию. Но оказалось, что я прикован не железной цепью, которую можно разорвать, а гуттаперчевой, которая тем сильнее отшвыривает меня назад, чем больше растягивается.

Когда я вернулся домой в очередной раз, Мария встретила меня презрением и ненавистью, она считала, что за свое бегство я достоин смерти, на которую она и уповаet больше всего. Вот тогда-то я и заболел и, вообразив, что умираю, решил разобраться в своем прошлом. Обнаружив, таким образом, что я стал жертвой вампира, я решил выжить, очиститься от грязи, которой запакостила меня эта женщина, вернуться к жизни и мстить, мстить ей, собрав предварительно все улики против нее, все доказательство ее обмана.

И вот тогда во мне тоже вспыхнуло чувство ненависти к ней, ненависти куда более страшной, чем равнодушие, ибо она является изнанкой любви, в ней таящейся. Иными словами, я бы так сформулировал свое душевное состояние: я ее ненавижу, потому

что люблю. И как-то в воскресенье, когда мы обедали в саду под деревом, заряд, который накапливал энергию в течение десяти лет, взорвался без всякой видимой причины. Я ее ударил. Впервые. На нее посыпались пощечины, а когда она попыталась было оказать мне сопротивление, я силой заставил ее встать на колени. Какой страшный вопль она издала! И удовлетворение, на миг охватившее меня, сменилось ужасом, когда дети, обезумев от страха, завопили не своими голосами. Это, пожалуй, была самая страшная минута в моей горестной жизни. Святотатство, убийство, преступление против природы. Бить женщину, мать! Да еще в присутствии детей! Мне показалось, что солнце погасло, и я почувствовал полное отвращение к своему существованию... И тем не менее на меня снизошел покой, как бывает после грозы, я испытал удовлетворение, словно исполнил свой священный долг. Да, я сожалел, но не раскаивался. Причина породила следствие. Вечером Мария гуляла одна при свете луны. Я пошел ей навстречу, обнял ее и поцеловал. Она не оттолкнула меня, но зарыдала и после долгих объяснений согласилась подняться со мной в комнату, где мы и праздновали свадьбу до полуночи.

Какой странный у нас брак! В полдень я бью ее смертным боем, а вечером сплю с ней.

Что за странная женщина! Она живет со своим палачом!

Если бы я все это знал, я бы начал ее лупить лет десять назад и был бы самым счастливым из мужей!

Примите это к сведению, господа роконосы!

Но тем временем Мария готовила месть, и несколько дней спустя она пришла ко мне в комнату, завела со мной разговор о том о сем и в конце концов призналась, что во время путешествия в Финляндию была изнасилована, но только раз, один-единственный раз.

Итак, мое опасение подтвердилось.

Она умоляла меня даже не думать, что это повторялось, нет, нет, а главное, не считать, что у нее был любовник.

Из этого я сделал такой вывод: были любовники, да не один, а несколько.

— Значит, ты мне изменяла, а чтобы оправдаться перед знакомыми, сочинила сказку о моем безумии. И, скрывая свои преступления, была готова замучить меня до смерти. Ты негодяйка! Я требую развода!

Тут она упала на колени, горько зарыдала и стала умолять простить ее.

— Простить-то я прошу, но разводиться мы будем.

На другой день Мария уже успокоилась, еще через день и совсем оправилась, а на третий день уже вела себя так, будто была безвинна.

— Раз я была настолько великодушной, что сама во всем призналась, то мне не в чем себя упрекнуть.

Да, она отныне не просто невинна, она великомученица и поэтому обращается со своим мучителем с оскорбительным высокомерием.

Не осознавая последствий своего предательства, она действительно не понимала дилеммы, стоящей передо мной. Либо я остаюсь всеобщим посмешищем, неотомщенным рогоносцем, либо ухожу прочь. Но это означало бы полное несчастье, и я так или иначе человек пропащий.

Десять лет мук не могут быть уравновешены несколькими пощечинами и одним проплаканным днем.

И я удираю. В последний раз. Причем у меня не хватает мужества попрощаться с детьми.

В воскресенье в полдень я сажусь на пароходик, идущий в Констанц. Я хочу встретиться во Франции со своими друзьями и, не откладывая, написать роман об этой женщине, такой типичной для нашей эпохи бесполох существ.

Перед самым отходом вдруг появляется Мария. Глаза ее полны слез, она возбуждена, взволнована и, к несчастью, до того хороша, что голова у меня идет кругом. Однако я остаюсь холоден и молчалив, позволяю поцеловать себя, но не возвращаю ей ее коварных поцелуев.

— Скажи хоть, что мы расстаемся друзьями, — просит она.

— Нет, мы будем врагами до конца моих дней, которых осталось уже немного.

На этом она уходит.

Когда пароход отвалил, я увидел, что она бежит по причалу, все еще пытаюсь удержать меня магической силой своих глаз, которые меня столько лет обманывали. Она металась по пристани, словно брошенная собака — о, какая ужасная собака! — и мне казалось, что она сейчас кинется в воду, а вслед за ней туда кинусь и я, чтобы вместе утонуть, сжимая друг друга в последнем объятии. Но вот она повернулась и исчезла в проулке, оставив о себе память, как о чарующем существе, твердо ступающем своими изящными ножками, которые безжалостно топтали меня около десяти лет кряду. А я за это время ни разу не завопил от боли в своих сочинениях и ввел тем самым в заблуждение читающую публику, скрывая от нее настоящее преступление этого чудовища, до сих пор мною восплаемого.

Чтобы хоть как-то защититься от напавшей на меня тоски, я тут же спустился в ресторан и занял место за табльдотом. Но не успели подать первое блюдо, как рыдания сдавили мне горло, и я был вынужден выскочить из-за стола и выбежать на палубу. Оттуда я еще раз увидел зеленый холм на удаляющемся берегу и белый домик со ставенками, где в разоренном гнезде остались мои малютки не только безо всякой защиты, но и без средств к существованию, и невыносимая боль сдавила мне сердце.

Какой, однако, живой и неделимый организм семья! Я почувствовал это уже давно, во время первого ее развода, когда так трудно было свершить это преступление, и угрызения совести

потом чуть не убили меня. Что до нее, до моей неверной жены и убийцы, то она тогда не отступила.

В Констанце я сел на поезд, идущий в Базель.

Если бы я верил в бога, я просил бы его не посылать таких страшных страданий даже моему злейшему врагу!

В Базеле меня вдруг охватило безумное желание вновь посетить все те города в Швейцарии, где мы бывали вместе, чтобы воскресить воспоминания и о ней, и о наших детях.

Я провел неделю в Женеве и в Уши, но какая-то тревога все время гнала меня из гостиницы в гостиницу, и я, не зная ни отдыха ни срока, словно проклятый, дни и ночи напролет лил слезы, вспоминая моих дорогих малюток. Я посещал те места, где мы с ними бывали. Я кормил хлебом чаек, как их кормили мои дети на берегу озера Леман, бродил как тень по окрестностям.

Каждый день я с нетерпением ждал письма от Марии, но его не было. О, она слишком хитра, чтобы оставлять своему врагу письменное свидетельство! А я по нескольку раз в день писал ей любовные записки, в которых решительно все прощал. Правда, я их не отсылал.

Поверьте, господа судьи, если бы у меня действительно было предрасположение к безумию, то, клянусь вам, я несомненно сошел бы с ума в эти часы отчаяния.

Вконец измучившись, я стал фантазировать и дофантазировался до того, что решил считать признание Марии ловким предлогом отделаться от меня и начать все сначала с кем-нибудь другим, быть может, с неведомым мне любовником, или, что еще хуже, с какой-нибудь новой подругой. Я представлял себе, как моих детей шлепает отчим и наживаетея на доходах, которые приносит публикация полного собрания моих сочинений. Тут во мне вновь пробудился инстинкт самосохранения, и я решил прибегнуть к хитрости. Так как я могу писать, только когда живу вместе со своею семьей, я решил вернуться домой и остаться там до тех пор, пока не закончу своего романа. А попутно я буду собирать доказательства преступления Марии. Таким образом, я смогу воспользоваться ею для своей работы, хотя она об этом не будет и подозревать, и она станет вместе с тем орудием моей мести, от которого я потом хотел бы избавиться.

Я отправил Марии телеграмму, ясную, без всяких сентиментальностей, сообщая, что наше прошение о разводе не принято судом, и под предлогом того, что ей нужно подписать еще какие-то бумаги, вызвал ее на свидание в Романсхорн, что на этой стороне Боденского озера.

И после этого я снова ожил. А наутро сел в поезд и приехал к месту нашей встречи. И вот неделя страданий забыта, сердце мое радостно бьется, глаза блестят и грудь вздымается от вида холмов на той стороне озера, где живут мои дети. Прибыл пароход, но Марию я не увидел. Наконец она появилась на сходах. Она была неузнаваема, казалась постаревшей на десять лет. Какой удар в сердце, когда видишь еще молодую женщину, вдруг превратив-

шуюся в старуху! Походка ее стала какой-то вялой, глаза покраснели от слез, щеки ввалились, а подбородок заострился.

Жалость разом отодвинула чувство неприязни, отвращения, и я уже распростер свои объятия, чтобы принять ее, как вдруг отступил, вздернул голову и принял вид человека, пришедшего на свидание, не имеющего для него никакого интереса. Эта перемена во мне была вызвана тем, что, разглядев Марию вблизи, я увидел, что она стала невообразимо похожа на свою датскую подругу. И мысль эта молнией поразила меня. Все, решительно все, и облик, и жесты, и прическа, и выражение лица повторяли датчанку. Не она ли сыграла со мной эту злую шутку? Не от нее ли приехала сюда Мария?

Это мое предположение подтверждали два воспоминания, относящиеся к началу лета. Я слышал, как тогда Мария спрашивала у хозяйки гостиницы, расположенной рядом с нами, нет ли у него свободного номера. Зачем она могла это спрашивать? Для кого?

Потом она попросила у меня разрешения ходить каждый вечер играть на пианино в соседний с той гостиницей дом.

Конечно, все эти мелочи еще не были доказательством ее вины, однако меня они весьма насторожили, и пока я шел с Марией к гостинице, я мысленно репетировал роль, которую собирался играть.

Она казалась подавленной, сказала, что больна, однако была спокойной и уравновешенной, задавала мне четкие и разумные вопросы о предстоящем бракоразводном процессе. Несмотря на свой вид, вызывающий жалость, она говорила со мной, насколько это было возможно, высокомерно, поскольку ни в моем внешнем облике, ни в поведении ничто не выдавало пережитого мною горя. Расспрашивая меня, она настолько повторяла интонации своей подруги, что мне захотелось ее разоблачить, спросив, как поживает эта датчанка. Особенно мне бросилась в глаза ее поза трагической актрисы, которая всегда так нравилась ее подруге.

Я угостил ее хорошим вином, она пила стаканами и вскоре опьянела. Я этим воспользовался, чтобы узнать, как поживают дети. В ответ она зарыдала и призналась, что прожила самую тяжелую неделю своей жизни, слушая, как малыши с утра до вечера спрашивают, где папа, и тогда она поняла, что не в силах жить без меня. Заметив, что у меня на пальце нет обручального кольца, она сильно разволновалась и спросила:

— А где твое кольцо?

— Я его продал в Женеве, а на полученные деньги взял проститутку, чтобы хоть немного восстановить равновесие.

Она побледнела.

— Значит, мы с тобой в расчете, — пробормотала она. — Давай начнем все сызнова.

— Ты считаешь, что мы в расчете? Ты совершила поступок, который имеет пагубные последствия для нашей семьи, потому что у меня возникает сомнение в моем отцовстве. Ты виновата в том, что разрушила преемственность рода. Ты искалечила жизнь четырех

людей, трех твоих детей, которые родились неизвестно от кого, и твоего мужа, выставленного на посмешище, как рогоносца. А какие последствия имеет мой поступок? Да никаких!

Она заплакала, а я ей предложил довести формальности развода до конца, но так, чтобы она потом осталась в моем доме в качестве любовницы, а детей я усыновил бы.

— Вот это и есть тот свободный союз, о котором ты мечтала, когда проклинала наш брак.

Она на минутку задумалась, но мое предложение явно было ей не по нутру.

— Но почему? Ты ведь мне сказала, что намерена поискать место домоправительницы у какого-нибудь вдовца. Вот я и есть тот вдовец, которого ты намерена найти.

— Все это надо будет обдумать. На это необходимо время. А ты пока вернешься к нам?

— Если ты меня пригласишь!

— Пожалуйста, возвращайся.

И я возвратился в шестой раз, твердо решив использовать эту передышку, чтобы завершить мое повествование и собрать более точные сведения об этой таинственной истории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошло шесть месяцев, и История моего брака подходит к концу.

Эти месяцы мы прожили в Копенгагене, где я встретился с друзьями и со своими соотечественниками и с датчанами, но мне так и не удалось ничего узнать. Я вступил со многими в переписку, но и это не дало никаких результатов.

Самый верный из моих друзей ответил мне примерно следующее: — Допустим, что твоя жена тебе изменила, но и ты виноват, потому что ты ревновал!

Есть ли хоть какой-то здравый смысл в подобном рассуждении?

Я заботился о продолжении своего рода, я следил за поведением женщины с дурным нравом, который мог бы ее привести на панель, я дорожил честью семьи, я не хотел оказаться в дураках, мне было отвратительно работать на чужих детей, я не мог смириться с тем, чтобы строить свое существование на песке, — и по всем этим причинам я виноват в том, что жена моя свершила прелюбодеяние!

Перед нарочитой глупостью можно только сдать! И я сдаю.

Теперь, что касается ревности. Давайте разберемся! Поскольку она была актрисой, я разрешал ей бывать одной в обществе, и она возвращалась домой в три часа ночи, пьяная, но и тогда я ни разу ее не упрекнул, потому что не сомневался в ее верности, и у меня не было никаких подозрений. Но с того момента, как она начала злоупотреблять своими правами, я стал за ней следить, однако не опускался до шпионажа, и только когда появились такие факты, что нельзя было не бить тревогу, у меня возникла ревность или, иными словами, страх, что жена меня обманывает и что дети не мои.

Сами посудите, какое дурное впечатление может произвести такой, например, инцидент.

Как-то вечером в театре, когда Мария играла в моей пьесе, я вошел в ее гримировальную уборную, предварительно постучав в дверь.

На столе, накрытом для двоих, я увидел бутерброды и пиво.

Вскоре я услышал, как кто-то, стоя за дверью, сказал таким фамильярным тоном, что меня передернуло:

— Ты одна, крошка?

И вошел актер с развязным видом, намереваясь поужинать с моей женой.

Добавим к этому, что я не знаю случая, чтобы актриса принимала в своей уборной кого-нибудь, кроме мужа.

Дома я попросил ее объяснить мне эту сцену. В ответ она рассмелась мне в лицо, словно сумасшедшему ревниву.

В другой раз я узнал, что в артистическом клубе, когда ушли все женщины, Мария осталась одна с мужчинами и пила с ними до утра. Я запретил ей напиваться с мужчинами, она мне ответила:

— Я артистка, и ты не можешь мне запретить посещать артистический клуб.

— Я вовсе не запрещаю тебе ходить в клуб, а лишь пить одной с мужчинами, тем более что пьяная женщина — ты сама это говорила — не отвечает за свои поступки, а значит, и за измену.

Вот вам та ревность, которая якобы толкнула ее на прелюбодеяние.

Еще в другой раз, войдя в ресторан, я увидел там Марию, которая сидела с двумя молодыми мужчинами и пила коньяк. Мать моих детей публично напивалась с двумя незнакомыми парнями! Однако я не устроил ей сцены. Поскольку она была пьяна, я всего лишь предложил ей пойти со мной домой. Но, вместо того чтобы внять моей просьбе, она отправилась на какой-то праздник артистов и пробыла там до утра, причем не попросила у меня денег, поскольку брала их, очевидно, ни слова не говоря. А я просил у нее каждый грош, даже чтобы купить табак, каждый грош моих кровных денег, так как она больше не зарабатывала.

Вот вам равенство, о котором мечтают женщины!

И подумать только, что не нашлось мужчины, состоящего со мной в родстве или не состоящего, который счел бы себя обязанным ввести меня в курс постыдной жизни этого чудовища.

Спасая мать, мы хотели спасти детей!

А на самом-то деле вы не спасли, а погубили троих детей, оставив их жить с порочной матерью, вместо того чтобы передать в руки отца, не потерявшего чувства ответственности.

Все оказались на стороне неверной жены в ее борьбе с верным мужем!

Вывод: кем бы ты ни был, мужчина, обманывай, злоупотребляй, завлекай, чтобы не быть обманутым, чтобы тобой не злоупотребляли, чтобы тебя не завлекали!

Начать бракоразводный процесс! Чтобы погубить всех и позволить свободно распространяться гнусным вымыслам безумной женщины, которая все себе разрешает, лжет всякий раз, как открывает рот, и так искажает все факты, что вина за ее ошибки всегда падает на невинного.

Начать этот процесс значит вступить в неравную борьбу, и я от этого отказываюсь.

Теперь, когда мой труд завершен, я ухожу, ухожу в седьмой раз в неизвестность, в пустоту, ибо мое существование зиждется на основании, которое ныне разрушилось, и если, господа судьи,

я вскорости сойду с ума (а это более чем вероятно), не делайте из этого вывода, что я был безумен и раньше, не путайте следствий с причинами. А ты, читатель, считая, что вправе судить меня, хотя и не посвящен во все подробности дела, ищи доказательства измены, прежде чем назвать меня сумасшедшим, и если найдешь их, то будь достаточно честен, чтобы признать, что измена была причиной, а безумие, действительное или мнимое, лишь следствие, и только!

Что до меня, то я, ни минуты не колеблясь, выношу ей свой вердикт: *виновна!* Да, это чудовище, безвременно приведшее меня на край могилы, виновно. И я настоятельно советую господам, ратующим за эмансипацию женщин, советую всем сторонникам равенства обоих полов в вопросах морали судить об изменах мужа или жены, только исходя из реальных результатов свершенного прелюбодеяния!

Я заклинаю законодателей как следует обдумать все возможные последствия, прежде чем подписать закон о гражданских правах для этих полуобезьян, для этих низших животных, для этих больных детей, страдающих от недомогания, впадающих чуть ли не в безумие тринадцать раз в году во время месячных, для этих буйных припадочных в период их беременностей и полностью безответственных существ во все остальные дни их жизни, для всех этих не осознающих себя негодниц, инстинктивных преступниц, злобных тварей, не ведающих, что творят!

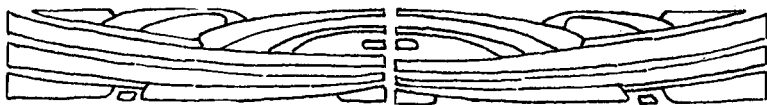
Моя история закончена. Да свершится моя судьба! Пусть смерть вырвет меня из ада сего, которому несть конца!..



ОДИНОКИЙ

Роман

*Перевод
С. Тархановой*



I

Десять лет жил я в провинции, но вот нынче я вновь в родном городе и сижу за обедом в кругу старых друзей. Каждому из нас за пятьдесят или около того, лишь самым молодым в нашей компании едва перевалило за сорок. Все мы удивлены, что нисколько не постарели со времени нашей последней встречи. Правда, кое у кого в бороде и на висках поблескивает седина, но зато другие с последнего раза даже помолодели, и эти-то признались, что годам почувствовали себя старыми и решили, что жизнь их уже на исходе, наперебой отыскивали у себя мнимые недуги, с трудом натягивали пальто на окостенелые плечи. Все вокруг казалось им старым и обветшалым, все повторялось и возвращалось на круги своя, да еще грозно напирало молодое племя, нисколько не считаясь с заслугами старших, и, что всего обидней, заново открывало для себя то, что давно уже было открыто нами, а что и того хуже — молодые преподносили свои старые новости так, будто никто о них прежде и не слыхивал.

Перебирая воспоминания, относящиеся к дням нашей юности, мы погружались в прошлое и воистину заново переживали былое, словно бы переместившись на двадцать лет назад, так что иные из нас даже задавались вопросом: а существует ли вообще время?

— Ответ на это дал еще Кант, — пояснил один из нас, философ. — Время — всего лишь способ восприятия действительности.

— Вот как! А ведь и я так думал: стоит мне вспомнить мельчайшие происшествия сорокапятiletней давности — и они встают передо мной так отчетливо, словно случились вчера: события детства столь же свежи в моей памяти, как и всё, что я пережил в минувшем году.

Тут стали гадать: а не думали ли этак во все времена? Один из нас, семидесятилетний — единственный, кого мы в нашем кружке считали стариком, заметил, что еще не чувствует бремени лет (совсем недавно он взял себе новую жену, и младенец его еще лежал в люльке). Услышав это бесценное признание, мы и вовсе почувствовали себя мальчишками, и вся дальнейшая наша беседа и вправду была пронизана молодым задором.

Хоть я и вынес из первой встречи впечатление, что мои друзья странным образом нисколько не изменились, все же я заметил, что

они уже не смеялись с былой непосредственностью и в речах соблюдали известную сдержанность. Они уже успели осознать власть и вес изреченного слова. Вряд ли с годами у них притупилась резкость суждений, но зато они сполна усвоили житейскую мудрость — что все твои слова неизбежно обернутся против тебя — и поняли: нельзя выкладывать напрямик все, что думаешь о людях, приходится иной раз прибегать к полунамёкам, чтобы хоть как-то высказать свое мнение о человеке. Нынче же мои приятели отбросили все тормоза, перестали стесняться в выражениях и не щадили чужих взглядов, словом, вернулись к прежним обычаям — и понесло, поехало, но притом всем было весело.

Тут вдруг наступила пауза, за ней — вторая, третья, после чего воцарилась зловещая тишина. Самые горластые из нас смутились, словно боясь, что за такие речи поплатятся головой. Они знали: в минувшие десять лет каждый исподволь завязал новые связи, и отныне приятелей разделяют новые, неведомые интересы, а значит, все, кто дал волю языку, неизбежно должны наткнуться на подводные рифы, а не то задеть тайные нити, потоптать свежие всходы новых чувств, — и они не преминули бы это заметить, если бы только видели, как ощетинивались колючими взглядами собеседники, готовясь к защите и отпору, как дергались у них углы губ, то и дело сжимавшихся, чтобы не дать сорваться резкому слову.

Когда встали из-за стола, всем показалось, что возникшая было близость угасла. Настроение упало, собеседники изготавились к защите и словно бы вновь застегнулись на все пуговицы, но коль скоро считали необходимым продолжать разговор, посыпались пустые фразы, что видно было по взглядам, не вязавшимся со словами, и по улыбкам, опровергаемым выражением глаз.

Вечер невыносимо затянулся. Единичные попытки друзей оживить старые воспоминания, то ли сгрудившись в кружок, то ли в беседах с глазу на глаз, проваливались одна за другой. По неведению все спрашивали друг друга о том, о чем никак нельзя было спрашивать. Например:

— А как поживает твой братец Герман? (Вопрос задан просто так, мимоходом, без всякого интереса. Но в кружке возникло явное замешательство.)

— Спасибо за память! В основном — без изменений: особых улучшений не видно.

— Не видно улучшений? Так он что, болен?

— Да... а ты разве не знал?

Тут другой приятель своевременным вмешательством в разговор спас несчастного брата от тягостного признания, что Герман повредился умом.

А вот и другой пример:

— Так где же жена твоя, что-то ее нынче не видно? (А жена его только что подала на развод!)

Или вот еще:

— Сын твой совсем уже большой, должно быть, в студентах ходит? (А родители давно потеряли всякую надежду на это.)

Словом, слишком долго мы не видались, и оттого разговор не клеился. К тому же за эти годы каждый успел вкусить суровость и горечь жизни, — само собой, мы ведь не мальчики...

Когда же наконец стали прощаться у ворот, всем не терпелось скорее разойтись и никому уже не хотелось продлить встречу в кафе, как делали в прошлом. А все потому, что воспоминания юности не произвели ожидаемого живительного действия. Ведь прошлое было лишь подстилкой, на которой произошло настоящее, и подстилка уже успела созреть: субстрат истощился и заплесневел.

И тут все заметили, что никто больше не заговаривает о будущем — по той простой причине, что все уже пребывали в этом вождеденном будущем, а значит, не могли уже о нем мечтать.

* * *

Спустя две недели я вновь очутился за тем же столом, в том же обществе и на том же месте. За эти две недели каждый успел приготовить ответы на высказывания собеседников, которые в прошлый раз из вежливости не стал опровергать. Все явились во всеоружии, и дело пошло как по маслу. Кто устал, или ленился спорить, или же вообще предпочитал разговорам вкусный обед, тот уклонялся от споров и уходил, так и не возмущив тишины, но иные, более воинственные, ринулись в бой. Предметом спора избрали тайное кредо, которое в свое время исповедовал каждый, хоть никто никогда и не провозглашал его с достаточной четкостью, и теперь приятели обвиняли друг друга в отступничестве.

— Нет, никогда не был я атеистом! — крикнул один из гостей.

— Не был атеистом? Как бы не так!

И тут разгорелась дискуссия, уместная разве что лет двадцать назад. Спорщики пытались осознать все, что в блаженные времена юности бессознательно пробивалось наружу. Сплошь и рядом, однако, подводила собеседников память; все давно успели позабыть, что в свое время делали и говорили, неверно цитировали самих себя и других и галдели наперебой. Но после очередной паузы кто-то вскоре снова принимался за старое, и разговор стал походить на сказку про белого бычка. И снова смолкали спорщики, и снова кидались в бой!

На этот раз все разошлись с чувством, что с прошлым покончено, а коль скоро каждый давно сам себе голова, стало быть, самое время деревцу покинуть питомник и отныне самостоятельно произрастать на воле, где нет ни садовника, ни садовых ножниц, ни какого-либо принудительного распорядка.

Так получилось, что иные из нас сделались одиночками, должно быть, и всегда так оно получалось. Но встречи на этом еще не совсем

прекратились: кое-кто не желал останавливаться в своем росте, по-прежнему рвался вперед, к новым открытиям, к завоеванию новых, неведомых миров, и эти-то сплотились в тесный кружок и местом своих сборищ избрали кафе. Поначалу, правда, пробовали собираться дома, то у одного, то у другого из членов кружка, но скоро убедились, что у каждого, что называется, «пиджак на подкладке», и имя этой подкладке — «супруга». Вот подкладка-то, по обыкновению, и тянула в швах. В присутствии хозяйки полагалось говорить «на другие темы», а стоило кому-то забыть и завести разговор о своем, о главном, как тут же происходило одно из двух: или жена сама брала слово и непререкаемым тоном разрешала всякий спор, и тут уж приходилось учтивости ради помалкивать, или же она вскакивала и выбегала в детскую и больше за весь вечер не показывалась за столом, где с этой минуты гость чувствовал себя чем-то вроде нищего попрошайки или непрошеного прихлебателя, а хозяйка отныне смотрела на него так, словно он пытался куда-то сманить ее мужа, увести его от жены и детей, веры и долга.

Этаким путем, значит, дело не заладилось, да и вообще приятелей чаще всего разлучала взаимная неприязнь их жен. Женщины ревниво придирались друг к другу.

Оставалось, стало быть, одно — кафе. Станным образом, однако, оно утратило для друзей былую привлекательность. Конечно, они пытались уверить себя, что обрели здесь нейтральное место сборищ, где нет ни хозяев, ни гостей, а все же семейным было не по себе от мысли, что жена тем временем сидит дома, словно она и вправду одинока, ведь и она могла бы сыскать себе подходящее общество, а вот нынче обречена торчать одна в четырех стенах. К тому же кафе по большей части посещали холостяки, иными словами — своего рода враги семейных, лишенные собственного домашнего очага, и, стало быть, пользующиеся в здешнем заведении известными правами. Они и вели себя здесь как дома, шумели, смеялись раскатисто, а на женатых смотрели чуть ли не как на захватчиков, вторгшихся сюда незаконно, словом — те им мешали.

Будучи вдовцом, я полагал, что имею кое-какое право на кафе, но лучше бы у меня его не было: заманивая туда женатых приятелей, я вскоре заслужил этим ненависть их жен, которые и вовсе перестали приглашать меня к себе в дом. Что ж, может, и поделом, ибо где муж с женой, там третий — лишний.

Если же приятели все же приходили в кафе, то сплошь и рядом бывали так озабочены своими домашними делами, что сначала я всякий раз должен был выслушивать их жалобы на слуг и детей, на школу и экзамены, и они так основательно вовлекали меня в свои семейные дразги, что я уже не видел никакого выигрыша в том, что избавился от своих собственных.

Когда же наконец мы приступали к главному, к важным вопросам, волновавшим нас, то чаще всего кто-то один заводил монолог, а другой между тем сидел, потупив взор и дожидаясь лишь,

когда придет его черед взять слово, чтобы тут же заладить о чем-то своем, нимало не заботясь ответить на речи первого: что называется «ему про Фому, а он про Ерему». А не то вдруг поднимался воистину адский грохот: все галдели разом и никто, казалось, другого не понимал. Поистине — вавилонское смешение языков, завершившееся перебранкой и полным взаимным непониманием.

— Ты же не понимаешь, что я говорю! — раз за разом в отчаянии восклицал кто-то.

И правда! С годами каждый привык насыщать новым смыслом старые слова и по-новому оценивать старые мысли, да к тому же никто не хотел открывать заветную свою думу, которую хранил в душе, как сокровенную тайну, как росток будущего, ревниво оберегаемый от чужих глаз.

Возвращаясь поздним вечером домой после такой встречи в кафе, я хорошо сознавал никчемность этих бурных сборищ, где, в сущности, каждый желал лишь услышать собственный голос и навязать свое мнение другим. Голова у меня раскалывалась, а мозги, казалось, кто-то разрыхлил да засеял сорняком, который необходимо выполоть, покуда он не пошел в рост. Дома, в уединении и тишине, я вновь обретал самого себя и окунался в мою собственную духовную атмосферу, где мне дышалось привольно, как в ладно пригнанном платье, и, отдав около часа раздумьям, погружался затем в небытие сна, свободный от всех влечений, помыслов и желаний.

Мало-помалу я перестал посещать кафе, приучая себя к одиночеству, затем вновь поддавался соблазну, с каждым разом все больше раскаиваясь в этом, пока наконец не открылось мне великое счастье: слушать тишину и внимать новым голосам, в ней звучащим.

II

Так мало-помалу сделался я одиноким и должен был довольствоваться беглым общением, к которому вынуждала меня моя работа, — общением преимущественно по телефону. Не скрою: тяжело было мне поначалу, и пустота, сомкнувшаяся вокруг меня, настойчиво требовала заполнения. Когда я обрубил все связи с другими, мне поначалу казалось, будто меня оставили силы, но одновременно мое «я» стало крепнуть, словно сгущаясь вокруг некоей основы, вмещавшей в себя все пережитое мной, где оно плавилось и откуда растекалось, даря пищу душе. Все, что я видел и слышал — в доме, на улице или на лоне природы, — все мои впечатления я приучился переплавлять в работу и чувствовал, как растет мой труд и насколько уединенные занятия плодотворней всех прежних моих попыток изучать человека на людях.

В прошлом мне случалось иметь свой дом и семейный очаг, но нынче я снимаю две комнаты с мебелью у вдовы. Мне потребовался некоторый срок, — пусть недолгий, — чтобы сжиться с чужой обстановкой. Трудней всего оказалось обжить и освоить письмен-

ный стол, — покойный судья сидел за ним верных три десятка лет, корпя над протоколами. Он оставил на нем следы своих цианисто-синих чернил, уже один вид которых мне противен; правым локтем стер политуру, а слева приклеил кружок клеенки чудовищных желто-серых тонов, чтобы ставить на него лампу. Все это крайне мне неприятно, но я решил ко всему притерпеться и скоро уже перестал замечать уродливую заплату. А кровать... когда-то я мечтал о собственном постельном белье, но нынче, хоть я и мог бы себе это позволить, я ничего не хочу покупать; ведь ничего не иметь — одна из граней свободы. Ничего не иметь, ничего не желать — значит стать неуязвимым для злейших ударов судьбы. Но притом располагать деньгами и в силу этого знать, что можешь получить желаемое, стоит тебе лишь захотеть, — вот это счастье, потому что за ним кроется независимость — еще одна грань свободы.

На стенах развешено пестрое собрание скверных картин, а также и литографий и даже хромолитографий. Сначала я возненавидел их за уродство, но вскоре они обрели в моих глазах неожиданную привлекательность. Однажды, трудясь над очередным опусом, я вдруг почувствовал, что иссяк и не могу сочинить решающую сцену, и тут в отчаянии я вскинул глаза на стенку. И взор мой приковался к чудовищной репродукции, в свое время, несомненно, служившей приложением к какому-нибудь иллюстрированному журналу. На ней был изображен крестьянин, который стоял у причала, держа на привязи корову, и должно быть, собирался сесть на некий невидимый мне паром. Человек этот, одиноко стоявший на мостках, иступленно махал кому-то, цепко придерживая единственную корову, и в глазах его было отчаяние... Вот она, моя сцена! Но в здешних комнатах была еще и тьма мелких вещиц из тех, что скапливаются в каждом доме, источая аромат воспоминаний, притом вещиц не покупных, а сработанных любящими руками. Салфеточки на спинках кресел, накидки, стеклянные и фарфоровые безделушки на этажерках. Среди них бросился мне в глаза большой кубок с надписью: от благодарных таких-то. Вещицы эти излучают радушие, признательность, может, даже любовь, — и правда, спустя всего несколько дней мне стало казаться, будто здешние стены привлекают меня. Все это добро некогда принадлежало другому, но нынче я принял наследство от мертвеца, с которым при жизни его даже не был знаком.

Хозяйка моя, сразу подметившая, что я не из болтливых, выказывала деликатность и такт и всегда спешила убрать мою комнату к тому часу, когда я возвращался с утренней прогулки, и, здороваясь, мы ограничивались дружелюбными кивками, заменяющими уйму фраз: Как поживаете? — Спасибо, хорошо! — Нравится вам у меня? — Весьма! — Рада слышать!

Спустя неделю она все же не утерпела и спросила, нет ли у меня каких-либо пожеланий: если что нужно, мне достаточно лишь сказать...

— Нет, сударыня, у меня нет никаких пожеланий, я всем доволен.

— Гм. А я, признаться, думала... я ведь знаю, как подчас капризны мужчины...

— Я давно уже отвык от капризов!

Хозяйка смерила меня любопытным взглядом — должно быть, слышала про меня иное.

— Скажите, а еда вам по вкусу?

— Еда? Признаться, я даже и не заметил! Стало быть, еда — отменная.

Сушая правда! Все обслуживание было отменным. Мало того — я ощущал бережную заботу, какой прежде никогда не встречал.

Спокойно, тихо, привольно текли мои дни, и хоть временами меня и тянуло заговорить с хозяйкой, особенно когда она смотрела так грустно, все же я поборол искушение, из страха приобщиться к чужим заботам, но также из уважения к тайнам чужой жизни. Мне нравились наши безличные отношения, и я предпочитал, чтобы ее прошлое и впредь оставалось для меня окутанным неизвестностью. Стоит мне узнать ее историю, — вся обстановка комнат приобретет иной облик, чем тот, который я ей навязал, и сотканная мною картина тотчас расплывется; стол, стулья, буфет, кровать — вся здешняя мебель сделается реквизитом в драмах вдовы, которые будут сниться мне по ночам.

Нет, все это отныне мое, пропитано моим духом, и реквизит нужен мне для моей пьесы. Моей!

* * *

Нынче я даже обзавелся неким безличным общением, причем самым что ни на есть простым способом. Этих незнакомых знакомых, с которыми я не раскланиваюсь, поскольку не знаю их лично, я обрел в итоге утренних моих прогулок. Первым на моем пути возникает майор. Майор он, правда, отставной, уже получает пенсию, а стало быть, ему никак не меньше пятидесяти пяти лет. И он, значит, гражданское лицо. Мне известно его имя, да и рассказывали мне о нем кое-что, относящееся к дням его молодости. Он холост — это я тоже знаю. Как я уже сказал, он теперь в отставке и, стало быть, живет без всякого дела, дожидаясь своего смертного часа. Но он смело шагает навстречу судьбе — высокий, статный, с могучим торсом под почти всегда расстегнутым пальто, прямодушный, мужественный человек. У него темные волосы, черные усы и упругая походка, настолько упругая, что я весь будто подтягиваюсь при встрече с ним, да и вообще, вспоминая, что ему уже пятьдесят пять, я словно бы молодею. Мне даже кажется, по тому, как он глядит на меня, что я ему не противен, что, может, он даже расположен ко мне. А спустя какой-то срок он и вовсе стал казаться мне старым знакомцем, которому мне всякий раз

хотелось кивнуть. Но есть между нами одно различие: он уже отслужил свой срок, я же по-прежнему в самом горниле борьбы и всем своим существом, да и каждодневной работой, устремлен в будущее. Так что тщетно стал бы он искать сочувствия у меня, как у товарища по несчастью. Чего-чего, а уж этого я никак не намерен допускать. Правда, у меня на висках седина, но стоит лишь захотеть — и завтра же волосы у меня будут такие же черные, как у него, да только я не помышляю об этом, — ведь у меня нет женщины, перед которой я должен был бы рисоваться. К тому же, сдается мне, волосы его лежат слишком ровно, что способно возбудить подозрение, зато мои волосы неподдельны бесспорно.

Есть у меня на примете еще и другой человек, приятный мне уже тем, что я понятия не имею, кто он. Ему наверняка уже перевалило за шестьдесят, и волосы и борода у него совершенно седые. Поначалу, в дни наших первых встреч, казалось, что чем-то знакомы мне эти черты, это лицо человека с больной печенью, вся фигура его, — и всякий раз я спешил ему навстречу с чувством симпатии и сострадания. Должно быть, думал я, он сполна извещал горечь жизни, пытаюсь плыть против течения, боролся и был побежден, а нынче ему выпало жить в новое время, исподволь, неприметно утвердившееся в ж и з н и, — время, от которого он отстал. Должно быть, он не может отринуть идеалы юности, ведь они ему дороги, да и к тому же это верные идеалы... бедняга! Он убежден, он знает, что шел верным п у т е м, — это современники его заблудились, зашли в тупик... Трагедия!

Но как-то раз, взглянув ему в глаза, я понял, что он меня ненавидит, может, потому, что уловил сострадание в моем взгляде, и это-то больше всего оскорбило его. Он даже презрительно хмыкнул, поравнявшись со мной. Что ж, может, сам того не подозревая, я когда-то обидел его самого, а не то его близких, каким-то образом бездумно вмешался в его судьбу, но может ведь быть и другое: может, попросту мы были с ним когда-то знакомы? Он ненавидит меня, и странным образом мне кажется, будто ненависть его мной заслужена, но я больше никогда не взгляну ему в глаза — слишком уж они колючие и к тому же будят во мне чувство вины. Но, может, мы с ним просто родились врагами, может, классовые и расовые различия, разница в происхождении и взглядах воздвигли между нами стену, присутствие которой мы ощущаем оба. Опыт научил меня в гуще уличной толпы сразу отличать врага от друга, ведь иные прохожие, сплошь и рядом вовсе незнакомые люди, излучают такую враждебность, что я всякий раз перехожу на другую сторону улицы, чтобы только не столкнуться с ними лицом к лицу. У одиноких чувствительность обострена необычайно: стоит лишь донестись с улицы голосу человека — и я сразу же отзываюсь на него радостным или неприязненным чувством, но иной раз не чувствую ничего.

И еще третий знакомец есть у меня. Он обычно ездит верхом, и я киваю ему, ведь он знаком мне еще с университетской поры,

я, кажется, знаю его фамилию, вот только имя его плохо помню. Я не разговаривал с ним верных лет тридцать, мы только раскланиваемся на улице, иногда улыбаемся в знак того, что узнали друг друга, а уж у него под большими усами добрая такая улыбка. Он носит мундир, и с годами все больше прибавляется ободков яркой тесьмы на его фуражке, да и пышнее становится весь позумент. Совсем недавно, после десятилетнего перерыва, я снова встретил его: он ехал верхом, а позумента на его мундире было так много, что я не посмел поздороваться с ним из страха, что он мне не ответит. Но, должно быть, он это понял, и придержав коня, крикнул мне:

— Здравствуй, ты что, не узнал меня?

Да что там, узнал, конечно, и, раскланявшись, мы оба проследовали каждый своим путем, и с тех пор мы снова киваем друг другу. Как-то раз утром мне почудилась под его усами странная, непривычно подозрительная усмешка. Я не знал, должен ли я отнести ее на свой счет, настолько мне это казалось нелепым. Впрочем, должно быть, все это лишь померещилось мне — думал ли он, что я думаю, что он заважничал, или сам он заподозрил меня в высокомерии. Меня? В высокомерии? Что ж, не так уж и редки случаи, когда сам человек ни в грош себя не ставит, а молва приписывает ему смертный грех гордыни.

* * *

Еще есть у меня знакомая пожилая дама, у нее две собачки, которые часто выводят ее на прогулку. Всякий раз, когда они останавливаются, вместе с ними останавливается и она, они же останавливаются у каждого фонаря, у каждого дерева, у каждого перекрестка. Я всегда вспоминаю рассуждения Сведенборга, когда вижу ее: вспоминаю человеконенавистника, сделавшегося одиноким настолько, что принужден был искать общества зверей, — и думаю, что судьба покарала эту женщину странной аберрацией. Она вообразила себя повелительницей этих двух грязных собак, — на самом же деле это собаки заставляют ее исполнять все их капризы. Про себя я называю ее Владычицей Мира или еще Защитницей Вселенной, — такой у нее вид: она ходит, надменно вскинув голову, но притом не отрывает взгляда от земли.

А еще есть у меня старушка, которую я изредка подкармливаю десятками: по-моему, она колдунья. Появляется она редко, но неукоснительно всякий раз, как мне случится получить сравнительно крупную сумму денег или же когда мне грозит опасность. Я никогда не верил в дурные приметы и во всякую подобную чепуху, никогда не поворачивал назад при виде старухи и не плевал через плечо, когда мне перебежала дорогу черная кошка. Точно так же я никогда не пинал ногой приятеля, затеявшего новое предприятие с сомнительным исходом, а, наоборот, от всей души желал ему счастья и хлопал его по плечу. Совсем недавно я именно так и поступил

с одним из моих просвещенных друзей-актеров. Он же зашипел на меня, резко обернулся и, сверкая глазами, сказал: «Цыц! Молчи! А не то сглазишь!» Я же отвечал: «Нет, от добрых пожеланий беды не будет, хоть, может, не будет и пользы». Он остался при своем мнении, — подобно всем безбожникам, он был суеверен. Да, уж эти неверующие верят решительно всему, без разбора, да только толкуют все шиворот-навыворот. Приснится им ночью приятный сон — говорят: не к добру, а привидится какая-нибудь мерзость — говорят: это к деньгам. Я же не придаю значения каким-то пустячным снам, но уж если сон преследует меня, я толкую его в том же смысле, да еще и как некий знак, предвещающий, что ждет меня впереди. Словом, ночной кошмар для меня — предостережение, а прекрасный сон — благая весть или же утешение; все это в полном согласии с логикой и с наукой: если я чист душой, то и вижу чистые сны, и наоборот. Сны отражают мой внутренний мир, и стало быть, мне дозволено пользоваться ими, как пользуются зеркалом для бритья: зеркало позволяет человеку следить за своими движениями и не дает порезаться бритвой. Точно так же принимаю я и многое из того, что «случается» наяву, — правда, далеко не все. Вот, к примеру, на улицах всегда валяются клочки бумаги, но отнюдь не всякая бумажка привлечет мое внимание. Но уж если какая его привлечет, я не премину тщательно изучить ее, а уж если на ней что-то написано или напечатано и притом как-то связано с тем, что в этот час больше всего меня занимает, тогда я рассматриваю появление этой бумажки как некое воплощение моей сокровенной, еще не родившейся мысли, и тут я, бесспорно, прав: ведь не будь этой мысленной связи между моим внутренним миром и этим предметом из мира внешнего, взаимопроникновение этих двух миров было бы невозможно. Лично я не склонен полагать, что кто-то нарочно разбрасывает для меня бумажки на улицах, но иные люди неминуемо в это поверят, да и как не поверить в это тем, кто признает лишь непреложные факты и дела человеческих рук.

Однако я потому считаю мою старушку колдуньей, что я не в силах объяснить, отчего она возникает всякий раз в нужный момент. Обликом она напоминает рыночную торговку времен моей юности или же лоточницу, торгующую на открытом воздухе карамельками. Одета она в какое-то ветхое тряпье, но без прорех или пятен. Она не знает, кто я такой, но зовет меня шефом, должно быть, потому, что три года назад, когда началось наше знакомство, я был довольно-таки толст. Всякий раз она горячо благодарила меня и желала мне счастья, и добрые эти слова еще долго сопровождали меня на моем пути, и так отраднo мне слышать старое, нежное «благословляю», звучащее совсем не так, как жесткое «проклинаю», и от этого весь день у меня хорошо на душе.

Как-то раз, на втором году нашего знакомства, я дал ей банкноту, рассчитывая поймать на ее лице то самое дурашливое, чуть ли не злобное, выражение, которое вспыхивает на лицах иных нищих, стоит только подать им не в меру щедрую милостыню.

Видно, они думают, что ты спятил или по ошибке вынул из кошелька не ту бумажку. Какой-нибудь вороватый мальчишка, получив из твоих рук серебряную монету, непременно прыснет и бросится наутек, словно опасаясь, что ты тотчас же помчишься за ним, дабы отобрать у него серебро и взамен сунуть медь. Но моя старушка так крепко схватила меня за руку, что я не мог вырваться, и почти безговорочным тоном, выдававшим глубокое знание жизни, спросила:

— А что, шеф, и вы, сдается мне, были бедны?

— Да, я был так же беден, как вы, и, может, снова таким и буду!

И это она поняла, я же подумал, что она, должно быть, знавала лучшие дни, но расспрашивать ее не хотел.

Вот этим-то кругом примерно и ограничивалось мое общение с людьми вне дома, и целых три года я довольствовался им.

Впрочем, кое-какое общение было у меня и в самом доме. Я жил на пятом этаже, и следовательно, подо мной располагались четыре семьи, включая ту, что занимала самый низ; четыре семьи — каждая со своей судьбой, со своим укладом. Никого из этих людей я не знаю, не знаю, как они выглядят, и, должно быть, ни разу не сталкивался с ними на лестнице. Лишь на дверях видел я таблички с их именами, а по названиям просунутых в двери газет примерно догадывался, какие взгляды они исповедуют. Прямо за стеной у меня обитает певица, которая угощает меня великолепным пением, а к тому же у нее есть подруга, которая часто приходит к ней и играет для меня Бетховена, — это самые лучшие из моих соседей, и временами меня тянет познакомиться с ними, чтобы высказать им мою благодарность за все минуты светлого счастья, которые они мне дарили, но я преодолеваю соблазн, потому что знаю: все очарование нашей связи тотчас развеется, как только мы будем признудены обмениваться банальными фразами. Временами в квартире подруг на несколько дней поселяется тишина, и тотчас все будто меркнет в моем жилище. Правда, есть у меня еще и другой веселый сосед — кажется, он живет в одном из нижних этажей в доме напротив. Он часто наигрывает что-то опереточное и совсем мне не знакомое, но столь неотразимо веселое и простодушно лукавое, что порой среди самых мрачных раздумий меня вдруг одолевает смех.

Словно бы в противовес всему этому, дабы омрачить мою радость, другой ближайший сосед, живущий в квартире подо мной, держит собаку. Громадный, рыжий и шалый пес то и дело с громким лаем носится по лестнице. Хозяин его, судя по всему, считает наш дом своей собственностью, а всех нас, жильцов — ворами и взломщиками и потому поручает этому примерному стражу охранять этажи. И если порой случится мне припоздниться и ощупью пробираться к себе во тьме лестничной клетки, то уж я беспременно ткнусь ногой в нечто мягкое и мохнатое, — и тут мгновенно взрывается ночная тишь и во тьме вспыхивают два огненных кружка, и весь винтообразный лестничный проем наполняется грохотом

столь оглушительным, что тут же отворяется дверь и выходит хозяин собаки, который испепеляет меня, потерпевшего, своими яростными взглядами. Я, конечно, не приношу ему извинений, но всегда чувствую себя виноватым: владельцы собак вечно обвиняют в чем-то все человечество.

Никогда не мог я понять, как это человек может отдавать всю свою любовь и заботу, которую мог бы подарить лю д я м, — животному, да еще такому нечистому животному, как собака, которая только и делает, что повсюду гадит. Но у моего соседа с четвертого этажа есть к тому же еще и жена, и взрослая дочь, и они вполне разделяют чувства главы семьи к этому псу. Время от времени соседи устраивают собачьи посиделки: рассевшись в гостиной вокруг стола — мне нет нужды гадать, где они сидят, и без того все хорошо слышно, — они заводят со своим чудовищем разговор. За неимением дара речи пес отвечает на расспросы во ем, и все члены семейства заливаются радостным, горделивым смехом.

Иной раз собачий лай будит меня среди ночи. Как сильно, должно быть, кичится эта семья своей собственностью — чутким бдительным зверем, даже сквозь стены и закрытые окна способным учуять шум ночного экипажа! Но что мысль о потревоженном покое несчастных ближних хоть как-то омрачит радость хозяев пса — на это рассчитывать не приходится. Бесценное благо священного сна, которое столь тяжело дается многим, не в почете у этих людей. Я не раз задавался вопросом, откуда берутся люди настолько толстокожие, что не ощущают проклятий, которыми в ночной тиши осыпают их соседи, разбуженные лаем и потом вынужденные часами лежать в своих кроватях без сна. Неужто не чувствуют они, как законная ненависть проникает к ним сквозь полы, потолки и стены, призывая на их головы справедливую кару?

Как-то раз, много лет назад, в другом доме, я отважился попенять соседу, что по ночам у него в квартире лает собака. Хозяин собаки, однако, тут же предъявил мне встречный иск, возразив, что у меня в квартире плачут дети! Грязное, вредоносное животное он поставил на одну доску с больным ребенком! С тех самых пор я воздерживаюсь от жалоб. Но дабы самому внутренне примириться с этим и впредь более ровно относиться к людям, я пытался как-то самому себе уяснить подобную страсть к животным, превосходящую любовь к человеку, но так и не нашел сколько-нибудь разумного объяснения. И подобно всему необъяснимому, она представляется мне зловещей. Вздумаю я рассуждать по методу Сведенборга, я определил бы эту страсть как навязчивое состояние, посланное человеку в виде кары. На том до поры до времени и будем стоять. Ведь одержимые этой страстью — поистине несчастные люди и как таковые заслуживают сострадания.

К квартире моей примыкает балкон, с него открывается широкий вид на вересковые заросли и залив, на синеющие вдали, над берегом моря, леса. Но когда я лежу на своем диване, то вижу лишь небо и облака. И кажется мне, будто я завис в воздушном шаре высоко, высоко над землей. Но тут в уши тревожным звоном вливается уйма мелких звуков. Сосед снизу говорит по телефону, и по его выговору я слышу, что он родом из Вестергётланда. Где-то в одной из нижних квартир плачет ребенок. А на улице двое остановились под моим балконом и завели беседу — тут я и вправду начал прислушиваться — имеет же писатель, по крайней мере, право подслушать уличный разговор!

— Понимаешь, гиблое это дело!

— А что, он уже и лавку закрыл? Да, смотри-ка! (Я сразу понял, что речь идет о новой бакалейной лавке в нашем доме, которую пришлось закрыть из-за недостатка клиентов.)

— О чем тут толковать, слишком много других лавок вокруг, да и не с того конца хозяин за дело взялся!.. В первый день выручка составила тридцать эре, на другой день пришел один-единственный клиент, да и то — полистать адресную книгу, а на третий день — продали несколько марок! Правда, слишком много других лавок вокруг! Ну, будь здоров!

— Будь здоров! А ты куда, в банк?

— Нет, я на набережную, насчет пошлины...

Это была заключительная реплика в драме, которая в последние три месяца разыгрывалась у меня на глазах, в моем доме, и притом следующим образом.

В нижнем этаже, слева от моего подъезда, стали отделять помещение для бакалейной лавки. Пустили в ход краску и позолоту, лак и олифу, и молодой хозяин с тротуара то и дело придирчиво оглядывал все это великолепие. Он производил впечатление бойкого коммерсанта: что-то напористое, плотоядное, разве что чуть легкомысленное было в нем. Но при том он казался неустрашимым и полным лучших надежд — особенно когда приводил с собой невесту.

Я видел, как вырастали вдоль стен новой лавки шкафы и полки, вскоре установили также прилавок, а в стенку ввинтили телефон. Телефон особенно мне запомнился, его звон так скорбно отдавался у меня в стене, но я и не думал жаловаться, — ведь я решил вообще отвыкнуть от жалоб. Затем в лавке соорудили еще кое-что, а именно — задник с аркой, нечто вроде сценической декорации: мнимая глубина перспективы должна была создать иллюзию грандиозности.

Шкафы и полки стали заполнять уймой разного рода товаров с хорошо знакомыми, но также и с незнакомыми названиями. Расстановка заняла целый месяц. Тем временем на огромной витрине появилась надпись громадными готическими буквами: «Бакалея Восточного предместья».

И тут я вспомнил Софокла:

Из всех божьих даров высший дар —
Рассудительность, а стало быть, остерегайся
Оскорбить вечных богов. Гордыня,
Тяжкими ранами расплатившись за дерзость,
С годами
Выучится благоразумию.

До чего же безрассуден этот молодой человек! В нашем предместье самое меньшее сотни две бакалейных лавок, но он рекламирует свое заведение как единственный заслуживающий внимания магазин! А это уже наглость, посягательство на чужие права, поправные прав конкурентов, которые тотчас начнут кусать его за пятки! Беззастенчивость! Беззаконие, бездумность! Короче, молодой торговец, недавно вступивший в законный брак, открыл свою лавку. Витрина была великолепна, но участь ее владельца внушала мне страх. Да и с чего начал он свое предприятие — со сбережений, с наследственного капитала или же с векселей, которые через три месяца надо будет погасить?

Первые дни прошли так, как о том поведали неизвестные собеседники, остановившиеся под моим балконом. На шестой день я зашел в лавку сделать кое-какие покупки. Я увидел, что продавец без дела стоит в дверях и глазеет по сторонам. Уже одно это я счел оплошностью: всякому приятно беспрепятственно войти в лавку, а если еще продавец стоит в дверях, — любой тотчас смекнет, что покупателей в ней нет как нет. Понял я поэтому, что самого хозяина вообще нет на месте: наверно, уехал куда-то со своей молодой женой, может, даже в свадебное путешествие.

Словом, я вошел в лавку и был поражен изысканностью декораций и обращения, — все это заставило меня предположить, что хозяин в прошлом имел отношение к театру.

Когда требовалось взвесить финики, их брали не просто пальцами, а двумя тончайшими бумажными салфетками — знак прекрасных, вдохновляющих традиций. Товар тоже оказался отменным, и я стал захаживать в эту лавку.

Спустя несколько дней возвратился хозяин и сам встал за прилавок. Человек он был, что называется, современный, это я понял сразу; он не пытался вступить со мной в разговор (трюк этот устарел!), но все, что нужно, он говорил глазами: почтение, доверие к клиенту, безукоризненная честность читались в этих глазах. Вот только он не мог удержаться, чтобы не попотчевать меня небольшим спектаклем. Его вдруг позвали к телефону, и, рассыпавшись передо мной в извинениях, он подошел к аппарату. Но бедняге не повезло, что нарвался он на меня: как драматург, я долго изучал мимику и искусство сценического диалога. И я сразу увидел по его лицу, что никакого телефонного разговора нет, да и по ответам его на вопросы вымышленного собеседника было ясно, что он ломает комедию.

— Что, что? Да, да, непременно! Будет сделано!

Тут он повесил трубку.

Сцена эта должна была означать: получен крупный заказ. Но сыграл он ее плоско, без необходимых оттенков. Невинная в общем затея, но меня рассердило, что малый этот дурачит меня, да и надоело ждать, поэтому я хмуро принялся изучать фирменные этикетки. Хоть я и не очень-то разбираюсь в винах, но все же у меня давно отложилось в памяти: марка «Круз и сыновья» гарантирует, что перед тобой — настоящее французское вино. Увидев здесь эту марку, я удивился появлению бордоского в бакалейной лавке и, решив кутнуть, купил одну бутылку вина за баснословно низкую цену.

Дома же сделал я ряд открытий, вследствие которых решил ничего больше не покупать в этой лавке, — пусть я и не пострадал в этот раз. Прежние отменные финики хозяин перемешал с другими — старыми и жесткими, как дерево, а вино, хоть на бутылке и стояла фамилия Круза, могло быть из каких угодно подвалов, может, даже самого Робинзона Крузо, но только не «Круза и сыновей».

С тех пор я вообще не видел, чтобы кто-нибудь заходил в эту лавку. И тут-то и началась трагедия. Человек в самом расцвете сил, жаждающий дела, оказался осужден на праздность, а стало быть, и на гибель. Он пытался сражаться с напастью, с каждым часом придвигавшейся все ближе. Неустранимость его дала трещину и сменилась каким-то нервным упрямством; я видел, как за стеклом витрины, будто призрак, мелькало его лицо — он высматривал клиентов, — но вскоре он начал прятаться. Тяжело было видеть, как он в страхе скрывался за свою арку, страшась всего на свете, даже прихода клиентов: что, если снова кто-то придет полистать адресный справочник? Жестокий миг — ведь клиента надлежало встретить любезной улыбкой. Еще в первые дни торговли хозяин застиг своего продавца на том, как тот брезгливо швырнул адресную книгу какому-то благообразному пожилому господину. Обладая несколько большим житейским опытом, чем его юный помощник, владелец лавки сделал пареньку выговор и объяснил: сперва люди приходят в лавку за марками и адресной книгой, а уж потом становятся ее клиентами; жаль, сам он не усвоил той истины, что лучшая реклама — это добротный товар, а обманом только себя самого подведешь.

Крах приближался. Все муки хозяина лавки сделались моими муками; я страдал, размышляя, каково же придется его жене и как он оплатит квартальный взнос, аренду и векселя. Под конец мне стало уже невозможно проходить мимо его витрины, и я всякий раз выбирал другой путь. И все равно мне не удавалось о нем забыть — так скорбно отдавался в моей стене звон его телефона, даже по ночам. И всякий раз слышал я скорбные причитания, долгий, нескончаемый плач о жизни, сломленной в самом зачатке, плач надежды и отчаяния, что нельзя начать все сначала... да где-то ждала его жена с нерожденным младенцем в утробе.

Легче не становилось оттого, что он сам был повинен в своем несчастье. А впрочем, неизвестно, он ли был в нем повинен. Всем этим мелким уловкам, что в обиходе у торговцев, хозяин лавки выучился у своих наставников и не видел в них ничего дурного. Недомыслие! Вот причина, но никак не вина.

Порой я спрашивал себя: мне-то что за дело до всего этого? Но может, так и нужно — чтобы над тобой довлело чужое горе, и оно неизбежно настигнет тебя всякий раз, когда, окопавшись в уединении, ты захочешь спрятаться от него.

Наконец, жребий торговца свершился. Признаться, я вздохнул с облегчением, когда на дверях лавки повесили замок и все было кончено. Но когда вновь отперли дверь и принялись опустошать шкафы, освобождать полки и вывозить всю эту груды товаров, по большей части уже попорченных, то казалось, будто мы присутствуем при вскрытии трупа. Я был знаком с одним из грузчиков и, поднявшись в лавку, прошел в заднюю комнату за аркой. Вот здесь молодой хозяин лавки бился с судьбой. Дабы убить время и уйти от пытки полного безделья, он без конца выписывал липовые счета. Бумажки эти по-прежнему валялись в задней комнате, а выписывались они на имя князя Гогенлоэ, Феликса Фора и принца Уэльского. Принц будто бы купил 200 килограммов «русского» мармелада и ящик бутылей с острым индийским соусом.

Любопытно, как в мозгу этого человека поездка Феликса Фора в Россию слилась с рассказами об англо-индийской кухне, которую держал в своем доме принц Уэльский.

Валялась здесь также пачка написанных от руки объявлений о продаже «превосходной» икры, «превосходного» кофе, — словом, превосходным провозглашался весь товар, да только ни одно объявление так и не было напечатано.

Я понял, что человек, стоявший за конторским столом, вынужден был разыгрывать эту комедию ради своего помощника. Бедняга! Жизнь, однако, — вещь долгая и изменчивая, и как знать, может, человек этот еще и выплывет на поверхность!

III

Вот что такое, в конечном счете, одиночество: закутаться в шелковый кокон своей души, обратиться в куколку и ждать превращения, а уж оно не преминет наступить. Пережитое служит тебе пищей, да и к тому же в силу телепатии ты живешь жизнью других людей. Смерть и воскрешение, новая школа для нового, неведомого бытия.

В одиночестве, наконец, ты сам себе господин. Никто не контролирует твоих мыслей, а, стало быть, чужие вкусы и прихоти не давят более на тебя. В этой заново обретенной свободе расцветает душа, и наполняет ее отныне умиротворенность и тихая радость, чувство уверенности и полной ответственности за себя.

Когда же я вспоминаю свою совместную жизнь с кем бы то ни было, о которой принято говорить, что это и есть школа нравственности, — нынче она представляется мне исключительно школой порока. Быть принужденным постоянно наблюдать уродство — пытка для человека, наделенного чувством прекрасного, и он ошибочно начинает почитать себя мучеником. Но если учтивости ради начнешь притворяться, будто не замечаешь дурного, — сделаешься лицемером. А привыкнув, ради все той же учтивости, всегда подавлять собственное суждение, станешь трусом. И наконец, если ради мира в семье ты станешь брать на себя вину за проступки, в коих совсем неповинен, это неприметно унижит тебя, так что вскоре и сам начнешь почитать себя дрянью; да если человек ни разу не слышал ни от кого доброго слова, он и вовсе может утратить мужество и всякую веру в себя, а вечно сносить последствия чужих прегрешений — от одного этого можно возненавидеть людей, а с ними и все мироздание.

Но всего хуже другое: даже будучи преисполнен самых добрых намерений, ты уже не хозяин своей судьбы. Сколько бы ни тщился я быть во всем безупречным, какой от этого прок, если мой спутник чем-то замарает себя? Половина позора, если не весь позор, падет на мою голову, как оно всегда и бывает. Вот и выходит, что, деля жизнь с другим человеком, ты вечно живешь в тревоге, ведь ты куда больше уязвим, обнажен перед толпой стараниями самого близкого тебе существа и вечно зависишь от чужих непредсказуемых поступков. А тем, кто не мог подобраться ко мне, когда я был одинок, теперь ничего не стоит вонзить нож в мое сердце, коль скоро я доверил его другому, и тот человек повсюду таскает его с собой — на улицу и даже на базарную площадь.

И еще одно благо даровало мне одиночество: я сам распоряжаюсь отныне моим духовным пайком. Мне нет больше нужды лицедреть врагов в своем доме, за семейным столом, и молча выслушивать, как они поносят все самое для меня святое; и я не обязан у себя в квартире внимать звукам музыки, которой не выношу; точно так же избавлен я от необходимости повсюду наткаться на газеты с карикатурами, высмеивающими моих друзей, а порой и меня самого, и свободен от обязанности читать книги, которые не ставлю ни в грош, да еще и ходить на выставки и восхищаться живописью, которую презираю. Словом, я хозяин своей души во всех случаях, когда человек имеет на это право, и я сам решаю, что мне любить, а что ненавидеть. Никогда не был я тираном, желая лишь одного — чтобы меня не тиранили, но этого-то и не терпят люди, склонные к тирании. Зато я всегда ненавидел тиранов, а уж этого они нипочем не прощают.

Всю свою жизнь я стремился вперед и ввысь и этим был прав перед теми, кто старался совлечь меня вниз, и вот почему я сделался одиноким.

Первое, к чему побуждает одиночество, — это разобраться с самим собой и со своим прошлым. Долгая это работа, в неустанном борении с собой, и долгая наука. Зато и нет науки благодарней, чем познать самого себя, если только это возможно. Порой не обойтись без помощи зеркала, особенно чтобы рассмотреть себя сзади, иначе ведь и не узнаешь, как выглядишь со спины.

Я начал это разбирательство лет десять назад, когда впервые познакомился с Бальзаком. Читая один за другим все пятьдесят его томов, я не замечал того, что совершалось во мне, пока чтение не подошло к концу. И тут оказалось, что я уже нашел себя и сумел обобщить все противоречия моей жизни, доселе мнившиеся неразрешимыми. К тому же, привыкнув разглядывать людей в его бинокль, я научился смотреть на жизнь обоими глазами, тогда как прежде видел ее сквозь свой монокль — одним глазом. И этот великий волшебник внушил мне не только смирение, своего рода покорность жребию или провидению, смягчившие боль от самых тяжелых ударов судьбы, но и неприметно одарил меня верой, которую я хотел бы назвать неортодоксальным христианством. В ходе путешествия, в какое увлек меня Бальзак, этого странствия сквозь его человеческую комедию, наградившего меня знакомством с четырьмя тысячами персонажей (некий немец всех их пересчитал!), я словно жил другой жизнью — много шире, богаче моей собственной, — так что в конце путешествия мне показалось, будто я уже прожил целых две человеческих жизни. Но, окунувшись в мир Бальзака, я стал по-иному смотреть на мой собственный мир и после многих кризисов и рецидивов в некотором роде смирился с болью, и мало того, еще и открыл для себя, что в огне страданий и скорби сгорает дотла душевный мусор; облагораживая инстинкты и чувства, пламя умножает силы души, воспарившей над измученным телом. С этой поры я уже глотал горькие пилюли, какие преподносила мне жизнь, как целебное средство, и считал своим долгом выстрадать все — кроме унижения и рабства.

Одиночество вместе с тем обостряет впечатлительность человека, и если прежде я защищался грубостью от страданий, то ныне я стал более чувствителен к чужой боли, сделался чуть ли не игрушкой внешних влияний, только, разумеется, не дурных. Дурные влияния лишь отпугивали меня, и я еще больше замыкался в своем одиночестве. Я стал искать места уединенных прогулок, где заведомо встретишь лишь мелкий люд, прохожих, которым я незнаком. Есть у меня свой особый маршрут — *Via dolorosa*¹ прозвал я его, — который я выбираю в пасмурные дни. Это северная оконечность Старого города — широкая улица, окаймляемая с одной стороны вереницей домов и лесом — с другой. Но чтобы туда добраться, надо пройти переулок, который мне чем-то особенно мил, хоть,

¹ Скорбный путь (*ит.*).

по совести, я и не скажу, чем он так околдовал меня. В самом низу тесного переулка, возвышаясь над ним, стоит огромная церковь — она и осеняет и затеняет его, — но не она привлекает меня, ведь я никогда не бываю в церкви, потому что... не знаю сам почему. Там же, справа, расположена контора пастора, куда однажды, много лет назад, я ходил насчет оглашения предстоящего моего брака в церкви. Но там, у северной оконечности Старого города, где улица выводит тебя к вересковым зарослям, высится дом. Величественный, будто дворец, стоит он на скате последнего холма, и из него открывается вид на море и шхеры. Этот дом много лет занимал мои мысли. Я мечтал поселиться в нем и внушил себе, будто там живет человек, от которого прежде зависел, а может, и ныне зависит мой жребий. Дом этот виден мне из моей квартиры, и день за днем я неотвязно разглядываю его в час, когда он весь озарен солнцем, но также по вечерам, когда в нем зажигают огни. А когда я иду мимо, что-то дружелюбно-участливое проступает в облике дома, и всем существом я отзываюсь на это, и кажется, жду не дождусь того дня, когда мне позволят обрести здесь и кров и покой.

Дальше я иду по широкой улице, куда вливается тьма переулков, и каждый из них будит во мне отзвуки прошлого. Я иду гребнем высокой горы, и переулки сбегают отсюда вниз, но иные где-то на полпути выгибаются горбом, образуя круглый холм, напоминающий земной шар. Остановившись вверху, на тротуаре широкой улицы, я смотрю, как из-за горки сюда спешит прохожий: сперва из земли показывается голова, за ней — плечи, и только потом вылезает весь человек. Зрелище это длится с полминуты, не меньше, и кажется необыкновенно загадочным.

Следуя своим путем, я заглядываю в каждую улочку, и вдали между стрелками мостов мелькает всякий раз то южное предместье, то королевский дворец, то дома Старого города. И тут меня захлестывают воспоминания. Вон там, на дне вон той гнутой трубы, именуемой переулком таким-то, стоит дом, где когда-то, в незапамятные времена, я бывал чуть ли не каждый день и где судьба готовила мне ловушку... Прямо напротив высится другой дом, куда спустя двадцать лет я хаживал в обстоятельствах сходных, но вместе с тем совершенно иных и потому злосчастных вдвойне. А вон там внизу, на соседней улочке, я изведал дни, обычно самые что ни на есть счастливые в жизни других людей. И для меня тоже были они таковыми, но вместе с тем и самыми страшными; и даже время с его спасительной позолотой бесильно воскресить красоту, оттого что уродство тех дней поглотило рассыпанные в них блески прекрасного. Картины с годами тускнеют, и меняются краски, да только не в лучшую сторону — в особенности, белый цвет зачастую приобретает грязно-желтый оттенок. «Читатели» утверждают, что так и должно быть, чтобы в час великого расставанья, коль скоро мы вынуждены отринуть прошлое, мы, ни о чем не жалея, спокойно следовали своим путем.

Я иду дальше все той же широкой улицей, мимо высоких новых домов, и скоро они начинают редеть. Встают в свете утра гряды гор, и расстилается впереди табачное поле; здесь же частная скотобойня, чьи неказистые службы скрыты за поворотом, в проулке. Здесь же примостился сарай с чердаком, где сушится табак, помню его с 1859 года, когда мне часто случалось тут играть. В былые годы на этом месте стояла хибарка, которой давно уже нет и в помине, в ней жила женщина, некогда служившая у моих родителей в няньках... и с этого самого чердака ее восьмилетний сын свалился на землю и притом сильно ушибся. Мы часто приходили сюда просить эту женщину помочь нам с большой уборкой, которую затевали всякий раз перед пасхой и рождеством... да и вообще я любил добираться до школы здешними переулками, чтобы только не выходить на Дроттнинггатан. Здесь росли деревья и цвели травы, здесь паслись коровы и кудахтали куры, одно слово — деревня!..

Вот я и возвратился в прошлое, назад в мое кошмарное детство, когда впереди ждала страшная, неведомая мне жизнь и все вокруг лишь давило и угнетало!.. Но достаточно отвернуться и пойти дальше — и все эти картины вновь отодвинутся в прошлое, и так я и поступил, но притом все же успел различить вдалеке верхушки лип на длинной улице моего детства и смутные очертания сосен у городского кладбища.

Я повернулся спиной к моему прошлому и, оглянув во всю длину широкую улицу, озаренную утренним солнцем, сияющим вдалеке — над синью гор, над берегом моря, мгновенно позабыл свое детство, столь тесно сплетенное с детством других людей и потому словно не мое, а чужое — ведь настоящая моя жизнь началась там, у моря.

Тот самый уголок у сарая с сушилом — мой вечный кошмар, но порой странным образом меня влечет туда, как влечет нас ко всему зловещему, страшному. Так люди ходят смотреть на диких зверей, которые крепко привязаны цепью и потому не могут броситься на тебя. А какое острое наслаждение испытываю я в тот миг, когда, повернувшись спиной к моему детству, следую дальше своим путем, — настолько острое, что я нет-нет да стараюсь доставить себе это счастье. В эту секунду я ухожу на тридцать три года вперед и радуюсь, что мне столько лет, сколько есть. Кстати, мне всегда хотелось «состариться», даже когда я был ребенком. Нынче я думаю, что уже тогда я предчувствовал все, что ждало меня в будущем и что нынче видится мне как нечто неизбежное, заведомо предопределенное. Жизнь моя никак не могла сложиться иначе. Когда у перекрестка юности меня встретили Минерва с Венерой, я был не в силах выбрать между ними, а протянул руки обеим и поспешил за ними, как, должно быть, и все мы поступали и как, возможно, нам и надлежит поступать.

И вот я шагаю солнцу навстречу и вскоре подхожу к ельнику по левую сторону улицы.

Помню, лет двадцать назад я шел этим же ельником и глядел на город, расстилавшийся внизу подо мной. В ту пору я был отверженным, отщепенцем, подобно Алкивиаду, осквернившему святыню и разбившему статуи бога. Помню, как жутко угнетало меня одиночество, не было ведь тогда у меня ни одного друга, зато весь город подстерегал меня там, внизу, как некий вражеский стан, ошестинившийся штыками против меня одного, и я уже зрил огни лагеря, и слышал звон набата, и знал, что меня захотят взять измором. Нынче я знаю, что в ту пору был прав, вот только зря я злорадствовал, радуясь зажженному мной пожару. О, будь у меня тогда хоть капля жалости к тем, чьи чувства я оскорбил! Хоть капля! Но, может, это значило бы слишком уж многого требовать от юноши, никогда не встречавшего участия у других!

То шествие мое сквозь ельник ныне вспоминается мне как нечто величественное и торжественное, но вот спасение мое в ту пору я не могу приписать собственным силам, потому что в них я не верю.

* * *

Вот уже три недели, как я не разговаривал ни с одним человеком, и, должно быть, от этого голос мой сделался глухим, еле слышным, потому что горничная перестала меня понимать, когда я к ней обращался, и мне приходилось повторять одно и то же по нескольку раз. Тут я встревожился, одиночество мое показалось мне проклятьем, и я подумал: люди не хотят меня знать за то, что я сам отвернулся от них. И отныне стал выходить вечерами из дому. Садился в какой-нибудь трамвай — для того лишь, чтобы быть рядом с людьми. Я старался прочитать в их глазах, нет ли у них злобы ко мне, но увидел одно равнодушие. Я прислушивался к их разговорам, так, словно пришел к ним в гости и имел право участвовать в беседе, пусть в роли молчаливого слушателя. Когда же в трамвай набивался народ, я радовался, чувствуя локоть другого человеческого существа.

Никогда не питал я к людям злобы, скорее наоборот, но я всегда боялся их, с первых дней моей жизни. Настолько был я прежде общителен, что мог водить компанию с кем угодно, и когда-то считал одиночество наказанием, — впрочем, может, так оно и есть. У друзей, которым доводилось сидеть в тюрьме, я спрашивал: в чем, в сущности, состоит наказание, и все отвечали мне: «В одиночестве». Конечно, на этот раз я сам избрал для себя одиночество, но с безмолвной оговоркой, что буду, когда мне захочется, навещать знакомых. Почему же я не делаю этого? Не могу, потому что чувствую себя чем-то вроде нищего попрошайки, когда поднимаюсь к кому-нибудь по лестнице, но при виде всякого звонка всякий раз поворачиваю назад. А затем, возвратившись домой, радуюсь, что повернул назад, особенно когда начну мысленно перебирать все,

что, по всей вероятности, мне довелось бы услышать, переступи я порог чужой квартиры. Поскольку мысли мои не совпадают с мыслями других людей, меня больно ранит чуть ли не любое их слово, и самое невинное замечание я способен воспринять как насмешку.

Наверно, судьба осудила меня на одиночество, и оно мне на пользу; хочется верить этому, иначе жребий мой был бы уж слишком жестоким. Но в уединении мозг порой насыщается столь обильно, что кажется, вот-вот голова лопнет, а потому необходимо следить за собой. Я всегда стараюсь уравновесить отдачу с тем, что вбираю в себя: ежедневно давать выход мыслям в писательстве, но и ежедневно впитывать новое через книги. Если весь день я пишу, то под вечер уже подступает отчаяние, вакуум, пустота: мне кажется, будто мне больше нечего сказать людям, будто я иссяк. Но если я весь день читаю, тогда мысли так переполняют меня, что кажется, я вот-вот взорвусь.

И еще я должен соразмерять часы сна и бдения. Избыток сна утомляет, он превращается в муку, бессонница же способна довести тебя до истерики.

День еще кое-как можно вытерпеть, но вечерами тяжело: чувствовать, как угасает мысль, — та же мука, что и следить за своим духовным и телесным упадком.

Встанешь утром с кровати, хорошо выспавшись за ночь, не пригубив вечером ни капли вина, и каждый миг жизни становится наслаждением. Ты будто восстал из мертвых. Будто обновились все силы души, во сто крат умноженные благодетельным сном. Будто в твоей власти преобразовать весь мир, вершить судьбы народов, объявлять войны и рушить династии. Читая газету, я узнаю из международных телеграмм все события современной истории и полностью ощущаю себя в русле дня, в сиюминутном кипении жизни. Я «современник» эпохи, в истинном смысле слова, ведь в меру моих слабых сил и я сотворял настоящее, трудясь на него в прошлом... Затем я читаю сообщения по стране и уж совсем под конец — городские новости.

С вчерашнего дня мировая история ушла вперед еще на один шаг. Тут приняли новые законы, там открыли новые торговые пути, где-то нарушили порядок престолонаследования, а где-то преобразовали государственный строй. Одни люди умерли, другие родились, третьи вступили в законный брак.

С вчерашнего дня мир изменился, с новым солнцем и новым днем пришло новое, и сам я почувствовал себя обновленным.

Мне страстно хочется сесть за работу, но сначала я должен пройтись. Спустившись в подъезд, я уже знаю, какой дорогой пойду. Не только солнце и облака, тепло или холод укажут мне путь, кажется, само тело мое оснащено приборами, показывающими, что же нынче сулит мне мир.

Три пути предоставляются мне на выбор. Веселая дорога к Юргордену, людная Страндвеген с прилегающими улочками, и, наконец, уединенная Виа Долороза, которую я уже описал. Но всегда

с первой же минуты я знаю, куда нынче понесут меня ноги. И если я в ладу с самим собой, то даже воздух ласков ко мне, и я спешу к людям.

И вот я шагаю по улицам в оживленной толпе, и все люди — будто друзья мне. Но если на душе скверно, тогда вокруг мне видятся одни лишь враги, издевательски посматривающие на меня, и так нестерпима порой их злоба, что иной раз я вынужден повернуть назад. Иногда я устремляюсь к Брунsvику или к дубовым рощам на холмах Росендала, и если природа созвучна мне, тогда я чувствую себя здесь как дома. С этими местами я сроднился, сросся, они стали фоном в действе, исполняемом мной одним. Но и у здешнего пейзажа свой нрав, и нет-нет да выдается утро, когда мы не ладим друг с другом. Тогда картина меняется: триумфальные арки берез мгновенно обращаются в пучки розог; сквозь толщу волшебной листвы грозят увесистые дубинки орешника; дуб свирепо размахивает над моей головой узловатыми сучьями, и мне страшно, словно на меня уже надели ярмо. Этот разлад между мной и пейзажем настолько мучителен, что я готов сдать и бежать отсюда. Но стоит мне повернуться и увидеть Южное предместье с его великолепным городским рисунком, как я тотчас кажусь себе путником, забредшим в чужой, враждебный край, туристом, впервые узревшим эти места, и я вправду растерян, как какой-нибудь чужестранец, не знающий в этом городе никого.

Затем я возвращаюсь домой, сажусь за письменный стол и оживаю: весь тот заряд, что я почерпнул на воле, отрицательный, как и положительный, служит теперь моим неисчислимым задачам. Я живу, живу многоликой жизнью всех людей, о которых пишу: с весельчаками веселюсь, со злодеями злобствую, творю добро с добродетельными, словом, вылезая из собственной скорлупы, из своего «я» и глаголю устами детей, женщин и стариков: я — король и нищий; могучий тиран и презираемый всеми подъяремный тираноборец; я вездесущ и многолик, любую веру готов признать своей, и всем эпохам принадлежит моя жизнь, — только сам себе я больше не принадлежу. Состояние это дарит мне ни с чем не сравнимое счастье.

Но к обеду я завершаю работу, — в этот день я уже больше не стану писать, и тут для меня наступает такая мука, что сумерки мнятся мне предвозвестием смерти. А сумерки тянутся ужас как долго. Другие люди после дневного труда находят развлечение в беседе с друзьями, мне же нечем развлечься. Тишина обступает меня, я пытаюсь читать, но сил уже нет ни на что. Тогда я начинаю мерять шагами комнату, поглядывая на часы, когда же они пробьют десять. И скоро они бьют десять.

Я сбрасываю одежду, вместе со всеми этими пуговицами, пряжками, кнопками и тесемками, — и душе моей приходит черед вздохнуть свободнее и сбросить гнет. Совершив омовение на восточный лад, я ложусь в кровать, и тут будто рассыпается все бытие: воля к жизни, к битвам, к борьбе угасает, а сонливость весьма сродни жажде смерти.

Но сначала я отдаю полчаса медитации — читаю духовные книги, которые выбираю всякий раз по настроению. Иногда я беру католическую книгу, от которой веет апостольским, традиционным христианством; подобно латыни и греческому — это наши истоки, ведь католическое христианство — начало начал нашей, моей культуры. Погружаясь в римский католицизм, я чувствую себя римским гражданином. И одновременно — гражданином Европы; к тому же вплетенные в текст латинские стихи напоминают мне, что я образованный человек. Я не католик, никогда им не был да и не намерен связывать себя принадлежностью к тому или иному вероисповеданию. Иногда я беру старую лютеранскую книгу — с псалмом на каждый день года — и пользуюсь ею как жупелом. Книга эта написана в XVII веке, когда людям на земле жилось худо. Потому и сочинитель ее на редкость суров и превозносит страдание как некую божью милость и благодать. Лишь невзначай случается ему обронить доброе слово, поистине он способен довести читателя до отчаяния, и потому я вступаю с ним в поединок. «Неверно все это, — говорю я себе, — это всего лишь испытание моих душевных сил. Ибо католический автор объяснил мне, что искушитель творит самое злое дело, стремясь столкнуть человека в пропасть отчаяния, отнять у него надежду, а надежда для католика — непременная добродетель, ведь суть веры в том, чтобы ждать от бога добра, а приписывать богу зло — это от дьявола».

Изредка достаю я другую, странную книгу, изданную в XVIII столетии, в век Просвещения. Автор ее неизвестен, и я затрудняюсь сказать, кто он — католик, лютеранин или кальвинист, в книге, однако, заключена христианская жизненная мудрость — мудрость человека, который хорошо знал мир и людей, да притом еще был и поэт и ученый. Этот автор всегда говорит мне именно то, что в этот день, в этот час мне необходимо услышать. И если в какой-то миг все восстанет во мне против неправомερных и нелепых его требований к смертному человеку, то в следующий миг автор сам же и приведет все мои возражения. Он, что называется, разумный малый, который трезво смотрит на вещи и умеет расставить по своим местам праведное и неправедное. Слегка напоминает он Якоба Бёме, считавшего, что всякое явление содержит в себе и «да» и «нет».

В особо торжественных случаях я обращаюсь к Библии. У меня несколько Библий, изданных в разное время, и мне всегда кажется, будто не одно и то же начертано в них, — уж очень рознятся они друг от друга силой заложенного в них заряда и воздействия на меня. Одна, в черном кардуановом переплете, швабахской печати XVII века, источает необычайный накал. Библия эта некогда принадлежала семейству священника, чье родословное древо запечатлено на внутренней стороне обложки. И кажется, будто в этой книге долго копились злоба и ненависть, ибо она только и знает что изрыгать проклятия и призывать на чью-то голову кары небесные; сколько бы ни листал я ее — всюду натыкался я на проклятия, которые Давид или Иеремия посылают врагам, а этого я уж никак

не хочу читать, потому что это не по-христиански. Вот, к примеру, молится Иеремия: «Итак, предай сыновей их голоду и подвергни их мечу; да будут жены их бездетными и вдовами, а мужья их да будут поражены смертью», и так далее в том же духе. Это не для христианской души. Я понимаю: можно просить у бога защиты от недругов, которые хотят столкнуть тебя в бездну, тогда как всеми помыслами ты устремлен ввысь, защиты от врагов, что из злобы отнимают у тебя хлеб. И то мне понятно, что можно возблагодарить господина, когда враг твой повержен; все народы, добыв победу, возглашали «Тя, боже», но молить бога покарать врагов, точно указывая род наказания, на это я бы ничем не решился, и смею сказать: что годилось во время оно для Иеремии или Давида, то непригодно нынче для меня.

Есть у меня, однако, еще и другая Библия, на сей раз XVIII века, в опойковом переплете с золотым тиснением. Конечно, написано в ней то же самое, что и в первой, но содержание подается здесь по-иному. Книга эта с виду напоминает роман и по большей части радует читателя, даже бумага и та посветлее, и шрифт много приятней, да и бог в ней куда как покладист; взять хотя бы тот случай, когда Моисей дерзает сердито корить Иегову. Пример относится к тому месту, когда народ вновь начинает роптать, и Моисей, устав от всего, взывает к всевышнему чуть ли не с укором: «Разве я носил во чреве весь народ сей и разве я родил его, что ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка... Откуда мне взять мяса, чтобы дать всему народу сему?.. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня; когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня».

Но Иегова отвечает на попреки эти без гнева и предлагает избрать в помощь Моисею семьдесят старейшин. Перед нами уже не тот неумолимый, мстительный бог из Ветхого завета. Однако хоть я и не задумывался над этим, а все же знаю: временами Ветхий завет мне ближе Нового. Библия обладает нравственной силой для нас, от рождения приобщенных к христианству, это бесспорно, — потому ли, что наши предки вложили в эту книгу всю силу своего духа в самую пору ее создания, сказать трудно. Святилища, храмы и священные книги воистину обладают Подобным даром, они накапливают эту силу, как аккумуляторы — электроэнергию, но служит она только верующим, ибо вера — это личная моя батарея, и лишь при ее посредстве заговорит со мной мертвый пергамент. Вера — мой противоток, который возбуждает энергию посредством индукции; вера — щетка, электризирующая стеклянный диск; вера — рецептор и одновременно проводник, — иначе не будет приема, и опять же — вера прекращает сопротивление материала — и только тогда может быть воспринято послание.

Вот почему все священные книги немы и мертвы для неверующего. Неверующий внутренне опустошен, дух его настолько стерилен, что ничто не возрастает в нем, он — само отрицание, минус, иррациональная величина, изнанка другого явления; сапрофит,

существующий не сам по себе, а лишь на чужих корнях, он словно бы лишен собственного бытия: ведь и для отрицания необходимо положительное начало, а не то — нечего будет отрицать.

Наконец, бывают минуты, когда помогает только буддизм. Так редко ведь получаешь то, чего желал, — тогда стоит ли вообще желать? Не желай, не требуй ничего от людей, от жизни, и всегда будешь рад, что получил больше, чем мог мечтать; к тому же и сам ты знаешь по опыту: когда вожденное у нас в руках, мы радуемся не столько желанному дару, сколько свершению мечты.

Временами внутренний голос вопрошает: а сам-то ты веруешь? И я тут же спешу заглушить этот голос, ибо знаю: вера — всего лишь состояние души, а отнюдь не плод мысли, и для меня состояние это полезно и благодетельно.

Но порой я встаю против всех этих непомерных требований, не в меру суровых заповедей и бесчеловечной кары, и тогда я на время оставляю мои духовные книги, но всякий раз вскоре вновь возвращаюсь к ним, повинуюсь словам, долетающим до меня из далеких времен: «Не забудь, что ты некогда был рабом в Египте и господь бог избавил тебя от рабства». Тут стихает мой бунт, ведь правда: я счел бы себя неблагодарным, трусливым мерзавцем, вздумай я отречься от спасителя моего перед людьми.

IV

И снова идет весна, в который раз (достигнув известного возраста, уже неохотно называешь цифру). Но нынче весна идет не так, как в былое время. Метаморфоза прежде начиналась с того, что поближе к пасхе на дорогах раскалывали ледяной наст. Тут уж можно было увидеть все, что отложилось за зиму, — нечто вроде геологической формации со всеми пластами. Нынче же не допускают образования ледяного наста, да и сани с бубенчиками и защитной сеткой теперь редко встретишь, так что порой начинаешь думать, а не ввели ли у нас с некоторых пор, помимо средневропейского времени, еще и среднеевропейский климат? Прежде, когда осенью прекращалось судоходство и не построили еще железных дорог, мы были отрезаны от мира; на зиму люди всякий раз запасались солониной, соленой рыбой, а с приходом весны остро ощущали пробуждение к новой жизни. Нынче же ледоходы и железные дороги сравнивали между собой времена года, и теперь мы круглый год наслаждаемся цветами, фруктами и зеленью.

Прежде весной вынимали внутренние рамы из окон, в комнату сразу врвался уличный шум, и, казалось, снова возникла связь с внешним миром. Мягкому, душному покою, устлавшему дом, наступал конец, но живительную встряску прежде всего порождал свет, лившийся внутрь. Нынче же круглый год держат двойные рамы, зато зимой даже не заклеивают окон, по мере надобности распахивая их настежь.

Настолько сравнялись нынче времена года, что весна подступает к тебе неприметно, а не врывается в дом, как прежде, с шумом и звоном, — потому и встречают ее без былого восторга.

Я встретил нынешнюю весну как данность, не связывая с ней никаких особых надежд. Что ж, сейчас весна на дворе, стало быть, скоро дело опять пойдет к осени! Расположившись у себя на балконе, я стал разглядывать облака. По облакам заметно, что стоит весна. Гуще толпятся они на небосклоне, плотней и четче очерчены; когда же в них открывается прорубь не то полынья, оттуда проглядывает иссиня-черное небо. Есть у меня, однако, в дальней дали заветная лесная опушка. Она почти сплошь покрыта сосной и елью, темно-зелеными, зубчатыми деревьями — верхней ша, на мой взгляд, примета шведской природы, — и, показывая на опушку, я говорю: «Вот это Швеция!» Порой опушка моя напоминает издали городской пейзаж, с его несчетными трубами, шпилями, зубцами, башенками и мансардами. Но сегодня она видится мне сплошным лесом. Дует ветер, и, должно быть, вся эта тьма стройных деревьев ходит под ветром, но с расстояния в полмили этого не разглядишь. Вот почему я беру бинокль и теперь вижу, как зыблется вся эта тьма-тьмушащая елей, будто море ходит волнами у линии горизонта, и радостно мне видеть все это, и я немало горжусь скромным моим открытием. Всей душой я влекусь к той опушке: знаю ведь, что за ней лежит море, и знаю, что у подножья деревьев растут подснежники и фиалки, а все же мне приятней рисовать себе их в мечтах, чем видеть все это въяве, оттого, что я давно отошел от природы, воплощенной в камне, растениях и животных. Одно нынче привлекает меня — человеческая природа и человеческая судьба.

Прежде, случалось, я надолго погружался в созерцание цветущего плодового сада: и нынче тоже я нахожу этот сад прекрасным, но уже не столь прекрасным, как прежде. И причина, должно быть, в том, что меня осенила догадка: где-то наверняка существуют более совершенные прообразы этих несовершенных копий. И оттого я не скучаю по деревне, хоть в душе нет-нет и забрезжит смутное отвращение к городу — правда, больше от потребности в перемене.

Потому я брожу по моим улицам, и лица прохожих будят во мне воспоминания, вызывают разные мысли. А проходя мимо витрин магазинов, я вижу в них столько даров со всех концов света, выращенных или сработанных человеческими руками, что благодаря им словно ощущаю связь со всем человечеством и в изобилии вкушаю впечатления — пеструю гамму красок, форм и ассоциаций.

По утрам, когда в нижнем этаже убирают комнаты, там раскрывают окна, я прохожу мимо, без остановки, и все же успеваю в короткий миг объять глазами чужую комнату и уловить крупную чьей-то судьбы. Нынче утром, к примеру, я успел бросить взгляд сквозь фрамугу во внутренность старого дома, поверх аспидистры, этого безобразного растения, вывезенного из Японии, которое не

вздымает свои цветки к свету, а укладывает их прямо от корня на землю — будто яркие звезды, нарезанные из сырого мяса. Скользнув поверх аспидистры, мимо письменного стола, уставленного обычными необходимыми и скучными принадлежностями, мой взгляд проник в угол комнаты, где стояла прямоугольная белая изразцовая печь старинной работы — с плитками в черной рамке, — будто грязные ногти, — и с огромной брешью вместо ниши, — и был весь угол гнетуще темен от неопишимо грязных обоев.

Год 1870-й, мрачный его быт вонзился в мое сознание мигом, но с ним вошла в него и более общая, тягостная картина жизни небогатой обывательской семьи, картина тяжкого, сурового бытия людей, терзавших самих себя и других. И ожили воспоминания о старом доме, о былом очаге, которым бы нипочем не проснуться, не окажись на моем пути эта распахнутая фрамуга. Всплыли давно позабытые судьбы, и я увидел их в новом, неожиданном свете, и только теперь понял я тех людей, вспомнив о них спустя столько лет, понял трагедию их, от которой прежде отстранялся, как мог, полагая ее и мучительной и ничтожной. Вернувшись домой, я сразу же набросал план пьесы. А ведь я получил ее сквозь фрамугу!

Если же я выхожу вечерами, когда уже пали сумерки и всюду горят огни, тут круг моих безмолвных знакомств расширяется, — ведь при свете видны и верхние комнаты. И я изучаю мебель и обстановку, заимствую семейные картины, сцены из жизни. Люди, которые не опускают штор, обычно не прочь показаться другим, и потому мне нет нужды соблюдать деликатность. К тому же я делаю лишь моментальные снимки, а уж затем разрабатываю увиденное.

Однажды вечером я таким же вот образом прошел мимо роскошной угловой квартиры с большими окнами и в них увидел... А увидел я предметы и мебель шестидесятих годов, в соседстве с гардинами семидесятих, портьерами — восьмидесятих и безделушками — девяностых годов. На окне стояла урна из алебастра, цвета слоновой кости, пожелтевшая от человеческого дыхания и вздохов, винных паров и табачного дыма, и, должно быть, как вещь ненужную и бесполезную, кто-то в конце концов приспособил ее для визитных карточек. Такой урне только и место в могильном склепе, хранящем имена друзей, которые бывали в доме; родственников, некогда живших, а затем ушедших из жизни; имена женихов и невест, новобрачных и новорожденных, имена усопших. В комнате было много портретов, относящихся к разным временам и эпохам: герои в латах, ученые в париках, священники в брыжах. В углу у дивана стоял игровой столик, и вокруг него сидели за картами четыре странные фигуры. Игроки не разговаривали друг с другом — губы их не шевелились. Трое из них были в преклонном возрасте, лишь четвертый, по всей вероятности хозяин квартиры, казался на вид средних лет. А еще на середине комнаты, спиной к игрокам, сидела, наклонясь над вязанием, молодая женщина. Хоть она и вязала, работа явно не увлекала ее, каза-

лось, она нанизывает время, петля за петлей, спицей отмеряя секунды. Вдруг она схватила вязанье и, приподняв, стала изучать, как изучают часы, чтобы по ним определить время, но взгляд ее реял над временем и над работой, уносясь в даль неведомого, — и тут же она взглянула поверх урны в окно, и там, в потемках, встретились наши взгляды, хоть она и не замечала меня. И чудилось мне, будто мы с ней знакомы, будто она что-то говорит мне глазами, но, разумеется, ничего этого не было. Одна из мумий у игорного столика что-то пробормотала. Женщина отозвалась на это легким движением головы и даже не повернулась, словно говоривший нарушил ход ее мыслей или помешал ей в работе, а лишь еще ниже прежнего склонилась над вязанием и запустила в работу свою секундную стрелку. Никогда доселе не видел я такого сгустка тоски, отвращения к жизни, усталости, как в этом доме.

Мужчина у игорного столика, пораженный непрерывной сменой выражений лица, казалось, был чем-то встревожен, чего-то ждал, и та же тревога владела мумиями. То и дело смотрели они на стенные часы, где большая стрелка уже приближалась к часовой отметке. Здесь, несомненно, ждали кого-то — кого-то, в чьей власти было прогнать тоску, круто изменить судьбы присутствующих, принести с собой свежее дуновение жизни. А может, даже перевернуть всю жизнь в этом доме. Будто зажатые в тисках страха, мумии не смели отдаться игре и клали карты наугад, словно ожидая, что в любой миг их игру могут прервать, и отсюда проистекала застылость всех этих лиц и жестов, отчего игроки походили на манекенов.

И, наконец, ожидаемое свершилось. «Какая удача!» — подумал я, когда зашевелилась портьера и горничная в белой наколке, войдя, доложила о чьем-то приходе. Все присутствующие встрепенулись, а молодая женщина, полуобернувшись к вошедшему, встала. Тут пробили стенные часы, я с улицы услышал этот бой и увидел, как минутная стрелка подскочила к цифре двенадцать.

Кто-то из прохожих вдруг сильно пихнул меня, и я очнулся так резко, будто меня и впрямь вытолкнули из того дома на улицу, изгнав из гостиной, где на две бесконечные минуты поселилась моя душа, где я прожил частицу жизни других людей, обитателей дома. Пристыженный, побрел я своей дорогой, поначалу намереваясь повернуть назад, дабы узнать развязку увиденной сцены, но скоро одумался, утешив себя мыслью: конец истории заведомо мне известен, сколько раз я сам переживал то же самое!

* * *

Весна идет, как встарь, а все же идет не так, как в прежние времена. Прежде весну приносил первый жаворонок, но жаворонки уже не спешат к нам нынче, и весну делают зяблики в Хумлегорден и скворцы на Птичьей горе — Фогельбаккен. Одно лишь осталось

как было: апрельские переезды. Вид мебели, домашней утвари на тротуаре всегда казался мне тягостным. Бесприютные люди, вынужденные выставлять на всеобщее обозрение свой обиход, стыдятся его, потому никогда и не увидишь подле вещей хозяина, стерегущего свое добро. Тысячу раз предпочтет он поручить заботам чужих людей весь этот скарб — столь убогий в безжалостном свете дня. Вон тот диван и перед ним стол казались вполне приличными дома при слабом свете лампы, но на улице, под яркими лучами солнца, сразу обнажились все прорехи и пятна, и если дома даже не замечали, что у дивана шатается ножка, то тут, на улице, она сразу же отвалилась.

А если и заметишь чье-то лицо позади повозки со скарбом, то уж бесприменно — горестное, отчаянное, растерянное. Да только надо же, в конце концов, и переезжать с места на место, и странствовать, иногда необходимо встряхнуться, перевернуть свою жизнь, обновиться, вывернуть всего себя наизнанку. Сам я всю жизнь только и делал, что переезжал с места на место и странствовал, но нынче, в моей тиши и покое, вновь настигли меня впечатления былых скитаний, и впечатления эти сгустились и вылились в строки стихов, которым я дал название «Агасфер»...

АГАСФЕР

Агасфер, иди в скитанье,
взявши посох и суму!
Жребий твой — не знать скончанья —
не дан больше никому.
Колыбель была сначала,
но концу не выйдет срок;
вечно грязь топча устало,
много сносишь ты сапог.
Ты напрасно ждал Мессию —
время грозно шло вперед!
Ждешь, что минут дни лихие,
час амнистии придет?
Мнишь живым попасть в святые,
заслужив любовь высот?
Прочь стезей глухой и торной!
Брось тепло и брось уют!
Хлеб забит травой сорной.
Гнев властей небесных лют:
дом разрушен, как в Содоме,
нет детей и нет жены,
все сторело, все в разгроме,
сруб и пашня сплошь черны.

*

Запрыгни в поезд, схватив суму,
но назад не смотри понапрасну.
Он дает и берет — пой хвалу тому,
кто учит бежать соблазна.
Не плачут родные, и друг платком

не машет, напутствуя в день предстоящий.
Что нам до того? Тем легче потом
выпрыгнуть разом в сей мир леденящий.

И дернулся поезд и ринулся тряско —
домов деревянных ползущая связка,
с людьми и скотами жилище-коляска...
Там почта с трактирами и магазинами,
уютные спальни с глухими гардинами.
Как город на быстрых колесах, он мчит,
и нету преград: он проходит сквозь стены,
на гору всползая, змеею шипит,
ржет лошадю, в воду входя дерзновенно;
шагов семимильных стремительна низка,
и мнится, уж царство желанное близко...
Но суше конец, мы пред морем застыли.
Плыви, Агасфер, с этим краем простясь,
ведь с прежнею жизнью последнюю связь
порвешь и схоришь в глубокой могиле.

*

Гляди, как тяжелы облака,
валы страшат громадою,
то вверх летя, то падая,
здесь твердой почвы ни островка,
ни мига покоя для бедняка.
Что день, что ночь, что явь, что грезы-мороки;
то вверх, то вниз, то взад, а то вперед;
повсюду скрежет, скрипы, взвизги, шорохи;
болты и скрепы точит, тросы трет.
Мученье тела и души,
плавучее орудье пытки!
Сам над собою суд верши,
внимая воплям волн в избытке!
Ты веришь, что близок спасительный брег?
Не к суше судно стремится свой бег —
капитан ведет нас в море открытое;
руку помощи он отвергает вовек
и клянет островов спокойствие сытое,
ибо море лживо, но суша лживей.
Попутный ветер? В свежем порыве
умей различать его страсть к наживе!..

В путь! В это поле серо-зеленое,
где пашет корабль, где облако сеет,
но в бороздах всходы не зазеленеют,
ничего не родит эта гладь соленая.
Небосвод похож на брезент, что шит
как укрытье от порчи дождя и града.
А кто-то подумает: он защитит
небесную синь от дыма и чада,
чтоб не стать ей засиженной мухами, пыльной,
оградиться от сглаза злобой всесильной.

*

Агасфер, застынь у штевня,
взор стреми к стальной воде,
сжав кулак в тревоге древней,
скрыв уста в седой бrade.
Грез не стало и видений,
пламень памяти угас,
от надежды нет и тени,
явь — лишь сей текущий час,
час, который длит мученье,
в коем смысла не найдут,
смутный, словно наважденье,
мертвый, как без кремня трут.
В черноту глядит пустую
узник палубы в тоске,
но тоскует он впустую,
как утопленник в мешке ¹.

V

После несчетных возвратов холода наконец возобладала весна, однажды утром брызнули листьями почки лип на любимой моей широкой улице, и отныне я благоговейно шествую в праздничном зеленом сверкании, которое так приятно для глаз. Недвижен и ласков воздух, ноги ступают по мелкому сухому песку, дарящему ощущение чистоты. Подобно первому снегу по осени, молодая трава скрыла от взора прошлогодние листья, мусор и грязь. Оделись скелеты деревьев, и над берегами залива густой нежной дымкой зазеленел лиственный лес. Прежде подгоняемый холодом, ветром, я теперь прогуливаюсь не спеша, могу даже посидеть на скамейке. Под вязами у моря полным-полно скамеек, и на одной из них сидит в расстегнутом плаще мой неизвестный недруг, тот самый человек с желтым лицом, и читает газету. Сегодня я даже по одному названию этой газеты вижу, что мы с ним и вправду враги. А когда он поднял взгляд от газеты, мне показалось по его глазам, будто он вычитал в ней про меня что-то очень приятное для себя и полагал, что я уже принял этот яд или в скором времени должен буду принять. Но он ошибался, я никогда не беру в руки эту газету.

Майор сильно похудел и, видно, с тревогой ждет лета. Должно быть, ему все равно, куда ехать, да только уехать необходимо, чтобы не очутиться здесь в полном одиночестве и не чувствовать себя пролетарием. Нынче утром он стоял на мысу и считал легкие волны, что-то лепетавшие прибрежным камням, а временами вдруг принимался размахивать палкой, так просто, без всякой цели, чтобы хоть чем-нибудь да заняться.

Внезапно с другой стороны залива послышался звук трубы. Майор встрепенулся, из-за холма вынырнули каски всадников,

¹ Перевод А. Парина.

лошадиные уши, и кавалерийский эскадрон понесся по полю. Он мчался по нему, будто в атаку, так что дрожала земля, и широким строем под громкие крики, грохот и звон оружия уносился все дальше. Майор ожил, по его кривым ногам я увидел, что он служил в кавалерии, может, это проскакал его полк, от которого нынче он был отстранен, — так сказать, отлучен от дела, выброшен из игры. Что ж, такова жизнь!

Моя колдунья обычно не меняется от зимы к лету, а все же она заметно сдала за эту зиму, так что теперь ходит с палкой, кстати, возникает она лишь раз в месяц, не больше, но притом все так же принадлежит к кругу моих безмолвных знакомств, как и Владычица Мира с ее собачками.

Однако с приходом солнца и весны новые прохожие вторглись в наш круг, и для меня они все равно что незванные гости. Настолько разрослось собственническое мое чувство, что я и эту утреннюю прогулку в здешних местах начал считать своей собственностью. Я и вправду стал косо посматривать на новых прохожих, а впрочем, я почти и не смотрю на них, я настолько нынче углублен в себя, что не хочу вступать в контакт с людьми — даже перегляднуться с кем-то из них и то неохота. Но люди почему-то требуют хоть такого сближения, неблагоприятно отзываясь о тех, кто «никого не замечает вокруг». Почему-то они считают, что им дано право заглянуть в душу каждого встречного, а я вот никак не пойму, кто мог дать им такое право. Я же воспринимаю такой взгляд как вторжение, как своего рода насилие надо мной, по меньшей мере как назойливость, и в юности я замечал, что люди различаются по тому, глядят они на тебя или же нет. Теперь мне сдается, что перегляднуться на улице с незнакомым прохожим — все равно что сказать: будем друзьями, — и все тут! Но у некоторых такой вызывающий вид, что я не могу заставить себя заключить с ними этот безмолвный дружеский союз — уж лучше равнодушие, на худой конец — даже вражда, потому что друг всегда приобретает влияние на меня, а мне этого не надо.

Нашествие новых прохожих, к счастью, всегда случается лишь весной — летом все посторонние уезжают за город, и дороги пустеют, становятся такими же безлюдными, как зимой.

И вот наконец пришло долгожданное лето. Оно просто наличествует, как некий свершившийся факт, и уж никак меня не волнует, оттого что я живу только моей работой, в общении с самим собой, то заглядывая вперед, в близкое будущее, то мысленно возвращаясь в прошлое, к моим воспоминаниям, и с ними я поступаю как с кубиками в игрушечном строительном наборе. Многое можно сотворить из них: одно и то же воспоминание по-разному используется в каждом создании моей фантазии, поворачивается разными гранями, окрашенными в разные цвета, и коль скоро число этих сочетаний бесконечно, я, увлеченный своими играми, постигаю ощущение бесконечности.

Никакого зова природы я не чувствую, лишь изредка что-то начинает мучить меня, словно я уклоняюсь от какого-то долга,

что не хожу в лес и не плескаюсь в море. К тому же я немного стыжусь того, что остался в городе на все лето, ведь летний отдых — непрменная прерогатива класса, к которому причисляют меня другие, тогда как, на мой собственный взгляд, я стою вне общества. Да и пустынно как-то вокруг и уныло, знаю ведь я, что все мои друзья покинули город. Разумеется, я не искал их общества, когда они были здесь, но я знал, что они рядом, и мог думать о них и мысленно устремляться к ним на улицу такую-то и такую-то, но нынче я потерял их след.

Я сижу за письменным столом и смотрю на залив, один из заливов Балтийского моря, который синее в просвете между гардинами; по ту сторону воды виден берег, покрытый темно-серыми, почти черными скалами, до круглоты обкатанными волной; внизу, у самой воды, сверкает белая линия пляжа, а над скалами высится темный еловый лес. Временами меня неудержимо тянет туда. Но тут я просто беру в руки бинокль и, не сдвинувшись с места, переносюсь в этот пейзаж. Я бреду по прибрежной гальке, там, где под ольхами, под выскобленными до блеска досками забора, среди тростника и иссохших трав, растут желтые цветы лихниса и красные — дербенника иволистного. На горном склоне, в просвете между выжженным и свежим лишайником, папоротник, будто плющ, заглушает горечавку; по краям — несколько кустов можжевельника, и глубоко-глубоко можно заглянуть в ельник, особенно вечерами, когда солнце стоит уже низко. И вижу светло-зеленые своды в том ельнике, палаты, мягкие мхи и редкий подлесок из осин и берез.

Иногда там, вдали, проявляется жизнь, да только нечасто. Вот прогуливается ворона, поклевывая то тут, то там, а может, только притворяется, будто поклевывает, потому что в ее повадке чувствуется нарочитость, — все же, как я замечаю, она не догадывается, что за ней следит человек. А жеманится она для кого-то из своих, из вороньего племени, это яснее ясного.

Медленно проплывает белый парусник; кто-то сидит на веслах за большим парусом, но мне видны лишь руки и колени гребца, за фоком же сидит женщина, а лодка скользит так красиво, и, глядя, как бурлит вода вокруг штевня, я будто слышу благодетельное журчание, и кипение и журчание это вечно оставляем мы за собой, и вечно обновляется то и другое, и не в этом ли тайна наслаждения, которое доставляет нам парусный спорт, не говоря уж о счастье править рулем, споря с волнами и ветром.

Как-то раз я поймал биноклем целую сценку. До сей поры ничья нога не ступала на прибрежную гальку у того дальнего берега (по крайней мере, я не видел этого в свой бинокль), и весь окрестный пейзаж был моей собственностью, моей уединенной обителью, моим летним раем. И вдруг однажды вечером справа в кружок моего бинокля всплыл челнок. В лодке сидела девочка лет десяти, в светлом платье и красной шляпе, какие надевают для игры в теннис. Кажется, я проговорил:

«Тебе-то что здесь нужно?», но, осознав нелепость вопроса, тотчас осекся.

Девочка ловко причалила, вытащила лодку на берег, но затем снова залезла в нее и достала оттуда предмет, один конец которого серебристо блеснул на солнце. Меня стало разбирать любопытство, я никак не мог взять в толк, что затеяла девочка. Слегка подкрутив бинокль, я увидел, что в руках у нее легкий топорик. Топор в руках у ребенка? Одно никак не вязалось с другим, и вся картина казалась загадочной, почти зловещей. Девочка вначале пошла вдоль берега и принялась что-то искать, подобно всем, идущим берегом моря: каждый непременно ищет здесь что-то в надежде, что таинственная стихия выбросит ему какой-либо неожиданный подарок. «Так, — сказал я себе, — а сейчас она начнет кидать в море камушки, ведь дети не могут спокойно видеть камни и воду: им непременно нужно побросать камни в воду. А зачем нужно бросать? Что ж, и на это, должно быть, есть тайные причины». И правда! Девочка стала кидать в море камушки! Затем она взобралась на скалу! А сейчас она, конечно, начнет есть горечавку, ведь она городская девочка и наверняка учится в школе. (Крестьянские дети никогда не едят горечавки, которую городские зовут одни — каменным зверобоем, другие — лакричным корнем.) Нет, смотри, она прошла мимо папоротников, стало быть, она не из города. Девочка направилась к кустам можжевельника. Тут наконец я все понял. Она должна нарубить ветвей можжевельника, уж это точно — ведь сегодня суббота. Но нет! Девочка хоть и замахнулась на один из кустов, так что ветка бессильно повисла, а все же продолжала свой путь к ельнику. Должно быть, ей поручили набрать хворосту для растопки плиты и варки кофе! Вот оно что! Но нет — девочка упорно карабкалась вверх и скоро достигла лесной опушки. Тут она остановилась и, похуже было, примерилась к нижним ветвям, самым пышным, сверкающим свежей зеленью!.. И тут она вдруг дернула головой и стала следить за какой-то точкой в воздухе, что было заметно по ее жестам, должно быть, за птицей, взмывавшей в небо, потому что девочка откидывала голову рывками, столь же резкими, как рывки взлетающей трясогузки, птицы, чей полет минутами напоминает падение.

Но вот теперь, кажется, девчушка откроет свой умысел: левой рукой она схватила ветку и принялась рубить — да уж как мелко, мелко! Но зачем ей еловые ветви? Они нужны разве что для похорон, а девочка ведь не в трауре? Впрочем, ей вовсе не обязательно быть в родстве с усопшим. Возражение справедливо! Но, с другой стороны, для веников, а также чтобы устлать крыльцо, нужны крупные ветви, а на полу у нас раскладывают можжевельник! Но, может, она родом из Даларна, где можжевельнику предпочитают ель? Впрочем, не все ли равно! Вот опять затевается что-то! В трех шагах от девочки, на высокой ели, вдруг приподнялись нижние ветви: сквозь них проглянула корова и раздался рев, об этом я догадался по разинутой пасти и откинутой назад

голове животного. Девочка застыла на месте и словно оцепенела от ужаса. Так велик был ее страх, что она не могла спастись бегством; корова двинулась к ней, и тут страх ребенка перерос в отвагу: подняв кверху топор, девчушка шагнула к животному, и корова после недолгого колебания, досадуя, что ее радушие не оценено по достоинству, повернулась кругом и скрылась в своем темном приюте.

В какой-то миг я и впрямь порывался кинуться на защиту ребенка, но опасность миновала, — я отложил бинокль в сторону и подумал, как трудно оградить себя от всяких волнений... Нет, право! Сидишь в полном покое у себя дома — и вдруг оказываешься вовлеченным в такие вот драмы, разыгрывающиеся где-то в дальней дали! И ты еще должен ломать голову над вопросом: зачем все-таки девочке понадобились еловые ветви!

Мои соседи уехали на лето в деревню, я всем существом ощущаю пустоту в комнатах, и кажется, будто в доме прекратилась подача тока. Очаги излучения, присущие каждой семье — мужья, жены, дети и слуги — эти генераторы импульсов, — нынче уже покинули свои обиталища, и дом, который всегда представлялся мне чем-то вроде электростанции, питающей меня током, совсем перестал поставлять мне энергию. Я, кажется, вот-вот рухну, словно оборвана связь со всем человечеством; эти мимолетные звуки из разных квартир воодушевляли меня, и теперь мне их недостает; даже пес, который будил меня по ночам, обрекая на долгое бдение и разжигая во мне благотворную ярость, даже пес оставил после себя пустоту. Смолкла соседка — певица, и никто больше не играет Бетховена. В стене уже не звенит скорбная песнь телефона, и когда я поднимаюсь по лестнице, в пустых этажах гулко отдаются звуки моих шагов. Дом объят густой воскресной тишиной всю неделю, а между тем в ушах у меня стоит звон. Я словно слышу собственные мысли, и кажется мне, будто между мной и всеми уехавшими — друзьями, родственниками, врагами — существует телепатическая связь; я веду с ними долгие вдумчивые беседы или же возвращаюсь к старым спорам, в разное время возникавшим у нас при встречах где-нибудь в гостях, а не то и в кафе; я спорю с их утверждениями, отстаиваю свою точку зрения — и куда более красноречив, чем при слушателях. Такая вот жизнь богаче, легче всякой другой; она меньше ранит, меньше изнуряет меня, и я уже не чувствую былого ожесточения.

Столь неохватен временами этот спор, словно он сталкивает меня со всем народом; я вижу, как читают последнюю мою книгу — ту, что покамест существует только в рукописи, — слышу, как судачат обо мне тут и там, а я ведь знаю, что прав, и только удивляюсь, как этого не понимают другие. Стоит мне, например, сообщить новый факт, и одни отрицают его, другие — отвергают источник, ставят под сомнение его достоверность, хотя во всех других

случаях обычно ссылаются на него же. Такое я всегда воспринимаю как выпад, противоборство, как враждебное действие. Впрочем, все мы враги друг другу, а друзьями становимся лишь тогда, когда нам нужно биться сообща. Что ж, так тому, значит, и быть!

Но сколько бы ни бурлила жизнь в мире моей души, все же порой я тоскую по самой заурядной реальности: нерастраченные чувства скучают без дела. Прежде всего, я должен слышать и видеть, не то органы чувств, в силу давней привычки, заработают сами и начнут своевольничать.

И вот, не успев я вымолвить свое желание, как оно тут же исполнилось. На поле под моими окнами началось что-то вроде парада войск. Впереди шла пехота; люди несли металлические трубки, те, что при зажигании выбрасывают в воздух газы с частицами свинца. Издали солдаты виднелись черточками, расщепленными книзу. Затем выступили кентавры — этакие подвижные сращения человека с четвероногим животным, словом, конница. Когда скачет одинокий кавалерист, конь подобен лодке, колыхающейся на волнах, а всадник в одно и то же время и гребец и рулевой. Но если выступает весь эскадрон сомкнутым строем, тогда перед тобой — крупная силовая фигура, воздействующая на тебя всей мощью нескольких сот лошадиных сил.

Самое могучее впечатление, однако, производит артиллерия, особенно когда она мчится во весь опор так, что под ней дрожит земля, а у меня над головой качается и дребезжит лампа, потом, заняв огневую позицию, орудия дают залп, и тут сам собой стихает звон у меня в ушах. Поначалу, пока не привык, я воспринимал весь этот спектакль как род насилия над собой, но спустя всего несколько дней пальба уже стала казаться мне спасительным средством: по крайней мере, залпы не давали мне уснуть в моей непробудной тиши. И, огражденный от этих военных игрищ необходимой дистанцией, я стал смотреть на них как на пьесы, разыгрываемые для моего удовольствия.

* * *

Вечера все длиннее, длиннее, но я знаю по опыту, что нельзя выйти, пройтись, потому что улицы, парки полны грустных людей, которым не удалось уехать в деревню. И коль скоро счастливы, те, что побогаче, оставили самые прекрасные кварталы города, отовсюду повыползала окраинная беднота и захватила опустевшие места. От этого город обрел такой вид, словно в нем происходил мятеж или, может быть, вторжение чужестранцев, и поскольку красота — спутница богатства, зрелище это не из приятных.

Однажды воскресным вечером, полагая и себя в одном стане с неудачливыми бедняками, я решил, наконец, вырваться из дома и прогуляться по городу в карете, чтобы посмотреть на людей.

У набережной Ньюбрун я знаком остановил экипаж и сел в него. Кучер как будто был трезв, но что-то не совсем обычное в его лице насторожило меня. Он поехал прямо по Страндвеген, и я заметил, что слева сюда вдруг хлынул откуда-то поток людей, хоть взгляд мой все время и был обращен вправо — на залив, его острова и шхеры, на синеющие вдали вершины гор.

Вдруг произошло нечто такое, что мигом отвлекло на себя внимание и мое и возницы. Большая взьерошенная дворняга, похожая на жирного волка, пытающегося выдать себя за овцу, с низким лбом, злобными глазками и такая грязная, что трудно было сказать, какой она масти, увязалась за нашей коляской и временами пыталась вскочить на козлы. Однажды ей даже это удалось, но кучер пинком столкнул ее вниз.

— Чей это пес? — спросил я, удивляясь и прити чудовища, и странности всей этой сцены.

Кучер что-то пробормотал в ответ, мол, не его это пес, но как только он употребил в дело кнут, дворняга тотчас перешла в нападение и старалась вскочить ко мне в карету, притом на полном ходу.

Одновременно я подметил какое-то волнение в толпе и, обернувшись, увидел длинную процессию человекообразных существ, жадно следивших за поединком кучера с дворнягой и всячески выказывавших свое сочувствие псу, который, однако, никак его не заслуживал. Приглядевшись к этим существам, я увидел, что в толпе преобладают калеки, увидел палки и костыли, кривые ноги и изуродованные спины; карликов с горбами-великанами и великанов с карликовыми ножками; безносые лица и ступни без пальцев, ступни-комки. Здесь будто собрались все напасти, всю зиму прятавшиеся где-то, а нынче выползшие на солнце и потянувшиеся на природу. Только в зловещих символических видениях Энсора, да еще разве в театре, в опере Глюка «Орфей в аду», встречались доселе мне такие человекоподобные существа, и мнились они мне в ту пору плодом фантазии их творца, художественным преувеличением. Разумеется, я не испугался их, ведь я легко мог объяснить, почему они появились и выступили на сцену именно теперь, но уже один вид этих несчастных, обездоленных созданий, важно шествующих по самой красивой улице города, способен был потрясти кого угодно. Я остро ощущал их законную ненависть, смертоносный яд ненависти ко мне, восседающему в карете, и собака своими наскоками лишь выражала общие чувства толпы. Я был другом этих несчастных, они же были моими врагами! Как странно!

Когда мы въехали на Юргорден, навстречу этому потоку нищих хлынул другой такой же поток, но оба потока словно текли один сквозь другой или один мимо другого, а несчастные люди, шествовавшие в них, словно не замечали друг друга, не старались разглядеть ни встречных лиц, ни одежду встречных, зная заведомо, что все они схожи между собой — лишь на меня одного смотрели они. Теперь, когда я ехал между двумя шпалерами, мне приходилось

оглядываться то в одну сторону, то в другую, и меня охватила тоска: казалось, я беззащитен, покинут всеми, — и мне страстно захотелось увидеть хоть одно знакомое лицо: как отраднo было бы сейчас поймать хотя бы взгляд приятеля или знакомого, но тщетно высматривал я их в толпе.

Когда мы ехали мимо Хассельбаккена, у меня на мгновение мелькнула мысль: а не сойти ли мне у лестницы и заглянуть в сад, где почти наверняка сидит кто-то из моего круга?

Но уже приближался Слеттен, и тут меня вдруг осенило: вот сейчас я непременно встречу того самого человека — непременно! Отчего я был в этом уверен, я не мог бы сказать: в памяти моей вдруг всплыла мрачная драма из времен моей юности, разметавшая целую семью и губительно сказавшаяся на судьбах ее детей. Каким образом эта трагедия сплелась в моем сознании с Юргорденом, точнее, со Слеттеном, — этого я не знаю; должно быть, память сохранила сценки представления, показанного шарманщиком, — сценки убийства, совершенного при страшных обстоятельствах, когда убитый, человек ни в чем не повинный, к тому же был заподозрен — если не обвинен — в преступлении.

И что ж? Человек, о котором я вспомнил, то есть сын убитого, человек, глубоко всеми чтимый, ныне уже поседевший, хоть и по-прежнему холостой, шел мне навстречу по улице, поддерживая под руку свою мать, ныне совершенно седую! Тридцать пять лет незаслуженных душевных мук, терзаний за другого придали их лицам ту особую бледность, которую приносит с собой только смерть. Но как очутились здесь, в таком окружении, эти богатые, почтенные граждане? Может, они поддались той всеобъемлющей силе притяжения, что влечет друг к другу людей по закону сродства, или, может, находили они утешение в созерцании других существ, на чью долю, столь же безвинно, выпало еще больше страданий?

Я ждал, что мне встретятся эти двое, в силу какого-то тайного знания, сокрытого в глубинах души, но от этого лишь еще более мoгучего и непреложного.

На Слеттене меня ожидало зрелище новых напастей и уродства. Вот показались дети на велосипедах, дети лет восьми-десяти, с порочными лицами; девочками с телами, развитыми не по годам, козыряющие некоей искусственной красотой, увы, обезображенной злобой. Даже когда вправду попадалось хорошенькое лицо, то и тут непременно бросалась в глаза какая-нибудь погрешность природы — несообразность черт, слишком крупный нос, голые десны или выпученные глаза, чуть ли не вылезшие на лоб.

Еще чуть дальше толпа поредела; там и сям гуляющие рас-селись на траве. Но тут я заметил, что они всюду сидели по трое — женщина и рядом двое мужчин, — первый акт пасторали, которая обычно завершается поножовщиной.

Тут кучер вдруг завел со мной разговор и стал рассказывать одну историю за другой. Не то рассердило меня, что он держался со мной запанибрата — ведь он не знал тонкого обращения, —

просто он мешал мне думать, а это было для меня пыткой; когда же своими замечаниями о некоторых дамах, проезжавших мимо, он пытался увлечь мои мысли в русло совсем нежелательное, я и вовсе стал смотреть на него как на мучителя и попросил скорей отвезти меня домой.

Не столько обиженный, сколько раздосадованный приказанием, кучер у первого же перекрестка повернул назад, но в эту минуту мимо нас проскочил экипаж, в котором сидели две пьяные дамы весьма экстравагантного вида. Кучер попытался их обогнать, но для этого улица была слишком тесна. Пришлось нам тащиться за экипажем, и когда его задерживала толпа, то и я вынужден был останавливаться, и могло показаться, будто я преследую тех особ, что несказанно веселило их обеих, а заодно и всех прохожих.

Таким вот образом ехали мы домой, с трудом одолевая за улицей улицу, пока наконец экипаж не остановился у моего подъезда, и я словно очнулся от тяжкого кошмара.

— Уж лучше одиночество! — сказал я себе и в то лето ни разу больше не выходил вечерами из дома. Отныне я всегда был один и сам составлял себе компанию, каковую необходимо ценить, если не хочешь угодить в дурную.

* * *

Сию я, стало быть, дома и наслаждаюсь покоем, воображая, будто спасаю от жизненных бурь; хорошо бы лишь быть немного постарше, чтобы не отзываться ни на какие соблазны, но надо думать — худшее уже позади.

И тут вдруг однажды утром, когда я еще только пил кофе, входит ко мне горничная и говорит:

— Знаете ли, господин N, здесь был ваш сын, но я сказала, что вы еще не встали.

— Мой сын?

— Да, так он сказал!

— Не может быть! А как он выглядел?

— Юноша... очень высокий... он назвался вашим именем и сказал, что зайдет попозже.

— А лет ему сколько на вид?

— Лет семнадцать, может быть, восемнадцать!

Я онемел от ужаса, а горничная ушла. Конца, значит, нет и не будет! Прошлое восстало из могилы, скрытой глубоко-глубоко под землей и уже давно поросшей многолетней травой. Мой сын, тот, что девяти лет в надлежащем сопровождении уехал в Америку, мой сын, о котором я полагал, что он нашел свое место в жизни! Что же случилось? Уж конечно, несчастье, а может быть, и не одно.

Какой будет наша встреча? До чего же страшен этот миг узнавания, когда тщетно силишься отыскать в лице юноши знакомые

черты ребенка, которым и ты, наряду с другими, с самой колыбели старался придать высшую человечность. Ведь все мы стремимся показаться своему дитяти непременно с лучшей стороны, а затем ловим на податливом детском личике отблеск самого благородного, что только в нас есть, и оттого любим ребенка как некое улучшенное издание нас самих. И вот теперь мне предстоит увидеть это лицо обезображенным, ведь подросток, юноша всегда некрасив — с неизменно присущей ему несоразмерностью черт, со зловещей смесью начала детского, сверхчеловеческого и пробуждающегося животного бытия молодого мужчины, со следами страстей и борения, ужаса перед неведомым, раскаяния в уже содеянном, и этой непрестанной насмешкой над всем и вся; с этой ненавистью ко всему, что висит над тобой и гнетет, а стало быть, ненавистью к старшим, лучше устроенным в жизни, с этим недоверием к самой жизни, только что превратившей безвинное дитя в звероподобное, хищное существо. Ведь я знал все это по себе и помню, сколь отвратителен я был в отрочестве, когда против воли все мои мысли вращались вокруг еды, питья и грубых чувственных наслаждений. И не было никакой нужды вновь лицезреть картину, заведомо мне известную, притом что я неповинен в свершившейся перемене, заложенной в человеческой природе. Будучи мудрее моих родителей, я никогда не ждал никакой отдачи от сына, а лишь старался воспитать его вольным человеком и с первых лет разъяснял ему его права и обязанности в этой жизни — как по отношению к самому себе, так и к другим людям. Но я знал, что он вечно будет тянуть руку за помощью в силу своих прав, хоть эти его права, а стало быть, и мои обязательства, истекли, когда он достиг пятнадцати лет. А что он будет ухмыляться, как только я заговорю о его обязанностях, это я тоже знал... по своему опыту.

Если бы дело шло лишь о денежной помощи, что ж, это в порядке вещей, но, ведь даже брезгуя моим обществом, он будет посягать на меня самого. Посягать на домашний очаг, которого я лишен, на моих друзей, которых мне так не хватает, на связи, которые он наверняка мне приписывает, и беспрерывно воспользуется моим именем для покупок в кредит.

Знал я и то, что он сочтет меня нудным субъектом и, приехав из чужой страны, где в обиходе иные взгляды, иное мировоззрение, иные отношения между людьми, станет смотреть на меня, как на старого, косного, ничего не смыслящего ни в чем болвана, коль скоро я не инженер и не электрик.

Да и как развился его характер за эти годы? Конечно, опыт говорил мне, что каким родишься, таким, в сущности, и останешься весь свой век. И люди, что на глазах у меня шествовали по жизни, с младенчества и до зрелых лет, годам к пятидесяти, как правило, представляли передо мной такими же, какими были, на крайний случай — с ничтожными поправками. Кое-кто, правда, сумел подавить в себе резкость, неудобную для общения; кое-кто спрятал ее под внешним лоском, но, в сущности, люди эти остались

прежними. И лишь у редких знакомцев моих разрослись изначально свойства характера, превратившись у одних — в добродетель, у других — в пороки. Помню приятеля, чья твердость переросла в упрямство, аккуратность — в педантизм, бережливость — в скупость, любовь к людям — в ненависть к нелюдям. Но помню и другого, у которого ханжество сменилось благочестием, злоба — терпимостью, а упрямство — твердостью.

Обуреваемый тяжелыми думами, я вышел на утреннюю прогулку, не с тем, чтобы забыть о неприятности, а, напротив, приготовиться к неотвратимому. Я перебрал в уме все возможные исходы встречи. Но как только я представил себе взаимные расспросы о всем том, что произошло со дня нашей разлуки, — я содрогнулся и уже было думал бежать из этого города, из страны. Однако я знал по опыту, что самое уязвимое место у человека — спина, тогда как грудь, точно латы, защищают могучие кости, а посему я решил остаться и грудью встретить удар.

Сияясь умерить чувствительность и усвоить суховатую логику светского многоопытного человека, я составил программу действий. Сначала я приодену его, устрою на жительство в пансионат и, расспросив, кем он хочет стать, сразу же определю к делу, на службу, но главное — буду вести себя с ним как с чужим человеком, которого держат на расстоянии отсутствием доверительности. А чтобы оградить себя от его поползновений на близость, я не стану толковать о прошлом и, воздерживаясь от советов, предоставлю юноше полную свободу действий, тем более что он наверняка не захочет слушать советов.

Итак, решено! И делу конец!

Внутренне собранный и готовый к встрече, я повернул домой, полностью сознавая притом, что в жизни моей произошла перемена, настолько властная, что все отныне виделось мне иным — дороги, окрестный пейзаж, весь город. Примерно на середине моста я оглядел широкую улицу, расстилавшуюся впереди, и тут взгляд мой упал на фигуру юноши — вовек не забуду этой минуты. Он был высокого роста и очень худ и шел нерешительной походкой, как человек, который чего-то ждет или ищет. И я увидел, как он всматривался в меня и вдруг узнал — и дрожь пробежала по его телу, но он тут же овладел собой и, приосанившись, зашагал наискосок через улицу — прямо навстречу мне. Я же изготвился к обороне и чуть ли не слышал уже, как вот сейчас скажу ему легким приветливым тоном: «Здравствуй, сынок!»

Но вот он уже близко — и тут мне бросился в глаза весь его деклассированный, опустившийся облик, то самое, чего я страшился больше всего. Шляпа на нем чужая — слишком явно хранит она форму другой головы, неряшливо болтаются брюки, отвисшие на коленях, словом, весь вид его говорил, что опустился он и внешне и внутренне, и напоминал он известный тип — официанта без места. Теперь я уже мог рассмотреть и лицо, зловеще худое и изнуренное, а вот увидел еще и глаза — те самые огромные, синие, с голубоватыми белками. Это он!

Этот загнанный, опустившийся человек некогда был обворожительным ангелочком с такой прелестной улыбкой, что я переставал верить в происхождение человека от обезьяны, в ту пору его одевали как принца, и он даже играл с настоящей маленькой принцессой — там, в далеких немецких краях...

Вся ужасная жестокость жизни разом открылась мне, но я несколько не винил себя — ведь я никогда не отказывался от сына!

Всего лишь несколько шагов теперь между нами! И вдруг меня охватило сомнение: это не он! В тот же миг я решил, что пройду мимо — пусть сам покажет, что узнал меня!

Шаг. Второй. Третий!..

Он прошел мимо!

Он или не он? — спрашивал я себя, продолжая свой путь к дому и нисколько не сомневаясь, что в любом случае он скоро ко мне придет.

Возвратясь домой, я позвал горничную, желая расспросить ее поподробнее, но теперь для того лишь, чтобы узнать, он ли был тот, кого я только что встретил и мимо которого прошел, однако узнать это никак не представлялось возможным, и потому до полудня я напряженно ждал появления гостя. То я желал, чтобы он появился скорей — только бы кончилась неизвестность, то думал я, прошло уже столько времени, что, должно быть, миновала опасность.

Полдень прошел, день стал клониться к вечеру, и тут у меня мелькнула другая мысль, усугубившая мои терзания; стало быть, он решил, что я не хочу его знать, и, испуганный этим, скрылся, где-то теперь скитается он в этом страшном городе, в этой чужой стране; что, если он угодит в дурное общество и его захлестнуло отчаяние?.. Где же теперь мне искать его? В полиции!

Так мучился я, сам не ведая отчего — ведь мне не дано было влиять на его судьбу. Будто какая-то злая сила поставила меня в ложное положение, чтобы взвалить на мою душу грех.

Спустился наконец вечер. И тут вошла горничная с визитной карточкой в руках, на которой было написано... имя моего племянника!

Так я вновь обрел свое одиночество и, конечно, почувствовал известное облегчение оттого, что опасность оказалась мнимой, хоть она и потрясла меня не меньше любой истинной беды. Тревожные видения, однако, захватили меня столь властно, что должны были пристекать от какой-нибудь скрытой и глубокой причины. Как знать, говорил я себе, может, сын бродит где-то в чужом далеком краю и тоже мучается сходными ощущениями; может, он в беде и тоскует по мне, то и дело «видит» меня на улице среди прохожих, как и я «увидел» его, терзается, может быть, тем же неведением...

На этом я оборвал все гадания и присовокупил это происшествие к другим, но я не вычеркнул его из своей жизни за то, что судьбе вздумалось надо мной подшутить, а сберег его в своей памяти как некий бесценный подарок.

Грустно, но покойно тянулся вечер. Я не работал, а то и дело поглядывал на стрелки часов. Пробило наконец девять, но я с ужасом думал, что впереди еще один — последний, долгий час. Он представлялся мне долгим, как бесконечность, и я не знал средства его сократить. Не я выбрал для себя одиночество, его навязали мне, и теперь я ненавижу его, как некий насильственный гнет; мне хотелось вырваться из-под этого гнета, хотелось музыки... что-либо из творений великих музыкантов, особенно самого великого из всех, того, чья жизнь была сплошным страданием... да, больше всего стосковался я по Бетховену и тшился теперь вызвать в памяти последний аккорд Лунной сонаты, ставшей для меня наивысшим выражением человеческой жажды свободы, не чета лучшему из стихотворений или поэме!

Пали сумерки, окно было раскрыто, и лишь цветы, одиноко стоявшие на столе, напоминали, что на дворе лето, цветы, озаренные сиянием лампы — бессловесные, недвижные, благоухающие.

И тут я услышал — резко, отчетливо, будто из соседней комнаты — мощное аллегро Лунной сонаты, разворачивавшейся передо мной словно гигантская фреска; я слышал и одновременно видел ее, боясь, не мерещится ли мне все это, и трепет охватил меня, какой всегда охватывает нас перед лицом неизъяснимой тайны. Музыка неслась ко мне из квартиры неизвестных моих благодетельниц в соседнем доме, а ведь обе дамы были в деревне! Конечно, они могли вернуться домой за каким-нибудь делом. А впрочем, не все ли равно — играли ведь для меня, — и я был благодарен неведомому пианисту, подарившему мне, в моем одиночестве, эту музыку, это общение, эту живую связь с людьми того же настроения чувств.

И если признаюсь, что те же мощные звуки трижды врвались ко мне в этот долгий час, — тайна покажется еще менее постижимой, хоть в ту пору от этого радость моя лишь стала еще острее, и ничего другого не играли в тот вечер, в чем увидел я особую милость, явленную мне.

Наконец часы пробили десять, и благостный милосердный сон положил конец дню, который запомнился мне надолго.

VI

Лето ползло-ползло, и настало первое августа; нынче по вечерам уже зажигают огни, и я всем сердцем рад им. Как славно все это — время, стало быть, идет своим чередом, а это и есть главное: одно ушло, другое ждет впереди. Иной облик теперь у города, замелькали знакомые лица, уже одно это вносит покой, дарит силы, бодрит. Порой даже удается перекинуться словом с кем-

нибудь, от чего я и вовсе отвык, настолько, что у меня будто сел голос — я стал говорить низко и глухо и этот сдавленный голос кажется самому мне чужим.

Смолкла стрельба на ближнем поле; один за другим возвращаются из деревни соседи; снова день и ночь лает собака, и возобновились семейные посиделки, где хозяева забавляются тем, что бросают на пол гостиной кость, а пес с громким лаем кидается к ней и рычит, когда ее у него отнимают.

Заработал телефон, снова летят ко мне милые звуки рояля. Все как прежде, все вернулось на круги своя, кроме майора, о смерти которого я прочитал нынче утром в газете. Мне не хватает его, поскольку он принадлежал к числу моих безмолвных знакомств, но я не жалею об участи, постигшей его, — ведь ему скверно жилось с той поры, как он вышел в отставку.

Осень торопится, и жизнь течет быстрее с того дня, как на дворе посвежело и легче стало дышать. Я снова стал выходить на прогулку по вечерам; мрак окутывает меня, скрывая от чужих глаз. Так и вечер короче, и ночной сон крепче, и длится он много дольше.

Привычка переплавлять все пережитое в стихи дает выход избытку впечатлений и заменяет общение. Увиденное из уединения, все вокруг обретает налет преднамеренности, и многое из происходящего кажется действием, разыгрываемым исключительно для тебя. Однажды вечером, выйдя в город, я стал очевидцем пожара, а в Скансене между тем выли волки. Два конца разных нитей сплелись в моем сознании воедино; связав между собой то и другое, воображение соткало стихи:

ВОЛКИ ЗАВЫЛИ

В Скансене волки завывали,
на море лед загудел,
сосны под бременем снега
свой проклинаят удел.

В холоде волки завывали,
вторят собаки вытьем;
стелется солнце зимою,
ночь начинается днем.

В сумраке волки завывали,
свет свой стремят фонари
прочь от домов безучастных,
ввысь, словно пламя зари.

Волки в неволе завывали,
рвутся, жестокость яря,
в чащу, в дремучие дебри,
где полыхает заря.

Волки от злости завывали,
люди — виновные в том:
здесь вместо воли безбрачье,
здесь исправительный дом.

*

Ветер стих, часы на башне бьют двенадцать в тишине.
Сани едут как по маслу по накатанной лыжне.
Звон последнего трамвая смолк, утихнул лай собак.
Город спит, сучок не скрипнет, все окутал сизый мрак.
Глубь без края, словно бархат, затаил полночный свод,
Ориона меч сияет, ковш Медведицы плывет.
Угольки в печи потухли, но вдали возник дымок,
словно с кухни великанской в небо он пробраться смог;
это пекарь — среди ночи он печет нам хлеб дневной...
Сизый дым летит отвесно. Стал он красный, огневой!

Эй, пожар!

Эй, пожар, пожар, пожар!

И багровый пылающий шар, как луна в полнолуние,
взлетел меж созвездий безмолвных,
и багрец перешел в белизну с желтизной,
и раскрылся тот шар, как подсолнух.
То не солнце ль, встающее в угольно-черных
скоплениях туч из пучины домов,
где все крыши подобны ладьям на валах,
чей пугающий мрак, как могила, суров?

Небосвод и церквей купола озарились огнем.
Что ни шпиль, что ни шест, что ни лаз, что ни щель, —
все светло, словно днем!
Медный провод багров, будто ладно настроенной арфы
басовые струны.
Все оконные стекла в огне, заснеженные трубы печные
горят как перуны.
То не солнце, не месяц! И, верно, потешный огонь не бывает
так яр!

То пожар! То пожар! То пожар!

Вот и Скансен, где только что сумрак царил,
озарился и ожил.
Вот и волки завыли, как будто пожар
их не в шутку встревожил.
Тут не ярость, не месть — поджигателя радость,
убийцы веселье.
Чу! Из лисьей норы раздается смешок. Все вокруг
от восторга и ужаса оцепенели.
И медведи по клеткам танцуют впрысядку, визжа,
словно резаный хряк,
только в логове рысьем молчанье, лишь зубы
в ухмылке сверкают сквозь мрак.

*

И рев тюленей печален. Город, увы!
Рев, словно тонущий в море кричит.
И хором завыли дворовые псы,
тявкают, лают, скулят,
гремят цепями, скрежещут,
жалобно плачут, визжат, причитают,
как неупокоенных души!
Мучит сочувствие псов, псов сердобольных одних,
к братскому роду людскому —
что за благожелательность!

Но вот проснулись лоси, эти князья северных лесов,
встают, разминаются на длинных своих опорах,
точно рассчитанным вольтом рысь
измеряет длину огороженных владений.
Ударившись о прутья изгороди,
(точь-в-точь воробей об оконное стекло),
разражается нечленораздельными проклятиями,
удивляясь тому, что снова день наступил.
Новый день, точно такой же, как все остальные,
похожий на медленно умирающего зверя,
и цель у него словно одна:
медленно в ночь превратиться...

Но среди пернатых не прекращается жизнь:
кличут и машут орлы
крыльями, на которых обтрепаны перья,
тщетно пытаясь взлететь,
тычутся головами о железные прутья,
решетку ногтями царапают, клювами рвут,
пока не падают в изнеможение на землю,
не распластываются в параличе,
но вот оперлись о крылья, словно стоят на коленях —
склонились в мольбе,
заклиная, чтоб их милосердно добили
и тем вернули способность к полету
и волю.

Соколы свищут и воздух секут,
как хлесткие ветлы, мечутся взад и вперед;
ноет бедняк осоед,
словно больной ребенок...
Смирные дикие гуси, проснувшись,
тянут длинные шеи
и выводят аккорд в лад с пастушьим рожком.

Лебеди молча плывут,
клювами ловят меж льдин
отражения жарких огней,
что мечутся, как золотые рыбки,
по самому дну прудовому;
застывают в безмолвье и головы прячут
в глубях черной воды
лебеди, белые птицы,
клювом вцепляются в дно,
чтоб ни за что не посмотреть
на зарево в небе.

И снова тьма — вслед за грозой трескучей
приходит звук финального рожка,
лишь дымная парит над градом туча,
как черная гигантская рука¹.

Отныне я общаюсь только с книгами. С полсотни томов Бальзака прочел я за последние десять лет, и он стал для меня личным другом, таким, что никогда мне не наскучит. Конечно, он не создал того,

¹ Перевод А. Парина.

что называют творением искусства в наши дни, когда и вообще искусство смешивают с литературой. Все безыскусно у него: не видишь композиции, не замечаешь стиля. Он не балуется словами, не щеголяет ненужными образами, кстати, составляющими атрибут «поэзии», зато он наделен столь безупречным чувством формы, что содержание выражено у него в словах с предельной ясностью. Он презирает всякие словесные побрякушки и больше всего похож на человека, который вслух ведет свой рассказ в обществе: то поведаст о каком-нибудь событии, то говорит от имени своих героев, то спешит истолковать, объяснить ход сюжета. И все-то для него история, история — его современница; любой, пусть самый мелкий персонаж показан в свете своего времени, с обрисовкой происхождения его и развития при таком-то и таком-то режиме, что расширяет угол зрения и создает — за каждым героем — необходимый фон. Вспоминаешь, сколько всякого вздора настрочили о Бальзаке его современники, и охватывает изумление. В годы моего студенчества этого богобоязненного, добропорядочного, покладистого человека именовали в учебниках не иначе как безжалостным физиологом, материалистом и чем-то еще в том же роде. Но самое парадоксальное — другое: физиолог Золя видел в Бальзаке своего великого учителя и наставника. Кто это поймет? Впрочем, примерно то же самое продельвают и с другим моим литературным кумиром — Гете, которого в последнее время для чего только не используют, прежде всего для нелепых поисков языческого начала. Ведь на жизненном пути Гете много вех: через посредство Руссо и Канта, Шеллинга и Спинозы он достиг собственного взгляда на жизнь, который можно было бы назвать философией Просвещения. Все вопросы разрешил он, и притом столь просто и ясно, что и ребенку впору уразуметь. Но затем наступил момент, когда все пантеистические доводы вдруг неизъяснимым образом истощились. Семидесятилетнему Гете все вокруг внезапно представилось странным, удивительным, непостижимым. Тут-то и появилась мистика, обращение аж к самому Сведенборгу. Но тщетно все — и Фауст во второй части склоняется перед высшим началом, примиряется с жизнью, становится филантропом (и осушителем болот), чуть ли не социалистом, и оправдывается в апофеозе всеми средствами католической символики, начиная с учения о судном дне.

Фауст первой части, вышедший из поединка с богом торжествующим Савлом, во второй части предстает уже поверженным Павлом. Вот это и есть *мой* Гете! Конечно, у каждого свой Гете, но все равно мне не понять, где находят Гете-язычника, разве что в нескольких озорных виршах, высмеивающих священников, или, может, в «Прометее», где образ закованного сына божия, возможно, подменяет образ другого сына — распятого, и где высмеивается бессилие отвергнутого Зевса.

Нет, меня манит вся жизнь Гете, поэзия его, выросшая из его жизни. В годы юности поэта один из старших его друзей подарил ему ключ к творчеству. «Твое старание, верное твое тщание должно

ставить себе целью создание поэтической действительности. Иные пытались воплотить так называемую поэзию, вымысел, но из затей этих выходит один вздор».

Об этом рассказывает Гете в повести «Из моей жизни». А дальше он пишет уже сам: «И вот я положил начало этому тщанию, от которого после уже не мог отойти: все, что радовало, печалило или же просто занимало меня — перевоплощать в стихотворные строки и образы и затем спорить обо всем этом с самим собой, дабы уточнить мои представления о действительности и внести упорядоченность и покой в мой душевный мир. Никому не было столь важно обладать подобным даром, как мне, поскольку от природы я был склонен то и дело бросаться из одной крайности в другую. Все, что вышло из-под моего пера, стало быть, лишь фрагменты одной и той же нескончаемой исповеди, полностью изложенной в настоящей книге («Из моей жизни»)».

Я люблю читать Гете: он пленяет меня легкостью, с какой относится ко всему на свете. Кажется, он не способен серьезно смотреть на жизнь, словно она лишена истинного бытия или попросту не заслуживает нашей досады и наших слез. И еще мне по душе его неустранимость перед лицом божественных сил, с которыми он ощущает родство; его презрение к форме, к условностям, отсутствие заведомо готовых взглядов, беспрестанный рост его и обновление, из-за чего он всегда всех моложе, вечно впереди всех, впереди своего времени.

Во все времена и до сей поры Гете противопоставляли Шиллеру, словно побуждая каждого принять либо одного, либо другого из них. Я же не вижу нужды выбирать, ибо приемлю обоих, тем более что они дополняют друг друга; я не в силах словами выразить, в чем их различие, даже в области формы, хотя чувство формы, пожалуй, у Шиллера развито больше, особенно в драме, а парит он при том столь же высоко, сколь Гете. Взлет обоих — плод сотрудничества, взаимовлияния.

А посему на пьедестале веймарского монумента нашлось место обоим, они держатся за руки, и я не вижу причин разлучать их.

* * *

Снова зима на дворе; за окном серое небо, и свет струится снизу, с земли, с белого снежного ее покрова. Одиночество созвучно мнимой смерти природы, но порой уже нет сил его терпеть. Я тоскую по людям, но в уединении сделался так чувствителен, словно душа осталась совсем без кожи, и так избалован привычкой быть хозяином своих мыслей и чувств, что едва выношу соприкосновение с другим человеком; мало того, всякий, кто бы ко мне ни приблизился, угнетает меня своим душевным настроением, который будто вторгается в мой собственный.

Но вот однажды вечером вошла ко мне горничная, с чужой визитной карточкой в руках, как раз в одну из таких минут, когда мне хотелось общества и я готов был принять кого угодно, пусть

даже самого неприятного человека. Увидев визитную карточку, я обрадовался, но, прочитав на ней фамилию, помрачнел, — она была мне незнакома. «Что ж, — сказал я себе, — главное: к тебе пришел человек! Пусть войдет!»

Вскоре вошел молодой человек, весьма бледный и весьма неопределенного облика, так что я не мог угадать, к какому сословию он принадлежит, тем более что костюм на нем явно был с чужого плеча. Но вид у него при том был решительный и самоуверенный, хоть он и смотрел на меня выжидательно и настороженно. Угостив меня двумя-тремя любезностями, которые подействовали на меня охлаждающе, он перешел прямо к делу и попросил помочь ему деньгами. Я отвечал, что неохотно оказываю помощь людям, совершенно мне незнакомым, поскольку в прошлом я не раз по неведению помогал тем, кто этого не заслуживал. Тут я увидел багровый шрам над правой его бровью, и в тот же миг он сделался кроваво-красным. Что-то зловещее проступило в облике моего гостя, но я уже проникся сочувствием к его безмерному отчаянию, и, представив себя на его месте, на пороге долгой зимней ночи, я изменил свое первоначальное решение. И дабы не длить его мук, я тут же вручил ему просимую сумму и предложил присесть.

Когда он засовывал в карман деньги, на лице его выразилась не столько благодарность, сколько удивление, и было видно, что ему не терпится уйти, коль скоро с делом покончено. Чтобы как-то начать разговор, я спросил:

— Вы откуда?

Он изумленно уставился на меня и, запинаясь, ответил:

— Я полагал, что мое имя известно.

Он произнес эти слова с гордостью, которая меня покорила, но когда я признался в своем невежестве, он спокойно, с достоинством, ответил:

— Я из тюрьмы.

— Из тюрьмы? (Теперь я уже слушал его с интересом, — ведь я как раз писал рассказ о преступнике.)

— Да, из тюрьмы. Я взял чужие двадцать крон и не вернул. Шеф простил меня, и дело было забыто. Но потом я отдал статью — против свободы религии — в другую газету, ведь я газетчик, и тогда шеф вдруг извлек то дело на свет, и меня посадили.

Я попал в щекопливое положение, — меня будто принуждали высказаться на сей счет, я же этого вовсе не хотел, а потому я сделал встречный выпад и увел разговор в другую сторону:

— Неужто «в наш просвещенный век» можно не давать работы человеку за то, что он отбыл наказа...

Последнее слово будто разрубила пополам его злобная гримаса.

Чтобы поправить дело, я посоветовал ему писать статьи в популярную газету, редактор которой, как мне хорошо было известно, наверняка не разделял свирепого предрассудка, будто человек, отбывший наказание, не может вернуться в лоно общества.

Но, услышав название газеты, он лишь презрительно фыркнул и заявил:

— Против *этой* газеты я борюсь!

Предельно нелепыми показались мне эти слова, — ведь в нынешнем своем положении он должен был бы радоваться любой возможности снова встать на ноги. Но поскольку обстоятельства во многом оставались неясными для меня, а я не любитель тратить время на расспросы, то я опять же увел разговор в сторону, охваченный естественным человеческим желанием получить услугу за услугу. Но я задал свой вопрос легким светским тоном, показывающим, что я свободен от предрассудков:

— А скажите, очень ли тяжело сидеть в тюрьме? В чем суть наказания?

Выражение его лица сказало мне, что он увидел в моем вопросе назойливость и оскорбился им.

Я тотчас поспешил прийти ему на помощь и продолжал, не дожидаясь ответа:

— В одиночестве, должно быть? (Этим я невольно задел самого себя, но ведь такое часто случается с нами, когда нам навязывают разговор.)

Он нехотя поднял брошенный мяч и швырнул мне его назад.

— Да! Я не привык к одиночеству и всегда смотрел на него как на кару для скверных людей. (Вот! Так мне и надо за то, что я протянул ему руку помощи, — так собака порой кусает руку, ласкающую ее! А впрочем, откуда ему было знать, что он меня укусил.)

Тут наступила пауза, и я понял, что он уязвил самого себя и потому рассержен — не обо мне же думал он, в самом деле, изрекая свой приговор одиноким людям.

Мы сели на мель в нашей беседе, а надо было плыть дальше. Поскольку доля моя в сравнении с его участью казалась завидной, я решил снизить к нему и снять с него печать отщепенства, чтобы он ушел от меня с чувством, что получил здесь не только деньги, но и нечто другое, неизмеримо большее. Впрочем, я не понимал этого человека, подозревая, что он, возможно, считает себя ни в чем не повинным мучеником, жертвой неблагоприятных происков редактора.

И правда, он полагал, что заслужил прощение и расквитался с обществом еще во время первого разбирательства, истинный же преступник — редактор, который подал на него в суд, но, должно быть, молодой человек все же учуял, что я не одобряю подобный взгляд, да и весь наш разговор, должно быть, глубоко его разочаровал. Видно, он прежде заблуждался на мой счет, а теперь, может, и сам заметил, что не с того конца взялся за дело, но было уже поздно что-либо изменить.

Избрав, стало быть, новый подход к собеседнику, я заговорил с ним, как подобает мудрому, просвещенному человеку, который заметил подавленность молодого, страх его перед людьми:

— Не падайте духом из-за этого... (Я деликатно опустил нужное слово.) В наше время, когда человек отбыл наказание, к счастью, уже полагают, что этим он искупил и словно бы зачеркнул свой... грех (тут он снова неодобрительно хмыкнул). Не столь давно у меня выдалась встреча с друзьями в отеле Рюдберг, пришел туда и прежний мой приятель, который отбыл двухгодичное заключение на Лонгхольмене. (Здесь я сознательно не опустил название тюрьмы.) А ведь он был виновен в крупном подлоге.

Тут я умолк в надежде, что от моих слов он сразу приободрится и просияет, но на лице его выразились лишь обида и раздражение оттого, что я посмел поставить его, безвинного и оскорбленного, на одну доску с обитателем Лонгхольмена. Все же в глазах его засветилось некоторое любопытство, и поскольку своим упорным молчанием я вынудил его заговорить, он резко спросил:

— Как зовут его?

— Некрасиво было бы с моей стороны назвать вам его имя, коль скоро вы о нем не догадываетесь. Но он уже написал и выпустил книгу о тюрьме, в которой не пытается оправдать свой грех, кстати, и не заслуживающий оправдания, и этим он вернул себе и прежнее положение, и прежних друзей.

Должно быть, собеседник воспринял мои слова как удар кулаком в лицо, тогда как я хотел дружески похлопать его по плечу, потому что он сразу встал, а за ним встал и я, — мне больше нечего было ему сказать.

Он учтиво простился со мной, но когда я увидел его со спины, увидел его покатые плечи и заплетающуюся походку, мне сделалось страшно за него, оттого что он явно принадлежал к той породе людей, которые будто сложены из двух разных кусков.

Он ушел, и у меня мелькнуло в уме: «А может, он и вообще всё мне налгал?»

Но когда я взглянул на его визитную карточку, где он приписал свой адрес, меня вдруг осенило, что не столь давно я видел этот же почерк в анонимном письме, адресованном мне. Я вытащил ящик, в котором хранил письма, и начал искать. А вот этого уж нипочем не следует делать: покамест я искал послание недавнего гостя, передо мной промелькнули все остальные листки, и я получил ровно столько булабочных укулов, сколько в ящике было писем.

Я трижды перерыл ящик, уверенный, что там должно быть его письмо, и вдруг перестал искать, повинувшись внезапной мысли: «Не нужно копаться в его судьбе! Помогай, не спрашивая ни о чем! Сам небось лучше всех знаешь почему!»

Комната моя была уже не та; нечто гнетущее вошло в нее вместе с тем чужим человеком, и я больше не мог в ней оставаться. Что-то неотвязно-прилипчивое было, надо полагать, в недавнем моем госте: мне пришлось убрать стул, на котором он сидел, а не то и после ухода он еще долго мерещился бы мне на нем...

И я вышел из дома, предварительно раскрыв окно, но не с целью избавиться от чьего-то запаха, а чтобы выветрить впечатление.

Бывают старые улицы без настроения и улицы с настроением, хоть и новые. Новейшая часть Риддергата полна романтики, если не сказать — тайны. Здесь не видно людей, не видно витрин, открывающих проем в каменных стенах; улица изящна, отгорожена от других, пустынна, хоть большие дома и таят в себе столько человеческих судеб. Переулки, названные именами героев Тридцатилетней войны, усиливают и без того глубокое ощущение истории, в лоне которой прошлое легко уживается с настоящим. Завернув за угол Банергата, видишь тотчас к западу взгорок у Грев-Магнигата, улицы, убегаящей вправо и заключающей перспективу таинственной тенью, в которой угадывается все, что только тебе угодно.

Если же идти с запада назад к старой Риддергата и взглянуть на Грев-Магнигата, то сразу бросится в глаза ее крутой изгиб, а дома, похожие на дворцы, эти темные дома с порталами и висячими башнями, повествуют о судьбах людей знатных: здесь жили магнаты и государственные мужи, повлиявшие на судьбы целых народов и династий. Но чуть выше, если идти в гору по Грев-Магнигату, сохранился старый дом, построенный в начале прошлого века. Мне приятно проходить мимо этого дома, потому что в дни моей бурной молодости мне довелось в нем жить. Там вынашивал я дерзкие замыслы, которые впоследствии успешно осуществил, и там написал я свое первое значительное стихотворение. Воспоминания эти, однако, безрадостны, поскольку нужда, унижения, грязь и ссоры окутали те дни своей мутной завесой.

В тот вечер, не знаю отчего, меня вдруг вновь потянуло к этому дому. И когда я отыскал этот бедный дом, он был точно такой же, как прежде, только что его заново оштукатурили да покрасили оконные рамы. Я сразу же узнал тесную длинную подворотню — с двумя канавами для стока в о д ы , — похожую на туннель, — ворота с железным стержнем, подпирающим одну дверцу, и с молотком, таблички с объявлениями, что здесь производится глажка и стирка белья, а также починка обуви...

Я стоял, погруженный в раздумья, и тут сзади кто-то подошел ко мне быстрыми шагами; человек этот обнял меня за шею, что позволит себе разве что старый друг, и сказал: «Не хочешь ли подняться к себе?»

Это оказался совсем молодой человек, композитор, с которым мне однажды довелось поработать, и посему я с ним близко сошелся.

Без долгих проволочек я последовал за ним в дом, мы стали подниматься по деревянным ступенькам и остановились на третьем этаже, у моей двери.

Когда же мы вошли в квартиру и мой приятель зажег свет, я словно переместился во времени на тридцать лет назад: я вновь увидел мое прежнее холостяцкое обиталище, с теми же обоями, но только с новой мебелью.

Мы присели, и мне стало казаться, будто не я в гостях у приятеля, а он у меня. Но всё же рядом стоял рояль, и я сразу заговорил о музыке. Приятель мой, подобно большинству музыкантов, настолько замкнулся в свою стихию, что почти не мог или не хотел говорить ни о чем другом. Он жил в такой отрешенности от своего времени, что ничего о нем не знал: стоило заговорить при нем о риксадаге или правительстве, о войне с бурами, забастовках или избирательном праве, он тотчас же смолкал, но не потому, что стыдился своего невежества или тяготился самим предметом беседы, — все это просто не существовало для него. Но даже беседуя о музыке, он всегда отделялся общими словами, ни о чем не высказывая своего мнения. Все вокруг обратилось для него в звуки, тональность, ритм, и к слову он прибегал лишь тогда, когда этого действительно требовала будничная необходимость.

Все это я знал, и, стало быть, стоило мне лишь показать на раскрытый рояль, как он тотчас сел к инструменту и заиграл. Тесная невзрачная комнатка наполнилась звуками, и они будто заключили меня в волшебный круг, где таяло настоящее и возрождалось прошлое, откуда снова возник и я, каким был тридцать лет тому назад.

Я увидел себя лежащим на выдвигном диване, который стоял в том самом месте, где я теперь сидел, у забитой гвоздями двери. И была тогда ночь... меня разбудил сосед, спавший на таком же диване по ту сторону двери: он беспокойно метался на своем ложе, без конца вздыхал и стонал. В ту пору я был молод, совсем не знал страха и думал только о себе, и я приложил все силы, чтобы снова уснуть... Часы тогда только пробили полночь, и я надеялся, что сосед просто вернулся домой навеселе.

В час ночи я проснулся от вопля — кто-то зывал о помощи, — но я принял тот вопль за свой собственный, потому что приснился мне страшный сон. За дверью у соседа было тихо, совсем-совсем тихо, но что-то жуткое струилось оттуда ко мне — то ли веяло холодом, то ли кто-то подстерегал меня там, прислушиваясь к моим движениям или же подглядывая за мной в замочную скважину.

И никак я не мог снова уснуть и словно сражался с чем-то зловещим, недобрым. Порой мне не терпелось услышать хоть какой-нибудь звук от соседа, но хоть между нами не было и фута, я не слышал ничего — ни дыхания спящего, ни даже шуршания простыни.

Наконец наступило утро; я встал с постели и вышел из дома. Возвратясь домой, я узнал, что мой сосед-каменщик нынешней ночью умер. Стало быть, я лежал до утра рядом с трупом.

(Музыка играла, пока перед моим мысленным взором проплывали эти картины, и ничто не мешало мне вспоминать...)

Весь следующий день до меня доносились звуки приготовлений к обряжению усопшего, к похоронам: с лестницы — гроыханье

гроба, из-за двери — звуки омовения мертвеца, тихий разговор женщин друг с другом.

Покуда светило солнце, все это занимало меня, и я даже шутил на этот счет со своими гостями. Но как только спустились сумерки и я остался один, снова стал струиться из-за двери загадочный холод, которым всегда веет от трупов, и это не просто понижение температуры, не просто отсутствие тепла, а какое-то не улавливаемое градусником ледяное и леденящее дыхание.

Я должен был вырваться отсюда и ушел в кафе. Там посмеялись надо мной за то, что я боюсь потемок, и, решив отказаться от мысли заночевать где-нибудь в другом месте, я чуть под мухой возвратился домой.

Я дрожал, укладываясь на ночь в соседстве с трупом, но все же заставил себя лечь на диван. Не знаю уж как, но, казалось, мертвое тело сохранило какую-то искру жизни, достаточную, чтобы установить связь со мной. Из-за двери шел густой запах меди, струя била мне прямо в ноздри и не давала уснуть. Дом впервые скован был тишиной, той особой тишиной смерти, и мертвый каменщик будто обрел власть над живыми, какой не имел при жизни. Сквозь хлипкий настил потолка, сквозь тонкие стены слушал я шепот и тихое бормотанье бессонных людей за полночь. Затем, наперекор обычаю нашего дома, в нем воцарилась полная тишина. Даже шагов нашего постового полицейского, который обычно поднимался к себе наверх перед ночным обходом, и то не было слышно.

Часы пробили час, два. И тут вдруг я вскочил с постели, разбуженный каким-то грохотом в комнате мертвеца. Трижды стукнуло там что-то! Трижды! У меня сразу мелькнула мысль, что сосед восстал из мертвых, и, не желая иметь дело с призраком, я схватил свою одежду в охапку и пулей слетел по лестнице этажом ниже, где жил один из моих знакомых. Он слегка посмеялся над моим страхом, но все же предоставил мне до утра свой диван.

Тогда-то я впервые задумался над таким повседневным явлением, как смерть, столь простым как будто, но неизменно оказывающим свое особое, загадочное воздействие на всякого, даже самого беспечного человека.

(За роялем приятель мой, который, должно быть, под влиянием моих раздумий, поначалу наигрывал мелодии мрачные и печальные, вдруг перестроился на иной лад, и из-под пальцев его полились бластные, светлые звуки.)

Мощные волны звуков, казалось, гнали меня из тесной комнаты, и мне захотелось выскользнуть наружу. Поэтому я повернул голову и стал смотреть в окно, мимо фигуры моего друга, склоненного над роялем, а так как на окнах не было штор, взгляд мой перескочил через улицу, в одну из квартир противоположного дома, этажом ниже нашей, и я словно бы угодил на ужин в маленькую семью.

Юная женщина, черноволосая, стройная, скромно одетая, снова-ла вокруг стола, за которым сидел четырехлетний мальчик. На столе

стояла ваза с хризантемами: два крупных белых цветка и один огненно-желтый. Я подался вперед и увидел, что стол накрыт и малыш вот-вот начнет ужинать. Юная женщина повязала ему салфетку и при этом так низко нагнулась, что открылся ее затылок, и я увидел шейку, тоненькую, как стебель цветка, а миловидная с пышной прической головка склонилась над ребенком, будто цветок, осеняя и защищая его. Мальчик сначала откинул голову, чтобы дать место салфетке, и тут же опустил ее, придавив подбородком негнувшееся полотно, и оба движения были по-детски прелестны, а ротик его приоткрылся, обнажив белые молочные зубки.

Юная женщина не могла быть его матерью — юность ее для этого слишком очевидна, не могла быть и сестрой — для сестры она слишком стара, но, несомненно, приходилась ему родственницей.

Комната в квартире напротив была обставлена просто, но при том со вкусом; на стенах и изразцовой печи висели в большом числе портреты, и витал вокруг них дух родственной любви, и повсюду на мебели лежали вязаные накидки. Юная девушка теперь тоже присела к столу, но, по счастью, не с целью поужинать, — ведь смотреть, как ест кто-то другой, неприятно, если сам не участвуешь в трапезе. Она подседа к столу, дабы составить компанию малышу и, развлекая, возбудить у него аппетит. Малыш поначалу хмурился, но тете (я так назвал ее) скоро удалось развеселить его, — по движениям ее губ я догадался, что она поет ему песни. Я видел пение ее, хоть и не слышал его, а музыкант мой играл, и загадочней этого не могло быть ничего, но я подумал, что, наверно, он аккомпанирует ей, а если нет, ему следовало бы это сделать. Я будто одновременно присутствовал в обеих комнатах, но все же по большей части в той, другой, и, казалось, был чем-то вроде моста между двумя домами. И хризантемы тоже будто участвовали в игре, и на миг я словно ощутил их благодетельный, целительный запах, смешанный с целомудренным ароматом ириса, идущим от волос юной девушки, и запахи заслонили еду, стоящую на столе, так что, казалось, мальчик для того лишь раскрывает рот, чтобы вдыхать ароматы и улыбаться своей прекрасной соседке. Белое молоко в стакане на белой скатерти, белый фарфор посуды, белые хризантемы, белый кафель печи и белые лица — все сверкало белизной в том жилище, как сверкало белизной материнское чувство девушки к ребенку, не ею рожденному, особенно в тот миг, когда, развязав на нем салфетку, она вытерла рот малышу и поцеловала его...

Тут музыкант мой повернулся лицом к дому напротив, и я понял, что он играл для той девушки, понял, что он давно увидел ее и все это время знал, что она там, у себя.

Я почувствовал, что я лишний здесь, что я лишь мешаю тем, двоим, и поднялся, чтобы уйти. Но друг мой удержал меня, и мы провели вместе весь вечер и условились сделать вдвоем новую работу.

VII

После я не однажды возвращался к моему музыканту: у него в комнате я вновь обретал свою юность, к тому же мы вместе делали новую работу. И я наслаждался его игрой, не посягая на то, что не предназначалось м н е , — ведь он играл не для меня, а для девушки.

Вечер за вечером я наблюдал в ее комнате почти одну и ту же сцену. Все то же видел я: ребенка, его салфетку и стакан молока, обновлялись лишь цветы в вазе, но всегда стояли в ней хризантемы, из которых одни временами заменялись другими так, что третий цветок часто менял окраску, но два белых неизменно служили ему фоном. Если бы я попытался раскрыть секрет обаяния девушки, я бы, наверно, сказал, что он таился в движении — больше, чем в чем-то определенном, застывшем: казалось, она движется под музыку моего друга, а может, это он творил музыку в такт ее движениям, танцующим ее шагам, ее волнистой походке, лебединым взмахам рук, наклонам головы.

Мы никогда не говорили о ней, притворяясь, будто не видим ее, но однажды я понял, что он преподнес мне ее вместе с музыкой к моим стихам, о чем никак не стоило бы сожалеть, если бы только образ ее подходил к моим мрачным мыслям. Да только образ этот никак не был им под с т а т ь , — ведь душа ее порхала в три четверти такта, и порханье всякий раз переходило в вальс. Но я помалкивал, зная, что первое же мое слово разрушит чары и, вынужденный выбирать между ею и мной, он, конечно, оставит меня.

*

Зима выдалась для меня довольно приятной, ведь я больше не был одинок и отныне обрел цель для моих прогулок; к тому же передо мной будто забрезжил слабый призрачный семейного счастья — пусть лишь издалека, а все же я был свидетелем жизни юной женщины и ребенка.

Весна в тот год пришла рано, уже в марте. Как-то раз вечером я сидел за столом и писал, и тут доложили о приходе моего музыканта и тотчас проводили его ко мне. В свете лампы этот милый щуплый молодой человек шагнул ко мне с лукавой улыбкой и что-то протянул мне в руке.

Я принял из его рук открытку, на которой прочитал два имени — мужское и женское. Он стал Ее женихом! С некоторых пор мы с ним уже не нуждались в словах, и, стало быть, я тоже улыбнулся в ответ и произнес только одно: «Хризантема?» — с вопросительной интонацией в голосе. Кивком головы он подтвердил, что я не ошибся.

Событие это показалось мне вполне естественным, словно я давно знал, что так оно и будет. И потому мы не стали об этом толковать, а заговорили о нашей работе и, поговорив, расстались.

Меня несколько не мучило любопытство, — я знал ответ на все вопросы, которые не стал задавать. Каким образом они позна-

комились? — Как обычно знакомятся люди. — Кто она? — Его невеста. — Когда они думают пожениться? — Разумеется, летом. — А впрочем, какое мне дело до всего этого? Я мог опасаться одного: как бы невеста не захотела прекратить наше сотрудничество, которое меня устраивало, и положить конец нашим ежевечерним встречам, что было бы естественным следствием великого события, хотя, прощаясь со мной в дверях, он сказал, что будет рад видеть меня у себя в любой вечер до половины восьмого, а если невзначай я не застаю его, надо без стеснения войти в квартиру и подождать его — ключ лежит на шкафу в прихожей.

Я пропустил три вечера кряду, а на четвертый собрался в путь около половины седьмого — просто хотел пойти наугад посмотреть — вдруг он окажется дома.

Уже поднимаясь по лестнице, я вспомнил, что забыл взглянуть, есть ли в его окне свет — как обычно делают все. У двери я тщетно пытался нашарить ключ. Но в конце концов я нащупал его на шкафу, там, где обычно брал его лет тридцать назад, и в точности так же, как прежде, в былое время, я вошел в свою комнату.

Странная это была минута, — я рухнул прямоком в мою молодость и, кажется, вновь ощутил, как коварно стережет и гнетет меня неведомое мое будущее, и вновь пережил юное опьянение мечтой, самообольщение надеждой; рвался торжествовать победу — и падал духом, заносчиво переоценивал свои силы — и не ставил себя ни в грош.

Не зажигая света, я опустил ся на стул, — фонарь, тот самый фонарь, что некогда озарял нищее мое житье, ныне освещал комнату скупым светом, и на стену ложился от окна теневой крест.

Вот так я сидел, и все было у меня уже позади, — все, все, все! Борьба, победа и поражение! Вся горечь и сладость жизни. И что же? Что с того? Устал я разве, состарился? Нет, я живу в борении, еще более жестоком, чем когда бы то ни было раньше; еще крупнее залог и шире охват борьбы — вперед, всегда вперед — и только! — но если прежде враги подстерегали меня впереди, то нынче враги — повсюду: и впереди, и сзади, за спиной. Я дал себе отдых, чтобы продолжать борьбу, и нынче, сидя в этой комнате на диване, я чувствовал себя таким же юным и готовым к битве, как тридцать лет назад, только что нынче у меня была иная цель, коль скоро все старые вехи остались уже позади. Спутники мои, остановившиеся в пути и отставшие, конечно, пытались меня удержать, но я не мог ждать и потому вышел вперед в одиночку, дабы разведать пустыни, открыть новые дороги и тропы, хоть порой, обманутый миражем, вынужден был возвращаться назад, но всякий раз не дальше перепутья, — и тут же вновь устремлялся вперед.

Я совсем забыл про окно, свободное от шторы, а когда я вспомнил о нем и встал, то увидел в доме напротив все, что и ожидал увидеть.

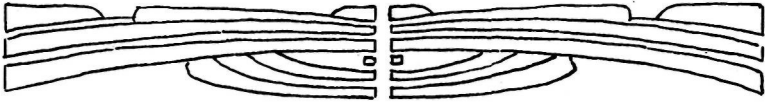
Теперь и Он тоже сидел у стола с хризантемами, а рядом сидела Она, и вдвоем они хлопотали вокруг ребенка, не своего, а племянника девушки, единственного сына ее вдовой сестры. Так с первых

дней их любви средоточием ее стал ребенок, что придавало их чувству особую беззаветность и благородство, оттого что помыслы их сливались, витая вокруг невинного маленького существа. К тому же Он мог увериться в силе ее — зрелого уже — материнского чувства.

Порой, забыв о ребенке, они взглядывали друг на друга с тем неописуемым выражением счастья, которое появляется у одиноких людей, только что обретших друг друга и осознавших, что отныне в борьбе с одиночеством их будет двое. А впрочем, вряд ли сейчас они думали об этом, — должно быть, они вообще не думали ни о чем, ни о будущем, ни о прошлом, а жили одним настоящим, радуясь бытию и близости любимого человека. «Сидеть за одним столом и глядеть друг на друга, сколько продлится жизнь...»

Довольный, что я нынче достиг этой вершины — радоваться счастьем другого без тени досады, тоски или надуманных страхов, — я покинул обитель юношеских моих мук и возвратился домой — к моему одиночеству, к моей работе, к моей борьбе.





ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ

В небольшой сельской церквушке стоял такой лютый холод, что дыхание священника и мальчиков-певчих клубами вырывалось изо рта, точно дым. Прихожане, которым во время службы полагалось стоять, устлали соломой земляной пол, чтобы не слишком мерзнуть, опускаясь на колени, а опускались они всякий раз, когда певчие звонили в колокольчик. Сегодня на литургию пришло много народу, потому что после ее окончания предполагалось необычное зрелище: священник должен был вразумить и наставить на путь истинный двух неполадивших супругов, которые с одной стороны не желали жить в мире и согласии, а с другой — не могли развестись, поскольку ни один из них не нарушил обет верности, ни один не желал покинуть дом и детей и взять грех на себя.

Священник завершил божественное жертвоприношение и молитву, нестройно отзвучало *miserere*, пропетое дрожащими от холода голосами. Солнце окрасило багрянцем заледеневшие окна, горящие свечи почти не давали света, а лишь мерцали желтыми язычками, над которыми струился нагретый воздух, словно весеннее марево над лугами.

— *Agnus dei qui tollis peccata mundi* ¹, — провозгласил священник, мальчики запели *miserere*, и вся паства подхватила псалом. Низкие и грубые голоса мужчин, высокие и нежные у женщин, *miserere*, смилуйся над нами.

Последнее *miserere* прозвучало словно отчаянная мольба о помощи, ибо в ту же минуту оба супруга покинули отведенное им укромное место возле дверей и двинулись по проходу к алтарю. Муж был рослый, грубого сложения, с окладистой русой бородой, он чуть прихрамывал; жена была маленькая, хрупкая, сложения нежного, с мягкими приятными движениями. Лицо ее было наполовину закрыто капюшоном накидки, так что видны были только голубые глаза со страдальческим выражением да верхняя часть бледных щек.

Священник сотворил тихую молитву, после чего повернулся лицом к пастве. Это был молодой человек лет тридцати без малого, его свежее добродушное лицо как-то не вязалось с пышным обла-

¹ Агнец божий, кто принял на себя грехи мира (*лат.*).

чением и вескими грозными словами, которые он произносил. Он давно уже исповедал обоих супругов и теперь намеревался обрушиться на них в проповеди лишь по настоянию епископа. Дело в том, что супруги побывали у епископа с просьбой расторгнуть их брак, но тот не увидел причин удовлетворить это желание, ибо канонические законы и декреталии не допускают развода кроме как в случае нарушения супружеской верности, иногда — в случае бесплодия и, наконец, безвестной отлучки одного из супругов.

Священник начал свою речь сухим невыразительным голосом, словно не веря собственным словам.

Браки, говорил он, заключаются богом, который сотворил женщину из ребра мужчины, дабы она стала ему поддержкой и опорой. Но поскольку сперва был сотворен мужчина, а женщина лишь после него, она должна быть покорна своему мужу, а муж должен быть ее господином.

(Тут капюшон слегка вздрогнул, словно женщина хотела что-то сказать.)

Мужчина, со своей стороны, должен относиться к женщине с уважением, поскольку женщина — его часть, и, чтя ее, он тем чтит себя. Тому же учит нас и апостол Павел в Послании к Коринфянам, глава седьмая, стих четвертый, каковые слова, легшие в основу Грацианского декрета, гласят: «Жена не властна над своим телом, но муж».

(Тут заколыхалась вся накидка, от маковки капюшона до подола, а мужчина одобрительно кивнул, услышав эти слова. Сам же патер бросил взгляд на женщину и переменял тон.)

Когда ученики приступили к Христу с вопросом, можно ли супругам разводиться, тот ответил им: «Что бог сочетал, того человек да не разлучает», вот по этой причине церковь и не признает расторжения брака. Пусть даже мирские законы допускают некоторые уступки, это служит во зло человеку и потому не может быть одобрено церковью.

Жизнь не есть розовый сад, мы не должны слишком много от нее требовать. Тот, кто произносит эту проповедь, и сам состоит в браке (надобно заметить, что история эта произошла в те времена, когда католическим священникам дозволялось жениться). Стало быть, он имеет свое суждение, знает, как один из супругов должен идти навстречу другому, дабы не возникли между ними пустые раздоры. Он сам венчал этих молодых супругов и наблюдал счастье их первой любви, он крестил их детей и наблюдал, как родительская радость освятила их любовь. Он напомнил супругам о незабываемых часах, когда жизнь осыпала их лучшими дарами, когда будущее расстилалось перед ними, словно цветущий луг. Этой памятью он заклинал их подать друг другу руки и забыть все, что случилось с ними после того, как дух вражды пробудился в их сердцах; он просил их на глазах у христианской общины заново укрепить союз, который они в своем эгоизме тщатся разорвать.

На мгновение воцарилась глубокая, напряженная тишина, во время которой собравшиеся, не скрывая более своего нетерпения, протолкались вперед, насколько позволяла теснота.

Супруги остались неподвижны.

Тут и священника, по-видимому, охватило нетерпение, и голосом, дрожащим от гнева и огорчения, он продолжал свою проповедь.

Теперь он говорил об обязанностях родителей перед детьми, о том, как гневается бог, сталкиваясь с подобной непримиримостью духа, он прямо сказал, что брак задуман отнюдь не как возможность любодеяния для двух живых, пылких людей, но как средство не только — это он особенно подчеркнул — для произведения потомства, но и для воспитания оно. После чего патер дал обоим время до следующего воскресенья и отпустил с миром.

Он не успел еще произнести заключительные слова и сделать прощальный жест, как молодая женщина повернулась, холодно и спокойно проследовала между рядами молящихся и вышла через главный вход.

Мужчина несколько помешкал, после чего вышел через боковой придел, откуда дверь вела на крестовую галерею.

Когда патер после богослужения шел домой вместе с женой, она спросила его тоном нежного упрека:

— А ты сам верил тому, что говорил?

— Дорогая жена, ты моя совесть, тебе ведомы мои мысли, так пощади же меня хоть немного, ибо слово произнесенное хлещет как бич.

— Пусть же бич хлещет! Ты исповедал их и знаешь, что брак этих супругов не был истинным единением, ты знаешь, что эта женщина — мученица и жизнь ее будет спасена лишь тогда, когда она окажется вдали от этого человека, ты все знаешь и тем не менее увещаешь ее и дальше идти навстречу своей гибели.

— Видишь ли, мой друг, перед церковью стоят цели более высокие, нежели благополучие обыкновенных людей.

— А я полагала, что блаженство людей или, как ты выражаешься, их благополучие и есть высшая цель, стоящая перед церковью. Что же тогда, по-твоему, ее высшая цель?

— Приращение царства божьего на земле, — ответил священник после некоторого раздумья.

— Давай рассудим, — предложила жена. — Царство божие? В царстве божием уготовано место лишь для блаженных. Выходит, церковь должна даровать людям блаженство?

— В высшем смысле — да.

— Только в высшем? А разве здесь возможно второе мнение?

— Одна дурочка может задать столько вопросов, что и семь мудрецов не ответят, — сказал священник, пожимая руку жены.

— Чего ж тогда стоит вся мудрость мудрецов, если им и по-давно нечего ответить, когда их спросит умный, когда все умные мира приступят к ним с вопросами? — продолжала одна дурочка.

— Они ответят, что ничего не знают, — шепнул священник.

— Вот это надо бы сказать громко и не здесь, а в церкви. Твоя совесть сегодня тобой недовольна.

— Тогда я заставлю свою милую совесть замолчать, — сказал священник и поцеловал жену, уже стоявшую на ступеньках крыльца.

— Это тебе не удастся, — сказала жена, — не удастся, пока ты мной дорожишь, а уж таким способом — и подавно.

Они отряхнули снег с ботинок и вошли в свой домик, где их встретили два крепыша мальчугана, непременно желавших расцеловать мать и отца, которые удостоились столь радостной встречи не в последнюю очередь потому, что в печке их дождался вкусный воскресный обед.

Священник снял просторный стихарь и надел цивильное платье, в котором, надо заметить, никогда не показывался прихожанам, а только своей семье да старой кухарке. Стол был накрыт. Пол сверкал такой белизной, а еловый лапник источал такой аромат! Отец благословил добрую трапезу, и все уселись за стол до того радостные, до того довольные и своей жизнью, и друг другом, словно не было на свете сердец, разбитых во имя высшей цели.

Снег растаял, земля курилась и бродила в ожидании пахаря. Усадьба священника лежала посреди неприглядной равнины в Уппланде, что принадлежит к епархии Расбу. Всюду, куда ни глянь, взору открывалась каменистая россыпь, глинистая пашня да несколько можжевельных кустов, съезжившихся, будто зайцы-трусишки, от постоянных ветров. Вдали, у самого горизонта, торчали верхушки отдельных деревьев, напоминая мачты тонущего корабля. На солнечной стороне священник высадил несколько деревьев и вскопал кусок земли под цветы и травы, которые не привыкли к холодам, а потому их и приходилось укрывать на зиму соломенными матами. Небольшая речушка, что текла из северных лесов, пробегала мимо усадьбы, глубины ее как раз хватало для того, чтобы пройти по ней на лодке, если строго держаться фарватера.

Отец Педер из Расбу проснулся на восходе, поцеловал жену и детей и направился к церкви, лежащей неподалеку от его усадьбы. Он отслужил утреннюю мессу, благословил дневные труды и пошел домой, сияя радостью жизни. Жаворонки, навряд ли знавшие разницу между красотой и безобразием, так же звонко пели и над каменистыми полями, словно приветствуя скудные всходы, вода бурлила в канавах, унизанных по краю желтым копытником. По возвращении домой отец Педер выпил прямо на крыльце свой утренний стакан молока, а теперь стоял в куртке посреди сада и освобождал свои цветы из-под соломенных матов. Потом он взял мотыгу и начал поднимать пласты спящей земли. Солнце припекало, непривычная работа заставила кровь быстрее струиться по жилам, он шумно дышал на терпком весеннем воздухе и чувствовал себя так, словно проснулся к новой жизни. Жена отворила ставни на солнечной стороне, стояла в окне полуодетая и наблюдала, как работает муж.

— Да, это тебе не корпеть над книгами, — сказал он.

— Зря ты не стал крестьянином, — отвечала она.

— Никак нельзя было, радость моя. Но до чего же славно груди и спине! Зачем, спрашивается, бог снабдил нас двумя длинными руками, если мы не употребляем их к делу?

— Да, для чтения они не нужны.

— А вот чтобы чистить снег, колоть дрова, копать землю, носить детей, защищаться они в самый раз, и если мы не употребляем их по назначению, кара не заставит себя долго ждать. Мы, люди духа, мы, видите ли, не должны пачкать руки об эту грешную землю.

— Помолчи, — сказала жена, приложив палец к губам, — дети услышат.

Муж снял шапку и вытер пот со лба.

— В поте лица своего будешь есть хлеб свой, так говорится в писании. Это не такой пот, который выступает на лбу, когда ты боишься не найти должного толкования непонятого места либо когда духи сомнения сжигают твою кровь и кажется, будто тебя посыпают раскаленным песком.

Смотри, как перекачиваются на руках мышцы от радости, что им дозволено двигаться, смотри, как вздуваются жилы, будто весенние ручьи, когда тает лед, а грудь становится до того большая, что куртка трещит по швам, да, это и впрямь другое дело...

— Тише, — еще раз предостерегла жена и, желая перевести разговор в более спокойное русло, добавила: — Ты снял смиренные рубашки с твоих цветочков, но ты забыл про бедных животных, которые всю зиму простояли на привязи в темном хлеву.

— Твоя правда, — сказал священник и отставил мотыгу, — но пусть дети тоже посмотрят.

После чего он не мешкая направился к коровнику, который стоял на дальней стороне двора, снял цепи с обеих коров, распахнул двери овчарни, телятник и, наконец, поднявшись на взгорок, открыл дверцу свинарника.

Раньше всех из дверей выглянула корова с колокольчиком, она остановилась, вытянула шею, принюхиваясь к солнцу. Солнечный свет, казалось, ослепил ее, она осторожно ступила на мостик, несколько раз глубоко втянула ноздрями воздух, так что бока у нее заходили ходуном, обнюхала землю, словно охваченная радостными весенними воспоминаниями, задрала хвост, припустила вверх по холму, перемахивая через камни и кустики и уже галопом перелетела через крышку колодца. На волю вышла корова с колокольчиком, вышли телята, овцы, под конец и свиньи. А за ними стремглав ринулся священник с хворостиной, потому что он забыл притворить садовую калитку; и вот все они мчались вперегонки; к этой гонке вскоре с восторгом присоединились и дети, чтобы вернуться скотину в пределы двора. Но когда старуха кухарка увидела, как святой отец скачет по холму в рабочей фуфайке, она не на шутку всполошилась при мысли, что скажут люди, и тоже выскочила во двор через окно, а жена стояла на ступеньках крыльца и заливи-

сто, от души смеялась. Молодой священник так хорошо себя почувствовал, так по-детски веселился и ликовал, когда увидел, как радуются животные концу зимнего заточения, что, забыв и про мессу и про епископа, выскочил на дорогу вслед за скотиной, чтобы перегнать ее на поле, лежавшее под паром.

Тут он услышал, как жена окликает его, обернулся и увидел рядом с ней на крыльце незнакомую женщину. Сконфуженный и недовольный, он отряхнул свое платье, заправил под шапку волосы и пошел к дому, придав своему лицу торжественное выражение.

Подойдя ближе, священник узнал женщину, эта была та самая, которую он укорял в церкви за супружеские раздоры. Он понял, что она хочет поговорить с ним, и пригласил ее в дом; он же выйдет к ней, как только переменит одежду.

В другом платье и с другими мыслями он немного спустя переступил порог гостиной, где ждала строптивая супруга. Он спросил, что ее привело к нему. Она ответила, что они вместе с мужем пришли к такому решению: поскольку церковь не оставляет им другого пути, она уйдет из дому. Священнику это не понравилось, он собирался заново напомнить ей декреты и Послание к Коринфянам, но тут сквозь открытое окно до него донесся скрип песка на садовой дорожке. Он хорошо знал эти легкие, мягкие, почти невесомые шаги, и скрип песка проник в его душу.

— Ваш поступок, — сказал он, — исполнен мужества, и, однако же, это преступление.

— Нет, это не преступление, просто вы так его называете, — отвечала женщина с такой решимостью, будто уже много горестных дней и ночей обдумывала свой шаг.

Священник, несколько раздосадованный, начал подыскивать неотразимо убедительные слова, но тут за окном снова послышались стоны и всхлипы песка на садовой дорожке.

— Вы подаете дурной пример всей общине, — сказал он.

— Того хуже пример я подам, если останусь.

— Вы не сможете претендовать на свою долю наследства.

— Знаю.

— Вы утратите доброе имя.

— Тоже знаю, но это я смогу вытерпеть, потому что ни в чем не виновата.

— А ваш ребенок?

— Его я возьму с собой.

— Но что скажет об этом ваш муж? Оставив свой дом, вы уже не будете вправе распоряжаться своим ребенком.

— Разве нет? Своим собственным ребенком?

— Ребенок всегда принадлежит не одному человеку, а двоим.

— И даже всей мудрости царя Соломона не хватит, чтобы разрешить этот спор. Но я его разрешу, если смогу, положив конец всей этой истории. Я пришла к вам в поисках света, вы же увлекаете меня в катакомбы, гасите там свет и оставляете меня в полной темноте. Я твердо знаю лишь одно: где кончается любовь, там

остается лишь грех и унижение; я не хочу жить во грехе, вот почему я ухожу.

Шумное дыхание — словно от сдерживаемых чувств — послышалось под самым окном, однако священник еще не выиграл свою битву, он продолжал:

— Как служитель церкви я обязан руководствоваться единственно божьим словом, а оно твердо и нерушимо, аки скала; но как человек я могу ответить вам лишь то, что подсказывает мне мое сердце, хотя, может, это и грех, ибо сердце человеческое — плохой советчик. Ступайте же с миром и не разлучайте того, что сочел бог.

— Нет, это сочел не бог, это устроили родители мужа. Вы же не находите ни единого слова утешения, чтобы напутствовать меня в мой трудный путь.

Священник отрицательно покачал головой.

— Желаю вам никогда не получить камень, когда вы придете просить хлеба, — сказала женщина тоном почти угрожающим и вышла.

Священник снял стихарь, тяжело вздохнул и попытался отогнать тягостное чувство, вызванное этим разговором. Выйдя из комнаты, он сообщил жене, что ему искренне жаль бедняжку.

— А почему ты ей этого не сказал? — перебила жена, судя по всему, знакомая с ходом их беседы.

— Есть вещи, которые нельзя высказывать вслух, — отвечал муж.

— Перед кем нельзя? — не унималась жена.

— Перед кем? Видишь ли, друг мой, церковь, равно как и государство, есть осуществление божественной мысли, но осуществляют эту мысль слабые люди, несовершенные в своих усилиях; вот почему не след открывать слабым людям, что их установления несовершенны, ибо тогда они могут усомниться в божественном источнике сущего.

— Но если люди, разгадав это несовершенство, усомнятся в божественном источнике и раздумья подтвердят обоснованность их сомнений...

— Клянусь всеми святыми, воздух нашего времени поистине отравлен демонами сомнения. Или ты забыла, что первый, кто начал спрашивать, навлек проклятие на весь род человеческий. Если на происходящем сейчас церковном съезде папский легат назвал нашу страну глубоко испорченной, у него были на то свои резоны.

Жена бросила на него быстрый взгляд, словно хотела посмотреть, не шутит ли он, и муж ответил улыбкой, которая показывала, что это всего лишь шутка.

— Не надо так шутить, — сказала она, — я ведь могу и поверить твоим словам. Между прочим, я вообще никогда не знаю, всерьез ты говоришь или шутишь. Отчасти ты и сам веришь в свои слова, а отчасти — нет. Ты так неустойчив, словно и сам стал жертвой тех демонов, о которых говорил.

Чтобы не углубляться далее в этот вопрос, который он предпочитал оставить нерешенным, священник предложил спуститься на лодке к одному красивому местечку, где вдобавок растет несколько деревьев, и там пообедать на свежем воздухе.

Вскоре он уже сидел на веслах, и зеленый дубовый челн рассекал спокойную гладь воды, меж тем как дети старательно раздвигали стелби прошлогоднего камыша, в сухих листьях которого ветер насвистывал песенку пробуждения от зимнего сна. Священник уже снял просторный стихарь и облачился в куртку, носившую у него прозвище «мое старое я». Мощно, как заправский гребец, он работал веслами целых полмили, пока их челн не достиг поросшего березами холма, который высылся, будто остров среди каменного моря. Покуда жена накрывала к обеду, муж бегал с детьми вперегонки, собирал подснежники и одуванчики. Он учил их стрелять из лука и стругал для них дудочки из вербы. Он лазил на деревья и катался в траве, как мальчишка, он позволял ездить на себе верхом и под неумолчный смех детей закусывал удила. Он все больше расходился, а когда ребята стреляли в цель, приспособив вместо мишени долгополую куртку, которую он повесил на березу, его разобрал такой смех, что у него даже лицо посинело. Жена тем временем боязливо оглядывалась по сторонам, не видит ли их чужой глаз.

— Ах, дай мне хотя бы здесь, на лоне божьей природы, побыть человеком, — успокоил ее он. И она не нашлась что возразить.

Обед был сервирован на траве, и священник так проголодался, что даже забыл про молитву, о чем ему не преминули напомнить дети.

— А папа не прочитал застольную молитву, — сказали они.

— А где здесь стол? — ответил он вопросом и запустил большой палец в кусок масла.

Мальчишки взвизгнули от восторга.

— Пер, не болтай ногами под столом, — сказал он одному. — А ты, Нильс, не клади ноги на стол, — сказал он другому.

Дети прямо зашлись от хохота, так что даже есть перестали. Еще никогда им не было так весело, потому что еще никогда они не видели отца таким довольным, ему пришлось несколько раз повторить свои шутки, и они всякий раз пользовались неизменным успехом.

День начал клониться к вечеру, пора было возвращаться. Они сложили всю утварь и сели в лодку. Какое-то время в лодке царило то же неумное веселье, но мало-помалу смех умолк, а детишки заснули, прислонясь к материнским коленям. Отец стал задумчивый и серьезный, как всегда бывает, когда слишком нахохочешься, и чем ближе они подплывали к дому, тем он делался молчаливей. Он, правда, еще пытался время от времени сказать что-нибудь веселое, но вместо веселья в его словах звучала пронзительная тоска. Солнце озаряло косыми лучами беспредельные поля, ветер утих, природу одел меланхолический покой, лишь изредка нарушаемый мычанием коров да страстным зовом кукушки.

— Кукушка к ночи беду пророчит, — сказал священник, как бы отыскав наконец объяснение охватившей его грусти.

— Это считается только, когда слышишь ее в первый раз, — утешила жена, — а к тому же она сегодня «поутру кричала, радость обещала».

Но уже завиднелась крыша скотного двора, а над ней — церковный шпиль.

Они причалили к мосткам; отец взял на руки уснувших сыновей и перенес их в дом. Потом он поцеловал жену и поблагодарил ее за приятную прогулку, ему же пора в церковь к вечерней службе.

Он взял молитвенник и поспешил прочь. Когда он вышел на дорогу, колокол как раз прозвонил к вечерне, и священник ускорил шаг. Еще издали он увидел на церковном дворе большое скопление народа и весьма удивился этому обстоятельству, потому что обычно вечернюю литургию слушал один только звонарь. Ему подумалось, что, может, кто-то наблюдал, как он резвился на березовом взгорке и, чего доброго, подслушал его разговор с женой, а когда он подошел поближе к воротам, у него даже сердце зашлось от страха, ибо он увидел двух лошадей, накрытых сверкающими попонами, и протодьякона Упсальского епископата в сопровождении служки. Протодьякон, судя по всему, именно его и поджидал, поскольку тотчас к нему подошел и просил доложиться по окончании мессы. Еще ни разу священник не служил вечернюю мессу с такой пламенной страстью, еще ни разу не зывал с таким страхом ко всем святым, прося у них заступы от неведомой напасти. Время от времени он бросал взгляд на двери, где неподвижно стоял протодьякон, подобно палачу, поджидающему свою жертву. Произнеся последнее «аминь», священник тяжелыми шагами пошел навстречу удару судьбы, ибо не сомневался, что произойдет какое-нибудь несчастье.

— Я решил не беспокоить вас дома, — начал посланец архиепископа, — дело мое такого рода, что для него потребно заповедное место и близость священных предметов, дарующих силу нашему сердцу. Другими словами, я привез вам некоторое сообщение с церковного съезда, которое может глубоко затронуть сокровенные стороны жизни частных лиц.

Он оборвал свою речь, заметив неприкрытый страх жертвы, и протянул молодому священнику пергаментный свиток, который тот развернул и начал читать.

«*Dilectis in Christo fratribus* — возлюбленным братьям во Христе... — читал священник, — *Episcopus Sabineus apostolice sedis legatus* — епископ сабинский, посланец римского престола...»

Глаза поспешно бегали по бисерным завитушкам и вдруг остановились перед строкой, написанной не иначе как огненными буквами, ибо и взгляд молодого священника, и черты его лица вдруг словно обратились в пепел.

Протодьякон, видно, пожалел его и сказал:

— Требование церкви представляется весьма жестоким: до конца текущего года священникам, состоящим в браке, надлежит сей брак расторгнуть, поскольку истинный служитель бога не

может состоять в плотской связи с женщиной, не оскверняя своим любодейством те священные предметы, к коим он приставлен, а сердце его не может быть разделено между Христом и греховным порождением первой женщины на земле.

— Что бог сочетал, того человек да не разлучает, — пролепетал священник, несколько придя в себя.

— Это касается лишь обычных прихожан. Но когда высшая цель Христовой церкви того требует, можно и переступить закон. Заметьте еще одно отличие: «человек да не разлучает», другими словами, речь идет только о человеке, как о разлучнике, в нашем же случае сам бог гласит устами своего слуги и разлучает то, что бог же и сочетал, значит, применимое ко всем остальным случаям к нашему неприменимо.

— Но ведь бог сам создал брак? — возразил убитый горем страдалец.

— Именно об этом я вам и толкую: сам создал, значит, сам имеет и право расторгнуть его.

— Но господь не потребует такой жертвы от своего слабого слуги.

— Господь потребовал же от Авраама, чтобы тот принес в жертву своего сына Исаака.

— Но ведь сердца разобьются...

— Именно, именно, *пусть* их разбиваются, тем жарче они возгорятся...

— Не может быть, чтобы милосердный бог этого желал.

— Милосердный бог позволил распять своего собственного сына! Мир не есть увеселительный сад. Суетность, бренность! Вам же да послужит утешением, что декреталии...

— Нет, боже всемогущий, никаких декреталий, господин дьякон, во имя неба подайте мне хотя бы искру надежды, омочите святой водой кончики ваших пальцев и загасите огонь отчаяния, разожженный вами; скажите, что этого не может быть, попробуйте поверить, что это не более как предложение, которое не было принято!

Протодьякон указал на печать и изрек:

— *Presentibus consulentibus et consentientibus...*¹ решение уже принято. А что до декреталий, мой молодой друг, то в них мы обретаем сокровищницу мудрости, которой вполне достанет для просвещения заблудших умов. Позвольте еще дать вам совет как доброму другу: читайте декреталии, штудируйте их днем и ночью, и вы увидите, как покой и радость снизойдут на вас.

Несчастный священник вспомнил камень, который не далее как сегодня утром подал отчаявшейся женщине вместо хлеба, и, вспомнив, склонил голову под тяжестью удара.

— И т а к, — завершил свою речь протодьякон, — используйте короткий отпущенный вам срок: уже подули летние ветры, уже оделись цветами луга, и горлица подала голос в нашем краю. До дня

¹ В присутствии компетентных и правомочных (*лат.*).

святого Сильвестра ultimo mensis Decembris¹ я снова побываю у вас, и к тому времени дом ваш должен быть чист и наряден, как если бы сам Спаситель намеревался вас посетить, и вы сделаете это под угрозой отлучения от церкви. Можете на досуге обстоятельно ознакомиться с этими документами. Прощайте! И не забывайте читать декреталии!

Он уселся на белого коня и ускакал прочь, чтобы той же ночью попасть в соседний приход, посеяв и там тревогу и горе, подобно апокалипсическому всаднику.

Отец Педер из Расбу был убит горем. Он не рискнул сразу же вернуться домой, а вместо того бросился назад в церковь и пал ниц перед алтарем. Позолоченные двери ризницы были открыты, и красные лучи вечернего солнца озаряли путь Спасителя на Голгофу. В этот миг священник был не божьим судьей, карающим и грозным, он лежал как покорный богомолец и просил о милосердии. Он поднял глаза к Христу, но не увидел там сострадания; Христос принимал чашу из протянутой к нему руки и осушал ее до дна; он поднимался по крутому склону и нес свой крест на израненной спине, а наверху ему предстояла казнь, но над ним, распятым, разверзлось небо. Значит, было же что-то над и за этими муками. Священник начал отыскивать причины такого великого жертвоприношения, которое неизбежно захватит всю страну. Должно быть, церковь почувствовала, что люди начинают сомневаться в праве своих пастырей быть судьями и вершителями, ибо судьи эти полны человеческих слабостей; и вот духовенство вознамерилось доказать, что во имя божьего дела оно способно вырвать свое сердце из груди и возложить его на алтарь. Но — продолжал работать мятежный разум, — но христианство отменило человеческие жертвы. Мысли между тем шли своим чередом: а вдруг, подумалось ему, вдруг в языческих жертвоприношениях скрыта какая-то истина? Авраам был язычником, ибо не знал Христа, а ведь сына своего он готов был принести в жертву по божьему велению. Христа принесли в жертву, всех святых великомучеников принесли в жертву, с какой же стати церковь должна шадить именно его? Никаких причин для этого нет, и священник невольно пришел к выводу, что пастве, дабы и впредь принимать на веру его проповеди, надо убедиться в его способности пожертвовать ради нее самым дорогим, пожертвовать собой, ибо он и его жена давно уже составляют единое целое. Он пришел к этому выводу и испытал странное удовлетворение при мысли об ужасных муках, ему предстоящих, а там проснулось тщеславие и поманило венцом великомученика, что вознесет его над всей паствой, на которую он хоть и привык смотреть сверху вниз, с высоты алтаря, но которая начала поднимать голову и дерзновенно покушаться на штурм этой высоты.

Укрепленный и ободренный своей мыслью, он поднялся с пола и прошел за алтарную ограду. Он уже не был распятым на кресте грешником, он стал праведником, достойным стоять одесную

¹ В конце декабря (*лат.*).

Христа, ибо претерпел столь же тяжкие муки. Он горделиво взглянул на скамейки для молящихся, напоминавшие в сумерки коленопреклоненных людей, и обрушил на их грешные головы праведный гнев, раз они не желают верить в истинность его проповеди. Он разорвал на себе стихарь и показал им свою окровавленную грудь, на том месте, где полагалось быть сердцу, зияла большая дыра, ибо сердце он пожертвовал богу; он призвал маловеров запустить пальцы в его разверстый бок и удостовериться; он чувствовал, как растет под бременем страданий, и разгоряченное воображение привело его к такому экстазу, что представление о действительности на миг сместилось, и он увидел себя Христом Спасителем. Далее в своих мечтах он зайти не успел и, когда сторож пришел запирать церковь на ночь, поник, как изодранный ветром парус.

Идучи домой, он от всей души сожалел об утраченном экстазе и даже готов был повернуть назад, если бы нечто, не поддающееся определению и напоминавшее по форме слабо выраженное чувство долга, не влекло его к дому. Чем ближе он подходил, тем слабей делалось это чувство и тем ничтожнее представлялся он самому себе. А уж когда он вошел в дверь и жена раскрыла ему объятия и когда он почувствовал приятное тепло, исходящее от печки, и увидел спящих детей, таких спокойных, таких цветущих, ему открылась неизмеримая ценность того, с чем он должен расстаться, и он распахнул свое сердце, к которому прихлынула его молодая кровь, и ощутил сокрушающую мир силу первой любви, способной все вынести и возродиться снова и снова, и дал клятву никогда и ни за что не предавать возлюбленных своего сердца. Оба супруга вновь почувствовали себя молодыми; до полуночи просидели они друг подле друга, толковали о будущем и о том, как бы им лучше избежать грозящей опасности.

Лето для счастливых супругов промелькнуло как прекрасный сон, заставивший их позабыть о неизбежном пробуждении.

Между тем папская булла не осталась тайной для прихожан. Некоторые восприняли новость с известной долей злорадства, отчасти потому, что не прочь были поглядеть, как их духовный пастырь пройдет хотя бы через муки чистилища, отчасти же просто потому, что надеялись теперь получать утешение религии по более низкой цене, поскольку священнику более не надо будет содержать семью. Была среди прихожан и горстка особенно набожных, для них все, исходящее от епископа либо от папы, звучало как глас небесный. Они мусолили вопрос и так и эдак и пришли к единодушному выводу, что плотская связь между священнослужителем и женщиной не может не быть греховной. Эти благочестивцы, которым не терпелось увидеть дом своего пастыря очищенным от скверны сразу же после объявления указа, начали роптать, заметив, что пастырь совершенно не торопится его выполнить. Ропот заметно усилился после одного происшествия, а именно после того, как в церковный шпиль ударила молния. А потом выдался неурожай.

И тогда поднялся крик, и благочестивцы отобрали из своей среды самых горластых и отрядили их к дому священника, где те заявили, что не намерены впредь принимать святое причастие из рук человека, погрязшего во грехе; они потребовали, чтобы он немедленно завел отдельную постель и отдельное хозяйство со своей женой, с которой он впредь не имеет права приживать детей, ибо дети эти будут считаться незаконными, и, наконец, они пригрозили, что если он по доброй воле не очистит свой дом и двор до конца старого года, они сами его очистят огнем.

Чтобы доказать пастве, что его супружеская связь не есть связь плотская, отец Педер велел вынести из дому двуспальную кровать, а сам перебрался спать на кухню.

На какое-то время ропот смолк. Но в самом священнике произошли странные перемены. Он теперь бывал в церкви чаще, чем нужно, и задерживался там порой до позднего вечера. С женой он держался холодно и отчужденно и словно избегал встреч. Теперь он мог долгое время держать на коленях детей и ласкать их, не проронив ни единого слова.

В ноябре, на день святого Мортена, в приход наведалься протодьякон и имел продолжительную беседу с отцом Педером. По ночам отец Педер спал теперь на сеновале, так оно и осталось. Жена ничего ему не говорила, она молча наблюдала за ходом событий и не видела способа что-либо изменить. Душевная гордость возбранила попытки к сближению, а когда муж начал есть в другие, им установленные часы, они вообще почти перестали видеться. У него сделался землисто-серый цвет лица, а глаза глубоко запали; по вечерам он ничего не ел, а спал на голом полу, покрываясь тюленьей шкурой.

Подошло рождество. За два дня до сочельника вечером отец Педер вошел в комнату и сел к печке. Жена готовила детям наряды к празднику. Долгое время в комнате стояла недобрая тишина, потом муж заговорил:

— Детям надо купить подарки к рождеству. Кто съездит в город?

— Я съезжу, — отвечала жена, — но ребят я возьму с собой. Ты не против?

— Я молил господу, чтобы чаша сия меня миновала, но он не внял моим мольбам, и тогда я сказал ему: да будет воля не моя, но твоя.

— А ты убежден, что тебе ведома божья воля? — покорно спросила жена.

— Как и в том, что имею душу живу.

— Завтра утром я уеду к родителям, они ждут меня, — сказала жена бесцветным, но твердым голосом.

Священник встал и торопливо вышел из комнаты, словно услышав свой смертный приговор. Вечер потрескивал морозом, звезды мерцали на синем с прозеленью небе, и бесконечная снежная равнина простиралась перед изнемогшим странником, чей путь, казалось, ведет прямо к звездам, что лежат ниже других, как бы

вырастая из белой пелены. Он шел и шел, все дальше и дальше, он казался себе стреноженной лошастью, которая пытается бежать, но всякий раз, когда она возомнит себя свободной, путы на ногах удержат ее. Он проходил мимо домишек, где горел свет, и видел, как там все чистят и скребут, варят и пекут к наступающему празднику. Ожили мысли о том, каким будет его собственное рождество. Он представил себе пустой дом, без огня, без света, без нее, без детей. У него горели ноги, а по телу пробегал озноб. Он все шел и шел, не ведая куда. Наконец он остановился перед небольшим домиком. Ставни были закрыты, но между ними пробивалась полоска света, озаряя снег желтым сиянием. Он подошел поближе, приложил глаз к щели и увидел перед собой комнату, где скамьи и стол были завалены одеждой: детское белье, чулочки, курточки; на полу стоял сундук с откинутой крышкой, с которой свешивалось белое платье, красивый верх платья привлек его внимание: спереди оно как бы сохранило след округлой девичьей груди; на одном плече был укреплен зеленый венчик. Что это было, погребальное облачение или подвенечное платье? Он невольно задался вопросом, можно ли обряжать в одинаковые платья покойниц и невест. Он увидел, как на стене возникла чья-то тень, порой тень была такая длинная, что преломлялась и заходила на потолок, порой стелилась по полу. Наконец тень упала на юбку белого платья. Маленькая головка в чепце резко обрисовалась на белом фоне. Этот лоб, этот нос, эти губы ему уже доводилось видеть и раньше. Куда же он забрел? Тень исчезла в сундуке, а на свету оказалось лицо, которое не могло принадлежать живому человеку — такая бледность заливала его, такое глубокое страдание отпечаталось на нем, оно глядело ему в глаза, прожигая взглядом, он почувствовал, как слезы скатываются с его щек и падают на подошник, растопляя снег. Но тут взгляд за окном стал таким крошечным и жалобным, что священник вообразил, будто перед ним святая Екатерина на колесе, молящая кесаря Деция помилосердствовать. Да, это была святая Екатерина, а он — он был кесарь. Внять ли мольбам Екатерины? Нет, отдайте кесарю кесарево, учит писание, и еще: «Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Никакого милосердия. Он не может дольше выдерживать этот взгляд, если хочет и впредь оставаться сильным, а значит, лучше ему уйти. Он бродил по саду, где снег успел засыпать накрытые матами цветы, которые напоминали теперь детские могилки. Кто же покоится в этих могилках? Да его собственные дети. Его здоровые, румяные сыновья, которых господь приказал ему принести в жертву подобно тому, как Авраам принес в жертву Исаака. Но Авраам отделался легким испугом. Будь проклят этот бог, раз он может быть таким бесчеловечным. Подлый бог, он призывает людей возлюбить друг друга, а себя ведет как палач. Вот взять и отправиться к нему, в его собственный дом, и воззвать к нему, и потребовать объяснений. Отец Педер вышел из сада, поднялся на взгорок, где обычно колол дрова, и увидел непомерно большой гроб, просторный гроб, на двоих. Нет, это не гроб, а кровать, и она застелена мягчайшим

свежевыпавшим снегом, белым, как гагачий пух, и теплым, как перья живой птицы. Постель для любодеяния. На такой постели Клеопатра могла бы справлять свадьбу с Голиафом. Он впился зубами в спинку кровати, как щенок, когда у него чешутся з у б ы, — темнокожая Клеопатра на фоне белого снега. Вот было бы зрелище. Он побрел дальше, увязая в сугробах, и ухватился за маленькую елочку, что стояла подле дровяного сарая. Это была рождественская елочка, вокруг такой могли бы плясать дети, останься они живы! Тут он вспомнил, что собирался воззвать к богу, который отнял у него детей, и потребовать ответа. До церкви было рукой подать, но, подойдя к ней, он увидел, что она заперта. От ярости он чуть не лишился рассудка и начал разгрести снег, пока не откопал большой камень. Этим камнем он принялся бить в дверь с такой силой, что церковь изнутри отвечала ему как бы раскатами грома, и все это время он не переставал кричать:

— А ну, выходи, Молох, пожирающий детей, я вспорю твою ненасытную утробу. А ну, выходи, Иисус Христос, выходи. Святая Екатерина, выходите все святые и все дьяволы, вас вызывает на битву кесарь Деций из Расбу! А, так вы любите заходить сзади, легионы тьмы!

Он резко обернулся и с нечеловеческой силой безумца сломал молодую липку; вооружась ею, он ринулся на войско могильных крестов, которое, как ему чудилось, подступало к нему и угрожающе вздымало руки. Кресты не дрогнули, и тогда он перешел в атаку, размахивая липкой, как смерть косой, и не успокоился до тех пор, пока не поверг все, так что земля вокруг покрылась щепками и осколками.

Но силы его и тут не истощились. Теперь он пойдет грабить мертвецов, подбирать раненых и убитых. Охалку за охалкой переносил он к церковной стене и сваливал под окном. Когда эта операция была завершена, он вскарабкался на кучу, выбил стекло и проник внутрь. Внутри оказалось светло от северного сияния, а со двора его заслоняла церковная крыша. Еще одна атака на грозно подступающие скамеечки, которые он обратил в груды щепок. Теперь его глаза устремились на главный алтарь, где поверх сцен крестных мытарств восседал на облаке бог отец, держа в руках снопы молний. Священник сложил руки на груди и устремил насмешливый взгляд к строгому громовержцу.

— А ну слезай! — закричал о н . — Слезай, мы поборемся!

Заметив, что его вызов не принят, он схватил деревяшку и запустил ею в своего врага. Удар пришелся по гипсовому орнаменту, кусок которого упал вниз, подняв вокруг себя облако пыли.

Он схватил еще одну деревяшку, и еще, и еще одну и начал швырять их с неистовством, возраставшим после каждого промаха. Облако падало вниз кусок за куском под его громкий хохот, молния выскользнула из рук всемогущего, и, наконец, со страшным грохотом рухнула на алтарь вся тяжелая картина, сбив в падении свечи.

Лишь тут святотатца охватил страх, и он выскочил в окно.

Накануне сочельника поутру жители прихода могли бы наблюдать странную картину на дворе у священника.

Сани, на которых сидела женщина, двое детей и парень-работник, выехали со двора и двинулись в западном направлении. С восточной же стороны за санями добрую четверть мили бежал священник, громко взывая к ним и прося их остановиться. Но сани продолжали свой путь по накатанной зимней дороге и скрылись за поворотом. А священник угодил в сугроб и оттуда погрозил небу кулаками.

Более поздние наблюдения свидетельствуют, будто священник долгое время пролежал в тяжелой лихорадке и будто дьявол, озлясь, что в битве, разгоревшейся из-за расторжения брака, ему не удалось одержать верх над божьим слугой, страшно набедокурил в церкви, но, чтобы проникнуть туда и проявить там свою власть, ему пришлось для начала сокрушить все кладбищенские кресты до единого. Все это вместе взятое не только восстановило пошатнувшийся авторитет господина Педера, но и наделило его неким отблеском святости, отчего самые рьяные благочестивцы весьма возгордились, ибо кто, как не они послужили причиной, благодаря которой дом священника был очищен от скверны.

Он проболел три месяца и начал выходить лишь в апреле. За время болезни он состарился. Черты лица заострились, глаза утратили свой блеск, рот все время был полуоткрыт, спина согнулась. На южной стороне дома у него стояла скамейка, где он часами сидел на солнышке, погружаясь в мечты о былом, которое виделось ему теперь почти нереальным, тем более что он не получал никаких известий от тех, кого называл когда-то своей семьей.

И снова настал май с цветами и птичьим пением. Господин Педер ходил по саду и глядел, как лезут из земли сорняки; редкие цветы вымерзли за зиму, потому что никто не привел в порядок соломенные маты, и они лежали на земле, будто гниющие лохмотья. Ему и в голову не приходило вскопать грядки и засеять их, потому что не для кого теперь было стараться, и не осталось рядом ласковых рук, чтобы позаботиться о молодой поросли. Он остановился у изгороди и посмотрел по сторонам. Земля была такая солнечная, речушка журчала так весело и манила взгляд следовать за ее волнами; они так дивно плескались, разбудив в нем желание уплыть по волнам туда, где они сливаются с большой рекой. Он отвязал лодку, сел, не трогая весел и предоставив течению нести себя. Так прошел час и другой.

Вдруг он услышал свежий запах березовых почек и весенних цветов. Он огляделся по сторонам: равнина кончилась, он находился теперь у подножья березового взгорка. Воспоминания о прошлой весне ожили в нем, легкие, светлые картины, навеянные цветами одуванчика и подснежника. Он сошел на берег и поднялся по склону. Здесь они тогда обедали, здесь, на этой ветке, висела его куртка, в которую мальчишки стреляли из лука. Он увидел дыру в теле березы, откуда он цедил березовый сок и куда припадали губами мальчишки. На вербе еще сохранились рубцы от ножа, которым

он резал дудочки. В траве он нашел стрелу; как же они, помнится, тогда ее искали, это была самая удачная из стрел, которые он когда-либо выстругал, она поднималась над вершинами самых высоких берез. Он еще пошарил в траве и в кустах, будто собака-ищейка, он ворочал камни, отгибал ветки, поднимал прошлогоднюю траву, разгребал листья. Он и сам не знал, что ищет, но хотел найти что-нибудь, что напоминало бы о ней. Наконец, он остановился перед кустом боярышника; там, на одном из шипов висел красный шерстяной лоскут, ветер раскачивал лоскут, словно яркую бабочку среди белых цветов, бабочку, наколотую на острие иглы; новый порыв ветра перевернул лоскут, и теперь он напоминал окровавленное сердце, изъятое из груди, принесенное в жертву и повешенное на ветку. Он снял лоскут с куста, поднес его к губам и дунул на него, он поцеловал лоскут и зажал в кулаке. Здесь она играла с мальчиками в ловилки, и они наступили ей на подол, оторвав от него кусок.

Он лег в траву и заплакал, он выкрикивал ее имя, он выкрикивал имена детей. Он плакал долго, пока не изнемог от слез.

Проснувшись, он пролежал некоторое время на прежнем месте, глядя из-под полуопущенных век на зеленый ковер травы. Взгляд его задел большую вербу, с которой свешивались желтые сережки, словно золотые колосья под лучами солнца. Слезы успокоили его, оставив по себе некоторое умиротворение, исчезло горе, исчезла радость, душа пребывала теперь в полном безразличии и равновесии. А если он и посмотрел более внимательно на вербу, то потому лишь, что она лежала как раз на линии его взгляда. Слабый ветерок сообщил ее ветвям чуть заметное волнообразное движение, успокоительное для его заплаканных глаз. Вдруг ветви неожиданно остановились, хрустнули, и чья-то рука отогнула их книзу; озаренная солнцем женская фигура в оправе из золотых сережек и редких еще зеленых листьев предстала перед его глазами. Какое-то время он неподвижно созерцал прекрасное видение, как созерцают картину, но потом его глаза встретились с глазами женщины, которые вонзились в него будто два луча и разожгли огонь в угасающей душе. Тело само оторвалось от земли, ноги понесли его вперед, руки простерлись, и уже мгновение спустя кто-то маленький и теплый прильнул к его окаменевшей груди, куда вновь хлынули жизненные соки; долгий поцелуй растопил ледяную кору, которая так долго держала в плену его дух.

Восемь дней спустя в Расбу заявился протодьякон и нанес визит священнику. Он нашел господина Педера сияющим и довольным жизнью. У дьякона было какое-то щекотливое поручение, и он долго мялся, подыскивая слова.

— По общине прошел слух, который достиг даже ушей нашего епископа. Разумеется, не всякому слуху можно верить, но одно обстоятельство, что слух сей вообще мог возникнуть, не служит ли он сам по себе подтверждением? Говорят, господин Педер —

чтобы уж без обиняков — встречался с женщиной. Архиепископ внимательнейшим образом наблюдал бурю, вызванную папской буллой о разводе. Святой отец и сам осознал жестокость нового закона, а потому и позаботился о том, чтобы с помощью *licentia occulta* — тайного дозволения — сделать жизнь духовных лиц не столь безотрадной. Что ни говори, а женщина есть добрый гений каждого дома.

Посланец Христа прервал поток речей и тихим, едва слышным голосом прошептал на ухо господину Педеру некое тайное сообщение.

Господин Педер переспросил:

— Церковь не позволяет священнику иметь жену, но не возражает против любовницы?

— Ну зачем такие сильные выражения? Наложница, экономка, вот как мы это называем.

— Ладно, — сказал господин Педер, — а если я захочу взять в экономки собственную жену, церковь не станет возражать?

— Нет, нет, ни за что! Какую угодно, любую, только не ее! Цель церкви! Не забывайте о ней!

— Ах, вот как выглядит ее высшая цель! Значит, церковь принуждает к разводу для того, чтобы сохранить за собой право наследования и прибрать к рукам землю! А вовсе не из-за блуда! Вы хотите незаконным путем прикарманить чужую собственность во имя высшей цели! Нет и нет, с такой церковью я не желаю иметь ничего общего! Отлучайте меня сколько хотите, я за честь почту быть отвергнутым такой превосходной церковью, смещайте меня, и прежде чем вы успеете оформить мое изгнание на бумаге, я уже буду так далеко, что вы и следов моих не сыщете.

Кланяйтесь святому отцу, господин протодьякон, и скажите, что я не приму его гнусное предложение, кланяйтесь и скажите, что божества, которым наши праотцы поклонялись в образе тучи и солнца, были много величественней, а главное — много чище, чем все эти римские и семитские сводники и обиралы, которых навязала церковь на нашу голову; кланяйтесь ему и скажите, что встретили человека, который намерен посвятить всю свою оставшуюся жизнь тому, чтобы обращать христиан в язычников, и что настанет день, когда новые язычники затеют новый крестовый поход против наместников Христа и его прислужников, надумавших ввести обычай приносить в жертву живых людей, тогда как язычники их просто убивали и тем довольствовались. А теперь, господин протодьякон, взвалите себе на спину свои декреталии и убирайтесь отсюда, пока я не прогнал вас кнутом. Своей невидимой высшей целью вы чуть не убили двух человек, и целое царство осыпает вас проклятиями. Возьмите в путь и мое проклятие, переломайте себе ноги на сельских дорогах, провалитесь в канаву, пусть вас поразит молния и ограбят разбойники; пусть восстанет из гробов ваша умершая родня и каждую ночь скачет верхом у вас на груди; пусть поджигатели запалят ваш дом, ибо я исключая вас из общества

порядочных людей, подобно тому, как исключая себя из святой церкви. Вон!

Протодьякон не задержался на дворе у священника, да и сам господин Педер не стал мешкать, ибо жена и дети поджидали его на том самом березовом холме по дороге к тому новому дому, который господин Педер намеревался поставить в лесу, поближе к границе Вестманланда.

ТРИУМФ

Супруга маршала двора поднялась со своего одинокого супружеского ложа и облачилась в утренний наряд. Потом она отворила двери на террасу, обращенную во внутренний двор королевского дворца, позволив теплomu июльскому воздуху ворваться в спальню. Терраса, расположенная на крыше старого бастиона, окружена мраморной балюстрадой из тосканских колонн, на которой расставлены лавровые и гранатовые деревья в прекрасных майоликовых вазах из Урбино, и сквозь эту зеленую раму видны корабли в Норстрёме, чуть далее — Шепсхольмен, а еще дальше — округлые очертания дубовых рощ острова Вальдемерсён. Прямо внизу лежит двор королевского дворца, куда ведет лестница в три пролета, также с балюстрадой, но перила этой балюстрады поддерживают свинцовые колонны, крашенные масляной краской.

Камеристка подставляет ей кресло, обитое тисненной золотом кожей, и кладет медвежью шкуру на пол, влажный от росы. Госпожа делает еще несколько шагов, но тут же устало опускается в кресло. Она берет в руку зеркальце, висящее у нее на поясе, и принимается разглядывать свое лицо.

Тридцать два года от роду, шесть лет бездетного брака и три месяца разлуки с мужем заставили побледнеть ее все еще упругие и полные щеки, на которых смятые подушки оставили маленькие полоски. Из-под шитого жемчугом белого шелкового чепца выбились влажные темные пряди, видно, спала она тревожно и вспотела во сне. Большие карие глаза, в которых отражается небесная синева, беспорядочный дробный узор майолики и дворцовые окна, не выражают ничего, кроме усталости. Глубокий вырез лифа оставляет пышную, начинающую обвисать грудь полубогаженной, фламандские кружева лишь слегка защищают ее от сквозняка. Жесткие складки пурпурной атласной юбки топорщатся, и тому, кто стоит на лестнице, видны длинные вязаные шелковые чулки с цветными прошвами до колен, а маленькие ножки с высоким подъемом погружены в медвежий мех, словно в некошеную траву.

Она зевнула прямо в лицо своему отражению в зеркале, и от теплого дыхания оно подернулось пеленой, за которой ее лицо скрылось на мгновение, чтобы постепенно возвратиться, когда влажная дымка исчезнет. Это позабавило ее на минуту. Потом

она взяла ножницы, висевшие на поясе рядом с зеркальцем, и принялась чистить ногти.

Внизу из сада послышалось шуршание гравия, и из-за каменной ограды фонтана показался человек, лежавший до того на животе и глядевший на карпов. Одна половина его тела была одета в зеленое, словно перья попугая, другая — в ярко-красное, а на голове красовался старомодный шутовской колпак, хотя сейчас бубенчики были заткнуты в складку колпака, чтобы не звенели при ходьбе. Лицо его было серьезно, оно составляло резкий контраст одежде; длинные усы и острая бородка делали его похожим на немецкого студента, и в манере, с какой он наблюдал окружающий мир, было нечто от человека ученого.

Поднявшись по лестнице на террасу, он резко остановился, словно пораженный открывшейся перед ним картиной. Роскошная женщина в ослепительном платье и белых чулках, черная медвежья шкура, распахнутые двери спальни, хорошенькая служанка, нагнувшаяся над кроватью и снимавшая простыни, которые она потом встряхнула и сложила, — все это, казалось, произвело на шута неожиданное, почти болезненное впечатление.

Увидев шута, маршальша вздрогнула, и, когда он сделал вид, что готов поспешить к ней и броситься к ее ногам, лицо ее приняло столь отчаянное и испуганное выражение, что он остановился, стащил с головы колпак и отвесил шутовской поклон.

— Вот уже две недели, как я не видела тебя, Менелай, — сказала маршальша наигранно весело.

— Да, — ответил шут, перепрыгнув через барьер и почесав голову ногой, одетой в туфлю. — И что вы видите в этом зеркале?

— Я до смерти опечалена, ибо в зеркале я вижу человека с длинным лицом, рыжей бородой и пустыми глазами, он стоит за оконной шторой в ромбовом зале и следит за нами; однако ж он засмеялся, когда ты стал чесаться, стало быть, большой беды еще не случилось, меж тем мне многое надобно сказать тебе.

— И я тоже, — отвечал шут, — я тоже до смерти опечален, давайте же пройдем в ваши покои.

— Нет, нет, это невозможно! Рыжий не спускает с нас глаз! Приходи днем, позднее!

— Никак не могу! Мне велено разыгрывать шута во время послепоуденного шествия.

— Стало быть, нам следует потолковать сейчас, здесь! Покажи-ка, что ты можешь веселить людей, как пристало шуту!

— Нет! Нет! Только не сегодня! О нет! Ради страданий и смерти Христовой придумайте что-нибудь другое.

— Что же мне придумать? Он чует неладное. Вот он спрятался за штору. Постой-ка, я знаю: я стану читать тебе! Анна! Анна!

Камеристка вышла на террасу.

— Что прикажете, ваша милость?

— Подай мне синову книгу, что лежит на сундучке возле кровати, нет, под платяным шкафом.

Служанка тут же воротилась с книжкой в синем кардуановом переплете размером в четверть фолианта.

— Иди в комнаты, да прикрой за собой дверь, — велела маршалша. — А теперь, шут, вы с рыжим повеселитесь, ибо я стану читать «Декамерона» Боккаччо.

— Славно! Однако как же знатная персона в окне угадает, что вы изволите читать?

— Он увидит синий переплет, а ведь он сам дал мне эту книгу. Подумать только! Он хочет растлить мою душу, чтобы она была сродни его душе!

— Благородный господин, известное дело. Но вам тогда придется говорить так, будто вы читаете, ведь у безумного глаз зорок, а разум остер. Хоть и звучат слова сии странно, однако так оно и есть.

— Не тревожься, Менелай, я его хорошо знаю. Когда я стану говорить о печальном, ты делай вид, будто сам не свой от радости и восторга.

— Будьте спокойны, моя госпожа!

— Итак, я начинаю!

Маршалша взяла книгу, полистала страницы и заговорила монотонно и размеренно, будто читала:

— На границе живописного Блекинга и серенького Смоланда...

— Не забывают перелистывать страницы, госпожа! — перебил ее шут.

— Ты прав, напоминай мне об этом, если я забуду. Вот он снова показался, это страшилище, и глаза у него горят, словно угли... На границе живописного Блекинга и серенького Смоланда лежит красивое озеро Фломмен. На северном его берегу, принадлежащем Смоланду, есть усадьба, которая зовется Ингельстад; на южном берегу, что относится к Блекингу, стало быть, к Дании, лежит усадьба Эдруп. Хозяином Эдрупа был мой отец. У него было две дочери, одна из них — я; другую заприметил владелец Ингельстада, он посватался к ней, получил согласие и должен был привезти ее в свой дом. Блекингом, как тебе ведомо, владела то датская, то шведская корона, но, как бы то ни было, люди, жившие на границе этих провинций, породнились, переженившись меж собой, всегда считали себя единым народом и были друзьями в беде и в радости. Даже в пору немирья они не вступали в сраженья, заключив крестьянский мир, как его называют. Хорошо я читаю?

— Вы говорите, как по писаному, госпожа, — ответил шут и захолопал в ладоши.

— Тот наверху улыбается, думает, что я прочла что-то непристойное.

— Продолжайте!

— Хозяин Эдрупа и хозяин Ингельстада были добрыми старыми друзьями, и коль скоро от одной усадьбы до другой пути на лодке не более четверти часа, они частенько навевывались друг к другу. Дело кончилось тем, что молодой господин из Ингельстада посватался к моей сестре, о чем я уже рассказывала.

— Перелистывайте страницу! Перелистывайте! Листайте!
Маршалша перелистнула страницу и продолжала:

— Как часто пишут в книгах, стояло погожее летнее утро; в Ингельстаде целых две недели мыли и скребли дом, из окон вывесили флаги, водрузили свадебные шесты, и все такое прочее, ведь владельцу усадьбы предстояло вечером привезти свою невесту. А в Эдрупе готовились ничуть не меньше, ведь именно там и собирались пировать веселую шумную свадьбу. Вечером родители и гости поплыли через озеро с молодыми к их дому. Сопровождаемые лодками с факельщиками и музыкантами, скользили они по зеркальной водной глади, отражавшей свет зажженных на берегу костров; луна, стоявшая высоко над лесом, скрывалась время от времени в клубах дыма; звучали рожки, пели скрипки, трубили трубы.

— Браво! — вскричал Менелай. — Прямо как в «Декамероне».

— В Ингельстаде гостей приняли великолепно, — продолжала маршалша, — и молодые были наверху блаженства. Танцы и веселье продолжались до глубокой ночи. Но вот во время танца с факелами, в который вовлекли и всех стариков, во дворе раздался громкий, резкий звук трубы. Музыка стихла, танец прекратился, все со страхом ждали: кто это явился среди ночи? Все чуяли недоброе, понимая, что это не свои, а чужие. В зал вошел королевский фогт и с ним офицер; фогт громко объявил, что между шведской и датской коронами началась война. Датским подданным было велено не позднее чем через двенадцать часов убираться домой и ждать, что будет дальше. В зале наступила тишина, но вот на середину зала вышел хозяин Ингельстада; обнимая одной рукой дрожащую от страха невесту, он взял в другую наполненный вином кубок и громко и отчетливо сказал, что пьет за тестя, за своих друзей и соседей и что скорее позволит вырвать невесту из своих объятий, нежели обнажит меч против тестя. Тут все радостно подняли кубки и, обнимая друг друга, выпили за мир и доброе согласие. Тогда взял слово офицер, он заявил, что никакого крестьянского мира корона не признает и что каждый, кто откажется встать под знамена, будет почитаться врагом королевства и усадьба его будет сожжена. Старый хозяин Эдрупа ответил, что ни он сам и никто из его людей не поднимут руку на своих собратьев и друзей, с которыми им нечего делить, и тут все снова стали заверять друг друга, что не нарушат мира. Офицер и фогт предостерегли их в последний раз и ускакали прочь. Танцы начались снова и продолжались, куда молодые не отправились в опочивальню, а гости не разбрелись по своим комнатам, чтобы вновь веселиться на следующий день.

Но наутро дом был разбужен криками шведских солдат. Жениха, оборонявшегося в своей комнате, одолели и взяли в плен; невеста — моя сестра — помешалась в уме. Теперь она сидит здесь в подполе под нашими ногами, куда я упрягала ее, с кляпом во рту, чтобы не выдала, где ее прячут; а жениха ее — да, сегодня его повезут во время триумфального шествия, чтобы предать казни. Забавная история! Бей в ладоши, Менелай!

Шут подпрыгнул, швырнул оземь колпак, стал топтать его ногами, рванул бороду.

— Ради Иисуса Христа, хлопай в ладоши! — прошептала маршальша.

— Нет, — ответил шут. — Пусть меня подвезят за пятки на дыбе и отрежут мне веки, но ты выслушаешь теперь мою историю — без книги, без зеркала и без хлопанья в ладоши.

— Ради креста Христова, ради спасения нашего, подумай хотя бы о нас; он открыл окно и слышит каждое твое слово!

— Тем лучше! Пусть услышит правду от меня, коли ему не осмеливаются сказать ее ни в церкви, ни в его покоях! Вот моя история: я был дьячком в церквушке на севере Блекинга, однако ж я швед и родители мои шведы. Дьячку надлежит помогать священнику, говорить «аминь», когда тот скажет «да». Мне надоело говорить «да», я скорее рожден, чтобы говорить «нет». Как и всякому человеку мужского пола, полюбились мне одна девушка. Денег на то, чтобы зажить одним домом, нам было никак не скопить, однако дитя мы все же завели. Тогда я отправился в Стокгольм и стал тем, кем я есть ныне. Как это случилось? Того я и сам не помню! Только служба моя пришлась мне по сердцу, я гордился тем, что один из всех могу сказать правдивое слово. Однако меня наняли не для того, чтобы я говорил правдивые слова, а чтоб забавлял людей. Когда я понял это, мое занятие мне опостытело, да только искать другое было уже поздно, и сын уже вырос, а я копил деньги для него и его матери. В нынешнем году ему минуло восемнадцать. И вот началась война. Из-за чего? Из-за того, что художник датского короля намалевал на дверце королевской кареты три короны вместо четырех? Или из-за того, что адмирал шведского короля где-то далеко в море салютовал пушками не так, как следовало, чего никто не заметил? Кто может ответить на этот вопрос? Разразилась война! Да вы и сами уже говорили о том! Нынче утром я взял лодку и поплыл на Стрёммен. У причала три большие шхуны сушили паруса. На шхунах этих — а я могу свободно являться куда захочу — увидел я такое, чего никогда не забуду. Там держат жителей Блекинга, виновных лишь в том, что родились они в ту пору, когда двум озорным мальчишкам вздумалось таскать друг друга за волосы. — Да, да, слушай, что я говорю, ты, глупец! Что стоишь и пялишься на нас сверху?! — Я увидел полуголых женщин и детей, глаза их жадно просили куска хлеба. В тюрьме этой повстречал я и свою, можно сказать, жену, ведь она родила мне сына. Она еще не потеряла разум, но была близка к тому. Она рассказала мне, как швед заставил своих немецких кнехтов выстроить на холме возле тинга всех людей мужского полу, кто мог носить оружие; их рубили ряд за рядом, словно деревья в лесу, и среди них был мой сын! — Эй ты, там, наверху, есть у себя сын? Так пусть адский огонь пожрет его, слышишь? Слышишь, что я говорю?

Шут замолчал, чтобы перевести дух и продолжить рассказ, но тут взгляд его упал на лицо маршальши, и в ее отчаянном потухшем

взгляде он прочел, какую беду навлек на нее и на себя. Мгновенно воодушеваясь, он повернулся к окну, на которое до сих пор не осмеливался смотреть, бросился плашмя на мраморный пол и завопил:

— Ave Caesar imperator, morituri te salutant!¹

— Bravo, Менелай, — был ответ из окна, и до них донеслись слабые удары в ладоши.

— Он все еще верит, что я валяю дурака, — прошептал шут. — Мы спасены.

— А вам, прекрасная госпожа, — продолжал голос из дворцового окна, — вам недурно удалось выучить комедианта, он вполне может посрамить моих итальянцев!

Маршальша едва успела наклонить голову, как вошла камеристка с известием о прибытии маршала двора.

Голова в окне с неудовольствием отодвинулась, шут снова напялил колпак и убежал прочь; маршальша поднялась навстречу супругу, которого не видела три месяца.

— И ты, супруг мой, — сказала маршальша после того, как целый час выслушивала речи своего мужа, — ты тоже в ответе за эту процессию. Ты пойдешь в первых ее рядах, а мне велишь оставаться дома с королем и придворными и глядеть на триумфальное шествие? Ни за что!

— По нашим суровым временам, повторяю я, нам ничего не остается, как покориться силе вынуждающих обстоятельств; королю своему и долгу я не изменю, даже если сердце мое при этом истечет кровью.

Маршал подошел к жене и погладил рукой ее грудь.

— А тебе, что так молода и красива, следует покориться обстоятельствам, тем более что сии обстоятельства могли бы принести тебе пользу. Разве не сила обстоятельств посадила на трон руслагенского крестьянина, сын которого ныне привет нами? И, как потвоему, не настало ли время утвердить графские титулы помимо тех, что были розданы при коронации? Не думаешь ли ты, что графине жилось бы куда легче в хитросплетении жизни нашей, нежели маршальше?

— Сводник! — воскликнула маршальша и оттолкнула мужа. — Будь на свете закон и честь, ни дня не осталась бы я в этом доме тешить тебя, отряхнула бы прах с моих ног и отправилась куда глаза глядят...

— Позвольте вам сказать, дражайшая супруга, — перебил ее маршал, — не поминайте закон и право, ибо по закону я могу отослать вас прочь, когда мне вздумается, раз вы не изволили подарить мне наследника.

— А позвольте и мне сказать, — отвечала маршальша с пылающим взором, — ваши полубовницы принесли вам, верно, кучу детей, прежде чем вы надумали стать наследником моего отца,

¹ Да здравствует император, идущие на смерть приветствуют тебя! (лат.).

и потому не быть вам опекуном законного сына, ибо отцом вам уже никогда не стать.

— Извольте замолчать! Разговор окончен, я призываю вас исполнить свой долг!

Разговор был и в самом деле окончен, ибо маршал удалился, а маршалша пошла за ключами от своей шкатулки и сундуков.

Дворцовая церковь украшена почерневшими от дыма, окровавленными, изорванными знаменами. Приближенные короля, разодетые в бархат, шелк и парчу, сидят в мягких креслах и внимают нежным звукам скрипок итальянской капеллы, убаюкивающим души мечтами о богатстве, славе и могуществе. Но вот скрипки умолкают; двери распахиваются, входит король, и тотчас же раздаются громовые звуки органа, а голоса блистательных особ сливаются в «Te deum laudamus!» — «Тебя, господи, славим!». Тебя славим за то, что ты помог нам сжечь дотла дома ни в чем не повинных чад твоих, осмелившихся построить жилища, дабы защитить себя от ниспосланных тобой снега, холода и дождя. Тебя, господи, славим за то, что помог нам отнять у матерей сынов и отцов, изрубить их в куски, а тех, что выжили, сорвать с насиженных мест и погнать на шахты да соляные копи, чтоб они никогда более не увидели твоей зеленой травы и золотого солнца. Тебя, господи, славим за то, что не дал упасть волосу с головы поджигателя, уберечь спину убийцы от вражеских цепов!

Так переводили на свой лад звонкую латынь трое рыбаков в рыбацкой одежде на Стрёммене. А молодой рыбак, крепко державший парус, накренившийся над бочками с корюшкой, сказал: «Сейчас в копенгагенской церкви святой Марии, поди, славят того же самого бога за то, что он помог королю Фредерику сжечь вестгётов. Щедро сердце господне, и осыпает он дарами правого и виноватого».

Весла медленно поднялись, и поток понес лодку к дворцовой террасе, где были покои маршала двора. Тут рыбаки остановили лодку, привели парус к ветру и стали ждать.

На мосту Шепсбрун тоже замерла в ожидании толпа. Ведь после богослужения мимо пройдет триумфальное шествие, и с террасы будет глядеть на него король.

А когда церковная служба кончилась, скрипки снова заиграли, славя господя. Архиепископ благословил короля, назвал его избранныком божьим, и придворные прошли по двору; король появился на террасе и растроганно принял восторженные приветствия народа, выразившиеся в ликующих возгласах, махании шапками и шляпами. Маршалша, однако, сказалась больной и заявила, что не может принять высоких гостей, на что король ответил умильной усмешкой.

Гремят пушки, трубят трубы, бьют литавры, флаги всех кораблей в водах Стрёммена развеваются на ветру, солнце светит ослепительно, люди высыпали на крыши и машут зелеными ветками, словом, все, что может пробудить дремлющие чувства — налицо; и вот наконец показалось шествие.

Впереди, сопровождаемый герольдами и литавщиками, едет маршал двора, за ним следует отряд немецких рейтаров со знаменем, с венками из васильков и ромашек на шлемах — в память о затоптанных полях, за ними — офицеры верхом на лошадях с окровавленными знаменами и лавровыми венками на шлемах, следом за ними — брандмейстер, тот, что приказывал жечь дома, тоже в лавровом венке, за ним палач без венка, предшествуемый двумя шутами; а вот и предатель, истинный враг королевства, — хозяин Ингельстада, не пожелавший сжечь усадьбу друга; голова у него обвязана пучком соломы, с шеи свисает шелковая веревка, едет он на паршивой кобыленке, задом наперед, и шуты восхваляют его, дудя в берестяные рожки. Народ встречает его ликующими возгласами, а король улыбается. Толпе невдомек, в чем повинен этот человек, но королю все ведомо. А вот появились шведские кнехты с лавровыми венками на головах, после них — профосы и заплечных дел мастера, а следом — пленные. Их родина — прекрасный Блекинг — разорена, но ее с собой не возьмешь, а людей можно пригнать в качестве военных трофеев; правда, золота и серебра у них нет, но окровавленные сердца и израненные души ведь тоже сокровища; самое дорогое, что у них есть, они держат на руках или ведут за руки, однако дети не представляют ценности ни для кого, кроме родителей. Шествие замыкают кнехты и музыканты.

А наверху, на террасе, сидя в просторном кресле, взирает на блистательное шествие король; он и сам не прочь бы принять в нем участие, но у него свои причины не делать этого. Когда глаза его насыщаются великолепным зрелищем, взгляд его гаснет и останавливается. Придворные почтительно окружают его, но сквозь шелест ветерка в ветвях гранатового дерева слышится шепот.

- На него опять накатило! — шепчут за лавровыми кустами.
- Что это? Угрызения совести? — шепчут за померанцами.
- Пошлите за достопочтенным доктором!
- Либо за маршальшей!

Как раз в эту минуту мимо короля проходят пленные. И вдруг словно из-под земли раздается вопль, такой душераздирающий, такой пронзительный, что король приходит в себя и озирается. Что это? Кого-то пытаются в подземелье? Снова раздается крик, но теперь он похож на вой шенящейся суки, долгий, глухой, — устрашающая песня под мажорные звуки труб и литавр. Король поднимается с кресла и топает ногами по мраморному полу, словно ступает по горячей плите. Придворные в замешательстве посылают за маршалом, который уже воротился ко дворцу с головной частью шествия. Вой смолкает, король порывается уйти, но что-то словно держит его.

Наконец появляется маршал.

— Твоя жена невежлива, — говорит король.

— Разве ее здесь нет?

Маршал бросается в покои жены, видит пустые шкатулки и сундуки. Он тут же возвращается назад.

— Ее и там нету! — восклицает маршал, задыхаясь от волнения.

— Она сбежала, — объясняет король.

— И Менелая не было во время шествия, — добавляет маршал двора.

— Стало быть, он сбежал вместе с нею! Ну и вкус! Хороша же тварь!

— Тварь? — возмущается маршал. — Это она-то?

— Нет, он!

Маршал двора забывает о своем долге, сила гнетущих обстоятельств вынуждает его сделать угрожающий жест, после которого ему уже более не носить орден Христа Спасителя на шее и не держать в руке маршальского жезла.

— Убирайся домой и сажай капусту! — гневается король. — Да только уноси ноги побыстрее!

И король в сопровождении свиты удаляется в тронный зал, чтобы снова выслушивать речи об ужасах войны, сохранении мира и тому подобное.

А по Стрёммену мимо мельниц Данвикена в сторону Блокхусета плывет утлая рыбацкая лодчонка с одним-единственным парусом. У руля сидит Менелай, на дне лодки — его жена, во всяком случае, так он ее называет, а на носу лодки — маршалша, на всех на них — рыбацкая одежда.

— Бедная моя, милая сестрица, я не смогла взять ее с собой, — говорит маршалша.

— Что скажут о нас? О вас, госпожа маршалша, которая сбежала с шутом? — весело спрашивает шут.

— А кто может сказать, что я сбежала с шутом? — спрашивает маршалша.

— Верно, до этого дело не дойдет, — соглашается Менелай и сжимает руку жены. — Однако ветер крепчает, скоро мы будем в море; и, коли слух мне не изменяет, возле Шведских Курганов стоят датские корабли, а уж оттуда рукой подать до Копенгагена. Глядишь, как раз поспеем еще на один триумф да послушаем еще один «Te deum».

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ

В один из последних дней октября года тысяча шестьсот сорок восьмого на улицах маленького городка Линдау на Боденском озере царило великое оживление. Эта швабская Венеция, плавающая на трех островах у баварских берегов, вот уже долгое время была осаждена шведским фельдмаршалом Врангелем, который в последнее время выступал в союзе с французами, а в данную пору стоял укрепленным лагерем на холме возле селения Эшах. Переговоры о прекращении огня, длившиеся четыре года, не привели, однако, к перемирию, но штурм Праги Кенигсмарком ускорил переговоры

в Оснабрюке и Мюнстере, и слухи о скором замирении уже достигли Швабии.

Линдау терпел ужасы осады уже несколько месяцев; и вот на исходе вышеуказанного дня, после того как пушечная пальба из Эшаха прекратилась, бургомистр воротился из своего тайного убежища в Брегенце и, коль скоро ратуша была разрушена, отправился на постоянный двор «Zug Krone»¹ в надежде встретить кого-нибудь из знакомых, кто не был бы в тот момент у крепостных стен. Не найдя на постоялом дворе ни души, он в довольно удрученном расположении духа вышел на террасу поглядеть на город и попытаться разгадать, что замышляет швед в лагере на другом берегу.

Блестящая гладь Боденского озера отражала снежные вершины Хое-Сентиса, высящиеся над Санкт-Галленом, на западе виднелись дымчато-синие, словно вечерние облака, леса Шварцвальда, а на юге меж Форарльбергом и Ретиконом извивался Рейн, покуда его желтые от глины струи не сливались с сине-зелеными волнами озера. Однако бургомистру сейчас было не до этих красот; последние восемь дней он терпел невыносимые муки голода и вот уже более месяца страдал от всяких других бедствий, душевных мук и борьбы с самим собою. Он видел лишь, как внизу, на набережной, добродушный баварец препирался с задирой французбергцем и живчиком из Бадена, как народ валом валил во францисканский собор, чтоб получить отпущение грехов. А у самой воды кучка людей не сводила глаз с озера, следя за тем, как слабое течение гонит к берегу несколько бочек. Собравшиеся на берегу пытались вытянуть их на берег баграми и канатами.

— Что вы там делаете, люди добрые? — крикнул им бургомистр с террасы.

— Это дар честных швейцарцев из Санкт-Галлена! — отвечал один из них.

— Бочки ждали западного ветра, чтобы приплыть из Романсхорна, в них, поди, вино или брага, — подхватил другой.

Бургомистр ушел с террасы внутрь постоянного двора и уселся в ожидании исхода этой ловли.

На неподвижном с первого взгляда лице баварца можно было прочесть озабоченность, глубокую печаль и досаду. Его здоровенный кулак, упиравшийся в дубовую столешницу, то сжимался, то разжимался, словно взвешивал — отдавать или удержать; нога, пальцы которой, казалось, стремились разорвать ботфорты оленьей кожи, стучала по неметеному полу, поднимая облако пыли, подымавшейся к потолку, словно табачный дым из трубки. Душевное смятение мешало ему сидеть спокойно. Стукнув шпагой по полу, он вынул из сумки кардуановой кожи с серебряным гербом города огромные ключи и принялся поворачивать их в воображаемой замочной скважине, словно пытался запереть дверь так, чтобы ее никогда более не смогли открыть. Потом он поднес ключи ко рту и просвистел

¹ «Под короной» (нем.).

сигнал сбора — научиться этому у него было довольно времени, покада длилась осада с отбитыми атаками и неудавшимися вылазками.

И тут на лестнице громко застучали сапоги, послышалось бряцание оружия. Бургомистр мгновенно сунул ключи в сумку, застегнул ее и передвинул ремень так, чтобы сумка висела за спиной. Потом принял позу, будто знал, кто покажется в дверях, и приготовился к обороне.

— Да пребудет с вами божья благодать, господин плац-майор, — приветствовал он вошедшего офицера, который швырнул на скамью изодранную шляпу с почерневшим от дыма султаном.

— С возвращением, господин бургомистр, — отвечал майор, усевшись по другую сторону стола.

Наступило долгое, напряженное молчание, казалось, оба воина замерли, готовясь застрелить друг друга. Наконец майор нарушил тишину, резко бросив:

— Что сказали жители Брегенца?

— Ни мешка муки, ни бочки браги, покада город не отдаст ключи.

— И что же?

— И что же? — с угрозой повторил бургомистр.

— Стало быть, вы не изволите отдать ключи?

— Нет, тысячу раз нет, миллион раз нет! — прогремел бургомистр и, побагровев, вскочил со стула.

— Знаете ли вы, — произнес майор, — что с тех пор, как швед захватил кладбище в Эшахе, трупы погибших отравляют город?

— Знаю!

— Знаете ли вы, что в городе съели всех лошадей и собак?

— Знаю! Я даже знаю, что первой лишилась жизни моя Пакка, верный мой друг вот уже двадцать лет, с тех самых пор, как я потерял жену и детей.

— Знаете ли вы, что вода в озере поднялась так высоко, что погреба затопило, и горожанам не укрыться в них, если опять начнут палить пушки?

— Знаю! — был ответ.

— Знаете ли вы, что на холмах вокруг Хойерберга, Шахтена и Айсбюля поспел виноград и швед с французом накупились на виноградники словно саранча?

— Знаю. А знаете ли вы, что мир может быть заключен уже сегодня, не исключено, что он уже заключен, и если мы еще хоть один день помедлим с капитуляцией, то спасем свою честь?

— Еще день, — подхватил майор. — Еще один день! Мы твердим это уже три месяца кряду, а тем временем умирают наши дети. Вам, верно, не ведомо, что у коров пропало молоко оттого, что они едят мох с крыш, листья с деревьев, помет в конюшнях, вылизывают мешки из-под муки, а дети кричат и просят молока!

— Дети! Вы говорите мне о детях? Мне, у которого единственную дочь изнасиловали до смерти на глазах у матери. Тогда я тщетно молил о помощи. Ни к чему, пустая болтовня. К черту детей!

Почему вы не переправили их через озеро до того, как швед спустил свои плоты на воду?

— Вы дикий зверь, бургомистр, а не человек. Может, вам угодно, чтоб детей завязали в мешки и утопили либо съели, как в Богемии в ту пору, когда там разбойничал Фридланд?

— Да, за эти тридцать лет убийств, поджогов, грабежей и насилий мы стали дикими зверями среди диких зверей. Покуда был жив шведский король, что вел за собой солдат, это еще можно было называть войною, а без него они стали поджигателями, разбойниками, ирокезами, которые разоряют ради разорения; они гунны, готы, вандалы, разрушившие от злости то, что сами не могли создать...

Донесшийся с улицы крик помешал майору ответить и выманил споривших на террасу. У только что вытасненных на берег бочек столпились виноторговцы, они выбили днища, и содержимое бочек потекло на улицу.

— Что это там? — крикнул майор.

— Да всего лишь молоко, которое скаредные швейцарцы прислали нам вместо вина, — ответили снизу.

Подошла женщина с младенцем на руках; увидев текущий по улице белый поток, она издала ужасающий вопль и опустила младенца на камни мостовой, чтобы дать ему напиток. На ее крик сбегались и другие матери — жадно обхватив ручонками камни мостовой, словно материнскую грудь, малютки, как голодные поросята, принялись лакать молоко, а матери сыпали проклятья на головы жестокосердных мужчин, которым нет дела ни до кого, кроме самих себя.

— Господин бургомистр! — воскликнул майор, еще более взволнованный этой безобразной сценой. — Давайте поднимемся на крышу и посмотрим, что делает швед, а спор наш продолжим после. Как видите, все устои рушатся: один берет то, что другой не властен удержать, семья распадается, молодые живут как им вздумается; того и гляди, начнется мятеж...

Бургомистр, не слушая, начал подниматься по чердачной лестнице, потом вылез через слуховое окно меж стропилами на ступенчатый выступ щипцовой стены, а оттуда забрался на конек крыши, увенчанный флагштоком, к которому была прилажена подзорная труба. Внизу лежал разрушенный город. Не уцелело ни одной крыши, ни одного старого дерева: все пошло на корм скоту да на топливо; все дома на берегу озера были снесены, и на их месте сооружены оборонительные валы. По улицам брели оборванные, голодные, грязные люди, должно быть, они шли к постоялому двору, вокруг которого уже начала собираться толпа.

Бургомистр приложил глаз к трубе, направленной в сторону берега. Перед ним простиралась гряда холмов, а на них — маленькие крестьянские домики с островерхими крышами, опустошенные яблоневые сады и виноградники. На склонах возле Эшаха, где расположился шведский штаб, вокруг сине-желтых походных знамен царило необычное оживление, а возле пушек, которые бургомистр успел хорошо узнать за долгую осаду, суетились кнехты.

Он даже дал имена каждой из самых злых бестий батареи первого вала. Вот здоровенная дура из красной меди, которую он окрестил Рыжей Собакой, она недавно разбила цветные стекла в городской церкви. Грубая мортира, та, что слева, получила прозвание Грохотуха, как начнет изрыгать ядра — чистый шпигат. Третью, которую он титуловал Чертовой Мамой, была, по слухам, из шведской стали и избрал ее сам король. И тому подобное. А сразу за оборонительным валом, на одной из садовых террас, он увидел фельдмаршала, пившего со своими офицерами Zeewein — вино из выращенного и выжатого баварцами винограда, которое они по безрассудству своему оставили в погребах на том берегу. Попивая вино и покуривая трубку, знатные господа разглядывали какой-то лист бумаги, вроде бы не похожий на картину, он напомнил бургомистру про разговоры о том, будто Врангель вознамерился было перевезти баварский дворец Ашаффенбург к себе в имение на берегу озера в Швеции, а когда это не удалось, вывез оттуда всю мебель, утварь и раритеты, приказав архитектору в точности срисовать дворец.

При виде вина и табака в бургомистре на мгновение пробудились низменные чувства, столь долго им подавляемые, но их тотчас же сменили ненависть и гнев, копившиеся в нем целые десятилетия. Для тех, кто лишен еды и питья, у кого нет больше близких, остается лишь одно — честь; и он поклялся у трупа дочери, которую он убил собственными руками, чтоб она не нарожала дьяволят из дьявольских яиц (а тайну эту, объясняющую его упрямство, он не мог открыть), что не отдаст ключей от города, куда жив.

Вот из жерла Рыжей Собаки вырвалось облачко дыма, и тут же что-то просвистело у него над головой, а потом с грохотом упало на набережную под многоголосые крики толпы.

— Ключи, бургомистр, или мы пропали! — воскликнул майор, стоя у подножья лестницы.

— Ваше место на бастионе, господин майор, ступайте туда, не то будете повешены! — отвечал бургомистр.

— Отдайте ключи! Или мы возьмем их силой! — прорычал майор.

— Только попробуйте!

Тут в чердачном окне показалось несколько голов, и на бургомистра посыпались угрозы.

— Спускайтесь вниз, в нас целятся! — приказал бургомистр людям, пытавшимся вскарабкаться на стену, чтобы привести свои угрозы в исполнение.

Мгновение спустя флагштока как не бывало — его разнесло в щепки, словно сухое полено топором, а щепки исчезли вместе с ядром, пробившим крышу.

Бургомистр пошатнулся и, верно, упал бы, если бы не оперся о свой большой меч.

Он выпрямился и застыл на верхнем уступе стены, словно статуя из известняка на кафедральном соборе. Горожане, за минуту до того приветствовавшие своего отважного бургомистра криками «ура»,

вновь пошли на него в атаку, требуя отдать им ключи, без которых нельзя было сдать город по всей форме.

Используя поддержку недовольных, майор решил в последний раз попытаться переубедить непреклонного бургомистра. Поднявшись по шаткой лестнице, он выхватил меч и призвал бургомистра либо спуститься вниз, либо защищаться на том месте, где тот стоит.

Однако майор сразу понял, что занятая бургомистром позиция неприступна и ему не удастся заставить его покинуть ее, он повернулся к стоявшим внизу и трижды спросил, согласны ли они сломать ворота и поднять белый флаг.

Когда в ответ раздалось дружное «да», он спустился вниз тем же путем, каким поднялся, и в сопровождении толпы направился к бастионам.

Оставшись один, бургомистр тоскливо понурился, сознавая, что нет никакой надежды спасти город, но тотчас, словно приняв какое-то решение, выпрямился.

Дрожащими руками он открыл сумку, вынул огромные ключи и, осенив себя крестным знаменем, швырнул их далеко в море. Когда ключи исчезли в глубине, он упал на колени, сложил руки и стал шептать про себя слова молитвы.

В эту минуту ему больше всего хотелось бы оглохнуть, но, обращая свои молитвы к господу и пресвятой деве, он все время слышал удары топора о городские ворота, через которые войдет в город враг, чтобы грабить и осквернять, вешать и жечь. Закончив молитву, он с удивлением заметил, что канонада смолкла и в городе воцарилась тишина. Из-за крепостных стен доносился, однако, слабый гул, точно все говорили разом; гул нарастал, сменился шумом, а затем ликующими возгласами.

Он поднялся с колен и сразу же увидел белый флаг, развевавшийся над шведским штабом. Потом оттуда донесся звук трубы и барабанная дробь, а с оборонительных валов Линдау им ответили тем же. А вот снова раздался удары топора по воротам. От шведского лагеря отчалил бот. На том берегу зазвучала военная музыка. И тут по улицам понеслись крики; сперва неясные, словно шум волн, бьющихся о скалы, шум без смысла, возгласы без значения. Но вот крики стали приближаться, и теперь уже можно было различить слово «заключен», однако бургомистр все еще не понимал, о чем идет речь — о капитуляции или о чем-нибудь другом.

И наконец толпа высыпала на набережную, и, размахивая шляпами и шапками, горожане стали приветствовать своего храброго бургомистра. И тогда он отчетливо различил слова: «Мир заключен».

«Te deum laudamus!»¹ пели вечером во францисканском соборе, а горожане тем временем напивались допьяна у винных бочек, привезенных на берег из окрестных деревень.

¹ Тебя, господи, славим! (*лат.*).

После окончания мессы бургомистр и майор сидели на постоялом дворе «Zug Krone» за кувшином Zeewein.

А посреди зала из потолочной балки торчало пушечное ядро, сломавшее флагшток и пробившее крышу и потолок.

Бургомистр глядел на темный шар, зубчатые края которого походили на луну, проглядывавшую сквозь разорванные бурей тучи, и улыбался впервые за десять лет. Вдруг он вскочил с таким видом, словно совершил что-то худое.

— Последний выстрел, — воскликнул бургомистр. — Как же он далек от того первого выстрела в Праге, а ведь времени прошло всего с жизнь человеческую! С тех пор Богемия потеряла два миллиона жизней из трех, а в Рейнпфальце осталась в живых лишь пятая часть жителей; Саксония потеряла один миллион из двух; Аугсбург насчитывает не более восемнадцати из своих восьмидесяти тысяч. А в нашей многострадальной Баварии в дыму и огне исчезла сотня деревень. Гессен недосчитался семнадцати городов, сорока семи замков и четырехсот деревень. И все из-за Аугсбургской конфессии! Во имя Аугсбургского причастия немцев превратили в варваров, Германию разорвали на части, не дали ей дышать, задушили, погубили. *Finis Germanie!*¹

— Тому виной никак не Аугсбургское причастие! — возразил майор. — Вы только послушайте, француз в шведском лагере служит мессу, как и подобает доброму католику; и вы еще говорите, что война началась из-за Лютера и папы! Нет, тут дело в чем-то другом!

— Да, верно, в чем-то другом! — отвечал бургомистр и, осушив бокал, отправился домой, чтобы спокойно уснуть — в первый раз за тридцать лет... тридцать долгих и страшных лет!

НОЧНОЕ БДЕНИЕ

— Чмок! Будто камень шлепнулся в грязь. И пришел конец великой жизни, скончался Двенадцатый Карл! Господи, спаси и помилуй.

Так лейтенант Карлберг в десятый раз описывал это печальное событие лейб-медику Нойману в крестьянском доме в Тистедален, где они — двое верных королевских слуг — несли почетный караул.

— А генерал Мерге и говорит: «*La pièce est finie. Allons souper!*»² — пробормотал лейб-медик. — Вот именно! *Allons souper!* Теперь посмотрим, кто будет платить за музыку. Сто тысяч талеров серебряной монетой от Гёрца, что вчера поступили в военную кассу, наследный принц раздал высшим офицерам. Дело за ними. А они не станут сидеть сложа руки!

¹ Конец Германии! (лат.).

² Спектакль окончен. Пошли ужинать! (фр.).

Заслышав конский топот, лейб-медик встал, взял свечу и вышел в сени, точно желая кого-то встретить. На дворе тьма была кромешная; снег, ложась на раскисшую землю, тут же чернел. Но вдали над бором край неба, казалось, был озарен северным сиянием. То ликующий враг жег костры на холмах Фредрикстена.

Топот приблизился, и мимо пронеслись, неподвижные на фоне мелькавших конских ног, желтые курьерские лосины. Плетка щелкала, как пистолет.

— От наследного принца в Стокгольм! — пробурчал лейб-медик лейтенанту, который стоял в сенях за его спиной.

Снова застучали копыта, звякнула шпага, мелькнула и скрылась кожаная сумка на голубой шинели с желтыми пуговицами.

— Бьюсь об заклад, это Гольштейнец — спешит в Уддеваллу! Сейчас следом поскачет еще кто-нибудь, как пить дать! Ну вот! Да не один!

Три развевающихся черных плаща, словно паруса, пролетели мимо; трижды две телохранительских шпаги промелькнули следом.

— Гусары смерти, в Стрёмстад спешат, за Гёрцем, не будь я Нойман. Кто-то должен умереть за народ, им мало Его — на Него они не посмели руку поднять, даже прах тронуть не смеют. А разве это справедливо? Да-а, немало мы повидали и еще того больше увидим! Такие времена наступают, лейтенант Карлберг, такие времена...

— Всегда наступали какие-то времена, господин лейб-медик, и всегда стремились воскрешать мертвых, сколько бы их ни поносили при жизни. Но только на сей раз как бы...

— Что такое! — Лейб-медик повысил голос, но тут же приумолк, словно передумал.

Он прикрыл рукой пламя свечи и возвратился в комнату. Лейтенант Карлберг вошел следом, готовясь к неизбежному, судя по всему, спору.

Однако, вместо того чтобы остаться в первой комнате, где они несли караул, лейб-медик Нойман открыл следующую дверь, и на цыпочках, словно боясь разбудить спящего, оба переступили порог второй комнаты.

Освещенная четырьмя оплывшими свечами, каморка, казалось, парила в полумраке. Сквозь облако копоти виднелись на гладких стенах скверные гравюры: пылкий, одухотворенный лик царя Петра и рядом пучеглазое, с чувственным подбородком, одутловатое лицо короля Августа. Они висели над лавкой, на которой лежала длинная унтер-офицерская шпага.

Лейб-медик снял нагар; стали видны длинные носилки, покрытые синим плащом, из-под которого торчали стоптанные кавалерийские сапоги со следами наскоро стертой глины.

По мере того как глаза привыкали к освещению, под мокрым плащом начинала вырисовываться фигура коротконового человека с острыми коленками, широкими бедрами, узкими покатыми плечами и большим носом, приподнявшим плащ так, что с трудом угадывалась линия необычно высокого лба.

Стоящий в комнате затхлый запах сырой кожи, запекшейся крови и нашатыря напоминал о бренности и недолговечности всего сущего и умерил разгоревшиеся было страсти.

Лейб-медик хотел было сесть на лавку, но при виде королевской шпаги раздумал, словно она ему напомнила, что в присутствии короля не сидят. Он остановился в нерешительности, как бы ожидая распоряжения или дозволения выйти; глаза его были устремлены на тело под темным плащом.

— Господи Иисусе, он шевелится! — послышался приглушенный голос лейтенанта за спиной хирурга, и в тот же миг Карлберг отпрянул — с расширившимися зрачками наблюдал он своеобразное явление: покойник, казалось, потянулся — на самом деле просто ослабли перед полным оконечением связки и сухожилия.

— Суставы подались, только и всего, — объяснил лейб-медик. — Знать, к утру подморозит... Он мертв, уж это точно! И не думаю, — он слегка замялся, — не думаю, чтобы он бродил после смерти. Ему никогда не было предзнаменований, если не считать одного раза...

— Вы бы все-таки проверили! — попросил лейтенант, и в его голосе зазвучало опасение, что покойник может подняться с носилок. — Я, правда, сам был в траншее в момент рокового выстрела, и мы оба видели, куда попала пуля, но ведь известны примеры, когда...

— Ну, нет, сударь, я еще ни разу не видел, чтобы пуля пробила висок, а человек остался жив! — подвел итог хирург, но тем не менее вышел из каморки.

— Не простой был человек, что верно, то верно, — заговорил он погодя, уже лежа в постели и борясь со сном. — Воистину похоже, будто душевные качества, добродетели и пороки свободно передаются субстратам материи. Древние египтяне называли это метемпсихозом, сиречь переселением душ; мы подчас говорим об унаследованных задатках... хотя сколь часто по свойственному природе *lex contradictionis*, сиречь закону противоречия, отрицательные качества сменяются положительными... Разве его дед, Десятый Карл, не был пьяницей, бабником и буяном? Но Карл Десятый породил трезвенника и женоненавистника Карла Одиннадцатого... — вот уже противоречие, однако от буяна что-то осталось, хотя великий эконоом государства показал себя скаредом сверх всякой меры. Дальше: Карл Одиннадцатый породил Карла Двенадцатого. Природа сохранила качества женоненавистника и трезвенника, но тряхнула стариной и полностью возродила буяна, по образцу деда, однако заодно похерила скупердяя, тем самым ударилась в новую крайность и создала мота... Уж он посорил деньгами... Господи Иисусе, в Тимурташе... М-да-а! «Но что за черт, — изрекла тут природа, — сотворила молодца, а теперь так и клонит ко сну, будто после *Weischlaf*¹, никакой охоты дальше трудиться». *Natura nunquam perfectrix*, говорит Аристотель, природа ни в чем не достигает совершенства. Три поколения понадобилось ей, чтобы замесить

¹ Любовные утехы (нем.).

нечто большое, настолько большое, что даже не хватило теста. Истинно говорю, не хватило, ибо коли вдуматься, то и у этого исполина было уязвимое место в самом *nodus vitalis*, сиречь узле жизни. Такое же уязвимое, как у великого деда Фредрика Третьего в Дании — родственное сходство, заметьте! Властный был господин, хитрый и суеверный, в одно и то же время сильный и слабый, мудрый и недалёковидный. А вот наш герой: на людях храбрый, как лев, но придет беда — и он ночью не может спать один! Ищет, кто бы приласкал, а нет никого — на худой конец хоть к старику Питеру под бок заберется; потом — молитвы читать... И подумать только: другими распоряжался как хотел, а с собой справиться не мог. Разве это сила — позволил москвитянину хозяйничать в Прибалтике, а сам тем временем едва не сгубил и себя и нас в Польше? Нет, то были *tetanus*, сиречь судороги... И в Турции то же. Чего ради мы туда полезли?.. Слабость, сударь, слабость! А когда он не посмел возвратиться в Стокгольм? Трусость, самая настоящая трусость, она его и сгубила. Да еще то, что он все возложил на Герца... А уж тому теперь не сладко придется — за все отдуваться! Да, слабость, и изрядная!

— И все же он был герой, разрази меня гром! — воскликнул лейтенант, не в силах больше сдерживаться.

— Герой — на поле брани! *Ganz recht*¹, лейтенант Карлберг. Может статься, он был больше генералом, чем солдатом, — в этом я не разбираюсь. Его достоинства мы, пожалуй, знали, а на пороки до сего времени закрывали глаза, вот и потолкуем о них ныне, когда нас никто не слышит; ибо, хоть я и потрошу трупы, восхвалять их я не намерен. Итак, я говорил, что в нем какая-то слабость. Вырождение всегда дает себя знать, когда угасает род. Разве не общеизвестно, что отец его испытывал отвращение к законной супруге! Вот и сказалось на потомстве. Весь потенциал отца, и даже с лишком, на нашего короля ушел. Правда, сестра его, Хедвиг София, сочеталась браком, но ведь уродом на свет явилась, да, да, ибо в ее сложении есть изъян, пусть маленький, а все же изъян. Вам-то это, может, и неизвестно, но ведь у нее раздвоены большие пальцы. И сына она родила хилого, с пороком речи; говорили даже, он все равно что немой. А наша милостивая государыня Ульрика-Элеонора? *Unter uns*², она не наделена тем обилием духовных качеств, коего обычно ожидаешь у столь выдающихся особ...

— Превосходно сказано!

— Одним словом, если ко всему еще присовокупить упорное нежелание нашего милостивого господина и короля даровать стране наследника престола, то и выходит, что некая таинственная сила позаботилась о том, чтобы пришел конец этому роду. Природа исполнила свое и утомилась. Ей надоели Карлы — и Карлов не стало!.. Нет, никак не скажешь, что природа в лице нашего милостивого господина и короля создала шедевр! Крупно, да грубовато!

¹ Совершенно верно (*нем.*).

² Между нами (*нем.*).

Никакого изящества. Подумать только, рука, что столь уверенно орудовала шпагой, не могла вести легкое перышко по гладкой бумаге... Тут механизм отказывал, перо спотыкалось и ковыляло так, будто при виде белого поля государю вдруг делалось дурно. Он и сам жаловался, что от писания у него кружится голова. Да разве только в руке дело? А мысли? Им бы шагать стройными колоннами, а они подставляли друг другу ножку и наступали на пятки... Читал я однажды его письмо сестре, кое он просил меня выправить, так слова будто в кучу свалены и перепутаны, будто взял и вывалил из мозгов... что попало — без всякого лада и склада, а уж об изяществе и речи нет! А его нелюбовь к чистым чулкам... Тьфу! Свинья свиной, уж нам-то ведомо, и хватит об этом.

— Черт дери, что за мелочность, лейб-медик! Вот уж никогда от вас не ждал, — перебил лейтенант и бросил взгляд на свои рваные сапоги. — Раздвоенные пальцы, грязные чулки — при чем это тут?!

— Très bien ¹, лейтенант Карлберг, я, собственно, обращался не к вам, ибо тогда я, благодаря моей несравненной способности опускаться до уровня собеседника, говорил бы иначе... Будем драться, если пожелаете, но завтра, а не нынче ночью! Я вас обидел несправедливым подозрением, будто вы человек, способный оценить красоту и привлекательность жизненных мелочей, и мне в полудремоте чудилось, что мелкие штрихи могут нанести ущерб лишь той картине, коя лишена ярких красок. («Не дошло до него, не дошло!» — шепнул про себя лейб-медик.) Но коли вам угодно, я поведаю о крупных пороках нашего героя, ибо сегодня ночью я должен говорить, должен выговориться, изгнать духа, столько лет угнетавшего меня, высказать то, о чем долго, очень долго размышлял втайне, ибо не смел думать вслух, изгнать духа, который — именно потому, что мы не смели говорить, — так и не узнал, каков он... А коли вы и после того пожелаете завтра драться со мной — я к вашим услугам! Я был под Полтавой, я участвовал во многих славных делах, еще когда вас не было на свете. И ни одного часа, с тех самых пор, как я в одна тысяча семьсот третьем году попал на королевскую службу, моя душа не принадлежала мне, нет, она была собственностью самодержца, как и моя служба, мой хлеб, моя жизнь. Вот почему я ныне чувствую себя так, словно вышел на волю из глухого каземата, я вновь дышу, я обрел старого друга — свое сокровенное я, что таилось подо мхом, под снегом, под камнями. Я любил этого человека, как пес любит своего господина, который дал ему кров и пищу, и я его ненавидел, как пес — господина, коему подчинил свою волю и отдал свою свободу. Так выслушайте же мои мысли о великом человеке... Мы будем драться завтра, лейтенант Карлберг, но не нынче ночью! Да не робейте так, это всего лишь крысы пляшут в каморке!

— Видите ли, — начал лейб-медик свою страстную речь, — иной великий человек что свеча: поставь ее на высокий стол — и все

¹ Хорошо (*фр.*).

увидят ее пламя, убери под стол — и света не будет, хоть бы она горела так же ярко, как прежде. Другими словами: посади на трон осла, и он — если только это не самый паршивый осел — окажется выдающейся личностью. *Vien!* Редкие правители были столь невежественны, сколь наш покойный король. Он мало что знал о государственном правлении и устройстве общества и ровно ничего — о своем времени и тайных могущественных силах, кои творят историю. Вся жизнь его была цепью ошибок, промахов, нелепостей...

— Да, черт дери, завтра мы будем драться, лейб-медик Нойман! — перебил его лейтенант. — А теперь продолжайте, вы очень забавны, разрази меня гром.

— Но этому, как всему на свете, можно найти причины, и, перечисляя их, я невольно начну его оправдывать!.. Я из немцев, немцем был и наш король, ибо он из Пфальцской династии, а она никогда не была шведской. Одна его бабка — Гедвига Элеонора Гольштейн-Готторпская, другая — София Амалия Брауншвейг-Люнебургская, а мать его, Ульрика-Элеонора, была дочерью упомянутой Софии и ольденбургца Фредрика Третьего.

— Тысяча чертей и одна ведьма! Как — Карл Двенадцатый был немец?

— Это уж точно, так же точно, как то, что сам основатель рода Иоганн Казимир был женат на дочери Карла Девятого, Марии Пфальцской. Конечно, лейтенант Карлберг, недаром говорят, что за семенами надо идти к соседу, но Ольденбурги и Пфальцы сами были не лучшей породы. К тому же случается, когда семена берешь издалека, урожай забивает сорняк, ибо не лучшие снаряжаются в самый дальний путь. Густав Первый начал с Катарины Саксен-Лауэнбургской и был награжден придурковатым Эриком, когда же он подарил своим вниманием свой род и взял жену из Лейонхувудов, то на свет явились десять проворных молодцов и девиц, и никто не сетовал на гражданские войны и кумовство. Но отдадим справедливость нашему герою: было в его повадках и немало шведского. Небось лейтенант не знает, что отличает шведа. Так слушайте. Когда племена еще только кочевали по свету в поисках лучших земель и началась драка из-за долин и морских берегов — короче, из-за наиболее благодатных краев, — самые слабые были оттеснены на север, а все лакомые кусочки достались наиболее одаренным. Одним словом, чем дальше на север, тем паршивей народ. Подобно тому, как наш земной шар ведает лишь один источник тепла — солнце, так у европейцев было одно средоточие просвещения: Эллада, затем Рим, затем Париж. А поскольку тепло распространяется обратно пропорционально квадрату расстояния, то оно — будь то тепло материальное или духовное — в последнюю очередь и в меньшем количестве достигает полярных областей, потому-то в северных странах дух коченел и отставал в развитии. И поэтому на севере долго сохранялось племя варваров. Когда же на юге возникли цветущие государства, норманны и викинги вырвались из своих берлог и грабили, подобно дикарям. Их именовали то готами, то лангобардами, то свеями, то солдатами Тридцатилетней войны,

а теперь, в последнее время, молодцами Карла Двенадцатого. Вот почему Карл Двенадцатый самый шведский из всех королей. Склонность всякого одинокого, отверженного и униженного человека переоценивать самого себя сочеталась в нем с потребностью играть роль, что присуще любой несамостоятельной личности. Ведомо ли лейтенанту, какую роль сам себе избрал Карл Двенадцатый? Нет? Вот, взгляните на книгу, которую я сейчас обнаружил в его заднем кармане. Курций, «De rebus gestis Alexandri Magni» — сиречь «История подвигов Александра Великого». Посредственный историк написал об Александре так, как, вероятно, много веков будут писать о Карле Двенадцатом. Между тем именно в этом образе наш герой мечтал явиться Европе. В образе, устаревшем на четырнадцать столетий. Вот вам несколько параллелей, пусть не все они одинаково убедительны... Когда родился Александр, сгорел Эфесский храм. Когда Карл Двенадцатый стал совершеннолетним, горел Стокгольмский дворец. Подобно Карлу Двенадцатому, Александр рано обнаружил гордость и честолюбие, он не хотел участвовать в Олимпийских играх, ибо среди соперников не было королей; расточал свое состояние, щедро тратился на друзей; разрубил гордые узлы, когда не смог его распутать; завоевал много стран, коими был не в силах править; и вечное бельмо на глазу — персы, как у второго, впоследствии, — русские. Впрочем, Дария можно назвать не только Петром, но и Августом. Зато конь Брандклиппар звался по-гречески Буцефалом, а турки могли быть персами, коих Александр, когда была нужда, не гнушался брать в союзники; назовем Бесса Мазепой, а Вавилон либо Дрезденом, либо Москвой; реку Гипастис — Полтавой; и оба героя погибли в тридцать с небольшим — одному было тридцать три, другому — тридцать пять. И так далее и тому подобное.

Но есть между сими героями и отличие, помимо распутивства Македонца, — а именно: Александр выступал как ученик Аристотеля, сеющий просвещение среди варваров, меж тем как наш безбородый Лангобард шел лишь в самые обыкновенные грабительские походы и, в конце концов, не погнушался призвать под свои знамена собаку турка и снова затащить в Европу эту шваль, которую уже однажды с таким трудом изгнали оттуда.

Видите ли, лейтенант Карлберг, когда в Европе начали возделывать землю, поселения сосредоточились по берегам внутреннего моря, в расчете на водные пути, поскольку сухопутных дорог не существовало. Потому просвещение и зародилось на Средиземном море, затем распространилось вдоль побережья — в Испанию и Францию, в то время когда Германия была еще лесной чащей. Швеция и Дания соперничали, кому превратить Балтику в Средиземное море Севера, и посему вечно дрались из-за господства над приморьем. Когда умер Карл Одиннадцатый, берега Швеции омывали три моря, и она могла быть довольна. Ни один из врагов, позже бросивших вызов Карлу Двенадцатому, не угрожал тогда естественным границам страны. Дания стремилась округлить свои земли и добивалась Гольштейн-Готторпа, но сие не затрагивало

интересов Швеции; и вспомните, лейтенант, в тот раз лишь помощь англичан, голландцев и ганноверцев позволила Карлу Двенадцатому разбить датчан — невелика слава. Саксония стремилась завоевать Ригу, чтобы получить выход к морю. Но ведь это было только справедливо, и желание царя Петра занять Ингерманландию также было естественно. Но Карл Двенадцатый з а б ы л , — а вернее, никогда не понимал, ибо не получил образования, — что не было нужды охранять границы Польши от орд с востока, коль скоро сама Россия, цивилизованная Михаилом и Алексеем, взяла это на себя; и ненависть Карла к стоящему во всех отношениях выше его Петру настолько не обоснована ни политикой, ни историей, что ее сугубо личный характер был совершенно ясен и до того, как он, свершив свое самое тяжкое преступление, окончательно разоблачил с е б я , — призвал турка себе на помощь против изживающей остатки дикости России, каковая как раз складывалась в европейское государство во главе с царем, носившим титул доктора Оксфордского университета и члена Французской академии. Дикарем оказался Карл, превративший свои владения в пастбище, меж тем как Москвитянин свои земли распахивал.

Прибалтика не нуждалась в шведах для защиты от монголов, посему Швеция исторически закономерно утратила Прибалтийские провинции; Швеции нечего было делать ни в Польше, ни в Гольштейн-Готторпе — посему ее выдворили оттуда; Карл Двенадцатый был привидением, восставшим из гуннских могил, готом, который способен был снова сжечь Рим, Дон-Кихотом, который освобождал невольников, а сам в то же время заковывал в цепи своих подданных; и если бы пуля вечор не прилетела с запада, то рано или поздно прилетела бы с востока, а впрочем, сам черт не ведает, откуда она прилетела.

Тут лейтенант вскочил точно ошпаренный:

— Вот именно, лейб-медик. Откуда она прилетела? В самом деле — откуда?

— Может быть, у лейтенанта Карлберга есть на этот счет подозрения? — спросил хирург, бросив на лейтенанта взгляд, острый как скальпель.

— Нет! Никаких! — кратко и решительно ответил лейтенант.

— В таком случае скажу о д н о , — заключил хирург. — Пусть даже пуля прилетела не оттуда, но следовало бы — оттуда.

— Довольно, тысяча чертей, сейчас мы будем пить! — воскликнул лейтенант и достал из своей сумки бутылку.

— Как! Разве мы не будем сперва драться, лейтенант?

— Нет, костоправ! Мы никогда не будем драться. Вы мастер потрошить покойников; вы так расправились с тем Александром, что и сам турок бы позавидовал. Вот вам моя рука, и спасибо, что не мне пришлось столько работать языком!

— Бездельник, заставил меня себе голову морочить! Выпьем за старую Швецию — и за новую!

— Король умер! Да здравствует королева!

— Либо ландграф!

— Только не герцог!

— А лучше всего — свобода!

В доме, где лежал покойник, все еще звучали полупьяные голоса, когда серо-желтое декабрьское утро занялось над пушками и обрезами, катившими по расплюсненному кучкам грязи, еще недавно бывшими рядовыми Ёнчёпингского полка и лейб-полка, по странному месиву из внутренностей и тряпья, где приковывали взор то башмак со ступней, то перчатка с двумя-тремя пальцами, то ухо с прядью волос... Из долины, ведущей к границе, доносился скрежет лафетов, цокот копыт, тяжелый шаг пехоты, а через рвы, поля и утесы мчались курьеры — началась борьба за наследство короля: за народ и страну.

СВЯЩЕННЫЙ БЫК, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ЛЖИ

В краю фараонов, где хлеб доставался дорого, а на ниве религии наблюдалось неслыханное изобилие, где священо было все, кроме податного сословия, где священный навозный жук под священным покровительством святой религии скатывал свои священные навозные шарики, — в этом краю в один прекрасный день, после того как священный Нил уже отхлынул, оставив у подножья стройных пальм слой священного ила, один молодой феллах, нисколько не заботясь о том, что с вершин пирамид на его весенние труды взирают тридцать веков истории, остановился посреди поля, заглядевшись на радостное зрелище, которое являл собою бык Александр, выполнявший в эту минуту обязанность, необходимую для продолжения рода.

Вдруг, откуда ни возмись, с севера показалась рыжая песчаная туча и из-за горизонта над заколебавшейся поверхностью пустыни одна за другой высовываются верблюжьи головы; караван приближается, вырастая на глазах, и вот уже перепуганный феллах бухнулся челом оземь перед тремя служителями Осириса с их торжественной свитой.

Священнослужители слезли с верблюдов, но даже внимания не обратили на феллаха, который распростерся перед ними во прахе. Ибо любопытные взоры священнх особ были прикованы к неукротимому быку. Они приблизились, со всех сторон оглядели разгоряченное животное, потыкали пальцами ему в бока, заглянули в пасть и вдруг, затрепетав, поверглись перед быком на колени и затянули священный гимн.

А бык, исполнив свой долг в отношении грядущего потомства, обнюхал своих нечаянных почитателей, потом повернулся к ним задом и обмахнул всех хвостом по физиономиям.

Тогда добрые священнослужители, встав с колен, обратились к бедному, растерявшемуся от неожиданности феллаху со словами:

— Счастливый смертный! Солнцу угодно было, чтобы твои нечистые руки взрастили быка Аписа, одна тысяча шестисотое воплощение Осириса.

— Ах, господа хорошие! По-настоящему-то ведь его звать Александром, — возразил им ошеломленный феллах.

— Замолчи, несчастный дурень! У твоего быка знак луны во лбу, на боках метки и скарабей под языком. Он — сын солнца!

— Что вы, господа! Никак это невозможно! Его отец был бык из нашего деревенского стада.

— Пошел прочь, болван! — закричали на феллаха возмущенные жрецы. — С этой минуты согласно священным законам Мемфиса бык больше тебе не принадлежит.

Сколько ни возражал феллах против такого попрания права частной собственности, все было тщетно. Священнослужители старались, как могли, внести ясность в его неискушенный ум, но так и не сумели втолковать феллаху, что его бык — божество; тогда они просто приказали бывшему хозяину быка хранить нерушимое молчание касательно скотского происхождения священного существа, а сами, не мешкая, увели быка с собою.

* * *

Освещенный лучами утреннего солнца, храм Аписа своим необыкновенным видом производил на непосвященных таинственное и величественное впечатление, зато для посвященных он был скорее даже забавен, поскольку они разбирались в его символах, которые ровным счетом ничего не символизировали.

Возле одного из огромных пилонов несколько деревенских баб, сбившись в кучку, дожидались, когда откроют ворота храма, чтобы отдать служителям кадушки с молоком — обычную дань новоявленному божеству.

Наконец где-то в глубине храма глухо прогудела труба, и в воротах приоткрылось окошечко. Невидимые руки приняли протянутые им кадушки, и окошечко опять захлопнулось.

Тем временем внутри храма, в самом его святилище, бык Александр жевал в своем стойле клок сена, поглядывая на младших жрецов, сбивавших масло для медовых лепешек, которых после соблаговолит откусать старшие жрецы в честь бога Аписа.

— А молоко-то стало куда хуже против прежнего, — заметил один из жрецов.

— Растет безверие! — отозвался другой.

— Да подвинься же ты, осел упрямый! — крикнул третий, который чистил быка, и в подкрепление своих слов дал ему пинка в грудь.

— На убыль пошла религия-то, — заговорил снова первый.

— Да ну ее к бесу, религию эту! Хуже, что в делах прибыли не стало.

— Народ ведь не может без религии. А уж какая она там — не все ли равно! Какая есть, такая пусть и будет!

— Ну повернись же, чучело ты этакое! — послышался снова голос скотника, который продолжал чистить быка. — Завтра такого

боженьку из себя будешь изображать, что народ прямо очумеет от радости!

Все жрецы так и покатались со смеху, они хохотали до упаду, от всей души, как только умеет хохотать просвещенное духовенство.

А на другой день, назначенный для празднества, быка разукрашили гирляндами и венками, увидели шелковыми лентами и повели следом за целой толпой детей и музыкантов вокруг храма, чтобы народ мог на него любоваться и выразить свое поклонение.

Все шло как нельзя лучше, и поначалу ничто не нарушало всеобщего ликования. Но злая судьба устроила так, что несчастный прежний хозяин быка Александра, измученный мыслями о предстоящих податях, как раз в это утро отправился в город со своей коровенкой, чтобы продать ее на базаре. Там-то он с ней и стоял, когда из-за угла на площадь вывернуло праздничное шествие и рядом с коровкой вдруг оказался ее супруг, с которым она была разлучена вот уже несколько месяцев. Бык, в котором за время вынужденного соломенного вдовства накопилась небывалая сила, почуяв любезный ему запах супружницы, позабыл о своих божественных обязанностях, отбросил свою постылую роль и, раскидав сторожей, ринулся со всех ног к своей дражайшей половине.

Дело приняло опасный оборот — надо было во что бы то ни стало спасти положение. На беду для духовенства, феллах и сам так обрадовался встрече с быком, что не удержался и, не помня себя от восторга, закричал:

— Ах, бедненький ты мой Александр! Уж как я по тебе соскучился!

Но у жрецов ответ был наготове:

— Какое кощунство! Убейте святотатца!

Феллаха, которому разъяренная толпа как следует намяла бока, стражи порядка взяли под локотки и потащили в суд. Выслушав предупреждение, что в суде надо отвечать только правду, феллах упрямо твердил, что это, мол, его собственный бык, который под кличкой Александр служил в общинном стаде производителем.

Но судьи вовсе не интересовались истинным положением вещей: феллаху надлежало оправдаться в предъявленном ему обвинении.

— Правда ли, что ты кощунственно называл священного быка Александром?

— Вестимо, Александром и назвал. А то как же его называть, коли он...

— Довольно! Ты называл его Александром!

— Как же иначе, раз это правда!

— Так, значит, не надо было говорить правду.

— Что же, выходит, врать надо?

— Зачем уж так сразу — врать! Это называется — уважать мнение других людей.

— Каких же таких — других?

— Уж будто сам не знаешь! Мнение окружающих... всех остальных людей.

— Вот вы, почтенные судьи, и уважили бы мое мнение насчет быка Александра, да и оставили бы меня в покое.

— Пойми, дуралей ты этакий, что другие — это не ты!

— Ясное дело! Понял! Другие — это все, кроме феллаха.

— Слушай, уж не собираешься ли ты меня учить? Ступай-ка отсюда, и пусть жрецы сами решают, как с тобой поступить.

Феллаха привели в храм Осириса, и, как ни странно, ему, против ожидания, удалось быстро столковаться с верховным жрецом.

Верховный жрец не стал спорить с феллахом, что это и в самом деле бык Александр, вот только, мол, говорить об этом не полагается, потому что... Ну, одним словом, так уж сложилось, что наше общество держится на молчаливой договоренности, и потому, дескать, хочешь не хочешь, а приходится уважать чужие убеждения.

— Так отчего же, ей-богу, не уважить тогда убеждения феллаха! Ведь и феллах для остальных людей тоже — другой человек.

Верховному жрецу, человеку порядочному и добросердечному, самому надоело лукавить, к тому же бесхитростный подход феллаха к этому вопросу затронул его за живое. Он вообразил, что подоспел удобный случай, когда можно предложить кое-какие реформы. Посоветовавшись с сослуживцами, он впустил в преддверие храма народ, который толпился в ожидании перед наружными пилонами, и, сняв свое облачение, в обыкновенной светской тунике поднялся на алтарное возвышение, чтобы оттуда держать речь.

— Дети мои! — так начал он.

Но среди изумленного народа, не узнававшего его в непривычном одеянии, началось волнение.

— Дети мои! — воззвал верховный жрец. — Не одежда — главное в человеке. Разве не видите вы, дети мои, что это я — верховный жрец Осириса?

В толпе поднялся ропот.

— Так вот, дети мои! Пришло время посвятить вас в святые таинства. Не бойтесь! Я — простой, смертный человек, такой же, как и вы, и, чтобы вы меня не боялись, я снял свое облачение. Вы принимали быка, этот символ всеоплодотворяющего солнца, за самое божество. — И, обернувшись к священнослужителям, он продолжал: — Снимите завесу с дверей храма!

Толпа, никогда не видавшая внутренних помещений, поверглась на колени перед изображениями сфинксов и Осириса, которые показались за приоткрытой завесой.

Никто не смел поднять глаз.

— Встаньте же, — уговаривал жрец. — Ну, встаньте же!

Завесу сняли совсем. И изумленным взорам людей открылся в глубине храма обыкновенный хлев, а в хлеву, развалясь на подстилке, лежал священный бык и пережевывал жвачку.

— Перед вами бык Александр, — воскликнул жрец. — Вы думали, что это — бог, а на самом деле это всего лишь бессмысленная скотина. Не так ли, феллах?

По толпе прокатился вопль ужаса, и среди общего гомона послышался пронзительный женский крик:

— Он — осквернитель храма! Долой лжеца и святотатца!

Не прошло и минуты, как верховный жрец был задушен женщинами. Тело его выволокли из храма и швырнули в колодец.

То же самое было проделано и с феллахом, который своим кощунством оскорбил святую ложь.

ЗДОРОВАЯ КРОВЬ

За садовой оградой пышно разросся куст шиповника, его густые ветки, упругостью своей похожие на гибкие стальные клинки, были сплошь усеяны розовыми цветками.

Из своего смиренного уголка он мог заглядывать во владения садовника. Там тоже росли розы, но только стать у них была совсем иная. То были жалкие, низенькие кусточки, ростом не выше лейки, из которой их поливали. Некоторые из этих хрупких созданий совсем почернели от мороза, который сгубил их прежде, чем образовалась завязь, а остальные по большей части оказались пустоцветами. Такая уж это была нежная порода, совсем потерявшая способность плодиться. Бутоны-недоноски погибали, едва успев распуститься. Шиповник хорошо помнил, как прошлым летом кусты роз красовались на клумбе в уборе из алых, желтых и белых цветков. Зато как же они теперь поникли и опустились, какое жалкое являли собой зрелище! Навряд ли их благородия могли порадовать своим видом садовника с тех пор, как они превратились в какое-то нищее отребье.

— Фу-ты, какая худосочная компания! Пора влить вам здоровой свежей крови.

И вот садовник нарвал ягод от дикого шиповника и посеял семена в парничок.

Старый куст был ужасно польщен тем, что его детки получат хорошее воспитание, и заранее радовался, представляя себе, какое их ждет блестящее будущее, свободное от борьбы за существование.

Чуть настала весна, молодые побеги шиповника тронулись в рост, в садовой земле они росли на сытных хлебах румянными и упитанными. Мать с торжеством любовалась на них, а дикие братцы и сестрицы, пробившиеся на песчаной и каменистой почве, не без зависти поглядывали на счастливицков.

Два лета приемыши росли наперегонки с остальными дичками, молодые побеги вытянулись и стояли густо, как тростник.

А на третью весну явился садовник проведать своих питомцев. Вооружившись заступом, он выкопал весь подрост; те растеньица, что послабее, были сброшены в кучу, да так и остались лежать, подставив глгучему солнцу истекающие соком корешки, а тех, что покрепче, обернули соломой и услали куда-то по железной дороге. Дома из всей семейки остались только двое и были тут же пересажены на другую грядку.

Учинив эту кровавую расправу, на которую с содроганием взирал из-за ограды материнский куст, садовник взялся за нож и срезал первый саженец под самый корешок, так что на поверхности от него ничего не осталось; второй саженец он укоротил ниже разветвления, и от него остался торчать один только жалкий шпенечек. Затем садовник занялся прививкой. На первом дичке он привил веточку у самых корней, на втором подвое — немного повыше.

Со временем ранки зажили. От здоровых корней потекли кверху соки, почки набухли, раскрылись бутоны, и веточки-паразиты стали наслаждаться жизнью за счет несчастных страдалцев, которые питали их своей кровью. А садовник с ножом неусыпно следил, чтобы могучая дикарская порода не одержала бы верх.

— Довольны ли вы, бедные мои детки, что попали в знатное общество? — горестно вопрошала их мать. — Рады ли, что удостоились чести носить на себе негодных захребетников, которые не могут сами производить на свет собственное потомство?

А братьцы и сестрицы знай себе подхихикивали:

— Что, сладко небось потереться в высшем свете? Ишь какой веник из тебя получился! А на другого-то скромника только поглядите, он из-под земли даже носу не жает!

А из-под земли еле доносится глухой стон:

— Слышишь ли ты меня, аристократ? Я тут тружусь, не видя солнечного света, а ты тянешь из меня соки и пожинаешь славу. Ужо погоди! Дай мне только вырваться на волю, тогда посмотрим, чья возьмет!

Но садовник с ножом всегда начеку. Стоит ему заметить «незаконного» отпрыска, как он тут же его срежет. А «законные» тем временем растут себе и ветвятся на солнышке цветоносными побегам, и женщины, гуляющие по садовым дорожкам, восторженно ахают при виде цветущих роз.

Настал июль. Садовник с ножом куда-то запропастился. Не слышно скрипа его деревянных башмаков на песчаных дорожках. Вот уже два дня прошло, а его все нет как нет. Ставни на его домике плотно закрыты, лишь изредка приотворяется дверь, чтобы впустить лекаря, и тогда по саду разносится запах лекарственных отваров.

Садовник заболел и слег.

— Наконец-то мы поставлены в равные условия! — воскликнули угнетенные дички. — Нет больше над нами ножа. Настала пора бороться за равноправие!

— Грядет час расплаты! — отозвались на эту речь знатные прихлебатели.

— Нет, господа! С позволения сказать, это называется часом восстановления справедливости!

И дички воспрянули. Они начали трудиться денно и ночью. Проснулись к свету, стали распозаться и поднялись, возвысились так, что заслонили свет «законным» отпрыскам; теперь

они сами пользовались плодами своих трудов, зато аристократы, оказавшись на голодном пайке, начали чахнуть.

— Конец кровопийцам! Конец царству ножа!

И кровопийцы, оставшись без пищи, погибали, потому что не умели сами добывать себе пропитание.

Их листья засохли под натиском жизнеспособных тружеников, их почки увяли, ветки сделались добычей личинок, которые накнулись на них целыми полчищами, как вши, заевшие тирана и детоубийцу Ирода.

Кусты шиповника радовались жизни, они были усыпаны цветами, простенькими, но зато здоровыми, потому что у них было все то, чего недоставало соперникам. На солнце и при лунном свете они справляли свадьбы, их навещали бабочки и майские жуки, их завязи набухли; как вдруг в один прекрасный день в домике растворились ставни, запах целебных отваров испарился, и вновь, как бывало, закрипел песок под деревянными башмаками садовника; садовник с ножом вернулся в свои владения.

— Каковы изменники! — воскликнул садовник. — Отомстили-таки и погубили мои прекрасные розы.

— Они лишь воспользовались своим правом на жизнь и сами ели свой хлеб. Они вовсе не хотели убивать бедных розочек и не нарочно, а поневоле навлекли гибель на своих богатых убийц; притом они не прибегали к помощи ножа. — Вот что бормотал про себя несчастный куст шиповника, который единым взмахом ножа был снова ввергнут в подземную темницу. Там ему и предстоит отныне дожидаться своего часа до тех пор, пока не заболит опять садовник, а может быть, дождетса он и того, что наступит конец царству ножа.

ДЕТСКАЯ СКАЗКА

На задворках Скамсунда среди прочих обездоленных жил и отставной лоцман Эман. Прослужил он на флоте чуть ли не до тридцати семи лет, когда однажды ясной лунной ночью посадил на мель финскую шхуну. Как это случилось, он и сам толком не разобрался; держал курс прямо на огни, ограждающие фарватер, хорошо знал, где мель, да и руль на шхуне был в полной исправности... Эх, темное было дело! На суде Эман клялся, что в тот день и капли спиртного в рот не брал. Но поскольку он вообще-то выпивал, сочли, что он и тогда был пьян. Вот его и выгнали со службы, да еще присудили возместить финнам урон — шхуну и груз, — пятьдесят тысяч крон.

Внести в приговор слова о крепких напитках, когда человек в день беды был трезв как стеклышко, было со стороны суда более чем неосторожно. Благодаря этому Эман обрел некоторое преимущество, так как формально суд допустил явную несправедливость.

Когда же он со споротыми галунами и кокардой с форменной фуражки в кармане вышел из здания суда на Корабельный остров, ему почудилось, будто город выглядит совершенно иначе. Хотя военно-морское училище стояло, разумеется, на своем прежнем месте, оно показалось ему совсем маленьким и незнакомым. Прежде оно внушало ему уважение, как бы олицетворяя для него нечто недостижимое, некую высочайшую вершину в том маленьком мире, где он сам пребывал у самого подножья, почтительно, в слепом благоговении склоняясь пред власть имущими и высокой наукой. Теперь же, когда его выкинули из привычного для него общества, всю его почтительность и благоговение как рукой сняло. Власть имущих он больше не интересовал, чаша терпения переполнилась, и он уже не лежал в пыли у их ног; он очутился за пределами их влияния, не мог сравнивать себя с ними, стал внезапно вольной птицей и почувствовал, что беда возвеличила его.

И вот он снова вернулся на Скамсунд. Был уже полдень, когда пароход причалил к пристани, на которой болтались без дела лоцманы. Одни пришли сюда с откровенным желанием выразить сочувствие товарищу, другие же — только ради того, чтобы взглянуть, какой у него теперь вид. Глубокая серьезность царила на берегу — каждый понимал, что такая же беда могла обрушиться на любого из них и когда угодно. Ведь едва ли кто-нибудь смог бы вразумительно объяснить, как произошло кораблекрушение.

Пока спускали трап, Эман стоял, выдергивая кончики ниток из обшлагов на том месте, где были галуны. Плывая на пароходе, он все твердил, что скажет товарищам, и представлял себе, как глянет им в глаза. Ведь он мог прямо смотреть людям в глаза, так как совесть его была чиста.

Беря со скамейки небольшой баул, он сунул проездной билет в рот, чтобы высвободить руки. И, вступив на трап, широко расправил плечи. Здороваясь со старшим лоцманом, Эман совсем забыл про билет, так что первому помощнику капитана пришлось с шутками-прибаутками самому вытаскивать у него билет изо рта. Это нарушило составленную им заранее программу возвращения домой, торжественное обернулось комическим, а попытаться исправить промах уже не имело смысла.

Так что встреча приняла совершенно обыденный характер. — Держись, старина! — приветствовал его старший лоцман. И этим было все сказано; другие лоцманы только одобрительно кивнули головой, довольные, что беда случилась не с ними.

Эман, насупившись, стал подниматься в гору; на другом ее склоне приютилась его лачуга. Жены, которая бы ждала лоцмана, не было, она умерла. Зато Эмана ждал десятилетний сын. Он, ясное дело, не смел громко высказывать свои мысли, но лицо его было достаточно красноречиво, а глазам мальчика не возбранялось выражать обуревавшие его чувства. Чтобы оградить себя от возможных упреков сына, отец рывком отворил дверь и приказал мальчику, возившемуся у очага с переметом:

— Сходи-ка, Торкель, в сарай на берегу да принеси сети! Будем рыбу ловить!

Торкель тут же отправился в сарай. На душе у него было веселее, чем он сам ожидал. Ведь отец — на свободе, бодрый и решительный.

Три дня подряд Эман только и делал, что обходил домишки своих прежних товарищей, жалуясь на постигшую его несправедливость. Вначале ему горячо сочувствовали, но назавтра сострадания поубавилось, его встречали опустив глаза. И он понял, что между ним и бывшими друзьями выросла стена. А чтобы разрушить эту стену, пришлось пустить в ход некоторые аргументы:

— Разве ж я был пьян тогда? Если б я выпил хоть каплю, я бы и слова дурного не сказал!

Он без конца повторял эти речи, надоел всем до смерти и стал просто невыносим. Заметив это, он прибег к помощи крупных сумм:

— Я мог бы зарабатывать по две тысячи крон в год, а теперь они все равно что брошены в море! Меня приговорили к штрафу в пять-де-сят ты-сяч крон! Пять-де-сят! (Лакомый кусочек — пережевывать такую крупную сумму!) Хотел бы я знать, где я их возьму!

Ни один из товарищей Эмана не мог ответить на этот вопрос, но то, что у него были такие большие долги, внушало известное уважение.

— Пять-де-сят ты-сяч! Да, они, как пить дать, отберут лачугу, а мне придется объявить себя несостоятельным должником!

На третий день Эман утратил всю прелесть новизны; при виде его люди поворачивались спиной или спешили удалиться. Тогда он решил спуститься вниз, к берегу, на лоцманскую станцию, куда все эти плуты набивались, как сельди в бочке, и снова затянул ту же песню. Ответом было холодное молчание, лишь изредка прерываемое плевками, когда табачное месиво шлепалось об пол.

Чтобы внести некоторое разнообразие, Эман начал свою речь с пятидесяти тысяч, а после опять принялся за свое:

— Ну, выпей я тогда хоть каплю...

Когда же он в третий раз запел свою песню, старший лоцман поднял голову и, поглаживая бороду, проговорил:

— Послушай-ка, Виктор, ты ведь старый забулдыга и не хуже меня знаешь, что если пьяница хоть раз не выпьет, у него ум за разум заходит. Стало быть, суду все едино, был ты в тот день во хмелю или в похмелье. Ты утопил шхуну в ясную погоду и понес должное наказание. Ступай-ка лучше домой и присмотри за хозяйством. Да займись каким-нибудь делом, чтобы не угодить в богадельню! Понятно?

Эман тщетно пытался вымолвить хоть слово. Язык у него точно отнялся, и одни лишь глаза не утратили дара речи. Он стал пятиться к двери, чтобы не подумали, будто он поворачивается к лоцманам спиной. Уже в дверях он снова смог заговорить, но разум отказывался ему повиноваться.

— Прощайте, дурачье! — только и сказал он.

Когда он проходил мимо дома старосты, хозяин стоял на крыльце и, дружески кивнув Эману, крикнул:

— Заходи, Виктор, потолкуем!

Но Эман не ответил на его приветствие и пошел дальше.

— Не о чем мне с ним толковать! — приободрившись, пробормотал он.

Однако же, вернувшись домой, Эман не пошел в лачугу, а, сняв со стены топор, принялся бродить по острову. Всякий раз, когда он бывал взволнован, Эман уходил в лес с силками и топором. Вообще-то у него была своя небольшая делянка в лесу, которая ныне приобрела для него совершенно новый интерес, поскольку ей предстояло вместе с лачугой пойти с молотка.

Очувтившись под сенью елей, он отметил про себя, что все в лесу казалось совсем иным. Конечно, он узнавал свои деревья, но теперь они стали словно чужими. Вот эти годились на дрова для пивоварни; за них всегда можно было выручить деньги, потому что каждую осень, когда приходил баркас, дрова шли на продажу. А вот эти он приберег на доски для корабельных бортов. Прибережь-то прибережь — но для кого? Чуть дальше стояло несколько как нарочно искривленных березок, словно самой природой предназначенных для лодочных дуг. А тут шесть великолепных корабельных мачт — он оставил эти деревья до дня конфирмации мальчик а , — Эман рассчитал, что они станут годными как раз к этому сроку.

Теперь все это уже не было его собственностью, все достанется Страховому обществу. Страхо-во-му об-щес-тву? Нет, пока еще нет. Сначала явится судебный исполнитель и опишет все его имущество, а потом где-нибудь в центре острова, возле церкви или в здании суда, состоится аукцион.

— И не мешало бы им быть поосмотрительней...

Сегодня Эману доставляло несказанное наслаждение врубаться топором в древесные стволы. Но выбирал он вовсе не те деревья, что станут потом дровами или бревнами, а драгоценнейший строевой лес, так что и мачтовые и корабельные деревья — будущие корабельные борта и весла — падали как хрупкие соломинки и рубились в щепки. Эмана бросило в жар от ненависти и напряженных усилий; а когда огромная сосна с грохотом рухнула на землю, он улыбнулся. Хрустальный сок лился, словно белая кровь, верхушка же дерева обломилась при падении. То было настоящее поле битвы, и по мере того как топор валил деревья, уничтожал их, мстил, в лесу, да и в голове Эмана прояснялось. Эман нападал на врагов, невидимых, даже неизвестных ему врагов. Если бы кто-нибудь спросил его, с кем он сражается, Эман ответил бы только, что ненавидит все и вся. Ведь никто конкретно его не обидел, беда нагрянула тем же таинственным, неизвестным путем, каким налетает ветер или волны ударяют о берег.

Когда силы Эмана истощились и он был не в состоянии валить деревья, он стал надрезать кору на древесных стволах; к это-

му времени он прошел уже весь свой лес и добрался до горной гряды. С топором в руке Эман стал подниматься в гору, атаковал отвесную скалу и вскоре очутился на ее вершине. Там стояла вековая сосна; давным-давно лишившись верхушки, она росла, сохранив лишь кривые, небывало громадные ветви, простиравшиеся с каждой стороны, словно две жилистые, подававшие тайный знак, руки. Для моряков сосна эта была своего рода береговым ориентиром, а лоцманы чтили ее, словно святыню, что служило ей защитой от всякого рода посягательств. В прежние времена сосной пользовались как дозорной вышкой — до сих пор сохранилась прикрытая корнями полустгнившая медвежья берлога, нечто вроде ступеньки лестницы.

Лоцман взобрался наверх и увидел внизу море. Там, на мели, лежала шхуна, всеми своими ободранными мачтами устремляясь ввысь. Точь-в-точь как устремляется ввысь остов потерпевшего кораблекрушение судна: не вверх или вниз и даже не в одну какую-либо сторону, что бывает с кораблем, давшим крен, а странно, неотчетливо, увечно — туда-сюда, потеряв управление, словно мертвое судно.

— Ну и лежи себе! — сказал Эман безо всякого раскаяния или сожаления. Грубые черты его лица выражали скорее удовлетворение и гордость оттого, что он был виновником такого происшествия, происшествия довольно незаурядного и наделавшего немало шума.

И тут вдруг, словно в голову ему пришла внезапная мысль, он начал слезать с дерева. Мигом очутившись внизу, Эман сказал:

— Это моя сосна! А если на море случится кораблекрушение? Ну что ж, тем лучше! Меня это не касается!

— Моя сосна! — снова и снова повторял он, чеканя слова и ударяя дерево топором.

Заповедного, священного дерева, указывавшего морякам путь с севера и с юга, дерева, простиравшего к ним свои руки и открывавшего объятия тем, кто приплывал с востока, больше не было. Эман успокоился; ему казалось, что он почти полностью реабилитирован.

— Ну, теперь, ясное дело, начнут писать морскому ведомству, наверняка придется разослать циркуляр, что, дескать, опознавательный знак на острове Скамсунд упразднен. Ха-ха-ха!

Он прикрыл ладонью рот, чтобы заглушить смех.

С того самого дня все местные лоцманы расхаживали по острову в превосходном расположении духа, словно школьники, удачно избежавшие трепки. Эмана они честили на все лады и не здоровались с ним. А совершив втайне какой-либо постыдный проступок, шли на лоцманскую станцию и без конца ругали Эмана. Срубленная сосна стала для них таким же козырем, что и невыпитое спиртное для Эмана.

— Да, если б он хоть сосну-то не тронул...

Эман стал и козлом отпущения, и жертвой. Если двум лоцманам случалось поспорить, они тотчас, лишь только речь заходила об

Эмане, мирились. Они тут же набрасывались на него, выставляли Эмана причиной размолвки, да и вообще при первом удобном случае старались всю вину свалить на него. А с тех пор, как одному хитрецу пришло в голову, будто у Эмана дурной глаз, привычка сваливать всю вину на Эмана достигла прямо-таки чудовищных размеров. Выдумал это какой-то цыган. Пиетисты же повернули дело так, будто однажды совершенный проступок Эмана повторяется вновь и вновь, тяготея над всеми и навлекая на жителей острова беду, подобно тому как Иона был причиной великой бури на море.

Окруженный ненавистью и злобой, Эман сторонился людей и жил опасливо и настороженно. Куда хуже было с сыном Эмана — угрюмая суровость ребенка казалась страшнее суровости отца. Торкелю приходилось бродить по острову в одиночестве, если только он не выходил в море с отцом на ловлю рыбы. Когда же они оставались с глазу на глаз, отец держался, по своему обыкновению, напряженно-внимательно, по-видимому, стесняясь сына и тревожась за него; был он строг, но не жесток. Да десятилетний мальчик и не мог составить компанию взрослому.

*

Отец с сыном привели в порядок сарай на берегу и устроили там жилье (благо в сарае был очаг), так как домишко их должен был пойти с молотка. Торкель-то думал, что речь идет о том, чтобы сдать домишко дачникам, и не обременял себя особыми заботами. Если он не ловил в море рыбу, то бродил по берегу, всегда со стороны открытого моря, потому что другой берег, обращенный к Фагервику, был для него отчасти запретным, отчасти же стал ему враждебным.

Зато здесь, на краю острова, предоставленному самому себе мальчику открывался свободный морской простор. Собственно говоря, весь Скамсундский архипелаг состоял из одного-единственного острова, около мили длиной. До сих пор мальчик проходил по берегу примерно четверть мили, но по мере того, как он подрастал, он все увеличивал свой путь, так что остров, казалось, рос с ним наперегонки.

Здесь на берегу было столько любопытного, что глаза разбегались, а каждая перемена ветра приносила что-нибудь новое. Самый богатый урожай мальчик собирал в том месте, где две скалистые плиты образовали нечто вроде желоба: это был настоящий мусорный ящик. Большею частью там скапливалась солома и тростник, а еще берестяные поплавки, остатки неводов, игрушечные лодочки из коры и бутылочные пробки. Когда же Торкель выучился читать, для него стало вновь разбирать метки владельцев лодок, выжженные на обломках деревянной посуды или сломанных ключах, а также названия заводов или имена заводчиков на пробках. Величайшую радость доставляли ему

бутылочные пробки, особенно летом, когда катера, причаливавшие у Фагервика, оставляли в море самую большую дань. Южный ветер уносил пробки в море, а вслед за ним северный пригонял их на задворки Скамсунда. Когда в первый раз Торкель нашел пробку от шампанского, это было настоящим событием в его жизни. Целый час не переставал он удивляться тому, как такая большая пробка могла войти в горлышко бутылки. Он начал жевать ее, как, бывало, делал его отец, но от этого пробка стала еще больше. Имя заводчика было не менее чудным: Moet et Chandon Reims. К тому же на пробке остались следы не то золота, не то серебра.

Но больше всего любил Торкель вытянутые в длину пологие бухты, усыпанные мельчайшим песком. Словно парники, высились тут гряды выброшенного морем фукуса и росли лиловато-розовая плакун-трава, золотисто-желтый вербейник, лиловые астры, катран с его белыми шапками цветов. Там под розовыми зонтиками валерианы ютились гадюки, и там же частенько искали прибежище морские птицы. В некоторых местах кромка воды у берега была недоступна из-за стены сплошных валунов.

Иногда крутой скалистый выступ перегораживал прибрежную полосу, и тогда приходилось подниматься и продолжать путь лесом.

Вот такой выступ и был до поры до времени целью странствий Торкеля. Разумеется, ему никак не возбранялось идти и дальше, но отвесная скала составляла такую непреодолимую преграду, что он не решался двигаться вперед. А кроме того, в бухте было столько интересного, что можно было развлекаться часами. Под скалой резвились рыбы, а в теплую погоду, если повезет, можно было с помощью силков поймать спящих щук. На горе росла мачтовая сосна, а на самой ее верхушке скопы свили гнездо, плоское и открытое, будто блюдо. Чтобы забросить в гнездо камень, требовался целый час, а то и больше. Зато когда громадные птицы с криком поднимались в воздух, он словно ощущал чувство собственного превосходства над разбойниками, властителями изобиловавших рыбой вод.

Сегодня, после всех необычных происшествий, случившихся у него дома, Торкель испытывал потребность уйти подальше, увидеть что-нибудь новое, разведать получше жизнь острова. Он знал, что там есть крестьянские усадьбы, виллы, торговые лавки, а по воскресеньям слышал, как в церкви, в которой он никогда раньше не бывал, звонят колокола. На другом конце острова, должно быть, жил пастор, да и ленсман тоже. Но чтобы попасть туда, нужно было сначала миновать дремучий бор, где бродили лоси, которые, разумеется, могли и напугать, хотя вообще-то были не опасны. Хуже обстояло дело с быком. Торкель слышал однажды, как он сопел за кустами, и это было куда страшнее обыкновенного мычания. Но желание узнать что-то новое одержало верх над сомнениями, и мальчик вступил в темную мглу леса. Однако он еще разок оглянулся, чтобы почерпнуть

силы из бесконечного, открытого, светлого простора морских вод.

В лесу было темно и пахло сыростью. Повсюду росли грибы, похожие не то на медуз, не то на морских ежей. Торкелю казалось, что грибы вот-вот начнут втягивать и выпячивать свои шляпки и поплывут меж мачтовых елей; ели превратились в мачты, и ветер свистел в них, точно в корабельных снастях; гибкие же реи качались на зеленых топенантах... Мальчика не покидало ощущение, что он плывет по морю, сопровождаемый морскими преданиями и обычаями...

Но вот он вошел в сосновый бор; тут было светлее, а желтовато-красные стволы словно удерживали корой солнечный свет. Деревья стояли на покрытых низкой травой лужайках, а вокруг пней, особенно обгорелых, росла земляника.

Торкель взял курс на солнце, зная, что дорога по крайней мере не приведет его к дому, даже если солнце начнет склоняться к западу. Он пошел вперед и шел до тех пор, пока не очутился у озерца с фарфорово-белыми берегами, потому что это маленькое озерцо было устьем давным-давно заброшенного известнякового карьера. Мальчик направился вдоль берега и вышел к болоту, своими мшистыми, поросшими багульником холмиками походившему на кладбище. Прыгая по кочкам, он выбрался на твердую почву, сплошь покрытую можжевельником и боярышником. Здесь все напоминало парк, и на душе у него стало безмятежно и спокойно. Вдруг Торкель наткнулся на какую-то ограду, над которой высилась красная черепичная крыша. Вид черепичной крыши вызвал у него поначалу чувство уверенности в собственной безопасности, но он тут же отпрянул назад, подумав: «Здесь наверняка есть собаки и есть люди, которые спросят, куда я иду и что мне тут надо». И, пригнувшись к земле, он снова бросился в лес.

— Они непременно спросили бы и как меня зовут, — говорил он самому себе. — А когда бы я ответил: Эман, они сказали бы: «Ах, это тот самый!»

Крадучись он шел вдоль ограды, потом миновал небольшой клочок земли, засеянный рожью. Затем влез на покрытый мхом каменный уступ и отсюда, цепляясь за толстые и гибкие, как канаты, сосновые корни, стал взбираться вверх — лепешки мха скатывались вниз из-под его ног. И вот он уже стоит на вершине горы, у выкрашенного белой известкой землемерного камня, где ястребы и скопы оставили после своих пиров целую грудку костей. А рядом — кучка пепла и угля от костра Ивановой ночи.

И вдруг он разом, как на ладони, увидел весь остров и пролив, а на другом берегу Фагервик. Казалось, перед мальчиком впервые открылся мир. Суровый, мрачный, бедный, тянулся длинной бесплодной полосой до самой церкви остров Скамсунд.

И Торкель безо всякого сожаления отвернулся от своей родной земли и стал разглядывать мягкие контуры зеленеющей низменности Фагервика с его чернолесьем и лугами. Это был сплошной

увеселительный сад; расцвеченные флагами виллы, снующие по всему проливу катера и шлюпки с белоснежными, словно только что отглаженные сорочки, парусами, прогуливающиеся на пристани девушки в светлых нарядных платьях и кадеты морского корпуса... Новый, куда более радостный мир, где жизнь — сплошной праздник с утра до вечера, мир, такой близкий и в то же время такой недоступный! Торкель сел на землемерный камень и смотрел, смотрел, смотрел... Всего лишь пролив отделяет его мрачную жизнь от этой — такой радостной и светлой! И вот он уже видит себя на борту белого катера, он сидит возле рулевого, следит за маневрированием судна и чувствует себя худо, когда катер слишком кренит направо... Еще бы чуть-чуть — и он бы упал за борт и утонул... Ну... теперь поворот оверштаг, хорошо... садись с наветренной стороны, нельзя плыть на катере стоя... Поглядим, смогут ли они подойти к пристани и причалить по всем правилам!

Так, отлично, они слишком близко подошли к берегу, толчок, грот на гитовы, гик — натянуть, фок — пошел... Вот и пришвартовались, паруса убраны и зачехлены. Команда сходит на берег; он за нею; матросы поднимаются на террасу ресторана, садятся на диван, а на столе появляются бутылки и стаканы... Да, там можно жить и там можно зарабатывать денежки. Лоцманами на катера берут только тех мальчишек, у которых найдется приличная одежда, да и катать господ в шлюпках — тоже. Первые деньги обычно зарабатывают в кегельбане, и если бы только иметь что-нибудь для начала, дальше уж все пойдет само собой...

— Ну, мой мальчик, — послышался вдруг голос из-за со сны. — Что ты уставился на гору Эбал? Она манит тебя, точно грех... А знаешь ли ты, что такое Эбал? Разве ты не читал в писании об Эбале и Геризиме? О двух горах, как эхо отражающих проклятие и благословение?.. Мы с тобой стоим на Геризиме, горе благословения, а там, где, по-твоему, лежит земля обетованная, там на самом деле гора проклятия — на Эбале люди ведут разгульную жизнь, не думая о завтрашнем дне. Да, вот так-то!

А говорил с Торкелем бывший таможенный служитель — Викберг, такой же «бывший», как и многие из тех, что жили на задворках Скамсунда. Одна-другая оплошность по службе выбили его из седла, и Викберга прогнали с таможи. Видя бедственное положение своей семьи, Викберг ежедневно и ежечасно помнил о своих промахах и, чтобы восстановить равновесие в счетах с жизнью, начал с того, что стал подводить баланс: записывать дебет и кредит. Он совершил скверный поступок, значит, ему должно быть скверно. И Викберг отказывал себе во всем, изводя себя и не вылезая из церкви, где ему четко разъяснили, как обстоят его дела. Церковь была для него и карой и утешением.

— Тот, кто потерял ориентир на суше, должен поступать как капитан в открытом море: держать курс на небеса и плыть по звездам.

Это свое постоянное присловье Викберг приберегал для тех, кто поднимал на смех его веру.

Промучившись несколько лет, Викберг решил, что вина его искуплена. И поскольку он продолжал вести себя безупречно, то и счел, что отныне его место в книжке забранных из лавки товаров, — в графе «дебет» и что ему даже кое-что причитается. Он дошел до того, что простил самого себя. Ему казалось, что он никогда в жизни не совершал никаких проступков — совесть его чиста. «Произошло чудо», — думал он. И ему хотелось внушить эту мысль и другим. А другие — они-то не забыли его ошибок и потому по-прежнему считали Викберга самодовольным и лицемерным святошей, Викберг недоумевал: он так любил свой забытый грех, ставший его спасением. Ведь и апостол Павел утверждает, что нужно радоваться несчастью, ибо в нем орудия и пути господни. И то, что люди называли злом и полагали порождением дьявола, исходит от самого бога: «Аз, дающий свет и созидающий тьму, Аз, ниспосылающий мир и созидающий зло».

Викберг последовательно развивал эту мысль и, когда слышал, что кто-то совершил неблагоприятный проступок, улыбался и утешал:

— Все это — только к добру! Теперь этот человек спасен! И нечего печалиться о таких малостях! Он еще воспрянет!

Нынче же, застав врасплох сына грешника Эмана и увидев, что тот бросает жадные взгляды на соблазнительный Фагервик, Викберг не преминул воспользоваться случаем посеять семя, которое, однако, упало не на благодатную почву, ибо было брошено в юную душу.

Торкель не стал дожидаться продолжения душеспасительных речей, а, соскочив с горы, которую новоявленный проповедник нарек Геризимом, исчез в подлеске; солнце пекло ему спину, когда он быстрыми шагами устремился к дому.

С вершины высокой горы он узрел землю обетованную и понял теперь, что все они, по эту сторону пролива, обитают в пустыне. А бывший таможенный служитель Викберг — пусть его мнит и толкует все так, как душе угодно.

Вернувшись домой, Торкель увидел: дверь их домика открыта. Он подумал, что отец уже вернулся, и вошел. На двери была наклеена серая почтовая марка, которую мальчик тут же принялся отковыривать.

— Не трогай! — произнес чей-то голос из домика.

Там стоял какой-то маленький серо-желтый человечек со впалыми щеками — казалось, у него во рту нет ни одного коренного зуба.

Держа перед собой серую почтовую марку, человечек лизал ее, устремив взгляд куда-то на северо-запад, что придавало ему сходство с собакой, которая, лежа на земле, грызет кость.

— Видишь ли, мой мальчик, это — казенная марка, а я — судебный исполнитель, понятно?!

И он прилепил марку прямо на дверцу шкафа.

— Видишь ли, не далее, чем завтра, здесь будет аукцион. Вращая глазами, он снова лизнул марку.

Торкель понял, что ему тут делать больше нечего, и ушел.

Но нескоро забыл он человечка со впалыми щеками, который проглотил и дом его детства, и мебель, и всю утварь.

Внизу, у берега, отец возился с лодкой.

— Где ты был? — спросил он, видимо, не ожидая ответа на свой вопрос. — Залезай в лодку, пойдем в море!

Торкель поднял фок, отец сел к грот-шкоту и взялся за руль.

Под банкой лежали шлюпочный якорь-кошка и топор; тут же были одеяла, кастрюли и сковородки. Это означало дальнейшее путешествие. В лодке оказались также ружье, рыболовная леса и снасти, но ни сетей, ни невода не было.

Ветер дул попутный, и отец разжег трубку. А потом, не глядя на мальчика, заговорил.

— Мерзавцы, — сказал он, — невод тоже забрали! А знаешь, сколько тысяч петель в таком вот неводе? И сколько зим мы с матерью плели его? Знаешь ли ты это, старина?

Торкель давно свыкся с этим туманным обращением к некоему «старине»; он уже понимал, что имеется в виду вовсе не он, а какой-то другой «старина», да, кто угодно, только не он. Поэтому он и не отвечал. Ответь он — и отец по своей привычке станет искать взглядом на горизонте того неизвестного, невидимого, но надежного слушателя, который никогда не противоречит, а лишь позволяет разговаривать с собой.

— Мерзавцы — все до единого! Я пил, да, пил, но я никогда не крал. И я хорошо знаю, кто крадет — от власть имущих до самого низа!

Торкель почувствовал желание возразить отцу, но преодолел его. Потому что пока отец говорил, он оставлял сына в покое. Но стоило сыну надолго замолчать, как он начинал приставать к нему, словно обладал способностью слышать его мысли, и нередко поражал его тем, что проникал в сокровеннейшие тайники его души и безошибочно отвечал на безмолвные вопросы, которые мальчик задавал самому себе. Торкель сидел, строя планы, как бы ему перебраться через пролив на Фагервик и устроиться в кегельбан. Мысленно он уже подсчитывал те монетки по двадцать пять эре, которые мог бы заработать... Внезапно его молчание прервал голос отца:

— Там, у ресторатора, милоч, одно баловство. Целых шесть часов болтаться без дела ради того, чтобы часок ставить кегли. Нет, надо бы отправиться на баркасе за рыбой к Аландским островам, вот это да, это...

И он замолчал, а Торкель ощутил чудовищный гнет этого человека, от которого не могла укрыться ни одна его тайная мысль, гнет этого ужасающего судии, видевшего его насквозь...

— Трави шкоты, а не то лодка повернет! — командовал лоцман — и снова продолжал свою речь: — Ты вот сидишь тут да думаешь, как бы удрать от меня и зажить самостоятельно! Но

не тут-то было — ты мне и самому нужен! Матушка твоя была точь-в-точь как ты, никогда нельзя было на нее положиться: говорила одно, а в голове — другое!

Он как следует приложился к бутылке и через несколько минут целиком погрузился в назойливое брюзжание.

Необузданный во хмелю, он вонзился в душу бедного грешника, крепко к ней присасывался, искал беспричинной ссоры и буквально выворачивал наизнанку своего противника, потому что противник был ему необходим, чтобы сражаться с ним, приписывать ему свои злобные мысли, отвечать на подозрения, которые никто никогда не высказывал.

— Ты вот думаешь, что твой отец — бедняк, да? С тех пор как у него ни кола ни двора? Да? Видал в лачуге судебного исполнителя с казенными марками? Не видал? Соврешь — получишь трепку!

Торкель ни слова не проронил в ответ.

— Молчишь! Ты — хитрая лиса, но я-то на твоём лице читаю, о чем ты думаешь, ведь я всех людей вижу насквозь. Да, то-то! Ясное дело, думаешь, я пьян; нет, я не пьян! Я никогда, ни разу в жизни не был пьян, потому как еще никому не удавалось напоить меня допьяна; и еще вот что: к ответу-то меня призвали, да призвали несправедливо.

Самое горькое для мальчика в такого рода беседах начиналось тогда, когда отец шел на унижительную для себя откровенность, потому что трезвым он никогда не говорил о своих бедах. Хотя характер у Торкеля был сильным, а ум гибким, он все-таки с трудом привыкал к такого рода выходкам. От матери он выучился быть слепым и глухим, не принимать ничего близко к сердцу — пусть, мол, все — как с гуся вода, однако это еще больше раздражало отца. В глубине души он чувствовал, что слова его бесполезны.

— Слышишь, что я говорю? — ревел отец.

Теперь надо было решать — отвечать или нет.

Если он не отвечал, крик возобновлялся:

— Будешь отвечать, олух, или нет? *Слышишь?*

Вздумай Торкель ответить, его главная задача заключалась бы в том, чтобы подобрать подходящий покорный тон, ибо прозвучи ответ хоть чуточку резко или грубо, отец ударит его.

Иногда ему бывало совершенно безразлично — отвечают ему или нет, и если Торкель знал, что трепки все равно не избежать, он доставлял себе маленькое удовольствие, выкрикивая громко и грубо:

— Ясно, слышу!

При этом он старался поглубже спрятать голову в воротник куртки.

На сей раз трепки, видимо, было все равно не избежать. Торкель смотрел на море и с подветренного и с наветренного борта, ища спасения. И вдруг увидел плывущую по воде стаю гаг.

— Гаги с подветренной стороны! — сообщил он отцу.

Взглянув в ту сторону и убедившись, что сын говорит правду, отец приложил ружье к щеке. Торкель молча молился, чтобы выстрел был удачный, ведь если отец промажет, то...

Раздался выстрел, и две птицы замерли.

— Поворачивай! — скомандовал лоцман.

И выловил сачком добычу: пощупав большим пальцем перья на грудке у гаги, он крикнул от удовольствия.

Прозвучал выстрел, пролилась кровь, и буря миновала.

Причалив, они вытащили лодку на шхеру много выше самого высокого уровня воды, и Эман пошел открывать сарай.

Казалось, будто шхера плавает в открытом море, словно плот на якорю, а наружная цепь шхер на западе напоминала плавающие в воде стеньги и рангоут.

Здесь, в море, Торкелю всегда было хорошо, он чувствовал себя словно бы на борту корабля или на воздушном шаре, и больше всего он любил штиль, когда воздух и вода сливались воедино, а шхера будто парила в некоем светлом разреженном пространстве, покрытом прозрачным куполом. Днем этот купол был молочно-белым или голубым, иногда мягким и пушистым, а ночью усыпан белыми драгоценными камнями, такими же мерцающими, как кольцо жены старосты.

Людей на шхере не встретишь, зато можно увидеть много чего другого. Даже камни на берегу не походили на скамсундские, другими были кусты и травы, да и птицы совсем не те, что на острове: черный баклан, дикие гуси, орлан-белохвост, нырки, поморник, гагара и морянки сменили крохалей, черных уток, речного орла и чаек. Все здесь было крупнее и ярче. И уж если удавалось найти что-то интересное, находка представляла не меньшую ценность и привлекательность, нежели рождественские подарки.

Торкель, который еще не был в этом году на шхере Москлеппан, отправился навестить старые места своих детских игр. На самой вершине его ждала груда камней с флагштоком. Там он обычно играл в кораблики, а флагшток служил ему грот-мачтой. Когда же Торкель лежал на спине и высоко в небе проплывали облака, ему и в самом деле казалось, будто скалистый островок несется на всех парусах вперед.

Однако сегодня прежние игры не доставляли радости — все здесь изменилось и утратило свою притягательность, а то, что приключилось с отцом, стало, вероятно, знаменательной вехой в жизни их обоих. Торкель чувствовал себя ягненком, которого заперли в клетку с волком. И он тосковал о людях, которые если и не очень печалились о нем, то хотя бы оставляли в покое его мысли. Отныне тоска мальчика обрела совершенно определенную цель: перебраться туда, на другую сторону пролива, где жизнь — много лучше и светлее.

С заходом солнца мальчик вернулся на берег и увидел отца: держа в руке подзорную трубу, отец неотрывно глядел на море.

— Ступай разведи огонь! — крикнул он.

Торкель быстро повернул к сараю, успев заметить в открытом море красный буй с белым флажком. Это был буй, который поставили на том месте, где затонула шхуна, и он понял, что здесь как раз и лежит погибшая шхуна с грузом и со всем прочим.

Когда сварился картофель, лоцман вошел в сарай. Он долго ел, не произнося ни слова. Уже стемнело, когда он наконец наелся.

— Ложись спать! — велел он мальчику. — А я пойду на охоту! И вышел, захватив с собой топор и якорь.

Торкель услышал скрежет лодки, сталкиваемой с берега в море, скрип весел в уключинах, — и все стихло.

Мальчик провел долгую мучительную ночь, ежеминутно выходя на порог сарая, чтобы взглянуть на море. Порой ему чудилось, будто он видит снующий вокруг буя баркас. Он подозревал, что там, возле буя, творится какое-то беззаконие, но что он мог знать! Собственно, он был даже доволен! Ведь его не втянули в переделку, которая могла грозить ему тюрьмой.

На рассвете отец вернулся и тотчас улегся спать, с виду очень довольный своей ночной охотой.

*

Однажды утром Торкель поднялся чуть свет, решив во что бы то ни стало разузнать хоть что-нибудь об этой охоте, тем более что отец необычно долго не возвращался.

В густом тумане он разглядел пришвартованную у буя рыбацью лодку и темную фигуру, перегнувшуюся через борт. А вскоре на горизонте показался баркас с поднятыми гротом и фоком. Паруса на баркасе на сей раз были белее обычного и лучше укреплены. С севера дул слабый ветерок, и море было подернуто легкой рябью.

Вдруг баркас поднял топ-мачту и кливер и, подгоняемый попутным ветром, направился прямо к бую. Рыбацья лодка тотчас отчалила от буя, и Торкель увидел, как отец что есть мочи гребет к берегу, да, сначала к берегу, но тут же поднимает паруса и берет курс в открытое море, прямо на восток.

Тогда баркас тоже меняет курс, на гафеле взвивается таможенный флаг, и мальчик начинает наконец понимать происходящее. До него доносятся громкие голоса и крики, а затем и баркас и лодка исчезают в тумане.

Торкель в полном одиночестве стоит на шхере — лодки нет, стало быть, он лишен возможности вернуться на остров. Падать духом не в его привычках, да и никакой опасности ему не грозит — всегда остается надежда, что кто-нибудь приплывет сюда, даже если придется прождать сутки или двое.

Подойдя к флагштоку, он поднял сигнал бедствия.

К восходу солнца показался баркас таможенного надзора; подгоняемый попутным ветром, он возвращался со стороны моря.

Перед самой шхерой он повернул оверштаг и подошел к берегу. Спустили шлюпку, она причалила и забрала мальчика.

— Теперь твоему отцу каюк, — сказал таможенный инспектор. — А ты начинай-ка новую жизнь — станешь честным парнем, и все у тебя будет ладно.

Мальчик не плакал, плакать он разучился давным-давно, да и всякая перемена в его судьбе была для него только желанна.

Чтобы не есть хлеб даром и избежать попреков, он кинулся поднимать фок-шкот, и баркас, обогнув Скамсундский мыс, взял курс к Карантинному причалу.

*

В Восточной Европе свирепствовала чума рогатого скота, и на Скамсунде открыли Карантинный дом для обработки кож и кожевенных изделий.

Туда-то и определил муниципалитет на службу Торкеля Эмана, взяв его на свое попечение.

Под Карантинный дом отвели старую винокурню, большое трехэтажное строение с ржаво-бурой от вековой грязи штукатуркой. От пыли и паутины окна в доме были совсем черными. Унылый и мрачный, дом отбрасывал тень печали на много-много десятин вокруг и отражался в маленькой бухте, о которой говорили, будто в ней никогда не водилось ни одной рыбы, не росло ни единой камышины. Пролив не был отсюда виден из-за скалистого мыса, так что и Фагервик нельзя было разглядеть. Бухту окаймляли высокие ольхи, но никто никогда не слышал в них пения птиц, не видел ни одной бабочки, навещавшей прибрежные цветы: закапанные краской и смолой, лепестки цветов чахли от испарений серной и карболовой кислоты.

На острове еще помнили истории времен казенной винокурни, когда весь Скамсунд был одним сплошным кабаком, а все жители спились с круга. Рассказывали, что в каждом доме тогда гнали самогон, что целые семьи только и делали, что пили, забывая про еду, что слуги тратили свое жалованье целиком на спиртное, а детей в колыбели усыпляли сосками с водкой. Когда же самогонные аппараты конфисковали, вспыхнул мятеж, и казенный дом после восьмидневной осады взяли приступом. Пришлось вызвать канонерку и выпустить несколько боевых зарядов.

Все те долгие годы, что дом стоял необитаемый, дети избегали играть возле этого проклятого гнезда. Уже первое поколение детей-островитян выбило камнями стекла в окнах и растащило все, что там было из железа и металла, до последнего гвоздика. Для последующих поколений дом не являл уже никакого соблазна.

Однажды Торкель Эман отправился на прогулку в Карантинную бухту, притягивавшую его своей неизведанностью; там он увидел зрелище, которое раз и навсегда отпугнуло его от этих мест.

В высокой, ни разу не кошенной траве его угораздило наткнуться на свернувшийся кольцом, словно серый уж, ливень. «Отличный

канат», — подумал он и наклонился поднять льняную веревку. Оказалось, он ухватился за перерубленные, еще окровавленные поджилки лошади. И тут он увидел четыре ольхи и возле каждой — по отрубленной конской ноге. Такую картину не каждый день встретишь, и он испугался; он никак не мог взять в толк, что произошло, пока не увидел отрубленную лошадиную голову с оскаленными зубами и некогда ясными, а теперь закрытыми глазами. И тогда он понял: карантинщики забили Руту, единственную лошадь на острове, единственную и последнюю, которой было уже наверняка более тридцати лет. И вспомнил историю лошади Руты, в дни своей молодости единственного трезвого существа на всем Скамсунде, лошади, обратившей в трезвенника самого горького пьяницу на острове. А дело было так.

Отец Викберга, лоцман, пьяница из пьяниц, однажды воскресным утром, приложился как следует к бутылке. Пьянствовали на острове все, как один, и все, как один, ходили с потухшими, налитыми кровью, слезящимися глазами. Тому, кто захотел бы увидеть глаза, в которых отражалось бы голубое небо или искрился ум, пришлось бы пойти к животным. У коров, собак и даже свиней глаза были ясные. Но самые ясные глаза были у Руты. Пьяницы попытались было напоить ее однажды бардой, но лошадь отвернула морду от бабки и била ее копытом до тех пор, пока от нее остались одни щепки. Рута питала такое отвращение к запаху спиртного, что не притронулась бы даже к траве возле винокурни, если бы только там росла трава!

Так вот, отец Викберга хватил в то воскресное утро лишку и рухнул прямо на берегу. Рута паслась поблизости, но прикинулась, будто не видит Викберга. Словно землемер, шаг за шагом мерила она пастбище, пока наконец не подошла к мертвецки пьяному Викбергу. Сначала она обнюхала его, но тут же отшатнулась, откинула голову назад и, прядая ушами, оскалила зубы; затем, желая выказать свое отвращение, фыркнула. Потом, казалось, собралась с духом — так, по крайней мере, рассказывал сам отец Викберга, — наклонила голову, схватила его передними зубами за куртку, прямо на груди, отнесла к берегу и трижды окунула в воду — именно три раза, он сам подсчитал. Затем Рута осторожно опустила Викберга на прибрежные водоросли и ушла своей дорогой, «не вымолвив ни слова». Так об этом рассказывал отец Викберга.

— И понимаешь, — говорил Викберг, по уверениям молвы, — дело не в том, что лошадь окунула меня в воду трижды. Ведь и курица может сосчитать до пяти, — дело в ясных глазах, которыми Рута посмотрела на меня! Она бросила на меня здоровый, разумный и кроткий взгляд, и когда я достал табакерку и посмотрел на себя в зеркальце на крышке, мне стало стыдно, — я увидел свои собственные глаза — они были похожи на почти угасшие уголья или же на окровавленные внутренности свежесъеденной рыбы.

С того самого дня отец Викберга никогда не пил слишком много, а стоило ему выпить лишнего — это немедленно отражалось в зеркальце для бритья: глаза его сразу становились тусклыми и злыми!

Меж тем встреча Торкеля Эмана с бранными останками Руты внушила ему стойкое отвращение к Карантинному дому. Но волей-неволей пришлось туда возвращаться. К тому же он оказался во власти грозного заведующего карантинном, что было хуже всего.

Сей матадор со Скамсунда был старым провинциальным лекарем, которого за ненадобностью сослали на остров. Деспот и скандалист, он ни с кем не мог ужиться. По прибытии на остров он тотчас затеял свару со старшим лоцманом, который хотел пришвартовать лодку к прилегающему к Карантинному дому берегу. После длительных военных действий с депешами по начальству заведующий карантинном получил строгое предупреждение и, утратив воинскую честь, отступил с поля боя. С той поры он осел на мысу, упражняя силы на своих помощниках и несчастных моряках, которым приходилось бросать якорь на рейде для санитарного осмотра и обработки кораблей.

Когда в этот мрачный дом к страшному доктору инспектор привел Торкеля, у мальчика от страха подгибались ноги. Но то ли мальчик внушил лекарю симпатию, то ли он почувствовал себя задетым тем, что все его боятся, он дружелюбно поздоровался с Торкелем, выразил участие по поводу постигшего его несчастья и сказал:

— Добро пожаловать!

И повел его в карантинное заведение.

Доктор указал новичку место у бесконечно длинного прилавка, где ему предстояло принимать, передавать дальше и считать кожи, которые потом помощники лекаря окуривали карболкой. За эту работу Торкелю полагалась кормежка и жилье, а если дело пойдет на лад, то и немного денег.

Торкелем овладело чувство гордости; теперь он может прокормить самого себя. Мальчик впервые испытал что-то похожее на присущую мужчине веру в себя и в свое будущее, веру, которой прежде, под опекой отца, он никогда не знал.

Дни и недели шли своим чередом, работа помогала коротать время. Утром по воскресеньям Торкель вместе со всеми ходил в церковь, а после полудня блуждал по острову, но никогда не забредал на задворки, где пережил самые горькие часы своей жизни. Охотнее всего он сидел с товарищами на лоцманской горе и смотрел через пролив на Фагервик, на его соблазнительные достопримечательности. Казалось бы, так просто: взять лодку и переплыть пролив! Но он обещал доктору этого не делать. Однако один из товарищей перечислил Торкелю названия вилл и имена отдыхающих там дачников. Торкель уже знал, что в том доме — ресторан, а в том — театр, и так далее. И он запоминал каждое из этих заведений и связывал их со своими намерениями и мечтами, которые в конце концов выросли в настоящий план кампании за завоевание Фагервика, когда настанет подходящий час.

Если бы мальчика спросили, о чем он мечтает больше всего на свете, он навряд ли назвал бы службу на флоте — эта мечта казалась ему слишком дерзкой, чтобы высказать ее вслух.

Однажды в конце июля он услышал, как один из парней сказал:

— Долго это не протянется!

— Что именно? — спросил другой.

— Да вот эта история с кожами; сотня их осталась, не больше!

У Торкеля проснулась надежда, надежда освободиться от вонючей и грязной работы, и одновременно тоска по тому новому, неизведанному, что ждало его впереди. И столь страстным было его желание отправиться туда, на другую сторону пролива, что он начал уже составлять план бегства на случай, если кто-нибудь вздумает его удержать. Ведь муниципалитет был ему теперь и вместо отца, и вместо опекунов; а голос председателя муниципального совета, да и инспектора, осуществляющего охотничий надзор, был в данном случае решающим.

Между тем эпидемия чумы кончилась, кож больше не поступало, оставалось лишь вымыть и запереть Карантинный дом. Мальчику об этом никто не сказал ни слова, каждый думал только о себе. Однажды утром, придя на работу, он нашел Карантинный дом закрытым; он отправился искать заведующего, чтобы узнать, как дальше быть. Доктор, по своему обыкновению, был добр к нему.

— Да, мой мальчик, теперь ты свободен! — вот и все, что он сказал. — И, заметив замешательство Торкеля, добавил: — Деньгами, которые ты заработал, распорядится муниципалитет.

Торкель Эман отправился в свою каморку на чердаке, надел воскресное платье и пошел добывать лодку, твердо решив перебраться в поисках счастья через пролив. Спрашивать позволения у муниципального совета не было смысла: он заранее знал — на любую просьбу ему ответят отказом.

Муниципальный совет вообще-то был малоприятным заведением: чиновники его всегда всем во всем отказывали, твердя единственное слово: нет.

Просить разрешения взять на время лодку также не имело смысла — его наверняка бы спросили, куда он собрался. И тогда он вспомнил, что отец вытащил на берег старую, с пробойной на дне плоскодонку, которая рассохлась и не держала воду. Торкель направился на задворки и нашел лодку. Окинув плоскодонку взглядом знатока, он сразу понял, что ее можно починить, и тотчас уверенно принялся за дело. С помощью мха и пакли ему удалось всего за шесть часов проконопатить лодку. Поначалу она давала течь, но мох вскоре разбух, и, трижды вычерпав воду, Торкель наконец направил ее в пролив. Без черпака, правда, не обойдешься, но ветер был попутный, и, приладив вместо паруса большую ветку с листвой, Торкель поплыл. Плоскодонка шла медленно, но его переполняла гордость оттого, что в собственной лодке он плывет навстречу будущему, а с наветренной стороны у него — открытое море.

Когда после четырех часов плавания он обогнул северный мыс Скамсунда и увидел Фагервик, залитый волшебным светом захо-

дящего солнца, он подумал, что частица его мрачного прошлого осталась позади. Мысль о том, что он сумел убежать, вселяла чувство собственного достоинства, а страх, что его могут вернуть, гнал вперед.

На случай, если его схватят, он твердо решил терпеливо снести все наказания и подождать, пока представится новый случай бежать. Он все равно будет добиваться своего, пока не достигнет цели.

Ветер стих, и мальчик сел на весла, но перед ним по-прежнему высился Скамсунд. Выжженные добела горы, выкрашенные в красный цвет свинарники, черное здание Карантинного дома... Он греб что было мочи, но Скамсунд следовал за ним по пятам. Один раз Торкелю даже показалось, что на вершине лощманской горы стоит инспектор и следит за ним в подзорную трубу. Мальчик из последних сил налег на весла и, обогнув мыс под сенью ольшаника, почувствовал наконец, что штевень царапнул песок.

Выйдя на берег, он вытащил лодку и облегченно вздохнул. Кругом стоял лес, ухоженный, красивый лес, где каждое дерево служило украшением, а не пользы ради. Меж высоких елей поднимались большие кусты шиповника, стебельки цветков на них были такими тоненькими, что казалось, будто цветки, словно бабочки, парят в воздухе. На других кустах пели зяблики, а в самых темных уголках лесной чащи ворковали голуби.

По ровной, мягкой, точно ковер, тропинке он пошел вперед, в глубь леса. А там, словно в большом зеленом зале, где все были одновременно и хозяевами и гостями, были расставлены столы и скамейки... Потом он увидел, что по лесу с пением и музыкой движется целая компания. Несмотря на будни, на всех была праздничная, светлая одежда. Люди шли небольшими группками, старшие обнимали друг друга за талию, дети держались за руки. И все казались добрыми, радостными и счастливыми, и у всех были тонкие красивые лица и белые руки.

Сойдя с тропинки, мальчик бесстрашно поднялся на поросший черничником холм — он вспомнил, что остров примечателен тем, что змей, которых видимо-невидимо на Скамсунде, здесь вовсе не водилось.

Встречные дружелюбно улыбались ему, удивление на его лице не вызывало у них насмешек, и в превосходном настроении он пошел дальше.

Лес поредел, открыв внезапно лужайку, окаймленную множеством незнакомых ему цветов. Посреди лужайки мальчики и девочки играли в мяч. На них тоже, видимо, было их лучшее платье, а головы украшали разноцветные шапочки, в тон которым словно были подобраны такие же разноцветные мячи. Дети играли без ссор и драк. Это больше всего удивило Торкеля — на Скамсунде ни одна игра не обходилась без жестокой драки.

Он двинулся дальше по ровным мягким тропинкам, которые, подобно ковровым дорожкам, расстилались у его ног, такие не-

похожие на усыпанные камнями бугры на другом берегу пролива. А когда он дошел до холма, поросшего дубняком, и увидел вековые исполинские деревья, каких никогда прежде не встречал, его охватил трепет перед этим чудом природы. Огромные зеленые своды напоминали церкви, соединенные друг с другом свободно висящими в воздухе арками. А под зелеными сводами лежали зеленые же ковры мягкой, невысокой травы. Такой невысокой, что можно было ходить по ней босиком или валяться, не боясь притаившейся там змеи. Здесь же росли неизвестные ему красивые цветы, каких он тоже никогда не видел.

Но вот он приблизился к оgrade, за которой стояла стена какой-то высокой, на несколько локтей от земли, травы, так аккуратно посеянной и такой ухоженной, что все стебельки были одинаковой высоты и оканчивались одинаковыми петушками. Никогда прежде он не видел поля и, сорвав один колосок и понюхав его, почувствовал запах, похожий на запах свежее испеченного ржаного хлеба! И тогда он сразу все понял! От легкого ветерка рожь колыхалась, и это напомнило ему слабое колыханье морских вод. Казалось, будто от чьего-то незримого теплого дыхания поле передвигалось, меж тем как стебельки ржи стояли недвижимо, и колосья, тихо шелестя на ветру, что-то шептали друг другу. Маленькая желтоватосерая птичка пыталась было сесть на колосок и поклевать зернышки, но колосок согнулся, и птичка потонула в этом зеленом море.

Вдруг рядом послышалось странное кряканье, словно взмыла ввысь стая уток: арп-снарп, арп-снарп! Но то были вовсе не морские птицы, да и вообще никто не поднялся ввысь. Торкель не испугался, но его одолело любопытство; он всегда любил животных и теперь, боясь причинить птицам вред, взял маленький-премаленький камешек и бросил туда, откуда доносились звуки. Но ни одна птица не взлетела. Все стихло.

Он пошел дальше тропинкой, вьющейся между полями, и внезапно услышал тот же самый звук, но уже с другой стороны. Захлопав в ладоши, он свистнул, чтобы спугнуть птиц, но опять все стихло — казалось, ни одна былинка не шевельнется.

Не успел он сделать нескольких шагов, как снова услышал за спиной те же дразнящие звуки, словно кто-то решил над ним пошутиться. Колдовство, да и только! Все это было забавно и внове, но совсем не страшно.

Впереди между березками показались домики, и, ускорив шаг, он добрался до ручья. Через ручей был перекинут небольшой мостик с резными раскрашенными перилами, а за мостиком, вдоль берега, шла песчаная дорога. Слева от дороги раскинулся голубой пролив с зелеными, поросшими ольхой мысами. Вдоль пролива стояли рядом домики, похожие друг на друга: хорошенькие, нарядные, с открытыми верандами, развевающимися занавесками, флажками и лужайками, усажеными розами. Стояла пора цветения роз, и кусты были просто усыпаны цветами; казалось, они залили кусты, как вода из переполненного горного ручья заливают долину.

От многих домиков выдавались в пролив причалы с пришвартованными белыми шлюпками, яхтами, катерами.

Он заглядывал в окна и видел сидевших в комнатах празднично разодетых людей; на заднем крыльце сидели, сложа руки и ничего не делая, служанки. Время от времени из окон доносились чудесные звуки музыки и пения, красивые, подчас замысловатые и торжественные мелодии, совсем иные, нежели в церкви. В мальчишке все дрожало от восхищения, им овладевали новые, незнакомые ему прежде чувства. Все было как в сказках или в прекрасных мечтах: совершенно иной, прекрасный мир; мир, который звался Фагервик... И вдруг на другом берегу пролива, на Скамсунде, прямо напротив него, мелькнул Карантинный дом. Да, там лежала совсем другая, мрачная земля и жили на ней другие — угрюмые и жалкие люди.

*

Он отыскал ресторан, и его провели в залу, где множество людей сидело за столами и пирило под звуки таинственной и сладостной музыки. У стойки расположилась компания мужчин и дам, беседовавших с ресторатором.

— К сожалению, господа, сегодня вечером у меня некому ставить кегли; мальчонка-то в море!

— Ах, какая досада! — раздался голоса.

В этот миг взгляд ресторатора упал на Торкеля, и он спросил его:

— Может, ты хочешь ставить кегли?

— Да, охотно! — ответил тот.

Молодые дамы из компании у стойки стали гладить его по голове и, подхватив под руки, упорхнули, называя своим спасителем и всякими другими приятными словами.

Через несколько минут Торкель уже расставлял кегли; он следил за игрой, был внимателен и вежлив; пройдя суровую школу жизни, он умел не отвечать на фамильярность подобной же фамильярностью, а на шутку — шуткой. Каждое изъявление дружелюбия он принимал с выражением скрытой застенчивости и благодарности, а каждую шутку — с молчаливой улыбкой. Игра продолжалась битых два часа, а в перерывах между партиями, из разговоров за стаканом вина, он понял, что эти мужчины и дамы — родственники. Свидевшись после долгих лет разлуки, а может, и размолвки, они не нарадуются встрече, а может, и примирению. Более пожилые молодели на глазах, молодые бурно выражали свою радость.

Когда игра окончилась, Торкель стал прислуживать в умывальной, а увидев в тазу черный ободок грязи, вынес таз на пригорок и хорошенько вычистил его песком.

Какой-то пожилой господин, стоя в дверях, наблюдал за мальчиком, и когда мальчик с фуражкой в руке принес таз обратно, пожилой господин, дружески потрепав его за ухо, удивленно спросил:

— Где ты научился тому, чему я целых тридцать лет не могу выучить своих служанок?

— У заведующего карантинном! — ответил Торкель.

— Хороший был у тебя наставник, да и сам ты хороший парень.

С этими словами пожилой господин протянул Торкелю крону. Одна из молодых дам, слышавшая этот разговор, взяла мальчика за руку, потянула его к столу, чтобы угостить стаканом содовой — Торкель вспотел, и вид у него был усталый. Но здоровое природное чутье мальчика подсказало ему, что другим это может не понравиться. И он с поклоном, учтиво, чтобы не обидеть молодую женщину, отклонил приглашение. Это окончательно закрепило триумф Торкеля, и на него посыпались вопросы: как его зовут? сколько ему лет? и многие другие.

Но вот вся компания ушла, и Торкель остался один. Он решил отнести на кухню поднос с грязной посудой и стал собирать посуду со стола. На дне каждого бокала осталось по несколько капель жидкости, особенно его внимание привлекла своим цветом и запахом красная — наверное, вино! И он поднес бокал к губам. Но в тот же миг ему пришло в голову, что допивать чужой стакан — стыдно, и, выплеснув остатки вина за дверь, он взял поднос и пошел на кухню. Ему почудилось, будто в окне за плечом у него показалось и тотчас исчезло какое-то светлое пятно, похожее на человеческое лицо. Когда он подошел к стойке, пожилой господин разговаривал с ресторатором. Судя по тому, как они оба тотчас понизили голос, мальчик понял, что говорили о нем. И он тут же отступил на несколько шагов назад.

— Послушай-ка, Торкель, — сказал ресторатор, — хочешь остаться у меня?

Хочет ли он? Еще бы! Только разрешит ли муниципальный совет?

— Это я беру на себя! — ответил ресторатор, и вопрос тем самым был решен.

Никогда в его жизни ни одно желание не исполнялось так легко, и мальчик счел это чудом. Все его страхи исчезли.

Вечером его определили «егерем» и облачили в темно-зеленый костюм с блестящими пуговицами в три ряда, как у гусара. И когда он вошел с газетами в танцевальный зал, он ощутил себя значительной персоной, перед которой расступались и мелкие услуги которой принимались не иначе как с просьбой: «Не будете ли вы любезны сделать то-то и то-то».

А завершился день музыкой — в саду играл оркестр, горели разноцветные фонарики, пускали фейерверки. Ну точно в сказке!

Дни проходили как сплошной праздник: танцы, пение и игры, переодевания и карнавалы, шествия, кончавшиеся обычно театральным представлением. Торкель двигался словно в тумане, не теряя, однако, головы и не переставая удивляться тому, что мир по эту сторону пролива такой светлый, люди такие добрые — весь день напролет и все дни подряд.

Об отце его не было ни слуху ни духу; полагали, что он либо утонул, либо перебрался в Финляндию; само собой разумеется, что он не вернется только ради того, чтобы тут же угодить в тюрьму. Торкель не скучал по отцу; наоборот, он страшился его возвращения. Не оставляло его и чувство беспокойства из-за муниципального совета, несмотря на уверения ресторатора, что он-де все уладил. Иногда по ночам мальчику снилось: вот за ним приходят, забирают и он снова принимает и подсчитывает кожи в Карантинном доме. Иногда, просыпаясь в своей чердачной каморке, видя, как солнце освещает высокие липы перед домом, и слыша щебет птиц и жужжанье пчел, он вспоминал слова отставного таможенного служителя Викберга о горе Эбал, горе проклятия, обители греха и безбожников, что высится здесь, на этой стороне пролива. Он не знал, что и думать. Люди здесь были не в пример красивее и добрее, нежели на той стороне пролива. Правда, у них были свои недостатки, которые Торкель успел узнать, но он старался в это не вникать, точно так же, как был слеп и глух ко всем рассказам товарищей про их хозяев. Перед ним постоянно маячила одна-единственная цель: добиться независимости от муниципального совета и получить место, чтобы прокормиться своим собственным трудом, лучше всего на море, где ему было так хорошо, а еще лучше — в королевском флоте. Поэтому он приучал себя к лишениям, к самообладанию и копил все монетки, которые перепадали ему на долю. Он полюбил деньги как путь к свободе, и ему хотелось только одного: чтобы сбережения его росли чуть-чуть быстрее. Правда, был еще один способ разжиться деньгами, к которому прибегали товарищи Торкеля — официанты, пытавшиеся и его обучить своей науке. Однако бесчестный отец мальчика внушил такие твердые правила честности своему сыну, что Торкель ни разу не поддался искушению. Непорядочными по природе, отец тщетно боролся со своими дурными наклонностями, поэтому он сделал все, чтобы искоренить у сына порочные влечения, в злосчастных последствиях которых он мог убедиться воочию. Жители Скамсунда называли отца Торкеля лицемером, ибо он без устали, будучи сам подлецом, пытался внушить сыну высокие моральные принципы.

— Неужто вы не понимаете, — объяснил им однажды локман, — неужто вы не понимаете: я хочу, чтобы сын был лучше отца.

— Сперва сам стань лучше! — ответил таможенный служитель Шёстрём.

— Нет, — ответил Эман, — это не в моих силах, но я буду счастлив, если смогу наставить на путь истинный мальчонку, а он еще не раз скажет мне спасибо за науку!

Заведующий карантинном, который слышал этот разговор да и сам был большой пройдоха, сказал как бы в заключение:

— Имея перед глазами ужасающий пример Эмана, Торкель должен стать образцом честности и трезвости.

И слова его сбылись.

Лето шло своим чередом, жаркая пора подходила к концу, когда Торкель отправился однажды с поручением на другой конец острова. Утром у него произошла первая мелкая неприятность в гостинице, и он был очень огорчен. А случилось вот что: метрдотель, следивший за будильником, поднимавшим Торкеля по утрам, забыл завести часы, и мальчик проспал. Чтобы постояльцам не мешала беготня по коридорам, прислуге было запрещено вставать слишком рано. С другой стороны, встать слишком поздно считалось и вовсе преступлением, поскольку нарушался весь утренний распорядок в гостинице, и беспокойные постояльцы начинали ворчать из-за не поданного вовремя кофе или воды, из-за невыглаженного платья или невычищенной обуви. Мальчик был не виновен в этом проступке, однако гнев хозяина все же обрушился на его голову. Торкель оправдывался оплошностью метрдотеля, но когда того призвали к ответу, он стал врать и изворачиваться. И Торкель же оказался в лгунах. Вся его душа возмутилась ложными обвинениями и несправедливостью; он забылся. В ответ он получил две пощечины — одну от ресторатора, другую от метрдотеля, а вдобавок хозяин выкрикнул страшную угрозу: пусть, мол, Торкель убегает к себе домой, в свой свинарник на другом берегу пролива.

Предоставленные самим себе постояльцы впервые грубо отчитали его, что причинило еще большее огорчение мальчику, привыкшему видеть вокруг одни лишь приветливые лица.

Это был поистине злосчастный день!

И когда Торкеля послали с каким-то поручением на другой конец острова, он испытал облегчение, оставшись наконец в одиночестве. Тут он впервые заплакал из-за несправедливостей жизни и впервые же понял, что он на свете один-одинешенек.

Все вокруг померкло, все казалось грубым и мерзким, все, что он видел и слышал дурного и от чего сознательно отстранялся, сразу навалилось на него. И он понял: люди на этом берегу ничуть не лучше, чем на том. Просто они носят нарядные одежды, скрывающие их грязные души. Да и приезжают они сюда, собственно говоря, чтобы попытаться отмыться. Торкель вспомнил слова Викберга на вершине горы о том, что здесь — гора Эбал, обитель греха. Так оно и было на самом деле, ведь никто из здешних господ не работал, все они вели разгульную жизнь, точь-в-точь как блудный сын. Ночи напролет они пьянствовали и вставали с покрасневшими глазами, когда солнце уже стояло высоко в небе. А жены их гуляли в лесу с молодыми людьми, и уж там-то происходило такое, что никак нельзя было назвать пристойным.

Торкель дошел до ржаного поля, уже пожелтевшего, как толсто намазанный маслом бутерброд. Все еще цвели васильки и маргаритки, такие беззаботные, словно и знать не знали, что скоро их срежет коса. На Скамсунде цветы не росли, а здесь у мальчика никогда не было времени сорвать хоть несколько цветочков. Не раздумывая, перепрыгнул он канаву и только было протянул руку за васильком, как совсем рядом снова послышался тот же самый удивительный треск. Он звучал предостережением, но мальчик воспринял его как насмешку. Шикнув, чтобы спугнуть шутника, он взялся за цветок, не сходя с межи, ибо хорошо знал, что топтать поле — нехорошо.

Треск продолжал предостерегать его, но мальчик, считая его лишь веселой забавой, продолжал свое невинное занятие. И вдруг услышал сердитый окрик за спиной:

— Ты чего поле топчешь, такой-сякой! Вот я тебе покажу!

— Да я вовсе не по полю хожу, а по меже... — только и успел ответить он, так как арендатор набросился на него.

Торкель кинулся бежать и, перескочив через ограду, помчался лесом, пока не выбился из сил и не упал, споткнувшись о корень дерева.

Он так запыхался и изнемог от усталости, что остался лежать на земле; и вот тут он заплакал — о всей своей жизни, обо всем на свете. Но больше всего горевал он о том, что утратил веру в рай на этом берегу пролива, веру в живущих здесь, по его прежним представлениям, добрых людей. Ведь если тут все так прекрасно и вместе с тем так скверно, то в других местах и подавно не лучше!

Наконец он выплакался, поднялся и бесцельно побрел вперед, лишь бы не стоять на месте. Вдруг среди стволов он увидел длинное красное строение, длинное, как корабль с накренившимся ахтерштевнем. Строение это показалось ему новым и незнакомым, от него доносилось жужжание, словно там сидел и верещал козодой. Торкель подошел ближе и еще больше удивился. Два парня что-то тащили за собой, пятась назад. Из любопытства он подошел еще ближе к таинственному дому и понял, что здесь делают веревки. Уступая вполне безобидному любопытству, он остановился у изгороди и стал внимательно смотреть, как крутят веревки. То ли рабочие сочили, что смешно выглядят, когда пятаются назад, то ли подумали, что мальчик, болтаясь без дела и наблюдая за их работой, смотрит на них свысока, только в Торкеля вдруг полетело полено, ударившись в изгородь перед самым его носом. Удар сопровождался грубым окриком:

— Ну, чего уставился?

Все произошло так неожиданно и беспричинно, что мальчику стало горько вдвойне. И особенно оттого, что он восхищался ловкостью рабочих, превращавших обыкновенную паклю в ровную, одинаковой толщины веревку.

Не вымолвив ни слова, он ушел с ощущением, что в этот день против него объединились и люди и природа!

Теперь ему больше всего хотелось держаться подальше от всяких домов, но дорога вела прямо к ним, и ему волей-неволей пришлось пройти мимо. Один из домиков со стеклянной верандой стоял у самой опушки леса. Он узнал его по красивым занавескам и роскошным цветочным клумбам в палисаднике. Здесь жили молодые, красивые новобрачные, которым он не раз подавал обед в ресторане. Оба они были олицетворением счастья, здоровья и радости. Когда же они входили в зал, казалось, зажигались свечи или сквозь раздвинутые занавеси врывались лучи солнца. Мальчик однажды ездил с ними ловить рыбу и в детском своем неведении почитал их не людьми, а ангелами.

Но вот теперь он шел мимо раскрытых настежь окон веранды, и из-за сосен гремел мужской голос, более похожий то на рев разъяренного зверя, то на змеиное шипение; его перебивал пронзительно-резкий женский голос — то заикающийся, то плачущий... И Торкелю показалось, будто по ветвям молчаливых, терпеливых деревьев, по тихим благоухающим цветам пробежала дрожь, а собственную его грудь пронзила боль, когда он узнал знакомые голоса и увидел, как страшно искажены знакомые ему прекрасные лица, обращенные друг к другу. Он взглянул на небо, не затянуто ли оно облаками, но небо было светло-голубым, и это удивило его. Будь он владыкой небесным, он бы при виде подобного зрелища опустил на землю завесу из самых черных туч.

Сомнений не было: то были люди, а не ангелы! И, горя оттого, что прекрасное может стать таким уродливым, он снова убежал в лесную чашу.

Там росли рядом два дерева — старый дуб и старая осина. В молодости осина слишком близко придвинулась к могучему дубу, и вот уже десятилетия кряду сражались они за место в лесу. Дуб одержал верх, но более слабая осина выткнулась ввысь так близко к своему опасному соседу, что стволы их соприкоснулись и в дубе образовался желоб, где и спрятала свой ствол осина. День был ветреный, и соперник с соперницей терлись друг о друга, так что только скрип да треск стоял. Торкель знал «брата с сестрой», как называли их в округе, и издалека не раз слышал отзвуки их суровых ласк. И когда он теперь увидел их, в памяти всплыло воспоминание о прочитанной книжке, о том, как дикари добывают огонь трением одного куска дерева о другой. Ныне лето стояло очень сухое, и из боязни лесного пожара было запрещено даже курить в лесу. И вот в самой чаше сухого леса с помощью этого ужасного древесного огнива вот-вот мог вспыхнуть огонь.

Странные мысли нахлынули на Торкеля.

Почему именно сейчас добывают дуб с осинной огнем острову на погибель? Неужто бог, разгневавшись на Фагервик, решил испепелить остров, как Содом и Гоморру? Если займется огонь, запылают все дома до единого, а людям придется, спасаясь от дыма

и пепла, бросаться в залив! Ведь не один лесной пожар вспыхнул от такого вот трения дерева о дерево.

Сев на пень, он огляделся в надежде увидеть клубы дыма и огня. Пусть Фагервик сгорит, ибо все здесь не что иное, как сатанинское наваждение! И если он выгорит дотла, как Скамсунд, то можно будет жить и на его родном острове и мириться с тамошней жизнью, коль скоро исчезнет и перестанет искушать и тревожить душу обетованная земля на этом берегу...

Но он тут же счел эту мысль безбожной и даже испугался, словно невольно оказался свидетелем поджога; он встал и торопливо ушел.

Торкель миновал целебный источник, где некогда лечились минеральными водами и где до сих пор висели костыли, оставленные на память об исцеленных болезнях. Потом взобрался на холм, на самом верху которого стоял храм памятником какому-то королю. На небольшом лужке Торкель постоял под сенью дубов, отбрасывавших зеленые, шевелившиеся от ветра тени, поднялся еще на один холм с отслужившей свой век мельницей и вскарабкался по лесенке наверх. И перед ним во всей своей красе и богатстве раскинулся Фагервик; а обернувшись, мальчик увидел Скамсунд с его Карантинным домом и церковью и далеко-далеко — открытое море с маяком. Туда, к морю, влекла его мечта, и он понял наконец, что сбился с пути, который — он верил в это — так или иначе приведет его к цели.

Взволнованный, охваченный детским смятением перед тем великим неизведанным, что зовется будущим, он вдруг увидел в заливе гонимый попутным ветром белый учебный бриг с королевским флагом на грот-марсе, с лоцманским гюйсом на бом-кливере и целым набором сигналов на штаге.

А у каждой реи стояли одетые в белое мальчики, готовые в любую минуту убрать паруса... Вот куда влекла Торкеля его мечта.

Он наблюдал за маневрами судна, надеясь, что бриг ляжет в дрейф и бросит якорь. И мальчик принял дерзкое решение — подкараулить кого-нибудь из офицеров, завсегдатаев ресторана, и безо всяких обиняков просить у него место юнги.

Он следил за тем, что делалось на борту, за парусами, за малейшим изменением курса рулевым.

Бриг меж тем миновал купальни: вот-вот начнут брасовать бак, вот-вот якорь ляжет на банку, вот-вот... Бриг и впрямь уже спустил сигналы, затем лоцманский гюйс и, держа курс... поплыл вниз по течению, и мимо, мимо заливов! Исчез, словно светлая мечта, унося с собой надежды Торкеля на будущее.

Он спустился с мельницы, потом с холма и снова очутился под сенью дубов. Здесь, хотя и под купами деревьев, все же ощущаешь себя на воле, и перед тобой расстилается широкий простор. Проходя дубовой рощей, он вдруг увидел посреди лужка маленькую девочку лет пяти, не старше. Она стояла совсем одна, сунув пальцы в рот, и в отчаянии озиралась вокруг. Две невысохшие слезинки блестели у нее на щеках.

— Что ты делаешь одна в роще? — спросил мальчик.

— Все меня бросили, — отвечала она.

— Хочешь пойти домой?

— Да-а!

— А как тебя зовут?

— Алиса!

— Где же ты живешь?

— Возле купальни!

Торкель сразу догадался, кто перед ним, и направился к купальне.

— Хочу, чтобы ты вел меня, — сказала девочка и протянула ему ручку.

Мальчик взял эту мягкую детскую ручонку, такую крошечную и нежную, что он едва осмелился дотронуться до нее. И подумал о том, какие злые у нее братья и сестры! Как могли они бросить малютку одну в роще, где на воле пасутся лошади. И пусть они не представляют опасности, они могут напугать маленького ребенка.

Когда Торкель и Алиса поравнялись с купальней, малютка показала на один из самых больших домов:

— Здесь я и живу! Прощай!

И шмыгнула в калитку, а мальчик подумал: «Вот она — благодарность!»

Но тут появился тот самый пожилой господин из кегельбана, и, махнув Торкелю рукой, чтобы тот остановился, заговорил с девочкой:

— Где ты была, детка?

— Где, в роще! А все меня бросили, потому что они плохие!

— Я же просил тебя не ябедничать! — И обратился к Торкелю, точно давно ждал его: — Заходи, мой мальчик, я хочу поговорить с тобой!

Торкель вошел в дом и только теперь заметил, что пожилой господин был одет во флотскую форму, но знаков различия он не разглядел.

— Послушай, Торкель, — начал он, — что с тобой, отчего ты такой печальный?

Мальчик чуть было не поддался вполне естественному желанию пожаловаться, но вовремя вспомнил решительные слова, только что сказанные ребенку: «Не ябедничать!»

И он коротко, но учтиво ответил:

— Да так, ничего!

Но пожилой господин продолжал расспрашивать:

— Тебя обидели?

Ответ на этот вопрос напрашивался сам собой, но ясный разум мальчика подсказал ему: надо преодолеть искушение и не отвечать так, как ему того хотелось, и он совладал с собой:

— Да нет, просто мелкие неприятности!

Строгое, испытующее выражение лица офицера чуть смягчилось и исчезло; он взял Торкеля за руку и повел в сад. Сев на скамью и рисуя палочкой на песке, он заговорил:

— Послушай-ка, мой мальчик! Я обратил на тебя внимание, когда ты в первый раз ставил кегли в кегельбане. Видишь ли, ты так славно держишься. И я сразу же решил подвергнуть тебя испытанию, посмотреть, сможешь ли ты слушаться, не рассуждая! Ты смог и... ты сумел удержаться и не выпить остатки вина из бокала! Так вот, я знал твоего отца, он плавал со мной много лет и был, как тебе известно, бездельник из бездельников. С тех пор я не выпускал тебя из виду и... сегодня утром я случайно зашел в гостиницу сразу же после того происшествия... ну, ты знаешь. Свидетель тогда уже подтвердил, что ты не виновен в упущении по службе. Когда я спросил, не обидели ли тебя, я хотел проверить, способен ли ты переносить несправедливость как настоящий мужчина, не ябедничая и не жалуясь. Против ожидания, ты выдержал испытание. Ведь ничего нет хуже несправедливости. Но с другой стороны, тому, кому не дано этому научиться, не дано и жизнь прожить — поверь мне! — Тут он обернулся поглядеть, не подслушивают ли их. — Всюду и везде царит только несправедливость! Всюду и везде! — Он стряхнул соринку с галуна на рукаве, и Торкель увидел, что пожилой офицер был всего-навсего лейтенантом. — Но, понимаешь, такова жизнь! Вечная спешка и столько разных дел надо сделать зараз! Бывает, что впопыхах и затрепину схватишь, а в другой раз и сам ни за что оплеуху влепишь. Вот так все и квиты! А сводить счета с людьми не годится... Слушай-ка, а ты умеешь управлять парусником?

— Да, умею!

— Хочешь быть юнгой у фок-штока на моем корабле?

— Это — шхуна?

— Я вижу, ты согласен, остается уладить дело с ресторатором и муниципальным советом. Но я уже все устроил. Ступай к твоему хозяину и попросайся с ним по-хорошему! Можешь сказать доброе слово и метрдотелю: ему-то досталось! И отругали его как следует, и пару пощечин схватил! Потом приходи сюда, на берег, будешь крепить оснастку на шканцах. Корабль стоит у дальнего конца пристани! Не за что меня благодарить! Таких ребят, как ты, днем с огнем не сыщешь, а будешь стараться... попадешь на флот... да, да, если будешь стараться. Так что шагом марш! Постой-ка! Скажи, Алиса поблагодарила тебя за помощь?

Торкель молчал, не желая ябедничать.

— Так, стало быть, не поблагодарила. Алиса! — закричал он. Алиса была тут же неподалеку.

— Иди сюда и скажи спасибо мальчику за то, что он проводил тебя домой.

Алиса подошла, встала на цыпочки и, видимо, по привычке, протянула мальчику свои маленькие губки, чтобы поблагодарить его поцелуем.

Отец улыбнулся; Торкель взял девочку за обе ручонки, покраснел и сказал вместо нее:

— Спасибо, большое спасибо!

И побежал в гостиницу, а перед ним был Фагервик — снова

притягательный и прекрасный. Торкель опять полюбил людей, даже того метрдотеля, который поступил с ним так несправедливо! Но то, что счастье идет рука об руку с несчастьем и время от времени словно высылает вперед передовой отряд трудностей, это он запомнил на всю жизнь. Так что когда впоследствии его постигало — и довольно часто — горе, он всегда думал: «Ну, теперь и счастье не заставит себя ждать».

*

Подул утренний ветерок, и шхуна снялась с якоря. Торкель стоял на носу корабля у фок-шкота. На нем была синяя куртка и белые брюки, белые парусиновые башмаки и матросская бескозырка со свисающей лентой. Белые (ну просто бальные!) башмаки легко скользили по блестящей, словно полированный столик в гостиной, надраенной палубе. Что могло сравниться с этим чудом? Он чувствовал себя важным господином.

Старший лейтенант стоял у штурвала, и из-за контр-бизани доносились его команды:

— Отдать концы! Пал! Кливер! Обе стеньги!

У корабля словно выросли крылья. Он летел вперед, красуясь на плаву, точно гага; казалось, он гордился своим быстрым бегом, а бом-кливер, как компас, указывал курс.

С одного борта корабля торжественно проплывал мимо Фагервик, и ресторатор на берегу салютовал им флажком. Скамсунд был скрыт парусами, но Торкелю не терпелось взглянуть на него еще раз, чтобы ощутить полноту своего счастья!

Никто из команды не знал, куда держит Курс корабль, но, увидев, как одет «старик» — так называли матросы капитана, — все сразу догадались.

— Идем в город! — шепнул один старый бывалый моряк.

— Понятно! В Гольм!

Когда спустя час корабль переменял галс как раз посреди фарватера, стало ясно, что путь их лежит в Стокгольм.

И мальчик, стоя у фок-штока, зорко всматривался вперед, туда, где, скорее всего, был город, куда шли все корабли, город, который он никогда не видел!

СКАЗАНИЕ О СЕН-ГОТАРДЕ

Субботний вечер пришел в селение Гёшен, что лежит в Ури, одном из четырех первичных кантонов, кантоне Вильгельма Телля и Вальтера Фюрста. На северной стороне Сен-Готарда, там, где звучит немецкая речь, где обитают тихие, приветливые люди, имеющие право самолично решать собственные дела, где «священный лес» служит защитой от лавин и обвалов, расположена укрытая зеленою деревенька на берегу ручья, который вращает мельничное колесо и кишит форелью.

На исходе субботы, когда церковный колокол отзвонит к вечерне, обитатели селения собираются возле колодца под большим раскидистым орехом. Приходят почтмейстер, амтман и даже сам староста, все без пиджаков, у каждого коса на плече. Они приходят после косьбы, чтобы ополоснуть колодезной водой свою косу, потому что работа здесь в почете, а своими руками оно как-то верней. Потом приходят молодые парни, тоже с косами, потом приходят девушки с подойниками, а последними являются коровы местной породы, великанской породы, когда каждая корова вымахала ростом с быка. Плодородна эта земля и благословенна, вот только виноград не растет здесь, на северной стороне Готарда, и олива не растет, и шелковица тоже не растет, и буйная кукуруза. Зеленая трава, да золотая рожь, да высокий орех, да сочная репа составляют истинную славу этой стороны.

Трактир «Золотой конь» стоит возле колодца, под отвесным склоном Сен-Готарда, и там в саду за длинным общим столом сидят после дневных трудов усталые косцы, все за одним столом, без различия чинов и званий: амтман, почтмейстер, староста рядом с батраками, фабрикант, изготавливающий соломенные шляпы, и его рабочие, маленький деревенский сапожник, учитель и все остальные.

Они толкуют о видах на урожай и об удоях, они хором поют, и в этих песнях звучат незамысловатые трезвучия, напоминая звук пастушьего рожка и коровьего колокольчика.

Они поют о весне и ее чистых радостях, зеленых, как вера, и голубых, как надежда.

И еще они пьют светлое пиво.

После чего молодежь встает из-за стола, чтобы поиграть, побороться и попрыгать, потому что завтра стрелковый праздник, стало быть, надо хорошенко поразмяться накануне.

А потом раньше обычного рога трубят вечернюю зорю, чтобы никто не явился заспанным и усталым, потому что им предстоит защищать честь родной деревни.

Воскресенье заявило о себе колокольным звоном и солнечным сиянием; люди в праздничных одеждах стекались из окрестных сел, и у всех был свежий и спокойный вид. Почти все парни сменили ради такого дня косу на ружье; женщины и девушки посылали им взгляды любопытные либо подбадривающие, ибо здесь учатся стрелять на потребу дома и семьи, а лучший стрелок знает, что откроет танцы с самой красивой из девушек.

Подъехала огромная плетенка, влекомая четырьмя вороними конями в цветах и лентах, вся плетенка выглядела словно зеленая беседка со скамьями; людей не было видно, но зато можно было услышать доносящееся изнутри пение, складное, высокоголосое пение о швейцарской стране и швейцарском народе, самой прекрасной стране и самом храбром народе.

Потом явилась процессия детей, они шли попарно, держась за руки, словно добрые друзья либо словно маленькие женихи и невесты.

И с ударом колокола все двинулись к церкви.

А когда кончилось богослужение, начался праздник, и со стрельбища, прислоненного к могучему склону Сен-Готарда, донеслись первые выстрелы.

Сын почтмейстера по праву считался лучшим стрелком, и не было никаких сомнений, что приз и нынче достанется ему. Он отстрелялся, из шести раз четырежды попав в яблочко.

Но тут с горы донесся грохот и чей-то звучный голос; камни и осыпь покатались по склону, и ветви в священном лесу сотряслись, будто от порывов бури. Вскоре на каменную глыбу, размахивая шляпой, ступил с ружьем на плече вольный охотник Андреа из Ареоло, итальянского поселения в кантоне Тессин, что по ту сторону перевала.

— Не ходи в лес! — хором выкрикнули стрелки.

Андреа не понял криков.

— Не ходи в священный лес, не то гора придет к нам! — закричал и амтман.

— Пускай приходит! — отвечал Андреа и припустил со всех ног по крутому склону. — А вот он я!

— Ты пришел слишком поздно! — сказал амтман.

— Я никогда не прихожу слишком поздно! — отвечал Андреа и направился к стрельбищу; он шесть раз прижался щекой к прикладу и шесть раз попал в яблочко.

Его и следовало бы провозгласить победителем, но община жила по своим законам, а главное — здесь не любили черномазый романский народ, обитающий по ту сторону горы, где растет виноград и прядут шелк. Вражда была старая, закоренелая, и выстрелы Андреа тут ничего не меняли.

Но Андреа подошел к самой красивой девушке, а самой красивой была дочь амтмана, и учтиво пригласил ее открыть вместе с ним танцевальный праздник.

Красавица Гертруд вся вспыхнула, потому что Андреа был ей по душе, но его приглашение она не приняла.

Тут Андреа помрачнел и, наклонясь, шепнул ей на ушко, ставшее от того пунцовым:

— Ты будешь моей, хоть бы мне пришлось дожидаться десять лет. Восемь часов я провел в пути, только чтобы повидать тебя, потому и опоздал, но в следующий раз я не опоздаю, даже если мне придется для этого пройти сквозь гору.

Праздник подошел к концу, а с ним и танцы. Теперь все стрелки сидели перед трактиром «У золотого коня», и Андреа сидел вместе с ними, но Руди, почтмейстеров сын, сидел на почетном месте, ибо он был лучшим стрелком, по правилам, разумеется; на деле-то лучшим был Андреа.

Руди решил поддразнить соперника.

— Эй, Андреа, — сказал он, — ты и впрямь меткий охотник,

но тебе должно быть известно: попасть в горного козла куда проще, чем добыть его.

— Уж коли попал, то, верно, и добуду, — отвечал Андреа.

— Ну, ну, полегче! Всем доводилось попасть в кольцо Барбароссы, а добыть его никому не удалось, — подначивал Руди.

— Что такое кольцо Барбароссы? — любопытствовал чужеземец, впервые оказавшийся в Гёшене.

— А в о н , — отвечал Р у д и . — Можешь поглядеть! — Он указал на горный склон, где на крюке висело большое медное кольцо, и продолжал: — Император Фридрих Барбаросса ходил этой дорогой в Италию; шесть раз прошел он здесь и был коронован в Милане и в Риме. Тем самым он стал римско-германским императором и повелел подвесить это кольцо на склоне горы с немецкой стороны в знак того, что он обручает Германию с Италией. Когда же это кольцо, как гласит предание, упадет с крюка, тогда будет расторгнут и брак, который оказался несчастливым.

— Вот я его и расторгну, — промолвил А н д р е а , — подобно тому как мои деды освободили мою бедную страну Тичино от тиранов из Швица, Ури и Унтервальдена.

— А сам ты не швейцарец, что ли? — гневно спросил амтман.

— Нет, я итальянец из швейцарского клятвенного союза.

После чего он зарядил свое ружье, вогнал в ствол пулю, прицелился и выстрелил.

Кольцо приподнялось и, снятое с крюка, упало вниз, кольцо Гогенштауфенов, кольцо Барбароссы.

— Да здравствует свободная Италия! — вскричал Андреа и подбросил в воздух шляпу.

Никто ему не ответил.

Андреа поднял кольцо, протянул его амтману и сказал:

— Спрячь это кольцо в память обо мне и о том дне, когда вы меня обидели.

Затем он подошел к Гертруд и поцеловал ей руку. Он поднялся на гору, исчез, показался снова, исчез в облаке, но немного спустя показался снова, уже гораздо выше. Вернее, не он, а его гигантская тень на фоне облака; он стоял, воздев кулак, и грозил немецкому поселению.

— Это сам нечистый! — воскликнул староста.

— Нет, это просто итальянец! — возразил почтмейстер.

— Так как час уже поздний, — сказала амтман, — я открою вам государственную тайну, потому что завтра о ней все равно напишут газеты.

— Слушайте, слушайте!

— Телеграф сообщил, что поскольку император Франции захвачен в плен под Седаном, итальянцы изгнали из Рима французские войска, и Виктор-Эммануил уже приближается к своей столице.

— Новость презренная! Значит, теперь конец прогулкам немцев в Рим. Верно, Андреа уже прослышал об этом, то-то он так задирался.

— Думаю, он знал больше того.
— А еще что? А еще что?
— Поживем — увидим. Поживем — увидим.
И они увидели.

В один прекрасный день они увидели чужих людей, те пришли и зачем-то начали разглядывать гору в бинокли; похоже было, что они смотрят на кольцо Барбароссы, во всяком случае бинокли они направляли именно туда. И еще они глядели на компас, словно без него не могли разобраться, где юг, а где север.

Затем был дан торжественный обед в «Золотом коне», и амтман присутствовал на нем. За десертом шла речь о миллионах и снова о миллионах.

Немного спустя им довелось увидеть, как разрушают «Золотого коня» и как переносят церковь, камень за камнем, чтобы отстроить ее чуть поодаль; они наблюдали, как уничтожают половину населения, как возводят казармы, как речушка меняет течение, как останавливает свой бег мельничное колесо, как закрывают фабрику и распродают скотину.

А потом наехало три тысячи чернявых рабочих, и все они говорили по-итальянски.

Отзвучали прекрасные песни о древней швейцарской земле и чистых радостях весны.

Вместо того день и ночь раздавался неумолчный грохот; там, где раньше висело кольцо Барбароссы, вгрызался в гору неумолимый бур и гремели взрывы: через гору собирались проложить туннель.

Проделать отверстие в скале, оказывается, не составляло большого труда, но тут надлежало пробурить два отверстия, по одному с каждой стороны, да так, чтобы они сошлись внутри горы, как по линейке, а уж в это никто не верил, потому что расстояние между входными отверстиями составляло полторы мили. Целых полторы мили!

— Подумать только, если они не встретятся, им придется начинать все снова.

Но старший инженер сказал:

— Они встретятся.

Андреа, что с итальянской стороны, верил в главного инженера, он и сам был меткий парень, как нам уже известно. Поэтому он вступил в рабочую бригаду и стал у них вожаком.

Работа была как раз по нему. Пусть он больше не видел солнечного света, зеленых лугов и белоснежных вершин, зато, как ему думалось, он прокладывает собственную дорогу к Гертруд, дорогу сквозь гору, по которой однажды в минуту похвальбы пообещал прийти к ней.

Восемь лет провел он в темном чреве горы, работал не щадя сил, чаще всего нагишом, потому что температура в горе была не меньше тридцати градусов. Порой он натыкался на русло реки,

и тогда ему приходилось работать в воде; порой же он входил в глиняный пласт, и тогда ему приходилось работать в грязи. Воздух почти всегда был испорченный, и товарищи падали один за другим, но им на смену приходили новые. Под конец свалился и сам Андреа, и его отправили в лазарет. Там ему вдруг взбрело в голову, что оба туннеля так никогда и не встретятся, и эта мысль терзала его всего сильнее. Никогда не встретятся!

В той же палате лежали парни из кантона Ури; когда их отпускал жар, они задавали всем один и тот же вопрос:

— Как вы думаете, мы встретимся?

Да, еще никогда прежде тессинцы и жители Ури так не мечтали о встрече, как здесь, в горе. Они знали, что если встреча состоится, это положит конец тысячелетней вражде, и прежние враги упадут в объятия друг к другу.

Андреа поправился и снова приступил к работе; участвовал он и в забастовке 1875 года, швырнул несколько камней, угодил в каталажку, но снова вышел.

В 1877 году пожар уничтожил Ариоло, его родную деревню.

— Ну, теперь я сжег за собой все корабли, — сказал тогда он, — теперь я могу двигаться только вперед.

19 июля 1879 года стряслась большая беда. Главный инженер вошел в гору, чтобы кое-что вымерить и подсчитать, и когда он стоял в туннеле, у него случился удар, и он умер. Прямо посреди туннеля. Здесь ему и предстояло лежать, как фараону, в высочайшей каменной пирамиде мира, а имя его Фавр — предстояло высечь на камне.

Годы между тем все шли и шли.

Андреа поднакопил денег, опыта, сил. В Гёшен он никогда не навещался, зато раз в год посещал священный лес и глядел на разруху, как он это называл.

Гертруд он никогда не видел, и писать ей он тоже не писал, да и к чему было писать, когда она неотступно жила в его мыслях, и он чувствовал, что угадывает ее волю.

На седьмой год строительства умер амтман, и умер в бедности.

«Какое счастье, что он обеднел», — подумал Андреа, а ведь так подумал бы на его месте не каждый жених.

На восьмой год приключилось нечто необычное.

Андреа первым стоял в туннеле с итальянской стороны и налегал на свой бур. Воздух был удушливый, да и того не хватало, и в ушах у Андреа зашумело. Тут он услышал стук, похожий на звук древоточца, который еще называют «часы смерти».

— Неужто пришел мой последний час? — вслух подумал он.

— Твой последний час! — ответил кто-то то ли в нем самом, то ли снаружи. И Андреа испугался.

На другой день он услышал такой же стук, но уже отчетливее, и решил, что это его собственные часы.

Но день спустя, в воскресенье, он не услышал вообще ничего, решил, что во всем виноваты его уши, и с перепугу пошел в церковь,

где мысленно посетовал на обманчивость жизни. Надежда его покинула, надежда дожить до великого дня, надежда получить высокую награду, назначенную тому, чей бур первым пройдет сквозь стену, надежда получить Гертруд.

В понедельник он снова налегал на свой бур впереди других, но работал теперь не так лихо, поскольку уже не верил, что они встретятся с немцами внутри горы.

Он бил и бил, но как-то без охоты, потому что и сердце его после болезни тоже билось без охоты.

Вдруг он услышал словно бы выстрел и грохот внутри горы, с той стороны.

И тут он понял, что они все-таки встретились.

Сперва он упал на колени и возблагодарил бога; потом встал и снова принялся бить стену. Он проработал весь завтрак, весь перерыв, весь ужин. Когда правая рука повисала плетью, он начинал работать левой, а за работой он пел песню троих отроков в огненной печи, потому что воздух вокруг него горел огнем, вода капала на голову, ноги вязли в глине.

Ровно в семь часов 28 февраля 1880 года он упал на свой бур, потому что бур пролетел сквозь стену.

Громовое «ура» с другой стороны вырвало его из оцепенения, и он понял, что они встретились, что настал последний час его испытаний и что ему по закону принадлежат десять тысяч лир.

После короткой молитвы-вздоха матери-заступнице он приложил губы к отверстию, шепнул «Гертруд» так, чтобы никто не услышал, после чего девять раз прокричал «ура» в честь немцев.

Часов около одиннадцати вечера с итальянской стороны раздалось громовое «Берегись!», и, словно от залпа осадных пушек, рухнула стена. Немцы и итальянцы обнимались и плакали, итальянцы целовали друг друга, а потом все упали на колени и запели «Te deum laudamus!».

Это был великий миг, а год шел 1880-й, тот самый, когда Стенли управился с Африкой, а Норденшёльд благополучно завершил свой поход на «Веге».

Едва смолкла хвала всемогущему, поднялся рабочий с немецкой стороны и передал итальянцам исписанный пергамент. Это было памятное слово о старшем инженере Луи Фавре. Он должен был первым проехать по туннелю, Андреа же доверили доставить на рабочем поезде в Ариоло памятное письмо с именем инженера.

Так он и сделал, сидя на маленькой платформе, которую толкал перед собой паровоз.

О, это был великий день, а за ним последовала такая же великая ночь.

В Ариоло пили вино, итальянское вино, и жгли фейерверк. И говорили речи в честь Луи Фавра, Стенли и Норденшёльда! И речи в честь Сен-Готарда — таинственного горного массива, что вот уже сколько тысячелетий разделял Германию и Италию, север и юг. Да, это была гора-разлучница, но и гора-объединительница. Ибо она стояла в веках и поровну делила свои воды

между немецким Рейном и французской Роной, между Северным морем и Средиземным...

— И Адриатическим! — вмешался один тессинец. — Не забывайте, пожалуйста, Тичино, который питает своими водами величайшую реку Италии, могучую По.

— Bravo! Верно! Да здравствует Сен-Готард, Великая Германия, Свободная Италия и Новая Франция!

Да, великая ночь завершила великий день!

На другое утро Андреа стоял в конторе строительства. На нем был костюм итальянского охотника с перьями за лентой шляпы, с ружьем на плече, с котомкой за плечами, лицо у него было белое и руки тоже.

— Ну, я вижу, ты по горло сыт туннелем, — сказал кассир, или плательщик, как его тут называли. — Впрочем, грех тебя упрекать. Теперь осталось только довести до конца облицовочные работы. Итак, займемся расчетом.

Кассир заглянул в какую-то бухгалтерскую книгу, выписал квитанцию и отсчитал ему десять тысяч лир золотом.

Андреа нацарапал свою подпись, сунул деньги в котомку и ушел.

Он вскочил в рабочий поезд и уже через десять минут оказался на месте рухнувшей стены.

В горе пылали факелы по обе стороны рельсового пути, рабочие встретили Андреа криками «ура!» и начали подбрасывать в воздух шапки. Это было прекрасно.

А спустя еще десять минут Андреа был на немецкой стороне. Но едва Андреа увидел в отверстие дневной свет, поезд остановился, и он вышел.

Он шел навстречу зеленому свету, он снова увидел селение, и солнечный свет, и густую зелень. Вновь отстроенное селение сверкало, ослепляло белизной, казалось прекраснее, чем прежде. И пока он шел, все встречные приветствовали своего первого бурильщика.

Он шел не сворачивая к маленькому домику, а там во дворе, под раскидистым орехом, рядом с ульями стояла Гертруд, тихая, нежная, кроткая, словно она стояла и ждала его на этом самом месте все восемь лет.

— Вот я и пришел, — сказал Андреа, — как обещал, так и пришел — сквозь стену. Теперь ты пойдешь со мной в мою страну?

— Я пойду за тобой, куда ты захочешь.

— Кольцо у тебя уже есть. Ты его не потеряла?

— Нет, не потеряла.

— Тогда пошли! Нет, нет, не оборачивайся. Мы ничего не возьмем с собой отсюда.

И они пошли, взявшись за руки. Но не к туннелю.

— Мы поднимемся на гору! — сказал Андреа и свернул на старую горную тропу. — Я шел к тебе сквозь мрак, теперь я хочу жить на свету, с тобой и для тебя.

ЛИСТОК БУМАГИ

Отправлен последний фургон с вещами. Молодой человек в шляпе с траурным крепом еще раз обошел комнаты — посмотреть, не забыл ли чего. Нет, увезли все, абсолютно все. Он выходит в переднюю, твердо решив не думать больше о пережитом. Но что это? В передней у телефона к стене приколот листок бумаги, на нем разные записи: одни четкие — чернилами, другие — настоящие каракули — простым и красным карандашами. Вот она, эта история, которая разыгралась в течение двух быстро промелькнувших лет; все, о чем ему хотелось забыть, записано здесь. Кусок человеческой жизни на клочке бумаги.

Он сорвал его. Это был обычный тетрадный лист, пожелтевший от времени. Он положил его на выступ изразцовой печи в гостиной и, склонившись, принялся читать. Вверху стояло ее имя: Алиса — самое красивое из всех, какие он только знал, — имя его невесты. И номер — 15-11. Словно номер псалма, который вывешивают в церкви перед службой. Далее значилось: банк. Это его работа, основа существования, — священный труд, который дает ему хлеб насущный, кров, жену. Но все это перечеркнуто! Банк лопнул. Ему пришлось немало помыкаться, прежде чем он устроился в другом банке.

И вот начинается. Цветочный магазин и извозчик. Это помолвка, и в кармане у него много денег.

Дальше: мебельщик, обойщик. Он устраивает свое гнездо. Бюро перевозок: они переезжают.

Касса оперы — 50-50. Они только что поженились и ходят по воскресеньям в оперу. Они сидят молча, зачарованные красотой и гармонией сказочной страны по ту сторону рампы. Это лучшие минуты их жизни.

Затем следует мужское имя. Оно зачеркнуто. Друг. Друг добился положения в обществе, но не сумел удержать его. Неправимая беда, и ему пришлось уехать в чужие края. Как все непрочно!

И вот в жизнь супругов вторгается что-то новое. Женский почерк, запись карандашом: «Госпожа». Какая госпожа? А, это та дама в широком пальто, с дружелюбным участливым взглядом. Она всегда входит очень тихо и никогда не проходит через гостиную, а идет по коридору прямо в спальню.

Ниже, под ее именем, значится: «Доктор Л.».

А вот и родственники. Написано «мама». Это теща. Она тактично держалась в сторонке, чтобы не беспокоить молодых, теперь же, когда ее позвали в трудную минуту, она явилась с радостным сознанием, что в ней нуждаются.

Пошли карандашные каракули. Черные и красные. Контора по найму: ушла служанка, требуется новая. Аптека. Да, тучи сгущаются! Молочная ферма. Здесь заказывают пастеризованное молоко.

Зеленщик, мясник и т. д. Хозяйство ведется по телефону: хозяйка отсутствует. Нет, она дома, но прикована к постели.

То, что следует дальше, он не в силах прочесть, у него темнеет в глазах, словно у утопающего, который пытается что-то разглядеть сквозь толщу морской воды. На листке запись: похоронное бюро. Этим сказано все. Большой и маленький: имеются в виду гробы. А в скобках: «Из земли взят, в землю и отыдеши». И больше ничего! В землю отыдеши, этим кончается все. Так оно и было.

Он поднял пожелтевший листок, прижал к губам и положил в карман пиджака. За эти минуты он вновь пережил два года жизни.

Он не сгорбился, выходя из дома; нет, он гордо шел с высоко поднятой головой: ведь ему довелось быть счастливым. А сколько на свете людей, которые так никогда и не познают настоящего счастья.



ПЬЕСЫ

*Перевод
Е. Суриц*



ЭРИК XIV

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Эрик XIV.
Йоран Перссон.
Сванте Стуре.
Нильс Стуре.
Нильс Юлленшерна.
Карин, дочь Монса.
Мать Йорана Перссона.
Агда.
Мария, ее дочь 3-х лет.
Юхан, герцог.
Карл, герцог.
Педер Веламсон, племянник Йорана Перссона.
Макс, прапорщик.
Часовой на мосту.
Придворный.
Монс, солдат, отец Карин.
Лейонхувуд.
Стенбок.
Вдовствующая королева.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Лужайка в парке Стокгольмского дворца. В глубине — балюстрада — тосканские колонны; поверх нее — фарфоровые вазы с цветами. Ниже и дальше вглубь — верхушки деревьев, верхушки мачт и флаги; еще дальше — церковный шпиль и коньки крыш. На лужайке — кусты, скамьи, стулья, стол.
Карин Монсдоттер сидит у стола с шитьем. Макс стоит с нею рядом, опираясь на алебарду.

Карин. Не надо так близко! Король сидит у окна и подглядывает.

Макс. Где?

Карин. Справа. Только бога ради не гляди туда! Долго тебе дежурить?

Макс. Полчаса еще!

Карин. Но говори же! Макс, брат мой, друг юных дней...

Макс. Любовь юных дней, так ты прежде говорила, Карин...

Карин. Что пользы вспоминать? Я предала твою любовь...

Макс. Зачем? Ведь ты не любишь своего любовника.

Карин. О, любить! Но я отношусь к нему как к своему ребенку; с самого начала я стала жалеть его и прозвала Слепой Бледнушкой, потому что он похож на мою последнюю куклу, которую так звали; я сочла, что быть при нем — мой долг, потому что со мною он всегда покойней, достойней. Мне льстило, что я умею вызвать к жизни лучшее в его душе, и сама я делалась лучше от его поклонения. Но сейчас мне страшно, слишком он привык превозносить меня, видеть во мне своего доброго ангела и все такое. Подумай только — а вдруг он очнется ото сна и увидит все мои несовершенства? Боже! Как он станет презирать меня, честить лицемеркой, обманщицей... Боже! Макс, отойди! Он там передвинулся!

Макс (*отходя от нее*). А я вчера видел твоих родителей!

Карин. Правда? И что сказала мать?"

Макс. То же, что и прежде!

Карин. Презирает королевскую... полюбовницу. И справедливо. Я сама себя презираю. А сердце все равно болит. Ну, а отец?

Макс. Говорит, как только повстречается с тобой на мосту — сбросит тебя в воду!

Карин. А сестры-то? Представь — они со мною не кланяются! Стало быть, есть своя гордость и у бедных, и у отверженных!

Макс. Тебе пора избавиться от своего унижения. Убежим вместе!

Карин. И мой позор падет на тебя?

Макс. Нет, святые узы брака изгладят твой позор...

Карин. А мои дети?

Макс. Станут моими детьми.

Карин. Как хорошо ты говоришь! И я верю тебе, Макс, да только...

Макс. Тс-с, я вижу там, в кустах, два уха — два уха, владельца которых я с удовольствием бы увидел на виселице...

Карин. Йоран Перссон... хочет снова подольститься к королю после своей опалы.

Макс. А ты этого не допускай!

Карин. Если б я могла! Все думают, власть моя безгранична, а я ровно ничего не могу!

Макс. Убежим!

Карин. Нельзя. Эрик говорит, он умрет, если я его покину.

Макс. Ну и пусть его!

Карин. Что ты! Уж ты не желай смерти ни ему и никому другому — бог накажет. И ты лучше уйди теперь, Макс, не то Йоран нас услышит!

Макс. Не хочешь ли вечером встретиться и поговорить со мною где-нибудь в надежном месте?

Карин. Нет, не хочу! Не могу!

Макс. Карин, ты ведь не хуже меня знаешь, что король собрался жениться. Думала ли ты о том, какая судьба тебе тогда грозит?

Карин. Когда пробьет час, но не ранее, я буду знать, как мне себя вести.

Макс. Но ведь поздно будет! Вспомни-ка отца Елизаветы Английской, Генриха Восьмого. Отвергнутые супруги его не оставались в живых, но кончали на эшафоте. И дочь этого изверга станет твоей королевой! Самое существование твое будет ей вечной насмешкой, и уж, конечно, она сумеет от тебя отделаться!

Карин. Ах, какая мука!.. Но ступай же, да не гляди наверх: он вышел на балкон!

Макс. Да как ты увидела?

Карин. У меня в шкатулку с шитьем зеркальце вделано! Ступай! Он тебя заметил, хочет чем-то в тебя запустить...

На Макса ливнем сыплются гвозди.

Макс. Он гвоздями швыряется! За тролля меня принимает, что ли?

Карин. Помилуй, господи. Он верит во все темные силы и не верит в благие. Ступай же, уйди, ради Христа!

Макс. Хорошо! Но когда я тебе понадобится, ты уж кликни меня, Карин!

Карин. Скорей, скорей, не то он и молоток вслед за гвоздями швырнет!

Макс. Да что он — спятил?

Карин. Тс-с! Ступай, ступай, ступай!

Макс уходит. Йоран Перссон выходит из-за кустов, за которыми прятался.

Карин. Чего вы тут ищете?

Йоран Перссон. Я ищу вас, моя фрёкен, и несу вам благие и великие вести.

Карин. Неужто вы можете принести что-то благое?

Йоран Перссон. Изредка даже я несу благо другим, себе же один вред!

Карин. Говорите же, только будьте осторожны. Король стоит на балконе... Не оглядывайтесь.

Йоран Перссон. Мой король все еще гневается на меня — и напрасно, ибо ему не сыскать более верного друга...

Карин. Ну, раз уж вы сами так говорите!..

Йоран Перссон. Я не часто заслуживаю доброго слова, сам знаю, а когда и заслуживаю — не заношусь. Фрёкен, слушайте меня! Сватовство короля в Англии провалилось. Вам и деткам вашим это сулит новые надежды, а королевству...

Карин. Вы правду говорите?

Йоран Перссон. Чтоб мне умереть на месте. Но — слушайте меня! Король сам еще ничего не знает. Остерегайтесь ему

это сообщать. Но будьте рядом, когда на него обрушится удар, ибо крушение надежд глубоко потрясет его душу!

Карин. Теперь я знаю, что вы говорите правду и что вы друг мне и королю.

Йоран Перссон. Но король не друг мне!

Железный молоток летит сверху в Йорана Перссона, но проносится мимо.

(Йоран поднимает молоток, целует, кладет на стол.) Жизнь — за моего короля!

Карин. Уйдите, он убьет вас!

Йоран Перссон. И пусть!

Карин. Он нынче не в себе! Берегитесь!

Вниз летит цветочный горшок — и снова мимо.

Йоран Перссон. О, мне бросают цветы! *(Срывает цветок, нюхает, сует в петлицу.)*

Эрик *(наверху, хохочет)*. Ха-ха-ха!

Йоран Перссон. Смеется!

Карин. Давным-давно не слыхала такого! Добрый знак!

Йоран Перссон *(кричит, обращаясь к балкону)*. А ну-ка еще! Еще! *(С балкона летит стул, превращается в обломки, Йоран собирает их и рассовывает по карманам.)*

Карин *(смеется)*. Вы совсем с ума сошли!

Йоран Перссон. Пусть уж я буду придворным шутом, ежели самому Гераклу не под силу более вызвать смех моего господина!

Карин. На гвозди не наступите, Йоран!

Йоран Перссон *(разувается и ходит по гвоздям)*. Ан нет, босиком, босиком, если это может позабавить моего господина!

Эрик *(с балкона)*. Йоран!

Йоран Перссон. Йоран в немилости!

Эрик *(с балкона)*. Йоран! Погоди! Не уходи!

Карин *(Йорану)*. Не уходите!

Обувь, подушки, платки летят сверху.

Эрик. Ха-ха-ха-ха! Йоран! Погоди! Я сейчас спущусь!

Йоран Перссон *(Карин)*. Я буду тут как тут, когда ему понадобится!

Карин. Не раскаяться бы мне. Но я прошу вас, Йоран, — останьтесь! Эрику так плохо, а ведь когда он узнает о постигшей его печали, ему будет еще хуже!

Йоран Перссон. Вовсе Эрику не плохо, ему только скучно, а королю скука вредна, он делается от нее опасен. Я еще приду и развеселю его; а сейчас мне надо... у меня дела...

Карин. Будьте рядом, когда разразится буря, не то несдобровать нам всем...

Йоран Перссон. Уж я не подведу, да мне и не привыкать, он всегда вымещает на мне свои безумства!

Карин. Йоран! Еще одно слово! Слышали вы мой разговор с фенриком Максом?

Йоран. От начала и до конца!

Карин. Я боюсь вас. Но нам следует держаться друг друга!

Йоран. Да, так-то оно верней...

Карин. Только не раскаяться бы мне!

Йоран Перссон. Фрёкен, нас связывают узы, потонувшие концами в сточной канаве; это узы крови, фрёкен, и они прочны! *(Уходит.)*

Эрик входит справа; навстречу ему, слева, выходит придворный.

Придворный. Ваше величество!

Эрик. Ну, чего тебе?

Придворный. Нигельс, золотокузнец, почтительнейше просит разрешения явиться и показать вашему величеству изготовленные им драгоценности.

Эрик. Путь выйдет. *(Карин.)* Сейчас моя Карин увидит кое-что красивенькое!

Входит Нигельс с кожаным футляром.

День добрый, Нигельс, ты точен, и за это я тебя хвалю *(указывает на стол)*. Клади сюда!

Нигельс кладет на стол футляр.

Открой!

Нигельс открывает футляр и достает оттуда золотую корону, усыпанную драгоценными камнями.

Ах! *(Хлопает в ладоши.)* Гляди-ка, Карин!

Карин *(не отрываясь от шитья)*. Я вижу, друг мой. Очень красиво!

Эрик. Видишь — шведский лев льнет к леопарду английскому!

Карин. Эрик, Эрик!

Эрик. Да? Что тебе?

Карин. Для кого эта корона?

Эрик. Для девы — королевы Британии и моей королевы! И когда руки наши сомкнутся над морем, мы обойдем Норвегию и Данию и вся Европа будет наша! Вот значенье шести сходящихся линий и шести самоцветов. *(Берет корону и хочет надеть на голову Карин.)* Примерь-ка, не тяжела ли.

Карин *(уклоняясь)*. Для меня она очень тяжела!

Эрик. Дай же приладить! Ну! Будешь ты слушаться?

Карин. Если Эрик требует одного послушания — я всегда его послушная раба!

Эрик *(надевает ей на голову корону)*. Гляди-ка, а ведь тебе она к лицу, Карин! Загляни-ка в зеркальце в твоей шкатулке, которое так ловко подглядывает за твоим господином... Послушай, а где же Йоран? Куда подевался этот вертопрах?

Карин. Испугался господского гнева!

Эрик. Уф! Гнева! И слушать не желаю! Злопамятный я, что ли? Послал же я в Англию сватом молодого Стуре, хоть он предал меня в войне с Данией и за это поплатился?

Карин. Можно, я сниму корону?

Эрик. Не перебивай, когда я говорю! Правда, многие считали, что я напрасно обидел Стуре, но мне, знаешь ли, это безразлично... хотя... *(впадает в задумчивость, смотрит прямо перед собой отсутствующим взглядом. Вдовствующая королева проходит мимо без видимой цели. Эрик очнулся.)* Вам чего, мачеха? Будьте добры, прогуливайтесь лучше во дворе возле флигеля! Будьте так добры! *(Вдовствующая королева разглядывает Карин; та смущена. Эрик срывает с нее корону.)* Швеция, Норвегия, Дания, Англия, Шотландия, Ирландия! Вот они — шесть самоцветов!

Нигельс ретируется в глубину сцены.

Вдовствующая королева. Эрик!

Эрик. Король Эрик, с вашего позволения!

Вдовствующая королева. И быть может — королева Карин?

Эрик. Королева Елизавета, если вам угодно! Или Мария Шотландская, или Рената Лотарингская, или на худой конец — Кристина Гессенская!

Вдовствующая королева. Не так ты зол, как жалости достоин. Бедный Эрик! *(Уходит.)*

Эрик. Ты не слушай, Карин, того, что мелет эта женщина; она думает, мои дела плохи, но она не знает, что шесть королевств у меня в руках... Да, да, у меня в руках, Карин, ведь Стуре, который с минуты на минуту будет здесь, писал мне из Англии, что дела мои как нельзя более блестящи... как нельзя более! Да я и сон такой сегодня видел! Гм! Все одно к одному! Ведь ты же любишь меня, правда, Карин, и ты радуешься моим успехам, правда?

Карин. Я радуюсь твоим успехам, но еще более тебя самого страдаю от твоих неудач, а ведь каждый должен быть готов к неудачам!

Эрик. Ну да, и я к ним готов! Но если б ты знала, какая мне сейчас валит счастливая карта! Четыре козыря на руках! *(Нигельсу.)* Ты можешь идти, Нигельс, мы еще увидимся!

В глубине сцены появляется герцог Юхан.

Иди-ка сюда, Ханс Рыжебородый, я кой-чем тебя угощу! Нынче я щедр!

Карин *(Эрику)*. Ах, не оскорбляй его понапрасну. Он и без того тебя ненавидит!

Герцог Юхан подходит.

Эрик. Брат мой, по зрелом размышлении положил я удовлетворить твое ходатайство. Катарина Польская будет твоя!

Герцог Юхан. Милостивое благоволение короля к союзу, столь необходимому для моего сердца, исполняет меня радости и благодарности.

Эрик. И благодарности даже? Так не забудь же, что ты породнишься с кайзером, и сын твой наследует трон Ягеллонов, и одному из семейства Васы обязан ты своим могуществом! Силою Англии я укрошу Север, ты силою Польши покоришь Юг и Восток, а уж потом — но это ты и сам вообразить можешь!

Герцог Юхан. Государственные помыслы господина моего и брата парят на орлиных крыльях, и мне ли, воробушку, за ними угнаться!

Эрик. Хорошо же! Иди с миром и вкушай радость своего величия, как я вкушаю свою!

Герцог Юхан. Прости, любезный брат, но акт, столь важный, не мешало бы скрепить подписью твоей и печатью!

Эрик. Вечно ты бумагу требуешь, как чиновника какой-нибудь. Вот тебе моя рука! А владычица моей души будет нам свидетельница!

Герцог Юхан (*целует руку Эрику, потом руку Карин и поспешно уходит*). Благодарствую!

Эрик. Ушел он, пожалуй, быстрее, чем вошел. И вечно я вижу, как за ним волочится лисий хвост. Замечаешь ты его лживость?

Карин. Нет, не замечаю.

Эрик. Уж очень ты явственно благоволишь к моим врагам!

Карин. Ты всех людей врагами считаешь, Эрик...

Эрик. Потому что все они ненавидят меня! Вот и я их ненавижу! Кстати, Карин, о чем ты тут толковала с этим прапорщиком?

Карин. Да это Макс, родственник мой!

Эрик. Не следует тебе доверяться какому-то солдату!

Карин. Отчего мне, солдатской дочери, так уж заноситься, если все меня полубовницей называют?

Эрик. Да, но ты зато полубовница самого короля...

Карин. Эрик, Эрик!

Эрик. Но я же правду говорю...

Карин. Ну, а как ты назовешь наших детей?

Эрик. Это мои дети. Это дело иное...

Карин. Как же иное?

Эрик. Ты ссориться хочешь? Да?

Карин. Нет, нет, нет, ах, если б можно все высказать...

Эрик. Где Йоран? Мне Йоран нужен всякий раз, когда ты бунтуешь против меня. Йоран единственный знает все тайны моего сердца; он умеет угадать все мои помыслы, так что мне самому и говорить почти не нужно, если он под боком... Он друг мой и брат, и оттого ты его ненавидишь!

Карин. Нет у меня к нему ненависти, особенно когда он может порадовать моего господина...

Эрик. Значит, ненависти больше нет! Что же произошло? Верно, он оговаривал меня?

Карин. Ох, господи. Какой же ты несчастный человек! Эрик, бедненький мой Эрик...

Эрик. Бедненький? Бесстыжая!

Придворный *(входя)*. Господин Нильс Стуре свидетельствует свое почтение королю и просит дозволения войти!

Эрик. Наконец-то!

Карин *(встает)*. Мне уйти?

Эрик. Нет, останься! Или ты завидуешь своему бедненькому королю?

Карин. Господи, нет, и чему бы завидовать?

Эрик. Дерзость твоя переходит все границы! Берегись, Карин! Боги жестоко карают дерзких!

Входит Сванте Стуре, с ним Нильс Стуре и Эрик Стуре.

Что за шествие! Господин Нильс торжественно вступает в королевский замок? Как вестник поражения? Или победы?

Сванте Стуре. С позволения вашего величества...

Эрик. Не угодно ли господину Нильсу, посланнику короля, объясниться самому. Видно, он не исполнил поручения, коли является с двумя свидетелями.

Сванте Стуре. Пусть так. Но дорого доставшийся печальный опыт, слишком печальный и горький для памяти, научил меня, главу семейств Стуре, все гласные дела предавать огласке, дабы злонамеренная молва не имела повода исказить и перетолковывать яснейшие слова и поступки!

Эрик *(стоит у стола с короной)*. Уж не желаешь ли ты из мести отравить самый сладостный и великий миг моей жизни напоминаньем о предательстве твоего сына, которое я великодушно ему простил?

Сванте Стуре. Господин Нильс никогда не совершал предательства!

Эрик. Господи Иисусе! Малый ослушался приказа на войне, и это предательство...

Сванте Стуре. Он ослушался, когда ему было велено действовать бесчеловечно...

Эрик. Война всегда бесчеловечна, а у кого куражу не хватает разить врага — пусть дома сидит на печке! Впрочем, довольно! Говори же, господин Нильс, о нашем деле!

Нильс Стуре. Ваше величество, тяжело мне исполнять возложенное на меня поручение...

Эрик. Где письмо?

Нильс Стуре. Письма никакого нет. К несчастью, ответить велено лишь на словах, и то их следует перевести прилично, дабы не осквернить вашего слуха и собственных уст!

Эрик. Отказ?

Нильс Стуре *(помолчав)*. Да.

Эрик. А ты ведь радуешься, каналья!

Нильс Стуре. Боже избави, нет...

Эрик. Нет, нет, ты посмеиваешься исподтишка!

Сванте Стуре. Он вовсе не смеется!

Эрик. Нет, я видел, видел, он смеялся! Да и сам ты смеялся, старый шут! Вы все, все трое смеялись — я видел. Карин, ты заметила — они ухмылялись?

Карин. Нет, клянусь всем святым...

Эрик. И ты? Все силы ада сговорились против меня. Вон, вон отсюда, к черту! Вон, негодяи! *(Швыряет корону, подбирает предметы, сброшенные прежде с балкона и запускает ими в уходящих Нильса и Эрика.)*

Сванте Стуре *(он остался)*. Горе стране, которую правит безумец!

Эрик. И это меня, своего короля, ты называешь безумцем, мерзавец, сукин сын!

Карин. Эрик, Эрик!

Эрик. Уймись ты!

Сванте Стуре *(уходя)*. Помилуй нас, господи!

Эрик. Но я-то тебя не помилую, не сомневайся! *(Обращается к Карин.)* Ну что — рада? Отвечай! А можешь и не отвечать, я знаю наперед твои чувства, я читаю твои мысли, я слышу слова твои, которых ты не смеешь выговорить вслух. Как тебе не радоваться, когда я получил по носу, и твоя соперница вдобавок хулила меня. И теперь ты думаешь, что одна будешь мною вертеть, а? Думаешь, я пропал, погиб, и ты одна утетишь меня! Тебе — меня утешить! Когда плебеи хохочут над моей бедой, а господа пируют в честь моего унижения! А уж твои отец с матерью — встретить бы их сегодня — я им головы сверну; вот кто радуется! А мачеха! Так и вижу — сидит и хохочет, выбитый зуб показывает, у нее наверху один зуб выбит, говорят, покойного батюшки работа. Все королевство веселится — кроме меня. Меня! Ха-ха!

Придворный *(входя)*. Господин Нильс Юлленшерна!

Эрик. Юлленшерна! Какое счастье! Это преданный человек, и подлинно человек! Внести его на золотом стуле!

Карин *(встает)*. Я уйду!

Эрик. Ступай ко всем чертям! *(Швыряет ей вслед икатулку.)* И сплетничай на здоровье!

Входит Нильс Юлленшерна.

Нильс! Ты! Приятно поговорить с умным человеком после всех этих ублюдков! Скажи-ка, Нильс, что за история там вышла на английских берегах? Спятила она, что ли?

Нильс Юлленшерна. Нет, ваше величество, дело весьма просто: сердце ее, как говорится, отдано графу Лейстеру — и что тут скажешь?

Эрик. Ха-ха! Любовничек! Выходит, она шлюха.

Нильс Юлленшерна. Во всяком случае, непорочность королевы-девственницы — в прошлом.

Эрик. И его имя — Лейстер. Нельзя ли его убить?

Нильс Юлленшерна. Отчего бы нет — за хорошее вознаграждение.

Эрик. Хочешь ты убить его?

Нильс Юлленшерна. Я?

Эрик. Десять тысяч талеров! Ну?

Нильс Юлленшерна. Я? Король не шутит?

Эрик. Шутить? Деньги на бочку!

Нильс Юлленшерна. Я полагаю, ваше величество шутит, предлагая мне сделаться убийцей!

Эрик. Что же тут оскорбительного?

Нильс Юлленшерна. Шведскому дворянину...

Эрик. Но шведский король! Ты намерен, кажется, обучать меня нравственности?

Нильс Юлленшерна. Я шел сюда с намерениями совсем иными, но коль скоро мой король так мало меня уважает, я прошу позволения удалиться.

Эрик. Предатель! И ты! Все вы дворянские отродья, воображаете себя выше Васы. Убирайся!

Нильс Юлленшерна качает головой и уходит.

И нечего головой трясти, не то я тебя так встряхну, что тебе небо с овчинку покажется.

Нильс Юлленшерна останавливается и пристально смотрит на Эрика.

Гляди, гляди, небось не лопну! *(Нильс Юлленшерна качает головой и уходит, Эрик, один, бродит по сцене; спотыкается о разбросанные по полу предметы; потом падает на диван, устланный тигровой шкурой, — хохочет и рыдает.)*

Йоран Перссон *(входит, подходит к Эрику, преклоняет колени.)* Мой король!

Эрик. Йоран, Йоран! Я сердился на тебя, но все это позади! Сядь, говори же!

Йоран Перссон. Спрашивайте, ваше величество!

Эрик. Никакого «величества». Мы на «ты»! Так лучше, проще! Знаешь новость?

Йоран Перссон. Никакой не знаю новости!

Эрик. Так-так! Я отказал англичанке!

Йоран Перссон. Но отчего?

Эрик. Она оказалась шлюхой, у ней любовник... словом, все кончено. Но у меня желчь разливается, как подумая, что Стуре вообразили, будто она сама отставила меня, и пойдут теперь меня позорить!

Йоран Перссон. Избави боже!

Эрик. Йоран! Объясни ты мне, отчего Стуре вечно становятся Васам поперек дороги? Род их особенный, роковой какой-то? В чем там дело?

Йоран Перссон. Трудно сказать. Все они люди добрые, звезд с неба не хватают, но начало ведут ведь от убийцы Энгельбректа...

Эрик. Вот не подумал. Быть может, кровь его и помешала им взойти на престол?

Йоран Перссон. В их жилах течет к тому же кровь Эрика Святого и Фолькунгов, одним словом, все надежды Швеции витали вокруг их купелей. Но отчего ты их боишься? Сам видишь, судьба, как говорится, избрала и возвеличила род Васы!

Эрик. Отчего я ненавижу их? Если б знать! Быть может, оттого, что Сванте Стуре любил первую мою мачеху и в родстве со второю, а уж ее-то я всем сердцем ненавижу!

Йоран Перссон. Король и друг мой, ты так часто повторяешь слово «ненавижу», что в конце концов вообразишь, будто все человечество против тебя в заговоре. Забудь ты это слово! Слово положило начало творению. И ты отравляешь себя этим заклятьем! Почаще говори «люблю», «люблю», и ты поймешь, что тебя любят.

Эрик. Новая музыка, Йоран; ты был там и наглядился?

Йоран Перссон. Да, я был там!

Эрик. Это Агда, разумеется?

Йоран Перссон. Нет... другая!

Эрик. И хорошенькая?

Йоран Перссон. Нет, для всех она дурнушка; но вдруг я увидел прообраз, как говорит Платон. Знаешь — откровенье прекрасного, нечто вечное — за маскою лица, и вот... м-м... вот я ее люблю.

Эрик. Как странно! Когда ты выговорил слово «люблю», которого стыдился прежде, ты стал хорош собою, ты преобразился...

Йоран Перссон. Неужто я так уж безобразен?

Эрик. Чудовищно! Разве ты в зеркало никогда не гляделся?

Йоран Перссон. Избегаю зеркал! Вообрази, однако, — она меня считает красивым! Ха-ха!

Эрик. Она всегда так считает?

Йоран Перссон. Нет, не всегда. Только когда я не злобствую!

Эрик. Ха-ха! Значит, когда ты мил!

Йоран Перссон (*смущенно*). Если угодно!

Эрик. Ты стал слюнтяй какой-то, Йоран. Я тебя, право, не узнаю!

Йоран Перссон. Tant mieux¹ для врагов моих!

Эрик. Скоро ль думаешь жениться?

Йоран Перссон. Быть может!

Эрик. А теперь скажи, кого бы мне взять в жены?

Йоран Перссон. Катарину Польскую, разумеется, тогда мы приобретем все берега балтийские и сам кайзер станет нам родственник.

Эрик (*вскакивает*). Проклятье! Какая мысль! Ты замечательный человек, Йоран. То-то я давеча говорил Карин, что когда ты рядом, мне можно не думать. Гонца сюда! Проклятье! (*Трижды*

¹ Тем лучше (*фр.*).

хлопает в ладоши. Входит придворный. Эрик вне себя.) Тотчас послать за герцогом Юханом! Схватить его — живого или мертвого... Будет противиться — перебить ему руки и ноги! Живее!

Придворный уходит.

Йоран Перссон. Что это значит?

Эрик. А то и значит, что мерзавец обманом добился у меня разрешения на брак с Катариной Польской!

Йоран Перссон. Дело скверно!

Эрик. Сам дьявол смешал все мои карты. Сын мачехи, родня всем Стуре, завладеет берегами балтийскими! Иезуит, папист, станет родственником кайзеру!

Йоран Перссон. Что ты наделал, Эрик? Ах, зачем ты не спросил совета у меня? Подумай! Потомки Юхана будут королями Царства Польского, где людей не меньше, чем во Франции, Царства Польского, простирающегося до границ российских! Внуки Юхана станут кайзерами в Австрии, и супруга его через Сфорцев имеет наследственные владения в Неаполе! Беда, беда!

Эрик. Вот и надо удавить змею в зародыше, пока не вылупилась из яйца...

Йоран Перссон. Католики на нас ополчатся; ты знаешь связи Юхана с иезуитами, с приверженцами папы! Что ты наделал, Эрик!

Эрик. Самая страшная глупость в моей жизни!

Йоран Перссон. Так пусть же она и будет последней!

Эрик. Да теперь уж я научен... Заметил ты: за что бы я ни взялся, все выходит из рук вон глупо и нелепо!

Йоран Перссон. Ну-ну, не преувеличивай, но тебе и точно не везет!

Эрик. Ну, а тебе? Вот по ком плачет виселица! Но ты так много знаешь по сравнению со мной, что должен быть моим советником... Подумай, и все это мне в награду за щедрость, за великодушие...

Йоран Перссон. Если ты и вправду желаешь видеть меня своим советником, ты только не назначай меня, пожалуйста, государственным секретарем, который за все в ответе, но и пикнуть не смеет. Нет, ты дай мне настоящую власть, чтобы я нес ответственность за свои решения и поступки! Сделай меня прокуратором!

Эрик. Изволь! Отныне ты прокуратор!

Йоран Перссон. Требуется еще утверждение риксдага...

Эрик. Ни к чему! Я сам себе хозяин!

Йоран Перссон. Пусть будет так!

Входит придворный.

Эрик. Говори!

Придворный. Корабль герцога отплыл с попутным ветром...

Эрик. Я погиб!

Йоран Перссон. Снаряди погоню! Скорее!

Придворный. Но благородный господин Нильс Юлленшерна от себя просил сообщить кое-что, касаемое до этого обстоятельства...

Эрик. Выкладывай, живее!

Придворный. Дело в том, что герцог Юхан...

Эрик. Йоран, Йоран!

Придворный. Герцог Юхан тайно обвенчан с польскою принцессой...

Эрик садится.

Йоран Перссон. Тогда мы спасены; уж положишься на меня!

Эрик. Ничего не пойму...

Йоран Перссон. Своим поступком герцог нарушил Арборгскую конституцию и вступил в союз с чужой державой. Пошли ему вдогонку флот, схвати его, и да свершится суд над ним! Согласен?

Эрик. Но чего я тем добьюсь?

Йоран Перссон. Одним врагом у тебя будет меньше, и врагом опасным!

Эрик. Братоубийственные раздоры, стало быть, не кончены.

Йоран Перссон. Нет, покуда жив герцог Юхан, наследовавший, благодаря матери, кровь Фолькунгов от короля Вальдемара, — не будет мира в этой стране! (*Придворному.*) Немедля зови к королю адмирала Хорна — и да грянет буря!

Эрик. Кто король — ты или я?

Йоран Перссон. Сейчас как будто я!

Эрик. Уж слишком ты силен, Йоран, Йоран!

Йоран Перссон. Ничуть. Ты просто слишком слаб!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Комната в доме Йорана Перссона. В правом углу плита и на ней кухонная утварь; возле нее обеденный стол. В левом углу письменный стол Йорана. Йоран Перссон сидит за столом и пишет.

Мать (*у плиты*). Ты бы поел, мальчик!

Йоран Перссон. Не могу, мама!

Мать. Опять все перестоится!

Йоран Перссон. Если и перестоится — только вкуснее будет! Будь добра, не мешай. (*Пишет.*)

Мать (*подходит к Йорану*). Йоран, правда ли, что ты опять приближен к королю?

Йоран Перссон. Да, правда!

Мать. Отчего же ты мне ничего не сказал?

Йоран Перссон. Я и вообще-то не словоохотлив, а кое о чем обязан помалкивать...

Мать. И какое жалованье положил тебе король?

Йоран Перссон. Жалованье? Я не спросил, а он позабыл сказать!

Мать. Для чего же и служить, если не ради жалованья?

Йоран Перссон. Да, матушка, таков твой взгляд на вещи, да только у меня-то взгляд совсем другой.

Мать. Но мне надо трижды в день на стол собирать, какой уж тут другой взгляд! И что тебе делать при дворе, Йоран? Мало ты унижений натерпелся при прежнем-то короле?

Йоран Перссон. На унижениях я вскормлен, матушка, я к ним сделался нечувствителен. Служить королю — мой долг, мое призванье, ибо он слаб и обладает странным даром всех превращать во врагов.

Мать. Тебе ли быть ему опорой, сам едва на ногах держишься...

Йоран Перссон. Нет, мне кажется, я могу его поддержать...

Мать. Ты часто по доброте своей слишком много на себя берешь, Йоран... Вот, например, пригрел эту брошенную Агду с ребенком.

Йоран Перссон. Ничего, им от этого не плохо. И все мы еще дождемся лучших времен.

Мать. Знаешь, какая благодарность ждет тебя за твой благородный поступок?

Йоран Перссон. И слушать не желаю про благородные поступки, и благодарности не жду никакой. Несчастливая нуждалась в моей помощи — вот и все, совершенно просто.

Мать. А теперь сплетничают, будто она твоя любовница.

Йоран Перссон. Уж разумеется, но мне-то от этого нет вреда, только ей!

Мать. Точно ли?

Йоран Перссон. Точно ли? М-м!

Мать. Агда вдруг вообразит, будто ты имеешь на нее виды, вот ты и окажешься виноват, что ее пригрел.

Йоран Перссон. Ах, мать, в чем только я не был виноват? Что бы ни выкинул Эрик — винят меня, даже за эту историю с Карин, которой я изо всех сил препятствовал. Впрочем, теперь я понял, что лишь она одна может утешить и успокоить короля, и потому я стал ей другом...

Мать. За все ты берешься, Йоран, смотри, как бы тебе не попасть в беду!..

Йоран Перссон. Ничего!

Мать. Не верь уж очень-то людям...

Йоран Перссон. Я верю только себе самому! Я не рожден царить, но — властвовать; а коль скоро могу я властвовать только с помощью моего короля, король — мое солнце! Закатится солнце — и я угасну, вот и все, матушка!

Мать. Ты любишь Эрика?

Йоран Перссон. И да и нет! Мы соединены незримыми узами, будто вышли из одного помета, рождены под одной звездой. Его ненависть — моя ненависть, его любовь — моя любовь. И это приковывает нас друг к другу.

Мать. Да, сынок, у тебя свой путь, я тут тебе не попутчица. Агда (*входит с трехлетней дочерью*). Здравствуйте, тетушка, здравствуй, Йоран!

Йоран Перссон. Здравствуй, детка; поди ко мне, Мария, скажи «здравствуй»!

Мария (*подходит к письменному столу, перебирает бумаги*). Здравствуй, дядюшка!

Йоран Перссон (*ласково*). Милый, милый цветик, разве можно трогать мои бумажки? Если б ты только знала, что ты наделала!

Мария. А зачем ты все пишешь и пишешь?

Йоран Перссон. Зачем? Если б я мог сказать! Вы, наверное, проголодались, будем обедать!

Агда. Спасибо, Йоран, ты переломляешь свой хлеб с голодным, а сам...

Йоран Перссон. Ух! Зачем ты так... А сколько раз я сидел за чужим столом!

Мать. А сам ничего не ест!

Йоран Перссон. Совершенная неправда, когда я повесничаю по вечерам, я настоящий обжора и кутила не хуже других. Давайте-ка есть!

Все садятся за стол. В дверь стучат. Йоран встает и заслоняет стол ширмой.

Мария (*закрывает лицо руками*). Это Бука стучит? Мама, мне страшно!

Агда. Не шали, Мария, никакого Буки нет!

Мария. Нет, есть, мне Анна говорила! Я его боюсь!

Сванте Стуре (*входя, высокомерно*). Не удостоит ли меня господин секретарь своим вниманием на минутку?

Йоран Перссон. Хоть бы и надолго, господин советник...

Сванте Стуре. Граф, с вашего позволения. Быть может, вы не знаете, — я граф.

Йоран Перссон. Помилуйте, прекрасно знаю, тем более что я-то вас и пожаловал в графья!

Сванте Стуре. И вам не совестно?

Йоран Перссон. К чему этот тон! Я был советником короля во время коронации, и только благодаря моему ходатайству вы стали первым графом Швеции.

Сванте Стуре. Боже, неужто своим возвышением я обязан какому-то острожнику!

Йоран Перссон. Спокойней, господин граф! Юным вертопрахом мне случилось как-то раз проспаться в застенке, и я ничего не вижу тут зазорного, вас же следовало бы на весь остаток жизни туда упрятать за смуту и измену!

Сванте Стуре. Вот как!

Йоран Перссон (*прячет бумаги на столе*). Лишь великие заслуги ваши перед покойным королем Густавом спасли вас от заслуженнейшей кары. Теперь же — берегитесь!

Сванте Стуре. Не тебя ли, поповское отродье?

Йоран Перссон. Мать моя сидит за ширмой. Прошу не забывать!

Сванте Стуре. И шлюха там же!

Йоран Перссон. Стыдитесь, господин Сванте! Недавно я говорил о вас с королем; сказал ему, что Стуре всегда были славные, добрые люди; я и сейчас хочу так думать; но безумным высокомерием своим вы без конца себе вредите. Вы высокого рода, да, но что есть происхождение высокое? Что такое дворянин? Всадник! Управлять страной вы не умеете, знать ничего не желаете, кроме конюшни; презираете книжных червей, а меж тем им-то принадлежит настоящий день, спешащий мимо вас, не узнанный вами! Право и достоинство человека, уважение к чужому горю, снисхождение к греху — вот новые девизы, отнюдь не начертанные на гербах ваших. И я бы мог стать графом, но я не захотел, ибо мне назначено судьбою оставаться среди сырых и убогих, среди которых я рожден...

Сванте Стуре. Стало быть, батальон писак и полк подъячих пусть стоит между королем и народом?

Йоран Перссон. Государством должен править один, и никакие господа не должны стоять между королем и народом! Этому учит вся история наша, от Ингьялда, которого вы прозвали Упасным, ибо он сжигал мелких князьков, и Ярла Биргера и Фолькунгов до Кристиана Тирана, рубившего князьям головы. «Король и народ» — вот что следует начертать на государственном гербе, и так оно когда-нибудь и будет...

Сванте Стуре. Герб этот выкуете вы, конечно?

Йоран Перссон. Как знать.

Сванте Стуре (*орет*). Могу я, наконец, сесть? Или прикажете стоять?

Мария (*за ширмой*). Мама, почему дяденька так страшно кричит?

Агда. Тихе, тихе, детонька!

Йоран Перссон. Сидите, стойте, как уж вам будет угодно, господин государственный советник, мне дела нет до рангов и отличий, я выше этого...

Сванте Стуре. Черт возьми!

Йоран Перссон. Не надо браниться, граф, там за ширмой ребенок и женщина...

Сванте Стуре. Вы, кажется, вздумали воспитывать меня!

Йоран Перссон. Да! Отчего бы нет? Как председатель королевского совета, я позволю себе сперва составить о вас понятие; ибо у нас теперь есть управа на непокорных...

Сванте Стуре. Королевского совета?

Йоран Перссон. Да, я верховный судия верховного суда...

Сванте Стуре. Но я государственный советник...

Йоран Перссон. Вы — советник, которого слушают, но не слушаются, я же королевский прокуратор, который приказывает

и сам не слушается никого... если уж у нас пошла похвальба, как на конской ярмарке!

Сванте Стуре. Прокуратор? Это новость!

Йоран Перссон. Свежайшая! Вот и приказ лежит! Вместе с другими бумаги чрезвычайной важности!

Сванте Стуре (несколько вежливей). Однако это целый переворот...

Йоран Перссон. Да, и самый значительный после краха Карла Кнутсона и церковной реформации...

Сванте Стуре. И вы полагаете, шведские дворяне и риксдаг подчинятся этому новшеству?

Йоран Перссон. Я уверен! У короля Эрика — войско, флот и весь народ!

Сванте Стуре. Нельзя ли отворить окно? Вонь ужасная!

Йоран Перссон (рассерженно). Да, несколько пахнет кухней, и когда вы уйдете, мы проветрим... после вас! Только вам надо скорей уходить, скорей. Понятно?

Сванте Стуре уходит и задевает перьями шляпы о дверную притолоку.

Голову, голову берегите! Господин Сванте!

Сванте Стуре (*возвращаясь*). Я забыл перчатки!

Йоран Перссон (*берет перчатки каминными щипцами и таким образом протягивает Сванте Стуре*). Прошу вас! (*Сванте Стуре осторожно выходит, Йоран Перссон придерживает дверь, а потом плюет ему вслед.*) Смотри у меня! Обидел моих — теперь береги своих, как сказала гадюка.

Мария. Дяденька ужасно рассердился на дядю Йорана, да, мама?

Йоран Перссон (*нежно*). Дяденька ушел, детка моя милая, и никогда больше не придет.

Мать. Йоран, Йоран! А это правда, что ты ему сказал? Что ты прокуратор или как его?

Йоран Перссон. Конечно правда!

Мать. Значит, будь великодушен с врагами.

Йоран Перссон. Уж это от них зависит. Как себя поведут. Их судьба в их руках и вот-вот решится.

Мать. В их руках?

Йоран Перссон. Да. Ведь господин Сванте пойдет сейчас болтать о том, что тут произошло; а у меня свои соглашения, и каждое злобное словечко этих князьков будет караться законом! А уж если они вступят в заговор — им несдобровать!

Мать. Будь великодушен, Йоран...

Йоран Перссон. Если знатные господа сами полезут на рожон, уж за мной дело не станет...

Макс (*входя*). Вы звали меня, секретарь?

Йоран Перссон. Сядь! (*Матери*.) Оставь нас, будь так добра! (*Максу, дружески, но твердо.*) Макс! Я слышал твой разговор с фрёкен Карин...

Макс. Я и не сомневался!

Йоран Перссон. Зачем так резко, мой мальчик? Искренность твоих чувств я ни на секунду не подвергаю сомнению...

Макс. А вам-то на что мои чувства?

Йоран Перссон. О, я не хотел бы, чтобы эти чувства вредили тому, чья жизнь драгоценна для всех нас и для государства. Фрёкен Карин может стать королевой, если ты оставишь ее в покое, и тебе не стоит печься о восстановлении ее чести, ибо этим займется сам король.

Макс. Не сделает он ничего такого!

Йоран Перссон. Выслушай меня, мой мальчик, то, что я сейчас скажу тебе — все равно что королевское слово; и я тебе приказываю — отныне не приближаться к фрёкен Карин, ибо малейшее сомнение короля в ее любви сделает его несчастным, ее же — погубит. Ты говоришь, что любишь ее! Прекрасно. Так докажи же, что печешься о ее благе!

Макс. Нет, не так, как вы его понимаете!

Йоран Перссон. Хорошо же! Тогда тебя устроят! Смотри — вот приказ о переведении твоём в Эльвсборгскую крепость.

Макс. Не желаю видеть никакого приказа!

Йоран Перссон. Не кричи! Тебя заставят умолкнуть!

Макс. Письмо Урии! Да?

Йоран Перссон. Но, друг мой, ведь это ты соблазняешь Вирсавию, которая никогда не принадлежала тебе, стремясь разлучить ее с отцом ее детей. Послушайся моего совета — возьми письмо!

Макс. Нет!

Йоран Перссон. Тогда иди, ищи духовника, ибо часы твои сочтены!

Макс. Кто счел их?

Йоран Перссон. Я! Прощай, прощай навек!

Макс. Какою властью вы судите меня?

Йоран Перссон. Силою закона, карающего смертью тех, кто соблазняет чужих невест! Теперь ты знаешь. И довольно.

Входит Эрик; Макс в страхе, незаметно ускользает за дверь.

(Йоран Перссон звонит в колокольчик.) Простите, ваше величество!

Эрик *(нежно)*. Ну что ты! Мы здесь одни?

Йоран Перссон. Да, почти! Там мать сидит, но пусть ее слушает, у нас ведь нет секретов.

Эрик *(обращаясь за ширму)*. Добрый день, матушка Перссон. Мы теперь в силе, я да Йоран, так что вы уж ничего не бойтесь!

Мать. Знаю, ваше величество, я и не боюсь ничего!

Эрик. Вот хорошо, вот и славно! А у меня новости, Йоран.

Йоран Перссон. Добрые новости?

Эрик. Уж от тебя зависит, как их повернуть!

Йоран Перссон. Порой и скверные годятся!

Эрик. Скажи, к примеру, — на что годится эта? Юхан, как знаешь ты, уже обвенчан с Катариной...

Йоран Перссон. Это значит, что Польша с нами заодно против России.

Эрик. Но значит ли это, что герцог стал выше короля?

Йоран Перссон. Это мы еще увидим!

Эрик. Далее, Юхан схватил моих послов и засел в Або вместе с взбунтовавшимися финнами!

Йоран Перссон. Это значит, что герцог поднялся против своего короля и, следственно, должен лишиться свободы и жизни!

Эрик. Ну, скажем, только свободы...

Йоран Перссон. И жизни! Судьбу его решит риксдаг!

Эрик (*взволнованно*). Нет, нет, не жизни! Я не хочу крови, с тех пор как у меня дети.

Йоран Перссон. Соберется риксдаг и рассмотрит дело о государственном преступлении!

Эрик. Нет, нет, только не жизни! Я спать не буду по ночам!

Йоран Перссон. Великий твой отец, строитель государства, никогда не смотрел ни на дружбу, ни на родство. Интересы государственные — превыше всего!

Эрик. Слишком ты силен для меня, Йоран!

Йоран Перссон. Ничуть. Но пока могу, я буду защищать твою корону от врагов твоих!

Эрик. А у меня есть враги?

Йоран Перссон. Да! И злейший враг твой был недавно здесь!

Эрик. Стуре!

Йоран Перссон. Он. И боюсь, мы их слишком расхвалили. Граф Сванте, который потрудился нынче навестить меня, с тем чтобы меня оскорблять в своих нападках на твое правление и новшества...

Эрик. Он оскорблял тебя? Но отчего ты отвергаешь дворянский титул, ты был бы тогда им ровней?

Йоран Перссон. Нет, не хочу! Не хочу спорить с господами дворянами о знатности, в князьки не мечу. Покуда я с мелким людом — я сам себе хозяин и возвышен либо унижен буду только собственными делами!

Эрик. Ты вечно прав, как это грустно, Йоран!

Йоран Перссон. Вздор!

Эрик. А подумал ты о том, что Юхан сродни дворянам, что их водой не разольешь?

Йоран Перссон. Разумеется, я тотчас об этом подумал! Вот мы и сгребем их в один невод!

Эрик. Подумать! Никогда я не чувствовал себя сродни ни Юхану, ни нашей знати. Оттого, верно, что я из немцев. Верно, оттого и планы женитьбы моей рушатся!

Йоран Перссон. Но ведь ты женат, Эрик.

Эрик. И да и нет. А знаешь — порой вдруг подумается — чего же лучше!

Йоран Перссон. Ну вот! Может быть, и свадьба скоро?

Эрик. Что дворяне скажут!

Йоран Перссон. Не им жениться! Тебе!

Эрик (*ломает руки*). О господи, вот бы... Ха-ха! Впрочем, не вмешивайся. Скажи, однако: что твоя-то свадьба?

Йоран Перссон. Ну и ты не вмешивайся!

Эрик. Ха-ха-ха! А знаешь, с тех пор как в тебя попала стрела Амура, ты мне стал как-то больше нравиться, я тебе, пожалуй, больше верю. Нельзя ль взглянуть на твой платоновский прообраз?

Йоран Перссон. Смею ли я просить моего высокочтимого друга не потешаться над тем, что должно быть свято для каждого благородного человека...

Эрик. А ты негодяй, Йоран!

Йоран Перссон. Был прежде, теперь не тот; но знаю, если она меня покинет, я стану прежним!

Эрик. Прехним! Йоран — Дьявол из «Сизой голубки»!.. «Под злата звон, под гром булата...»

Йоран Перссон (*показывает на ширму*). Ш-ш! Не буди страшного прошлого... я был зол тогда, потому что никто меня не любил...

Эрик. И что ты мелешь, Йоран! Неужто ты веришь, что она тебя любит?

Йоран Перссон. Что? Что ты сказал? Кто наговорил тебе? Кто? Кто?

Эрик. Постой! О чем ты? Я ничего не знаю, сказал наобум, ведь нередко так бывает.

Йоран Перссон. Не задевай этой струнки, Эрик, не то дьявол снова сойдет в мою душу, где я недавно поставил небольшую капеллу неведомому Богу...

Эрик. Ха-ха-ха!

Йоран Перссон. Да, странная вещь — любовь, она будит в нас память о детской вере...

Эрик. Гм!

Йоран Перссон. Ну и смейся!

В дверь стучат.

Открыть?

Эрик. Пожалуйста! Есть только один человек на свете, с которым мне бы не хотелось встретиться.

Йоран Перссон впросительно смотрит на него.

Это отец Карин! Солдат Монс!

Йоран Перссон (*отпрянув от двери*). Солдат Монс!

Монс (*решительно входит, сперва не узнает короля, подает бумагу Йорану*). Прочтите, господин секретарь, сделайте милость. (*Узнает Эрика, смущается, потом медленно стягивает каску*.) Король! Надо бы на колени пасть, но не могу я, видит бог, хоть вы меня режьте. (*Пауза*.) Рубите голову с плеч, коли честь отняли!

Эрик. Твоя честь, Монс, может быть восстановлена...

Монс. Это если замуж ее за кого выдать? С тем-то я в аккурат и пришел.

Эрик. Ты не можешь выдать за кого-то мою невесту!

Монс. А я и не знал, что дочка моя помолвленная! Вы ее опозорили — да, а теперь нашелся благородный человек, он вашу вину искупит.

Эрик (*Йорану Перссону*). Подумай, и мне такое терпеть от простого солдата!

Монс. Это как посмотреть — кто из нас простей...

Эрик (*Йорану Перссону*). Свяжи меня, не то я его убью!

Монс. Я дед вашим детишкам, нравится это вам или не нравится. Кем я вам-то, стало быть, прихожусь?

Эрик. Ты отец моей Карин, и потому я тебе прощаю. Чего ты хочешь от меня?

Монс. А вот уж этого вы мне не вернете!

Йоран Перссон. Бери-ка, малый, свою бумагу и ступай!

Монс. Ничего, и без бумаги дело сладим!

Эрик. Какое еще дело? Хочешь отнять у меня Карин с детьми, да?

Монс. Добром не сойдемся, так правды дождемся!

Эрик. От сатаны, что ли?

Монс. Нет, от государственного секретаря, господина Сванте Стуре.

Эрик. Вечно Стуре! Монс — ты в выигрыше, ибо ты прав. Потерпи, и все будет по-твоему!

Монс. А мне не надо ничего, отдайте мне только мою дочку да внучат, раз своими их не считаете!

Эрик (*Йорану Перссону*). Что говорит по этому поводу закон?

Йоран Перссон. По закону дети невенчаных родителей остаются с матерью!

Монс. Это один закон, а есть еще другой, он в сердцах брошенных деток записан, и по этому закону нету бесчестному отцу их любви!

Йоран Перссон (*тихонько, Эрику*). Задобри ты его!

Эрик. Солдат Монс, ты произведен в прапорщики...

Монс. Покорнейше благодарим, да не нуждаемся! Богач думает — все продается, ан...

Эрик. Ан сам бедней последнего бедняка!

Монс. Вроде как верно! Однако я ведь не за милостыней сюда шел, стало быть, и уйду не богаче прежнего... (*Пауза.*) и даже чуток беднее! (*Уходит.*)

Эрик. И я должен эдакое выслушивать?

Йоран Перссон. Назвался груздем — полезай в кузов...

Эрик. Что же мне делать, Йоран?

Йоран Перссон. Женись!

Эрик. И не стыдно тебе?

Йоран Перссон. Другого тебе ничего не остается! Как же ты предашь суду Юхана, когда ты сам повинен суду?

Эрик. Проклятье! Как всегда, ты прав! Пойду-ка я восвоюсь, да поразмыслю на досуге! Стуре! Стуре! Вечно Стуре! (*Озирается.*)

А живешь ты по-свински, Йоран, тебе надо переселиться, устроиться! *(Тычет пальцем в ширму.)* И что это ты там прячешь? Ха-ха-ха!

Йоран Перссон. Одумайся, Эрик! Одумайся! Настают скверные, очень скверные времена!

Эрик. Да, но я так устал. Я устал, Йоран.

Йоран Перссон. Я все устрою, ты только предоставь мне действовать, только не мешай.

Эрик. Делай все как знаешь, да чтобы я не чувствовал твоей узды, не то ведь я и сбросить тебя могу! Прощай же! И, прошу тебя, оставь дом, как тебе подобает. *(К ширме.)* Прощайте, матушка Перссон! *(Йорану.)* Будь здоров, Йоран! *(Уходит.)*

Йоран Перссон звонит в колокольчик, входит Педер Веламсон, длинный одноглазый малый.

Йоран Перссон. Знаешь ты прапорщика Макса, из королевской охраны?

Педер Веламсон. Знаю, господин прокуратор!

Йоран Перссон. Возьми с собой шесть дюжих молодцов. Подстерегите его вечером, когда он пойдет нести караул. Свяжите его, да чтоб не пикнул. Суньте в мешок, да чтоб ни капли крови не пролилось. Бросьте мешок в реку и не уходите, пока он не пойдет ко дну.

Педер Веламсон. Все будет исполнено, господин прокуратор!

Йоран Перссон. И ничто тебя не тревожит?

Педер Веламсон. Ничуть!

Йоран Перссон. Стало быть, ты верный слуга, как сам я — верный слуга королю. Ступай!

Педер Веламсон уходит.

(Йоран Перссон — в сторону ширмы.) Не осталось у тебя чего-нибудь холоденького, мама? Я бы подкрепился.

Мать. Ну что? Попросил денег?

Йоран Перссон. Нет, не до того было.

Мать. Я не подслушиваю, но кое-что пришлось расслышать...

Мария. Дядя, иди кушать!

Йоран Перссон. Да-да, егоза, иду!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Берег озера Меларен, вечер. Вдали Грипсхольмский замок. Посреди сцены мост; справа — у подножья холма, заросшего дубом и орешником, — сторожевая будка. На берегу — рыбацкая хижина, лодка, сеть.

Йоран Перссон и Нильс Юлленшерна.

Йоран Перссон. Господин Юлленшерна, вы ведь друг королю, не правда ли, несмотря на печальное недавнее происшествие...

Нильс Юлленшерна. Мое имя Юлленшерна и я друг Васам, но палачом не бывал и не буду!

Йоран Перссон. Речь не о том... Что думаете вы о поведении герцога Юхана и о приговоре?

Нильс Юлленшерна. Герцог Юхан возмутил Финляндию и Польшу против своего отечества и справедливо приговорен риксдагом к смертной казни. Король Эрик его помиловал — и это делает честь сердцу короля.

Йоран Перссон. Хорошо же! Но что тогда вы скажете о замысле вдовствующей королевы вместе с дворянами, которые хотят торжественно встретить злодея, когда его будут тут провозить?

Нильс Юлленшерна. А то и скажу, что они делаются приспешниками злодея и должны разделить его участь.

Йоран Перссон. Особа вдовствующей королевы, разумеется, неприкосновенна, но Стуре и прочие — дело иное. Как только станет ясно, что они хотят чествовать злодея, я прикажу их арестовать тут же, при входе на мост. В рыбацкой хижине засели мои люди. Но нам важно, чтобы вы, один из государственных мужей и родственник Стуре, поддержали наше предприятие.

Нильс Юлленшерна. Долг свой я исполню, но беззакония не поддержу...

Йоран Перссон. Все будет по закону, риксдаг осудит Стуре точно так же, как осудил он герцога Юхана.

Нильс Юлленшерна. Тогда я согласен, но сперва поглядим, посмеют ли эти господа открыто, при мне, переметнуться к предателю. Я жду невдалеке, дайте мне сигнал, выстрелите, и я тотчас же тут буду. Прощайте покамест!

Йоран Перссон. Пойдите. Всего одно слово, Юлленшерна! *(Идет за ним следом.)*

Сторож *(выходит из сторожевой будки вместе с Педером Веламсоном)*. А по мне, господин хороший, лучше всего тут подойдет пила!

Педер Веламсон. Пила?

Сторож. Она! Подпилить мостовые балки, а при входе на мост часовой поставить. Пойдут господа герцога встречать, а часовой им — «не ходите на мост!». Негромко так, и всего-то разок. Они, ясное дело, не послушают, мост рухнет, и всем им конец.

Педер Веламсон. Так тоже можно, только возни много; да многие и плавают отменно. Вот я на днях одного прапорщика, Монса, топил. Сунули мы его, как котенка, в мешок, ноги ему заковали, груз привесили. И — виданное ли дело! — всплыл не хуже речной выдры, и пришлось глушить его дубьем, как налима к крещенью глушат.

Сторож. А-а, стало быть, это ты с Монсом-то разделался...

Педер Веламсон. А то!

Сторож. Чистая работа! Концы в воду — и поминай как звали. А то ведь от судов этих да следствий — толку мало, правда — она что дышло, любого каналью обелить можно, ежели к делу умеючи

подойти. Прокуратор наш — тоже малый не промах, да уж больно охоч он бумагу марать...

Педер Веламсон. Не всегда, не всегда. Но с герцогом тут и впрямь все должно быть честь по чести...

Сторож. А герцогиня-то, полька, с ним, что ли?

Педер Веламсон. Нет, говорят, она после, сама по себе пожалует...

Сторож. Ну-ну... Грипсхольм — он большой, стены толстые, так что и не услышишь, что внутри детсяя.

Йоран Перссон (*входит*). Педер Веламсон!

Педер Веламсон. Прокуратор!

Йоран Перссон. Стань на страже и никого на мост не пускай; герцог с другой стороны едет.

Педер Веламсон. Будет исполнено!

Йоран Перссон. Сторож! Гляди во все глаза и все запоминай, будешь свидетелем.

Сторож. Свидетелем? А кое-кто скажет — это уж верно, — что я все вру!

Йоран Перссон. Это мое дело. А ты делай свое! Тс-с! Идут! По местам! (*Уходит в глубь сцены направо.*)

Сванте Стуре, Нильс Стуре, Эрик Стуре, дворяне, свита, несут венки и букеты. Нильс Стуре несет большой венок, украшенный герцогскими гербами и золочеными сплетенными вензелями Ю и К.

Сванте Стуре (*Нильсу Стуре*). Повесь этот венок на мосту, чтобы путь в тюрьму нашего родича и друга прошел как бы через триумфальную арку (*разглядывает венок*). Ю — Юхан, К — Катарина!

Нильс Стуре. Но К может означать и герцога Карла!

Эрик Стуре. Тише ты!

Сванте Стуре. Дети, не шумите! Пусть же торжественность минуты взывает к миру, когда бушуют братоубийственные распри и воскресают раздоры Фолькунгов. Не замок ли Нючёпинг видим мы вдали?

Нильс Стуре. Нет, это Готуна!

Эрик Стуре (*простодушно*). Да ведь это же Грипсхольм!

Нильс Стуре. Он не понял! И он не знает, что герцог Юхан из рода Фолькунгов!

Сванте Стуре. Тише, тише.

Нильс Стуре идет с венком на мост.

Педер Веламсон (*преграждая ему путь алебардой*). Назад!

Нильс Стуре. Ух ты, как расхрабрился, грозный Циклоп!

Педер Веламсон. Поосторожнее, щенок! Если б твой папаша сызмальства тебя воспитал получше, ты б не стал смеяться над чужим несчастьем!

Нильс Стуре. Это не несчастье, что ты одну гляделку потерял. Надо бы обе!

Педер Веламсон. Как бы с тобой несчастья не было, молокосос!

Сванте Стуре. Что этот солдат себе позволяет?

Педер Веламсон. Солдат короля позволяет себе исполнять приказ, а кто подойдет — получит по голове алебардой.

Сванте Стуре. Этого следовало ожидать! Подумать только! Плебей — представитель короля! Хам — выше дворянина, канцелярская крыса — выше воина! Безродный — выше знатного! О страна, страна!

Лейонхувуд. А знаешь ли ты, что этот малый племянник Йорану Перссону, сын его сестры?

Сванте Стуре. Не знал. Теперь я понимаю!

Стенбок. Оказывается, у этого каналы Перссона есть хоть что-то одно хорошее?

Лейонхувуд. Что? Почему?

Стенбок. У него есть сестра. Вот не думал.

Лейонхувуд. Есть у него и второе достоинство. Он чужд кумовства.

Сванте Стуре. Еще немного — и вы приметесь расхваливать негодяя.

Стенбок. По местам! Герцог здесь!

Через мост слева скачут три всадника, потом еще три и еще три. Первые трое — дворяне в полном вооружении, затем герцог Юхан в ручных кандалах и с ним двое солдат, затем трое солдат верхом, за ними идут пешие, Стуре и дворяне бросают в воздух цветы и венки, Нильс вешает свой венок на дорожный столб.

Сванте Стуре. Слава герцогу Финляндскому! Слава!

Все. Слава! Слава! Слава!

Герцог Юхан в знак благодарности поднимает руки. Процессия движется вправо, господа стоят и машут ей вслед. Затем раздается неистовый свист, за ним выстрел. Йоран Перссон и Нильс Юлленшерна выходят из глубины сцены, справа. Из рыбацкой хижины появляются солдаты.

Нильс Юлленшерна (*к Сванте Стуре и дворянам*). Именем короля вы арестованы!

Сванте Стуре. По какому праву?..

Нильс Юлленшерна. Я облечен этим правом! Те, кто по-прежнему оказывает герцогские почести Юхану, лишеному герцогского достоинства постановлением риксадага, открыто становятся на сторону предателя. Делайте свое дело, солдаты!

Солдаты хватают дворян.

Сванте Стуре. И это говорит шведский дворянин?

Нильс Юлленшерна. Да, и к тому же потомок Кристины Юлленшерна и одного из Стуре, никогда прежде не изменявших короне! Везут преступного, а вы встречаете его с цветами, словно жениха!

Сванте Стуре. Герцог не подданный короля.

Нильс Юлленшерна. Простите, но вам изменяет память, господин Сванте, не вы ли составляли Арборгскую конституцию, в которой ограничены права герцогов?

Сванте Стуре. Верно! О, если б вовремя знать!

Нильс Юлленшерна. Идите, господа! Вас ожидает правосудие и закон, пред которым все должны склоняться, простолюдин и знатный!

Сванте Стуре. Хорошо же! Стуре знавали счастье и несчастье! Еще придет наш светлый час!

Нильс Юлленшерна. Придет ночь, и вас не станет! Прощайте же, господа!

Их уведат вправо.

Йоран Перссон. Благодарю вас, Юлленшерна. Видите ли, сам я не мастак произносить высокие, тонкие речи; но вы говорили превосходно, я еще раз вас благодарю. А я отправляюсь в Упсалу — действовать!

Нильс Юлленшерна. Прощайте, прокуратор! И судите не слишком строго!

Йоран Перссон (*уходя*). Я и вовсе не буду судить, но риксдаг. (*Педеру Веламсону.*) Педер Веламсон! Собери все цветы и венки!

Педер Веламсон. Слушаюсь!

Йоран Перссон. И запишем все показания твои и часового — подробнейшим образом!

Педер Веламсон. Подробнейшим образом! А лучше бы и вовсе не писать!

Йоран Перссон. Забудь, что ты мой племянник, и я забуду, что я тебе дядя!

Педер Веламсон. Даже при производстве моем по службе?

Йоран Перссон. Разумеется! Видишь ли, дворяне к нам, простолюдинам, куда требовательней, чем к самим себе; что ж, придется соответствовать их высоким мыслям. Впрочем, тебе и лучше оставаться внизу — в низине ветер не такой злой, как на вершинах! Сам же я взберусь в такую высь, что всех заставлю черное называть белым!

Зал в замке в Упсале. Из окон, выходящих во двор, видны окна риксдага, в них свет, они открыты настежь. В зале смутно различимы движущиеся фигуры, когда раздвигаются шторы.

Эрик (*в мантии, корона лежит на столе; он открывает окно. Йоран стоит у другого окна и прислушивается*). Жарко нынче на Троицу!

Йоран Перссон (*кивая в сторону риксдага*). Скоро еще жарче будет! Дворян немного, зато духовных множество собралось!

Эрик. А эти не любят меня! Заходил ты туда?

Йоран Перссон. На минуту.

Эрик. И что же они? Как тебе показалось? Я вот сразу чую, друзья передо мною или враги.

Йоран Перссон. Я всегда чую врагов там, где собраны двое или трое, и всегда готов их разить! Лучше самому нанести первый удар...

Эрик. Смотри-ка! Кажется, Юхан!.. Тот, с рыжей бородой... вон!

Йоран Перссон. Нет! Это Магнус из Або!

Эрик (*трет лоб*). Но я видел Юхана! Я его видел! Дай сюда речь! Хорошо переписали?

Йоран Перссон (*подавая бумагу*). Нельзя лучше. И ребенок прочтет!

Эрик (*пробегает глазами бумагу*). Все хорошо. Но доказательств достаточно?

Йоран Перссон. Тут все. И мятежная речь Нильса Стуре, и приветствия господина Сванте предателю. Надо быть негодяем, чтоб таким изменникам вынести оправдательный приговор!

Эрик. А свидетели?

Йоран Перссон. На месте, ждут. Впрочем, достало бы и письменных показаний.

Эрик. Не пора ли начинать, как по-твоему?

Йоран Перссон (*выглядывает в окно*). Представители еще не заняли своих мест, но почти все уже в сборе!

Эрик (*выходит на авансцену, кладет бумагу на стул, берет со стола корону и надевает*). Несносная жара! Корона давит лоб, вся голова в поту!

Карин (*входя*). Прости, родной, но у детей к тебе просьба, совсем невинная просьба.

Эрик (*ласково*). Ну, скажи какая.

Карин. Им, они говорят, очень хочется взглянуть на короля!

Эрик. Мы каждый день ведь видимся... Ну да... Им подай короля в короне, короля на сцене! Что ж, пусть войдут!

Карин (*машет рукой в сторону двери, которую она не прикрыла за собой*). Идите сюда, маленькие!

Густав и Сигрид, держась за руки доктора, подходят к Эрику и падают на колени.

Эрик. А ну-ка, негодяйчики, сейчас же вставайте с пола! (*Наклоняется и берет обоих на руки*.) Ну вот! Можете поглядеть на эту игрушку! (*Густав и Сигрид трогают пальчиками корону. Эрик целует обоих и ставит на пол*.) Ну как? Высоко взобрались? А?

Густав (*щупает горностаев на мантши*). Смотри, Сигрид, крысы!

Сигрид. Не надо мне крыс! (*Идет к столу, на котором Эрик оставил свою бумагу с речью, и потихоньку закутывает в нее куклу*.)

Эрик (*Густаву*). Ну, Йоста, хочешь тоже стать королем?

Густав. Ага, если только мама будет королевой!

Эрик. Она и так важней всякой королевы!

Густав. А я важней всякого принца, да?

Эрик. Конечно! Потому что ты ангел!

Входит придворный, что-то шепчет Йорану Перссону, тот подходит к королю.

Йоран Перссон. Пора! Поспеши!

Эрик (*Карин и детям*). Храни вас господь! Всех, всех! (*Уходит*.)

Густав и Сигрид шлют ему воздушные поцелуи.

Карин (*Йорану Перссону*). Что там затевается?

Йоран Перссон. Король перед риксдагом должен обвинить дворян.

Карин. Тех, что заточены в крепость?

Йоран Перссон. Их самых!

Карин. Значит, можно заточить людей в крепость прежде дознания и суда?

Йоран Перссон. Да, если кто пойман с поличным, его сразу бросают в тюрьму и потом уж ведут дознание. Так и случилось с господами дворянами.

Карин. Все-то ты мудреные вещи говоришь, где мне их понять...

Йоран Перссон. Да, правосудие — дело тонкое; тут такая нужна скрупулезность и точность, речь идет ведь о жизни и смерти! (*Подходит к окну*.) Слушайте! Король говорит! И его отсюда видно!

Карин. Задерните шторы! Не хочу я на это смотреть!

Йоран Перссон (*задергивает шторы*). Как вам угодно, фрёкен.

Сигрид. Мама, это Йоран Перссон?

Карин. Тс-с, малышка!

Сигрид. Он и правда очень плохой?

Йоран Перссон. Только с плохими людьми, а не с детками.

Карин. Вы мне уж больше нравитесь, Йоран, когда вы бьете, а не когда вы ласкаете.

Йоран Перссон. Неужто?

Карин. И не хотелось бы мне хоть чем-то быть вам обязанной.

Йоран Перссон. И однако ж...

Придворный (*входит, что-то шепчет Йорану Перссону, тот поспешно уходит; затем — к Карин*). Ее величество вдовствующая королева просит дозволения войти!

Карин (*робко*). Войти? Ко мне?

Вдовствующая королева (*стремительно входит слева и падает на колени*). Смилуйтесь! Пошадите брата моего и близких!

Карин (*падает на колени*). Встаньте, Христом богом прошу, встаньте! Неужто вы и вправду думаете, что я могу кого-то миловать, я, — ведь я сама только от милости чужой и завишу! Встаньте, королева, благородная вдова великого короля Густава; я, ничтожная, не стою того, чтобы вы даже приходили ко мне!

Вдовствующая королева. Разве не фрёкен Карин вижу я перед собой, которая держит на своей маленькой ладони судьбу нашего королевства... Встаньте же вы сама, подайте только знак, шевельните пальчиком — и спасите моих близких, ибо король вне себя!

Карин. Он вне себя? Отчего? Я ничего не знаю, я ничего не могу! Скажи я хоть слово — и он прибьет меня, как давеча уже чуть не прибил.

Вдовствующая королева. Значит, неправда, что вы королева?

Карин. Я? Господи! Да я последняя из женщин при дворе, если вообще можно сказать, что я при дворе!

Вдовствующая королева. И он вас обижает? Отчего же вы не уйдете от него?

Карин. Куда же мне уйти? Отец не хочет меня видеть, сестры со мной не кланяются. Последний друг мой, родственник мой Макс, исчез неведомо куда.

Вдовствующая королева. Так вы не знали, что прапорщик Макс...

Карин. Говорите!

Вдовствующая королева. Макса нет больше! Он убит!

Карин. Убит? Я так и думала, но не хотела верить! Господи! Господи! Теперь уж я прошу у вас защиты, если есть в вас хоть капля жалости к несчастной грешнице!

Вдовствующая королева (*поразмыслив*). Неужто все это правда?.. Хорошо же; следуйте за мною в Хернингсхольм; это укрепленный замок, и там собрались дворяне, готовые защищаться от буйного безумца, пока еще держащего в руке скипетр.

Карин. А мои дети?

Вдовствующая королева. Возьмите их с собою!

Карин. Я столько горя извела, что мне даже трудно поверить в такое ваше благородство!

Вдовствующая королева. Зачем вам говорить о благородстве или размышлять о причинах моего предложения? Ясно одно — здесь, в этом разбойничьем гнезде, оставаться вам нельзя. Спешите! Велите скорее укладывать ваши вещи. Через полчаса сюда явится король и вы с детьми погибли!

Карин. Он убил моего единственного друга, преданного мне всем сердцем, готового спасти меня от позора. Я ему прощаю, он так несчастен, но видеть его я больше не хочу. (*Звонит.*)

Входит камеристка.

Поскорей соберите детское платье и принесите сюда. И не забудьте игрушки, чтоб малыши дорогой не заплакали и не просились домой!

Камеристка уходит и уводит Густава и Сигрид.

Вдовствующая королева. Какие дивные у вас дети! Любит их отец?

Карин. Он боготворит их, но и убить готов! Ему сейчас бы только убивать...

Вдовствующая королева (*коварно*). Значит, он будет скучать по ним?

Карин. Сперва — да, потом забудет. Бедный Эрик!

Входит камеристка, приносит детские вещи, игрушки, все кладет на стулья и на стол.

Вдовствующая королева. Йоран Перссон дурно влияет на Эрика, правда?

Карин. Скорей наоборот! Йоран — он умный, ловкий и, сколько возможно, старается действовать по справедливости... Но я все равно его боюсь!

Вдовствующая королева. Знаете ли вы, что делается сейчас в зале риксдага?

Карин. Что-то решается насчет дворян, а что — я не поняла.

Вдовствующая королева. Король поклялся, что они умрут...

Карин. И Стуре? Благородные Стуре, любимцы народа?

Вдовствующая королева. Они! Они-то и заточены в подземелье замка. А с ними мой родной брат, Абрахам Стенбок...

Карин. С меня довольно! Мои дети не будут повинны в этой крови.

Из сада несутся крики, шум.

Вдовствующая королева (*стоя у окна*). Оставьте все! Бежим! Король идет сюда; он взбешен, даже пена у рта!

Карин. Идемте, я знаю тропу в парке, ведущую к пристани (*берет кое-что из детских вещей*). Только с этим мне помогите! Ох! Господи, смилуйся над нами! (*Уходит вместе с вдовствующей королевой.*)

Лязг оружия; трубы; стук копыт. Входит Эрик, швыряет корону на стол; озирается и что-то ищет, не помня себя от ярости.

Йоран Перссон (*входя*). Король здесь? Что стряслось? Что стряслось? Ради Христа — что?

Эрик (*срывает с себя мантию, комкает, швыряет на пол, топчет*). Стряслось? Ничего не стряслось, ибо все подстроено, подстроено дьяволом!

Йоран Перссон. Говори понятней, и я все исправлю!

Эрик. Ну вот. Ты сам знаешь, оратор я никакой, и потому я велел все для меня написать. Я думал, будто бумага лежит в кармане, и я открываю огонь по предателям — никуда не заглядывая, по вдохновению. Потом я лезу в карман за бумагой, но в эту самую секунду я вижу, что рыжебородый усмехается, глядя на меня, как только один Юхан умеет усмехаться, — и не могу найти бумагу! Я прихожу в бешенство, я путаю имена и цифры, будто кто-то взял и замутил мои мозги и сделал меня косноязычным. Да, кто-то — и кто, как не сам дьявол! — заставляет меня путать Сванте Стуре и Педера Веламсона; потом я уверяю, будто дворяне украсили мост гирляндами — а ведь у них были венки! И все свое недоверие к Стуре — я ведь его всегда подавлял! — я выливаю на них вместе с бездной обвинений, которые никак не доказываю! Сперва в зале смеются, потом меня уличают в ошибках, а когда уж шесть свидетелей защиты утверждают, что Юхана встретили букетами и единственным венком, и без всяких гирлянд, тут уж мне и вовсе нет никакого доверия! Подумай! Допусти я, чтоб их судили по всем правилам закона, они бы уже давно сидели в крепости — ведь их же поймали с поличным! — так нет, мне понадобилось быть великодушным, раз на моей стороне правда! Великодушие! Черт бы побрал

это великодушие! И риксаг поддержал предателей, риксаг приветствовал негодяев, риксаг соболезновал злодеям, а мы — мы, судьи, — стоим перед лицом преступников как обвиняемые. Поистине, кто столкнется с дьяволом — тот и прав!

Йоран Перссон. Но — свидетели обвинения?

Эрик. Свидетелей отвели! Думаешь, позволят солдату да сторожу показывать против дворян? За дворян — пожалуйста! Поверили на слово лакею Стуре, а не мне, королю! На старую няньку Стенбока ссылались, как на священное писание! Малолетнего сына Иварссона выслушивали в суде против закона и права и еще аплодировали ему!

Йоран Перссон. И что же?..

Эрик. Дворян оправдали!

Йоран Перссон. Дай-ка минутку подумать!.. Гм! Гм! Так вот: несправедливое решение риксага отклонить, а государственное преступление передать на рассмотрение королевского совета!

Эрик. Болван! Мы, а вернее ты — теперь сам обвиняемый, и никто не доверит тебе никого судить.

Йоран Перссон. Проклятье! Тогда я не вижу иного выхода, кроме насилия. Во имя торжества справедливости! Любуй ценой!

Эрик. Но не против закона и совести!

Йоран Перссон. Нет, по совести и по закону против крючкотворов и предателей! Закон обрекает изменников смерти — стало быть, пусть умрут!

Эрик. Скажи, отчего рыжебородый смеялся, когда я полез за бумагой? Он ведь не мог понять, конечно, как это низко; значит, он все знал заранее и даже помогал ее выкрасть! Бумагу надо найти, и тот, у кого она окажется, будет казнен! (*Озирается.*) Что это? Я в детской! Что же это такое... (*Звонит.*) Йоран! Я боюсь, что случилось самое страшное! (*Звонит.*) Отчего никто не идет? Тут так пусто!

Входит придворный.

Где фрёкен... Карин?

Придворный молчит.

Говори же — или я тебя убью! Где фрёкен Карин?

Придворный. Фрёкен изволила уехать!

Эрик. Уехать? С детьми?

Придворный. Да, ваше величество.

Эрик (*падает на скамью*). Лучше убей меня!

Йоран Перссон. Снаряди погоню! Они же еще недалеко!

Придворный. Вдовствующая королева проследовала с беглецами в Хернингсхольм...

Эрик. Хернингсхольм, гнездо этих Стуре... вечно Стуре, всегда они! Послать туда десять тысяч войска, разгромить замок! Подпалить! Взять их измором!

Придворный. Вдовствующую королеву сопровождает Сёдерманландский полк...

Эрик. Сёдерманландский! Значит — герцог Карл! Ну, этого трогать нельзя, не то он выпустит дьявола из Грипсхольма! Так, значит, вдовствующая королева, сука, заодно со своими Стуре, сманила мою Карин! И моя милая Карин ушла... Она потаскуха, Йоран, все они потаскухи! Но они отняли у меня детей, эти Стуре! Никогда, никогда не прощу! (*Обнажает кинжал и рубит стол.*) Никогда! Никогда! (*Прячет кинжал в ножны.*)

Йоран Перссон. А Нильс Юлленшерна был в риксдаге?

Эрик. Да, сначала я видел его, он стоял у свидетельской скамьи, но как только ветер переменился, он исчез, Йоран. Все меня бросили, кроме тебя, Йоран!

Йоран Перссон (*приворному*). Зови сюда Педера Веламсона! Скорей!

Придворный уходит.

Послушай, Эрик, сам посуди — разве я не логически рассуждаю? Закон карает изменников смертной казнью. Стуре — изменили. Стало быть, их следует казнить.

Эрик. Прекрасно!

Йоран Перссон. Ну вот!

Нильс Юлленшерна (*входит*). Ваше величество!

Эрик. А-а, скотина!

Нильс Юлленшерна. Легко сказать, ваше величество, но что мог один разумный человек против целой банды безумцев?

Эрик. Ответь: считаешь ты, что Стуре — предатели?

Нильс Юлленшерна. Я вынужден верить собственным ушам и глазам, и предательство было совершенно вопреки мнению риксдага. Однако ж — ходят слухи... их-то и пришел я сообщить — что герцог Юхан на свободе!

Эрик (*мечется по комнате*). Ад! Проклятье!

Йоран Перссон. Спокойствие!

Нильс Юлленшерна. Но я должен еще кое-что сказать господину прокуратору.

Йоран Перссон. Говори!

Нильс Юлленшерна. С глазу на глаз!

Йоран Перссон. У меня нет тайн от короля!

Нильс Юлленшерна (*сует что-то в руку Йорана Перссона*). Одна особа просила отдать вам этот предмет с поклоном и просьбой вернуть кое-что другое!

Йоран Перссон смотрит на полученное кольцо, потом через плечо швыряет его за окно. Потом срывает с шеи медальон и топчет ногами.

Эрик (*он все видел*). Ха-ха! Платоновский прообраз! Тоже потаскуха! Ха-ха-ха!

Йоран Перссон. Ну вот! Вернулся прежний Йоран — Дьявол! Подумать только! Лучшее, что дарит нам жизнь, обра-

чивается худшим; в раю нас подстерегает ад, и ангелы — все, все дьяволы, сам сатана — это белая голубка, а дух святой...

Эрик. Молчи!

Йоран Перссон. Ах, так ты еще и веруешь, сатана? Ступайте прочь, Юлленшерна, тут сейчас пойдут чистка и мытье, как пред пасхальной заутреней, скорей ступайте прочь, сюда идет важный гость!

Входит Педер Веламсон.

Нильс Юлленшерна (*уходя*). То, что вы намереваетесь совершить, незаконно, но справедливо! (*Уходит.*)

Йоран Перссон (*Нильсу Юлленшерна*). Помалкивай! (*Педеру Веламсону*). Педер Веламсон, в погребах у нас крысы! Спустишь и перебей их всех!

Педер Веламсон. С моим удовольствием! Да только...

Эрик. Колеблешься?

Педер Веламсон. Да нет, отчего же. Но мне бы что-нибудь получить...

Йоран Перссон. Все хотят брать, брать, и никто — давать!

Эрик. Но чего бы ты желал, а? Не хочешь ли стать бароном, графом, государственным советником? Говори же! Ты видишь цену всему этому дерьму! И станешь ничуть не лучше мерзавцев, которые сидят в погребе! Вот только королей я делать не умею, одних королев! Могу из потаскухи сделать королеву! Хочешь стать королевой?

Педер Веламсон. Нет, мне бы стать капралом!

Эрик. Капралом? Какая скромность! Поистине у меня друзья лучше, чем у Юхана! Что ж, капрал! Служи своему королю!

Педер Веламсон. Лучше бы бумагу для верности! Но и так сойдет! (*Уходит.*)

Эрик (*садится на стул*). Прекрасный канун Троицы... Ха-ха! Зеленые листья и белые лилии... Сейчас бы покататься по озеру Меларен с Карин и детками... Детки! Подумать! Хищный зверь похитил моих деток... И все, что бы ни сделали о н и , — честно и справедливо. Ну почему некоторые могут делать все, что им заблагорассудится? Почему? Вот и Юхан на свободе!

Йоран Перссон (*сидит за письменным столом и что-то чертит*). Почему ты не высылаешь против него войско?

Эрик. А ты?

Йоран Перссон. Нет, просто я не пойму, как могло все это случиться. Против всякой логики, против разума и справедливости. Неужто сам бог покрывает мошенников, помогает предателям, черное делает белым?

Эрик. Как будто и вправду!

Йоран Перссон. Ты слышишь? Кто-то там, внизу, поет псалом!

Эрик (*вслушиваясь*). Старая свинья Сванте!

Йоран Перссон. Да! Весь сброд людской надвое делится: свиньи верующие и свиньи неверующие. А все равно свиньи!

Эрик. Сам-то ты веришь во что-нибудь, Йоран?

Йоран Перссон. Не знаю! Недавно вздулось было пузырями болото моего детства, но сразу они полопались и только вонь от них!

Эрик (*протягивает руку и берет куклу*). Взгляни! Кукла Сигрид и зовут ее Слепая Бледнушка... я ведь помню всех кукол по именам! А знаешь ли, я ведь вот этой минуты больше всего на свете и боялся — когда мои бросят меня! Но действительность не совпадает с нашими о ней представлениями, и, знаешь ли, я решительно ничего не чувствую, я совершенно спокоен, как никогда и не был в дни, так сказать, счастья! Только вот этот канун Троицы! Он будит столько воспоминаний... (*Взволнованно.*) И все связаны с детьми... Дети — прекраснейший из даров нашей убогой жизни... В прошлом году мы плыли по озеру Меларен... Сигрид и Густав были во всем новом, светлом, мать сплела венки из незабудок и надела на их золотые головки. Они были такие веселенькие оба и пели, как два ангелка... Потом они стали босиком носиться по берегу, бросали камешки... Вдруг Сигрид поднимает ручонку, и камешек летит Густаву прямо в щеку. (*Всхлипывает.*) Если б ты видел, как она опечалилась... как она его гладила, просила прощенья... ноги ему целовала, чтобы только развеселить... Проклятье! (*Вскакивает.*) Где мои дети? Кто мог тронуть детенышей медведя? Только свинья! Но ведь тогда медведь разорвет ее детенышей! Это логично! (*Обнажает кинжал.*) Горе им! Горе!

Йоран Перссон. Пусть уж тут распорядится капрал! Если ты сам в это сунешься, шум поднимется невообразимый!

Эрик. Нет! Я сам буду вершить высшее правосудие, коли уснули боги!

Йоран Перссон. А ну их совсем, твоих богов!

Эрик. Ты прав! (*Уходит.*)

Йоран Перссон звонит. На мгновение опускается занавес. Когда он снова поднимается, Йоран Перссон сидит за столом и что-то чертит.

Эрик (*входит, волнуясь*). Конечно, ложь, будто выпустили Юхана. Все — ложь, весь мир ложь, и на небесах ложь! Князь мира сего тоже назван отцом лжи, смотри Евангелие от Матфея, глава восьмая, стихи одиннадцатый и двенадцатый... Меж тем я бродил из покоя в покой... Подумай, черти даже в спальне не убрали... из зала в зал... и ни живой души не встретил. Замок брошен, как тонущий корабль, а на кухне что-то мерзкое творится; служанки разворовали пряности и еду, везде осколки и объедки, а лакеи всюду разбросали винные бутылки... Меж тем...

Йоран Перссон. А в подвалы ты спустился?

Эрик. Нет, нет, конечно нет! Но взгляни! Корона, мантия — знаки шведского величия, а рядом туфелька со стоптанным каблучком... туфелька моей Сигрид... мне стыдно, стыдно, но ведь

от своей судьбы не уйдешь, вот и я не ушел от своей судьбы... Отец всегда говорил, что я кончу плохо, и откуда он знал? Это же нигде не предсказано, да и кто может предсказать судьбу, разве что тот, кто ее вершит! Но хуже всего было, когда капрал выколол Нильсу глаз; капрал, ты же знаешь, кривой, и когда он выколол Нильсу глаз, он сказал: «Это тебе за грозного Циклопа, око за око!» И я заключил, что Нильс когда-то посмеялся над увечьем капрала. Значит, что посеешь, то и пожнешь, и Нильс, как говорится, получил свое.

Йоран Перссон. Стало быть, им позор и конец?

Эрик. Зачем ты задаешь так много вопросов, Йоран? А потом он заколол старого борова Сванте, и Эрика, и других подлецов! Тс-с! Теперь самое страшное: когда капрал стал убивать старика, тот расхрабрился и объяснил, что риксдаг его оправдал, и потребовал, чтобы я представил доказательства его вины. Подумай, этот пес требовал, чтоб я еще доказывал, как он в лицо назвал меня безумцем, а значит, оскорбил особу короля, доказывал, как он славил изменника... Я вышел из себя, я потребовал немедленной казни... и тут он закричал: «Не трогай нас, то есть Стуре, не то погибнут твои дети, они ведь наши заложники!» Заложники? Ты понял? Я вообразил, как моих деток казнят в Хернингсхольме, хотел отменить приказ, но поздно!..

Йоран Перссон. И что же потом?

Эрик. Жалкое зрелище; и в каждой душе ведь в минуту смерти проглядывает возвышенное что-то; будто кокон спадает и вылетает бабочка. Я не мог на это смотреть...

Йоран Перссон. Но сам же ты никого не убил?

Эрик. Нет. Я только ударил Нильса по руке, не потому ведь он умер! Но все равно — ужасно! Лучше бы этого не было никогда!

Йоран Перссон. Жалеешь, что велел наказать бандитов?

Эрик. Но заложники! Подумай о моих детях! И о матери молодых Стуре! И о брате вдовы королевы, Абрахаме, они же прирезали его! Она ни за что не простит! Ты это можешь поправить, Йоран?

Йоран Перссон. Нет, не могу. Я уже ничего не понимаю! Не видишь разве — события катятся, мы не в силах их удержать! Я нем, недвижим, я не могу шелохнуться, я могу только ждать, задаваясь вопросом — что будет?

Эрик. И ты ничего не можешь мне посоветовать?

Йоран Перссон. Ничего.

Эрик. Хорошо же. Тогда я пойду искать друга, которого вовек не должен был предавать!

Йоран Перссон. Свою Карин, конечно?

Эрик. Да!

Йоран Перссон. Что ж, ступай!

Эрик. Что будет? Что будет?

Йоран Перссон (*сидит за столом и барабанит по нему пальцами*). Кто же знает?

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Кухня солдата Монса, отца Карин. Монс сидит за столом. Стучат. Входит Педер Веламсон.

Монс. Здравствуй, Педер.

Педер Веламсон. Капрал, с вашего позволения!

Монс. А-а! Надеюсь, честно выслужился.

Педер Веламсон (*садится*). Уж надеюсь.

Монс. Чего это вышло у вас в Упсале?

Педер Веламсон. Изменников казнили!

Монс. По закону, по совести?

Педер Веламсон. Когда изменников казнят — оно всегда по совести!

Монс. А доказательства-то были у вас?

Педер Веламсон. У меня были доказательства, я сам был всему свидетель, так что я сам их казнил согласно приказу короля.

Монс. Дворян — это хорошо, что поубавилось, верно... только вот почему же король-то потом с ума сошел?

Педер Веламсон. С ума сошел? Он покаялся. Не такое уж сумасшествие!

Монс. Говорят, по лесу блуждал. Правда, нет ли?

Педер Веламсон. Он был от горя сам не свой из-за детей, потому что их от него увезли. На ночь глядя пошел их искать — глупость, ясное дело — заблудился в лесу, спал на голой земле, под дождем. Ну, и не ел ничего, и занемог, и в горячке бредил. Вот и все!

Монс. Есть в нем хоть искра добра, нет?

Педер Веламсон. Слушай-ка, Монс! Ты его ненавидишь, оно и понятно, но ведь и он человек. Сам посуди: риксдаг приговорил герцога Юхана к смертной казни, а король Эрик его помиловал. И даже его отпустил. Оно благородно, да глупо. Дворян, что злоумышляли на него, он сгоряча велел казнить, зато у наследников просил прощения и большие деньги им пожаловал. Опять благородно!

Монс. Ну, убийство есть убийство!

Педер Веламсон. Что ты мелешь? Он ударил Нильса по руке, Нильс уж очень дерзил, но Нильс ведь не оттого умер...

Монс. Ну, все равно...

Педер Веламсон. Все равно, убил человек или не убил? Много ты понимаешь, балда ты, себялюбивый старый прохвост...

Монс. Не ори, кто-то ходит под окном и подслушивает...

Педер Веламсон. И на здоровье!

Монс. А нашел король мою Карин?

Педер Веламсон. Не знаю! Едва ли!

Монс. А чего она сбежала от него?

Педер Веламсон. Ее королева-вдова запугала!

Монс. Ну, семейка!

Педер Веламсон. Небось твои родственнички!

Монс. Могли кого и получше найти! Думаешь, мне очень нравится, что я у всех на виду? Совсем даже наоборот! Другие свои позор могут спрятать, а мой на все королевство видать!

Педер Веламсон. Да, правда, кто-то ходит под окном. Оборачиваются к окну в глубине сцены; один ставень открыт; в окне мелькает белое, замученное лицо Карин и тотчас исчезает.

Монс. Ты тоже видел?

Педер Веламсон. Видел! Карин! Слушай, Монс, ты чванишься больше любого герцога, а не к лицу это тебе! Будь ты человеком!

Монс. Дай-ка палку мне, вон в углу стоит!

Педер Веламсон. Я бы лучше сам тебя палкой огрел, кабы не волосы твои седые!

Монс. А ну, убирайся, покуда цел!

Педер Веламсон *(пятится к двери)*. Я?! *(Уходит и оставляет дверь открытой)*.

Карин *(на пороге)*. Можно мне войти?

Монс. Проголодалась, что ли?

Карин. Нет, не то. Плохо мне.

Монс. Возмездие за грех — смерть.

Карин. Сама знаю, но перед смертью я хотела бы увидеть сестриц и братьев.

Монс. Незачем!

Карин. Это такое жестокое наказание! Отец, отец!

Монс *(встает, берет палку и снова садится)*. Не подходи — убью!

Карин. Ты забудь, что я была твоей дочерью, думай, что перед тобой нищенка, которая бродила по лесам и полям, и ноги уже не держат ее. Можно, я сяду у твоего порога, как бродяга, как бездомная собака?

Монс. Вон отсюда! Иди, иди, покуда ноги не сотрешь...

Карин *(подходит к печи)*. Воды хоть можно напиться из ведра?..

Монс. Не марай ведро, шлюха. Хочешь есть и пить — ступай в хлев, там твое место...

Карин *(подходит к Монсу)*. Ты бей меня, бей, только не гони. Может быть, я не хуже других.

Монс поднимает палку.

Эрик *(входя)*. Что ты задумал, солдат?

Монс. Собрался собственную дочку поучить.

Эрик. Поздно собрался, ибо теперь я ее защитник, раз ты гонишь собственное дитя.

Монс молчит.

Будь ты чуть повежливей, я по всей форме просил бы у тебя руки твоей дочери; теперь же я лишь приглашаю тебя на свадьбу, не более.

Монс молчит.

Ты считаешь, что я виноват, и я признаю свою вину. А теперь я хочу исправиться, но и ты должен меня простить. Протяни руку дочери!

Монс молчит и смотрит на него насмешливо и недоверчиво.

Ты, кажется, думаешь, что я... не в своем уме. Оттого, что себя ты считаешь в своем уме и считаешь, что ты вел бы себя совсем иначе, окажись ты в моей шкуре. Меж тем я все верно говорю. А тебе мог бы попасться зять и похуже.

Монс молчит.

Не отвечает! Когда, где еще король терпел такое унижение?.. Неужто ты не понимаешь, как высоко ценю я твою дочь, если собираюсь сделать ее королевой и являюсь с визитом к такому высокомерному невеже! И грубияну! Я уйду! Как бы не раскаяться мне в моем поступке, навеянном великодушием и недоступном твоему пониманию! Пойдем, Карин!.. Пойдем! (*Уходит, уводя за руку Карин. Оборачивается.*) Я прощаю тебе, оттого что сам нуждаюсь в прощении! Недавно я считал себя худшим из смертных, но теперь вижу, что я даже чуточку лучше тебя!

Библиотека в башне. Герцог Юхан сидит за письменным столом, склонясь над толстым томом. Стучат.

Юхан. Войдите.

Входит герцог Карл.

Ты спал?

Карл. Да, выспался и все решил!

Юхан. И что же ты решил?

Карл. Что избавление от мелких князьков не такое уж горе для страны.

Юхан. Таково же, кажется, и общее мнение! Но страну не может править безумец!

Карл. В том-то и тонкость... Безумец ли он?

Юхан. Без сомненья!

Карл. Постой! Муки совести, раскаяние, покаяние — еще не безумие!

Юхан. Но ты не знаешь последней его выходки — чистое безумие! Ты не знаешь того, что он, король, явился с визитом к солдату Монсу, просил по всей форме руки его дочери, и готовит свадьбу, и уже пригласил меня. Ты тоже вот-вот получишь приглашение!

Карл (*задумчиво ходит взад-вперед*). Это не умно, да, но это и не безумие!

Юхан. Нет? Значит, по-твоему, пусть шведский трон наследуют внуки солдата Монса?

Карл. Я бы этого не хотел; но дети, рожденные вне брака, не могут ведь быть престолонаследниками.

Юхан. Не могут? Йоран Перссон, ловкий дьявол и единственный государственный деятель в этой стране, добьется от риксдага всего, чего ему захочется... Добился же он моего смертного приговора... он заставит риксдаг узаконить девкиных детей, и их признают наследниками.

Карл. А нельзя ли его убрать?

Юхан. Попробуй! Верней — Йоран ничто без Эрика, стало быть...

Карл. И Эрика долой!.. Но он ведь брат нам...

Юхан. Нет, сам он отрекается от нас, ибо матери у нас разные!

Карл. Возможно, если бы мы вместе произвели переворот...

Юхан. Риксдаг встал бы потом на нашу сторону...

Карл. Юхан, где ты набрался таких понятий?

Юхан. У врагов моих!

Карл. Дурные учителя! Но, положим, мы двое учиним переворот — что тогда?

Юхан. Двое и займем престол! Трон, на котором сиживал Густав Васа, достаточно широк и для двоих!

Карл. Значит — решено? Где твоя рука?

Юхан (*протягивая руку*). Решено!

Карл. Я верю тебе, Юхан, ибо в тебе есть то, чего недостает Эрику — ты веруешь! Итак — мы тотчас отклоняем приглашение на свадьбу и отправляемся в Стокгольм!

Юхан. Не лучше ли, чтоб Эрик ждал нас к себе на свадьбу?

Карл. Смотря как повернутся обстоятельства. Мы даже не знаем, как он расставил фигуры. Пусть сперва сам сделает ход.

Юхан. Ты чуть ли не умней меня! Но, знаешь ли, боюсь я этого приглашения. Он нас считает Фолькунгами, ибо мы происходим от Вальдемара; не предвещает ли это повторения Ньючёрпингского гамбита...

Карл. Или мата в Готуне...

Юхан. Пожалуй!

Карл. Ну — за доску! Я полагаюсь на тебя, Юхан, сам знаешь в чем!

Юхан. Ты можешь на меня положиться!

Замок. Входят Эрик и Карин в королевских одеждах.

Эрик. Ну вот, теперь ты супруга моя, мать народа и госпожа господствующих. Приветствую тебя в королевском замке. Жаль, герцогов не было на церемонии... но, надеюсь, на свадебный пир они пожалуют...

Карин. Не сетуй, Эрик, на это последнее унижение; лучше порадуйся со мною вместе, что родители наших детей — законные супруги...

Эрик. Все в жизни моей было нечисто и криво; и даже день, когда я повел свою суженую к святому алтарю, стал для меня днем бесчестья! И детей, благословенье божье, пришлось скрывать, чтоб не открыть нашего позора миру, который и без того все о нем знает.

Карин. Не будь неблагодарным, Эрик! Вспомни страшные дни и ночи, когда ты дрожал за жизнь своих детей, заложников врага...

Эрик. Да. Ты права, и враг оказался великодушнее меня, моих детей пощадили, а я отнял у дворян жизнь... Да, да, все лучше меня, и я не заслуживаю своей судьбы. Совершенно не заслуживаю!

Карин. Радовался бы, что избежал такого горя...

Эрик. Я и радуюсь... но мне беспокойно... и мне грустно, что из-за герцогов я не мог пригласить Йорана Перссона на наше венчанье... но они потребовали!

Карин. Не надо грустить, лучше благодари бога...

Эрик. Да я и благодарю... собственно, не знаю за что... Я же справедливо поступил, и вот я должен просить прощения!

Карин. Эрик! Эрик!

Нильс Юлленшерна *(входя)*. Ваше величество, народ хочет видеть молодую королеву и приветствовать свою владычицу.

Эрик *(к Карин)*. Ты согласна?

Карин. Да, раз так принято.

Эрик *(Нильсу Юлленшерна)*. Впустить народ!

Нильс Юлленшерна впускает народ. В толпе видны солдат Монс, мать Йорана Перссона, Агда и Мария.

Карин *(Эрику)*. Скажи отцу хоть одно словечко ласковое!

Эрик. Что ему сказать? Он высокомернее меня, и так с ним у меня плохо сложилось, зачем еще хуже делать?

Монс *(Карин)*. Ну вот, все хорошо, и я прощаю тебе.

Эрик *(гневно)*. Что это ты ей такое прощаешь?

Монс. Я-то думал, прапорщик Макс ее выручит из беды, ведь они вроде как помолвлены были... да, да, только промеж них, как говорится, ничего такого... то есть...

Карин. Отец! Отец!

Эрик *(Монсу)*. Ты пьян, или бес в тебя вселился?.. Ну и свадьба! Господи! Ну и гости!.. Вот я вижу Агду из бардака «Сизая голубка», любовницу Якоба Израела! Подружка невесты! А этот чурбан — мне тесть! О, черт! Вот уж верно! Надо радоваться, и благодарить, и ликовать! О, я ликую! *(Нильсу Юлленшерна)*. Гони этот сброд вашей и угости их! Там небось сытятся с полдюжины моих своячениц, раньше они со мной не кланялись, и шурин небось не один захочет денег признаться! *(Карин уходит в слезах. Эрик кричит ей вслед)*. Ну ладно, ну и хорошо!

Народ уходит.

Знать бы только, что думают эти мерзавцы, у меня был бы повод их всех вздернуть на виселицу!.. Кроме разве матери Йорана, да и той бы не грех дома посидеть. Сын оказался умней, не пришел.

Входит Йоран Перссон.

А вот и он! Ты будто прочел мои мысли, Йоран!

Йоран Перссон. И надеюсь, я не опоздал!..

Эрик. Чем ты был занят?

Йоран Перссон. Я был в Упсале, уговаривал риксдаг, а здесь новое кое-что предстоит!

Эрик. Помилуй!

Йоран Перссон. После того как ты покинул дворец, я нашел обвинительный акт со свидетельскими показаниями. После многих хлопот я собрал риксдаг и выступил с обвинительной речью... и дворян признали виновными...

Эрик. Нет! Я-то, я-то просил прощения, я по всей стране разослал грамоты о том, что казненные невинны!

Йоран Перссон (*падает на стул*). Ох, господи Иисусе Христе! Мы погибли! Да, Эрик, за что ты ни примешься, все-то ты губишь!

Эрик. А ты не можешь это уладить, Йоран?

Йоран Перссон. Нет, я не могу больше улаживать твои выходки! Все мои постройки ты разрушаешь, несчастье в тебе самом!

Эрик. Потому и герцоги не явились? Да?

Йоран Перссон. Наверное; но ведь кто-то же их и предупредил?

Эрик. Кто же? Кто?

Йоран Перссон молчит.

Ты знаешь! Говори!

Йоран Перссон. Мне больно, мне трудно выговорить имя!

Эрик. Значит — Карин!

Йоран Перссон молчит.

Она! Шлюха! Притворщица! И я связал себя с нею! Значит, она знала решение риксдага, а я — нет! Дожил, дожил!

Йоран Перссон молчит.

Это мне за мое благородство! За то, что я помиловал Юхана, за то, что ублажал родню этих негодяев большими деньгами! За все — удар в самое сердце! От единственного существа на земле, которое я любил, которому верил! Цепи по рукам и ногам, хомут на шее — с кем бороться?

Йоран Перссон. С дьяволом!

Эрик. Да, да! Только бы вдовствующая королева пожаловала! Тогда и дворяне пожалуют! На пир! Вообрази ужас Елизаветы Английской, когда она узнает о моей свадьбе! С солдатской дочкой! Это меня больше всего мучит! Невообразимо! Ха-ха! Король шведский берет в жены вертихвостку, Васа роднится с дочкой Монса... путавшейся с солдатом! Ведь это ты его утопил! Спасибо тебе, спасибо! А я чувствовал себя виноватым и три дня и три ночи вымаливал у Карин прощения... вечно мне вымаливать про-

шенье за чужие плутни... Жаль, герцогов нет; я бы своими руками подложил им под стулья пороху и сам бы его поджег!

Входит Нильс Юлленшерна.

Говори же!

Нильс Юлленшерна молчит.

Опять отказ! Вдовствующая королева просит ее извинить!

Нильс Юлленшерна *(показывает кипу вскрытых писем)*. Да, и все дворяне просят их извинить!

Эрик. О! Я, король, оказываю честь негодьям, зову на свадьбу, а они не идут! Юлленшерна! Созывай всех на трапезу! Гони весь сброд к столу! Всех, всех! Мой фальшивый бриллиант засияет в подобающей ему оправе! Созывай всех с улиц и торжищ, пусть идут сюда нищие, и бродяги, и шлюхи!

Нильс Юлленшерна. Вы изволите шутить?

Эрик. А тебе смешно, жалкий пес? *(Идет к двери в глубине сцены, распахивает ее; подает знак; гремят фанфары, на сцену вносят накрытые столы; Эрик идет к двери налево и зовет; входит толпа, люди слегка пьяны, но робеют)*. К столу! Негодяи! Ну вот! Нечего робкими притворяться! Невесту ждать не будем, она вниз пошла! Сидеть, псы! Слушаться меня, или я убью вас!

Народ и прежние, кроме матери Йорана Перссона, садятся за стол. Йоран Перссон сидит на стуле и презрительно наблюдает происходящее. Нильс Юлленшерна кладет маршальский жезл к ногам Эрика и уходит.

Ага! Наелся, лизоблюд? Ты чересчур хорош для этого сброда? Полюбуйся на королевского тестя, как он пальцы в рот запикивает... *(Поднимает жезл, ломает, швыряет обломки вслед Нильсу)*. К черту! Убирайся!

Нильс Юлленшерна. Уходит ваш последний, единственный друг. *(Уходит)*.

Эрик *(Йорану Перссону)*. Подумай, а красиво звучит! И я-то до сих пор, как несмышленьш, как скот, готов поверить любому мерзавцу, лишь бы он говорил красиво! Однако... *(Садится рядом с Йораном Перссоном)*. Юлленшерна не лучше и не хуже других; в нем всего понамышано; благородные чувства и низость; редкая храбрость и беспримерная трусость; верен, как пес, и коварен, как кошка...

Йоран Перссон. Одним словом — он человек!

Вваливается еще народ.

Эрик *(народу)*. Пожалуйста, люди добрые, на свадьбу! Рассаживайтесь! Ешьте, пейте, веселитесь, ведь завтра смерть придет! *(Йорану)*. Странно, отчего мне всегда нравились людишки поплоче? А знаешь, они ведь, ей-богу, мне нравятся! Посмотри на лакеев, однако как морщатся... Ха-ха!

Йоран Перссон. Ты в самом деле считаешь, что люди низкого звания — поплоче? Поверь, такой грубости, какую вы-

казал мне Сванте Стуре в моем же доме, я не встречал ни на больших дорогах, ни в кабаках!

Эрик. Но что он такое говорил?

Йоран Перссон. Мне стыдно повторять те бранные слова, которыми он сыпал при матери моей и ребенку... Конечно, он не ел с ножа, но это самая его большая заслуга!

Эрик (*лакеям, которые прислуживают неохотно*). Повезливей с моими гостями, не то я велю с вас шкуру спустить! (*Йорану Перссону*.) О чем задумался?

Йоран Перссон. О твоей судьбе. И о моей! Я ничего уже не понимаю. Подумай, ведь песня наша к концу идет. Так душно, так глухо, а я различаю звуки! Одним ухом слышу конский топот, а другим — барабанный бой, такой, как бывает, когда солдата сквозь строй ведут! Ты давно видел мою мать?

Эрик. Она приходила сюда взглянуть на невесту!

Йоран Перссон. Не понимаю отчего, но скучаю я по старухе; конечно, она только про деньги и говорила, но ведь она права...

Эрик. Ты ведь не обижаешься, что я тебя просил не быть на свадьбе, правда, Йоран? Это ведь все из-за герцогов...

Йоран Перссон. Думаешь, я не понял? Думаешь, я так мелок? Но об одном я хочу тебя просить!

Эрик. Говори!

Йоран Перссон. Чтоб ты не воображал, будто я был как-то связан с Агдой, будто подобрал ее после Якоба Израела, ибо это неправда. Да, я подал ей руку помощи, но всего лишь из-за — гм! — благородства, такое со всяким может случиться!

Эрик. А ведь ты, в сущности, хороший человек, Йоран...

Йоран Перссон. Молчи! Прости. Но я не могу, чтоб меня хвалили; я тогда не верю... Словом, мне это неприятно.

Эрик. Молчу, молчу...

Йоран Перссон. А знаешь, что означает отсутствие герцогов?

Эрик. Что они свиньи!

Йоран Перссон. Что мы приговорены к смерти! Просто и ясно!

Эрик. К смерти? А, да-да, конечно! Ты прав! И знаешь ли, в чем была главная моя ошибка?

Йоран Перссон. Нет, я уже ничего не знаю, ничего не понимаю, я пропал. Воображал себя государственным мужем, считал, что у меня есть высокая цель — защищать твою корону, наследованную от великого отца, получившего ее по воле народной, не по воле дворян, и по милости божией. Видно, я ошибся.

Эрик. А ты не замечал, что есть вещи, которых мы не понимаем, да и не можем понять? Скажи, Йоран!

Йоран Перссон. Да-да! А не случилось ли тебе вдруг почувствовать, что ты лучше других?

Эрик. Да-да! А тебе?

Йоран Перссон. Я-то всегда считал себя правым...

Эрик. Ну и я. И все, вероятно, тоже. Но кто же тогда неправ?
Йоран Перссон. Да, скажи — кто? Как мало еще мы знаем.

Пауза.

Эрик. Йоран, ты не пойдешь со мною к Карин?

Йоран Перссон. Если ты ей простишь!

Эрик. Что? Ах, да! Что герцогов предупредила? Это было нехорошо. Но, быть может, она боялась, как бы кровавый грех не пал на моих детей? И на меня?

Йоран Перссон. Она заранее взяла на себя все твои громы и молнии, ведь она знает своего Эрика! Прости ей!

Эрик. Я ей уже простил! Однако взгляни! Они уж сыты, веселы, разговорились... В этой жизни больше смешного, чем печального, правда, Йоран?

Йоран Перссон. Смешное или печальное — кто различит? По мне — все сплошная нелепость, но, быть может, в ней содержится тайный смысл! Тебе грустно, Эрик?

Эрик. Да. Снова одолевает меня старая мука! Кто мучит меня? Кто? Пойдем со мною. Я хочу видеть Карин и детей! Как объяснить это, скажи, Йоран! Я знаю, она не многим меня лучше, но при ней я всегда покойней и не так склонен ко злу.

Йоран Перссон. Я ничего не могу объяснить...

Эрик. Порой мне кажется, что я ее дитя, порой — что она мое!.. (Пауза.)

Йоран Перссон (вслушиваясь). Тс-с! Я слышу, кто-то там крадется... по лестницам, по прихожим... влезают в двери... открывают окна...

Эрик. Ты и это слышишь? (Входит Нильс Юлленшерна.)
Смотри! Нильс Юлленшерна! Собственной персоной! Ха-ха-ха!

Нильс Юлленшерна. Ваше величество! Стража подкуплена! Герцоги куда ближе, чем мы полагали!

Эрик. Ну, так иди к ним!

Нильс Юлленшерна. Я не настолько низок!

Эрик. Чем ты докажешь свои подозрения?

Нильс Юлленшерна (показывает серебряную монету). Это иудин серебреник. Такие раздают во дворце. Их называют «Цена крови», их чеканят из серебра, пожалованного вашим величеством родственникам Стуре и других казненных!

Эрик (Йорану Перссону). Ты можешь это понять? Казнят изменников; я дарю семьям казненных деньги, и за эти деньги продают мою голову. И твою! Не безумие ли? Пойдем со мною к Карин!

Йоран Перссон. Я пойду с тобою, куда бы ты ни пошел!

Эрик (Нильсу Юлленшерна). Ступай, Юлленшерна, спасай свою жизнь! Благодарю тебя за все доброе, остальное же... мы зачеркнем! Народ пусть повеселится напоследок! Они дети, зачем их обижать!

Нильс Юлленшерна *(падает на колени перед Эриком)*.
Господи, спаси и помилуй доброго короля, друга народа Эрика-заступника!

Эрик. И меня так называют? Неужто обо мне хорошо говорят?

Нильс Юлленшерна. Да. И когда всходит звезда святого Эрика, земледелец говорит: «Господи, спаси и помилуй короля Эрика!»

Эрик. Замолчи! Безумец и богохульник, мы оба уже не веруем в святыню!

Йоран Перссон. Ни в бога, ни в дьявола!

Йоран Перссон и Эрик уходят направо, Нильс Юлленшерна — налево.
Пауза.

Монс *(совершенно трезвый, но смущенный, поднимает бокал)*.
Ну, друзья... угощайтесь же... на здоровье...

Мария *(громко и отчетливо)*. Я хочу кой-куда, мама...

Агда. Тише, детонька!

Монс. Конечно, хозяин здесь не я... и, конечно, у нас чудное это праздне... праздни... празднество! Иному охота небось увидеть жениха с невестой за столом!..

Мария. Мама, я хочу кой-куда!

Монс. Погоди, детка, и не пей столько...

Мария. Мама, я хочу!

Монс. Выведи дите-то, бесстыдница...

Агда *(встает и поднимает Марию)*. Пойдем, детка...

Мужской голос 1-й. Небось у себя сидим! Лакей! Подай-ка сюда опять гуся!

Женский голос 1-й. Нет, я первая спросила гуся!

Мужской голос 2-й. Семгу тащи! Эй!

Лакей. Ты не у себя дома!

Мужской голос 2-й. Я со своими сижу! И еда это наша, мы небось за нее заплатили!

Женский голос 2-й. Монс, дружок, ремень-то расслабь!

Монс. Это еще что за ин... три... интриги! По-твоему, я чересчур много жру?

Женский голос 2-й. Я ж говорю — Монс, дружок! Ну чего ты?

Мужской голос 3-й. Лакей! Тащи сюда трубы! Трубы!

Монс. Тихо! Никаких труб!

Мужской голос 3-й. Я вот думаю, где знатные господа угощаются? Они что — брезгуют нами или как?

Мужской голос 1-й. Король-то? Да он же спятил!

Женский голос 2-й. Ясно, спятил. Не то нам бы тут не сидеть!

Монс. Я прошу... *(Гул)*... Прошу... Я хочу сказать... Дайте же мне слово сказать! Вам бы тут не сидеть, кабы король слабоумный был. Ну, он немного чудной, странный он... но ведь он показал себя лучше иных прочих... кто... не захочет помочь бедной девушке...

и за стол усадил нас, бедных... мы ведь бедные все... стало быть, не гнушается, что невеста из низкого звания, вот!

С разных сторон сразу раздаются трубные сигналы.

Друзья хорошие, эти, как мы, служивые люди, говорим — сигналы, в честь того даются, что, мол, обед закончен! Так что благодарим господу за угощение.

Мать Перссона (*входя*). Что тут у вас за праздник?

Монс. Да, матушка Перссон, был один царь, и хотел он сделать брачный пир и послал рабов своих звать званных на брачный пир, но они не хотели прийти. Тогда сказал он рабам: пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы вышли на дороги, собрали всех, кого нашли, и злых и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими!

Мать Перссона. Где Йоран, мой сын?

Монс. У короля!

Мать Перссона (*указывая вправо*). Там?

Монс. Там! (*Она идет вправо*.) Друзья хорошие! Как войдет к нам король, кричите вместе со мною: Эрику Четырнадцатому — слава! Поняли? Слава! Слава!

Все. Слава!

Педер Веламсон (*вбегая*). Король здесь?

Монс. Нет! А что?

Педер Веламсон. Замок осажден. Герцоги в соседнем зале!

Монс (*встает*). Господи боже! Что с нами-то будет!

Педер Веламсон. С вами? А со мной что будет? Виселица — вот что меня ждет!

Монс. Ничего нет изменчивей, чем счастье, только тебе станет хорошо — а горе уже у порога! Что тут сказать? Что делать?

Педер Веламсон (*берет кубок, осушает*). Не пытали бы хоть. Но нет, герцог — он дьявол!

Мать Перссона (*вбегает*). Господи Иисусе! Короля схватили! И Йорана! Йоран, сынок!

Монс. Карин! Дочка! Дочка!

Мать Перссона. Ори, ори! Небось не прибежит...

Монс. Нет?

Мать Перссона. Небось за мужем пошла!

Монс. Спятели они оба!

Двери в глубине сцены распахиваются, появляется Нильс Юлленшерна.

Нильс Юлленшерна. Король идет!

Все жмутся по углам сцены.

Монс. Схватили же короля!

Нильс Юлленшерна. Да, того — да! Не этого! Осторожно, люди, речь о жизни идет!

Входят со свитой герцог Юхан и герцог Карл.

Король Юхан Третий, слава, слава!

Все. Слава! Король Юхан Третий!
Герцог Юхан. Благодарю! (*Нильсу Юлленшерна.*) Что это за сборище?

Нильс Юлленшерна. Двор короля Эрика!
Герцог Юхан (*герцогу Карлу*). Я несколько близорук. Но мне кажется, двор несколько странный. Не оборванцы ли это?
Герцог Карл. Брат не любил мелких князьков, но мелких людишек жаловал...

Герцог Юхан. Да, это была его слабость...
Герцог Карл (*вполголоса Юхану*). Или его сила! Твоя же — в том, чтоб не держать слова!

Герцог Юхан. Какого слова?
Герцог Карл. Мы не разделим престол?
Герцог Юхан. Ничего такого не слыхивал!
Герцог Карл. Ты большой подлец!
Герцог Юхан. Берегись! В Грипсхольме места много...
Герцог Карл. Тебе ли не знать!

Герцог Юхан (*свите*). Междоусобицы кончились, воцарился покой, и мы смотрим в будущее с возрожденной надеждой на мир...

Герцог Карл делает знак своей свите и уходит.

Куда ты идешь, брат мой?

Герцог Карл. Своей дорогой, и наши пути расходятся!
Нильс Юлленшерна. Господи! Все начинается снова!
Герцог Юхан. Кажется, весь мир сошел с ума!
Герцог Карл. Так думал и Эрик! Кто знает...
Мария. Мама, скоро это кончится?
Герцог Карл (*с улыбкой*). Нет, дитя мое, борьба не кончается — никогда!



СОНАТА ПРИЗРАКОВ ОР. 3

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Старик, директор Хуммель.
Студент Аркенхольц.
Молочница (виденье).
Привратница.
Покойник, консул.
Дама в черном — дочь Покойника и Привратницы.
Полковник.
Мумия, жена Полковника.
Дочь его — дочь Старика.
Знатный господин, по имени барон Сканскорг,
жених привратницей дочери.
Юхансон, слуга Хуммеля.
Бенгтсон, слуга Полковника.
Невеста, прежняя невеста Хуммеля, седая старуха.

Первый этаж и бельэтаж современного дома, дом виден с угла, в первом этаже круглая гостиная, в бельэтаже — балкон и флагшток. В открытом окне гостиной, когда раздвигаются шторы, видна белая мраморная статуя молодой женщины, среди пальм, в ярких солнечных лучах. В окне налево — гиацинты в горшках (голубые, белые, алые). На балконных перилах — синее шелковое одеяло и две белые подушки. Окно бельэтажа налево завешено белой простыней. Ясное летнее утро. Перед домом на переднем плане — зеленая скамейка. Направо на переднем плане — фонтан, налево — афишная тумба. Налево в глубине — открытая дверь парадного, видна белая мраморная лестница с перилами красного дерева с бронзой; по обе стороны парадного в кадках стоят лавры. Круглая гостиная выходит в переулок, ведущий как бы в глубину сцены. Налево от парадного в первом этаже — окно с зеркалом-рефлектором. Когда поднимается занавес, слышно, как звонят сразу в нескольких церквях. Двери парадного открыты; на лестнице неподвижно стоит Дама в черном. Привратница подметает крыльцо, драит дверные ручки, поливает лавры. В кресле-каталке возле афишной тумбы сидит Старик и читает газету; он седой, бородатый, в очках. Из-за угла появляется Молочница, в проволочной корзине у нее бутылки; она без пальто, в коричневых туфлях, черных чулках, белом беретике; снимает беретик и вешает на фонтан; утирает пот со лба, черпает ковшем воду, пьет несколько глотков, моет руки, поправляет прическу, глядясь в воду фонтана. Слышно, как где-то на пароходе бьют склянки да органные басы в ближней церкви то и дело нарушают тишину. После минутной паузы, когда девушка уже привела себя в порядок, слева входит Студент, невыспавшийся, небритый. Направляется прямо к фонтану.

Студент. Можно мне ковш?

Молочница тянет ковш к себе.

Ну, ты скоро?

Молочница смотрит на него с ужасом.

Старик (*про себя*). С кем это он говорит? Никого не вижу! С ума он, что ли, сошел? (*Рассматривает их с величайшим изумлением.*)

Студент. Что ты так глядишь на меня? Жуткое зрелище? Да, я не спал сегодня, и ты решила, кажется, что я всю ночь кутил...

Молочница все так же на него смотрит.

Пуншем назюзюкался, а? Пахнет от меня пуншем?

Молочница все так же смотрит.

Ну да, небритый, сам знаю... Дай-ка мне, девушка, глоток воды, ей-богу, я заслужил! (*Пауза.*) Ну что ж! Придется живописать, как всю ночь я перевязывал раненых и спасал страждущих. В самом деле, вчера вечером я видел, как обрушился дом... вот.

Молочница полощет ковш и дает Студенту напиток.

Благодарю!

Молочница стоит неподвижно.

(*Медленно.*) Не окажешь ли ты мне великую услугу? (*Пауза.*) Понимаешь ли, у меня болят глаза, сама видишь, они красные, а я прикасался к раненым и к трупам; и мне не стоит дотрагиваться до глаз... Будь добра, достань у меня из кармана чистый носовой платок, смочи его холодной водой и промой мои бедные глаза. Хочешь? Хочешь быть милосердной самарянкой?

Молочница, помешкав, исполняет его просьбу.

Спасибо, дружок! (*Вынимает бумажник. Девушка отстраняет его рукой.*) Прости мне мою глупость. Я просто с ног валюсь, так спать хочется...

Старик (*Студенту*). Прошу прощенья, что позволяю себе к вам адресоваться, но я услышал, вы вчера были на месте катастрофы... А я тут как раз читаю в газете...

Студент. Уже и в газете есть?

Старик. Во всех подробностях; и портретец помещен. Сожалеют только, что имя отважного студента узнать не удалось...

Студент (*заглядывает в газету*). Вот как? Да, это я!

Старик. Но с кем это вы только что беседовали?

Студент. А сами-то вы не видели?

Пауза.

Старик. Осмелюсь полюбопытствовать... не могу ли я узнать ваше достославное имя?

Студент. К чему? Не люблю гласности... сегодня превозносят, завтра клеймят — нынче научились унижать так виртуозно... да и за наградой я не гонюсь...

Старик. Богаты, стало быть?

Студент. Какое там, напротив! Беден, как церковная крыса.

Старик. Знаете ли... мне, кажется, знаком ваш голос... У меня был в юности друг, он произносил «охно» вместо «окно», и в жизни я не встречал больше никого, кто произносил бы это слово таким манером... Он единственный. И вот теперь вы. Скажите, не родственник ли вы купцу Аркенхольцу?

Студент. Это мой отец.

Старик. Пути провидения неисповедимы... Я видел вас, когда вы были совсем еще ребенком, и при весьма печальных обстоятельствах.

Студент. Да, говорят, я родился, как раз, когда обанкротился отец.

Старик. Совершенно верно!

Студент. Могу ли я спросить, с кем имею честь?..

Старик. Я директор Хуммель...

Студент. Вот как... Припоминаю...

Старик. При вас часто произносили мое имя?

Студент. Да!

Старик. И, быть может, с некоторой неприязнью?

Студент молчит.

Так я и знал! И разумеется, вам говорили, будто это я разорил вашего отца? Все, разорившиеся на глупых махинациях, непременно воображают, будто их разорил тот, кого им не удалось провести. *(Пауза.)* На самом же деле отец ваш ограбил меня на семнадцать тысяч крон, которые и составляли в те времена все мое достояние.

Студент. Удивительно, как можно одну и ту же историю рассказывать на совершенно разные лады.

Старик. Не думаете же вы, что я лгу?

Студент. Что же мне думать? Отец лгать не мог!

Старик. Разумеется, отцы никогда не лгут... Но я сам отец в свою очередь, и, следовательно...

Студент. Говорите ясней.

Старик. Я вызволил вашего отца из беды, он же мне сполна отплатил смертельной ненавистью... и домашних своих приучил поносить меня.

Студент. Но, возможно, вы сами навлекли его неблагодарность, отравив свою помощь каким-то унижением.

Старик. Помощь всегда унижительна, сударь мой.

Студент. Что, собственно, вам от меня угодно?

Старик. Я не требую с вас денег; но вы можете со мной

расквитаться, если согласитесь оказывать мне мелкие услуги. Вы видите — я калека, одни считают, что я сам виноват, другие склонны винить моих родителей, я же полагаю — виною тут коварство жизни: едва избежнешь одних ее силков, и тотчас попадешься в другие. Меж тем я не могу бегать по лестницам, дергать дверные звонки, и я взываю к вам — помогите!

Студент. Чем я могу вам помочь?

Старик. Для начала — подкатите-ка мое кресло к тумбе, мне надо прочесть афиши; хочу посмотреть, что сегодня дают...

Студент (*катит кресло*). А слуги у вас нет?

Старик. Есть, да я его послал с поручением... Скоро он вернется... Вы, сударь, медик?

Студент. Нет, я занимаюсь языками, но сам, впрочем, не знаю, что из меня выйдет.

Старик. Хе-хе! Ну, а в математике вы сильны?

Студент. Пожалуй.

Старик. Превосходно! А хотели бы получить место?

Студент. Отчего бы нет.

Старик. Так-с (*читает афиши*). Утром дают «Валькирию»... Значит, полковник с дочерью будут, а коль скоро он всегда сидит с краю в шестом ряду, вас я усажу подле... Не угодно ли вам зайти вон в ту телефонную будку и заказать один билет в шестом ряду, кресло номер восемьдесят два?

Студент. Значит, мне днем идти в оперу?

Старик. Да! Слушайте меня, и вам будет хорошо! Я хочу, чтобы вы были богаты, счастливы, окружены почетом. Ваш вчерашний дебют в роли отважного спасителя сегодня же сделает вас знаменитостью, и ваше имя уже кой-чего стоит.

Студент (*идет к телефонной будке*). Забавно...

Старик. Вы спортсмен?

Студент. Да, к несчастью.

Старик. Оно обернется счастьем! Извольте же заказать билет. (*Читает газету.*)

Дама в черном сходит на тротуар и беседует с привратницей; старик вслушивается, но публике их разговор не слышен.

Студент выходит из будки.

Старик. Заказали?

Студент. Да.

Старик. Вы видите этот дом?

Студент. Я уж его раньше приметил... Я тут вчера проходил, когда в окнах сверкало солнце, и, вообразив, как там все красиво и роскошно, я сказал приятелю: занимать бы такую квартиру в четвертом этаже, да иметь хорошенькую молоденькую жену, двоих славных ребятишек, да двадцать тысяч крон дохода в придачу...

Старик. Так и сказали? Так и сказали? Подумать только! Я тоже люблю этот дом...

Студент. Вы интересуетесь домами?

Старик. М-м... Пожалуй. Но не так, как вы думаете.

Студент. И вы знаете жильцов?

Старик. Знаю их всех. В мои годы знаешь уже всех, знаешь всех отцов и дедов и со всеми оказываешься в родстве. Мне ведь уже восемьдесят стукнуло, но никто меня не знает как следует. А меня занимают людские судьбы...

В круглой гостиной раздвигаются шторы. Полковник, в штатском, выглядывает в окно; посмотрев на термометр, отступает в глубь комнаты и останавливается перед мраморной статуей.

А вот и полковник, с которым вы сегодня будете сидеть рядом...

Студент. Это и есть полковник? Ничего не пойму, просто сказка какая-то.

Старик. Вся моя жизнь словно книга сказок, голубчик. И хотя сказки в ней разные, все они связаны между собой и главный мотив повторяется.

Студент. А чья это там статуя?

Старик. Разумеется, его жены.

Студент. Значит, она была прекрасна?

Старик. М-м... Да!

Студент. Нет, говорите уж все как есть!

Старик. Мы не вправе никого судить, мой мальчик! И если я вам сейчас стану рассказывать, как она от него ушла, как он ее бил, как она вернулась, снова вышла за него замуж и как теперь она сидит в доме, словно мумия, и молится на собственное изображение — вы ведь, чего доброго, меня за помешанного сочтете.

Студент. Ничего не пойму!

Старик. Понять мудрено! Далее — окно с гиацинтами. Там живет его дочь... сейчас она где-то скачет верхом, но скоро она вернется.

Студент. А кто та дама в черном, что говорит с привратницей?

Старик. Ах, все это ужасно сложно и связано с покойником — там наверху, за белой простыней...

Студент. Кто же он был?

Старик. Он был человек, вот как мы с вами, но больше всего было в нем тщеславия... Если бы вы родились в сорочке, вы бы скоро могли увидеть, как он выйдет из парадного, чтобы полюбоваться на приспущенный консульский ф л а г, — он был, собственно, консул и обожал короны, львов, кокарды, цветные ленты.

Студент. Вы говорите — в сорочке. Помнится, говорили, я так и родился.

Старик. О? Неужто?.. Да-да... Я об этом догадывался по цвету ваших глаз... но вы, стало быть, видите то, чего другие не видят, вы замечали?

Студент. Уж не знаю, что видят другие, но я, бывает... но об этом не стоит.

Старик. Так я и знал! Но мне-то вы можете довериться... ведь я... я превосходно понимаю.

Студент. Вот вчера, например... меня потянуло в один тихий закоулок, и вскоре там рухнул дом... Я подошел и остановился перед

зданием, которого не видывал прежде... Вдруг я заметил на стене трещину, услышал, как что-то грохнуло; я бросился вперед и подхватил ребенка, который шел вдоль стены... И тут же дом рухнул... я был невредим, но на руках у меня не было никакого ребенка...

Старик. Н-да, скажу я вам... Но я полагал... Объясните мне, однако: почему вы только что размахивали руками подле фонтана? И почему разговаривали с самим собой?

Студент. Разве вы не видели? Я разговаривал с молочницей!

Старик *(в ужасе)*. С молочницей?

Студент. Разумеется. Она еще дала мне напиток.

Старик. Да. Вот оно что! Что ж — я не вижу, зато я способен на кое-что другое...

Подле окна с зеркалом-рефлектором сидит седая женщина.

Поглядите на ту старуху в окне. Видите? Чудесно Она была когда-то моей невестой, шестьдесят лет назад. Мне тогда было двадцать. Не бойтесь, она меня не узнаёт! Мы видимся каждый день, но мне это решительно безразлично, хоть мы поклялись друг другу в вечной верности. Вечной!

Студент. Как же вы были безрассудны! Мы со своими подружками ни о чем таком не говорим.

Старик. Прости нам, юноша, наше недомыслие! Но можете ли вы поверить, что старуха эта была юной и прекрасной?

Студент. Как-то незаметно. Впрочем, взор ее прекрасен, хоть глаз я не разгляжу!

Привратница выходит с корзиной и разбрасывает еловые ветки.

Старик. Привратничиха! Ага! Дама в темном — ее дочь от покойника, вот муж и получил место привратника... Но у темной дамы есть жених, он знатен и надеется разбогатеть; собственно, он сейчас разводится со своей женой, и она дарит ему каменный дом на радостях, что от него избавилась. Знатный жених этот — покойнику зять, и там, на балконе, видите, проветривается его постель... Признаться, все это так запутано!

Студент. Неимоверно запутано!

Старик. Да, предельно запутано, хоть на первый взгляд кажется совершенно просто.

Студент. Но кто же был этот покойник?

Старик. Вы уже спрашивали, я вам ответил; если б вы заглянули за угол, на черный ход, вы бы заметили толпу бедняков, которым он помогал... когда ему вдруг приходила такая блажь.

Студент. Значит, он был великодушный человек?

Старик. Да... порой.

Студент. Не всегда?

Старик. Нет! Так уж созданы люди! Знаете, сударь, подтолкните-ка мою коляску на солнышко; я ужасно продрог; когда не двигаешься, кровь стынет в жилах. Я знаю, я скоро умру, но предваритель-

но мне надо еще кое-что устроить. Дайте руку — почувствуете, какой я холодный?

Студент. Неимоверно! *(Отшатывается.)*

Старик. Не бросайте меня, я устал, я одинок, но не всегда я был таким. Я бесконечно долго жил — бесконечно. Я причинял людям горе, они причиняли горе мне. Мы в расчете. Но пока я не умер, я хочу видеть вас счастливым... Наши судьбы связаны воедино судьбой вашего отца и еще кое-чем...

Студент. Да отпустите же вы мою руку, слышите? Вы все силы у меня отнимаете, вы меня заморозите, наконец! Чего вам от меня надо?

Старик. Терпенье! Сейчас вы все увидите и поймете... Вот идет Фрёкен...

Студент. Дочь полковника?

Старик. Да! Дочь! Смотрите на нее! Случалось ли вам видеть такое совершенство?

Студент. Она — как та мраморная статуя...

Старик. Это же ее мать!

Студент. Ваша правда. Никогда я еще не видывал такой женщины! Блажен, кто поведет ее к алтарю и введет в свой дом!

Старик. Значит, вы видите! Не все находят ее прекрасной... Стало быть, решено!

Фрёкен входит слева в модной amazонке, ни на кого не глядя, медленно идет к парадному, там останавливается и что-то говорит привратнице, потом входит в дом.
Студент заслоняет глаза руками.

Вы плачете?

Студент. Как не впасть в отчаяние пред безнадежностью!

Старик. Я умею отворять двери и сердца, когда мне удастся найти руку, послушную моей воле. Служите мне и будете царить...

Студент. Что это — договор? И я должен продать свою душу?

Старик. Зачем продавать? Видите ли, всю свою жизнь я только и делал, что брал. А теперь у меня одна потребность — давать! Давать! Но некому брать! Я богат, очень богат, но у меня нет наследников, только один болван, который отравляет мою жизнь... Будьте мне сыном, наследуйте мне при жизни, наслаждайтесь, и чтоб я это видел, хоть издали.

Студент. Но что мне надо делать?

Старик. Прежде всего — идите в оперу!

Студент. Это решено — что дальше?

Старик. Сегодня же вечером вы будете сидеть в круглой гостиной!

Студент. Но как я туда попаду?

Старик. Поможет «Валькирия»!

Студент. Почему вы избрали меня своим медиумом? Вы знали меня раньше?

Старик. Разумеется. Вы у меня давно на примете... Однако взгляните-ка, взгляните, как на балконе девушка приспустила флаг

по причине смерти консула... вот она перевертывает синее одеяло... Видите? Под ним спали двое, и одного уж нет...

Фрёкен, переодетая, показывается в окне, она поливает гиацинты.

Девочка моя милая! Посмотрите вы на нее! Вот — разговаривает с цветами, но разве сама она не похожа на голубой гиацинт? Она поит их одной чистой водою, а уж они превращают эту воду в благоуханье и краски... А вот и полковник с газетой! Показывает ей статейку про обвалившийся дом... тычет пальцем в ваш портрет! О, кажется, она не осталась равнодушной... читает про ваш подвиг... тучи, кажется... только б дождь... не начался, хорош я буду, если Юхансон не подоспеет...

Небо хмурится. Старуха с зеркалом-рефлектором затворяет окно.

Вот моя невеста закрывает окно... семьдесят девять лет... пользуется только зеркалом-рефлектором, потому что себя в нем не видит, а видит лишь окружающий мир, и с двух сторон вдобавок, ну а о том, что миру она при этом видна — она и не догадывается... Красивая, однако, старуха...

Покойник в саване виден в парадном.

Студент. Господи, что я вижу?

Старик. Что вы такое видите?

Студент. Сами-то вы разве не видите? Покойник в дверях!

Старик. Ничего я не вижу, но так я и знал! Рассказывайте!

Студент. Вот он, выходит на улицу... *(Пауза.)* Повернул голову, разглядывает флаг.

Старик. А я что говорил? Сейчас будет пересчитывать венки и читать визитные карточки... Горе тому, кто ничего не прислал...

Студент. Он сворачивает за угол...

Старик. Будет нищих у черного хода считать... Бедняки — прелестное украшение похорон: «сопровождаемый благословением многих», да-да, только уж не моим благословением! Большой мерзавец, говоря между нами...

Студент. Но благотворитель...

Старик. Мерзавец-благотворитель, всю жизнь мечтавший о пышных похоронах... Когда почувал, что конец близко, успелтаки ограбить казну на пятьдесят тысяч крон... теперь дочь его разрушает чужую семью и беспокоится о наследстве... он, негодяй, слышит каждое мое слово, но так ему и надо! А вот и Юхансон!

Юхансон появляется слева.

Отчитывайся!

Юхансон что-то тихо говорит ему.

Дома, говоришь, не оказалось? Ну и осел! А телеграф? Ничегошеньки! Дальше! В шесть вечера? Прекрасно! Экстренный выпуск? Имя полностью! Студент Аркенхольц, год рождения...

родители... прекрасно... кажется, уже накрапывает... и что он сказал?... Так-так! Ах, не хочет! Ничего, придется! А вот и знатный господин! Кати-ка ты меня за угол, Юхансон, надо послушать, что говорят нищие... А вы, Аркенхольц, ждите меня здесь. Поняли? Ну, живей!

Юхансон катит каталку за угол. Студент стоит и смотрит на фрёкен, хлопочущую над цветочными горшками.

Знатный господин (*в трауре, обращается к Даме в черном, вышедшей на улицу*). Что поделать? Надо ждать!

Дама. Не могу я ждать!

Знатный господин. Вот те на! Тогда поезжай в деревню!

Дама. Не хочу.

Знатный господин. Подойди-ка поближе, не то нас услышат.

Подходят к афишной тумбе, и дальше их разговора не слышно.

Юхансон (*входит справа, обращается к Студенту*). Хозяин просит вас, сударь, кое о чем не забыть.

Студент (*медленно*). Послушайте, скажите сперва, кто он такой, ваш хозяин.

Юхансон. О! Он много весит, а был он — всё.

Студент. Но он в своем уме?

Юхансон. Да кто же в своем-то уме? Он говорит, всю жизнь искал того, кто родился в сорочке, только, может, и неправда это...

Студент. Что ему надо? Он жадный?

Юхансон. Он хочет властвовать... День целый разъезжает в своей каталке, как бог Тор... осматривает дома, сносит их, прокладывает улицы, раздвигает площади; но он и вламывается в дома, влезает в окна, правит судьбами людей, умерщвляет врагов и никому ничего не прощает. Можете ли вы поверить, сударь, что этот хромоногий коротышка был настоящим Дон Жуаном, хоть все женщины бросали его?

Студент. Как же это увязать?

Юхансон. О, он, каналья, всегда умел так подстроить, чтоб женщина бросала его, как только она ему надоест... А теперь он как конокрад на человечьей ярмарке, уж до того ловко людей крадет... Меня буквально выкрал из рук правосудия... я сделал один... гм... промах; про это только он и знал; и, вместо того чтоб засадить меня за решетку, он меня сделал своим рабом; вот и батрачу у него за один харч, да и то не очень-то хороший...

Студент. А что ему нужно в этом доме?

Юхансон. Вот этого я вам не скажу! Ужасно запутанная история.

Студент. Мне, пожалуй, пора отсюда убираться...

Юхансон. Глядите-ка, фрёкен бросает из окна brasлет...

Фрёкен бросает brasлет в открытое окно. Студент медленно подходит, поднимает brasлет и подает ей, она натянуто благодарит. Студент возвращается к Юхансону.

Значит, обратиться задумали... Не так-то это просто, как кажется, раз уж попался в его сети... Сам-то он ничего во всем мире не боится... кроме одной вещи... верней, одного человечка...

Студент. Погодите-ка, кажется, я знаю!

Юхансон. Откуда же вам знать?

Студент. Я догадываюсь! Скажите... он боится девчонки... молочницы?

Юхансон. Он всегда сворачивает с дороги, едва завидит лежку с молоком... И еще он во сне говорит что-то насчет Гамбурга, он там был когда-то...

Студент. Можно верить этому человеку?

Юхансон. Ему можно верить — во всем!

Студент. А что он сейчас за углом делает?

Юхансон. Подслушивает, что скажут нищие... Сеет по словечку, выбирает по камешку, пока не обрушится дом... фигурально выражаясь... Я, видите ли, в прошлом человек образованный, служил в книжной лавке... Но вы уходите?

Студент. Не хочется быть неблагодарным... Этот человек когда-то спас моего отца, а теперь попросил меня в ответ всего лишь о мелкой услуге...

Юхансон. Что за услуга?

Студент. Пойти на «Валькирию»...

Юхансон. Не понимаю... Но у него вечно новые затеи... Смотрите-ка, с полицейским заговорил... вечно он к полиции льнет, там услужит, здесь опутает, свяжет то ложной клятвой, то намеком, а тем временем все у них и выведает. Вот увидите, сегодня же его примут в круглой гостиной!

Студент. Да зачем туда идти? Какие у него дела с полковником?

Юхансон. М-м... Кое-что предполагаю, но не знаю наверняка! Сами узнаете, как попадете туда!

Студент. Я-то туда не попаду.

Юхансон. От вас самих же и зависит. Идите-ка на «Валькирию».

Студент. Разве это — путь туда?

Юхансон. Ну да, раз он вам пообещал! Смотрите-ка, глядите на него, на боевой колеснице, запряженной нищими, и ни единого эре им в награду, лишь лишь намек, что на его похоронах они кое-чем смогут поживиться!

Старик появляется, стоя в кресле, его везет один нищий, остальные идут следом.

Старик. Почтите благородного юношу! С опасностью для собственной жизни он вчера спас многих во время катастрофы! Слава тебе, Аркенхольц!

Нищие обнажают головы, но молчат. Фрёкен в окне машет платочком. Полковник высовывается из окна. Старуха встает в окне. Девушка на балконе поднимает флаг доверху.

Рукоплещите, сограждане! Правда, нынче воскресенье, но вызвать овцу из колодца и сорвать колос в поле и в воскресенье не грех, а я, хоть и не родился в сорочке, обладаю даром пророчества и врачевания, ибо некогда вернул к жизни утопленницу... да, дело было в Гамбурге, таким же воскресным утром, как вот нынче...

Молочница входит, ее видят только Студент и Старик; она тянет руки вверх, как утопающая, и пристально смотрит на Старика. Старик садится, весь съеживается от ужаса.

Юхансон! Уведи меня отсюда! Скорей! Аркенхольц, не забудьте про «Валькирию»!

Студент. Что все это значит?

Юхансон. Будет видно! Будет видно!

В круглой гостиной; в глубине — белый изразцовый камин, на нем часы, канделябры; справа прихожая, из нее видна зеленая комната, обставленная мебелью красного дерева; налево стоит статуя под сенью пальм; ее можно зашторить; в глубине налево дверь в комнату с гиацинтами, там сидит фрёкен с книгой. Полковника мы видим со спины; он сидит в зеленой комнате и что-то пишет.

Бенгтсон, слуга, в ливрее, входит из прихожей с Юхансоном, тот во фраке и белом галстуке.

Бенгтсон. Ну вот, вы будете прислуживать за столом, Юхансон, пока я буду принимать одежду. Приходилось раньше-то?

Юхансон. Целый день, как вам известно, я катаю боевую колесницу, а вечерами прислуживаю на званых ужинах, и всегда мечтал попасть в этот дом... Станный тут народец, а?

Бенгтсон. Да, пожалуй что не совсем обыкновенный.

Юхансон. Что тут у них сегодня — музыкальный вечер?

Бенгтсон. Обыкновенный ужин призраков, как у нас это называется. Пьют чай, помалкивают, или говорит один полковник, а остальные грызут печенье, все вместе — хрустят, будто крысы на чердаке.

Юхансон. И почему это называется ужин призраков?

Бенгтсон. Да похожи они на призраков... И уж двадцать лет им это не надоест, собираются все те же, говорят все то же или молчат, чтоб не сказать чего невпопад.

Юхансон. И в доме ведь есть хозяйка?

Бенгтсон. Есть, да только она не в себе; сидит в кладовке, глаза у нее, говорит, не выносят света... Вон тут она сидит (*показывает потайную дверь в стене*).

Юхансон. Тут?

Бенгтсон. Ну да, я ж говорю — не совсем обыкновенный народец...

Юхансон. А какова она с виду?

Бенгтсон. Как мумия... хотите взглянуть? (*Открывает потайную дверь*.) Вон она!

Юхансон. Господи Иесу!..

Мумия (*лепечет*). Зачем дверь открыли, я же сказала, чтоб не открывали никогда...

Бенгтсон (*подражая ей*). Тю-тю-тю! Деточка будет паинькой и получит чего-нибудь вкусенького! Милый попочка!

Мумия (*как попугай*). Милый попочка! Якоб тут? Попка-дуррак!

Бенгтсон. Она вообразила, что она попугай, может, так оно и есть... (*Мумии.*) Посвисти-ка нам, Полли!

(Мумия свистит.)

Юхансон. Всего, кажется, понавидался, но такого еще не видывал!

Бенгтсон. Понимаете ли, когда дом стареет, он ветшает и в нем заводится плесень, а когда люди изо дня в день годами мучают друг друга — они теряют рассудок. Эта наша хозяйшка — да тише ты, Полли! — эта мумия проторчала тут в кладовке сорок лет — и тот же муж, та же мебель, те же родственники, друзья... (*Закрывает дверь.*) А уж что тут у них получилось — сам не знаю... Поглядите на статую... Это же наша фру в молодости!

Юхансон. Господи! Эта мумия?

Бенгтсон. Да! Поневоле расплачешься! Но силой ли воображенья или еще как — она во многом уподобилась болтливой птице — не выносит калек, больных... Даже дочь свою не выносит за то, что та больная...

Юхансон. Фрёкен больна!

Бенгтсон. А вы не знали?

Юхансон. Нет!.. Ну, а что же полковник?

Бенгтсон. Увидите сами!

Юхансон (*разглядывает статую*). Просто оторопь берет! А сколько же ей теперь?

Бенгтсон. Да кто же ее знает... Но люди говорят, когда ей было тридцать пять, на вид она была как девятнадцатилетняя, вот она этим и воспользовалась, а полковник попался... Э, в этом доме... Знаете, для чего стоят черные японские ширмы, вон там, возле кресла? Их называют смертные ширмы и ставят, когда кому-то умирать пора, точно как в больнице...

Юхансон. Ужас! Ну и дом... И сюда студент рвался, как в рай...

Бенгтсон. Какой еще студент? А-а, этот! Который сегодня будет... Полковник и фрёкен наша встретили его в театре и от него без ума! Гм! А теперь позвольте вас спросить. Кто ваш хозяин? Директор в каталке?..

Юхансон. Да-а! Он тоже будет?

Бенгтсон. Не приглашен.

Юхансон. Пожалует и без приглашенья! На худой конец!..

Старик в прихожей; на нем сюртук, при нем цилиндр, костыли. Тихонько подбирается к ним, подслушивает.

Бенгтсон. Вот старая шельма, а?

Юхансон. Каких мало!

Бенгтсон. И с виду-то суший черт!

Юхансон. Да он и правда колдун! В запертые двери входит...
Старик (*подходит и берет Юхансона за ухо*). Дрянь! Я тебе покажу колдуна! (*Бенгтсону*.) Доложить обо мне полковнику!

Бенгтсон. Тут ожидают гостей...

Старик. Знаю! Но и моего визита почти ожидают, хоть нельзя сказать, чтоб со страстными нетерпеньем...

Бенгтсон. Вот оно что! Как докладывать? Директор Хуммель?

Старик. Совершенно верно!

Бенгтсон идет через прихожую к зеленой комнате; там закрывается дверь.

(*Юхансону*). Убирайся!

Юхансон мешкает.

А ну убирайся!

Юхансон скрывается в прихожей.

(*Оглядывает комнату; в глубоком изумлении застывает перед статуей*.) Амалия!.. Это она!.. Она! (*Ходит по комнате, перебирает безделушки; поправляет перед зеркалом парик; опять подходит к статуе*.)

Мумия (*из кладовой*). Попка хорроший!

Старик (*вздвигнув*). Что такое? Здесь где-то попугай? Не вижу никакого попугая!

Мумия. Это ты, Якоб?

Старик. Нечистая сила!

Мумия. Якоб!

Старик. Мне страшно! Так вот что они тут прячут! (*Стоя спиной к шкафу, разглядывает портрет*.) Это он!.. Он!

Мумия (*сзади подбирается к Старику и сдергивает с него парик*). Попка-дуррак! Это попка-дуррак?

Старик (*подпрыгнув*). Господь всемогущий! Кто это?

Мумия (*человеческим голосом*). Якоб?

Старик. Ну да, меня зовут Якоб...

Мумия (*с чувством*). А меня — Амалия!

Старик. Нет, нет, нет, господи Иесу...

Мумия. Вот какой у меня вид! Да! А вот как я выглядела прежде! Вот! Жизнь многому научит. Теперь-то я живу в кладовке, чтоб никого не видеть и чтоб меня не видели... Ну, а ты, Якоб, чего ты тут ищешь?

Старик. Своего ребенка! Нашего ребенка...

Мумия. Вон она сидит.

Старик. Где?

Мумия. Вон там, в комнате с гиацинтами!

Старик (*разглядывая фрёкен*). Да, это она! (*Пауза*.) А что говорит ее отец, то есть, я имею в виду, полковник? Твой муж?

Мумия. Как-то раз я на него разлилась и все ему выложила...

Старик. И что же он?

Мумия. Не поверил. Сказал: «Так все женщины говорят, чтобы сжить со свету мужей». Все равно — ужасный был грех. Вся жизнь его — ложь, и родословная тоже; иногда читаю дворянские списки и думаю: у него подложное метрическое свидетельство, как у девки, а за это полагается тюрьма.

Старик. Что ж, вещь обычная; ты сама, помнится, подделала год рождения...

Мумия. Это меня мама научила... Моей вины тут нет! А в нашем грехе ты больше всех виноват!..

Старик. Нет, твой муж сам навлек этот грех, когда отнял у меня невесту! Так уж создан я — не могу простить, пока не покараю. Я считал это своим долгом — да и сейчас того же мнения!

Мумия. Зачем ты пришел? Чего тебе здесь надо? Как ты сюда пробрался? За дочерью моей пришел? Попробуй только тронь ее! Тебе тогда не жить!

Старик. Я ей же добра желаю!

Мумия. Пожалей ее отца!

Старик. Нет!

Мумия. Значит, ты умрешь. В этой комнате. За этой ширмой...

Старик. Возможно... Но раз я не могу вернуться с полдороги...

Мумия. Ты хочешь выдать ее за студента. Зачем? Он совершенное ничто, и у него нет ни гроша.

Старик. Я его озолочу!

Мумия. Тебя приглашали сюда, на вечер?

Старик. Нет, но я уж расстарюсь, чтоб меня пригласили на ужин призраков!

Мумия. А ты знаешь, кто будет?

Старик. Не вполне.

Мумия. Барон... который живет над нами, у которого нынче хоронят тестя.

Старик. Который собирается разводиться, чтоб жениться на дочери привратницы? Он ведь был твоим любовником!

Мумия. Еще будет твоя бывшая невеста, которую соблазнил мой муж...

Старик. Милая компания...

Мумия. Господи, если б умереть! Если б умереть!

Старик. Тогда зачем же вам встречаться?

Мумия. Мы повязаны одной веревочкой. Нас держат вместе наш грех, вина и тайна. Сто раз пытались мы развязаться, и опять нас тянуло друг к другу...

Старик. Кажется, полковник...

Мумия. Тогда я пойду к Адели. *(Пауза.)* Якоб, одумайся! Пожалей его...

Пауза. Она уходит.

Полковник *(входит, сдержанно, сухо)*. Прошу вас, садитесь.

Старик не спеша садится.

Пауза.

(Пристально смотрит на него.) Не вы ли, сударь, писали это письмо?

Старик. Да, я.

Полковник. Ваша фамилия Хуммель?

Старик. Да.

Пауза.

Полковник. Итак, мне теперь известно, что вы скупили все мои векселя, и я в ваших руках. Чего вам угодно?

Старик. Чтобы со мной расплатились по векселям — тем или иным способом.

Полковник. Каким же именно способом?

Старик. Весьма простым. Забудем о деньгах — примите меня у себя — как гостя!

Полковник. Если вам достаточно такой малости...

Старик. Благодарю вас!

Полковник. Но далее?

Старик. Прогоните Бенгтсона.

Полковник. За что же? Верный слуга, всю жизнь мне служит, имеет медаль за беспорочную службу — за что же мне его прогонять?

Старик. Все эти прекрасные качества существуют не более как в вашем воображении. Он совсем не то, чем кажется!

Полковник. Ну, а кто же — то, чем кажется?

Старик (*отпрянув*). Верно! Но Бенгтсона придется прогнать.

Полковник. Вы намерены распорядиться в моем доме?

Старик. Да! Поскольку мне принадлежит все, что тут есть — мебель, шторы, посуда, шкаф с бельем... и еще кое-что!

Полковник. Что именно?

Старик. Все! Все, что тут есть, — мое! Мое!

Полковник. Хорошо! Пусть ваше! Но дворянский герб мой и доброе имя остаются мне!

Старик. Как бы не так. (*Пауза.*) Вы не дворянин!

Полковник. Стыдитесь!

Старик (*вынимая бумагу*). Прочтите эту выписку из дворянской книги и убедитесь, что род, имя которого вы носите, вот уже сто лет как угас.

Полковник (*читает*). Я, разумеется, слышал какие-то слухи, но ведь я ношу имя своего отца... (*Читает.*) Верно; верно... я не дворянин! Даже этого мне не остается! Стало быть, я снимаю свой перстень с печаткой. Верно! Он ваш. Берите его!

Старик (*берет перстень*). Итак — продолжим! Вы никакой и не полковник!

Полковник. И не полковник?

Старик. Да! Вы когда-то добровольно служили в чине полковника у американцев, но после войны на Кубе и преобразования армии все прежние чины упразднены.

Полковник. И это правда?

Старик (*опускает руку в карман*). Не угодно ли убедиться?

Полковник. Нет, не надо! Но вы-то кто такой и по какому праву сидите тут и разоблачаете меня?

Старик. Сейчас увидите! Что же до разоблаченья... знаете ли, кто вы такой?

Полковник. И вам не совестно?

Старик. Снимите-ка волосы да поглядитесь в зеркало, только заодно выньте зубы, да сбрейте усы, да велите Бенгтсону расшнуровать ваш железный корсет, и тогда посмотрим — не обнаружится ли в результате некий слуга, который был когда-то прихлебателем на одной кухне...

Полковник тянется к звонку на столе, но Старик хватается за руку.

Не прикасайтесь к звонку, не зовите Бенгтсона, не то я его арестую... А вот и гости... Успокойтесь же, и давайте снова разыгрывать наши прежние роли.

Полковник. Но кто вы? Я узнаю ваш голос, взгляд...

Старик. Напрасно допытываетесь, лучше молчите и подчиняйтесь!

*

Студент (*входит, кланяется полковнику*). Господин полковник!

Полковник. Рад видеть вас у себя, молодой человек! Все только и говорят, как благородно вы вели себя во время катастрофы, и я за честь почитаю принимать вас в своем доме...

Студент. Господин полковник, мое скромное происхождение... Ваше славное имя, ваш знатный род...

Полковник. Позвольте представить — кандидат Аркенхольц, директор Хуммель... Не желаете ли, господин кандидат, поздороваться с дамами, а я бы пока окончил разговор с директором...

Студент идет в комнату с гиацинтами. Видно, как он скромно стоит там и разговаривает с фрёкен.

Превосходный молодой человек, музыкален, поет, пишет стихи... Будь он дворянин и нам ровня, я бы ничего не имел против... да...

Старик. Против чего?

Полковник. Чтобы моя дочь...

Старик. Ваша дочь! Кстати, почему она всегда там сидит?

Полковник. Если она дома, она сидит в комнате с гиацинтами. Такая уж у нее странность... А вот и фрёкен Беата фон Хольштейнкруга... прелестная особа... имеет ренту, вполне достаточную для ее положения и ее запросов...

Старик (*про себя*). Моя невеста!

Невеста — седая и слабоумная на вид.

Полковник. Фрёкен Хольштейнкруга — директор Хуммель...

Невеста кланяется и садится. Входит Знатный господин, с загадочным видом, в трауре.

Барон Сканскорг...

Старик *(в сторону, не вставая)*. Кажется, это он воровал бриллианты... *(Полковнику.)* Зовите Мумию, и вся компания будет в сборе.

Полковник *(в сторону комнаты с гиацинтами)*. Полли!

Мумия *(входя)*. Попка-дуррак!

Полковник. Не позвать ли молодежь?

Старик. Нет! Не надо молодежи! Пощадим их...

Все молча усаживаются в кружок.

Полковник. Я прикажу подать чаю?

Старик. К чему? Чаю никто не любит, и незачем нам лицемерить.

Пауза.

Полковник. Тогда давайте разговаривать?

Старик *(медленно, то и дело умолкая)*. Говорить о погоде, которую мы сами видим, осведомляться о здоровье, про которое всем и без того известно? Я предпочитаю молчанье, тогда слышны мысли и видно прошлое; молчанье не скроет ничего... что скрывается за словом; на днях я читал, что различие языков пошло от стремленья первобытных племен скрывать друг от друга свои секреты; каждый язык, стало быть, — шифр, и тот, кто отыщет ключ, поймет сразу все языки мира; а можно разгадывать тайны и без ключа, и особенно, когда надо доказать отцовство. Доказательство на суде — это совсем другое; ложные показания двух свидетелей составят вполне удовлетворительное доказательство, если только совпадут; но к тем делам, на которые я намекаю, не подпускают свидетелей, сама природа наделила человека чувством стыда, и оно побуждает нас скрывать то, что должно быть сокрыто; но бывает, мы невольно попадаем в такие положения, порой благодаря чистейшему случаю, — и вдруг тайное становится явным, спадает с мошенника маска, изобличается негодяй... *(Пауза, все молча переглядываются.)* Как тихо стало! *(Долгая пауза.)* К примеру, здесь, в почтенном этом доме, в прелестном кругу, где соединились красота, образованность и богатство... *(Долгая пауза.)* Все мы, тут сидящие, знаем, кто мы такие... не правда ли? Об этом и говорить нечего... и вы знаете меня, хоть изображаете неведение... А в той комнате сидит моя дочь, моя, и это вы знаете тоже... Она наскучила жизнью, сама не понимая причин, но она увяла в этом воздухе, насыщенном обманом, грехом и фальшью... и я искал для нее друга, подле которого она могла бы ощутить тепло и свет, излучаемые благородными делами... *(Долгая пауза.)* Вот зачем я проник в этот дом: вырвать плевелы, раскрыть грех, подвести итог, чтобы молодые начали жизнь заново в этом доме, который я им дарю! *(Долгая пауза.)* А теперь я разрешаю разойтись

всем по очереди и по порядку; того, кто останется, я велю схватить! *(Долгая пауза.)* Слышите, как тикают часы — точно твердят смертный приговор! Слышите? Вот сейчас они пробьют, и тогда срок настал — уходите, но не раньше. Сперва они предупредят. Да! Слышите? Часы вот-вот ударят. И я вот-вот ударю. *(Стучит костылем по столу.)* Слышите? *(Пауза.)*

Мумия *(подходит к часам и останавливает маятник; потом говорит серьезно и членораздельно)*. Но я могу остановить бег времени — могу обратить прошедшее в ничто, содеянное — в несодеянное; и не угрозами, не подкупом — страданьем и покаяньем *(подходит к Старику)*. Мы бедные, ничтожные, — мы это знаем, мы грешили, бесчинствовали, ошибались — как все; мы — не то, чем кажемся, и по сути нашей мы лучше, чем кажемся, но ведь мы способны осуждать себя за собственные прегрешенья; но ты, ты, Якоб Хуммель, ты скрываешься под чужим именем и рядишься в тогу судьи — а значит, ты хуже нас, бедных. Ты тоже не то, чем кажешься! Ты вор человек, ты меня сманил когда-то ложными посулами, ты убил консула, которого нынче похоронили, задушил векселями; ты опутал студента вымышленным долгом отца, который не был должен тебе ни единого эре...

Старик порывается встать, перебить ее, но падает на стул и съезживается все больше, по мере того как она говорит дальше.

Но есть в твоей жизни одно темное пятно, в точности я не знаю, но догадываюсь... думаю, Бенгтсон знает! *(Звонит в колокольчик.)*

Старик. Нет, только не Бенгтсон! Не надо!

Мумия. Ага, значит, он знает! *(Снова звонит.)*

В дверях прихожей появляется маленькая Молочница, ее не видит никто, кроме Старика; тот смотрит на нее в ужасе; она исчезает, когда входит Бенгтсон.

Бенгтсон, вам знаком этот господин?

Бенгтсон. Да, знаю я его, и он меня знает. Жизнь, известно, вещь переменчивая, было, я у него служил, а было — и он у меня. Два года целых кормился даром при моей кухне. Если ему надо было уйти в три, обед готовили к двум, а потом все доедали разогретое после этого буйвола, и бульону он выпивал столько, что потом водой добавляли. Как вампир, высасывал из нас все соки, мы стали как скелеты, и все грозился засадить нас за решетку, если мы говорили, что кухарка ворует! Потом я наткнулся на него в Гамбурге, уже под другим именем. Он стал ростовщиком, кровососом; там его привлекли к суду за то, что он заманил одну девушку на лед, пытался утопить, она про него слишком много знала, и он ее боялся...

Мумия *(глядит Старика по лицу)*. Ну вот! А теперь доставай-ка векселя и завещание!

Юхансон появляется в дверях и наблюдает происходящее с огромным интересом, так как он освобожден теперь от рабской зависимости. Старик вынимает пачку бумаг и бросает на стол.

(Гладит Старика по спине.) Попка-дуррак! А где Якоб?

Старик *(как попугай)*. Якоб тут! Кокадора! Дора!

Мумия. Можно, часы будут бить?

Старик *(квохчет)*. Часы будут бить! *(Как кукушка.)* Ку-ку! Ку-ку!

Мумия *(открывает дверь кладовки)*. Час пробил! Встань, поди в кладовку, где я просидела двадцать лет, оплакивая наше преступление. Там шнурок, он заменит тебе ту веревку, которой ты удушил консула и хотел задушить своего благодетеля... Ступай! *(Старик уходит в кладовку. Мумия закрывает дверь.)* Бенгтсон! Ставь ширму! Смертнуй ширму!

Бенгтсон заслоняет дверь ширмой.

Господи, помилуй его душу!

Все. Аминь!

Долгая пауза.

* * *

В комнате с гиацинтами фрёкен аккомпанирует на арфе речитативу Студента.

Песня (после прелюдии):

Солнце зрел я, и Сокрытый
Встал передо мною.
Каждый небесам подвластен.
Всяк в грехах покайся,
Злобы не питай к тому,
Кому вредил успешно.
Всяк блажен, добро творящий.
Оскорбленного — утешь,
Лишь в самом добре — награда.
И блажен невинный.

Комната, обставленная несколько странно, в восточном стиле. Повсюду гиацинты всех оттенков. На камине — большой Будда, на коленях у него клубень, из него тянется стебель шарлота с круглыми звездообразными цветами. В глубине направо — дверь в круглую гостиную. Там Полковник и Мумия сидят без действия и молчат; виден угол смертной ширмы; налево — дверь в буфетную и на кухню.

Студент и фрёкен (Адель) подле стола; она сидит с арфой; он стоит.

Фрёкен. А теперь спойте про мои цветы!

Студент. Это любимые ваши цветы?

Фрёкен. Единственные! Вы любите гиацинты?

Студент. Люблю превыше всех других, люблю девичий стройный образ, что тянется вверх от клубня и нежно полощет чистые свои, белые свои корни в бесцветных водах; люблю их краски, люблю снежно-белый гиацинт, чистый, как сама невинность, люблю медвяный, нежно-желтый, розово-юный, багряно-зрелый, но всех больше люблю я синий гиацинт, росистый, глубоководный, верный... Я все их люблю, больше золота и перлов, люблю их

с детства, всегда ими восхищался, ибо они преисполнены достоинств, которыми я обделен... Да только...

Фрёкен. Что же?

Студент. Любовь моя безответна, прекрасные цветы ненавидят меня.

Фрёкен. Ненавидят?

Студент. Их запах, чистый и резкий, как весенний ветер над талым снегом, сводит меня с ума, глушит, слепит, гонит меня вон из дому, мечет в меня отравленные стрелы, а от них ноет сердце и горит голова! Вы знаете сказку про гиацинт?

Фрёкен. Расскажите!

Студент. Но прежде — его значенье. Клубень, держащийся на воде или лежащий в перегное, — это земля; вверх устремляется стебель, прямой, как ось земная, и венчается звездоподобными цветками о шести лучах...

Фрёкен. Земля — и над нею звезды! Как прекрасно! Но откуда вы это взяли, где вы это видели?

Студент. Дайте сообразить!.. В глазах ваших! Итак — это прообраз мира... И Будда сидит, держа на коленях луковицу-землю, греет ее взглядом, чтоб она росла ввысь и обратилась в небо! Бедная земля станет небом! Вот чего ждет Будда!

Фрёкен. Я понимаю. Но у подснежника тоже цветок о шести лучах, как у лилии-гиацинта — не правда ли?

Студент. В самом деле! Значит, подснежники — падающие звезды.

Фрёкен. И подснежник — снежная звезда... выросшая на снегу.

Студент. А Сириус, прекраснейшая и крупнейшая из звезд небесных, желтый, красный — это нарцисс с желто-красной чашечкой о шести белых лучах...

Фрёкен. Случалось вам видеть, как цветет шарлот?

Студент. О, разумеется! Цветы его образуют шар, как небесный свод, усеянный белыми звездами...

Фрёкен. Боже, как прекрасно! Чья это мысль?

Студент. Твоя!

Фрёкен. Твоя.

Студент. Наша! Мы родили ее вместе, мы обручены...

Фрёкен. Нет пока еще...

Студент. За чем же дело стало?

Фрёкен. Надо подождать, испытать друг друга, потерпеть!

Студент. Хорошо же! Испытай меня! *(Пауза.)* Скажи! Отчего твои родители сидят так тихо, не скажут ни слова?

Фрёкен. Потому что им нечего друг другу сказать, потому что один не верит тому, что скажет другой. Отец это так объяснил: «К чему разговаривать, если мы уже не можем обмануть друг друга?»

Студент. Ужасно!

Фрёкен. Вот кухарка идет... Посмотри, какая она громадная, жирная...

Студент. А чего ей тут нужно?

Фрёкен. Ей нужно спросить меня насчет обеда, я же веду хозяйство с тех пор, как мама больна.

Студент. Что нам за дело до кухни?

Фрёкен. Есть-то приходится. Посмотри на нее! Не могу ее видеть.

Студент. Да кто она такая, эта великанша?

Фрёкен. Она из вампирского рода Хуммелей. Всех нас съедает...

Студент. Почему бы вам не выгнать ее?

Фрёкен. Не уходит! Нам с ней не сладить, это нам наказание за наши грехи... Вы разве не видите, как мы чахнем, тощем...

Студент. Вас не кормят?

Фрёкен. Ох, нас закармливают множеством блюд, но в них никакого толку... Мясо она вываривает, нам дает одни жилы да воду, а бульон пьет сама; а если готовит жаркое, она выжаривает из него весь сок, съедает подливку; всё, до чего она ни коснется, превращаемся в какую-то бурду, она пьет кофе, а нам достаются опивки, она пьет вино и доликает бутылки водой...

Студент. Гнать ее надо!

Фрёкен. Мы не можем!

Студент. Почему?

Фрёкен. Сами не знаем! Она не уходит! Нам с ней не сладить, она из нас выпила все соки!

Студент. Можно, я ее выгоню?

Фрёкен. Нет! Пусть все остается как есть! Вот она, появилась! Сейчас спросит, что приготовить на обед, я скажу — то-то и то-то; она будет спорить и все сделает по-своему.

Студент. Ну, и решала бы сама!

Фрёкен. Не желает.

Студент. Странный дом. Околдованный дом!

Фрёкен. Да! Но она повернулась, уходит. Это она вас увидела!

*

Кухарка *(в дверях)*. Ничего подобного! *(Скалит зубы.)*

Студент. Вон отсюда!

Кухарка. А это уж мое дело! *(Пауза.)* Ладно-ладно, уйду! *(Исчезает.)*

Фрёкен. Не теряйте присутствия духа! Упражняйтесь в терпении; она — не единственное наше испытание. Есть еще и горничная! За которой надо убирать!

Студент. Я тону! Хоры небесные! Песню!

Фрёкен. Погодите!

Студент. Песню!

Фрёкен. Терпение! Комната эта зовется комнатой испытаний. Тут красиво, но зато бездна неудобств...

Студент. Не верится. Впрочем, с неудобствами можно мириться. Красиво, да. Только несколько холодно. Отчего вы не топите?

Фрёкен. Камин чадит.

Студент. А нельзя прочистить трубу?

Фрёкен. Без толку!.. Видите, письменный стол?

Студент. Неслыханной красоты!

Фрёкен. Только он хромой; каждый день я вырезаю и подкладываю под ножку кусок пробки, а горничная, когда подметает, вынимает его, и мне приходится вырезать пробку заново. Ручка каждое утро вымазана в чернилах, чернильница тоже; каждый день, на восходе, я их должна за ней отмывать. *(Пауза.)* Повашему, что противней всего на свете?

Студент. Считать белье! Ух!

Фрёкен. И это достается мне! Ух!

Студент. А что еще?

Фрёкен. Просыпаться ночью, вставать и накидывать на окно крючок... про который забыла горничная.

Студент. А еще?

Фрёкен. Взбираться на стремянку и закреплять веревку от вьюшки, которую оборвала горничная.

Студент. Еще!

Фрёкен. Подметать после нее, вытирать за ней пыль, разводить огонь в камине, она только дрова туда кладет. Закрывать вьюшку, перетирать посуду, накрывать на стол, откупоривать бутылки, открывать окна, проветривать, стелить свою постель, мыть графин с водой, когда он уже зазеленеет, покупать спички и мыло, их никогда у нас нет, протирать стекла и обрезать фитили, чтобы не коптели лампы, а чтоб они не гасли, когда у нас гости, мне приходится самой их наливать...

Студент. Песню!

Фрёкен. Погодите! Сперва тяжкий труд, чтоб избавиться от житейской грязи.

Студент. Но ведь вы богаты. У вас две служанки!

Фрёкен. Что толку! Хоть бы три! Жить так трудно, я порой так устаю... Подумайте, еще и детская!

Студент. Самая большая радость...

Фрёкен. Но как дорого она обходится! Стоит ли жизнь таких трудов?

Студент. Ну, это смотря по тому, какой награды ждешь за свои труды... Я ни за чем бы не постоял, только бы получить вашу руку.

Фрёкен. Молчите! Никогда я не буду вашей!

Студент. Почему?

Фрёкен. И не спрашивайте.

Пауза.

Студент. Вы уронили в окно браслет...

Фрёкен. Да, просто у меня рука похудела...

Пауза. Кухарка появляется в дверях с японской бутылкой.

Фрёкен. Вот кто сожрет меня и нас всех!

Студент. А что это у нее в руках?

Фрёкен. Это красящая жидкость, со знаками скорпиона на бутылке! Это соя, обращающая воду в бульон, заменяющая соус, в котором варят капусту, из которого делают черепаховый суп.

Студент. Вон отсюда!

Кухарка. Вы сосете соки из нас; а мы из вас; мы берем вашу кровь, а вам возвращаем воду — подкрашенную. Это краска! Ладно, я уйду, но только когда мне самой захочется! *(Уходит.)*

Студент. За что у Бенгтсона медаль?

Фрёкен. За его великие заслуги.

Студент. И у него вовсе нет недостатков?

Фрёкен. О! Недостатки у него тоже великие, но за них не дают медалей. *(Оба смеются.)*

Студент. В вашем доме такое множество тайн...

Фрёкен. Как в каждом доме... Господь с ними, с нашими тайнами...

Пауза.

Студент. Вы любите откровенность?

Фрёкен. Пожалуй, но до известного предела.

Студент. Порой на меня находит безумное желание высказать все, все; но я знаю — мир бы рухнул, если б мы были до конца откровенны. *(Пауза.)* На днях я был в церкви... на отпевании... как торжественно и прекрасно!

Фрёкен. Это когда отпевали директора Хуммеля?

Студент. Да, моего мнимого благодетеля! У изголовья гроба стоял друг усопшего, пожилой человек, и он же потом первый шел за гробом; пастор особенно тронул меня достоинством жестов и проникновенностью речи. Я плакал, все мы плакали. Потом мы отправились в трактир... И там я узнал, что тот пожилой друг усопшего пылал страстью к его сыну...

Фрёкен смотрит на него пристально, не понимая.

Усопший же брал взаймы у поклонника своего сына. *(Пауза.)*
А через день арестовали пастора — он ограбил церковную кассу!
Прелестно!

Фрёкен. Ух!

Пауза.

Студент. Знаете, что я про вас думаю?

Фрёкен. Нет, не говорите, не то я умру!

Студент. Нет, я скажу, не то я умру!

Фрёкен. Это в больнице люди говорят все, что думают...

Студент. Совершенно верно! Отец мой кончил сумасшедшим домом...

Фрёкен. Он был болен!

Студент. Нет, он был здоров. Только он был сумасшедший!

Вот как-то раз это и обнаружилось, и при следующих обстоятельствах... Как у всех у нас, были у него знакомые, которых он для краткости именовал друзьями; разумеется, кучка ничтожеств, то есть самых обычных представителей рода человеческого. Но надо же ему было с кем-то водить знакомство, он не выносил одиночества. Мы ведь не говорим людям, что мы про них думаем, вот и он тоже ничего им не говорил. Он видел их лживость, понимал их коварство... но он был человек умный и воспитанный и обходился с ними учтиво. А как-то раз у него собралось много гостей; дело было вечером, он устал за день работы, и вдобавок ему приходилось напрягаться — то сдерживаться и молчать, то молоть всякий вздор с гостями...

Фрёкен пугается.

Ну и вот, вдруг он просит внимания за столом, берет стакан, собирается говорить тост... И тут отпустили тормоза, и он в длинной речи разделал присутствующих по очереди, всех до единого, объяснил им, как все они лживы. А потом, усталый, сел прямо на стол и послал их всех к чертям!

Фрёкен. Ух!

Студент. Я был при этом, и я никогда не забуду, что тут началось!.. Мать с отцом стали ссориться, гости бросились за дверь... и отца отвезли в сумасшедший дом, и там он умер! (*Пауза.*) Долгое молчание — как застойная вода. Она гниет. Вот так и у вас в доме. Тут тоже пахнет гнилью! А я-то решил, что здесь рай, когда увидел однажды, как вы выходили на улицу! Было воскресное утро, я стоял и смотрел; я видел полковника, и вовсе он был не полковник; у меня был благородный покровитель, и он оказался разбойником, и ему пришлось удушиться; я видел мумию — никакую не мумию, я видел деву... кстати, куда делось целомудрие? Где красота? В природе ли, в душе ли моей, когда все в праздничном уборе! Где честь и вера? В сказках и детских спектаклях! Где человек, верный своему слову? В моей фантазии! Вот цветы ваши отравили меня и сам я сделался ядовит! Я просил руки вашей, мы мечтали, играли и пели, и тут вошла кухарка... *Sursum corda!*¹ Попытайся же опять извлечь пурпур и пламя из золотой своей арфы... попытайся же, я прошу, я на коленях тебя молю... Ладно же, я сам! (*Берет арфу, но струны не звучат.*) Она нема, глуха! Подумать только — прекраснейшие цветы — и так ядовиты, самые ядовитые на свете! Проклятье на всем живом, проклята вся жизнь... Отчего не согласились вы стать моей невестой? Оттого что вы больны и всегда были больны... вот, вот, кухонный вампир уже сосет из меня соки, это Ламия, сосущая детскую кровь, кухня губит детей, если их не успела выпотрошить спальня... одни яды губят зреньё, другие яды открывают нам глаза. И вот с ними-то в крови я рожден, и не могу называть безобразное красивым, дурное — добрым, не могу! Иисус Христос сошел во ад, сошествие

¹ Горе имеем сердца! (*лат.*).

во ад было его сошествие на землю, землю безумцев, преступников и трупов; и глупцы умертвили его, когда он хотел их спасти, а разбойника отпустили, разбойников всегда любят! Горе нам! Спаси нас, Спаситель Мира, мы гибнем!

Фрёкен падает, бледная как мел, звонит в звонок, входит Бенгтсон.

Фрёкен. Скорее ширмы! Я умираю!

Бенгтсон возвращается с ширмами и ставит их, загораживая фрёкен.

Студент. Идет Избавитель! Будь благословенна, бледная, кроткая! Спи, прекрасная, спи, бедная, спи, невинная, не повинная в страданиях своих, спи без снов, а когда ты проснешься... пусть встретит тебя солнце, которое не жжет, и дом без грязи, и родные без позора, и любовь без порока... Ты, мудрый, кроткий Будда! Ты ждешь, когда из земли прорастет небо, пошли же нам терпения в скорбях, чистоты в помыслах, и да не посрамится надежда наша!

Вдруг звучат струны арфы, комната наполнится белым светом.

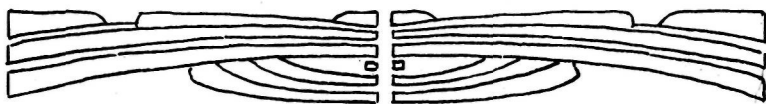
Солнце зрел я, и Сокрытый
Встал передо мною.
Каждый небесам подвластен.
Всяк в грехах покаяся.
Злобы не питай к тому,
Кому вредил успешно.
Всяк блажен, добро творящий.
Оскорбленного — утешь,
Лишь в самом добре — награда.
И блажен невинный.

За ширмами слышится стон.

Бедное, милое дитя, дитя ошибок, греха, страдания, смерти — дитя нашего мира; мира вечных перемен, разочарования и боли! Отец небесный да будет милостив к тебе...

Комната исчезает; задник — «Остров мертвых» Бёклина; музыка, тихая, нежно-печальная, плывет с острова.

Я видел солнце,
И мне казалось,
Что зрю Сокрытого;
Всяк блажен, добро творящий,
Если и соделал зло,
Злобою не искупай.
Успокой, кого обидел,
В доброте твоя награда.
И блажен невинный.



КОММЕНТАРИИ

РОМАНЫ

СЛОВО БЕЗУМЦА В СВОЮ ЗАЩИТУ

LE PLAIDOYER D'UN FOU

«Слово безумца в свою защиту» наряду с книгами «Ад» (1897), «Легенды» (1898) и «Одинокий» (1903) продолжает серию автобиографических произведений писателя. В романе описывается история сложных взаимоотношений Августа Стриндберга с его первой женой Сири фон Эссен. Роман был написан на французском языке летом 1887 года и опубликован в Париже в 1895 году под названием «Le plaidoyer d'un fou». Впервые он увидел свет, однако, в немецком переводе: «Die Beichte eines Thoren» (Berlin, 1893). За этой публикацией последовали два перевода с немецкого, выполненные без разрешения автора и изданные в Швеции в 1893 и 1894 годах. Писатель публично выразил свой протест против обоих переводов, отличавшихся крайне низким качеством и изобиловавших множеством ошибок и неточностей. Первый адекватный перевод романа на шведский язык был сделан по французскому изданию Ю. Ландквистом в 1914 году и вошел в состав 55-томного Собрания сочинений Стриндберга (1912—1920). Для настоящего издания роман переведен с французского языка по книге «Le plaidoyer d'un fou» (Stockholm, 1978).

В названии романа явно видна аналогия с «Защитительной речью» Сократа. Если в предыдущем автобиографическом романе «Сын служанки» Стриндберг ставил своей целью лишь провести тщательный «психологический анализ» личности, которую он знал лучше всего, то тональность «Слова безумца в свою защиту» принципиально иная — роман носит отчетливо тенденциозный характер. Герой романа не столько исповедуется перед читателем, сколько выступает в роли собственного адвоката, ограждая себя от клеветы и разрушая уже сложившуюся в обществе «легенду» своей жизни.

Тем не менее не все события, нашедшие отображение в романе, следует считать абсолютно истинными. Скорее это летопись душевного состояния писателя, связанного с тем или иным эпизодом его совместной жизни с Сири фон Эссен и приукрашенного воображением Стриндберга. Сири фон

Эссен, которая в книге обвиняется во многих недостатках и грехах, никогда не пыталась опровергнуть то, что написал о ней Стриндберг. Попытку восстановить справедливость предприняла ее старшая дочь Карин Смирнофф, написавшая на эту тему две книги: «Первая жена Стриндберга» (1926) и «Как это было на самом деле» (1956). Сам Стриндберг, видимо, чувствовал необоснованность многих своих подозрений и предположений и долгие годы мучился угрызениями совести.

Стр. 13. *...может быть, я обманут любимой обольстительницей, и ее мажорные ножницы обрезают у Самсона волосы, когда он положил ей на колени голову...* — Стриндберг вспоминает здесь героя ветхозаветных преданий Самсона, виновницей гибели которого стала его возлюбленная, филистимлянка Далила. Она трижды пыталась выведать у Самсона источник его чудесной силы и, наконец узнав, что он — в его длинных, согласно обету, волосах, выдала тайну врагам.

Стр. 17. *«Философия бессознательного» Эдуарда Гартмана.* — Гартман Эдуард (1842—1906) — немецкий философ-идеалист.

...восшествием на престол Бернадота, разочаровавшегося якобинца. — Бернадот Жан Батист (1763—1844) — маршал Франции, участник наполеоновских войн. В 1810 г. уволен Наполеоном и избран наследником шведского престола. В 1818—1844 г.г. — шведский король Карл XIV Юхан, основатель династии Бернадотов.

Парламентская реформа. — Имеется в виду парламентская реформа 1865—1866 гг., согласно которой в Швеции был учрежден бессловесный цензовый двухпалатный риксдаг; в целом реформа отражала интересы крупной буржуазии.

Добавим... реакцию после смерти Карла XV. — Карл XV (1826—1872) — король Швеции с 1859 г. Во время его правления была проведена реформа шведского риксдага.

Стр. 18. *Карл XII* (1682—1718) — шведский король с 1697 г., полководец.

Стр. 25. *Король Оскар.* — Имеется в виду Оскар II Фридрих (1829—1907), король Швеции с 1872 г.

...дуэтов Веннерберга... — Веннерберг Гуннар (1817—1899) — шведский композитор и поэт. Особенной популярностью пользовался его «Сборник дуэтов».

Стр. 27. *Кирказон* — род многолетних трав или деревянистых лиан семейства кирказоновых.

Стр. 32. *...пожелтевшие буквы письма королевы Кристины.* — Кристина Августа (1626—1689) — королева Швеции с 1632 по 1654 г. Тайно перейдя в католичество, отреклась от престола, чему способствовало также осложнение внутривосточного и международного положения Швеции. Одна из образованнейших женщин своего времени. Образ Кристины интересовал Стриндберга, посвятившего ей одну из своих исторических драм («Кристина», 1903).

Стр. 45. *Стут* — темное пиво.

Сатурналии — в Древнем Риме — народный праздник по окончании полевых работ в честь бога Сатурна. Здесь — кутеж, разгульный праздник.

Стр. 88. *...Иосифом я не был.* — Стриндберг обращается к ветхозаветной истории об Иосифе Прекрасном, которого, влюбившись в его красоту, пыталась соблазнить жена Потифара — господина Иосифа, начальника телохранителей фараона. Однако Иосиф стойко прошел искушение и на все притязания жены Потифара ответил твердым отказом.

Стр. 91. *Ганс Сакс* (1494—1576) — немецкий поэт.

Лютер Мартин (1483—1546) — глава реформации в Германии, основатель немецкого протестантизма.

Стр. 140. *...мучить не хуже Ксантиппы...* — Ксантиппа — жена Сократа, известная своим сварливым нравом.

Стр. 148. *Началось все с пьесы, написанной одним знаменитым норвежцем...* — Речь идет о пьесе Г. Ибсена «Кукольный дом». Приверженность Ибсена к вопросам женской эмансипации, чрезмерную, по мнению Стриндберга, шведский писатель подверг резкой критике уже в предисловии к первому изданию сборника рассказов «Браки» (1884).

Стр. 152. *Менада* — в Древней Греции — жрица бога вина и веселья Вакха. Здесь — бешеная, иступленная.

Стр. 155. *...семнадцатого августа я передал ей драму...* — Речь идет о драме Стриндберга «Секрет гильдии», в которой Сири фон Эссен предназначалась главная роль.

...Эмиль Ожье в своем романе «Семья Фуриамбо»... — Эмиль Ожье (1820—1889) — французский драматург, романист, один из создателей «школы здравого смысла», выступавшей против традиций романтизма.

Стр. 156. *...выпустив книжку сатирических рассказов...* — Имеется в виду сборник рассказов Стриндберга «Басни» (1885).

Стр. 160. *...с моим лучшим другом, крупным ученым, участником экспедиции «Веги»...* — Речь идет о Нильсе Адольфе Эрике Норденшёльде (1832—1901) — шведском геологе и географе, исследователе Арктики. В 1878—1879 гг. Норденшёльд на пароходе «Вега» впервые осуществил плавание северо-восточным проходом из Атлантического океана в Тихий.

Стр. 164. *...отношения, завязавшиеся у меня с самым знаменитым норвежским писателем...* — Имеется в виду Г. Ибсен.

Стр. 168. *...прочитал «Мужчину и женщину» Эмиля де Жирардена.* — Эмиль де Жирарден — французский журналист и писатель (1806—1884).

Стр. 169. *Это был сборник рассказов о браке...* — Речь идет о цикле рассказов «Браки I» (1884). После того как книга вышла в свет, писатель был привлечен к суду по обвинению в богохульстве (из-за нескольких строк в рассказе «Награда за добродетель»). Однако под давлением общественного мнения Стриндберг был оправдан.

Стр. 174. *Речь идет о драме знаменитого норвежского «синечулочника»...* — Имеется в виду пьеса Г. Ибсена «Кукольный дом».

Стр. 180. *...на известный мотив из «Миньон».* — «Миньон» — опера французского композитора А. Тома (по роману В. Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера»).

Стр. 181. *...родина... Габсбургов...* — Королевская династия Габсбургов получила свое название от замка Габсбург, который был построен около 1020 г. в одной из областей Швейцарии.

Стр. 189. *Гвидо Рени* (1575—1642) — итальянский живописец.

ОДИНОКИЙ

ENSAM

Роман (1903) — итог духовных исканий Стриндберга в период 1902—1903 годов. Сам писатель относил его к автобиографическим произведениям. В романе запечатлен один из этапных моментов в жизни Стриндберга, причем момент гармонический, что бывало отнюдь не часто, — писатель ощущает себя в мире с людьми и окружающей действительностью, душевные кризисы как бы на время отпускают, освобождают его из своих цепей. Одиночество здесь понимается не как внешняя изоляция от людей, а скорее как уход в глубины собственного сознания, напряженный поиск истины, смысла бытия. Основным чтением служат книги философско-религиозных мыслителей, а также Бальзак, Гете. Большую роль в эти годы в жизни Стриндберга играет музыка — как проявление высшей гармонии и правды. Любимым композитором шведского писателя был Бетховен, чьи произведения и исполнялись чаще всего на так называемых бетховенских вечерах, когда, начиная с декабря 1900 года, в доме Стриндберга собирались его друзья, и среди них чаще всего его брат Аксель, профессиональный музыкант, виолончелист и пианист, композитор Тур Аулин, художник Ричард Берг, скульптор Карл Эльд и физик Вильгельм Калхейм-Юлленшёльд (в дальнейшем редактор Стриндберга).

Стр. 210. *Сведенборг* Эмануил (1688—1772) — шведский ученый и теософ-мистик. Оказал большое воздействие на Стриндберга в 1880-е — 1890-е гг.

Стр. 217. *Гогенлоэ* Хлодвиг Карл Виктор (1819—1901) — князь Шиллингфюрст, германский государственный деятель и дипломат.

...*поездка Феликса Фора в Россию...* — Феликс Фор (1841—1899) — французский государственный деятель. С 1895 по 1899 г. — президент Республики. Будучи сторонником союза с Россией, Ф. Фор принимал в 1896 г. русского царя Николая II в Париже, а в 1897 г. с ответным визитом посетил Петербург.

Стр. 222. ...*подобно Алкивиаду, осквернившему святыню...* — Алкивиад (ок. 450 — ок. 404 гг. до н. э.) — один из известнейших афинских государственных деятелей и полководцев. Был обвинен в разрушении герм (статуй Гермеса).

Стр. 225. *Кальвинисты* — последователи учения одного из деятелей Реформации Жана Кальвина (1509—1564).

Якоб Бёме (1575—1624) — немецкий философ, представитель пантеизма.

Стр. 226. «*Разве я носил во чреве весь народ сей...*» — библейская цитата.

Стр. 230. *Агасфер* — персонаж христианской легенды позднего западноевропейского средневековья. Согласно легенде, Агасфер во время пути Иисуса Христа на Голгофу отказал ему в кратком отдыхе и безжалостно велел идти дальше; за это ему самому отказано в покое могилы, он обречен из века в век скитаться, дожидаясь второго пришествия Христа, который один может снять с него зарок.

Стр. 239. *...в зловещих символических видениях Энсора.* — Энсор Джеймс (1860—1949) — бельгийский живописец и график. Для позднего периода его творчества характерно тяготение к символично-фантастическим образам.

Стр. 246. *В Скансене волки завыли...* — Скансен — часть территории Стокгольма. В 1873 г. в Скансене был организован этнографический музей под открытым небом.

Стр. 253. *...отбыл двухгодичное заключение на Лонгхольмене.* — Лонгхольмен — скалистый остров на озере Меларен в Стокгольме. С 1724 г. там находилась большая тюрьма.

НОВЕЛЛЫ

ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ, ТРИУМФ, ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ, НОЧНОЕ БДЕНИЕ

(Из сборника «Судьбы и приключения шведов»)

HÖGRE Ä NDAMAL, EN TRIUMF, SISTA SKOTTET, VID LIKVAKAN I TISTEDALEN

Книга «Судьбы и приключения шведов» создавалась писателем на протяжении многих лет, с 1882 по 1904 год. В этой серии новелл Стриндберг ставил своей задачей представить историю развития шведского общества и государства. Отдельные исторические эпизоды, казалось бы не связанные друг с другом, тем не менее, согласно замыслу, должны были выстроиться в хронологическом порядке и стать звеньями единой цепи. Новеллы разбиваются на четыре цикла по хронологическому принципу: средние века, XVI век, XVII век, XVIII век.

«Высшая цель» — одна из самых ранних новелл этой серии, она была опубликована осенью 1882 года. В новелле «Триумф» (1883) повествуется о событиях датско-шведской войны, начатой в мае 1657 года Данией с целью пересмотра Брёмсебрусского мира 1645 года, по которому Швеция получила целый ряд датских владений. Войну, о которой идет речь в «Триумфе», Дания также проиграла, и по условиям Роскильского мира (1658) области Сконе, Блекинге и др. перешли к Швеции. В новелле «Последний выстрел» (1890) Стриндберг обращается к событиям Тридцатилетней войны 1618—1648 годов — между двумя большими группировками держав: габсбургским блоком (испанские и австрийские Габсбурги), поддержанным папством, и Францией, Швецией, Голландией, Данией, а также Россией. Первоначально эта война носила характер религиозной войны между католиками и протестантами, однако в ходе событий все больше переставала таковой быть, особенно с тех пор, как католическая Франция открыто возглавила антигабсбургскую коалицию. В новелле «Ночное бдение» (1891), как и в написанной позже драме «Карл XII» (1901), а также в некоторых других своих произведениях Стриндберг развенчивает сложившийся в шведской историографии и литературе идеальный образ короля Карла XII. В «Открытых письмах к Интимному театру» Стриндберг называет Карла XII «человеком, погубившим Швецию», «великим преступником», «обманщи-

ком», «кумиром головорезов», вся жизнь которого была «большой ошибкой». Не случайно Стриндберг избирает для раскрытия своего замысла именно момент смерти Карла XII. Согласно одной из версий, Карл XII погиб не от пули солдата неприятельской армии, а был застрелен самими шведами.

Стр. 262. *Miserere* (лат.) — «Смилуйся», покаянный псалом католической литургии.

Стр. 276. *Молох* — согласно библейским сказаниям, почитавшееся в Палестине, Финикии и Карфагене божество, которому приносились человеческие жертвы, особенно дети.

Стр. 286. *Король Фредерик*. — Имеется в виду Фредерик III (1609—1670), король Дании и Норвегии с 1648 г. При нем в войнах со Швецией Дания утратила Сконе и другие территории. В 1660 г. объявил Данию наследственной монархией.

Стр. 291. *...как в Богемии...* — Имеется в виду подавление чешского восстания 1618—1620 гг., когда австрийский император Фердинанд II, заключив союз с католической лигой и опираясь на ее военную мощь, разгромил чешских протестантов.

Стр. 292. *Врангель* Карл Густав (1613—1676) — шведский адмирал и фельдмаршал.

Стр. 294. *Аугсбургская конфессия* (Аугсбургское исповедание) — изложение основ лютеранства в 28-ми статьях, на немецком и латинском языках, составленная с одобрения Мартина Лютера его ближайшим соратником Ф. Мейланхтоном и представленная императору Карлу V на Аугсбургском рейхстаге 1530 г. Устанавливала обрядовую сторону лютеранского культа, принцип подчинения церкви светскому государю. Отклонение Аугсбургской конфессии Карлом V и рейхстагом послужило поводом для длительной борьбы между протестантскими и католическими князьями Германии, окончившейся Аугсбургским миром в 1555 г.

Стр. 295. *Август* — имеется в виду Август II Сильный (1670—1733), король польский в 1697—1706, 1709—1733 гг. Участник Северной войны на стороне России.

Стр. 297. *...позволил москвитянину хозяйничать в Прибалтике, а сам тем временем едва не сгубил и себя и нас в Польше?* — Речь идет о событиях Северной войны (1700—1721) России со Швецией за выход в Балтийское море.

Ульрика-Элеонора (1688—1741) — сестра Карла XII, правила страной с 1718 по 1720 г.

Стр. 299. *Густав I Васа* (1496—1560) — король Швеции с 1523 г. Избран королем после победы возглавленного им народного восстания, освободившего страну от датского господства.

Свеи — древнее название шведов.

Стр. 300. *Курций Руф* Квинт — древнеримский историк и ритор I в. По видимому, в начале 40-х годов написал «Историю подвигов Александра Великого», на которую ссылается Стриндберг.

Дарий. — Имеется в виду Дарий I, царь государства Ахеменидов в 522—486 гг. до н. э. Время правления Дария I — период наивысшего могущества персидской державы.

Стр. 300. *Дания стремилась округлить свои земли и добивалась Гольштейн-Готторпа...* — В самом начале Северной войны в марте 1700 г. датские войска вступили на территорию союзника Швеции — Гольштейна. Однако Карл XII при активном содействии англо-голландского флота высадил десант у Копенгагена и заставил Данию заключить в августе Травендальский мир, по которому Дания обязывалась выплатить военные расходы Гольштейну и выбывала из участия в военных действиях.

Стр. 301. *...призвал турка себе на помощь...* — Потерпев сокрушительное поражение в Полтавском сражении (1709), Карл XII бежал в Турцию, где безуспешно пытался организовать нападение на Россию турецкой армии с юга и шведской армии с севера. В 1711 г. Турция все же начала войну против России, но она быстро закончилась, и Карлу XII не удалось оказать туркам поддержку с севера.

СВЯЩЕННЫЙ БЫК, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ЛЖИ, ЗДОРОВАЯ КРОВЬ

(Из сборника «Басни»)

DEN HELIGA OXEN ELLER LÖGNENS TRIUMF, FULLBLOD

Цикл басен был написан Стриндбергом осенью 1885 года на французском языке. На шведский язык они были переведены Э. Фальстедтом и впервые опубликованы в сборнике «Напечатанное и ненапечатанное III» в 1891 году. Стриндберг предполагал создать большую серию басен, однако не довел свой замысел до конца. В письме к издателю Альберту Боньеру он сокрушенно признавался, что его сказки оказались «слишком тяжелой пищей для шведских желудков».

Стр. 302. *Апис* — в египетской мифологии бог плодородия в облике быка. Центром культа Аписа был Мемфис. Аписа считали душой бога-демиурга Птаха, а также бога солнца Ра. Воплощением Аписа являлся черный бык с особыми белыми отметинами. Верили, что ритуальный бег Аписа оплодотворяет поля.

Стр. 303. *Пилонь* — башнеобразные сооружения в виде усеченных пирамид, воздвигавшиеся по сторонам входов в древнеегипетские храмы.

ДЕТСКАЯ СКАЗКА

(Из сборника «Фагервик и Скамсунд»)

EN BARNSAGA

Сборник был впервые опубликован в 1902 году. В «Детской сказке» особенно ошутимо сказывается влияние Х.-К. Андерсена, который был одним из любимейших авторов Стриндберга. Не случайно эта новелла, как и целый ряд новелл, созданных в 1903 г., названа сказкой.

Стр. 313. *Пиетисты* — последователи мистического течения в протестантизме, особенно характерного для лютеранства.

...подобно тому как Иона был причиной великой бури на море. — Речь идет о ветхозаветном пророке Ионе, чьи прегрешения явились причиной бури и которого корабельщики-язычники выбросили за это в море.

Стр. 316. *Оверштаг* — поворот парусного судна, переходящего на другой галс носом против ветра.

Слово «*грот*» прибавляется к названиям парусов и всех частей такелажа, связанных с грот-мачтой, т. е. второй от носа судна и самой высокой.

Эбал и Геризим — в ветхозаветной традиции горы, отражающие, как эхо, благословения и проклятия.

Стр. 318. *Аландские острова* — около 6,5 тысяч островов и шхер в Балтийском море, у входа в Ботнический залив.

СКАЗАНИЕ О СЕН-ГОТАРДЕ, ЛИСТОК БУМАГИ

(Из сборника «Сказки»)

SANKT GOTTHARDS SAGA, ETT HALVT ARK PAPPER

Сборник «Сказки» впервые был опубликован в 1903 году. Сама концепция «жизни как сказки», идущая от А.-Г. Эленшлегера и Х.-К. Андерсена, характерна для Стриндберга в поздний период его творчества. Один из персонажей пьесы «Соната призраков» так выражает мысль писателя: «Вся моя жизнь словно книга сказок... и хотя сказки в ней разные, все они связаны между собою и главный мотив повторяется».

Стр. 340. *Император Фридрих Барбаросса ходил этой дорогой в Италию.* — Фридрих Барбаросса (ок. 1125—1190) — германский король и император Священной Римской империи с 1152 г. Пытался подчинить северо-итальянские города, но потерпел поражение от войск Ломбардской лиги в битве при Леньяно.

Виктор Эммануил I (1759—1824) — король сардинский в 1802—1821 гг. После оккупации французами Пьемонта находился большей частью на острове Сардиния. После падения Наполеона возвратился в 1814 г. в Турин, вернув себе прежние владения, к которым присоединилась еще территория ликвидированной Генуэзской республики.

Стр. 343. *Стенли* Генри Мортон (псевдоним Джона Роуллендса; 1841—1904) — журналист, исследователь Африки.

ПЬЕСЫ

ЭРИК XIV

ERIK XIV

В конце 1890-х годов Стриндберг вновь обращается к драматургии и создает целый ряд исторических пьес: «Сага о Фолькунгах» (1899), «Густав Васа» (1899), «Густав-Адольф» (1900), «Кристина» (1901) и другие. «Эрик XIV» (1899), одно из самых значительных произведений писателя, продолжает собой «трилогию Васов». В письме к представителю издательства, шведскому писателю Густаву аф Гейерстаму, Стриндберг предлагает издать написанную намного раньше (первый вариант — 1872 г.) пьесу «Местер Улоф» и две новые пьесы — «Густав Васа» и «Эрик XIV» в одном

томе, указывая, что все три пьесы объединены общностью замысла и идеи: «Все три драмы тесно связаны между собой и поясняют одна другую».

Пьеса «Эрик XIV» имела счастливую сценическую судьбу и неоднократно ставилась на сценах шведских и европейских театров. Первая постановка «Эрика XIV» была осуществлена в год издания пьесы — в королевском Драматическом театре. По мнению критики, наиболее удачный образ Эрика на сценах шведских театров создал известный шведский актер И. Хедквист (1880—1935), который показал Эрика плохим королем, разрушившим труд всей жизни своего отца — Густава Васы. В его интерпретации Эрик виновен в творимом им зле; это король, не владеющий собственной волей, но распоряжающийся судьбами зависимых от него людей, жестокий, кровавый и истеричный.

Постановка «Эрика XIV» Е. Б. Вахтанговым в Первой студии МХТ (март 1921 г.) стала важной вехой и в истории развития советского театра. Главную роль в пьесе исполнял Михаил Чехов. В журнале «Культура театра» (1921, № 4) Вахтангов так объяснял замысел и основные принципы постановки стриндберговской пьесы и трактовку образа главного героя: «Эрик... Бедный Эрик. Он пылкий поэт. Острый математик, чуткий художник, необузданный фантазер — обречен быть королем... Между омертвевшим миром бледнолицых и бескровных придворных мечется он, страстно жаждущий покоя, и нет ему, обреченному, места. Смерть и жизнь зажали его в тиски неумолимого. Бог и ад, огонь и вода. Господин и раб — он, сотканный из контрастов, стиснутый контрастами жизни и смерти, неотвратимо должен сам уничтожить себя. И он погибает».

Стр. 348. *Эрик XIV* (1533—1568) — сын Густава I Васы, основателя шведской королевской династии Васов (1521—1654), и Екатерины Саксен-Лауенбургской. Правил страной с 1560 г.

Стр. 350. *Елизавета Английская* — имеется в виду Елизавета I Тюдор (1533—1603), английская королева с 1558 г., дочь Генриха VIII и Анны Болейн.

Генрих VIII (1491—1547) — английский король с 1509 г. При Генрихе была проведена Реформация.

Стр. 353. *Стуре* — фамилия четырех дворянских родов в Швеции XIV—XVII вв.

Стр. 357. *Энгельбрект* (ум. в 1436 г.) — вождь крупнейшего в средневековой Швеции народного восстания. В 1435 г. провозглашен «вождем государства». В 1436 г. был убит.

Стр. 358. *Эрик Святой* — шведский король с 1150 по 1160 г. Ввел в Швеции христианство.

Стр. 360. *...нарушил Арборгскую конституцию...* — В Арборге в 1561 г. было выработано особое постановление (Арборгская конституция), согласно которому власть братьев Эрика — Юхана, Магнуса и Карла, стоявших во главе наследственных герцогств, значительно урезывалась.

Король Вальдемар (1250—1275) — шведский король из династии Фолькунгов (1250—1389).

Стр. 363. *Ярл Биргер* (ум. в 1266 г.) — правитель Швеции в 1248—1266 гг.

Кристиан Тиран. — Имеется в виду Кристиан III (1481—1559), король Дании, Норвегии в 1513—1523 гг., Швеции в 1520—1523 гг. Пытался силой восстановить Кальмарскую унию, фактически расторгнутую шведами. Известна его кровавая расправа над сторонниками правителя Стена Стуре Младшего (так называемая Стокгольмская кровавая баня).

Стр. 364. *...после краха Карла Кнутсона...* — Речь идет о короле Швеции в 1448—1470 гг. Карле VIII Кнутсоне Бунде (1409—1470).

СОНАТА ПРИЗРАКОВ

SPÖKSONATEN

Одна из пяти «камерных» пьес Стриндберга, предназначенных им для Интимного театра (наряду с драмами «Непогода», 1907, «Пепелище», 1907, «Пеликан», 1907, «Черная перчатка», 1909). Первоначально имела другое название: «Кама-Лока. Буддистская драма Августа Стриндберга». Позднее в рукописи появилось заглавие: «Камерная пьеса 3. Соната призраков». Впервые напечатана в 1907 году. «Соната призраков» создана писателем в период увлечения философией буддизма, что не могло не сказаться на самом характере пьесы. Не случайным было и раннее заглавие: Кама-Лока, согласно воззрениям теософов, — это призрачный мир, в котором скитается душа человека, прежде чем обретет покой и мир в царстве смерти. Работая над пьесой, Стриндберг писал о своей новой философии жизни актрисе Интимного театра Харриет Боссе: «Единственное для себя утешение я нахожу у Будды, который прямо говорит мне, что жизнь — это фантазмагория, навязанная нам картина мира, которую надо учиться видеть в ее истинном свете». В письме литератору Эмилю Шерингу Стриндберг замечает, что его пьеса о «мудрости, которая приходит с годами, когда накоплен жизненный опыт и искусство созерцания целого наконец проявляет себя». Большинство людей, по мнению Стриндберга, «довольствуются воображаемым счастьем и скрывают свои беды. Так, Полковник (в пьесе) исполняет собственную комедию до конца, иллюзия стала для него реальностью. ...Я сам страдал, пока писал пьесу, словно блуждал в Кама-Локе... Что спасло мою душу во время работы, так это моя философия. Надежда на лучшее и твердое убеждение, что мы живем в сумасшедшем мире, в мире условностей, из которых мы должны вырваться. И это высветилось во мне, в моем сознании, и я писал ее с ощущением, что это мои «последние сонаты».

Стриндберг не случайно, вслед за Бетховеном, называет свои камерные пьесы «последними сонатами». Музыка, как формой, применимой к литературному произведению, Стриндберг интересовался задолго до «Сонаты призраков». Полифоническое звучание характерно уже для пьесы «Местер Улоф», которую сам Стриндберг называл «симфонией». Но наибольшее развитие принцип музыкальности получает, несомненно, в драме «Игра грез» и камерных пьесах. Деление «Сонаты призраков» на три части, а также использование двух контрастирующих тем позаимствовано Стриндбергом из сонатной формы — конкретно из бетховенской фортепьянной сонаты D minor (Opus 31, № 2). Пьеса, как и соната, компонуется из трех частей. Две основные темы сонаты ведут у Стриндберга сту-

дент Аркенхольц (идеальное видение мира) и старик Хуммель (потребительство).

Стр. 398. *«Валькирия»* — опера немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883), часть тетралогии «Кольцо нибелунга».

Стр. 403. *Тор* — в скандинавской мифологии бог грома, богатырь, защищающий богов и людей от великанов и страшных чудовищ.

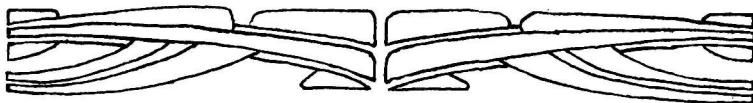
Стр. 409. *...но после войны на Кубе и преобразования армии все прежние чины упразднены.* — Имеется в виду испано-американская война (1898 г.) за владычество на Кубе, в результате которой остров перешел под контроль США.

Стр. 418. *Ламия* — образ восходит к греческой Ламии, возлюбленной Зевса, которая затем вынуждена была укрыться от гнева Геры в пещере и превратилась в кровавое чудовище, пожиравшее чужих детей. Позднее, в мифологии народов Европы, — злой дух, змея с головой и грудью красивой женщины. Считалось, что Ламия убивает детей, а также соблазняет мужчин и пьет их кровь.

Стр. 418. *Горе имеем сердца* — фраза из католического богослужения.

Стр. 419. *Бёклин* Арнольд (1827—1901) — швейцарский живописец. Для его творчества характерно активное введение фантастического элемента. Оказал влияние на формирование немецкого символизма. Копия картины «Остров мертвых» висела в Интимном театре Стриндберга.

Е. Соловьева



СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО БЕЗУМЦА В СВОЮ ЗАЩИТУ. Роман. <i>Перевод с французского Л. Лун- гиной</i>	5
ОДИНОКИЙ. Роман. <i>Перевод С. Тархановой</i>	201

НОВЕЛЛЫ

Высшая цель. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	262
Триумф. <i>Перевод Н. Беляковой</i>	280
Последний выстрел. <i>Перевод Н. Беляковой</i>	288
* Ночное бдение. <i>Перевод Л. Жданова</i>	294
Священный бык, или Торжество лжи. <i>Перевод И. Стребловой</i>	302
Здоровая кровь. <i>Перевод И. Стребловой</i>	306
Детская сказка. <i>Перевод Л. Брауде</i>	308
Сказание о Сен-Готарде. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	337
* Листок бумаги. <i>Перевод В. Цырлиной</i>	345

ПЬЕСЫ

Эрик XIV. <i>Перевод Е. Суриц</i>	348
Соната призраков. <i>Перевод Е. Суриц</i>	395
<i>Комментарии</i> Е. Соловьевой	420

Стриндберг А.
С85 Избранные произведения. В 2-х т. Т. 2. Пер. с фр. и швед.
/ Коммент. Е. Соловьевой. — М.: Худож. лит., 1986. —
431 с.

Во II том избранных произведений классика шведской литературы А. Стриндберга (1849—1912) входят романы «Слово безумца в свою защиту» и «Одинокий», пьесы «Эрик XIV» и «Соната призраков», а также новеллы из сборников разных лет.

С 4703000000-030 119-86
028(01)-86

ББК 84.4Шв
И(Швед)

АВГУСТ СТРИНДБЕРГ

Избранные произведения

в двух томах

Т о м 2

Редактор Э. Шахова

Художественный редактор И. Сальникова

Технические редакторы Л. Сеницына, М. Плешакова

Корректоры Н. Усольцева и С. Колганова

ИБ № 3314

Сдано в набор 08.04.85. Подписано в печать 27.01.86. Формат 60х90^{1/16}. Бумага офс.
№ 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать офсетная. Усл. печ. л. 27,0. Усл.
кр.-отг. 27,0. Уч.-изд. л. 31,15. Тираж 150 000 экз. Изд. № VI-1274. Заказ № 5-142.

Цена 2 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Харьковская книжная фабрика «Коммунист», 310012, Харьков, Энгельса, 11